Борис Лавренев

3

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Борис Лавренев

Собрание сочинений в шести томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Борис Лавренев

Собрание сочинений

ТОМ
ТРЕТИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Составление и подготовка текста
А. Ю. Лавренева

Примечания
Б. А. Геронимуса

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Л $\frac{4702010200-138}{028(01)-82}$ подписное

Повести и рассказы

ОТТИ

Дождь продолжал ткать над городом дымную сетку с косыми, серебристыми нитями. На асфальте вскипали и ползали по блестящей пленке воды живые пузыри — признак долгой непогоды.

Тураев удобно устроился на подоконнике, упершись спиной в один скос оконной выемки и мягкими подошвами туфель в противоположный. Папка с наколотым ватманом лежала на коленях.

С высоты площадь, на которую вытекал каменный каньон Ландштрассе-Гауптштрассе, казалась, с расходящимися от нее пятью улочками, похожей на растопыренную мокрую и грязную пятерню великана.

Серебристая сетка дождя, дымка, лиловато-серые массивы строений, темно-коричневый от дождевого лака асфальт и черные крапинки торопливо бегущих людей и пролетающих через площадь автомобилей складывались в стройную систему цветов. Тураев раскрыл коробку с красками и сунул кисти в воду.

— Газеты прикажете унести?

Тураев обернулся. Коридорная девушка Отти, кончавшая уборку, стоя у стола, показывала пальцем на серую груду наваленных газет.

— Да, фрейлейн Отти. Попрошу вас.

Отти собрала газеты в охапку и, прижав их к груди, вышла из номера. Белый бант на ее чепчике смешно дрогнул в дверях.

Тураев легким и привычным взмахом кисти залил зернистую белизну бумаги первым мазком краски. Краска легла сиренево-жемчужным пятном, похожим по тону на серенькое рабочее платьице Отти, и Тураев подумал об этой тихой и милой девушке. Она была коридорной седьмого и восьмого этажей. Пятьдесят комнат. Ежедневная уборка всех пятидесяти, независимо от того, заняты они или не заняты. Перебить подушки, пылесосом по коврам, мягкой щеткой по потолку и стенам, тряпкой по мебели, снова щеткой, обернутой в тряпку, по паркету.

В одиннадцать утра хозяин отеля герр Штрюбер подымал в лифте свои девяносто пять кило отечного и тухлого жира до верхних этажей и, посапывая, переползал из номера в номер, проверяя уборку. Как адмирал, делающий смотр кораблю, он напяливал на правую руку нитяную белую перчатку и водил по мебели. Приставшие к ткани пылинки отпечатывались на ней штрафами.

До кризиса в каждом этаже была своя коридорная. Теперь герр Штрюбер решил, что можно обойтись одной на два этажа. Отти бесшумной серой мышкой бегала по комнатам и этажам, подрагивая бантом. Каторжное кружение не портило ее характера. Она была приветлива без заискивания, исполнительна без показной ретивости, точна. Разговаривая с жителями номеров, всегда сдержанно-ласково улыбалась, но не заученной, а свежей и открытой улыбкой.

За две недели, проведенных в «Беатрикс», Тураев почувствовал искреннюю симпатию к этому тихому и серенькому существу, бесшумно и корректно устраивавшему комфорт немногим обитателям отеля. В седьмом и восьмом этажах было занято только пять номеров из пятидесяти. Шесть нижних «дорогих» этажей насчитывали только одиннадцать постояльцев. Герр Штрюбер шумно вздыхал за конторкой и ниже, чем следует жильцу восьмого этажа, кланялся Тураеву. Тураев поселился на месяц. Это уже заслуживало внимания. Другие жильцы приезжали на два-три дня, гонимые через город разрушительным ветром депрессии.

Дверь открылась. Вернулась Отти с пылесосом. Она остановилась посреди комнаты и нерешительно посмотрела на Тураева.

— Скверная погода,— сказала она,— может быть, герр Тураеф, вы посидите в холле, пока я уберу пыль.

— Не беспокойтесь, Отти,— ответил Тураев, щурясь на пятна краски, расплывающиеся на ватмане,— делайте ваше дело, вы мне не помешаете.

Пылесос заплакал тоненьким голоском мотора. Отти споро водила щеткой по ковру. Ее худые, бело-бескровные руки, оголенные до локтей, двигались с привычной и экономной ловкостью. Такое же бледное лицо чуть порозовело от движения, и из-под чепчика выбилась прядка волос. Она привлекла внимание Тураева. Зрительно он воспринимал Отти как сочетание серого и белого цвета и неожиданный интенсивный цвет выбившейся пряди изумил его. Она была красновато-рыжая, того изумительного цвета, который пламенем вспыхивает под солнцем. Тураев несколько секунд смотрел на этот огненный язычок, мечущийся у щеки девушки, и перевел взгляд в окно. Там по-прежнему лил дождь, все было серо и тоскливо.

И внезапно Тураев вспомнил, что завтра первое мая. Он закрыл глаза и увидел наяву Красную площадь, солнечный туман, горящие в нем костры знамен и жизнерадостный гул миллионов, катящихся от Исторического музея к реке. Видение пришло неожиданно и отозвалось в сердце легкой щемотой. Москва была далеко, за пространствами и рубежами. Завтра по Красной площади потекут миллионы. Но Тураев не будет в их торжественном потоке.

Он открыл глаза. Отти заботливо окручивала шнуром провода коробку пылесоса. Неожиданно для самого себя Тураев спросил:

— Вы знаете, какое завтра число, Отти?

Отти выпрямилась. Спокойные серые зрачки ее остановились на лице Тураева, как бы испытывая. Помедлив секунду, она ответила также спокойно:

— Да, герр Тураеф... Завтра первое мая.

И, ответив, продолжала смотреть на Тураева чуть-чуть вопросительно, словно ожидая продолжения. Казалось, она разгадала какой-то сокровенный смысл в совершенно обычном вопросе постояльца о календарной дате. И казалось, что она боится ошибиться и жалеет, если эта догадка ошибочна.

Тураев ощутил неловкость. Вопрос был задан. Нужно было или замолчать, или продолжать прямо. Секунду поколебавшись, он сказал:

— Это большой праздник в моей стране, Отти. Весь народ выходит на улицу с песнями, с весельем. Москва гремит музыкой, песнями и смехом с утра до полуночи...

Отти молчала. Ее зрачки чуть расширились и потемнели. Пауза становилась долгой и неловкой. Тураев не знал, что сказать дальше. Странное выражение, появившееся на лице Отти, поставило его в тупик. Неожиданно Отти шумно уронила на пол трубку пылесоса и быстро подошла к окну, на котором сидел Тураев. Она облокотилась локтями на подоконник, наклонилась вперед и, сжав губы, пристально смотрела на блестящую от водных потоков ладонь площади. Потом выпрямилась и рукой с вытянутым указательным пальцем уперлась в стекло:

— Вот,— сказала она коротко и жестко.

Тураев проследил глазами по линии ее пальца. У киоска с афишами, накрытый блестящим резиновым новым плащом, стоял дородный полицейский. Даже с высоты восьмого этажа было видно, как по бокам головы топорщились его пышные усы. Белая дубинка висела на пуговице плаща. Он стоял угрюмо, вросший в мокрый асфальт, неподвижный и монументальный, повторяя своей расширяющейся книзу фигурой тающий над ним и городом в дождевой дымке силуэт колокольни святого Стефана.

— Вот,— повторила Отти,— из-за него я не вышла замуж, герр Тураеф.

— Из-за этого полицейского? — спросил удивленный Тураев.

— Нет... не из-за этого,— на порозовевшие от работы щеки Отти вернулась тусклая бледность, и она нервным жестом убрала под чепчик рыжую прядь.— Я не знаю этого... Но не все ли равно? У них всех одно лицо и одна душа... Вы знаете, герр Тураеф, как трудно устроить свою судьбу. Если работающая девушка выходит замуж, она теряет работу. Герр Штрюбер не станет держать в отеле девушку, которая вышла замуж. Такая девушка должна жить на средства мужа. Она уже плохая служащая потому, что у нее есть семья, и хозяин боится, что она больше будет думать о семье, чем о работе. На ее место найдутся тысячи, у которых нет семьи. А найти мужа, который бы зарабатывал столько, чтобы содержать двоих, разве это легко, когда из ста мужчин восемьдесят живут годами на пособие для безработных...

Но мне повезло, герр Тураеф. Эрих был старшим механиком при крематории. В крематориях нет кризиса, герр Тураеф. Наоборот...

Отти говорила все быстрей и взволнованней. Тураев снял с колен папку и смотрел в лицо Отти.

— Эрих не был ни в какой партии, герр Тураеф, но он считал, что у рабочего человека должен быть свой праздник... В прошлом году первое мая пришлось вскоре после Флорисдорфа. Эти были напуганы и наставили всюду пулеметов и пушек. Но Эрих пошел первого мая на улицу потому, что он был молод и весел, ему хотелось петь и танцевать. Раз в году он имел право повеселиться. Это случилось на Мариагильферштрассе. Я не видела... мне рассказали. Эрих шел веселый, и вокруг было солнце и много людей. Мальчик бегал в толпе с красным флажком. Вот такой увидел его, вырвал флажок и ударил ребенка сапогом в живот. Эрих бросился между ним и мальчиком. Он ничего не сказал обидного, он только крикнул, что стыдно бить детей... Тот отступил и выстрелил Эриху в голову.

Руки Отти вздрагивали па подоконнике, и Тураев взял их в свои.

— Я не вышла замуж, герр Тураеф... Эриха сожгли в его крематории. Ввиду его отличного поведения дирекция приняла оплату на себя...

Отти смолкла и осторожно высвободила руки из рук Тураева. Ее возбуждение сошло, и она мгновенно обратилась опять в серую мышку отельного коридора.

С робкой и извиняющейся улыбкой она сказала:

— Прошу извинения, герр Тураеф... Я знаю, что мне не следовало этого говорить. Я не должна говорить жильцам печальные вещи...

И прежде чем Тураев нашел слова, она выскользнула из номера, забыв посреди комнаты пылесос. Тураев соскочил с окна и кинулся за девушкой. Он нагнал ее в коридоре и положил ей руку на плечо.

— Отти!

Она обернулась и умоляющими глазами посмотрела на него. Эти глаза туманились слезами.

— Герр Тураеф... Я прошу... Если увидят... герр Штрюбер... я лишусь места... Отпустите меня.

Тураев выпустил ее худенькое плечо, и она исчезла за углом коридора.

Первого мая Отти не приходила убирать номер.

Второго утром, когда Тураев перед уходом позвонил, из коридора вышла низенькая рябоватая женщина.

— Убрать комнату, мейн герр? — спросила она.

Тураев ошеломленно смотрел в незнакомое, тупо-равнодушное лицо.

— Где Отти? — спросил он с внезапным бешенством, надвигаясь на женщину. Она отстранилась к двери. В ее бесцветных глазах мелькнули испуг и удивление.

— Я не знаю,— сказала она,— я служу только с сегодняшнего дня.

Тураев выскочил из комнаты и, не вызывая лифта, побежал вниз по лестнице. С каждой ступенькой, опускавшей его вниз, злоба все выше подымалась в нем, и когда он очутился у конторки герра Штрюбера, злоба взмыла до восьмого этажа.

— Где Отти? — спросил он, яростно рассматривая жирную глыбу за конторкой.— Почему ко мне прислали убирать комнату какую-то мегеру?

Герр Штрюбер подобрал отвисшую губу и, качнув головой, сказал с грустью:

— Я прошу прощения, герр Тураеф, но Оттилия оказалась недостойной девушкой. Вчера она не явилась на работу и приняла участие в этом красном уличном скандале. Я не мог оставить ее в отеле... Я уволил ее...

Тураев отступил от конторки и минуту молчал. Потом повернулся и пошел к лифту. Открыв дверцу, он повернулся к герру Штрюберу и сказал грубо:

— Потрудись приготовить счет и вызвать авто... Я не останусь больше ни минуты в вашем паршивом притоне.

<1936>

КОМЕНДАНТ ПУШКИН

1

Военмор спал у окна.

Поезд тащился сквозь оттепельную мартовскую ночь. Она растекалась леденящей сыростью по окрестности и по вагонам.

От судорог паровоза гусеница поезда скрипела и трещала в суставах. Поезд полз, как дождевой червь, спазматическими толчками, то растягиваясь почти до разрыва скреп, то сжимаясь в громе буферов.

Поезд шел от Петербурга второй час, но не дошел еще до Средней Рогатки. Девятнадцатый год нависал над поездом. Мутной синевой оттаивающих снежных пространств. Слезливым туманом, плывущим над полями. Тревогой, мечущейся с ветром вперегонки по болотным просторам. Параличом железнодорожных артерий.

Военмор спал у окна.

Новая кожаная куртка отливала полированным чугуном в оранжевой желчи единственной свечи, оплакивавшей в фонаре близкую смерть мутными, вязкими слезами.

Куртка своим блеском придавала спящему подобие памятника.

С бескозырки сползали на грудь две плоские черные змейки. Их чешуя мерцала золотом: «Балтийский экипаж».

Военмор спал и храпел. Храп был ровный, непрерывный, густого тона. Так гудят боевые турбодинамо на кораблях.

Голова военмора лежала на плече девушки в овчинном полушубке и оренбургском платочке. Девушка была притиснута кожаной курткой к самой стенке вагона — поезд был набит до отказа по девятнадцатому году. Ей, вероятно, было неудобно и жарко. Военмора она увидала впервые в жизни, когда он сел в поезд. Она явно стыдилась, что чужая мужская голова бесцеремонно лежит на ее ключице, но боялась пошевелиться и испуганно смотрела перед собой беспомощными, кукольными синими глазами.

Поезд грянул во все буфера, загрохотал, затрясся и стал.

Против окна на кронштейне угрюмо висел станционный колокол, похожий на забытого повешенного.

От толчка военмор сунулся вперед, вскинул голову и провел рукой по глазам. Кожаная скорлупа на нем заскрипела. Он повернул к девушке затекшую шею.

— Куда приехали?

— Рогатка...

Из распахнувшейся входной двери хлынули морозные клубы. Сквозь них прорвался не допускающий возражений голос:

— Приготовить документы!

Переступая через ноги и туловища, по вагону продвигалась длинная кавалерийская шинель. Ее сопровождал тревожный блеск двух штыков.

Шинель подносила ручной масляный фонарик к тянущимся клочкам бумаги. Тусклый огонь проявлял узоры букв и синяки печатей.

Шинель была немногословна. Она ограничивалась двумя фразами, как заводная кукла.

Одним бросала:

— Езжай!

Другим:

— Собирай барахло!

Военмор не торопясь расстегнул тугую петлю на куртке, вытащил брезентовый бумажник. Из него — второй, кожаный, поменьше. Из кожаного — маленький кошелек. Шинель впервые проявила признаки нетерпения:

— У тебя там еще с десяток кошельков будет?

Военмор вынул из кошелька сложенную вчетверо бумажку.

Свет задрожал на бумаге. Кавалерийская шинель нагнулась, читая:

ПРЕДПИСАНИЕ
Состоящему в резерве комсостава военному моряку
А. С. Пушкину

С получением сего предлагаю Вам направиться в город Детское Село, где принять должность коменданта укрепрайоном. Об исполнении донести.

Начупраформ Штаокр *Симонов*.

Кавалерийская шинель сложила листок и, отдавая, недоверчиво поглядела на кожаную статую военмора.

— Это ты, значит, Пушкин?

Военмор слегка повел одним плечом, и черные шелковые змейки вздрогнули.

— Нет, моя кобыла! — сказал он с неподражаемым морским презрением к сухопутному созданию и отвернулся, пряча бумажник.

Кавалерийская шинель потопталась на месте. Видимо, хотела ответить. Но либо слов не нашла, либо не решилась. Был девятнадцатый год. Военмор принадлежал к породе людей-бомб. Неизвестно, как взять, чтобы не взорвалась.

Выручил звонок.

Хриплым воплем удавленника разбитый колокол трижды простонал за окном, и шинель, оттаптывая ноги, рванулась к выходу.

Военмор покосил взглядом вслед, после поглядел на девушку и, подмигнув, сказал вежливо и доброжелательно:

— Сука на сносях! Не знай где родит...

Девушка опустила ресницы на кукольные глаза и длительно вздохнула. Вздох утонул в раздирающем скрежете, звоне и громе. Поезд тронулся.

2

Снежит.

За колючей щетиной голых деревьев рассвет медленно поднимается, пепельно-серый и анемичный, как больной, впервые привстающий на постели.

В запорошенных снегом уличных лужах вода стоит тусклым матовым стеклом. Ступни оставляют в нем пробоины с разбегающимися трещинами.

Вороны оглашенно приветствуют рождение дня.

Они носятся над парками, над крышами, над льдисто сияющим золотом куполов.

Военмор останавливается на углу, против овального садика, обнесенного простой решеткой из железных прутьев. Путь от вокзала утомителен — ноги дрожат от напряжения, вызванного ходьбой по замерзшим лужам.

Военмор ставит на выступ крыльца походный чемоданчик, сняв его с плеча. Свертывает махорочную цигарку, вставляет ее в обгоревший карельский мундштук.

Императорское поместье раскрывается ему за деревьями сада филигранью парадных ворот дворца, игрушечными главками дворцовой церкви, порочной изнеженностью лепки и пышностью растреллиевских капителей.

Военмор курит и смотрит на все это настороженным, подозрительным взглядом. Он не доверяет пышным постройкам, деревьям, накладному золоту, он чувствует за ними притаившегося врага.

Докурив, поднимает чемодан и входит в овальный загон садика.

Сухая трава газонов пробивается сквозь тонкий слой обледеневшего наста. Ветер гонит поземку. Бьет в лицо иглами. Звездчатые пушинки пляшут в воздухе.

За низкой чугунной изгородью темнеет гранит постамента. Бронзовая скамья. На ней легко раскинувшееся в отдыхе юношеское тело. Склоненная курчавая голова лежит на ладони правой руки. Левая бессильно свисает со спинки скамьи.

В позе сидящего есть что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, напоминающем блеск кожаной куртки.

Военмор бросает равнодушный взгляд на сидящего.

Еще шаг. Взгляд сбегает ниже. Цепляется за постамент.

Военмор резко останавливается, не закончив шага, и круто поворачивается к памятнику.

Лицо его темнеет от внезапного толчка крови. Дыхание обрывается шумным выдохом.

Он смотрит на постамент. Брови сдвинуты в огромном и тревожном недоумении. Две строчки, вырезанные на постаменте, пригвоздили его к месту.

Внезапно он кладет, почти бросает чемодан к ногам.

Из кармана вынимается брезентовый бумажник. В руках у военмора маленькая коричневая книжка. Он смотрит в нее. Переводит глаза на гранит.

На партийном билете он видит:

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ПУШКИН

На полированном граните:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Военмор произносит вслух оба текста. Только в одном слове они не сходятся: четыре буквы отчества разрывают таинственно возникшую связь.

Александр Семенович Пушкин оглядывается.

Сад пуст. Только они вдвоем — бронзовый юноша и военмор в кожаной куртке.

Необыкновенное смятение охватывает военмора. Он чувствует жаркое гудение во всем теле и мурашки в пальцах рук.

Он еще раз повторяет вслух имя — не свое, а того, который сидит на чугунной скамье и задумчиво смотрит поверх головы военмора Пушкина в дымную вуаль парков, в не известное никому, кроме него. От звуков имени огромный рой оборванных мыслей налетает на военмора. Они звенят, как пчелы. И он даже поднимает руку и делает тревожный жест, будто отгоняя пчел.

Кружащиеся мысли связаны с чем-то, очень давно позабытым. Но он никак не может вспомнить, что он позабыл. Воспоминание рождается мучительно медленно.

Далекие и в то же время необычайно близкие слова наплывают на него из прошлого, из полузабытого детства. В словах есть ритм. Он ощутителен и настойчив.

Александр Семенович Пушкин отбивает ногой такт этого ритма. Все чаще и чаще. Вот! Сейчас будут пойманы слова, быстро мелькающие, как золотые рыбки, в глубине памяти.

Хмурое лицо военмора освещается виноватой улыбкой. Только сейчас, за истомленностью и небритой щетиной на щеках, можно разглядеть настоящую молодость военмора. Он наклоняет голову набок и, словно прислушиваясь, говорит тихо и врастяжку:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Ритм обрывается. Александр Семенович Пушкин шевелит губами и прищелкивает пальцами. Но в омуте памяти снова провал. Золотые рыбки умчались, сверкнув чешуей.

Военмор опускает голову и говорит сам себе укоризненно:

— Запамятовал, Сашка!

И вдруг снова смеется, по-детски, беззаботно.

Все равно! Ну, забыл! Но внезапная загадка бронзового двойника разгадана. Смятение уступает дорогу любопытству.

Военмор перелезает через ограду и подходит вплотную к постаменту. Задрав голову, долго смотрит на памятник.

Кружащиеся снежинки ложатся па взбитые в беспорядке кудри Александра Сергеевича Пушкина, стынут на припухлых губах, на тонких плечах.

Александр Семенович Пушкин, осторожно ступая, обходит памятник кругом. На задней стороне постамента вырезана надпись.

Александр Семенович, подойдя вплотную, разбирает по слогам каменные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Стихи читались с трудом. Слог их был непривычен и малопонятен, слова скользили и убегали от сознания. Но загадочная музыка, таившаяся в них, укачивала, несла на ритмических волнах, как необъяснимое колдовство.

Это ощущение издавна было знакомо Александру Семеновичу. Оно овладевало им всегда, когда ему приходилось слушать музыку. Был ли это пастушеский рожок из бузины, гармошка ли в кубрике, хрустальный гром рояля из открытого люка кают-компании или духовой оркестр в кронштадтском парке, но всякая мелодия завладевала Александром Семеновичем неотразимо и повелительно. Она убаюкивала его и уносила в неизведанные и сладостные просторы.

Александр Семенович прочел по слогам последнюю строку. И вдруг обаяние музыки сорвалось, развеянное темным подозрением.

Он еще раз прочел, повысив голос:

Отечество нам Ц а р с к о е Село.

Эта строка была понятна от первого до последнего слова. Больше: она повеяла в лицо дыханием чужого и ненавидимого мира.

И она заставила Александра Семеновича насторожиться.

Он отодвинулся от постамента и потемневшими глазами посмотрел на бронзовую спину Александра Сергеевича. В этом взгляде были смешаны подозрение и злость.

— Царское Село тебе отечество? — сказал он вслух с таким выражением, словно хотел сказать: «Так вот ты кто такой!» — Ц а р с к о е! — повторил он с нажимом.— Царя все помните!

Сжав челюсти, Александр Семенович круто обошел постамент и быстрыми шагами приблизился к оставленному за оградой чемодану.

Он подхватил его ловким и стремительным рывком под мышку. Еще раз исподлобья взглянул на памятник.

Бронзовый юноша, отечеством которого было Царское Село, смотрел теперь уже не через голову Александра Семеновича, а прямо на него. Чуть заметная усмешка, дружеская и печальная, змеилась на неподвижных губах.

Александр Семенович нахмурился, поправил бескозырку и зашагал.

Шел он размашисто и решительно. Словно после долгого колебания нашел верную линию, прямой, непетляющий путь.

3

Дела в укрепрайоне было много.

Девятнадцатый год кипел.

В потревоженных и сдвинутых толщах страны глубоко бурлила кипящая, огненная лава, гоня на поверхность шлаки. Они выскакивали грязными гнойными пузырями, омерзительной накипью, шипели, брызгали перегоревшей гнусью и лопались. Шлаки плыли от перифе-

рии к огненным центрам. Туда, где жарче и сильней кипела лава, в которой они сгорали без остатка.

Революционный Петроград притягивал к себе эти шлаки, как магнит. Вокруг Петрограда все время было неспокойно.

Александр Семенович Пушкин с головой ушел в работу. Времени не хватало затыкать ежеминутно обнаруживавшиеся прорехи.

Ближайшим помощником Александра Семеновича оказался военрук укрепленного района, бывший полковник Густав Максимилианович Воробьев.

Сочетание пышно оперного, чужеземного имени и отчества с заурядной и смешной русской фамилией удивляло многих. Военрук в таких случаях раздраженно объяснял, что его прапрадед, прожив всю жизнь в Польше, принял католичество, и от него пошли Воробьевы с иностранными именами.

Объяснять приходилось часто, и это приводило старика в бешенство. Это и заставило его просить о переводе из петроградского штаба, где была вечная толчея людей и вечное любопытство, в заштатный и немноголюдный укрепрайон.

В первый день вступления в должность старик созвал всех сотрудников штаба района. Они собрались в назначенный час, ожидая каких-либо важных сообщений.

Густав Максимилианович вышел к ним из кабинета, разгладил усы и произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что, не желая рассказывать каждому поодиночке историю своих прозвищ, военрук Воробьев сообщает ее для сведения всех в целях прекращения бесцельного любопытства. Изложив события жизни своего предка, Густав Максимилианович выразил надежду, что совместная работа с новыми сослуживцами будет приятна, поклонился, как актер, удачно спевший арию, и ушел, оставив сотрудников в полном недоумении.

Был он малого роста, аккуратен и подтянут. Серебряный бобрик над высоким лбом и белые усы блестели свежестью только что выпавшего инея.

Он был честным и преданным работником, восторженным либералом шестидесятнического толка.

В день передачи должности коменданта укрепрайона Александру Семеновичу старик, окончив официальную информацию о положении в районе, выжидательно посмотрел на нового начальника.

— Чего еще? — спросил Александр Семенович, видя неуспокоенность собеседника.

— Вас, вероятно, удивляет несоответствие моего имени и отчества моей фамилии? — сердито начал военрук.

Александр Семенович удивленно покосился на Воробьева.

— С чего вы взяли? Фамилие как фамилие... А имя-отчество хоть сразу не выговоришь, а все же ничего несоответственного не видать.

Густав Максимилианович Воробьев внезапно весь порозовел от удовольствия. Казалось, даже усы приняли розоватый оттенок.

— Как приятно встретить человека столь свободных и широких взглядов! — сказал он, умиротворенно улыбаясь.— Я очень устал от бесцеремонного любопытства окружающих. Имена и прозвища мы не сами выбираем для себя, не правда ли, товарищ Пушкин? Вот, например, вы, наверное, не выбрали бы себе имени и фамилии, которая тоже должна стеснять вас...

— Это с чего же ради? — Александр Семенович поднял голову от сводки артиллерийского имущества.— Чего мне стесняться?

— Прошу извинить,— Воробьев склонился в изящном полупоклоне,— если я коснулся неприятной вам темы. Но вы должны сами понимать, что при имени и фамилии великого поэта у каждого должен возникать ряд ассоциативных предположений. Иначе говоря, на вас всегда ложится тяжелая тень прославленного имени. Это затрудняет...

— Фамилие у вас русское, а разговор вроде имени-отчества, не сразу провернешь,— перебил, мрачнея, Александр Семенович.— Я кочегар. Кроме горя, в кочегарке ничего не хлебал. Со мной просто говорить надо, а не загвоздки выклеивать...

— Извините, ради бога! — испуганно сказал Воробьев.— Я совершенно не то... Я просто хотел сказать, что здесь, в Детском Селе, ваша фамилия и имя звучат несколько парадоксально.

— Ну вот... Говорите, хотели сказать просто, а опять загнули словцо!

— Парадоксально — по-русски значит неправдоподобно,— мягко пояснил Воробьев.— В самом деле, здесь каждому мальчишке известно, что в нашем городе жил и

учился Александр Сергеевич Пушкин. А теперь приехали вы, Пушкин, и к тому же еще Александр...

— Ну и что? — вдруг зверея, рыкнул Александр Семенович.— Чего вы мне тычете под хвост вашим Пушкиным! Мне с ним не чай пить! Ему вон Царское Село — отечество, так на памятнике вырезано. А я в Гнилых Ручьях родился. Он, может, генералом был, а меня тятька с первого года из школы взял и в аптеку мыть бутылки за три рубля отдал. Я писать еле могу, и этого Пушкина только и помню, что «тятя, тятя, наши сети» и там про мертвеца... Чихал я на Пушкина! Нам нынче Детское Село отечество. А Царское мы с царем вместе похерили! Да!

Воробьев медленно отступал к двери, пока Александр Семенович нервно выбрасывал злые слова. У двери он сложил руки перед грудью, как будто собираясь молиться, и когда Александр Семенович кончил, старик сказал, и в голосе его комукрепрайона ощутил необычайное волнение и печаль:

— Боже мой, боже мой! Вы, сегодняшний Пушкин, ничего не знаете об Александре Пушкине! Вы даже не знаете, что именно царская Россия отравила ему жизнь и задушила его! Вы...

Александр Семенович встал злой, стиснув кулаки в карманах куртки.

— Товарищ военрук! Я вам вот что скажу: идите подобру-поздорову работу сполнять. Вы тут бузите насчет Пушкина, а часовые у пороховых складов цигарки смолят! Дело нужно делать, а не лясы точить.

Густав Максимилианович Воробьев выпрямился и вытянул руки по швам.

— Слушаю, товарищ комендант!

Выходя, он оглянулся на зарывшегося в сводки Александра Семеновича. Во взгляде старика были недоумение и обида.

4

Первый весенний день пришел в блеске и свете, в ласковой свежести западного ветерка, овеянный запахом талых ручьев, земли, размокшей древесной коры.

В конце рабочего дня к подъезду штаба укрепрайона подали оседланных лошадей.

Александр Семенович Пушкин намеревался, в сопровождении военрука, проехать к железнодорожным путям, проверить состояние привокзальных окопов и проволочных заграждений, поставленных осенью. Обилие снега грозило затоплением окопов и сносом кольев.

Лошади танцевали, разбрызгивая грязь, рвались из рук коновода и с тихим ржанием, похожим на дружескую беседу, ласково покусывали друг друга за шею. Солнце, шумящая по стокам вода и угадываемый аромат сочных трав, еще прячущих ростки под землей, пьянили их и возбуждали.

Густав Максимилианович сел в седло с привычной, почти молодой легкостью. Александр Семенович долго прыгал на одной ноге, силясь нацелиться другой в ускользающее стремя.

Конь казался ему менее устойчивым и более вертким, чем палуба миноносца в шторм. Но, очутившись в седле, он сразу приобрел ту суровую и тяжелую каменную посадку, которая всегда делает конного моряка величественным и прекрасным, как всадника, изваянного великим ваятелем.

Они прошлепали по лужам вдоль путей. Воробьев на ходу отмечал в записной книжке необходимые работы по приведению окопов в боеспособное состояние после спада воды.

Больших повреждений не было, и, убедившись в благополучии, Александр Семенович с военруком повернули обратно. Весеннее солнце нехотя уходило за сиреневую сетку мокрых веток, зажигая тяжелые капли.

Александр Семенович направлялся домой. Жил он, как и военрук, в домиках китайской деревни. Игрушечные эти постройки, выстроенные для императорских забав, служили теперь квартирами боевой семье укрепрайона.

У поворота на Садовую Александр Семенович широко вдохнул душистую свежесть вечера и вдруг сказал военруку:

— Пройдемся, что ли? Надоело на этом живом заборе болтаться... Вечер хорош!

Густав Максимилианович Воробьев кивнул.

Они слезли с седел, отдали лошадей коноводу и медленно пошли по Садовой к куполам дворца, свежим и омытым. Овальная корма лицейского здания медленно надвигалась на них. За нею темнел садик.

Поравнявшись с лицеем, Александр Семенович, неожиданно для самого себя, свернул вправо, в пролом садовой решетки. Воробьев тоже безмолвно последовал за ним.

После первого разговора, так неудачно закончившегося, военрук больше не заговаривал с комендантом ни о своей, ни о его фамилии. Они говорили друг с другом только о служебных заботах, немногословно и деловито. Но Александр Семенович постепенно привык к спокойному, вежливому и работящему старику. Первые дни он подозрительно наблюдал за ним. Прошлое военрука заставляло коменданта держаться настороже. Он инстинктивно не доверял всему, что имело корни в прошлом. Но старик работал безукоризненно, как хорошо выверенный механизм, и недоверие Александра Семеновича рассеивалось. Укрепрайон подтянулся. Часовые больше не курили на постах, и красноармейцы гарнизона перестали появляться на улицах в раздерганном виде, со спадающими штанами. Александр Семенович получил закалку образцовой морской дисциплины и не переносил разнузданности и беспорядка. Военрук приложил много труда к налаживанию военного организма города, и Александр Семенович высоко оценил этот труд.

Сквозь стволы деревьев засерел гранит. Солнце обливало бронзу памятника влажной лаковой патиной. Александр Семенович вышел на центральную аллею и присел на скамью против памятника.

Александр Сергеевич Пушкин сидел в неизменившейся позе и незаметно дышал апрельским медом.

Александр Семенович Пушкин откинулся на спинку скамьи, невольно и незаметно для себя приняв позу бронзового двойника. После долгого молчания сказал с коротким смешком:

— Чудно все-таки... Он Пушкин, и я Пушкин. Он Александр, и я тоже. А между прочим, в общем, никакого сходства.

Военрук осторожно повернулся к Александру Семеновичу, наблюдая за ним искоса и нерешительно. Александр Семенович продолжал:

— Жил вот тоже тут... Может, на этой самой скамье сидел и не имел в думке, что мы тут сядем и на него смотреть будем...

Густав Максимилианович сухо кашлянул в усы.

— Разрешите доложить, товарищ Пушкин, что в этом вы заблуждаетесь. Он отлично знал, что будет тут сидеть и смотреть на нас.

Александр Семенович взглянул на военрука с сомнительным любопытством:

— Турусы на колесах! Как это человек может знать, где его после смерти посадят? Поди, иной не знает даже, на каком кладбище похоронят. А тут не кладбище, а сад. Здесь одних садов в неделю не обойдешь. Угадай, в каком...

— И все-таки, уверяю вас, Александр Семенович, что Александр Сергеевич это знал... То есть он не рассчитывал, конечно, что поместят его именно на этом месте. Но вообще знал, что дождется памятника, и даже сам предсказал.

Александр Семенович порылся в кармане и вытащил кисет.

— Ну-ну,— произнес он врастяжку, заворачивая цигарку,— уверенный, значит, человек был. Он, что ж, кроме как стихи писать, гаданьем занимался?

— Нет,— ответил Воробьев без улыбки,— он в стихах именно и предсказал.

Александр Семенович выпустил изо рта голубой клуб дыма, на мгновение закрывший бронзового двойника.

— Занятно это вы говорите, Густав Максимилианович. Выходит, угадал свою судьбу?

— Да. Это замечательные стихи. Они будут жить, пока на земле будут жить люди. Хотите, я вам прочту? — неожиданно предложил Воробьев.

— Валяйте! — равнодушно согласился Александр Семенович.— Какое такое предсказание?

Воробьев сцепил пальцы рук, сложенных на колене, и поднял глаза к верхушкам деревьев. В его суховатом чистом стариковском лице словно проступил внутренний свет, помолодивший его.

Голос его был надтреснут и тих, почти робок:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Александр Семенович слушал, куря.

Он не отрывал взгляда от Александра Сергеевича. Положительно, отлитое из бронзы худощавое юношеское

лицо жило своей таинственной жизнью, и это озадачивало Александра Семеновича. Вероятно, мерцание закатного света сквозь ветки создавало эту иллюзию жизни и движения, но Александр Семенович готов был поклясться, что при первых звуках стихов двойник на резной скамье слегка подался вперед и как будто стал прислушиваться. Но голос военрука отвлек внимание от памятника.

Знакомое ощущение музыки уже охватывало Александра Семеновича. Стихи текли, как волна. Как и эти, врезанные в камень памятника, они доходили до сознания Александра Семеновича музыкой, напевом, а не словами.

В них было много чуждых слуху звукосочетаний, как будто другого, нерусского языка. Или не того русского языка, какой знал Александр Семенович, на каком привык разговаривать.

«Столп», «лира», «пиит», «сущий» — это мешало уследить за смыслом и раздражало.

Только на четвертом периоде мерного качания стиха Александр Семенович повернул голову к Воробьеву, и глаза сузились. Лицо его стало напряженно внимательным.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Тот же внутренний ясный свет, которым сияли глаза военрука, пробежал теперь в глазах Александра Семеновича.

Он ближе подвинулся к Воробьеву и в неподвижности дослушал до конца.

Минуту оба молчали.

Первый пошевелился Воробьев.

— Что скажете, товарищ Пушкин?

Александр Семенович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами, будто ловил другие, не привычно-ежедневные, а новые и волнующие слова.

— Здорово! — сказал он наконец, так и не найдя этих слов, и вдруг потускнел и нахмурился.

Воробьев выжидательно смотрел на него.

— А вот божье веленье ни при чем! Начал про свободу, и вдруг богом всю музыку спортил!

Густав Максимилианович Воробьев рознял сцепленные пальцы и всплеснул руками в воздухе.

— Александр Семенович, товарищ Пушкин! Вы же поймите, в какое время он писал! Сто лет назад! В то время Маркс только родился и во всем мире была только одна республика, в Америке. Кроме отдельных передовых личностей, люди без оглядки на бога пальцем боялись пошевельнуть.

— Разве что так,— протянул Александр Семенович, пристально смотря на бронзового Александра Сергеевича.— Только если он стихи писал знаменитые, следственно был передовой личностью, как вы говорите. Вот тут и не сходится. Выходит — бог в нем крепко сидел, вроде глиста. И царь тоже.

Густав Максимилианович мгновенно помигал ресницами и вдруг захохотал дружелюбным басовым смешком.

— А знаете, Александр Семенович, мне нравится ваша логика. Твердая, организованная и последовательная.

— Чего это за ягода «логика»? — спросил Александр Семенович.— Опять непонятно заговорили?

— Ну, образ мыслей. Вас не собьешь с линии.

— Это верно. Я хоть серый и дальше азбуки не пошел, а свою думку держу крепко.

— Это мне в вас и нравится. Во всех вас, во всех большевиках,— ясная целеустремленность и боевая непримиримость мысли.

Оба замолчали. Солнце скатывалось к горизонту. Последние лучи, прорвавшись сквозь невод ветвей, вспыхнули вокруг кудрявой головы Александра Сергеевича Пушкина, окружив ее трепетным ореолом.

— Пора идти! — сказал Александр Семенович.

— Хотите, товарищ Пушкин, у меня чайку попить? — предложил Воробьев.— А я вам еще Пушкина дома почитаю. Там уже бога не будет. А вам нужно же узнать как следует своего однофамильца. Неужели вы его совсем не знаете?

— Чудак вы, Густав Максимилианович,— ответил Александр Семенович,— я же вам говорил! Моего всего образования — первый класс в деревенской школе. А после некогда было. Моешь в аптеке бутылки с восьми и до двенадцати — спину и руки до того ломит, что не знай, как до лежака дорваться. Я до флота и газет почти не читал. Только на корабле, уже в организации, глаза открыл на книгу. Но все политическое. На другое времени не хватало. А вы — Пушкин! Куда мне! А насчет чаю — согласен. Потопали!

В комнате Воробьева гостеприимно гудела буржуйка.

Такая же чистенькая и аккуратная, как муж, вся в белых букольках, жена военрука приветливо встретила гостя. Расставила на столе холодную баранину, нарезанную воблу, черную патоку в вазочке, заварила в чайнике яблочную крошку.

Густав Максимилианович вынул из стола перевязанные ниточкой очки, ловко приладил их к носу. Достал с полки коленкоровый томик.

Электричество горело тускло. Нити лампочки едва накалялись красноватым сиянием. Воробьев зажег керосиновую лампу и присел к ней.

В этот вечер и состоялось первое настоящее знакомство Александра Семеновича с Александром Сергеевичем.

Воробьев прочел Александру Семеновичу посвященное декабристам «Послание в Сибирь», послание «Чаадаеву», «Деревню», «Анчар», «Кинжал».

К каждому прочитанному стихотворению Воробьев давал короткое пояснение, рассказывал Александру Семеновичу внутренний, тайный смысл стихов, переводя высокий язык символов и образов на понятную для слушателя будничную речь.

Музыка стихов начинала звучать для Александра Семеновича осмысленно. Юноша из лицейского садика вставал перед ним в ином облике. Он исподволь становился своим.

Комендант и военрук засиделись долго за полночь. Жена Воробьева тихой мышью ушла в спальню.

Густав Максимилианович закончил вечер эпиграммой на Аракчеева, предварительно рассказав об Аракчееве и Александре Первом. Он прочел эпиграмму в ее неприкосновенном, предельно вызывающем тексте, понизив слегка голос. От яростной брани по адресу царя и его клеврета Александр Семенович привскочил на стуле.

Это был совсем неожиданный для него Пушкин, заговоривший языком кочегарного кубрика! Тут пахло не отечеством Царского Села и не божьим веленьем. Александр Семенович понимал, что за такие слова гоняли на каторгу.

Матрос Геннадий Ховрин на «Штандарте», неудачно поддержавший царицу под руку на трапе и посаженный в карцер, со зла обозвал ее величество коротким женским словцом и получил пять лет за оскорбление царственной особы.

Через темные дали столетий Александр Сергеевич Пушкин подавал дружескую руку матросу первой статьи Геннадию Ховрину. Между ними устанавливалась нежданная связь.

Поздно ночью простился Александр Семенович с военруком.

Ночь томилась в теплой и влажной бане весеннего тумана.

Александр Семенович постоял у крыльца военрука, вдыхая тепло и тишину. Потом он сам разбил эту тишину, произнеся вслух непроизносимый конец эпиграммы. Прислушиваясь к затихавшему эху, как бы взвешивая убийственные слова, он засмеялся и пошел к себе.

5

Спустя несколько дней Александр Семенович зашел под вечер к Воробьеву и попросил почитать чего-нибудь про жизнь своего знаменитого тезки.

Густав Максимилианович в нерешительности покрутил усы.

— Вы меня извините, товарищ Пушкин,— сказал он, конфузясь и говоря несколько книжно,— но ваша просьба несколько затрудняет меня. Мне хочется, чтобы вы узнали настоящую жизнь Александра Сергеевича Пушкина, без прикрас и выдумок, со всеми его муками и страданиями, всеми неудачами этого беспокойного человека. Жизнеописание же его, приложенное к моему изданию, предназначалось для средней школы в дореволюционное время и написано лживо, изуродованно. Я просто боюсь его вам давать. Вы получите совершенно неправильное представление.

Александр Семенович на мгновение задумался.

— А может, вы сами мне расскажете как надо? — сказал он, найдя выход.

Но Воробьев покачал головой:

— Трудно, Александр Семенович! В данном случае мне особенно трудно. Я, как всякий более или менее грамотный русский, знаю и люблю Пушкина. Мое знание удовлетворительно для меня. Но я не могу принять на себя ответственность за передачу этих знаний вам. Они слишком скудны для этого. Пушкину необходимо знать Пушкина, как брат знает брата.— Старик улыбнулся.

— Экая незадача! А я разохотился,— с досадой сказал Александр Семенович.— Хочу познакомиться вдосталь. Теперь он меня за живое забрал.

— Вы не отчаивайтесь, Александр Семенович! Делу помочь можно. Тут есть бывший преподаватель словесности здешней гимназии Матвей Матвеевич Луковский. Он всю литературу как свои пять пальцев знает. Он, наверное, не откажет. Очень обязательный и приятный человек.

— Смеяться не будет? — спросил Александр Семенович, нахмуриваясь.

— Что вы! Зачем? Наоборот, думаю, он будет очень рад помочь вам.

— Ну, ладно,— согласился Александр Семенович,— амба! Пусть так!

— Так я сейчас и зайду к нему,— сказал Воробьев.— Все равно мне нужно книжки отдать, которые я у него брал.

Они вышли вместе. Александр Семенович проводил Воробьева до жилища Луковского и неторопливо пошел обратно.

Подходя к садику, он еще издали заметил на аллее против памятника человеческий силуэт. Странные жесты этой фигуры привлекли внимание Александра Семеновича. Человек нагибался к земле, потом выпрямлялся, делал размашистое движение в сторону памятника и снова нагибался, шаря.

Александр Семенович прибавил шагу и подошел к незнакомцу незамеченный.

Здоровый парень в бутылочных сапогах, с красным лицом в прыщах, выковырял из почвы кусочек камня и, наметясь, метнул его в поэта.

Камень звонко ударил в плечо статуи и скатился к ногам, оставив на металле беловатый след. Парень удовлетворенно захрюкал и нагнулся за новым камнем.

Жаркий туман залил глаза Александру Семеновичу.

В одно мгновение он превратился из коменданта укрепленного района, большевика, стойкого командира матросского батальона, заслужившего доверие в октябрьские дни боевой выдержкой и врожденными командирскими качествами, в первогодка-кочегара Сашку Пушкина, горячего парнишку, безраздумно кидавшегося в любую уличную драку в Кронштадте, круша направо и налево каменными кулаками.

От свинцового удара в левую скулу парень перевалился через решетку, ткнувшись лицом в побеги молодой травы. Фуражка его откатилась к постаменту. Он вскочил и, зарычав, бросился на обидчика, но, не дойдя на шаг до Александра Семеновича, остановился и испуганно разжал кулаки.

Военмор с ярко-желтой кобурой, повисшей на бушлате, был врагом, которого трогать не стоило. Вместо удара парень заморгал глазами и слезливо спросил:

— Ты что в ухо бьешь, сволочь?

Туман неожиданной ярости уже схлынул с Александра Семеновича. Он взял себя в руки. Но лицо и губы его были белы от злобы, и голос стал низким и хриплым.

— Катись! — сказал он угрожающе.— В следующий раз застану — голову оторву, хулиганское отродье!

— А что я тебе сделал, сукиному сыну? — еще слезливей спросил парень.

Он не понимал и не мог даже заподозрить, что удар со стороны военмора был вызван невинным бросанием камешков в чугунного человека на скамейке, посаженного здесь неизвестно к чему.

— Поговори еще! — сказал Александр Семенович, надвигаясь, и парень опасливо попятился, подняв руку перед лицом.— Поговори! Ворон тебе мало, болвану, каменья кидать? Для твоего удовольствия тут памятник поставили?

Парень захлопал ресницами. Теперь он понял, но то, что он понял, было выше его понимания, и он обозлился:

— А ты кто такой? Ты ему дядя? А раз это старорежимный статуй, ты какое такое право имеешь за его вступаться? Может, ты сам старого режиму? Форму морскую нацепил и народ обманываешь? А вот пойдем в чеку! Там тебя разденут.

Парень уже ободрился и снова махал сжатыми кулаками.

Но ударить он не успел. Александр Семенович, извернувшись, ухватил его за ворот куртки и поднял на воздух. Натужившись, он протащил парня на весу до выхода из садика и, опустив, с размаху поддал подошвой в крепкий зад, обтянутый ватными штанами.

Парень отлетел шагов на пять, ткнулся руками в уличную грязь. Александр Семенович спокойно повернулся и пошел. За его спиной парень кричал во весь голос обидные слова:

— Матрос-барбос! Гидра контровая!.. Ходи мимо, а то поймаем — мы тебе салазки загнем!

Но Александр Семенович шел быстро и не оборачиваясь.

Поравнявшись с памятником Александру Сергеевичу, он бросил на него быстрый и раздраженный взгляд. Памятник показался ему прямым виновником неожиданной и неприятной вспышки гнева, о которой Александр Семенович уже сам жалел и которой стыдился.

6

Луковский разговаривал на ходу.

Он стремительно шагал из угла в угол по диагонали огромной, почти лишенной мебели комнаты.

Письменный стол. Кресло возле него. В углу другое кресло, из разорванной обивки которого клочьями висела шерсть и на котором сидел Александр Семенович. Больше ничего.

Но все четыре стены, от плинтусов до потолка, были заняты книжными полками. Книги лежали грудами на подоконниках, на столе, на полу. От них в комнате стоял пыльный и странно хмельной, кружащий голову запах.

Луковский носился на фоне этих книг в длинном старомодном сюртуке. Его тонкие угловатые руки взлетали перед лицом Александра Семеновича, похожие на общипанные крылья, и весь он был как необыкновенная птица.

Летая по диагонали комнаты, Луковский захлебывался словами:

— Когда товарищ Воробьев рассказал мне о вас, я буквально оцепенел от изумления, я не мог опомниться, я не хотел верить. Какое необыкновенное стечение обстоятельств! Прошло столетие, и в месте, освященном именем Александра Пушкина, появляется другой Александр Пушкин. Мне это показалось сначала ужасающей профанацией, кощунством, издевательством...

— Послушайте,— перебил Александр Семенович, привстав с кресла и рукой загораживая путь Луковскому,— чего вы все ходите? Этак и вам неудобно, и мне глядеть на вас беспокойно. Сели бы!

Луковский растерянно посмотрел на Александра Семе-

новича, мигнул и сразу послушно сел на груду книг посреди комнаты.

— Вот так лучше,— одобрил Александр Семенович и, усмехнувшись, продолжал: — Чего это вы много наговариваете? До чего с вами, учеными людьми, трудно,— будто мешки носишь!.. Чего же на меня обижаться, что я тоже Пушкин? Уж тогда вы с моих батьки и мамки спрашивайте...

— Да нет же,— Луковский привскочил на своем книжном сиденье, и облако пыли вскурилось над ним из потревоженной бумаги,— да нет! Это было мгновенное первое впечатление. Инстинктивный протест... Пушкин неповторим в этом городе, и кто может, кто смеет назваться его именем здесь? Но это тотчас же прошло... И я увидел в вашем появлении здесь некую историческую закономерность, если хотите. Круг завершен, и на рассвете нового исторического периода в прежнее место приходит новый Александр Пушкин, в новом качестве. Это диалектика истории...

Александр Семенович насупился и свел брови.

— Эх ты, мать родная,— сказал он с досадой,— вы все свое мудрите! Мне от вас чего нужно? Чтоб вы мне про Пушкина, про всю его полную жизнь объяснили, про то, как он стихи складывал, об чем думал, с кем дружил... Я в этом направлении человек темный и ничего про в а ш е г о Пушкина не смыслю. А вы мне всё мудреное несете, такое, что мозги набекрень сворачиваются. Уж тогда лучше дайте книжку какую-нибудь, попроще. Авось поднатужусь и как-нибудь сам разберусь,— закончил он с внезапной тоской.

Луковский вскочил и, как порыв вихря, пронесся по комнате.

— Простите, Александр Семенович! — закричал он, хватая обе руки коменданта худыми, цепкими пальцами.— Ради бога, простите... Эта дрянная привычка к высокопарным разглагольствованиям в интеллигентском болотце!.. Вы пришли ко мне за простым ржаным хлебом знания, а я кормлю вас изысканными пряностями... Простите! Ведь вам хочется ближе узнать и почувствовать вашего живого тезку... Понятно!.. Понятно! Я постараюсь удовлетворить ваше желание... Я так рад... Может быть, впервые в моей педагогической практике ко мне приходит так жадно ищущий знания ученик... И я сделаю все, что в моих силах... Сейчас... Сейчас!

Он выпустил руки Александра Семеновича и ринулся к одному из книжных шкафов. Распахнул дверцу так порывисто, что стекла жалобно задребезжали. Худые пальцы Луковского промчались по корешкам книг, как пальцы пианиста по клавишам в трудном пассаже, и выдернули одну из книг в коленкоровом синем переплете.

— Вот! — Луковский высоко поднял книгу над головой.— Вот! Здесь, Александр Семенович, вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина. В эту рукопись я вложил двадцать три года любовного труда. Она не могла надеяться увидеть свет потому, что в ней я рассказал правду о Пушкине и предал позору его убийц. Я не знаю, увидит ли она свет при моей жизни...

Луковский нежно погладил переплет книги. Некрасивое лицо его с растрепанной бороденкой просияло внутренним огнем вдохновения. Гордо вздернулась голова. Он раскрыл книгу и, держа ее в вытянутых руках, сказал торжественно и сурово:

— Вы услышите сейчас о Пушкине!.. Не о том Пушкине, о котором я был принужден рассказывать много лет в гимназии ленивым олухам и шалопаям. Это не народный Пушкин. Это нарумяненный мертвец. Те, кто убил его, затянули его после смерти в тугой раззолоченный мундир придворного, подкрасили румянами казенного патриотизма, уродовали его мысли и чувства. Они хотели украсть его у народа и навсегда похоронить в лакейской царского дворца... Но час расплаты пришел, и они сами умерли в этой лакейской... Народ воскресит своего поэта, своего Пушкина...

Внезапно Луковский схватился за грудь и закашлялся. Несколько минут сухой, судорожный кашель сотрясал с головы до ног его тощее тело. Он прижал ко рту платок, и, когда отнял его, Александр Семенович увидел расплывающееся по полотну розовое пятно.

— Пустое!— тихим извиняющимся голосом ответил Луковский на тревожный взгляд Александра Семеновича.— У меня профессиональная болезнь русского педагога... Чахотка!.. Мне не очень много осталось жить, но это совершенно не важно.

Он спрятал платок в карман, пригладил рукой взбившиеся над лбом взмокшие волосы и, полузакрыв глаза, спокойно начал рассказ:

— Александр Сергеевич Пушкин, величайший русский

поэт, наша национальная гордость на веки веков, стоящий наравне с величайшими гениями мировой поэзии, родился в Москве двадцать шестого мая тысяча семьсот девяносто девятого года...

Александр Семенович подался вперед в кресле, оперся подбородком на сжатый кулак и с жадным вниманием слушал.

7

В пустынных и покинутых парках эти две фигуры стали привычной и неотделимой частью пейзажа. Они каждый день прогуливались в зеленом сумраке вечереющих аллей.

Шагали рядом. Тяжелый и спокойный, кажущийся чугунным от тусклого блеска постаревшей кожаной куртки, Александр Семенович Пушкин. И нервно приплясывающий, забегающий вперед на развинченных ногах, Матвей Матвеевич Луковский. Его танцующая походка, отставленные от тела угловатые локти делали его схожим с большой галкой, жалостно подпрыгивавшей по аллее, волоча перебитые крылья.

Александр Семенович шел молча, изредка роняя несколько слов. Луковский говорил неугомонно и порывисто. В уголках его синеватых губ накипала пена. Тогда он тщательно вытирал рот платком и продолжал говорить.

Они стали неразлучны — комендант укрепленного района, военный моряк, бывший кочегар Александр Семенович Пушкин и чахоточный энтузиаст Матвей Матвеевич Луковский. Их накрепко связала история жизни другого Пушкина, Александра Сергеевича, о котором, пылая чахоточным жаром и восторгом, рассказывал Александру Семеновичу Луковский.

Теперь, проходя мимо своего бронзового тезки, отдыхающего на резной скамье, Александр Семенович Пушкин видел уже не беспечного мальчика. За этой беззаботной юношеской тенью вставала перед ним страшная страдальческая жизнь человека, родившегося в мае, чтобы маяться до конца. Человека, которого угораздило родиться с умом и талантом в душной гауптвахте николаевской казарменной России и жизнь которого шла под глухой рокот гвардейских барабанов, под мокрый хлест шпицрутенов по

окровавленным спинам, под звон цепей, заковавших лучших друзей и товарищей.

Жизнь, каждый живой росток которой обрезался тупыми ножницами цензуры!

Жизнь, ежедневно и бесконечно унижаемая «отеческой» опекой царя и оскорбительным покровительством Бенкендорфа! Отравляемая клеветой и обидами!

Жизнь, ставшая игралищем посторонней, страшной и необоримой воли! Шедшая по чужой указке и оборванная с жестоким равнодушием в час, когда она стала помехой титулованному лакейству.

Александр Семенович останавливался перед памятником и подолгу всматривался в задумчивые юношеские черты Александра Сергеевича. Теперь ему казалось, что в них проступает уже начало той истребительной тоски и отчаяния, которые сопровождали эту жизнь своей черной могильной тенью.

Александр Семенович тяжело дышал, и пальцы его, засунутые в карманы кожаной куртки, сминались в кулаки с такой силой, что синели ногти. Лицо его темнело и становилось каменным. Редкие прохожие, пересекавшие в такие минуты лицейский садик, опасливо обходили его точно вросшую в землю фигуру.

В ежедневных прогулках с Луковским он узнавал каждый раз новое о своем тезке. Он открывался Александру Семеновичу, как открывается моряку неизвестная земля. Сначала в голубоватом блеске морской дали встает чуть заметная темная полоска. Она медленно растет. Она поднимается из океана, окруженная белыми всплесками прибоя. Из общего контура начинают ясно выделяться отдельные вершины. Зеленеют леса. Золотящимися просторами ложатся поля, пересеченные светлыми лентами дорог. Белеют здания. С грохотом рушится якорь, и с мостика остановившегося корабля развертывается перед пришельцами жизнь на берегу, кипящая и полнокровная.

Стихи Александра Сергеевича зазвучали для Александра Семеновича во всей силе их неотразимого могущества. Густав Максимилианович Воробьев, первый посредник между Александром Семеновичем и Александром Сергеевичем, читал стихи внятно, но не умел оделять их полнотой звучания, волшебной жизнью. В жарком, взволнованном чтении Луковского стихи преображались. Александр Семенович не только слышал — он видел теперь

каждую строчку. Стихи становились физически ощутимыми в его непосредственном и жадном восприятии. Он поразному воспринимал их.

Будоражащий холодок восторга охватывал его от дерзких политических выпадов поэта. Он понимал уже теперь, какое героическое мужество нужно было для этих одиноких уколов лезвием стиха в железную броню николаевской монархии.

Его очаровывали сказки. Из «Золотого петушка» он многое запомнил наизусть с голоса Луковского. «Поп и Балда» привел его в исступленное восхищение.

Стихи, написанные в подражание древним классикам, с трудными мифологическими именами и непонятными намеками и символами, оставляли Александра Семеновича равнодушным и даже поднимали в нем злость.

— Ну, чего это? — говорил он тоскливо Луковскому.— Это ненужное, Матвей Матвеевич! Пустая игра! Вроде как самого себя под мышками щекотать. Только даром время тратил Александр Сергеевич. Сам же говорил, что нужно сердца человеческие пламенем жечь, а вместо того спичками балуется.

Стихи Александра Сергеевича становились для Александра Семеновича неотделимыми от его жизни. Они врастали в нее, как корни в землю. Они связывались незримыми, но неразрывными связями с этим городом, с парками, дворцами, памятниками, с Россией, с человечеством.

И однажды, после такой прогулки, прощаясь при выходе из парка под матовым светом встающей из-за деревьев луны, Александр Семенович, крепко стиснув руку Луковского, сказал с внезапной тоской:

— Эх, Матвей Матвеевич! Человек для всего народа писал. Кровью, можно сказать, писал, надрывался. А многие ли его знают? И проклятая же жизнь наша была, если девять десятых России в такой серости жили, как я вот! Обязательно, Матвей Матвеевич, надо, чтоб каждому человеку Александра Сергеевича прочитать насквозь. Как вы полагаете?

Худые пальцы Луковского слабо дрогнули в здоровой ладони Александра Семеновича и, откашлявшись, он конфузливо ответил надломленным голосом:

— Замечательный вы человек, Александр Семенович, и радостно думать, сколько таких людей освободила из тьмы наша страна.

8

Александр Семенович совещался у себя в кабинете с Воробьевым о проведении объявленной мобилизации нескольких годов, когда в распахнувшуюся без стука дверь ворвался Матвей Матвеевич Луковский.

Он подошел к столу и остановился, задыхаясь. На его зеленовато-землистых щеках передвигающимися кирпичными пятнами плавал румянец.

Александр Семенович и Воробьев удивленно смотрели на него. Луковский был явно и чрезмерно взволнован.

— Что такое случилось? — спросил, вставая и подвигая Луковскому стул, Александр Семенович.— Вы на себя, Матвей Матвеевич, не похожи! Словно черти за вами гнались. Садитесь, отдышитесь и рассказывайте!

Луковский сел. Спустя минуту, болезненно скривив рот, сказал:

— Извините, что я ворвался к вам, Александр Семенович, без предупреждения! Но, думаю, кроме вас, никто не поймет и не поможет.

— А в чем помочь нужно?

Луковский нервно забарабанил пальцами по краю стола:

— Я сейчас был в совдепе, Александр Семенович. Узнал, что председатель распорядился снести Чесменскую колонну.

Александр Семенович, не сводя глаз с Луковского, приподнял плечи:

— Зачем?

— Как памятник старого режима. Видите ли, он мозолит глаза товарищу председателю.

Александр Семенович сощурил ресницы и пристальнее взглянул на Луковского.

— А может, и правильно, Матвей Матвеевич? — спросил он после долгой паузы.— Кому он на радость, этот столб? Для потехи его поставили, чтоб турецкую нацию унизить и генерала Орлова прославлять. Пожалуй, что и не к месту он сейчас!

Луковский стремительно отшатнулся на спинку стула и поднял перед собой раскрытые ладони, как будто закрываясь от удара.

— Александр Семенович!— вскричал он жалобно.— Неверно же это! Может быть, на сегодняшний день это так. Но нужно же уметь смотреть и вперед. Сейчас нам

нужнее всего черный хлеб, но ведь боретесь-то вы не за черный хлеб, а за то, чтобы каждый имел белую булку. Детское Село — это сокровищница искусства для будущих поколений, которую мы обязаны сберечь даже в самых тяжких испытаниях. Все здесь связано с памятью Александра Сергеевича Пушкина. Эта колонна им воспета, она бессмертна, как Пушкин! Что вы ответите вашим детям, когда они вырастут и спросят: где Чесменская колонна, о которой мы читали, которую хотим видеть? Ее разрушили в год, когда в Детском Селе жил другой Пушкин, Александр Семенович, и он не захотел помешать этому бесцельному поступку...

Луковский захлебнулся словами, достал платок и вытер розоватую пену в углах губ.

Александр Семенович тяжело молчал, опустив глаза на изодранную клеенку стола. Неожиданный оборот, приданный делу Луковским, поразил и смутил его. Он раздумывал и колебался. Наконец поднял глаза и сказал с усмешкой:

— Нашел чем взять, Матвей Матвеевич! Хитрость это ваша, конечно. Черепушка у вас интеллигентская, разные ходы умеете пользовать. Ну ладно! Вместе в ответе будем. Попытаюсь... Вы, Густав Максимилианович, тут займитесь за меня, а я в совдеп пройдусь.

Александр Семенович застегнул куртку и вышел на улицу. Шел он медленно, в хмуром раздумье, а Луковский больной галкой ковылял сзади. У подъезда совдепа Александр Семенович вдруг резко повернулся и повелительно сказал спутнику, обращаясь на «ты»:

— Ты, Матвей Матвеевич, лучше иди домой и жди! Мы между собой скорей договоримся. А ты навредить можешь. Ступай!

И, махнув рукой, поднялся на крыльцо совдепа.

Председатель сидел в кабинете, осажденный десятком разозленных, обтрепанных баб, наступавших на него и кричавших зараз непонятные, но обидные слова.

Александр Семенович протиснулся сквозь бабью толпу, встал рядом с председателем и спокойно, сурово приказал:

— А ну, бабочки, повалите отсюда на минутку! Тут у нас дело экстренное, а вы пока прогуляйтесь на верхнюю палубу, прохладитесь ветерком!

В его тоне было такое не допускавшее возражений спокойствие и сила, что женщины сразу стихли и, одна за

другой, гуськом вытиснулись из председательского кабинета.

Председатель вытер вспотевшую шею и растерянно сказал:

— Просто замучили... Откуда я им возьму? И как это ты их выпер, просто понять не могу!

— Уметь надо с людьми обращение иметь,— ответил Александр Семенович, садясь на промятый диван и закуривая.— Нет в тебе, председатель, престижа! Егозишь, а народ этого не любит.

— Ты престиж! — обидчиво протянул председатель и спросил: — Зачем пришел?

Александр Семенович выпустил дым и неторопливо ответил:

— Дело есть... Ты мне скажи, с чего это ты с камнями воевать вздумал?

— Это то есть как понимать? — насторожился председатель.

— А вот прослышал я, что ты распорядился Чесменскую колонну завтра сносить. Так, что ли?

— Ну? — Председатель еще больше насторожился.

— Глупость делаешь! Ни к чему это!

Председатель втянул в себя воздух и встал.

— Спасибо, конечно, товарищ Пушкин, за совет. Только ваше дело военное и внутреннего городского хозяйства не касается. Памятник старорежимный, торчит ни для чего, а камень первого качества. Мы его на братскую могилу употребим для жертв.

— Не выйдет,— мотнул головой Александр Семенович.— Задний ход, братишка! Не позволю я тебе этого,— сказал он спокойно и как бы вскользь.

Председатель выскочил из-за стола и остановился перед Александром Семеновичем. Глаза его блеснули злостью.

— Ты с каких пор хозяин? — спросил он угрожающе.— Чего путаешься? Или тебе люб памятник Катькиному мерину?

Александр Семенович усмехнулся.

— Если б мерин был, Катька бы его в постель не взяла, тебя подождала бы,—отрезал он, обретая былую военморовскую неотразимость языка.

Удар подействовал, и председатель завертелся на месте от обиды и невозможности найти подходящий ответ. Не найдя, озлился и грубо брякнул:

— Иди, товарищ Пушкин, по свои дела! Я человек занятой. Мне некогда с тобой препираться. Решение проработано — и крышка. Памятник снесем, а если мешаться будешь, я на тебя управу найду.

Александр Семенович встал и поправил пояс.

— Ладно! Будь здоров! — сказал он равнодушно, протягивая руку.— Сноси! Только не забудь завтра с собой артиллерию прихватить. Без артиллерии не выйдет, братишка! Потому я сейчас у колонны охрану поставлю, пока тебя, дурака, разуму не научат.

И, не слушая председателя, хлопнул дверью.

Рано утром Луковский, снабженный пропуском и командировочным удостоверением, уехал в Петроград с подписанным Александром Семеновичем письмом в Комитет по охране памятников искусства и старины.

Через час вереница детскосельских буржуев, мобилизованных совдепом на общественные работы, мрачно потянулась через солнечный Екатерининский парк с кирками и веревками под предводительством заведующего городским благоустройством. Они подошли к игрушечному краснокирпичному Адмиралтейству, где был приготовлен паром для переправы к колонне, и начали грузиться.

Но, едва паром оттолкнулся от берега, на обочине постамента колонны словно чудом вырос часовой и, недвусмысленно щелкнув затвором винтовки, направил ее на паром, прокричав во весь голос:

— Ворочай назад! Стрелять буду!

Среди буржуев, набивших паром, вспыхнула паника. Бывший гофмейстер двора его величества, толкавший паром шестом по правому борту, бросил шест и, прыгнув в воду, не оглядываясь заспешил к берегу.

Операция сорвалась.

Вечером из Петрограда приехал уполномоченный Петроградского исполкома с грозной бумагой председателю совдепа — прекратить самочинные действия и не трогать ни одного камня в Детском Селе без разрешения из Петрограда.

Александр Семенович, гуляя вечером с Луковским, остановился на берегу против колонны и, прищурясь, лукаво кивнул головой в сторону ее тонкой гранитной свечи:

— Ввел ты меня, Матвей Матвеевич, в грех! Не по сердцу мне эта дубина. Только ради Александра Сергеевича спас. И не знаю, что ему в ней приглянулось.

9

Осень подходила в багрянце листвы, в холодке утренних хрустальных заморозков. Потом хлынули скучные, мелкие осенние бусенцы, заливая окрестности. По болотам пошли пузыри, гонимые ветрами и разлетающиеся брызгами. А под Псковом вспух и наливался гноем злобы генеральский пузырь Юденича.

Ночи и дни стали тревожными.

Гонимый ветрами интервенции, генеральский пузырь переползал по болотам, близясь к Петрограду.

К полночи, когда воздух становился плотным и звонким от холода, издалека доносилось тяжелое и глухое погромыхиванье орудий. С каждым днем оно надвигалось, становилось громче и весомее.

Ежедневные прогулки Александра Семеновича с Луковским оборвались.

Начиналась иная, пахнущая мокрым ветром и кислотою пороха боевая жизнь, и Александр Семенович расстался с Александром Сергеевичем. Он не забыл о нем. Но события отодвинули Александра Сергеевича за страницы боевых и политических сводок, за проволочные заграждения, за ломаные ряды свежевырытых окопов.

Александр Семенович не покидал управления. Он засиживался с Воробьевым до поздней ночи и оставался ночевать там же, расстилая кожаную куртку на столе и подкладывая под голову связку старых газет.

В управлении наступала тревожная тишина. Потрескивала мебель, и в углу шуршали бумагой расшалившиеся мыши. Александр Семенович лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к нарастающему грохоту. Сон не приходил. Тогда из кармана куртки вынимался томик, и Пушкин читал Пушкина.

Он похудел, осунулся, зарос шершавой бородой.

В ноябрьское утро его тревожный и чуткий предутренний сон был прерван внезапными, сотрясающими дом раскатами. Он привскочил на столе, торопливо стал натягивать сапоги. И сейчас же в комнату вошел озабоченный Густав Максимилианович, держа в руках серую бумажку.

— В чем дело? — спросил Александр Семенович, прыгая на одной ноге.

— Юденич прорвал фронт. Белые у Павловска, в пятнадцати километрах южнее. Вам телеграмма из Петрограда, Александр Семенович!

Александр Семенович взял серый клочок. По нему тянулись лиловые, расплывшиеся на оберточной бумаге буквы:

«Коменданту детскосельского укрепрайона точка предлагается принять командование боевым участком точка принять меры недопущению противника в город точка исполнении донести наштафронт».

Александр Семенович бережно сложил бумажку и сунул ее в карман куртки. Повернулся к военруку, серьезный и строгий.

— Ну, Густав Максимилианович! Подошла наша пора. Не сдадим Детского Села пузатому таракану!

Густав Максимилианович вытянулся:

— Какие будут распоряжения по участку, товарищ Пушкин?

10

Было еще темно.

Фонарь стрелочника, стоявший на столе, расплывался по стенам будки мутными пятнами света, но в окно уже начинал сыпаться синеватый пепел рассвета.

Александр Семенович поднял голову от распластанной на столе двухверстки, протянул руку и, отломив краюху от буханки черного хлеба, вгрызся в нее.

— Сладкая пища — черный хлебец! — сказал он военруку.— Лучше нет еды.

Медленно, со вкусом, прожевал хлеб, утер губы ладонью, посмотрел на светлеющий квадрат окна и вдруг засмеялся.

— Что вы, Александр Семенович? — спросил военрук.

Александр Семенович потянулся так, что хрустнули плечи.

— Свою жизнь вспомнил, Густав Максимилианович. И даже странно мне стало, как иногда жизнь человеческая оборачивается. Сколько места в России; одних городов не сосчитать сразу, а надо ж было мне попасть в Детское, к Александру Сергеевичу в гости! И пошла от от этого моя тревога...

— Тревога? — удивился военрук.

— Ну, как это сказать правильней?.. Не знаю. Только от него я другим человеком стал. Многое мне через него захотелось. И понял я, какие мы жили темные, словно слепые щенки. Возьмем меня, к примеру. Я ведь ничего, кроме революции, не смыслил. Да и к ней чутьем тянулся

одним, вот как щенок ощупью титьку находит. А вот с Александром Сергеевичем повстречался, и ныне ясно мне стало, как много человеку знать нужно, и края тому знанию нет. В две жизни и то всего нужного не осилишь. Как это у Александра Сергеевича про разум сказано: «Да здравствуют музы, да здравствует разум...»

Александр Семенович замолчал и посмотрел в окно.

Тусклый фонарь на столе жалко мигал, уступая комнатушку холодной синеве морозной зари.

— Смешно мне теперь вспомнить,— продолжал Александр Семенович,— как я впервые перед памятником Александра Сергеевича стоял, как баран перед новыми воротами. Силюсь вспомнить: что такое? Знакомо как будто, а мозги еле ворочаются. А как я Александра Сергеевича насчет приверженности к царю заподозрил. Дура лопоухая! Ну, а теперь, Густав Максимилианович, как генералишек доконаем — многое нам откроется. Только успевай!

За окном, раскатившись дребезгом в закопченных стеклах, гулко ударил пушечный выстрел и забили сухим треском винтовки.

Александр Семенович нахлобучил бескозырку.

— Вы здесь оставайтесь, Густав Максимилианович, распоряжайтесь, а я пройду по окопам. Начинается, а бойцы молодые, необстрелянные!

В дверях Александр Семенович повернулся на мгновение.

— Вот, загадываю я, Густав Максимилианович: настанет ли такое время, когда не будет по всей России человека, который бы не знал Александра Сергеевича? И так полагаю, что настанет. Владимир Ильич недаром дело начинал, он обо всем додумал заранее,— и об том, чтоб народу свет разума дать, додумал.

Дверь захлопнулась.

Густав Максимилианович Воробьев несколько секунд смотрел вслед ушедшему, часто мигая воспаленными от бессонницы веками. Потом сдвинул на лоб очки и платком протер глаза, внезапно заволокшиеся влажной мутью.

11

Бой гремел и грохотал над унылой осенней равниной.

Боевой участок отбивал третью яростную атаку ударных частей полковника Родзянко.

В будку, где сидел, управляя механикой боя, Густав Максимилианович Воробьев, только что явился связной с левого фланга участка с донесением командира роты.

Командир жестокими каракулями сообщал, что белые лезут напролом, и просил резервов. Густав Максимилианович посмотрел на связного бесконечно усталым взглядом.

— Передайте ротному, что никаких резервов больше нет. Пусть держится до последнего патрона и до последнего человека. Отступать нельзя и некуда,— нарочито сурово сказал он, сейчас же отводя глаза, зная, что этим приказом он обрекает на смерть сотню людей.

Связной вздохнул и взялся за ручку двери. Но дверь раскрылась сама, неожиданно и стремительно, ударив связного в плечо и отбросив его к стене.

На пороге стоял, задыхающийся и бледный, незнакомый красноармеец.

— Откуда?..— начал Густав Максимилианович.

Но красноармеец предупредил вопрос.

— Товарищ военрук,— сказал он, и губы его запрыгали в неудержимой судороге,— товарища Пушкина... убили... Несут его сейчас.

Забыв на мгновение обо всем, Воробьев выскочил наружу.

Четверо красноармейцев, хлюпая бутсами по подтаивающей грязи, несли на шинели вытянувшееся тело. Свисали сапоги, задевая землю при каждом шаге несущих.

Густав Максимилианович подбежал. Он увидел бледное лицо Александра Семеновича, восково-прозрачное и без кровинки. Полуоткрытый рот обнажил ровные молодые зубы.

Густав Максимилианович нагнулся над телом.

— Александр Семенович! Товарищ Пушкин!

Веки Александра Семеновича слабо дрогнули. Он открыл глаза и поглядел на военрука странным, отсутствующим взглядом. Облизнул побелевшие губы и с бессильной и мучительной улыбкой сказал:

— Не сдавай Детского, Густав Максимилианович! А я сыграл...

Густав Максимилианович выпрямился.

— Ребята! Мигом на патронную двуколку — и в город!

Красноармейцы подхватили шинель и быстрым шагом пошли за будку.

Густав Максимилианович машинально снял папаху. Плечи его ссутулились. Но сейчас же он обернулся на конский топот за спиной.

Подскакавший красноармеец оскалился торжествующей улыбкой:

— Товарищ военрук! Отбили! Бегут, сволочи, как зайцы! Наклали их полно болото.

12

Александр Семенович умирал.

Он лежал в крошечной лазаретной палате. Голова его, со спутанными волосами, росинками пота на лбу и запавшими глазами, глубоко ушла в подушки. Он часто и хрипло дышал.

У кровати, не сводя глаз с заострившегося лица, сидели Густав Максимилианович и Луковский.

— Пить! — сказал Александр Семенович, и Воробьев поднес к его губам кружку с холодным чаем.

Застучав зубами о край кружки, Александр Семенович отпил два глотка и опять опустился на подушки.

— Скоро кончусь,— произнес он ясно и спокойно, и от этого голоса Воробьев едва не выронил кружку.

— Ерунда, Александр Семенович! — сказал он лживо бодрым голосом.— Поправитесь.

По губам умирающего скользила жалкая улыбка.

— Себя утешаете,— сказал Александр Семенович.— Не нужно это. Я знаю... Пуля кишки прорвала, с этого не выживают.

Он еще мучительней усмехнулся и тихо добавил:

— Как Александр Сергеевич, помру! И рана такая же!

Луковский отвернулся к стене и странно засопел. Александр Семенович вытянул руку и коснулся его колена.

— Не горюй, Матвей Матвеевич! Видишь, как судьба обернулась. Думал ты, что помрешь раньше меня, а выходит наоборот.

Он закусил губы и беспокойно пошевелился от надвинувшейся боли.

— Жалко,— продолжал он через минуту,— не доживу до хороших времен. Переменится жизнь, дети подрастут, а я...

Он помолчал. Пальцы правой руки судорожно сжали одеяло.

— Ну что ж... Не всем жить! Кому-нибудь и умирать надо, чтобы другим жилось по-человечески. Не даром умру. Было за что... Не дойдет Юденич до Петрограда... Не пропустим... Верно?

— Не пропустим, Александр Семенович,— сдавленным голосом ответил Воробьев, стараясь говорить твердо.

Наступила долгая смутная тишина.

Внезапно Александр Семенович широко открыл глаза и схватил Воробьева за руку.

— Похороните меня,— голос Александра Семеновича стал чистым и звонким,— похороните в парке, там, где братская могила...

Он замолк, поднял руку, провел по лбу и с извиняющейся улыбкой тихо закончил:

— Вздор это, конечно... Лежать все равно в какой яме... Только припомнилось мне...

Александр Семенович вдруг приподнялся на локте и медленно, протяжно проговорил, как в бреду:

...Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Вытянулся, словно прислушиваясь к этим звукам, и, опускаясь на подушки, прошептал:

— Слова какие, друзья! Какие слова!

Он закрыл глаза и как будто задремал.

Больше он не произнес ни слова до рассвета. Когда в палате посветлело, легкая дрожь прошла по его телу. Он пошевелился и уже неповинующимися губами прошептал что-то непонятное. Нагнувшемуся к нему Луковскому не удалось разобрать ничего.

Бульканье в горле оборвало речь умирающего.

Александр Семенович впал в забытье.

Через полчаса он глубоко вздохнул и затих.

Густав Максимилианович и Луковский исполнили его просьбу. Александр Семенович Пушкин похоронен в братской могиле Александровского парка.

Октябрь—ноябрь 1936 г.

ЧЕРТЕЖ АРХИМЕДА

«Nazi» — фамильярное название немецких фашистов.

Из политического словаря.

«Nazi» — syphilis. Avoir le nazi — être syphilitique.

Vocabulaire du milieu[1].

1

Они входили в город около полудня.

. . . .

Ночью и на рассвете еще клокотал бой. Уличный бой — суматошный и жестокий, в котором не щадят никого.

Луис Родригес Рональхо не спал всю ночь.

Он закутал ноги пледом и опустился в глубокое кресло у квадратного окна мастерской, выходившего на площадь Сан-Тирсо де Леон. Неподвижный, едва различимый в неосвещенной мастерской, он пытался разглядеть сквозь узкие щели опущенных жалюзи то, что происходило на улице.

Он не думал о смерти. Эта мысль ни разу не коснулась его. Он просто не мог представить себе, что шальная пуля может, пронизав тонкую пленку стекла, раздробить его знаменитую седеющую голову.

Прижимаясь лбом к острым граням дощечек жалюзи, он смотрел в бархатную темноту до боли в зрачках. Он никогда не обращал внимания на эту площадь в ночные часы и сейчас не узнавал ее. Она открывалась ему, как неизвестная земля. Залитая солнцем и маленькая в дневные часы, она бесконечно расширилась. В черных изломанных и таинственных громадах, выступавших из темноты, глаз его с трудом узнавал очертания старинных домов,

[1] «Nazi» — сифилис. Получить «nazi» — стать сифилитиком. *Из словаря арго (фр.).*

кольцом окружавших площадь. Днем это были простые невысокие дома, камень которых давал под солнечным ливнем изумительные золотистые отсветы и глубокие сиреневые тени. Пушистые, подстриженные каштаны сквера раскачивались под осенним ветром, как черные воздушные шары, готовые сорваться и удерживаемые лишь на привязи ствола.

Сквозь жалюзи скользил влажный, упругий ветер. В течение двадцати лет он приносил в мастерскую йодистую пряную свежесть моря и женственную, расслабляющую отраву роз, заполнявших соседние сады.

Но сегодня к его привычным ароматам примешивался новый, незнакомый и острый, запах с кисловатым, вызывающим слюну привкусом. Родригес Рональьхо долго принюхивался к нему, взволнованный и раздраженный, пока не угадал в нем гарь бездымного пороха.

В темноте за окном часто взблескивали узкие сверкающие полоски. Они были похожи на сверкнувший в стремительном выпаде клинок шпаги.

Это хлестали огнем винтовки республиканской милиции, защищавшей восточный выход площади. Иногда это мигание узких пламенных язычков так учащалось, что вспышки их походили на беспрерывную цепочку вспыхивающих лампочек световой рекламы.

В третьем часу ночи над площадью пронесся короткий железный стон, захлебнувшийся в клекоте. Напротив окна, в направлении, где глаз Родригеса Рональьхо угадывал древнее здание Каса Консисториаль, взлетели высокие столбы ярко оранжевого пламени. Один... через секунду второй. В их беглом свете на мгновение выступил четкий, словно наклеенный на глянцевитую тьму, угол здания с чугунной решеткой и полуовальным порталом, покрытым окаменелым кружевом мраморной резьбы.

Несмотря на значительное расстояние и неверный свет взрывов, Родригес Рональьхо увидел каменный узор до мельчайших завитков. Увидел потому, что издавна знал его наизусть. С детских лет, проходя ежедневно по площади, он всякий раз останавливался с неугасающим волнением перед фантастическим созданием мавританских зодчих.

При первой вспышке огня мраморная паутина отчетливо выступила перед его глазами. Новая вспышка... Головокружительный узор мрамора исчез. На его месте возникла безобразная черная дыра. Ее рваные края кури-

лись каменной пылью, и Родригес Рональхо вдруг почувствовал на губах ее едкий, сухой вкус.

Он быстро подался вперед и больно ударился лбом о дощечки жалюзи. Прижав ладонь к ушибленному месту, он откинулся на спинку кресла и коротко простонал от боли и негодования. Минуту он сидел неподвижно, закрыв глаза. Веки болели от напряжения, и длинными узловатыми пальцами он стал массировать их круговыми движениями.

Он не слыхал тяжелого грома разрывов, придавившего площадь и всколыхнувшего пол мастерской под его ногами. Он не слышал и участившегося винтовочного и пулеметного треска, отрывистых криков команды, топота бегущих ног и человеческого протяжного и мучительного воя.

Звуки не занимали его сознания. Он не был музыкантом. Он был живописцем. Он извлекал из тревожной темноты ночи только цветовые и световые слагающие, пренебрегая звуками. Он жадно следил за огненными язычками винтовок, за полыхающими кострами разрывов. Сражение привлекало его как сложный комплекс цветовых ощущений. Разрывая взглядами непроницаемость ночи, он откладывал в памяти угрюмые краски беспощадного ночного боя. Запоминая их, он мысленно сравнивал их суровую гамму с батальными полотнами старых мастеров.

Захваченный своими впечатлениями, он не думал о разрушениях, которыми сопровождается сражение в городе. Но только что происшедшая на его глазах катастрофа, уничтожившая портал Каса Консисториаль, привела его в ярость.

Скоро ли кончится эта раздражающая дьявольщина?

Почти месяц длится бестолковая и шумная неразбериха. Улицы с утра до ночи переполнены вооруженными, куда-то спешащими людьми. Парикмахерские подмастерья, студенты, слесаря, мебельщики, шоферы, портовые грузчики, обвешанные оружием, наводняют город, носятся с бешеной скоростью на гремящих грузовиках, отравляя город бензинным чадом. Собираются шумными толпами на площадях, в парках, в театрах. Вытянув шеи, слушают исступленных, охрипших ораторов с синими от небритых щек лицами, разбивающих в экстазе речей кулаки о края импровизированных трибун. Пикадоры и бандерильеросы врываются в дома мирных граждан, перерывают все в поисках спрятанного оружия, отбирая даже старинные родовые шпаги, обшаривают чуланы и кладо-

вые. Опрокидывают вагоны трамваев, рубят деревья, таскают бульварные скамьи, загораживая улицы непролазными баррикадами. Ведут себя так, словно всегда были хозяевами этих зданий, города, земли.

Газеты говорят, что народ осуществляет свой суверенитет. Отлично! Но зачем делать это с таким беспорядком и шумом? Испанский народ — самый чудесный народ.

Родригес Рональхо искренне любил народ. Он всегда видел в нем источник своего искусства, неисчерпаемую копилку типов и красок. Он любил народ и любил Испанию, потому что сам был сыном народа и сыном Испании. Любовь эта была естественна, как любовь к матери, любовь к жизни. В своих веселых и жадных странствиях художника он исходил всю испанскую землю с ящиком красок за спиной. Он знал цвет земли в любой провинции и вкус воды всех рек и пыли всех дорог.

Он ночевал в крестьянских лачугах и придорожных тавернах в те годы, когда его имя не звучало еще, как волшебное заклинание, открывающее любую дверь даже за рубежами испанской земли. Тогда он был только нищим студентом, цыганским бароном, все имущество которого заключалось в молодости и в уменье класть на холст выдавленные из тюбиков краски так, что они горели и радовали глаз.

В те годы у басков и каталонцев, у астурийцев и андалузцев он находил одинаковое сердечное гостеприимство. Он любил сидеть у закопченных стен, освещенных отблеском деревенского очага, у которого престарелая бабка или седой патриарх рассказывали простые и мудрые крестьянские присказки и таинственные легенды. Он учился вместе с деревенскими парнями ловить ртом на лету перевитую струю вина, льющуюся из узкого горлышка кувшина, и играл с ними в старинные игры. Он шалил с девушками в сумерках цветущих садов, когда месяц стоит в прозрачном небе, как изогнутый клинок. Он выслушивал жалобы и признания, давал советы в сложных и сутяжных земельных делах и писал длинные прошения алькальдам и судьям. Он чувствовал себя кровно связанным с народом, и это ощущение оставалось с ним и сегодня. Кто может сказать, что теперь, когда при его имени крестьяне снимают шапки, он потерял эту неразрывную связь с народом? Он чувствует себя другом испанского народа.

Народ осуществляет свой суверенитет? Но он не может осуществлять его сам. Народ прекрасен и достоин ува-

жения, но он груб и первобытен. Половина населения не умеет подписать свое имя на брачном контракте. Знание народа исчерпывается уменьем считать до ста и несколькими молитвами, заученными на слух у деревенского попа. Народ есть народ, а государство есть государство. Государство — это искусство управлять. А оно требует гибкого мозга, духовной тренировки, высокой культуры.

Не толстый примитивный мужик Санчо Панса, а благородный энтузиаст, гидальго Дон Кихот Ламанчский вел испанский народ в его исторической миссии.

Дон Кихот — мечтатель, странник, философ — открывал страны, писал книги, создавал законы и утверждал испанскую государственность. Он был квинтэссенцией высоких достоинств народа, его представителем перед остальным миром, его душой и мозгом. И он должен был им оставаться.

Народ вправе сменять правителей, когда они попирают закон, свободу и добрые нравы. Но народ не должен сам становиться властью.

Судьба Испании требует умелых рук и государственного опыта. Одна за другой исторические катастрофы расшатывали могучее некогда тело страны. Бездарная династия вислогубых дегенератов, истощив себя в сомнительных авантюрах, слетела в пропасть, и в круговороте событий на ее место встала солдатская диктатура Примо де Ривера, вынужденная силой вещей идти по тому же пути кровавых колониальных авантюр, унесших цвет испанского юношества в бесплодной марокканской войне. Народ смел диктатора. Испания получила, наконец, здоровый демократический строй. Правительство президента Асанья могло бы стать тем осторожным и умелым рулевым, который вывел бы Испанию из бурунов на тихую воду. Но в дело вмешались красные. Эти крикуны-анархисты с бомбами в карманах. И еще хуже — коммунисты, одержимые крайними фантазиями марксизма. Они начали давить на правительство, понуждая его к опасным опытам.

Коммунисты отрицают нацию и отечество, а это повело бы к окончательной гибели Испании. Они вооружали рабочих и мужиков, не думая о последствиях. Они мечтали о захвате власти под флагом объединения со здоровыми государственными элементами в народном фронте. Дать в руки темного, неграмотного народа верховную власть — это то же, что пустить вооруженного палкой

ребенка в лабораторию, наполненную тончайшими приборами. Без злобы и без желания причинить вред, он перебьет и разнесет все, не отдавая себе даже отчета в том, что делает.

Красные своими неумеренными опытами вызвали раздражение и негодование даже в тех слоях, которые сначала шли за ними. И вот результат. Испания встала за нацию, за закон и религию. И вспыхнул страшный, разрушительный огонь гражданской войны.

Родригес Рональхо вздохнул и, привстав, взял со столика серебряный кофейник. Потянул прямо из горлышка оставшийся с вечера холодный кофе. Кофе был горьковат и приятно освежил пересохший рот. Художник поставил кофейник обратно и опять ушел в размышления.

Религия! Родригес Рональхо, художник, интеллигент, свободная творческая личность, никогда не был исступленным фанатиком, воинствующим католиком.

Но уничтожать религию росчерком декрета нельзя. Что заменит ее? Откуда народ будет брать правила простой, доступной его пониманию морали? Не утеряет ли он нравственную опору, духовное здоровье? Заповеди братской любви, бескорыстия, милосердия и кротости — их дала человечеству религия. А инквизиция? Вздор! Инквизиция — болезнь христианства, мрачное извращение, повальный психоз обезумевших монахов, впавших в человеконенавистничество от свинцовой тоски монастырских стен. Христианство преодолело этот кризис, и не черное имя Торквемады, а имена Франциска Ассизского, святого Доминика, святого Мартина сияют любовью и духовным величием.

И если жирные попы воруют лепту из церковных кружек, а в кельях развратничают бездельничающие монахи,— идея католицизма, философия христианства остается нетленной и незапятнанной. И нужно хранить уважение к ней, к освященной веками истории борьбы поколений за христианскую Испанию.

Родригес Рональхо нагнулся и чиркнул спичкой по полу, прикрывая огонек руками, чтобы не привлечь внимания с улицы,— свет в окнах вызывал стрельбу,— и закурил. Выпуская дым, он усмехнулся воспоминанию.

Это было совсем недавно. Революционный муниципалитет прислал ему бумагу, в которой извещал, что назначает его представителем от искусства на вскрытие подвалов с мощами святых в монастыре Санта-Тереса. Вначале

он возмутился бесцеремонностью муниципалитета, назначившего его, не спросив согласия, но любопытство художника превозмогло. Осуждая в душе это предприятие как бесцельное кощунство, он отправился в монастырь.

У замурованной двери подвала стояли часовые. Они не были похожи на солдат. В стареньких узких пиджаках и цветных рубашках с широкими поясами. Новые винтовки, разобранные из арсенала, непривычно висели на их спинах и казались ненужным декоративным украшением. Вокруг гомонила, смеялась и пела веселая толпа,— те же портовые грузчики, студенты, ткачихи с фабрики гобеленов.

Они переглядывались, перекидывались шуточками. Мужчины обнимали повизгивающих девушек. В их поведении не было ни решительности, ни уважения к скрытой под каменным сводом тайне, ни испуга перед ней. Как будто они пришли на забавный спектакль, на рядовой сеанс кино.

Комиссар с шарфом на рукаве провел художника через толпу. Он услышал свое имя, шорохом прошедшее по толпе. Пред ним почтительно расступились. Громадный, худой пикадор с впалым животом, на котором был стянут пояс с потускневшими блестками, снял перед ним свою бархатную шапочку, украшенную помпоном.

Смуглая ткачиха с лицом цвета зреющего оливка, того теплого тона, который так любил Родригес Рональхо и который он так прекрасно передавал на своих полотнах, смутясь, кинула ему пучок нарциссов. Он поймал его на лету с чувством гордости, которое всегда рождалось в нем при сознании, что его имя известно всей Испании, и кончиком пальцев послал девушке поцелуй.

Два запыленных каменщика ударили кирками в горячий камень. Посыпались каменные крошки. Взвилась пыль.

Заведя острия кирок в расширенную щель между замочными камнями, каменщики, крякнув, выворотили плиту. Из черного прямоугольника дохнуло застарелым тленом, и художник ощутил внезапную тоску.

Камень за камнем с глухим хрустом вываливались из гнезд, и руки ближайших из толпы передавали их назад. Когда отверстие стало достаточно широким, оба каменщика отложили кирки и спустились по ступеням в затхлую темень склепа.

Толпа надвинулась, стихшая, напряженная. Ее горячее

дыхание обжигало затылок, и художник невольно вздрогнул. Это было похоже на дыхание зверя, готового броситься на добычу.

Из склепа показались всклокоченная, покрытая паутиной голова и согнутая спина первого каменщика. На его плече лежал угол гроба. Обнажая высохшее и растрескавшееся дерево, свисали клочья материи и выцветших позументов. Руки зрителей подхватили гроб и поставили его стоймя к стене. Худой пикадор, натужившись, рванул верх крышки. Она отвалилась с противным скрипом.

Толпа ахнула и подалась назад.

Родригес Рональхо с холодным и брезгливым любопытством смотрел на труп монаха. Коричневая ряса из грубой шерсти, подпоясанная веревкой, лежала на теле крупными складками, как каменная. Из широкого прореза ворота вытянулась черная ссохшаяся шея. Туго обтянутая затвердевшей кожей, высохшая голова цинично скалила изъеденные зубы. Торчали острые скулы.

Люди чуть слышно перешептывались, потрясенные отвратительным зрелищем вылезшей на дневной свет смерти. Родригес Рональхо отвернулся со скукой и омерзением.

Показался второй гроб. Его поставили также у стены, и тот же пикадор оторвал крышку. Волна белого истлевшего шелка поползла за ней, распадаясь на лету и осыпаясь на землю крупными лоскутами. Родригес Рональхо в изумлении отступил.

Перед ним, в узком футляре гроба, стояла молодая женщина.

Сухой воздух склепа поразительно сохранил ее совершенно обнаженное от распавшегося платья тело, ушедшее из жизни три столетия назад.

Как бы ни звали ее, кто бы она ни была — крестьянка или герцогиня,— вековой сон под стенами монастыря не смог отнять у нее молодости и прелести. Смертное разрушение почти не коснулось ее. Только выпукло выступили ключицы, и орбиты запали, окруженные темным венчиком, как от любовной усталости.

Длинные косы падали вдоль ее бедер, сохранивших девическую округлость и мягкость очертаний. Она была похожа на статую из пожелтевшей от времени слоновой кости. Одну из тех статуй, сделанных безыменными набожными мастерами древности, которые хранятся в алтарях и которых к праздникам одевают в шелка и бархат

служки-монахи, лаская руками полированную поверхность тела и задыхаясь от неосуществимого желания.

За своей спиной Родригес Рональхо услышал сдавленные возгласы людей, ошеломленных этим капризом природы.

— Красавица!

— Совсем как живая!..

— Смотрите... смотрите...

Родригес Рональхо забыл, что он пришел в качестве бесстрастного эксперта для разоблачения церковного обмана. Его глаза заблестели и остро оглядывали необыкновенную мумию. Он сунул уже руку в карман пиджака, где, как всегда, лежал маленький альбом для набросков и карандаши. Ему хотелось зарисовать это непрочное видение. Он знал эфемерность таких чудом сохранившихся трупов. Достаточно прикосновения — и все обращается в пыль. Карандаш торопливо клал линии.

В это мгновение пикадор, стоявший у гроба и в забавном изумлении разглядывавший тело, сдвинул на затылок шапочку и с беззаботной усмешкой повернулся к толпе.

— Монашек не дурак,— сказал он, подмигивая на чудовищный труп монаха,— уволок в землю шикарную девчонку. Если бы я знал, что мне в аду дадут такую же, я сразу отправился бы к дьяволу, чтобы поспать с ней. Такую можно увидеть только во сне под воскресенье... а?

И твердой загорелой ладонью он фамильярно шлепнул мертвую по животу.

Молчавшую толпу сразу прорвало хохотом. Мужчины хохотали откровенно, женщины сконфуженно повизгивали.

Пикадор сделал свой непристойный жест со всем добродушием и искренностью здорового простака, восхищенного женщиной, хотя и мертвой, но прекрасной и соблазняющей. В конце концов, отчего не одобрить красотку, которая, наверное, не отказывала в поцелуях и была желанна для многих. В этой выходке было своеобразное признание и уважение.

Но Родригес Рональхо отшатнулся, как будто его ударили в лицо.

Он обдал пикадора вспыхнувшим взглядом, повернулся и с туманом в глазах, не видя, пошел тяжело и быстро через стихшую и расступавшуюся толпу. Маячили рас-

красневшиеся, возбужденные лица мужчин и опущенные в притворном смущении ресницы женщин.

Художник прокладывал дорогу и с каждым шагом чувствовал, как нарастает отчужденность между ним и людьми. Он входил в одиночество, отделявшее его невидимой гранью от веселья, от беззаботных людей, от испанского народа.

Когда он вырвался на простор монастырского двора, его догнал сухой и презрительный голос:

— Сеньор обиделся за свою возлюбленную сеньориту... Они все такие. Только им можно вкусно жрать, сорить деньгами и спать с красивыми бабами.

Родригес Рональхо нервно втянул голову в плечи, как будто за этим голосом должен был последовать выстрел в спину.

Он вернулся домой озлобленный, негодующий.

Чернь! Невежественная, разнузданная чернь, не понимающая элементарных человеческих чувств. Лишенная уважения даже к мертвым. К прошлому, настоящему и будущему.

Нет!.. Он не пойдет за народом в его безумии. Не пойдет потому, что жалеет и любит этот народ, который без разумного пастыря превратится в озверелое стадо, могущее разрушить и уничтожить Испанию, ее накопленные веками сокровища — духовные и материальные. Все наследие предков, за которое пролито столько крови, которому отдано столько творческих мук лучших умов.

Весь день он не мог уйти от тяжелых мыслей.

Вечером, когда синие тени пали на окно мастерской, старая экономка Ассунсион испуганным шепотом сообщила ему, что в заднюю калитку сада постучался неизвестный юноша, назвавшийся посланцем к художнику от его друзей. Он настаивал на личной встрече с хозяином дома. У него важные поручения, которые он может сообщить только самому сеньору.

Недоумевающий художник приказал ввести странного посетителя.

Маленький и щуплый, одетый в полувоенную рваную и грязную одежду, юноша вошел в мастерскую, подозрительно озираясь и зло поблескивая глазами, как волчонок, ожидающий нападения.

Когда Ассунсион удалилась, смерив пренебрежительным взглядом старой чистехи этого сомнительного обор-

ванца, тот огляделся, плотно прикрыл дверь и назвал спокойно ожидавшему художнику свое имя. Это было одно из самых блестящих имен испанской истории.

Родригес Рональхо сдержанно поклонился, выжидая дальнейшего.

Распоров подкладку своей куртки, юноша вытащил оттуда письмо и вручил его художнику. Пальцы его тонкой, бледной руки были грязны и нервно вздрагивали.

Родригес Рональхо взрезал ножницами измятый конверт. Взглянул на подпись и внутренне поморщился. Письмо было от генерала, маркиза Мунексас де Лосойя, командовавшего национальными частями, наступавшими на город.

Художник не любил военных. Он уважал нацию, но презирал генералов. Тупые, бездарные, цветистые, как павлины, они были еще гаже, чем попы и чиновники. Провалившийся диктатор Примо де Ривера был ярким представителем этих раскрашенных манекенов со свинцовыми мозгами. То, что национальное движение возглавлялось генералами, пугало художника. Но он утешал себя тем, что генералы нужны, пока идет война. После войны генералы уйдут — Испания останется.

Маркиза де Лосойя художник знал лично.

Обнищавший последыш испанской аристократии, маркиз молодым офицером отправился за счастьем в Марокко и вернулся оттуда в чине полковника и с большими деньгами загадочного происхождения. Во время мировой войны он стал шефом темных дельцов, снабжавших германские подводные лодки, оперировавшие в Средиземном море, соляровым маслом и шпионскими сводками. После заключения мира он позолотил свой ощипанный титул браком с дочерью аргентинского трикотажного герцога, потерявшей обе ноги в автомобильном акциденте. Родригес Рональхо был приглашен написать портрет маркизы. Аргентинка была молода и красива. Она передвигалась по дому в кресле, снабженном мотором. Увидев ее впервые, Родригес Рональхо был потрясен жалостью к юному искалеченному существу, связавшему свою жизнь с безмозглым солдафоном. Эта жалость сменилась сердечной симпатией к умной и доброй женщине, одинокой и открыто третируемой. Она умерла через год после того, как был закончен портрет.

После похорон Родригес Рональхо просил генерала разрешить ему сделать для себя копию с портрета. Гене-

рал любезно подарил ему оригинал. Деньги аргентинки уже принадлежали ему, а в портрете калеки он не ощущал необходимости. Художник повесил портрет у себя в мастерской.

Письмо маркиза было изысканно вежливо.

Он приветствовал от имени национального командования великого испанского художника, гордость нации, вынужденного силой обстоятельств к «ужасной жизни в плену у красных разбойников». Маркиз выражал надежду, что это несчастье продлится недолго и национальная армия принесет свободу славному сыну Испании на своих доблестных штыках. Маркиз просил сеньора Рональхо беречь себя для общего блага и в заключение просил сообщить посланцу, «юному наследнику традиций Сида», необходимые национальной армии сведения о количестве республиканских войск в городе и их вооружении.

Родригес Рональхо глубоко презирал генерала как грязного авантюриста и безнравственного спекулянта. Но маркиз писал не как частное лицо, а как представитель национального движения, как человек, который силой оружия защищал испанскую культуру и испанскую государственность от красных, разрушавших эту культуру междоусобицей и анархией. Он сам безнадежная скотина — этот маркиз, но он воюет за право и порядок.

— Вы медленно движетесь,— резко сказал художник, сложив письмо, «наследнику Сида», настороженно следившему за ним,— вы не умеете привлекать сторонников. Ваша пропаганда бездарна и скучна... Так вы никогда не победите...

Посланец облизнул синеватым языком тонкие губы и пожал плечами.

— Мы деремся. Мы солдаты, а не проповедники. Это дело красных...

— Что? Глупость! Умные вещи нужно перенимать, хотя бы и у красных. Презрение к противнику — добродетель дураков, молодой сеньор...

Юноша поднял на художника пристальные холодноватые зрачки.

— У меня нет времени вступать в споры, дон Луис. Я должен немедленно возвратиться к генералу. В полночь люди, занимающие передовые посты красных и преданные нам, сменяются, и тогда мне нельзя будет пробраться назад. Вы можете изложить ваши любопытные теории генералу при личной встрече, он, вероятно, за-

интересуется ими. Я же должен получить от вас требуемые генералом сведения.

Он вынул из кармана блокнот, продолжая пристально смотреть на художника. Тон его был вежлив, но Родригесу Рональхо показалось, что мальчишка издевается.

Он сделал резкое движение рукой, как бы отталкивая вызывающий омерзение предмет.

— Передайте сеньору маркезу,— сказал он сухо,— что я буду рад видеть национальную армию победительницей смуты, колеблющей Испанию. Я хочу счастливой судьбы Испании, но я человек искусства. Все, что не принадлежит искусству, мало волнует меня. Я художник, но не шпион. Я с удовлетворением встречу армию, спасающую мою культуру и государство, но я не предаю людей даже чуждого мне лагеря. Я ненавижу предательство и убийство. Я гуманист.

«Наследник Сида» слушал, склонив голову и смотря на художника исподлобья. Родригес Рональхо встретился с его взглядом, и неприятное ощущение прошло по всему его телу. Эти неподвижные глаза... Это уже не взгляд озлобленного волчонка, а равнодушно-жестокий, запоминающий и гипнотизирующий взгляд змеи.

Родригес Рональхо передернул плечами и жестко сказал:

— Можете идти! Экономка проводит вас к безопасному выходу.

Посланный поклонился и вышел. Несколько дней Родригес Рональхо среди работы внезапно вспоминал его змеиные глаза с раздражением и почти страхом. Но понемногу память о нем стерлась...

Родригес Рональхо очнулся от дум. Стрельба на улице усиливалась. Он откинул плед, поднялся и подошел к роялю, на котором стоял потайной фонарик. Он взял его и, перейдя мастерскую по диагонали, остановился в углу и поднял руку. Желтый тусклый свет упал на усталое и печальное женское лицо. Маркиза де Лосойя ясными и чистыми глазами смотрела на него с полотна. Художник любил этот портрет, написанный с искренним подъемом, мягкими и плоскими мазками. В дрожании света лицо, казалось, шевелилось и оживало.

Пак!..

Тупой удар и треск. Там, у окна, где он сидел. Художник обернулся и, поставив фонарик на рояль, быстро подошел к окну. Сквозь щели жалюзи уже светилось пред-

рассветное небо, наливавшееся пепельной голубизной. Острые силуэты противоположных крыш выступили на розовеющем полукруге встающей зари.

В одной из дощечек жалюзи мерцала крошечная круглая дырочка.

Пуля!

Он проследил глазами направление ее полета и увидел пробитую спинку кресла, как раз на высоте вдавлины, оставленной его головой в мягкой коже. Он с любопытством взглянул за спинку. Из разорванной материи висел клочок пакли.

Непроизвольная дрожь прошла по его телу и зашевелила волосы. Ноги внезапно ослабели, и на лбу выступил пот неодолимого животного страха.

Тогда, взбешенный и полный ярости на себя, на этот постыдный испуг, он шагнул к окну и решительно рванул жалюзи кверху. С рокочущим треском они ушли в свое гнездо, и зеленовато-льдистый свет утра хлынул широкой струей в мастерскую.

2

Упершись ладонями в подоконник, он наполовину высунулся наружу, как бы нарочно подставляя себя гремевшим внизу выстрелам в наказание за минуту непроизвольной, не мужской слабости, рожденной бессмысленным кусочком свинца, пробившим кресло.

Он дал себе слово простоять так пять минут, но через секунду забыл и о пуле, и о своем испуге.

На площади стало совсем светло, хотя солнце еще было закрыто крышами. При утреннем свете все утратило ночную таинственность. Площадь была такой же, как всегда. Только ее унылая безлюдность была необыкновенна и напоминала о происходящем. В этот час площадь всегда уже оживала. Служанки выходили из домов, спеша на рынок, и по дороге любезничали с шоферами ночных такси или с жандармом, стоявшим на посту под рекламной вывеской французского коньяка «Дюбонне» — темно-синие буквы на канареечном фоне.

Сейчас не было ни служанок, ни такси. За каштанами сквера, загораживая улицу Эмбахадорес, лежали два автобуса, колесами кверху. Между ними была навалена груда канцелярской мебели, вытащенной из Каса Консисто-

риаль, и эту груду прикрывала сверху изломанная реклама «Дюбонне».

Из-за этой баррикады сверкали огоньки выстрелов. При дневном свете они перестали походить на взлетающие клинки шпаг. Маленькие желтые вспышки. Как будто спрятавшиеся за кучей мебельного лома детишки, забавляясь, чиркали спичками.

Теперь он ясно слышал резкий, рвущий уши грохот стрельбы. Он гулко бился в старый камень домов и прядал раскатистым эхом из конца в конец площади.

Родригес Рональхо рассматривал все с любопытством и жадностью.

Неожиданно он еще больше высунулся из окна, рискуя вывалиться. Внизу, на тротуаре, у самой стены лежал убитый. Он вытянул вперед выброшенные с силой в последнем прыжке руки, и скрюченные пальцы его, казалось, хотели разрыть асфальт. Лица его не было видно, только затылок. Беспомощный юношеский затылок в завитках темных волос. Разорванная рубаха пропиталась на спине большим темно-багровым пятном, и такая же темная лужа стояла под левым боком убитого.

Несколько секунд Родригес Рональхо смотрел на убитого, привычно щуря правый глаз. Он уже не видел и не слышал ничего вокруг.

Голубовато-серая поверхность асфальта, белое пятно рубахи, густой багрянец кровавых пятен. Какое поразительное сплетение красок!

Он откинулся назад, оттолкнув стоящий на дороге табурет, подбежал к столу, схватил лист бархатистой серой бумаги. Сломав две кнопки, лихорадочно приколол бумагу к доске. Открыл маленький ящичек пастели и бросился к окну. Раз... два. Широкие взмахи руки. Уверенный контур тела лег на бумагу. Убитый скрючился на ее сером фоне. Сведенные пальцы впились в равнодушную бархатистую поверхность.

Белый мелок, крошась, заполнил очертания рубахи и полетел в сторону, уступая место другим. На белом проступила, точно растекаясь по рисунку, кровь.

Стрельба на площади участилась. Беспрерывно трещали винтовки. Отвратительным металлическим дятлом застучал где-то сбоку пулемет. Мимо окна сверху посыпались крошки сбитой пулеметной струей штукатурки. Но Родригес Рональхо не заметил этого. Он жил в это мгновение только одним зрительным ощущением,— другие не

существовали для него. Он отодвинул набросок на вытянутой руке и смотрел на него искоса, сложив губы трубочкой. Это значило, что он доволен результатом. Набросок удался. Убитый на бумаге был более мертв, чем тот, настоящий, лежавший на тротуаре. Это должно пригодиться, черт возьми!

Большая застекленная дверь мастерской медленно и робко проскрипела. Повернув голову, художник увидел в ее пролете сморщенное, как кожура грецкого ореха, старушечье лицо с острым носиком, окруженное белой плойкой чепца.

— А, мать Ассунсион,— сказал Родригес Рональхо, улыбаясь,— в добрый час.

— Хесус милостивый,— прошептала старуха, всплеснув высохшими ручками,— вы так и не ложились, дон Луис?

— Кофе, Ассунсион! Самого горячего и самого крепкого,— приказал он, не отвечая на вопрос,— я хочу кофе...

— Кофейник уже на огне, дон Луис... Но... внизу вас спрашивают какие-то люди с ружьями и пистолетами. И ни одного жандарма поблизости, дон Луис. Что за время! Может быть, это грабители?

— Все равно, Ассунсион... Хотя бы и грабители — пусть входят.

— Санта Исабелла... А если они убьют вас, дон Луис?

— Тогда я буду убит — это ясно. Зовите их.

Ассунсион скрылась. Родригес Рональхо подошел к фарфоровому умывальнику, вделанному в стену мастерской,— это была его прихоть — устроить умывальник в мастерской, чтобы, не выходя, мыть перепачканные красками руки. Он открыл кран и пустил струю горячей воды. Он любил мыть руки горячей водой, которую едва терпела кожа. От бьющей в фарфор струи легким облачком пошел пар. Художник тщательно, как хирург, взбивал пену на кистях.

По коридору загремели торопливые шаги. В мастерскую вошли трое.

Один — молодой, с тонкими темными бровями, с яркими пятнами румянца на смуглых небритых щеках. Голова у него была забинтована, сквозь бинт проступало рыжеватое пятнышко. На поясе висел тяжелый кольт, на рукаве краснела повязка начальника колонны. Двое других — приземистые, бородатые, в рыжих плащах и мужицкой

мягкой обуви. Художник по первому взгляду определил: крестьяне, арагонцы.

Бородачи посмотрели на намыленные руки художника, на дымящуюся воду, переглянулись и насупились.

Молодой начальник прикоснулся рукой к забинтованной голове.

— Сеньор, простите за нарушение вашего покоя, если все это можно назвать покоем... Но командир участка приказал мне доложить вам, что к фалангистам подошли большие подкрепления и, по-видимому, нам не удастся больше держаться в городе. Мы готовимся к отступлению. Командир участка просит узнать — намерены ли вы остаться в городе или покинуть его? Если вы решите покинуть город, нам поручено проводить вас в штаб, откуда вас переправят за линию.

Родригес Рональхо замедлил с ответом, рассматривая юношу.

— А почему ваш командир думает, что я могу пожелать покинуть город, в котором я прожил двадцать лет? Мою мастерскую... Мои картины?..— спросил он, вытирая руки.

— Мы думаем, что для вас будет безопаснее уехать. Мы опасаемся за вашу судьбу в случае занятия города фалангистами.

Художник засмеялся.

— В Испании нет человека, который осмелился бы поднять на меня руку, ни в вашем лагере, ни в том...— он неопределенно указал в пространство.— Кроме того, я не принимаю участия в борьбе. Оружие художника — кисти. А кисти не опасны ни для революционеров, ни для националистов.

Молодой командир, прищурясь, посмотрел на художника с легким недоумением, и его запекшиеся губы сложились в едва уловимую скептическую улыбку.

— Я думаю,— сказал он спокойно и вежливо,— что Архимед в день падения Сиракуз находился в подобной же приятной уверенности, что геометрические чертежи не представляют опасности для победителя. К сожалению, копье наемного солдата проткнуло его насквозь, прежде чем он смог понять свое прискорбное для науки заблуждение.

Художник покосился на своего собеседника.

— Вы неплохо осведомлены об исторических событиях,— обронил он с одобрительной иронией.

— Я лиценциат исторического факультета Саламанки, сеньор.

— Не думаете ли вы, что вам было бы полезнее продолжать учиться истории на пользу себе и Испании, чем стрелять в испанцев,— несколько раздражаясь, заметил художник.— Изучая историю последующих веков, вы поняли бы, что времена Архимеда прошли. Солдаты больше не убивают мирных жителей.

— Но генералы их расстреливают,— перебил лиценциат Саламанки с жестом снисходительного превосходства и добавил, как бы размышляя вслух: — В Бургосе кровавый павиан Франко расстрелял ректора университета, пятерых профессоров, английского журналиста и поэта Пабло Каденас...

— Вы хотите испугать меня? — сердито прервал Родригес Рональхо.— Вся страна полна слухами, один чудовищнее другого. Я уверен, что все это ложь. В такой войне больше действуют клеветой, чем оружием. О вас говорят, что вы вешали сотнями священников на монастырских заборах и жарили монахинь, наткнув их на пушечные банники, вместо вертелов. Но это подлая клевета, и я могу это засвидетельствовать.

— Республика будет благодарна вам, сеньор. Но то, что я сообщил вам о Бургосе,— совершенная правда. Я тоже рассчитывал на милосердие генерала, который должен был выпустить меня, скромного студента, из тюрьмы, но когда я увидел сквозь решетку, как моего декана застрелили, словно дрозда, я не стал ждать своей очереди и удрал. Если теперь я встречусь с генералом, я охотно изжарю его на баннике. Это остроумная мысль...

— Слушай, камарада теньенте [1],— вмешался в разговор один из бородачей,— не нужно много тратить слов. У нас мало времени. Посты на углу Эмбахадорес уже отходят.

— Верно, Алонсо. Итак, вы остаетесь, сеньор?

— Да,— коротко и сухо ответил художник.

— Он не пойдет с нами, теньенте,— сказал вдруг второй бородач, качая косматой головой.— Ты видел — он моется горячей водой... Он перестал быть хорошим испанцем, иначе зачем бы он изменил нашей честной холодной ключевой воде, от которой цветут щеки девушек и яснеют взоры мужчин... Пойдем, теньенте...

---

[1] Товарищ старший лейтенант.

Родригес Рональхо неожиданно ощутил смущение, не от смысла этой забавной крестьянской сентенции, но от простой и горячей укоризны в голосе арагонца.

Тягостную паузу нарушил командир:

— Желаю вам счастья и спокойствия, сеньор. Для нас будет чрезвычайно тяжело, если вас постигнет какое-нибудь несчастье.

— Для кого это «для нас», позвольте узнать? — раздраженно спросил художник.

— Для Испании, сеньор,— просто и с достоинством ответил раненый, надевая берет на бинт.— Ну, товарищи, в дорогу!

Трое пошли к дверям. Когда они уже перешагнули порог, Родригес Рональхо крикнул вслед:

— Счастливого пути, сеньор лиценциат! Желаю вам благополучно окончить изучение истории.

— Благодарю вас, сеньор,— донеслось из коридора.— Я счел бы за честь побеседовать с вами об испанской истории, если мы оба останемся живы.

Шаги в коридоре затихли. Родригес Рональхо в раздумье дважды прошагал из угла в угол мастерской.

— Дьявол бы унес всех! — сказал он, остановившись и пожав плечами.— Для Испании! Эти мальчишки тоже, оказывается, воюют за Испанию. Каждый старается выставить себя рыцарем Испании, и все вместе разрушают и губят ее. Пусть делают, что хотят. В конце концов, мне нет никакого дела до тех и до других. Я тридцать лет прославляю Испанию моими холстами и буду делать это и впредь, невзирая ни на что. Хотел бы я видеть, кто посмеет помешать мне?.. Ассунсион!

Голова Ассунсион просунулась в мастерскую.

— Я долго буду ждать кофе?

— Но я приготовила в столовой, дон Луис.

— Mil demonios! [1] Давайте сюда!

Ассунсион смотрела на хозяина с ужасом.

— Боже мой, дон Луис! Вы дождетесь, что вас застрелят посреди мастерской. Пули летают по всему городу. Ночью у доктора Бонавенте пуля пробила полог детской кроватки и уложила наповал няньку, которая подошла убаюкать проснувшуюся малютку...

— Я не нянька и тем более не малютка, Ассунсион. Кофе сюда! Я буду работать.

---

[1] Тысяча дьяволов! *(исп.)*

Ассунсион перекрестилась и в страхе нырнула за дверь.

Родригес Рональхо взял из ящика на столе сигару, раскурил и подошел к огромному, занавешенному зеленым шелком полотну, стоявшему на двух мольбертах.

Минуту он постоял перед полотном, как будто в нерешительности, затем сильным жестом откинул зеленое покрывало в сторону.

Под ним была укрыта его последняя работа. Пять лет он обдумывал ее и два года писал. Она была почти закончена, и все же каждый день ему приходили новые мысли, и он неустанно переписывал сделанное.

Эпизод сарагосской осады. Кусок освещенной закатным солнцем стены сарагосской цитадели, штурмуемой наполеоновскими гренадерами. Они лезли по приставным лестницам в своих мохнатых шапках, втыкая штыки в расселины камня, подсаживая друг друга, суровые, усатые воины императора, разъяренные упрямым сопротивлением защищающих крепость испанцев. Они уже хватались за верхние камни стены. Израненные, оборванные, исхудалые защитники били штурмующих в лица прикладами, кололи ножами. Стрелять было нечем,— заряды кончились. Но французы лезли с бешеным упорством. Уже один из гренадеров, вскочивший на парапет, застрелил в упор молодого офицера сарагосской народной гвардии. Но наверху стены встает простая девушка. Маленькая гитана из предместья. История не сохранила ее имени. Она была известна в Сарагоссе под прозвищем «La Libertad» [1]. В ее дрожащих от напряжения руках — чан с кипящей водой. Она наклонила его. Окутанная паром струя льется на головы французов, слепя и опрокидывая верхних. Над головой девушки тяжелое фиолетово-синее небо Испании и пылающие в закате облака. У ее ног лежит один из убитых защитников, и его вытянутые в последней судороге руки как будто обнимают босые ноги маленькой героини.

Это полотно было итогом полувекового существования Родригеса Рональхо. Оно впитало в себя всю силу его мощного и зрелого таланта.

Он десятки раз сдирал краски с холста, переписывая и изменяя фигуры, их расположение, тона. Толстые папки с подготовительными картонами заваливали угол мастер-

---

[1] Свобода *(исп.)*.

ской. Картоны носили следы напряженной работы, мучительных и счастливых поисков удачного жеста, поворота тела, экспрессии лица. День за днем, месяц за месяцем найденное переносилось на холст, обретало форму и цвет, отстаивалось в ясности композиции. Но он не мог еще прекратить работу. Он работал как одержимый.

Картина должна была стать центром его юбилейной выставки будущей весной, и ей надлежало завершить творческие усилия целой жизни.

Он стоял перед полотном, как всегда взволнованный, забывший обо всем.

Он опять не слышал ожесточенного грохота на улице и не видел, как Ассунсион, в ужасе косясь на окна, боком проковыляла через мастерскую с подносом, на котором сверкал кофейник, посвистывая и бурля. Поставив поднос на стол, старуха, с застывшим в морщинах страхом, бесшумно пятясь, исчезла.

Он смотрел на полотно, и с каждой минутой его сильней охватывали досада и злость. Правая рука «La Libertad», опрокидывающая чан, не дописана. Ее движение только намечено. Но Келита уже неделю не ходит позировать. Квартал, в котором она живет, отрезан от центра города боем. А время не ждет. Картину нужно заканчивать.

Родригес Рональхо отступил на несколько шагов и окинул взглядом полотно.

Да! Это стоило труда! На этом холсте запечатлено героическое прошлое страны, доблестная страница борьбы за самостоятельность, величие и честь Испании, за ее культуру, за право испанского народа на место под солнцем.

Оборванные, голодные, истощенные люди на стене — это предки, оставившие страну в наследство потомкам. Это испанский народ, в священном единстве отстаивающий родину от иноземного нашествия. Этот народ дрался до последней капли крови, чтобы сохранить Испанию для испанцев.

А сегодня этот народ бросается в омут гражданской войны, раздирающей и без того обессиленную, больную страну.

Испанская национальная армия восстала не против демократии. Не армия покушается на демократию и свободу испанского народа, а коммунисты и анархисты, которые хотят уничтожить нацию, слепо подражая русским. Армия борется за нацию, против Интернационала. У каждой страны свои исторические пути, и бессмысленное подра-

жание чужим образцам не раз вело страны к гибели. Армия спасает демократическое правительство от диктатуры крайних элементов, лишенных чувства патриотизма. Перед лицом этой угрозы он, знаменитый художник Испании, хранитель ее вековой культуры, оказавшей благотворное влияние на весь мир, должен склониться на сторону национального дела, как ни противно ему иметь дело с бездарной оравой напыщенных генералов. Но пусть они не философы и не гении. Их дело довести до победы, а после они могут спокойно заняться маршировкой и распиванием вина в мадридских кафе.

Внезапно Родригес Рональхо оборвал сложный ход своих мыслей, пораженный неожиданно возникшей аналогией.

В исторический момент, запечатленный красками на его полотне, во всем мире нашлись лишь две страны, о непоколебимое сопротивление которых сломалась завоевательная воля Наполеона. И второй страной, сокрушившей непобедимую армаду французской империи, была Россия, примеру которой хотят теперь следовать отчаянные головы испанских коммунистов. Мысль эта поразила художника, но он поспешил отогнать ее. История не повторяется. Тогда, объединенные любовью к родине, испанцы дрались против иностранного завоевателя, сейчас они дерутся против испанцев же, сжигая родную землю в огне взаимной вражды и ненависти. Испании незачем повторять русскую катастрофу.

Он уперся внимательным, испытующим взглядом в фигуру убитого у ног «La Libertad». Что-то в ней раздражало его. Он сжал губы и пощипал пальцами свою седеющую бородку. Потом, сообразив, кинулся к столу, где лежал сделанный перед приходом республиканских солдат набросок.

Ну, конечно! Ведь это именно то, что нужно, чего ему так хотелось для этой значительной в полотне фигуры.

Он снял со стены палитру, взял кисти. Широкими, быстрыми мазками белил он покрыл туловище лежащего, меняя его рваный зеленый мундир на простую рубаху.

Выжав прямо на холст две жирных струи темного краплака и киновари, он растер их пальцем по белому фону так, что ярко-огненные нити одного переплелись с черной кровью другого, и отошел, всматриваясь. Все стало проще и значительней. Какая удача! День не потерян.

Растущий гул за окнами пробудил его и вернул из хаоса творческих ощущений к трезвому сознанию жизни.

Он положил палитру и прислушался.

Снаружи, сквозь треск выстрелов, доносился топот тяжелого бега множества людей и гортанный хриплый рев.

Родригес Рональхо подбежал к окну.

Через площадь, пригибаясь, выставляя вперед холодно поблескивающие жала штыков, бежали горбоносые, коричневые, заросшие бородами марокканские стрелки в тюрбанах и развевающихся бурнусах.

Они орали хриплым орлиным клекотом, подбадривая и разъяряя друг друга в решительном штурме жалкой баррикады из канцелярского лома за деревьями сквера. Рожок горниста пронзительно заливался где-то за углом торжествующими звуками победного сигнала.

3

Они входили в город около полудня.

. . . .

Город стал тих и безлюден. Звуковая напряженность утреннего боя сменилась гнетущей тишиной. Было похоже, что над улицами пронеслось дыхание чумы, мгновенно остановившее жизнь.

Хотя прошло больше двух часов с момента, как прекратилась стрельба, и на перекрестках уже стояли патрульные солдаты националистов, а на углах домов появились синие листки приказов,— жители не рисковали еще покидать надежные убежища квартир.

Лишь звуки военной музыки, возникшие в отдалении и медленно приближавшиеся, вызвали на улицу кучку бездельничающей молодежи, столпившуюся у сквера и тихо переговаривавшуюся. Некоторые из этих шалопаев уже украсили свои петлицы лентами королевских цветов.

Музыка приближалась. Из узкого устья улицы Марина де Айяла, приплясывая и мотая головой, украшенной серебряными бляхами, показался белый жирный конь, несущий тамбур-мажора, управляющего оркестром. Музыканты сидели на таких же белых конях, раскормленных, как в цирке. Они играли королевский марш.

За ними стала вытягиваться на площадь беспрерывная лента пехотинцев, кавалеристов, пулеметчиков. Они пе-

ресекали площадь и вливались в улицу Эмбахадорес, наскоро очищенную солдатами от остатков баррикады.

В домах начали до половины подыматься жалюзи. За ними показались робкие, но уже любопытствующие лица. Открылась дверь на одном из балконов, и несколько молодых женщин повисли на перилах. Они уже беззаботно играли веерами и переглядывались с офицерами, напыщенно выступавшими впереди своих взводов. Мужчины еще не осмеливались показываться, но женщины, как всегда, не испытывали страха перед победителями.

На другом балконе черноглазая сеньорита поставила корзинку, полную роз, и кокетливо бросала цветок за цветком задирающим головы офицерам. Они ловили на лету падающие цветы, посылая сеньорите воздушные поцелуи и эффектно салютуя саблями. Покрытые пылью и копотью солдаты завистливо смотрели на летящие розы, не смея оспаривать эти знаки симпатии у командиров. Одному из пехотинцев удалось схватить цветок, но подскочивший офицер выбил его из руки солдата. Розан остался на мостовой.

Колеса въехавшей на площадь артиллерии раздавили душистые лепестки.

Родригес Рональхо наблюдал шествие национальных войск с террасы. Залитая солнцем, просторная, она нависала с высоты второго этажа над тротуаром. Сухие виноградные лозы, с пылающими осенним огнем листьями, обвивали витые каменные колонки и ползли по забору.

Художник внимательно наблюдал за проходившими частями. Это шла настоящая, кадровая армия, солдаты и офицеры, привыкшие к мундиру, умеющие носить его, хорошо держащие строй. Воспитанная для борьбы сила, ремесло которой — драться и побеждать. В их легкой ритмической поступи чувствовалось вступление в город порядка, созданной веками и размеренной уставами военной системы. Они не походили на беспечные, недисциплинированные толпы республиканских колонн, ходивших беспорядочными кучками, в разношерстном обмундировании, волоча винтовки, как обременительные палки.

Солнце пригревало террасу. Над головой художника переливалась мутной радугой прокаленного стекла большая венецианская ваза, вывезенная им из Мурано в одно из его путешествий. Он очень дорожил ею и при первых выстрелах начавшегося на площади боя позаботился убрать ее в дом. Но никто из прислуги не решился за-

няться уборкой вазы, когда через террасу свистали пули. К радости художника ни одна пуля не задела этого стеклянного чуда, хотя каменный постамент пестрил неглубокими выбоинами, залитыми расплавившимся свинцом.

Артиллерия прошла. За ней из улицы Марина де Айяла показался эскадрон марокканцев в красных бурнусах и развевающихся по ветру белых плащах. Они картинно сидели в высоких, разукрашенных стекляшками и бусами седлах. Въезжая на площадь, они одновременно вскинули кверху ружья и дали оглушительный залп в воздух. Черноглазая сеньорита на балконе опрокинула корзинку с розами и опрометью бросилась в дом. Начали закрываться окна и опускаться жалюзи.

Но паника была напрасной. Марокканцы приветствовали жителей стрельбой, по своему обычаю. Разряжая винтовки, они скалили зубы и хохотали.

Родригес Рональхо был восхищен красочностью их шествия. Этот вихрь красного и белого, кофейных лиц, украшенной лошадиной сбруи вызвал в его памяти прошедшие века, когда такие же пышные и блестящие наездники, мавры, вступали в сражение с закованными в латы испанскими рыцарями. Легендарная эта эпоха сохранилась в картинах, романсеро и народных преданиях и теперь оживала перед ним. Потомки побежденных в долгой и жестокой борьбе мавров, выпужденных удалиться в Африку, пришли снова, чтобы вместе с испанцами умиротворить страну.

Он поднял руку и, улыбаясь, помахал этим жизнерадостным, обожженным африканским зноем, мужественным кентаврам. Они тоже кивали и подмигивали ему с добродушной наивностью. Но один из ехавших в первом от террасы ряду эскадрона, широкоскулый, с мрачными глазами, нехорошо усмехнувшись, вскинул винтовку к плечу. Сухо лязгнул выстрел.

Град стеклянных осколков посыпался сверху на голову и плечи художника. Он нервно отпрянул от перил террасы и схватился за голову, еще не понимая, что произошло. Взглянув наверх, он с ужасом увидел, что его венецианская ваза разлетелась вдребезги, разбитая пулей марокканца. На постаменте осталась лишь подножка с острыми изломанными краями.

Он отнял руку от виска. На пальцах липла кровь. Осколок вазы разрезал ему кожу. Но царапина не так

взволновала его, как неожиданная и бессмысленная гибель вазы.

Марокканцы, оборачиваясь, указывали на него и смеялись. Он был потрясен и взбешен. Он мог бы понять и простить выстрел, направленный в его сердце, но дикий расстрел вазы вызвал в нем неистовое негодование. Он стиснул кулаки и, перегнувшись через перила, крикнул вслед довольному своей шуткой кавалеристу грубое ругательство. Оно было услышано ехавшим сбоку эскадрона офицером. Офицер остановил под террасой сухоногого золотистого коня и резко спросил:

— Эй, вы там! Заткните ваш паршивый граммофон! Или, может быть, вы из красной нечисти и вам не по нраву добрые патриоты? Смотрите, как бы я не стянул вас за ноги на улицу. Мои черти в один миг сделают из вас рагу!

Родригес Рональхо побледнел. За всю его жизнь никто не позволял себе так разговаривать с ним.

— Сеньор,— сказал он глухим от ярости голосом,— замолчите! Вы знаете, с кем вы говорите? Я Родригес Рональхо.

Офицер пощекотал стеком вздрагивающую шею коня и небрежно сплюнул на тротуар.

— Очень мне нужно знать, как вы называетесь! Мы кончаем красных каналий, не спрашивая имени. Все равно мы не будем их поминать.

Художник стоял ошеломленный, не находя слов.

— Какого дьявола вы там разорались? — продолжал офицер.— Что случилось?

— Ваш солдат разбил выстрелом мою венецианскую вазу. Я требую, чтобы вы наказали этого разбойника! — крикнул художник.

— О достопочтенный сеньор,— ответил офицер, явно издеваясь,— неужели вы цените ее больше, чем вашу голову? Скажите спасибо этому храброму парню, что он выбрал жертвой своего темперамента вазу. Эти черные дьяволы жертвуют своей жизнью, чтобы освободить Испанию, и имеют право повеселиться. Подумаешь, я стану наказывать его за разбитую стекляшку!

— Сеньор офицер,— воскликнул художник,— это не стекляшка! Это неповторимое создание искусства, уника.

— Хватит! Я уже слышал... Убирайтесь подобру-поздорову.— Офицер тронул коня.

— Вы ответите мне,— вскричал Родригес Ронaльхо,— я сообщу о вашем поведении генералу де Лосойя.

Офицер нахмурился и сделал жест в сторону кавалеристов. Марокканцы защелкали затворами. Художник почувствовал, что его дергают сзади за рукав. Обернувшись, он увидел перекошенное лицо и дрожащие губы Ассунсион. Старуха, плача, оттаскивала его от перил.

— Дон Луис! Дон Луис! Что вы делаете? Уходите! Они застрелят вас. Это бешеные собаки.

Он хотел оттолкнуть Ассунсион, но внезапно ослабел, махнул рукой и быстро ушел в дом. Войдя в мастерскую, мимоходом заглянул в зеркало и поразился своему желтому и осунувшемуся от гнева лицу. Бросился в кресло и вторично выругался тяжелой деревенской бранью. Ассунсион стояла перед ним и тревожно смотрела преданным взглядом. Ее присутствие раздражало его. Старуха могла заметить его душевное состояние.

— Что вы стоите, мать Ассунсион? — спросил он недовольно.— Отправляйтесь по своим делам.

— Я не успела сказать вам, дон Луис. Вас опять спрашивают какие-то военные. Они подъехали в автомобиле к нашему крыльцу с той стороны.

— Скажите им, Ассунсион, чтобы они убирались вон. Я не желаю больше никого принимать.

— Я говорила им, дон Луис, что вы не спали всю ночь. Но старший, очень важный, кажется, генерал, просил передать вам его карточку.

Она подала квадратик бумаги. Художник увидел на нем одну строчку:

«Генерал, маркез Санхо-Мануэль Мунексас де Лосойя».

Генерал? Ну, отлично!

Родригес Рональхо встал и приказал Ассунсион просить генерала в мастерскую.

Генерал? Он сейчас расскажет этому генералу, что позволяют себе выделывать его солдаты и офицеры. Чем они в таком случае отличаются от красных? Воины национальной армии должны быть рыцарями. Пусть генерал внушит своим подчиненным эту истину.

Он обернулся к двери, за которой зазвенели шпоры. Генерал де Лосойя, невысокий, одутловатый, с крючковатым носом, вошел в мастерскую, приглаживая жесткие курчавые волосы. Увидев художника, он низко поклонился.

— Счастлив приветствовать вас, дон Луис! Вас, которому я недостоин подать самую плохую из ваших кистей.

Он протянул художнику маленькую, почти женскую руку, унизанную перстнями, и продолжал:

— Я в отчаянии, что беспокою вас после всего пережитого вами, но мне хотелось лично удостовериться в вашем здоровье и безопасности. Генералиссимус сказал, что мы отвечаем за каждый волос с вашей головы...

Родригес Рональхо пожал плечами и жестом пригласил генерала садиться. Подвигая кресло, генерал заметил на стене портрет своей умершей жены. Он сделал скорбное лицо, сложил руки на груди и шепотом прочел короткую заупокойную молитву. И больше не взглянув на портрет, сел к нему спиной, искоса глядя на художника.

— Вы чем-то расстроены, дон Луис. Ваша бледность...

— Вы сказали,— перебил художник,— что отвечаете за каждый волос с моей головы. Однако ваши головорезы только что чуть не лишили меня самой головы.

Генерал откинулся на спинку кресла и широко раскрыл глаза.

— Dios! [1] Я в ужасе, дон Луис. Что произошло?

Расхаживая по мастерской, Родригес Рональхо рассказал о происшествии на террасе. Улегшийся было гнев снова забушевал в нем. Он повысил голос, и жесты выдавали его возбуждение. Маркиз де Лосойя, опираясь скрещенными пальцами на эфес сабли, поставленной между ног, полузакрыл глаза, и по его лицу нельзя было понять, как он относится к рассказу.

— Это омерзительно! Это компрометирует армию в глазах граждан,— сказал Родригес Рональхо, останавливаясь перед генералом.— Такая распущенность может оттолкнуть от армии самые умеренные круги и повредить вашему делу.

Генерал поднял тяжелые, набрякшие веки и встал.

— О да, дон Луис! Вы совершенно правы. Это может повредить нашему делу,— произнес он, подчеркнув слово «нашему».— Простите, дон Луис, где у вас телефон?

Художник указал на столик в углу, где стоял аппарат. Генерал твердым шагом, бряцая шпорами, прошел туда и набрал номер.

---

[1] Боже! *(исп.)*

— Полковник де Баэна? — спросил он.— Сеньор полковник, прошу вас немедленно отправиться в эскадрон марокканских конных стрелков и выяснить у командира эскадрона имя солдата, разбившего выстрелом вазу на площади Кристобаль, и офицера, который позволил себе угрожать оружием нашей национальной гордости — сеньору Родригесу Рональхо. Затем вы посадите на пятнадцать суток под арест командира эскадрона, а обоих виновных расстреляете не позже, чем через час, и доложите об этом... До свиданья.

Генерал положил трубку. Ошеломленный художник с трудом нашел слова.

— Сеньор маркез!.. Я не могу согласиться, чтобы из-за нанесенной мне обиды лишились жизни два человека. Я прошу вас отменить приказ. Я беру обратно свою жалобу.

Маркиз смотрел на взволнованного собеседника с холодной усмешкой.

— Дон Луис, я никогда не отменяю своих приказов, тем более в военное время. Люди совершили преступление и получают заслуженное по военному закону. Если мы будем потакать преступным элементам, наша армия обратится в сброд... Нет... нет, не просите,— остановил он жестом пытавшегося заговорить художника,— я знаю, что вы гуманный человек, но в таких случаях гуманность вредна. Поверьте старому солдату. Дисциплина армии должна быть отлична от гражданской дисциплины. Но я не хочу больше утомлять вас. Позвольте пожелать вам спокойного отдыха. Я надеюсь, что завтра вы не откажете посетить меня в штабе. У меня будет небольшое совещание почетных граждан города... Его преосвященство епископ Падилья, алькальд, члены муниципалитета... К двенадцати я пришлю за вами моего адъютанта.

— Но зачем я вам нужен? — нерешительно возразил художник.— Я совершенно чужд высокой политики и вообще...

— О нет, дон Луис. Я очень прошу вас. Это нужно не мне, а Испании. Итак, позвольте рассчитывать.

Генерал щелкнул каблуками и, снова отвесив глубокий и почтительный поклон, вышел, топорща грудь и нестерпимо звеня шпорами, саблей и орденами.

Художник стиснул руками виски. У него начинало ломить голову. Сказывались бессонная ночь и волнение. Он с ужасом подумал о марокканцах, которые, может

быть, в эту минуту уже умирали под пулями экзекуционного взвода.

Как все это нелепо!

Он прошел к холсту и несколько минут простоял перед ним, хмурый и расстроенный. Потом сердитым рывком набросил на него покрывало. Работать сегодня не удастся.

— Я пойду вздремнуть,— сказал он заглянувшей в мастерскую старухе.— Я утомлен и расстроен. Разбудите меня к «Ангелюсу».

И тоном раскапризничавшегося ребенка прибавил:

— К обеду сделайте, пожалуйста, спаржу в майонезе.

4

— Выше руку, Келита! Отставьте локоть больше вправо!

Энергично мешая краски на палитре, Родригес Рональхо, щурясь, смотрел на натурщицу, стоявшую на подмостках.

В нарочно разорванной у плеча сорочке, с розой в туго свитых, синевато поблескивающих волосах, она стояла, держа в руках картонную коробку от шляп, точно повторяя позу своего двойника на картине.

Родригес Рональхо работал с увлечением. Наконец можно наверстать время, утерянное в дни смятения. Когда Ассунсион сказала ему утром, что пришла так долго отсутствовавшая Келита, он бросился в мастерскую с юношеским жаром.

Он клал мазки на холст и не замечал ни припухших, как после слез, век девушки, ни жалкой складочки у губ, старившей ее полудетское личико, прежде всегда беззаботно улыбавшееся.

Он был полон одной мыслью — работать, работать, работать.

— Не опускайте же руки, Келита! Потерпите еще три минутки... Что?.. Что с вами, дитя мое?

Он уронил палитру и кисть на пол и подбежал к девушке. Согнувшись маленьким комочком, она осела на подмостки, закрыла лицо ладонями, и он увидел, как сквозь пальцы ее потекли слезы.

— Келита! Келита! Ну, малютка,— беспомощно повторял он, стараясь приподнять ее опущенную голову и не зная, что делать.

— Ассунсион! — завопил он во весь голос.

— Принесите из аптечки валерьяновых капель,— приказал он, когда Ассунсион прибежала на зов.

С помощью капель и ласковых слов ему удалось наконец прекратить рыдания девушки. Он взял ее под руку и отвел к дивану. Усадив ее, он сел на ручку дивана и тихо гладил ее по голове.

Ассунсион, выходя, подозрительно посмотрела на него, и, поймав ее взгляд, он, несмотря на свое огорчение от неожиданного припадка натурщицы, едва не расхохотался. Он понял, что слезы Келиты Ассунсион отнесла на его счет. Это было нелепее всего.

— Что с вами, Келита? — спросил он, дружески взяв ее горячую кисть, еще мокрую от слез.— Может быть, вы расскажете мне. Расскажите, не стесняясь, как рассказали бы отцу. Если у вас горе, мы попробуем вместе облегчить и устранить его. Я ведь обязан вам. Вы помогли мне сделать картину, и я хочу отблагодарить вас. Я ваш должник.

Келита затихла. Доверчиво стиснув руку художника, она сказала, помедлив:

— У меня нет никакого своего горя, дон Луис. Но я видела чужое горе и очень испугалась. Я боюсь возвращаться домой.

— Почему, дитя? — удивился Родригес Рональхо.

Она посмотрела на него доверчиво и робко.

— Ах, дон Луис, если бы вы знали, что делалось ночью и сегодня утром в нашем квартале...

— А что? — спросил художник, видя, что девушка заколебалась и не решается продолжать.

Но Келита не ответила. Она насторожилась, прислушиваясь. В дверь мастерской постучали.

— Входите,— окликнул Родригес Рональхо, подымаясь.

Дверь открылась. На пороге стоял офицер в блестящих сапогах, в новехоньком мундире. Родригес Рональхо вопросительно смотрел на него.

— Вы не узнаете, дон Луис? — произнес офицер и улыбнулся, облизывая синеватым языком тонкие губы. И по этой улыбке, по змеиному движению языка и холодному взгляду змеи художник сразу узнал своего оборванного посетителя, привезшего письмо генерала перед взятием города. Теперь это был элегантный военный, дер-

жавшийся уверенно и развязно. И его манеры, и он сам были неприятны художнику.

— Да, вы были у меня однажды... Но чему я обязан теперь, сеньор? — спросил он сухо.

— Вы обещали вчера маркезу де Лосойя посетить его в полдень. Он условился с вами, что пришлет своего адъютанта.

Родригес Рональхо вспомнил вчерашний разговор с генералом. В эту минуту он жалел, что не ответил решительным отказом на приглашение. У него не было никакого желания ехать, и, кроме того, нужно было выяснить, что случилось с Келитой. Но обещание было дано. Он привык быть хозяином своего слова. Он поедет на полчаса и сейчас же вернется. Как противно ехать с этим змеенышем! Но все равно. Лучше скорее отделаться. Он заявит генералу, что устраняется от всякого участия в делах, которые не имеют никакого отношения к его профессии. Но нужно позаботиться о Келите. Он позвонил.

— Мать Ассунсион, отведите, пожалуйста, девочку в гостиную и уложите ее там. Пусть она отдохнет, пока я вернусь. Келита, я прошу вас не уходить, пока я не возвращусь. Мы не договорили.

Келита съежилась, забившись в уголок дивана, и смотрела на офицера испуганно и зло.

«И ей противен этот мальчишка. В нем есть что-то отвратительное»,— подумал художник, брезгливо покосившись на офицера.

— Едем, сеньор,— сказал он, распахивая дверь и пропуская офицера вперед.

5

— Нет, дон Луис, не уходите. Я задержу вас еще несколько минут,— сказал маркиз де Лосойя, когда художник, томительно проскучавший во время совещания, на котором обсуждались вопросы размещения войск и финансирования армии, поднялся, чтобы уйти вслед за алькальдом и другими участниками.

Пучеглазый, астматический алькальд долго тряс руку генерала и задыхался в преданности. Родригес Рональхо нетерпеливо ждал его ухода.

Они остались втроем в кабинете генерала — хозяин, епископ Падилья и художник.

Худой и изможденный, с лицом умного изувера, епископ Падилья сидел, прислонясь к высокой спинке кресла всей спиной, прямой и неподвижный. Солнце падало на твердые складки шелка его фиолетовой сутаны, и они казались мраморными. Под бледными опущенными веками глаза монаха не были видны, и это делало его страшным. Поблекшие лиловые губы тихо шевелились, и нельзя было понять, читают ли они беззвучную молитву или жуют.

Генерал де Лосойя закрыл дверь за алькальдом и вернулся к столу.

— Я позволил себе задержать вашу милость, дон Луис, для важного дела, о котором просят вас национальная армия и святая церковь. Дело это принесет пользу Испании, и вы должны выполнить ваш долг.

Генерал сделал паузу. Родригес Рональхо ожидал.

— Я военный человек,— продолжал генерал, переворачивая на столе портсигар,— мы, военные, люди действия. Я буду говорить прямо. Мы ждем, что вы выступите у микрофона с приветствием нашей армии, генералиссимусу и национальной Испании. Через полчаса радиостанция армии ждет вашей речи.

Художник, озадаченный, развел руками.

— Зачем это нужно, сеньор маркез? Моя речь? Я никогда не был оратором, тем более политическим. Я вообще стою в стороне от борьбы. Я не политик, а художник.

Генерал открыл крышку портсигара и с силой захлопнул ее.

— Какой вы недобрый, ваша милость,— улыбка генерала говорила о шутке, но в тоне проступило сдерживаемое раздражение,— вы вторично отказываете мне. Вы не захотели сообщить моему адъютанту те ничтожные справки, о которых я вас просил...

— Сеньор маркез... Я прошу вас не упоминать об этом. Я не шпион.

— Я вполне понимаю вас,— генерал прилег грудью на край стола, как кошка, приготовившаяся к прыжку,— великие гении искусства стоят над мелкими человеческими страстями. Хотя ваше нежелание помочь нам и было причиной гибели значительно большего числа наших славных солдат, чем это могло бы быть, знай мы точно силы и расположение врага, но Испания не поставит вам этого в вину...

Генерал остановился, как бы давая возможность художнику оценить роковые последствия его отказа, и продолжал сухо и властно:

— Но мы не можем принять в уважение мотивов вашего сегодняшнего нежелания прийти на помощь национальному делу. Вы понимаете, что сила вашего авторитета не в вашем ораторском таланте, а в мировом значении и блеске вашего имени на родине и во всем мире. Я прошу вас подумать, какое тяжелое впечатление произведет ваше молчание. Республиканская сволочь мобилизовала всех адвокатишек, поэтов и прочую шваль, которая орет на весь мир о добродетелях их шайки. Весь этот гам не стоит ломаного гроша, потому что в их банде нет ни одного приличного имени, но он все же достигает известных результатов. Мы можем опрокинуть их жалкую пропаганду десятью фразами, сказанными вами — величайшим художником Испании... Подумайте, ваша милость.

Каменные складки сутаны шевельнулись. Епископ Падилья поднял прозрачные веки, и пронзительные зрачки его застыли на лице художника.

Лиловые губы расклеились. Хрипло и медленно он сказал:

— Сеньор, вам надлежит помнить, что вы не только поможете нации, но и рассеете ложь и клевету вокруг вашего имени.

— Какую клевету? — спросил удивленный художник.

Падилья пожевал губами. По ним проползла жестокая усмешка.

— О вас, сеньор, идет дурная молва в народе, что вы якшались со слугами дьявола, что вы потворствовали кощунственному осквернению и надругательству над священными останками подвижников божьих.

— Отвратительная ложь! — сказал Родригес Рональхо, не опуская взгляда под пронзительными зрачками епископа.

Тот слегка кивнул головой.

— Святая католическая церковь, сеньор Рональхо, знает, что вы были принуждены насилием,— коварная усмешка снова проползла по губам епископа, и художник не смог остановить его,— принуждены насилием присутствовать при преступном вскрытии склепов с останками, что вы, несмотря на угрозы, покинули адское сборище. Церковь не вменяет греха, совершенного против воли, в

грех. Святая церковь отпускает вам его, сеньор Рональхо, и будет молиться за ваш божественный талант.

Родригес Рональхо хотел возразить, что никто не понуждал его насилием и никто не угрожал ему, но пронзительные зрачки епископа как будто сковали его волю, гипнотизируя.

Генерал де Лосойя встал.

— Дон Луис! Святой отец прав. Мы получали доносы, что вы содействовали конфискации монастырских имуществ. Ни я, ни верховный вождь армии, его превосходительство генералиссимус Франко, никто из людей нашего круга не поверит такой гнусной клевете... Но народ, народ... наш темный, невежественный, несчастный народ, за который мы сражаемся, он легковерен. Он разносит эту клевету. Подумайте, как важно, чтобы ваш голос прозвучал в эфире, чтобы не только наш народ, но и другие народы узнали, что гений Испании на стороне родины...

Родригес Рональхо молчал. Генерал подошел к нему.

— Согласитесь, ваша милость. Мы не призываем вас агитировать за генерала Франко, мы понимаем, что такая будничная агитация мелка для вас. Нет! Всего несколько горячих слов. Об Испании, об ее величии и счастье, об ее умиротворении, о том, что умиренная Испания обеспечит испанцам свободную жизнь под охраной закона.

Родригес Рональхо продолжал молчать. Генерал нетерпеливо звякнул шпорами.

Родригес Рональхо поднял голову.

— Convencereis [1],— сказал он.— Я думаю, что я действительно должен сделать это.

Просиявший генерал тряс руки художника.

Епископ Падилья, прошелестев ожившей сутаной, поднял высохшую, исчерченную вздутыми венами кисть благословляющим жестом.

— Святая католическая церковь благословляет, сеньор, ваш мужественный подвиг и ваше праведное слово в защиту религии и порядка.

— Поторопимся, ваша милость,— генерал отодвинул рукав мундира и взглянул на часы.— Через десять минут мы должны быть у микрофона.

Он взял художника под локоть и повел к двери. На полудороге он оглянулся на епископа Падилья, остав-

[1] Вы убедили меня *(исп.)*.

шегося в кабинете. Епископ чуть заметно склонил голову и опять опустил восковые веки.

Открытый автомобиль генерала де Лосойя медленно ехал по главной улице, окруженный конными марокканцами. Смотря на них, художник вспомнил происшествие с вазой и вздрогнул. Этих двоих все-таки расстреляли. Ужасно, но если подумать — это свидетельствует о строгой дисциплине. И как это ни трагично, но, с государственной точки зрения, может быть оправдано. Армия, несущая успокоение Испании, должна быть безупречна, как жена Цезаря, и хорошо, что армия это понимает.

На перекрестках толпились люди. Центр города уже принял обычный вид. Девушки прогуливались по панелям, окруженные офицерами. Молодые люди с хлыстиками и национальными розетками в петлицах приветствовали криками и поднятием рук генерала де Лосойя. У киоска с минеральными водами пронзительно ревел привязанный осел, позванивая бубенцами упряжки. Не было бессмысленного бега грузовиков и толкотни, раздражавшей художника в дни, когда город был во власти республиканцев.

Автомобиль остановился у радиостанции. В широком фойе Родригес Рональхо увидел толпу офицеров. При появлении генерала оборвался шум разговора. Офицеры замерли, образовав живописную группу. Генерал де Лосойя вывел художника под руку на середину фойе.

— Сеньоры! Величайшему художнику Испании, дону Луису Родригесу Рональхо,— салют!

Грохот рукоплесканий покрыл его фразу. Генерал сделал знак. Ближайшие офицеры бросились к художнику. В одно мгновение он очутился на их плечах. Откуда-то над головами проплыл огромный букет и лег в руки художнику. Его торжественно пронесли в трансляционную комнату и там бережно опустили на пол.

Он был неожиданно глубоко взволнован. Мирный человек, никогда в жизни не державший в руках никакого оружия, питавший инстинктивное недоверие человека творческого труда к военным, ненавидевший войну и убийство, он все же таил в душе своеобразное пристрастие к организованности и стройности этого чуждого ему сурового мира закаленных воинов. И внезапные почести, возданные ему армией, тронули его сердце. Он увидел в них символ единения национального оружия с национальным искусством. Этот восторженный прием был непохож

на холодное равнодушие республиканских властей. Они относились к нему, как к любому другому гражданину. Он привык в своей жизни к триумфальным почестям, а его назначали присутствовать при различных церемониях, вплоть до раскопок мощей, как какого-нибудь заурядного чиновника. Его уважали, но не понимали его значения, не уважали его славы, облетевшей оба полушария.

Генерал де Лосойя подвел его к микрофону.

Душная тишина пряталась в складках материи, затянувшей стены. Маленькая лакированная коробочка на никелированной вилке блестела на уровне его глаз. У него учащенно забилось сердце.

Диктор в поношенном фраке, на плечи которого осыпалась перхоть с тусклых волос, встал рядом с ним и сказал слишком отчетливым и безжизненным голосом:

— Алло! Алло! Здесь Испания! Радиостанция южной группы национальной армии. Да здравствует генерал Франко!... У микрофона слава испанского искусства, великий художник, сеньор дон Луис Родригес Рональхо.

Диктор отступил вбок и шепнул:

— Прошу, ваша милость.

Родригес Рональхо сделал шаг вперед. Он не думал, что скажет. Слова должны были прийти сами, подталкиваемые внутренним подъемом. Первую фразу он выговорил хрипло и прокашлялся. Диктор со свирепой гримасой нагнулся к его уху:

— Не кашляйте в микрофон.

Художник жестом отстранил его и заговорил уже спокойно. Слова, как он и думал, сами пошли к нему, живые и весомые.

Он говорил об Испании, и с каждым словом в нем самом все острее вставало чувство любви к Испании, к стране, из земли которой созданы его кости и тело, из вод которой родилась его кровь, которую он чувствовал в себе, в каждом своем движении, в своем дыхании.

Он говорил об ее прошлом, о днях мирового величия, когда Испания, как солнечным светом, озаряла Европу своей наукой, искусством, славой. Он называл гордые имена предков, испанских героев, тружеников и мучеников, создававших свободу, могущество и крепость Испании. Имена Колумба, Кортеса, Авилы, Сервантеса, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Веласкеса, Мурильо, Риберы, Сурбарана, Гойи. Имена, разорвавшие Пиренейские гор-

ные цепи и переплывшие океаны, чтобы просиять над миром и прославить Испанию.

Он говорил о том, что Испания должна хранить это священное наследство предков и бороться за него. Он призывал прекратить ожесточенную войну между испанцами, людьми одной крови и одного языка. Он звал к мирной и дружной работе, напоминая о том, что уже обессиленное историческими болезнями тело страны может стать добычей хищников. Только все вместе, рука об руку, все за одного и один за всех, испанцы смогут защитить нацию, культуру, родину, вернуть ей былое величие и спасти от красного призрака анархии и распада, от крушения в буре отрицания и разрушения. Он звал к созданию разумной демократии, к гуманности и любви, которые являются единственными двигателями прогресса. Ненависть и вражда несут народу и стране гибель.

Он закончил речь, пылая как в лихорадке. Воротничок его и рубаха были мокры. Он пошатывался. В его теле дрожал каждый нерв.

Он с трудом пришел в себя. Перед ним металось румяное лицо маркиза де Лосойя, который с силой тряс его руки.

— Великолепно! Божественно! Какая сила! Какое красноречие! Вы не только гений кисти, но вы и гений слова, дон Луис. Вы сделали огромное дело для Испании. Теперь весь мир знает, что лучший гражданин Испании с нами. Красные заткнут свои грязные глотки. Благодарю вас...

Родригес Рональхо поклонился. Ему вдруг мучительно захотелось домой, в мастерскую, к работе, и он сказал генералу:

— Я прошу вас более не задерживать меня, сеньор маркез. Мне нужно работать.

— О, я понимаю вас!.. Творите, творите! Искусство — великий подвиг.

Он обернулся в сторону офицера, неподвижно стоявшего у двери студии:

— Сеньор альферез! [1] Озаботьтесь машиной.

Офицер сдвинул каблуки. Родригес Рональхо с неудовольствием узнал в нем адъютанта генерала де Лосойя. Он нахмурился. Ему стало противно, что он говорил в присутствии этого отвратительного мальчишки.

---

[1] Господин младший лейтенант!

В фойе офицеры встретили художника новой овацией. Они высыпали вслед за ним на улицу, провожая его приветствиями. Пожимая протягиваемые со всех сторон руки, он уселся в автомобиль. Машина тронулась. Генерал де Лосойя, стоявший на ступеньках крыльца, вытянулся, поднеся руку к козырьку. То же сделали офицеры. Художник снял шляпу.

Провожая взглядом машину, генерал де Лосойя сказал стоящему рядом адъютанту:

— Мавр сделал свое дело... Очень хорошо, что мы научились использовать мавров вместо того, чтобы воевать с ними. Марокканские стрелки завоевывают нам Испанию, а вот такие мавры укрепляют завоевания. Когда все кончится, мы избавимся от обеих разновидностей.

Адъютант улыбнулся генеральской шутке, облизнув губы.

Генерал де Лосойя натягивал замшевую перчатку. Застегнув кнопку, он приказал офицеру властным тоном:

— На всякий случай с завтрашнего дня возьмите этого маляра под наблюдение. Если он начнет понимать то, что ему понимать не нужно...

Генерал не договорил и, выставив кверху затянутый замшей большой палец правой руки, медленно повернул его вниз, в точности повторяя жест зрителей римского цирка, обрекавший побежденного гладиатора на смерть.

6

Очутившись в мастерской, Родригес Рональхо испытал знакомое чувство легкости и покоя. Это было его рабочее место в мире. Здесь он был хозяином своего труда, своих ощущений, дум и слов.

Он с наслаждением сел в кресло, вытянув ноги, и раскурил сигару.

Потом, вспомнив, позвонил Ассунсион.

— Келита здесь?

— Да, дон Луис. Она, как вы приказали, прилегла в гостиной.

— Она не спит?

— Нет, дон Луис.

— Позовите ее.

Келита вошла уже в своем обычном платьице, которым она сменила костюм для позирования.

— Садитесь, дитя мое,— художник подвинул ей соседнее кресло.

Она села, положив на колени худенькие смуглые руки с острыми локтями.

— Итак, продолжим наш разговор... О чем же вы так плакали, Келита?

Девушка оглянулась на дверь. Доверчиво придвинувшись вплотную к художнику и понизив голос, она заговорила:

— О дон Луис! Если бы вы знали, что делается в наших кварталах, на окраинах... Фалангисты и марокканцы рыщут по всем домам, выволакивают людей без разбора, кто попадется, и убивают их во дворах и на улицах, на глазах у всех. Это так страшно.

Родригес Рональхо сдвинул брови и с недоверием посмотрел на девушку.

— Келита, вы повторяете с чужих слов вздорные слухи, которые разносятся бездельниками и вралями. Испанская армия не разбойники, и дисциплина в ней строга, я сам в этом убедился,— сказал он сурово.— Люди, которые совершили преступление против закона и порядка, будут судимы по закону, но никто не поднимет оружия на мирных людей, непричастных к преступлениям.

Келита живо повернулась к нему. В щеки ей хлынул румянец.

— Я не лгу, дон Луис. Я никогда не посмела бы солгать вам. Я не с чужих слов рассказываю вам. Я видела все своими глазами,— от этого можно было ослепнуть. На нашем дворе они застрелили Маноло Мартинеса с посудной фабрики и двух его сыновей. Вы знаете Маноло, он два года в параличе и не мог участвовать ни в чем. Одному из его ребят не было еще десяти лет. Как он кричал, как просил пощадить его. У меня звенит в ушах его крик. А старший засмеялся и плюнул на штаны солдату. Ему выстрелили прямо в лоб, и мозг его залепил стену. Старика точильщика Гусмана закололи штыком, заставив сначала наточить его. Марокканцы обесчестили Мерседес Сальсилло и Консепсион. Потом они зарезали Консепсион на балконе. Кровь стекала сквозь щели балкона во двор, как вода, которой поливают цветы...

Нервная дрожь всколыхнула плечи девушки. В зрачках ее Родригес Рональхо увидел тень пережитого страха.

Он вскочил и стиснул ее кисти. Он еще не хотел верить и не мог не поверить.

— Келита! Келита! Вы правду говорите? Все это так?

— Пусть меня накажет мадонна,— простодушно ответила девушка,— это такая правда, что я боюсь возвращаться домой. Они ведь искали и меня, потому что Хиль Кармона, этот подлец, живущий на счет несчастных девушек нашей улицы, донес, что мой отец и брат служат в рабочей колонне. Но тетка Анита спрятала меня в каморке под матрацами. Когда солдаты ушли в соседний двор, я выбралась на улицу и переулками добежала до центра. Они убьют и меня, если я вернусь.

Художник слушал с возрастающим недоумением и гневом. Этот рассказ не мог быть выдуманным уже потому, что он был слишком прост. Да и зачем девушке так лгать, когда она знает, что ее можно проверить? Она называла места, называла факты, имена,

Это было непонятно для Родригеса Рональхо. Единственное объяснение, которое можно было найти, пришло ему в голову. Конечно, это так. Какие-то бандиты, разнузданные каторжники, пользуясь моментом, перерядились в солдат национальной армии и терроризуют окраину. Тогда нужно немедленно принять меры, чтобы пресечь безобразия. Нужно лично убедиться во всем.

— Не бойтесь, дитя,— ласково потрепал он плечо девушки,— вы не пойдете домой. Вы останетесь у меня, пока все не выяснится. Места в доме хватит. Но только не думайте, что это честные солдаты. Это преступники, переодевшиеся в мундиры, самозванцы...

— О нет, дон Луис,— наивно возразила Келита,— это настоящие военные. Пехотинцы и марокканцы. Они пришли из казарм Алдегуэлла, где стоит их полк. С ними был серхенте[1]. Когда соседи пригрозили, что пожалуются командиру, серхенте ударил в лицо одного и ответил, что генерал Лосойя разрешил им резать красную дрянь три дня.

Ее взгляд был правдив и прозрачен. Темное подозрение вставало в сердце художника. Но он сам еще противился ему.

— Не может быть, Келита... Этого не может быть... Ложитесь, отдохните. Вы нездоровы. Сегодня мы не будем больше работать. Я выясню все и сейчас же сообщу генералу... Ждите меня, я вернусь скоро.

[1] Сержант.

Он позвонил по внутреннему телефону в гараж и приказал шоферу приготовить машину. Застегнул свою бархатную куртку и, оглядевшись, взял из угла пальмовую палку с тяжелым бронзовым набалдашником. Единственное оружие, которое имелось у него в доме.

Блестящая асфальтовая авенида [1] с пальмовыми аллеями по бокам, впадая в окраинные кварталы, внезапно исчезала, как река, затерявшаяся в песках. Она распадалась на множество тесных, изломанных переулочков, упиравшихся в тупики.

Дома здесь кривились, врастали в землю, были покрыты вековой плесенью. Отсюда начинались нищенские тайники города, страшный заповедник бедноты.

Убогий, мрачный, пропитанный густой вонью испарений, запахами бесчисленных поколений рабов, плодившихся, живших и умиравших в этих средневековых каменных нагромождениях.

Нищета, скученность и гниль душили здесь детей, но, невзирая на тленное дыхание смерти, испускаемое стенами, покрытыми радужными пятнами цвéли, точно чумными язвами, тут всегда кипела жизнь, более оживленная и бурная, чем в богатых кварталах.

Гулко стучали молотки сапожников и бондарей, шипели точильные камни, в домах стучали швейные машинки. Во дворах шлепали вальки по разминаемой коже и белью. Женщины перекрикивались из окон в окна, развешивая поперек переулков свое несчастное тряпье, передавая последние сплетни квартала и перемывая кости соседкам.

Голоногие, покрытые корой грязи, дети копошились в переулочных застенках, как крысы в куче объедков.

Это была невидимая и неизвестная Испания, которую открывали немногие. Родригес Рональхо был одним из Колумбов этой скорбной Америки. Он исходил ее с карандашом и красками вдоль и поперек потому, что нигде больше нельзя было видеть то подлинно художественное безобразие, которое кидалось в глаза на каждом шагу в закоулках окраинных трущоб.

Но он бродил по ее затхлым каньонам только как любознательный и жадный искатель, добывающий свои сокровища, не раздумывая об их происхождении и причинах их существования. Для этого он был слишком поглощен

---

[1] Проспект.

искусством, наукой красок и линий, закрывавших его зрение.

Но беднота и несчастье так кричали о себе, так выставляли напоказ свои язвы, что иногда он превращался из Колумба в милосердного самаритянина, пытавшегося прикрыть фиговыми листками кредитных билетов чересчур вопиющую и откровенную беду. Здесь были семьи, существовавшие благодаря его поддержке. Но он начинал понимать, что даже его возможности — жалкая капля в этом океане нищеты.

И все же он любил этот живописный ад любовью художника. Он блуждал часами по его шумным и увлекательным кругам. Они кипели, как лава, своей своеобразной жизнью.

Но сегодня тут тяготела необычайная, подавляющая пустота и тишина. Даже латаное белье исчезло с веревок, протянутых между домами. Наглухо закрытые жалюзи, запертые двери вонючих лавчонок, отсутствие людей — все говорило о тревоге, о разразившейся катастрофе. Смотря на опустевшие, мертвые каменные ущелья, Родригес Рональхо вспомнил мертвый город, виденный им во время путешествия по Сиаму. Там тоже были только безмолвные стены и такая же угрюмая тишина пролетевших столетий. Но там все же кричали птицы в густой листве зарослей. Здесь не было и этих признаков жизни.

Автомобиль медленно продвигался, едва не задевая углы домов, переваливаясь с боку на бок по разбитым плитам мостовой. Шофер вытянул шею и прислушался.

— Кажется, стреляют, дон Луис,— сказал он, оборачивая к художнику встревоженное лицо.

— Езжайте прямо,— сказал художник, стискивая набалдашник палки.

Круто свернув направо, автомобиль вышел за угол. У облупленной стены углового дома стоял солдат. В грязной, глянцевитой от сала куртке, в наброшенном на плечи полосатом одеяле, небритый и растрепанный, он больше походил на горного разбойника, чем на воина регулярной армии. Но, увидев выкатившийся на него автомобиль, он четким солдатским движением вскинул новенькую винтовку и направил дуло в грудь шофера.

— Стой! Проезд запрещен! — крикнул он испуганно и сердито.

Родригес Рональхо поднялся с сиденья.

— Подойдите сюда!

Голос его был повелителен, и солдат, невольно подчиняясь, недоверчиво подошел вплотную к автомобилю, не опуская винтовки.

— Почему запрещен проезд? — спросил художник.

— Так приказал команданте. Не пропускать никого из штатских. Только с пропуском,— ответил солдат, разглядывая автомобиль и седоков.

— Я должен проехать. Пропустите меня...

Солдат думал, морща лоб. Видимо, он не знал, как отнестись к просьбе этого хорошо одетого, важного сеньора.

— Я не могу, сеньор,— произнес он, качая головой,— конечно, вы не похожи на красных голодранцев. Видать по платью, что вы приличный барин, но я не могу нарушить приказ.

Родригес Рональхо достал из бокового кармана бумажник.

— Я профессор Королевской академии художеств. Вот... Вам известна эта печать?

Он протянул солдату диплом Академии, украшенный синей розеткой огромной печати с королевским гербом. Солдат смотрел на печать, колеблясь. Случай был не предусмотрен в полученных им инструкциях.

— Ладно! Проезжайте,— вымолвил он хмуро, опуская винтовку,— только уж сами разговаривайте с команданте, если что...

Он отступил, освобождая дорогу, и автомобиль тронулся дальше. Художник рассеянно оглядывал дома. Вдруг из одного дома осторожно высунулась всклокоченная голова. Глаза ее лихорадочно блестели. Голова приложила палец к губам и несколько раз отчаянно махнула рукой в обратном ходу автомобиля направлении, подмигивая и изображая гримасами страх. Это был явный совет уезжать назад.

Но Родригес Рональхо ответил отрицательным жестом, и голова скрылась.

В ту же секунду, где-то совсем рядом, раскатился гнусный стрекочущий треск пулеметной очереди.

Шофер затормозил.

— Взгляните, дон Луис.

Он, побледнев, указал пальцем на тротуар, слева от автомобиля.

У стены лежали два трупа. Мужчина и старуха. Мужчина, опрокинутый навзничь. Размозженная голова в

сгустках крови. Старуха припала левой щекой к его груди. Как будто прислушивалась к последнему вздоху убитого.

Родригес Рональхо закрыл глаза. Неудержимая тошнота защекотала его горло.

— Дальше,— глухо сказал он, и шофер дал газ.

Автомобиль рванулся, убегая от трупов. Еще несколько поворотов, и он бесшумно вырвался из расщелины переулка на затопленную солнцем крошечную площадь, мощенную изъеденными временем известняковыми плитами.

Грубо высеченный из камня шестиугольный фонтан под широкими кронами платанов, заменяющий в этих уличках водопровод. Такая же каменная колода для водопоя, поставленная в незапамятные времена. Старина. Средневековая Испания. Сейчас из стрельчатых ворот выедет Дон Кихот, и Россинант опустит в прохладную зелень воды теплые, тяжело дышащие ноздри.

Но Родригес Рональхо даже не заметил фонтана. Ошеломленный, он смотрел в конец площади.

Там на известняковых плитах, красных от крови, лежали трупы. Вповалку, друг на друге. Цепь оборванных солдат окружала полукольцом груду мертвецов. И на ней, попирая ногами мертвых, тесно прижавшись к соседям и спиной к стене,— живые. Несколько мужчин и женщина в красной разорванной блузке. Родригес Рональхо особенно отчетливо видел ее. Ее руки были связаны спереди, пальцы судорожно стиснуты, голова откинута назад, на белом лице — полные ярости глаза. Она почти повторяла позу сарагосской героини на его холсте.

Шагах в пятнадцати от этой кучки людей на плитах стоял пулемет. Пулеметчик продергивал ленту. Рядом, подбоченясь и широко растопырив кривые ноги в небрежно накрученных обмотках, наблюдал за подготовкой пулемета приземистый парень с одутловатой мордой евнуха. На рукаве у него были сержантские нашивки. Пулеметчик щелкнул замком и пригнулся. Мордастый евнух еще шире расставил ноги и крикнул:

— Откройте ротики, вы, hijos de perro! [1] Глотайте!

Родригес Рональхо вскочил, едва не упав на шофера.

— Остановитесь! — неистово закричал он, вытягивая руки.

---

[1] Сукины сыны! *(исп.)*

Сержант, пулеметчик, солдаты, расстреливаемые стремительно обернулись на его крик. Солдаты были заняты своим кровавым делом. Осужденные ничего не видели, кроме подкрадывающейся, в шорохе продергиваемой ленты, смерти. И никто до сих пор не обратил внимания на бесшумно появившийся автомобиль.

Первым опомнился сержант. Вытаскивая на бегу револьвер, он побежал к автомобилю.

— Кто такой, mil demonios?.. Как вы попали сюда, сеньор? — спросил он с удивлением и злостью, но уже вежливей, разглядев пожилого человека, с орденской ленточкой в петлице пальто.

— Что вы делаете? Как вы смеете убивать людей? Прекратите сейчас же это безобразие. Отпустите их,— бессвязно и нервно кричал художник.— Вы преступник! Вы позорите армию. Вас повесят на главной площади, грязный скот!

Сержант насупился и оглянулся на солдат, глазами подзывая их на подмогу. Они сгрудились позади начальника, грязные, отвратительные, похожие на голодных волков, готовых защищать вожака.

— Что вам нужно, сеньор? — спросил сержант.— Откуда вы?

— Прекратите убийства! Как ваше имя? Вы будете преданы полевому суду!

Сержант озлился.

— Не орите, сеньор,— сказал он, тоже возвышая голос.— Я сержант четырнадцатого полка инфантерии. Антонио Санхес. Я действую по приказу начальства. Мы производим экзекуцию над красными... А какое вам дело до этого? — подозрительно и враждебно спросил сержант, щупая глазами художника.

Родригес Рональхо не успел ответить. Скучающий пулеметчик, которому надоело одному лежать за пулеметом, когда все приятели ушли на скандал, нажал курок пулемета. Трескучий грохот хлестнул по замкнутому кругу площади.

Художник увидел, как люди, прижатые к стене, точно ломались посередине туловища, оседая и валясь на груду мертвецов под их ногами. Последней упала женщина в красной блузке, высоко вскинув связанные руки. Из ее прически выпал высокий гребень, блеснув на солнце. Волосы, распавшись, закрыли ее лицо.

— Арестуйте сейчас же этого негодяя! Я вам приказываю! — крикнул художник, придя в себя от мгновенного оцепенения и схватив сержанта за плечо. Тот вывернулся и поднял револьвер.

— Долой лапы!.. Иди ты...— сержант гнусно выругался.— Уноси ноги, или я причитаю тебя вот к этим,— от ткнул дулом револьвера в сторону расстрелянных.

Вне себя художник поднял тяжелую палку. Но не успел ударить и опрокинулся на сиденье автомобиля. Сообразивший положение шофер с места бросил машину на группу солдат. Тяжелая «испано-Суиза» опрокинула их, как кегли, и, мягко проскочив по телам, мгновенно развернулась и на полной скорости вылетела в переулок. Вдогонку ударили разрозненные выстрелы.

— Лежите, дон Луис! Не подымайтесь... Они не догонят,— кричал шофер, нагибаясь над рулем и ведя машину бешеными прыжками на ухабах мостовой. Родригеса Рональхо швыряло в кузове из стороны в сторону, и он только закрывал руками голову, стараясь уберечь ее от ударов. Автомобиль пролетел взбесившимся чудовищем по переулкам и, наконец, выскочил на асфальтовую гладь авениды. Шофер замедлил сумасшедший бег. Художник поднялся. Шляпы его не было. Он сел бледный, невидящий.

— Ну, дон Луис, должно быть, Santa Virgen[1] здорово молилась за вас, что мы выскочили из этой переделки,— пробормотал шофер, вытирая лоб,— давно я не был в такой гонке. Но теперь мы доберемся домой без приключений.

— Домой после! В штаб! К генералу! — ответил художник, приводя себя в порядок.

Шофер покачал головой, но ничего не сказал.

В приемной генерала художника встретил адъютант. На нервное требование немедленно доложить генералу, адъютант холодно ответил:

— Генерал приказал никого не принимать. Он занят разработкой операции.

— Мне это безразлично. Я должен его видеть сейчас же,— оборвал художник, направляясь к двери. Адъютант быстро загородил дверь. Змеиные глаза его сузились.

---

[1] Святая дева *(исп.)*.

— Сеньор! Вы не у себя в доме, а в штабе. Я не пущу вас.

Это было слишком. Терпение художника иссякло. Он был очень силен. Он много занимался спортом. В молодости он гнул монеты в ладони, но и в пятьдесят лет он не уступал силой любому здоровому парню. Серый от бешенства, он схватил офицера за воротник мундира и приподнял его на воздух. Он потряс его изо всей силы так, что затрещало сукно, и прошипел в испуганное лицо:

— Если кто-нибудь и может загораживать дорогу мне, сеньор альферез, то, во всяком случае, не такой дохлый щенок, как вы.

Рывком он отбросил адъютанта, и тот, отлетев к стене, гулко ударился об нее затылком. Родригес Рональхо распахнул дверь генеральского кабинета.

Генерал сидел за столом, перед развернутой картой. Под рукой у него лежала горка цветных карандашей. Он ставил на карте синие крестики, когда, подняв голову на стук двери, увидел перед собой взволнованного художника.

Он отложил карандаш и поднялся с любезной улыбкой, протягивая руки.

— Сеньор? Как я рад... Какому счастливому случаю я обязан удовольствием вторично видеть сегодня вашу милость?

Не отвечая на приветствие, художник подошел к столу и ударил по нему кулаком. Маркиз де Лосойя отшатнулся, и в глазах его мелькнул страх.

— Вы знаете, что делают ваши солдаты? Это чудовищно... Обуздайте немедленно этих негодяев.

— Я не понимаю, ваша милость,— сказал генерал, ретируясь за стол и ища рукой бронзовую плитку электрического звонка.— Я не понимаю, чем вы так возбуждены. Я готов слушать вас.

Сбиваясь и торопясь, Родригес Рональхо рассказал о только что виденном.

— Это неслыханно! Это не солдаты, а мясники... палачи. Подобных преступлений нельзя представить себе в двадцатом веке, сеньор маркез. Республиканцев обвиняли в эксцессах, но они не позволяли ничего подобного. Я это свидетельствую. Я не верю, что это солдаты. Маскарад преступников. Пошлите сейчас же туда настоящих солдат, которые изловят эту шайку.

Генерал уже успокоился. Он отнял руку от звонка и вздохнул.

— Благодарю вас, ваша милость... Вы правы. Начальник не всегда знает, что делают подчиненные. Я распоряжусь. Мы не можем щадить людей, замешанных в революционных бесчинствах, но их будет карать закон. Я не позволю никакого самоуправства. Виновные понесут наказание. Вы видели уже, что я не щажу преступников. Вы можете быть спокойны, ваша милость.

Генерал де Лосойя снова протянул руку к звонку, но не успел нажать кнопку.

В кабинет ворвался адъютант и за ним четверо солдат штабной охраны с примкнутыми штыками. Генерал де Лосойя в изумлении смотрел на вошедших.

— В чем дело, альферез? Что это за сцена? Почему вы врываетесь в мой кабинет с солдатами? Кто вам позволил? — спрашивал он, с каждой фразой повышая голос и уже в бешенстве выкрикнув последний вопрос. Генерал вымещал на подчиненном свой испуг перед вторжением художника и невозможность реагировать на него таким же образом.

— Я думал, сеньор маркез... Я думал, вам грозит опасность... Сеньор Рональхо ворвался к вам, несмотря на то, что я, по вашему приказу, не допускал его. Сеньор нанес мне оскорбление действием... Я вызвал караул...

— Что? Что? — заорал генерал, чернея от прихлынувшей к лицу крови.— Вы с ума сошли? Что, я нуждаюсь в вашей защите? Болван! Вы посмели не допускать ко мне сеньора Рональхо, которому вы недостойны чистить сапоги...

— Но сеньор Рональхо был очень... возбужден... Я опасался столкновения,— пробормотал опешивший адъютант.

— Столкновения между мной и сеньором? У вас башка набекрень. А если бы и так, при чем здесь вы? Я напомню вам астурийскую поговорку — «когда орлы сражаются, вороны зарываются в брюхо падали». Убирайтесь вон!

Альферез звякнул шпорами и вместе с солдатами выскочил из кабинета.

Генерал де Лосойя расхохотался.

— Мальчик беззаветно предан мне и слишком горяч. Это послужит ему на пользу. Я заверяю вас, ваша

милость, что сделаю все для пресечения беззаконий. Спокойно отправляйтесь домой.

Он проводил художника до дверей и крепко пожал ему руку.

Возвратившись в кабинет, он взял со стола карандаш и быстрым движением пальцев сломал его пополам. Обломки полетели в угол. Генерал закусил губу и позвонил. Адъютант появился на пороге. Генерал пальцем поманил его.

— Вы действительно глупец,— сказал он презрительно,— и заслужили трепку. Только сегодня утром нам удалось втереть очки этому сопливому интеллигенту и воспользоваться его именем для нашего дела, и вы чуть не сорвали все. Запомните, что, пока он нам нужен, с ним должно обращаться, как с королем, иначе он может наделать бед. И, пока я вам не скажу, вы будете подавать ему ночные туфли, если это понадобится. Европа пока больше слушает адвокатов, писак и маляров, чем генералов, и нужно с этим мириться, пока мы не зажмем эту сволочь вот так.

Генерал стиснул маленький кулак и коротко отрезал:

— Можете идти!

Родригес Рональхо вернулся домой. В мастерской Келита рассматривала его альбомы с набросками. Увидев художника, она вскочила и тревожно посмотрела на него.

— Вы были там, дон Луис? Вы видели? Я не сказала вам неправды?

Он кивнул.

— Да, Келита. Я был и видел. Это было страшно,— он вздрогнул, вспомнив омерзительную картину расстрела,— но, как я и предполагал,— это преступники. Генерал де Лосойя заверил меня, что все будет прекращено немедленно и виновные понесут самое тяжкое наказание. Но пока все не успокоится, я не отпущу вас. Вы проживете эти дни у меня. Я буду считать вас своей приемной дочерью.

Келита подошла к нему, взяла его руку и хотела поцеловать. Он высвободил руку и коснулся губами ее теплого выпуклого лба...

— Спасибо, дон Луис. Вы всегда были так добры ко мне.

Она прижалась головой к его плечу. Он был растроган этой детской благодарностью, наивной и искренней. Он погладил ее по плечу.

Вдруг Келита выпрямилась и сказала:

— А они не обманывают вас, дон Луис?

— Кто, дитя?

— Генерал и все эти...

Художник усмехнулся.

— Они не посмели бы это сделать. Никто в Испании не решится обманывать меня,— это обошлось бы слишком дорого. А кроме того, я уже говорил вам, что убедился в твердом намерении генерала поддерживать дисциплину и порядок в его армии. Может быть, он даже слишком суров.

Келита молчала, но по всему ее облику художник понял, что она не убеждена и продолжает сомневаться. Он улыбнулся.

— Вы недоверчивы, дитя мое, как всякая женщина. Но вы сами увидите. Теперь оставьте меня. Я хочу немного отдохнуть.

Келита вышла. Родригес Рональхо задумчиво проводил ее взглядом и вздохнул.

Дитя! Маленькая беззащитная девочка. У него могла бы быть такая дочь.

Дети! Он ощутил острую жалость к себе, к тому, что в его доме не слышно детских голосов, что ему некому отдать печальную нежность стареющего человека.

Он нахмурился. Дети? У него был сын... Кристобаль.

Но он обманул надежды отца. После смерти жены он отдал всего себя этому ребенку. Он растил его бережно и любовно, он, как заботливая нянька, ходил за ним. Он мечтал сделать его великим ученым Испании, как сам он был ее великим художником. Но мальчишка отплатил черной неблагодарностью. Девятнадцати лет он тайком покинул университетские аудитории и отцовский кров, чтобы поступить матросом на какую-то грязную посудину, болтавшуюся по всем морям и океанам. Из какого-то восточного порта он прислал отцу самонадеянное и дерзкое письмо, в котором заявлял, что больше никогда не вернется ни в родной дом, ни в университет, потому что он хочет жить, видеть мир, ощущать его биение, дышать ветром, а не отравляться запахами старья и плесени.

С тех пор от него не было никаких известий. Только из случайных разговоров знакомых художник знал, что Кристобаль, проплавав два года, вернулся, поступил в авиационную школу и служит пилотом в эскадрилье морской авиации.

Он старался реже вспоминать о сыне. Это был отрезанный ломоть. И все-таки занозданая жалость и боль оборванной любви к сыну съедала его сердце. Он вздохнул еще раз глубоко и тяжело, сел в кресло у окна и спустя несколько минут задремал.

7

Автомобиль остановился у зеркальных окон, за которыми в нарочитом и умело сделанном беспорядке были разбросаны ткани, старинное оружие, фарфор, ковры, бронза, серебро.

Над узкой дверью скромным шрифтом на небольшой стеклянной дощечке было начертано: «Моризе-антиквар».

Родригес Рональхо вышел из машины и толкнул дверь. Она бесшумно отворилась внутрь.

После первой спокойно проведенной ночи художник с утра собрался в город — уладить кое-какие дела, пришедшие в беспорядок за время войны. Он побывал в Академии искусств, в банке и возвращался домой, когда, случайно взглянув на вывеску антиквара, решил навестить Моризе.

Моризе был французом, давно поселившимся в Испании. Когда Родригес Рональхо был еще мальчишкой, пытавшимся продавать свои первые этюды, уже существовал магазин, и Моризе сидел в нем за той же полированной палисандровой конторкой, для которой была использована кафедра монастырской капеллы, украшенная деревянной резьбой шестнадцатого века.

И сам Моризе уже тогда был такой же. Худощавый, в свободном пиджаке, висевшем на его костлявых плечах, как на распорке, в зеленой бархатной шапочке. Только подстриженные усы его покрылись инеем, да стал крупнее горбатый нос, и углубились идущие от него книзу морщины.

Моризе не принадлежал к числу беззастенчивых спекулянтов, эксплуатирующих молодых художников. Он был отличным коммерсантом, умевшим вести прибыльно

свое дело, но у него была душа. Он зачастую давал за полотна больше, чем просил сам автор. Делал он это не из чистой благотворительности и не лишал себя своей доли барыша, но он умел трезво смотреть на вещи и заглядывать далеко вперед.

За двадцать лет знакомства между ним и художником выросла, несмотря на разницу возрастов, настоящая мужская дружба людей, связанных общими взглядами на искусство и понимающих друг друга с полуслова. Молчаливая дружба, которой не нужно постоянных встреч для своего проявления. Родригес Рональхо бывал у старого антиквара не чаще, чем раз в три месяца, но каждый раз, заходя в эту полутемную сокровищницу, он чувствовал себя так, словно побывал здесь только вчера. Моризе обладал огромными знаниями в своем ремесле и был настоящим философом-затворником. Его насмешливый и острый ум нравился художнику.

Увидев Родригеса Рональхо, Моризе вылез из-за своей конторки.

В магазине никого не было,— события, пережитые городом, не располагали людей к возне с антикварными вещами.

Моризе крепко встряхнул обе руки художника и повлек его к любимому месту их бесед — громадному дубовому дивану, вделанному в заднюю стену магазина.

— О-о! — сказал он, улыбаясь в усы.— Оказывается, мы живы. Оба живы. Вы не находите, что это прекрасно?

— Охотно соглашаюсь с вами, дорогой друг,— ответил художник, усаживаясь.— Но неужели вы не рассчитывали увидеть меня живым?

— Я высчитывал шансы и пришел к убеждению, что из ста больше шестидесяти не могу отвести на положительные выводы. Современная война в городе чересчур изобилует случайностями. С тех пор как люди бросили благородное холодное оружие и утратили подлинную смелость, все стало делом случая. Бомба гаубицы, бомба с авиона, шрапнель, пулеметы — это слишком похоже на лотерею. Вы хотите быть убитым, но противник этого не знает, и рассчитанные им издали траектории проходят мимо вас. Вы полны жажды жить, но вашему врагу это неизвестно,— он вас не видит, и вот глупый ком стали врывается к вам через крышу или сквозь стены, и вы умираете, даже не успев выразить своего удивления. Глу-

пая игра в кошку и мышку, где кошка не видит мышку даже тогда, когда она убила ее.

— Какая мрачная философия,— рассмеялся художник.— Но я вижу, дорогой Моризе, что эта свирепая кошка не причинила вреда вашему предприятию.

— О нет, мой друг. Антиквары никогда не теряют во время войны, если только им удается не быть убитыми. В войне, особенно в гражданской, вещи слишком часто переходят из рук в руки, чтобы не попасть в конце своего круговорота в мою лавчонку. Сейчас я переживаю время отлива, но дня через два начнется прилив, который затопит меня всяким драгоценным хламом.

— Узнаю вас, старый стяжатель,— сказал Родригес Рональхо,— вам решительно все равно, что привело в ваши руки какую-нибудь чудовищно редкую безделушку. Вы никогда не задаетесь вопросом, чья кровь оставила на ней свои следы.

Моризе искоса посмотрел на художника и усмехнулся.

— Романская экзальтированность,— заметил он нравоучительно,— это праздное любопытство, ибо тогда мне придется завести гигантский аппарат по расследованию подобных моральных факторов. Или вам не известно, что всякая вещь, существующая в мире, несет на себе следы чьей-либо крови или чьего-либо труда?

— Новая Испания тоже будет стоить много крови,— задумчиво сказал художник.

— Если ее будут делать такие руки, как руки генерала Франко и его подручных, то я боюсь, дорогой друг, что Испании не будет. Останется только пустыня, покрытая запекшейся кровью.

— Я знаю, вы не сочувствуете националистам. Вы закоренелый анархист.

— Я не анархист,— ответил Моризе,— я просто свободомыслящий индивидуум. Но мне досадно, что вы могли поверить в то, что орава слабоумных попугаев, способных только гонять солдат на маршировке, может стать создателями новой Испании. Когда это действует на истерических дам, я не волнуюсь. Но от вас я ждал большего прозрения. Вас обвели вокруг пальца самым примитивным мошенничеством с понятием нации.

— Черт возьми! — вскрикнул художник, вскочив с дивана.— Вы тоже! Решительно все сговорились считать меня обманутой овечкой. Даже моя натурщица считает меня

одураченным. Ей это простительно по молодости. Вам — потому, что вы все-таки не испанец.

Моризе покачал головой.

— Я бы обиделся, если бы мне сказал об этом кто-нибудь другой. Я настолько стал испанцем, что хотел бы не быть им сейчас. Я переживал бы все это спокойно. Мне кажется, что вы утратили понимание разницы между идеей и ее реальным воплощением.

— Оставим разговор на эту тему,— сказал раздраженно художник,— иначе мы рискуем впервые поссориться.

— Отлично.

Моризе встал и прошел к конторке.

— Я хотел вам показать одну замечательную вещицу,— пробормотал он, роясь в ящике, и вдруг повернулся к двери. В ее пролете стоял темный силуэт человека в военной форме.

— Что вам угодно, сеньор? — спросил Моризе, задвинув ящик.

— Вы хозяин? — спросил человек, приближаясь. Свет из окон падал на него сбоку, и Родригес Рональхо не мог разглядеть его лицо.

— Я, сеньор.

— Не пожелаете ли вы приобрести эту вещицу?

Военный положил на конторку перед Моризе что-то, слабо блеснувшее в темном помещении лавки. Моризе нагнулся и долго разглядывал. Потом он поднял голову и позвал:

— Дон Луис... Поглядите. Первая волна прилива, о котором я вам говорил.

Художник подошел к конторке. Антиквар протянул руку и положил в ладонь художника золотые часы-луковицу английской работы, осыпанные, как маленькими звездами, частой осыпью бриллиантов.

— Тысяча семьсот девяносто первый год,— сказал Моризе,— эти часы родились в Лондоне двумя годами позже взятия Бастилии.

Родригес Рональхо разглядывал лежавшие на его ладони часы. Вещь была ценной и по работе, и по времени, и по ценности камней, отличной воды и шлифовки. Полюбовавшись часами, он взглянул на владельца.

Быстрое движение. Как будто человек откинулся в испуге назад. Моризе ахнул. Выпавшие из руки художника часы гулко ударились о паркет. Военный злобно

зарычал на человека, проявившего преступную неуклюжесть.

— Дьявол вас возьми, сеньор! Если у вас дырявые руки, нечего браться за хорошие вещи.

Моризе наклонился поднять часы, но не успел и так и застыл в полусогнутом положении, окаменев от изумления.

Художник с силой вцепился в плечо военного и, рывком повернув его к себе, потащил к окну. Военный,— теперь Моризе рассмотрел, что это офицер,— тоже ошеломленный внезапным нападением, не успел оказать никакой попытки к сопротивлению. Он только растерянно смотрел на стиснувшего его плечо незнакомца, который вплотную приблизил свое лицо к его лицу.

— Послушайте, вы,— произнес он наконец,— какого черта вам нужно? Что вы вгрызлись в меня, как волкодав? Отпустите мое плечо, или вам придется познакомиться с моим пистолетом.

Моризе в одно мгновение очутился за конторкой. Рука его нащупала в углу ящика постоянно лежавший там браунинг, и он ловким движением большого пальца отвел предохранитель, не спуская глаз с двух людей у окна.

Родригес Рональхо выпустил плечо офицера и стоял перед ним, хрипло и тяжело дыша. Моризе ничего не понимал.

— Сеньор альферез,— Моризе не узнал голоса своего друга, он был придавленным и жалким,— сеньор альферез... вы офицер марокканских конных стрелков?

— Ну да... Шестого полка из Тетуана... А что вам за дело до этого?

— И вы позавчера во время вступления в город вашей части наблюдали случай, когда один из ваших стрелков совершил безобразный поступок, произведя выстрел...

— А,— перебил офицер и расхохотался,— так это вы тот самый старикан, которому мой парень расхлопал какой-то горшок... Что же, вам мало этого? Вы хотите еще какой-нибудь неприятности?..

— И вы не были арестованы? Вас не судили?

Художник торопливо задавал вопросы. Офицер снова расхохотался.

— Вы прямо псих,— сказал он нагло,— еще не хватало, чтобы людей, спасающих Испанию, арестовывали и судили из-за всяких черепков. Скорей вас будут судить за то, что вы расхлопали, очевидно в отместку за вашу

вазу, мои часы. Теперь я понимаю, что вы это сделали нарочно. И мы поговорим с вами в жандармерии.

Моризе увидел, как Родригес Рональхо закрыл лицо руками и стоял посреди магазина неподвижный, окаменевший. Офицер тоже замолчал, недоумевая.

Потом Моризе услышал шепот, от которого он вздрогнул:

— Боже мой, боже... Значит, все это ложь...

После долгой паузы художник отнял руки от лица, и Моризе встревоженно выскочил из-за конторки, увидев на этом лице отчаяние, боль, ужас. Он подбежал к художнику.

— Что случилось? Я ничего не понимаю. Сядьте, успокойтесь.

Но едва он дотронулся до руки художника, как тот отпрянул, точно его коснулось раскаленное железо.

— Нет... нет, Моризе... Не троньте меня... Не троньте... Я знаю, что делать.

Он повернулся и, прежде чем Моризе и офицер могли помешать ему, выскочил из магазина. Моризе бросился к двери, но успел только увидеть, как художник вскочил в автомобиль и машина понеслась по улице. Пораженный и встревоженный, антиквар вернулся в лавку. Офицер стоял у конторки, с сожалением рассматривая разбитое стекло луковицы.

— Я думаю, что они не очень испортились,— сказал он неуверенным голосом мелкого воришки,— и вы сможете их починить. Сколько вы мне дадите за них?

Моризе молчал. Офицер взглянул на него и ухмыльнулся.

— Этот старикашка, он что — сумасшедший?

Тогда Моризе повернулся к нему с лицом, перекошенным бешенством.

— Этот старикашка? Вы... вы смеете? Вы не годитесь быть пипифаксом у этого человека, вы — мерзавец!.. Сколько я дам вам за эти часы? Я с удовольствием влепил бы вам пару оплеух... Я не покупаю вещей у грабителей и воров...

— Что такое? — сказал офицер, нащупывая кобуру.— Вы тоже психопат! Замолчите...

— Уберите руки,— крикнул Моризе.— Я француз, и вы будете иметь дело с французским правительством. Берите вашу добычу и вон отсюда, бандит!

Он швырнул в руки офицера часы и, наступая на него, бледный от гнева, вытеснил окончательно опешившего офицера за дверь и защелкнул замок. Сдвинул на затылок свою бархатную шапочку и, вздохнув, сказал:

— Я начинаю понимать.. Это ужасно для него...

Родригес Рональхо вернулся домой и заперся в мастерской. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из домашних увидел его. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было увидел его. Ему страшно было взглянуть в человеческие глаза.

Он долго метался по мастерской из угла в угол, растравляя собственную рану и зажигая сигару за сигарой. Мастерская тонула в голубом душистом тумане табачного дыма. Наконец он бросился в кресло, беспомощно свесив руки, весь обмякший, бессильный. Все его тело как будто перестало существовать, кроме мозга, и мозг разрывался болью впивающихся в него мыслей.

Так все это было комедией. Гнусной и пошлой, издевательской комедией. Его провели, как последнего мальчишку, как глупого барана из арагонских стад. И он поверил... он мог поверить... Кому? Разве он не знал, что такое генерал Санхо-Мануэль Мунексас де Лосойя? Разве он не знал, что такое испанские генералы вообще? Растленные лодыри, грязные сутенеры, торгующие титулами, как молодцы из Авенида Коломбо торгуют мускулами. И он мог вообразить, что эта разновидность человеческой породы может облагородиться тем, что представляет собой идею великой Испании? Великая Испания!.. Образ, исполненный чистоты и благородства. Что может быть общего между великой Испанией и человеком, который ограбил и свел в могилу искалеченную женщину? Он так же ограбит и продаст Испанию. И все эти зверства, эти потоки крови в предместьях, этот красный налет на плитах... женщина, падающая под пулями... старуха, прислушивающаяся к последнему вздоху убитого сына,— это не случайные преступления замаскированных негодяев. Это дело генерала де Лосойя, дело армии, которая называет себя национальной... Красные были апостолами гуманности по сравнению с этими людьми... Но что же делать? Как поправить непоправимое? Он отрекается от преступной банды, он не хочет больше связывать свое имя с людьми, которые, как говорит Моризе, оставят от Испании пустыню, покрытую запекшейся кровью. Как он был

наивен! Всю жизнь он стоял далеко от практической политики, занятый только искусством. Он разучился мыслить, и старый Моризе дал ему урок. Но что же делать? Что делать?

Он опять вскочил и заходил по мастерской. Понемногу решение начало отстаиваться в его воспаленном мозгу, и шаги его стали спокойней и тверже. Тогда, решившись, он подошел к телефону и, набрав номер справочного бюро, узнал номер телефона командующего гарнизоном. Он позвонил вторично, с бьющимся сердцем ожидая у трубки.

Когда в ухо ему зазвучал чуть приглушенный голос генерала, он на мгновение отшатнулся. Но усилием воли справился с потрясавшей его дрожью волнения и назвал себя.

— Дон Луис? Как я рад, что вы не забываете меня... Чем я могу быть вам полезен?

Голос генерала был преувеличенно любезен. Он был лжив, как лживым было все, что было связано с генералом. И рот художника наполнился слюной от внезапного прилива ненависти и брезгливости. Он вообразил румяное лицо генерала с отвисшими щеками, с курчавой шевелюрой, и ему захотелось плюнуть в это лицо. Он жалел, что это невозможно, и с бесплодной яростью плюнул на пол.

— Вы мне? Полезны? Вы слишком преувеличиваете собственное значение, сеньор маркез... Вы, кажется, любитель народных поговорок и любите цитировать их своим офицерам. Может быть, вам небесполезно будет вспомнить поговорку барселонских рыбаков: «из каракатицы не надоишь молока».

Он проговорил все это быстро и нервно, захлебываясь от злобы и презрения.

Генеральский голос прозвучал встревоженней. Маркиз де Лосойя еще не понимал.

— Что с вами, дон Луис? Вы сердитесь на меня? Вы хотите обидеть меня?

А, этот безмозглый солдафон прикидывается дураком. Тем хуже для него!

— Обидеть вас? Разве вас можно обидеть, сеньор маркез? Вы же не обижались, когда командиры германских подводных лодок называли вас мошенником, получая за чистое золото фальсифицированную дрянь, которой вы торговали вместо солярового масла. Деньги не пахнут, а ругань не пристает...

— Вы больны, сеньор Рональхо? — Голос генерала прозвучал уже раздраженно и грубо.

— Я? Нет... Я был болен несколько недель тому назад... несколько дней... даже еще позавчера, когда я дал убедить себя, что такой бесчестный спекулянт, как вы, может возвратить себе честь, встав за идею родины. Но теперь я выздоровел и сообщаю вам, что я сейчас же отправляюсь на радиостанцию рассказать миру о своем выздоровлении. Позавчера я солгал миру,— сегодня я скажу ему правду.

В трубке наступило молчание. Очевидно, генерал наконец понял. И после паузы жесткий солдафонский голос угрожающе отчеканил:

— Я призываю вас к порядку, сеньор Рональхо. Вы ничего не скажете миру ни сегодня, ни в какой-либо другой день. Мы на войне. Радиостанция не предоставляется для ораторских упражнений любого желающего. У нас есть средства заставить каждого гражданина Испании уважать правительство и его представителей. Кроме того... кто поверит человеку, который сегодня говорит одно, а завтра...

Это была умело рассчитанная со всей солдатской жесткостью пощечина.

Родригес Рональхо побледнел и с размаху ударил трубкой об стол. Эбонитовые осколки брызнули в стороны.

Художник рывком распахнул дверь мастерской и крикнул страшным голосом:

— Ассунсион! Скажите шоферу — немедленно подавать машину!

Он стремительно прошел мимо испуганных женщин. Ему захотелось сейчас же, немедленно на воздух. Он может подождать в патио [1], пока будет подан автомобиль.

По лестнице, ведшей из второго этажа в патио, он спускался, шатаясь, придерживаясь рукой за стену. У него ясно ощутимо болело сердце, как будто его сжимала грубая рука. Все сильнее ломило виски. Он знал, что это признаки наступления рецидива терцианы [2], всегда вспыхивавшей, когда его организм бывал потрясен. Он с трудом вышел под своды галереи, окружавшей патио, и тут вздохнул легче. Белый блеск солнца, тишина, душистая

---

[1] Во внутреннем дворике.

[2] Лихорадки.

влажность воздуха, впитавшего запахи цветов, вызвали на его осунувшемся лице тусклую улыбку.

Через десять минут он будет на радиостанции. Пусть кто-нибудь попробует не пустить его к микрофону.

В цветнике, занимавшем весь квадрат патио вокруг фонтана, возился, как всегда, старый садовник Хаиме, в широкополой соломенной шляпе, в фартуке, в кармане которого были заткнуты садовые ножницы.

Серебристые струйки, вылетавшие из наконечника лейки с легким шипением, кропили листья и бутоны. Родригес Рональхо машинально следил за игрой солнечных искр в этом игрушечном ливне. Опустошив лейку, Хаиме выпрямился и увидел хозяина.

Обычно он широко улыбался беззубым ртом и снимал шляпу. Но теперь, завидя художника, старик насупил мохнатые брови, поставил лейку на землю, отряхнул руки и ковыляющей походкой, припадая на больную ногу, подошел вплотную.

— Дон Луис,— сказал он, шамкая и смотря на ноги художника,— я вот что хотел сказать вам... Ищите нового садовника... А мне дайте расчет.

— Что с тобой, Хаиме? — спросил удивленный Родригес Рональхо.— Почему ты вздумал уходить? Я надеялся, что мы вместе доживем до наших последних часов в этом доме.

Хаиме мял кромку фартука скрюченными ревматизмом пальцами и не поднимал глаз.

— Ну, скажи же, Хаиме.

Старик поднял голову, и художник увидел его глаза — мутноватые, но строгие.

— Простите меня, дон Луис. Вы давеча неправильно говорили. Нехорошо говорили.

— Что говорил? О чем ты, Хаиме? — спросил художник в тоскливом недоумении.

— Вы позавчера по радио говорили, дон Луис. Я слышал... Вы нечестно говорили, дон Луис. Я старый неграмотный мужик, но я свое понимаю. Я давно у вас служу, и я всегда думал, что вы за народ. А вы даете свою руку убийцам, дон Луис!

— Хаиме! — с обидой и возмущением перебил художник,— замолчи!

— Нет, дон Луис,— старик распрямил спину, и в его мутноватых зрачках блеснул молодой огонь,— вы можете сердиться, но вы неправильно поступили. Испанский

народ вам не простит... Я не прощу вам... Мои сыновья, которые дерутся против этих разбойников... Ваш собственный сын, сеньор Кристобаль...

Это было уже слишком. Выживший из ума старик попрекал его Кристобалем, этим мальчишкой, смертельно оскорбившим чувства отца.

— Довольно,— хрипло вскрикнул художник,— уходи! Уходи сегодня же, старый болван! Кто дал тебе право судить меня? Что ты понимаешь во всем этом? Уходи, если хочешь, и чтоб я тебя больше не видел.

Он повернулся и почти побежал от старика к воротам, где уже стоял автомобиль. На половине дороги нестерпимая боль ударила ему в виски. Он зашатался и вытянул руки, ища опоры. Но пальцы бесплодно хватали пустоту. Он падал и не мог удержаться. Мучительно болезненный удар грудью о выступ стены — и нахлынула жаркая, поглотившая его, как омут, тьма...

8

Теплый ветер тихо качал обшитые синей каймой фестоны парусинового тента над террасой. Ветер приносил временами далекий певучий гул прибоя, ровно шумевшего внизу, в гавани, куда круто сбегали улицы.

Родригес Рональхо лежал на террасе в шезлонге, укутанный пледом.

Мучительный приступ терцианы около трех недель жестоко трепал его, сотрясая тело судорогами ежедневных пароксизмов. Лихорадка отпустила его неохотно, испитого, желтого, обескровленного, постаревшего на десятилетие.

Во все время болезни Ассунсион, Келита и доктор Бонавентура неотлучно дежурили у его постели. Доктор, знавший эти периодические припадки застарелой болезни, ежегодно возобновлявшиеся у художника и не представлявшие опасности для жизни, на этот раз был озабочен и встревожен состоянием больного. Во время приступов художник метался и бессвязно бредил убийствами и войной. Казалось, что, помимо лихорадки, его угнетает скрытая от других душевная тяжесть.

В те часы, когда приступ оставлял его, художник лежал на спине, вытянув руки, бесцельно смотря в потолок и не произнося ни слова.

Только к концу болезни он стал иногда разговаривать с Келитой, когда они оставались вдвоем. Но стоило появиться доктору или Ассунсион, как больной обрывал разговор и уходил в замкнутое и безразличное молчание.

По истечении трех недель доктор впервые разрешил ему выйти на воздух.

Утром этого дня Родригес Рональхо попросил Келиту подать ему маленькое зеркало, стоявшее на туалетном столике. Он долго смотрел в темное старинное стекло, и Келита уловила глубокую печаль в его исхудалых чертах.

Он вернул ей зеркало и долго молчал.

— Старик,— сказал он наконец,— совершенный старик. Вот так когда-нибудь почувствую, что жизнь кончилась, и в этот день некому даже будет закрыть мне глаза. Я совершенно одинок, Келита.

— Не говорите этого, дон Луис. Зачем вы обижаете меня? Я ни за что не оставлю вас, пока вы позволите мне оставаться здесь.

— Спасибо, малютка,— сказал он, тронутый,— я в самом деле привык к вам, как к дочери. И если вы захотите прожить под моим кровом до дня моей смерти, я буду рад, что ваша детская забота не брезгует такой развалиной.

Он вышел на террасу с помощью Ассунсион и Келиты, лег на кушетку и, полузакрыв глаза, с наслаждением вдыхал бодрящую свежесть теплой осени.

Он попросил Келиту почитать ему газеты. Он три недели был оторван от всего мира. Но, как только болезнь ушла, он ощутил жадность к жизни, которая шла за стенами его дома.

Гортанным голоском Келита читала страницу за страницей. Газетные сообщения прославляли победное наступление национальной армии, восторженно встречаемой населением. Войска генералиссимуса беспрепятственно продвигались к Мадриду, почти не встречая сопротивления. Красные трусливо бежали. Генералиссимус в пространных интервью иностранным журналистам заявлял, что через неделю он вступит в столицу Испании и с красным кошмаром будет покончено. Репортеры описывали конюшню, в которой помещался белый конь, холимый для парадного въезда генералиссимуса в столицу, и роскошные стати самого коня. В военных обзорах сообщалось, что красными частями командуют прибывшие из Москвы

советские генералы и что поражения красных свидетельствуют о крахе советской стратегии и тактики.

Внезапно Родригес Рональхо жестом остановил Келиту.

— Ну, а теперь скажите мне правду. Я не верю ни одному слову из того, что вы мне прочли. Я довольно давал себя обманывать. Я желаю знать истину. Говорите!

Его глаза заблестели молодо и упрямо. Он смотрел на Келиту, ожидая ответа.

Девушка оглянулась и придвинулась ближе к нему.

— Они действительно наступают на Мадрид и теперь подошли к самым стенам, дон Луис. Но никто не верит в то, что они возьмут Мадрид. В городе говорят, что они не пройдут. Против них встают все. Но они...

Келита оборвала фразу. Художник привстал, опираясь на локоть, и прислушался. Из-за домов доносилась отдаленная мелодия марша. Где-то неподалеку играли обыкновенный военный марш с его непритязательными созвучиями, рассчитанными на примитивный слух солдата, могущего переставлять ноги в ритм этой двухтактной музыке. Но в мелодии марша было что-то незнакомое. Он звучал для художника так, как может звучать для человека чужой язык.

Музыка близилась так же, как в памятный Родригесу Рональхо день вступления в город национальной армии.

Он брезгливо поморщился и спустил ноги с кушетки.

— Помогите мне, Келита. Я не хочу слушать эту фельдфебельскую симфонию.

Девушка помогла ему подняться. Он стоял у перил террасы, и отсюда ему видна была вся улица. Ее заполнили тяжелые ряды пехоты. Передние уже поравнялись с террасой.

Художник рассеянно взглянул на грузно шагавших солдат, собираясь уходить, но неожиданно отстранил руку Келиты и перегнулся над балюстрадой. Вцепившись пальцами в перила, весь вытянувшись вперед, он смотрел на солдат с выражением растерянности и страха.

Внизу шли пехотинцы. Но не испанские пехотинцы. На солдатах были низкие, широкие сапоги. Их подкованные каблуки гремели по камню. Они были в темно-серых суконных брюках и таких же узких и коротких куртках с суконными погонами. На головах — круглые приплюснутые стальные шлемы, похожие на деревенские котлы для

варки бараньего жира. И маршировали солдаты не по-испански. Они высоко вскидывали носки и с грохотом опускали всю ступню на мостовую.

Художник обернулся к Келите. Губы у него тряслись, и он с трудом выговорил, запинаясь и указывая на солдат вытянутым пальцем:

— Что это?.. Кто это такие?

Келита взяла его за руку и мягко, но настойчиво тянула от балюстрады к дому.

— Уходите, дон Луис... Я вас прошу. Вам не нужно смотреть туда.

Он нетерпеливо вырвался.

— Я не уйду, пока вы не ответите на мой вопрос. Что это?

Келита вздохнула.

— Боже мой, зачем вы смотрели туда? Теперь вы опять заболеете, дон Луис. Вы ничего не знаете. Наших солдат всех угнали на фронт. Как ни хвастают фалангисты, но их дела плохи. Республиканцы бьют их всюду. В войска Франко никто не хочет идти добровольно. Ни в городе, ни в деревне. Они проигрывают игру. И теперь они позвали на помощь фашистов из Германии. Гитлер шлет им солдат, пушки и самолеты. Немцы приезжают каждый день на пароходах. Их офицеры заняли лучшие отели. Солдаты слоняются по городу, задирают мужчин, пристают к женщинам. Это плохо кончится, дон Луис.

С каждым словом Келиты художник все ниже опускал голову. Вся его фигура сгорбилась и обмякла. Казалось, он сейчас упадет. Келита приблизилась, готовая поддержать его. Он молчал.

— Пустите меня, Келита,— тихо сказал он.— Идите в дом.

Келита не решалась повиноваться, видимо боясь оставить его одного.

— Идите же,— настойчиво повторил он.— Идите, не бойтесь за меня. Я окончательно выздоровел в одну минуту.

Келита ушла. У дверей, ведущих в дом, она еще раз тревожно оглянулась и скрылась. Родригес Рональхо, оставшись один, помотал головой, как бык, оглушенный ударом обуха, и простонал:

— Немецкие солдаты в Испании! Берлинские сапоги топчут испанскую землю! Испанские генералы зовут

чужое пушечное мясо, чтобы убивать других испанцев. Какая чудовищная мерзость!

Чужое пушечное мясо... Но ведь его не дают даром! Оно продается тому, кто может за него заплатить. Но у националистов нет денег. Золотой запас страны остался в Мадриде у красных. Восставшие националисты рассчитывали на захват этого золота и потерпели неудачу. Золото осталось в руках республиканского правительства. Чем же тогда, даже в случае победы националистов, расплатится нищая, разоренная, лишившаяся в исторических катастрофах сил и богатства страна за кровь чужих солдат, за пушки, ружья, снаряды?

Ему стало страшно. Он почувствовал, как у него немеют пальцы.

В течение всего девятнадцатого века ослабевшее тело Испании разрывали на части выходившие на историческую арену молодые и крепкие хищники. Что же будет теперь?

И где же его собственное место в этом ужасающем круговороте, в этой цепи обмана, преступлений и измены? Не он ли покрыл авторитетом своего имени, как знаменем, перед всем миром эти бесчисленные преступления? Нет! Нет! Он ничего не знал тогда. Теперь он не имеет права молчать.

Но сейчас же он вспомнил издевательскую фразу генерала де Лосойя, сказавшего, что он ни у кого не встретит доверия, если даже и захочет взять назад свое опрометчивое благословение национальной армии и ее вождям.

«Никакие ароматы Аравии не смоют крови с этой маленькой ручки». Он с испугом поднял руку к лицу и посмотрел на свою ладонь. Она была бледна и чиста, но ему показалось, что под кожей проступают едва заметные темноватые пятна. Вздрогнув, он опустил руку и, торопясь, пошел в дом. В мастерской он наткнулся на Асунсион. Она шла ему навстречу, неся на китайском подносе только что принесенную почту.

Художник овладел собой и спокойно взял несколько бандеролей с журналами и два конверта. Один был небольшой, квадратный, из голубоватой дорогой бумаги, пахнувшей духами. Второй — крупный, шероховатый, простой.

Он взрезал первый конверт. В нем была короткая просьба проезжей американской художницы позволить

ей посетить мастерскую великого учителя. Родригес Ро-нальхо небрежно отбросил его. Ему смертельно надоели эти визиты, похожие на посещение усыпальниц знатных особ зевающими туристами.

Второй конверт был подклеен изнутри холстом, и в нем лежали плотно сложенные листки папиросной бумаги, покрытые мелким печатным шрифтом. Он был настолько мелок, что трудно было различить буквы. Художник вынул эти листки из конверта со смешанным чувством недоумения и странного предчувствия беды. Он развернул их, и они обратились в тоненькую тетрадку, размером в четвертушку писчего листа. Наверху жирным шрифтом выделялся заголовок: «Бандера Роха». Ниже заголовка он разобрал тем же шрифтом, но гораздо мельче: «Орган районной группы коммунистической партии Испании».

Дальше шрифт становился совсем нечитаемым по своей мелкости. Продолжая недоумевать, художник взял со стола лупу и стал проглядывать тоненькие, шуршащие страницы. В них были фронтовые сводки, воззвания, статья о состоявшемся объединении социалистической и коммунистической партий. Все это могло бы занять его, но он торопливо перелистывал страницы, ища чего-то важного. Он чувствовал, что эти присланные неизвестным лицом листки имеют непосредственное отношение к нему. И действительно, на одной из страниц он заметил жирный след красного карандаша, обводящий рамкой нижнюю половину страницы и переходящий на следующую.

Он нагнулся над лупой, и вдруг эта маленькая подпольная газета судорожно затрепетала в его задрожавших руках. Он прочел заголовок «Герой сын — предателю отцу» и, скользнув глазами вниз, сразу увидел свое имя. С каждой секундой все мучительнее испытывая недостаток воздуха, тяжело дыша, он ловил зрением танцующие перед ним буквы:

«В мадридских газетах напечатано письмо командира истребительной эскадрильи имени товарища Тельмана Кристобаля Рональхо его отцу, знаменитому художнику Луису Родригесу Рональхо, порвавшему с родным народом и протянувшему руку преступной банде мятежных генералов и их фашистских покровителей. Мы перепечатываем это письмо. Вот оно. «Отец! Нет! Вы не стоите этого названия! Сеньор Луис Родригес Рональхо! Вы родились некогда в крестьянской хижине. Только народу

Испании Вы обязаны жизнью, талантом и Вашей мировой славой. Вы отплатили народу за эти дары страшной изменой и черным предательством. Вы хуже Иуды, сеньор. Иуда продал учителя угнетателям одного с ним племени, Вы же продали Вашу мать-Испанию и ее народ чужеземным гориллам фашизма. Я давно покинул Ваш дом, но до последних дней все же гордился тем, что ношу Ваше имя. Теперь грязь Вашего преступления ложится пятном и на меня. Я мог бы сбросить это ставшее ненавистным народу имя, но считаю, что на мне лежит более трудный долг — восстановить его честь. Ваш отвратительный позор я выкупаю наличными. За каждую букву Вашего имени я расплачиваюсь сбитым самолетом бандитов, бросающих бомбы в детей и женщин Испании. Я уже выкупил три буквы из этого имени, за ними последуют другие, но, и освободив все мое имя от бесчестия, я не прекращу боя до тех пор, пока последний из коршунов, терзающих испанскую землю, не сломает свои подлые крылья в нашем небе. Прощайте, сеньор Луис Родригес Рональхо! Пусть останется с Вами мое проклятие и ненависть нашего народа. Лейтенант *Кристобаль Рональхо*».

Папиросные листки вывалились из пальцев художника и рассыпались по полу.

Он задыхался. Горячая муть неудержимых слез застилала его глаза. Делая неимоверные усилия овладеть собой, он вскрикнул:

— За что, Кристобаль?

Слабый и беспомощный крик его остался без ответа.

Он долго простоял посреди мастерской, неподвижный, раздавленный, отчаявшийся. Потом он медленно оглядел мастерскую, и его глаза остановились на портрете маркизы де Лосойя. Он подошел к нему и отодвинул незаметную узкую планку у края рамы. В открывшемся отверстии показался свернутый в трубочку листок бумаги. Он вынул и развернул его. Тут была скрыта его тайна, о которой не знал никто, кроме него и умершей аргентинки. Ее предсмертное письмо. Он подошел к окну мастерской. Косой, слабый почерк на листке склонялся книзу, слева направо: «Дорогой друг! Я пишу уже слабеющей рукой, зная, что завтра она перестанет двигаться навсегда. Только это сознание позволяет мне писать Вам, потому что мы больше никогда не встретимся. Я хочу сказать Вам, что в моей недолгой и грустной жизни я не встречала более благородного и достойного уважения человека. Дни,

когда Вы писали мой портрет, были днями моего полного и безмятежного счастья. Мне нет надобности называть то чувство, которое я питаю к Вам, Вы сами знаете имя ему. Если бы я была здорова, я не таила бы его до моего последнего дня. Я переступила бы все препятствия, чтобы пойти с Вами хотя бы в бездну несчастий. Но я только жалкий обрубок человека, а жалости я не хочу. Пусть моя любовь будет всегда с Вами и сохранит Вас для родины и искусства».

Родригес Рональхо опустился на диван, держа в руке письмо. Письмо сына лежало на полу. Между этими двумя письмами — письмом его мальчика и письмом женщины, любившей его,— было расстояние в двенадцать лет.

«Я не знаю более благородного и достойного уважения человека» и «Вы хуже Иуды». «Пусть моя любовь будет всегда с Вами и сохранит Вас для родины и искусства» и «Пусть остается с Вами мое проклятие и ненависть нашего народа».

Какое ужасающее противоречие! Какое убийственное оскорбление!

Он больше не мог сдерживаться. Ему хотелось кричать, упасть, биться головой об пол, о стены, раздробить череп, разбрызгать по мастерской свой мозг, разрываемый обидой и мукой.

Только смерть могла прекратить это нестерпимое терзание. Он встал. Осторожно вырвал из газетной тетрадки письмо Кристобаля. Свернул его в трубочку вместе с письмом аргентинки. Оба письма снова вложил в раму и задвинул планку. Блуждающим взглядом окинул мастерскую.

На ковре, над диваном, среди всяких безделушек, висел короткий, прямой мавританский кинжал в ножнах, залитых цветной эмалью. Он снял его и обнажил лезвие. Попробовал его концом пальца. Кинжал был остер, как бритва. Он расстегнул пиджак и нащупал левой рукой впадину между ребрами.

— Луис! Ты здесь?

Художник быстро сунул кинжал в карман пиджака и обернулся.

В двери мастерской, заслоняя весь ее пролет, стоял широкоплечий и высокий человек с крупными чертами жизнерадостного лица, с тщательно подстриженной квадратной бородкой.

Родригес Рональхо шагнул ему навстречу, протягивая

обе руки, как утопающий протягивает руки к брошенному ему концу.

— Рамон!

Это был его старый друг, ректор университета, Рамон Альмедина, известный биолог, спортсмен, человек неиссякаемой жизненной энергии, неутомимый исследователь и экспериментатор, с одинаковым упорством и энтузиазмом разоблачавший тайны клеток под объективом микроскопа и плававший пять километров кролем по заливу.

— Ты что же это вздумал болеть, старина? — спросил он, весело стискивая холодные руки художника своими крепкими пальцами, из которых струился горячий и бодрящий ток.— Рановато! Мы с тобой должны еще пожить.

— Рамон! Как я рад, что ты пришел,— голос Родригеса Рональхо дрожал.— Ты сам не знаешь, что именно ты был мне нужен...

Он оборвал фразу и вдруг с испугом заглянул в теплые, улыбающиеся глаза друга. Неожиданная мысль хлестнула его: «Знает Рамон о письме сына или не знает?»

И, как бы отвечая на эту мысль, биолог ухватил его за плечо, потащил к дивану и, смеясь, повалил навзничь, как часто проделывал это еще в их юношеские годы.

— Слушай, старина Луис,— сказал он, садясь рядом и обнимая художника за талию,— я так и думал, что буду тебе нужен. Мне сказали, что тебе худо и ты развинтился... Diablo! [1] Что у тебя, булавки, что ли? — вскрикнул он, и, прежде чем художник успел помешать ему, биолог запустил руку в карман пиджака друга и вытащил оттуда кинжал.

Он перестал смеяться, внимательно посмотрел на клинок, потом на художника и сильным взмахом швырнул кинжал через всю мастерскую в угол.

— Это уже окончательно глупо, Луис! Совсем глупо... Я ведь все знаю. Ты не волнуйся и не сердись на мальчика. Он по-молодому бешен и по-своему прав.

Родригес Рональхо сделал движение, чтобы освободиться от сильной руки друга.

— Ты соглашаешься с ним? Ты тоже считаешь, что я хуже Иуды?

Но биолог не выпустил его:

---

[1] Черт! *(исп.)*

— Постой, постой! Оставим громкие слова и евангельские сравнения. Это хорошо для романтических мальчиков, а мы с тобой уже устарели для таких примитивных эффектов. Оттуда Кристобалю видны только факты, без обстоятельств и причин. Разве он может знать, что ты глупый старый идеалист, которого обвели вокруг пальца, вокруг грязного, кровавого пальца? Ты сделал, конечно, нелепый промах с этой скороспелой болтовней у микрофона. Какой дьявол дергал тебя за язык?

— Но ты же понимаешь, Рамон, я верил, что красные не могут спасти Испанию, а только углубят ее раны и ускорят гибель. Я и сейчас не уверен в обратном.

— Ну, и что же? — засмеялся биолог.— И тебе тотчас же нужно было кричать о своей вере на весь мир? Что за громогласное идейное кукареку? Всякое явление, старина, требует длительной проверки временем и опытом. Для нас, медиков, это — аксиома. Мы знаем достаточно случаев, когда торопливость приводила к трагическим результатам. Спешка в науке неуместна. Жюль Борде, настоящий ученый, открыл бледную спирохету, но он так долго проверял свое открытие и так боялся поверить в его великое значение, что его опередил более скорый на заключения и менее критически настроенный Шаудин. Но Борде поступал как честный исследователь, и мы его уважаем больше Шаудина. А ты, едва взглянув на новый микроб в Испании, поторопился признать его не только безвредным, но даже целительным. А на деле он оказался гаже и вреднее всякой спирохеты.

— Мне остается умереть,— безнадежно сказал Родригес Рональхо.

— Ерунда... Тебе остается сохранять спокойствие, нормально питаться и удалить из дому колющие, режущие и стреляющие предметы.

— Как ты можешь шутить? — с негодованием сказал художник.

— Я буду шутить и на смертном одре. Жизнь стоит шутки, но не стоит слез,— ответил биолог.— Но если хочешь, поговорим серьезно. Я знал, что буду нужен тебе. Но ведь и ты нужен мне и всем нам.

— Зачем?

— А вот послушай! По случаю наступившего мира на земле и благоволения в человеках наша alma mater[1] во-

---

[1] Мать-кормилица *(лат.)*.

зобновляет занятия. Так пожелал генеральский микроб — маркиз де Лосойя. Хотя все студенты разбежались и в данный момент изучают пулеметы и гранатометание в республиканской армии, но ведь нужно все же создавать для Европы зрелище мирного процветания наук под сенью генеральского сапога. Когда вместо нас посадят немецких фельдфебелей, все примет окончательно пристойный вид. К сожалению, господин Геббельс еще не подготовил в достаточном количестве фельдфебельские кадры для занятия профессорских кафедр в менее цивилизованных странах. Но, так или иначе, завтра торжественный акт открытия университета, во всем блеске ученого синклита. Его спирохетное превосходительство желает произнести речь в пользу наук. Отказаться от такого лестного предложения мы, к сожалению, не можем, не имея тяжелой артиллерии и танков. Но сиятельная спирохета пожелала, чтобы торжеством руководил в качестве председателя профессор Суккаро, это высохшая монархическая макака, у которой в черепе брякает битый щебень. При всем моем стоицизме я взбесился и ответил превосходительству, что, пока университет не утратил автономии, мы сами можем избрать достойного председателя. И мы избрали тебя.

Родригес Рональхо нервно вскочил и сделал отрицательный жест.

— Нет, нет! Ни в коем случае. Я больше не появлюсь в человеческом обществе. Я не могу взглянуть в глаза людям без того, чтобы меня не ужалила мысль, что все знают о письме Кристобаля.

Биолог подошел к нему и положил на его плечо тяжелую руку.

— Брось глупить, Луис! Ты не мальчик! Если ты запрешься в своем доме — это как раз будет для всех поводом думать, что не только твой сын, но и ты сам вынес себе обвинительный приговор. В действительности же тут роковая ошибка и с той и с другой стороны. Избранием тебя в председатели торжественного акта вся профессура подчеркивает доверие к тебе и дает тебе возможность исправить сделанное. Я представляю себе, что может сказать о пользе наук этот мегатерий[1] в расшитых галунами штанах. Ты сможешь ответить ему так, как он этого заслужит. Не отказывайся, Луис! Мы с тобой слишком ста-

[1] Ископаемое животное.

рые и слишком ожиревшие обыватели, чтобы взять на плечи ружья и проводить ночи в окопах, под дождем, снегом и пулями. Оставим это трудное и почетное дело нашим детям. Наше оружие — наш мозг. Это немного в таком положении, но это тем более обязывает нас. И мы не имеем права сдаваться.

Родригес Рональхо отошел к окну и долго смотрел на площадь. Потом повернулся и спокойно сказал:

— Я согласен, Рамон... А теперь поговорим...

9

Ректор, деканы, профессора, гремя отодвигаемыми креслами, занимали места на возвышении актового зала.

Косые солнечные лучи, бившие в узкие стрельчатые окна, пронизывали зал, освещая золотистым светом отдельные группы публики. В их искрящихся полосах резко белели пластроны фраков, зажигались цветные пятна шелков, мерцали драгоценности в браслетах, ожерельях, гребнях.

Родригес Рональхо стоял на председательском месте, держа в руке тяжелый бронзовый звонок, всматриваясь в таинственную игру красок в зале и выжидая, пока стихнет говор. Он заметил в публике обилие военных мундиров. Большую часть мест в зале занимали офицеры.

Он перевел взгляд на хоры. Их решетка терялась в полутьме. За ней смутными, расплывчатыми пятнами белели лица забравшихся туда студентов. Видимо, там их скопилось немало, несмотря на скептические предположения профессора Альмедина, что все студенты занимаются изучением пулеметов.

В почетной ложе, примыкавшей слева к эстраде, художник увидел генерала де Лосойя в парадном мундире, стягивавшем его маленькую, тучную фигуру. Румянец генерала стал еще более багровым от тесного, шитого золотом воротника, на который свисали щеки.

Художник с отвращением отвернулся и позвонил. Шум в зале постепенно утих, как стихает гудение улетающего жука. Тогда Родригес Рональхо объявил о начале торжественного акта и предоставил слово профессору Альмедина.

Поглаживая пальцами свою аккуратную бородку, биолог произнес короткое приветствие по-латыни, выражая

надежду на блестящие перспективы испанской науки в наступающем семестре. Он в совершенстве владел стилем умершего языка, и под его отточенными, классическими фразами трудно было уловить всю остроумную и издевательскую двусмысленность его речи.

Из всей публики свободно понимать латынь могли только профессора. В наиболее острых местах речи они обменивались взглядами и осторожными полуулыбками. Только профессор Суккаро, желчный старик с длинными усами, следил за говорившим, облокотясь на руку, все злее надвигая на острые глаза хорька мохнатые седые брови.

Профессора Альмедина проводили аплодисментами. Аплодировали преимущественно женщины, потому что они не поняли ни слова из его латыни и потому что биолог пользовался признанной репутацией красивого мужчины.

Родригес Рональхо встал и бесстрастным тоном искушенного председателя, но с непреодолимым внутренним отвращением, произнес:

— Слово для приветствия университету от армии предоставляется генералу, сеньору маркезу Мунексас де Лосойя.

В почетной ложе с шумом отодвинулось кресло. Генерал вышел на эстраду, направляясь к кафедре. Он шел странной, совсем невоенной походкой, занося ногу за ногу, как будто спотыкаясь, и неестественно таращил глаза. Всходя на ступеньки кафедры, он запнулся и упал бы, если бы не успел ухватиться за край кафедры. Взглянув на него внимательней, художник внезапно понял, что генерал пьян.

Но, прежде чем он успел предпринять что-либо, маркиз уже облокотился грудью на выступ кафедры и заговорил.

Первые его фразы были банальны и вялы. Видимо, это были заученные слова, кем-то написанные для него. Он говорил, что национальное правительство, заинтересованное в патриотическом образовании молодых испанцев, берет на себя заботу об их правильном воспитании в соответствии с законами государства и духом католической церкви.

Но постепенно генерал разгорячился и повысил голос:

— Мы не позволим больше затуманивать разум юных патриотов всякими ерундовыми науками и пакостными учениями, выдуманными красными собаками. Мы не же-

лаем, чтобы храбрый испанский юноша превращался в сентиментального слюнтяя, режущего лягушек и рассуждающего об отвлеченных проблемах справедливости. Испанский юноша должен получить от образования вкус и волю к ненависти, власти и убийству...

Офицеры в публике бурно рукоплескали. Ободренный генерал, уже не стесняясь, расстегнул воротник мундира, сжимавший ему горло, и перешел на высокий фальцет.

— Все эти философии, придуманные для расслабления мозгов, всякие диспуты о добре и зле, о высшей нравственности — это не для великой испанской расы завоевателей и победителей. Довольно развращать наше юношество простоквашей ученого вранья. Чтобы иметь здоровые и сильные поколения, мы должны вспаивать их теплой кровью. Один хороший бой быков стоит всей философии и прочего вздора. Испанскую нацию обессилили дегенераты. Кто выдумал идиотского Дон Кихота, эту дохлую фигуру, таскающуюся по испанской земле в поисках дурацкого идеала правды!.. Клейменый босяк и каторжник Сервантес...

По залу прошел шелест. Лица профессоров окаменели. С хоров хлестнул публику звонкий молодой свист.

Генерал наклонил голову, исподлобья посмотрел на хоры и вдруг, озверев, с размаху ударил кулаком по кафедре:

— Молчать! Раз я говорю, я знаю... Этот клейменый жулик и другие писаки, подлые мужицкие ублюдки, подкапывались под славу и могущество Испании, завоеванные мечами доблестных гидальго. Они растлили Испанию и дух испанского юношества. Они обратили воинов в слизняков. Но мы с этим покончим. Мы устроим костер из их вонючих книжонок. Мы возвратим детям Испании их первобытную силу, здоровье и воинственность. Мы научим их, что война — самое прекрасное упражнение человечества. А всех, кто попробует развеивать по испанской земле марксистскую гиль, мы разотрем в порошок. Мы выпустим из них кишки! Мы набьем их дрянные брюха соломой и выставим на площадях для примера и устрашения! Да здравствует храбрая испанская раса и ее лучшее ремесло — война!

Генерал кричал и топал ногами. Глаза его налились кровью. Он не слышал звонка, которым беспрерывно потрясал в воздухе Родригес Рональхо, не замечал растущего свиста с хоров и растерянности в зале. Он закончил

свою речь вторым оглушительным ударом кулака по кафедре, покачиваясь, сполз со ступеней и, подхваченный офицерами, отдуваясь, опустился на свое кресло в ложе.

Встревоженный зал шумел. Цветные пятна шелков, вспыхивая в солнечных лучах, скользили к выходу. Женщины спешили уйти, предвидя неизбежный скандал.

Непрерывным звонком Родригесу Рональхо удалось наконец восстановить условную тишину.

Профессора сидели подавленные, опустив головы. Только Рамон Альмедина, скрестив руки на груди и вытянув длинные ноги, откинулся на спинку кресла, рассматривая генерала с веселым удивлением, как необыкновенную бациллу, внезапно появившуюся в поле зрения микроскопа. Да профессор Суккаро со счастливой улыбкой покачивал ссохшейся головой.

Родригес Рональхо поставил звонок на стол и поднял руку, призывая к вниманию.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — сказал он громко, подчеркивая слова.— В порядке очереди я должен был предоставить слово доценту Бачерра. Но речь, которую мы только что прослушали, настолько необычна, что я вряд ли ошибусь, если предположу, что ни один университет, не только в Испании, но и во всем мире, со дня своего основания не вмещал в своих стенах подобного оратора...

На хорах вспыхнул хохот и крики студентов. Художник снова поднял руку, восстанавливая тишину.

— Нас призывали здесь,— продолжал он, чувствуя, как с каждой секундой бледнеет от негодования и в то же время обретает холодное спокойствие ярости,— нас призывали ввести новую систему воспитания испанской молодежи и изменить в корне наши методы и наши взгляды на образование. Я не стану напоминать о том, что сейчас нанесено неслыханное оскорбление памяти людей, чьи имена стали светочами не только для испанцев, но и для всего человечества. На эту невежественную ругань можно ответить только презрением...

Маркиз де Лосойя, отдыхавший в ложе от умственного напряжения своей речи и тупо смотревший на художника, вдруг очнулся и сел прямо.

— Я хочу говорить,— продолжал Родригес Рональхо,— только о своеобразной философии, предложенной

оратором в качестве эликсира жизни для молодого испанца. Все искания истины и правды, которые двигали человечество в его эволюции от обезьяны к современному человеку, нам предлагают заменить волей к ненависти и убийству. Иными словами, пророки нового учения зовут нас снова возвратиться в блаженное состояние скотов, управляемых одними первобытными инстинктами. Какая восхитительная и широкая перспектива! Истребить книги, уничтожить сокровища искусства, разнести в прах всю историю человеческой культуры и, став на четвереньки, рвать друг другу горло зубами. И эта философия дикаря провозглашается в стенах, которые всегда были питомником гуманизма, в стенах университета...

Генерал де Лосойя вскочил, багровый, разъяренный, и закричал, потрясая кулаком в сторону художника и гремя саблей в пол:

— Carrajo![1] Долой университеты! Разнести эти очаги чумы!

Родригес Ональхо спокойно указал рукой на беснующегося генерала:

— Подобную философию, конечно, не мог изобрести человек. Ее выдумал взбесившийся павиан. Взгляните же на великолепный экземпляр этой породы, уничтожающий в своем бешенстве...

Генерал де Лосойя выбежал из ложи и подбежал к председательскому столу.

— Молчать! — заорал он в лицо художнику.— Вонючий пачкун! Hijo de mala madre![2]

Художник побледнел, поднял руку, и пощечина с хлестом легла на одутловатую щеку маркиза.

В зале взвился рев. Там закипела свалка. Офицеры кидались к эстраде. Женщины кричали. За председательским столом загремели опрокидываемые кресла.

Рамон Альмедина, вскочил, встал перед художником, прикрывая его своей широкой грудью.

Сквозь решетку хоров в зал летели книги, палки, даже обувь рассвирепевших студентов. Пущенный меткой рукой плод граната с хрустом развалился на затылке маркиза де Лосойя, и алые зернышки осыпали его мундир, как свежие брызги крови.

Навалившаяся на биолога толпа офицеров, избегая

---

[1] Проклятие! *(исп.)*

[2] Сын паршивой матери! *(исп.)*

тяжелых ударов его кулаков, бивших по головам, оттащила его от художника. Чей-то кулак с размаху упал на висок Родригеса Рональхо, но он даже не почувствовал этого удара. С разорванным воротничком и повисшим галстуком, он кричал в лицо генералу:

— Негодяй! Убийца! И вы думаете спасать испанский народ? Вы, торгующая испанской кровью обезьяна! Вы могли обмануть меня, но не обманете народ... Вы не станете хозяевами испанской земли! Никогда!

Его волокли вниз с эстрады, протащили через зал и сильным толчком сбросили со ступеней вниз. Он проехал грудью по этому мраморному частоколу, не ощущая никакой боли, и только пылал неудержимым бешенством. Внизу он встал на ноги, в разорванном платье, всклокоченный, с льющейся по губе кровью, и, глотая эту кровь, вскинув руки кверху, еще раз прокричал, вкладывая в крик всю свою ненависть:

— Никогда! Convencereis por mengado, pero no vencereis! [1]

Шумная толпа студентов окружила его и, прикрывая своими телами, вывела на улицу. Его усадили в автомобиль. Возбуждение схлынуло с него. Он почувствовал резкую боль в голове и зажал ладонью разбитый висок.

Ехавшие с ним студенты под руки ввели его в дом, в мастерскую. Он послушно шел, безвольно переставляя одеревенелые ноги. В мастерской его усадили в кресло. Студенты нерешительно стояли вокруг. Келита подошла к художнику и опустилась на колени у его ног. Легким движением глаз она дала понять студентам, чтобы они покинули мастерскую. Юноши вышли, ступая на цыпочках, оглядываясь на побелевшее, безжизненное лицо.

Келита взяла свесившуюся с кресла большую руку художника и несколько раз поцеловала ее, захлебываясь плачем. Услыхав этот плач, он открыл глаза и наклонился к девушке.

— Келита! — сказал он с невероятной тоской,— у меня никого не осталось.

— Дон Луис! — она припала щекой к его руке.— Я с вами... Я буду жить и умру вместе с вами.

Охваченный горькой нежностью нищего, он обвил рукой ее плечо и крепко прижал к себе голову этого преданного ему ребенка.

---

[1] Вы убедили меня ложью, но вы не победите! *(исп.)*

10

Он проснулся с чувством необычайного облегчения. Точно во сне нежная и милая рука сняла с него раздавливавшую его грудь тяжесть.

В спальне стоял зеленоватый полумрак от отраженной стеклами зелени сада.

Он посмотрел на часы на ночном столике. Десятый час... Как поздно!

Он привстал на постели и, услышав сбоку легкий шорох, с удивлением увидел сидящую в кресле Келиту, искоса наблюдавшую за ним.

— Келита, почему вы здесь? — Он заметил в ее глазах воспаленный, лихорадочный блеск.— Вы, кажется, не спали всю ночь? Из-за меня? Это нехорошо. Это совсем ненужно. Ступайте сейчас же спать, или я рассержусь. Вчерашняя встряска пошла мне на пользу — я здоров и бодр, как давно не был.

— Дон Луис,— тихо сказала девушка, оглядываясь на дверь,— я спала. Я пришла к вам только на рассвете, после того как в доме появились эти военные. Они внушают мне подозрение, и я не рискнула оставить вас одного.

— Какие военные? — спросил Родригес Рональхо. События вчерашнего дня сразу встали перед ним.

— Я не знаю, дон Луис. Они явились чуть свет. Один из них — тот мальчишка с глазами кобры, который однажды приезжал за вами от генерала. Другого я никогда не видела. Когда я сказала им, что вы спите, они ответили, что будут ждать вас в мастерской. Ассунсион не хотела их пускать в мастерскую, но они пригрозили, что арестуют нас всех, и вошли.

— Отойдите на минуточку за ширму, Келита,— попросил он.

Когда Келита скрылась за ширмой, он откинул одеяло и, быстро надев пижаму, направился в мастерскую.

Келита последовала за ним, но он остановил ее.

— Нет, не ходите. Останьтесь здесь.

— Но, дон Луис...

— Я говорю, Келита, останьтесь. Я сам выясню, что им от меня нужно.

Он распахнул двери в мастерскую. Два темных силуэта вырисовывались перед ним на солнечном фоне окна, и он не сразу разглядел их.

— Кто вы и что вам угодно? — спросил он, приближаясь, и, когда они повернулись, в одном из них он узнал адъютанта генерала де Лосойя.

— На каком основании, сеньор, вы являетесь непрошеным в мирный дом в такое время, когда порядочные люди не позволяют себе вторгаться?

Он повысил голос, сразу закипев гневом. Это хилое лицо выродженца вызывало в нем отвращение каждой своей чертой.

— Сейчас я объясню вам это, сеньор Ронадьхо,— ответил адъютант, дерзко смотря ему в глаза застывшим змеиным взглядом.— По приказанию генерала вы будете находиться с сегодняшнего утра под домашним арестом, пока вопрос о вашей судьбе не будет разрешен военным советом генералиссимуса. Этот человек,— он указал на стоящего рядом солдата,— уполномочен безотлучно быть в вашем доме и наблюдать, чтобы вы не покидали его и не имели никаких сношений с внешним миром.

Родригес Рональхо стиснул кулаки, едва удерживаясь от желания ударить.

— Будьте любезны немедленно убраться вон! Я не признаю ваших приказов. Ни генерала, ни генералиссимуса. Я сам определяю для себя законы и буду находиться дома, если захочу, и отправлюсь, куда мне угодно, если найду это нужным.

Адъютант посмотрел на него с наглой усмешкой.

— Это вам не удастся, сеньор Рональхо. В случае вашей попытки нарушить приказ, этому человеку даны полномочия применить оружие.

Родригес Рональхо молча повернулся и подошел к телефону. Но поднятая трубка не издала ни одного звука.

Адъютант с преувеличенной вежливостью поклонился и развел руками.

— Это предусмотрено. Мы не настолько наивны, сеньор, чтобы оставить без внимания ваш телефон.

Художник бросил трубку и в бешенстве закричал:

— Убирайтесь, или я выкину вас за шиворот, грязный выродок!

Адъютант не обратил никакого внимания на угрозу. Улыбнувшись, он поклонился вторично и ответил:

— Я и так собирался покинуть вас, сеньор. Нам больше не о чем разговаривать. Отныне у вас остается другой

собеседник. Вы, кажется, владеете немецким языком, и, я думаю, вам нетрудно будет понять друг друга.

Тогда Родригес Рональхо впервые посмотрел на солдата, отошедшего от окна. Он был в форме унтер-офицера терсио [1]. На вид ему можно было дать не более двадцати пяти лет. Лицо его, нежно-розовое, пухлое, с очень правильными чертами, с глазами синими и необыкновенно прозрачными, как вода тихого пруда, поразило художника. Если бы Родену после создания «Мысли» захотелось изваять противоположную скульптуру, если бы он задался целью вылепить человеческую голову, в которой отсутствует малейший признак мысли, он не нашел бы лучшей натуры.

Никакое человеческое волнение, желание, чувство не отражалось в этих округлых чертах, в пустой и безразличной синеве глаз. Они как будто смотрели сквозь художника, сквозь окружающие предметы, сквозь стены. Эта внешняя приятность юношеских черт в сочетании с нечеловеческой безжизненностью и равнодушием была страшна.

Родригес Рональхо всматривался с удивлением в это лицо, скорее в отсутствие лица. Оно напоминало безжизненную резиновую маску, и с каждой минутой художник ощущал все большее отвращение и неясный ему самому страх. Наконец он отвернулся и обратился к стоящему уже в дверях мастерской адъютанту:

— Вы вправе сделать со мной, что хотите. Вы можете расстрелять, повесить или отравить меня,— сказал он глухо,— от вас я могу ожидать всего, но я требую удалить отсюда этого субъекта. Я испанец, и, если даже, вопреки всем законам, вы лишаете меня свободы, я имею право требовать, чтобы моим тюремщиком был испанец. Уберите эту наемную куклу!

Адъютант пожал плечами.

— К сожалению, ничем не могу быть полезен. Вы сами, сеньор, приготовили себе такую участь. После оскорбления, нанесенного вами испанским патриотам в лице маркеза, в армии нельзя найти ни одного солдата, которого можно было бы заставить охранять вашу особу. Испанцы растерзают вас.

— Я предпочитаю быть растерзанным испанцами, чем видеть этого...

---

[1] Иностранного легиона.

— Таков приказ генерала. Вам придется подчиниться. До свиданья, сеньор.

Офицер удалился.

Родригес Рональхо в бессильной ярости направился к двери спальни, и за ним застучали по паркету подкованные сапоги немца. Художник остановился.

— Спуститесь вниз и останьтесь в вестибюле. Это будет ваше место, и потрудитесь не появляться в моих комнатах,— повелительно сказал он по-немецки.

— Das ist unmöglich [1],— ответил солдат тихим и тусклым голосом, без всякой модуляции,— мне приказано ни на минуту не терять вас из виду.

— Что же, вы намерены сидеть со мной за одним столом и спать в моей постели? — гневно спросил Родригес Рональхо.

— Мне приказано ни на одну минуту не терять вас из виду,— повторил солдат с равнодушной гримасой.

Родригес Рональхо надвинулся на немца и потряс его за плечо:

— Mil demonios! Каналья! Тогда я доставлю тебе удовольствие. Ты будешь таскать за мной поноску и пить чай из моей ванны,— орал он немцу, потеряв самообладание.

Без малейшей искры в глазах, без единого движения в лице, немец спокойно снял с плеча руку художника,— несомненно, он был очень силен,— и, остановившись, так же равнодушно произнес:

— Мне приказано выполнять все ваши желания, кроме желания уйти из этого дома и входить в сношения с людьми, не живущими в нем.

В этом безжизненном тоне Родригес Рональхо ощутил такую безнадежность для себя, что с испугом и дрожью в коленях опустился на кресло и закрыл руками лицо. Немец неподвижно стоял рядом, смотря сквозь предметы.

II

Присутствие этого странного тюремщика, бесчувственного и невозмутимого, следовавшего за ним повсюду, как тень гонится за человеком в солнечный день, превратило жизнь Родригеса Рональхо в медленную и мучительную пытку.

---

[1] Это невозможно *(нем.)*.

Первые дни он пытался на каждом шагу оскорблять немца окриками, ругательствами, нескрываемым и вызывающим презрением, но ничто не действовало.

Нежно-розовая окраска не сходила с его молодого, правильного, почти привлекательного, если бы не поражающая безжизненность, лица, и прозрачные глаза цвета глубокой воды горного водоема ни разу не изменили своего ровного, лишенного мысли сияния. Так же равнодушно он сообщал являвшемуся каждый день адъютанту маркиза де Лосойя о поведении пленника.

Сбитый с позиции ненависти непоколебимым равнодушием стража, Родригес Рональхо попытался изменить тактику.

Он старался не замечать немца, как будто он действительно был нереален, и на него можно было не обращать внимания, как на настоящую тень.

От этой тактики художник испытал некоторое облегчение, но ненадолго.

Невыносимое томление узника заставило Родригеса Рональхо попробовать найти забвение в работе. Он уходил с утра в мастерскую и возобновил писание «Штурма Сарагоссы».

Немец скромно и незаметно садился на резной табурет у двери и, положив руки на колени, не сводил безмятежного взгляда с художника, следя за каждым его движением. Как ни старался Родригес Рональхо не замечать присутствия жуткого одушевленного манекена, он все время ощущал его рядом, и от этого холодящего ощущения работа валилась из рук.

Однажды, отложив кисти и палитру, он долго смотрел на немца и внезапно спросил:

— Как вас зовут?

Не выразив ни малейшего удивления неожиданному вопросу, немец ответил:

— Вальтер Рафке.

— Вы саксонец?

— Нет, я из Шлезвига.

— Чем вы занимались дома?

— Я был безработным, а после работал в трудовом лагере.

Родригес Рональхо помолчал, соображая.

Очевидно, парень из того обреченного поколения, вошедшего в жизнь в годы кризиса, которому не было никаких путей. Возможно, несчастья сделали его таким

одеревенелым и пугающим чучелом. Может быть, удастся как-нибудь расшевелить и пробудить в нем человеческое, свойственное его юности. Он возобновил разговор.

— Вам тяжело жилось?

— Да, мне жилось нелегко. Сперва голод, а после работа в лагере, очень трудная.

— Почему вы поехали в Испанию?

— Нас собрали, выдали нам обмундирование и оружие и приказали садиться на пароход.

— Но вы могли бы не захотеть?

— Я должен был слушаться приказа.

— Но у вас не было желания ехать в неизвестную вам страну?

— У меня не должно быть своих желаний. Меня кормят и одевают, и за это я должен работать.

Родригес Ронапьхо пожал плечами:

— Diablo! Работать! Если вам в руки дают оружие и направляют в чужую землю,— довольно ясно, что вы должны воевать. Что же, вы считаете, что убивать людей — это работа, которую вы обязаны выполнять за еду и одежду?

Немец взглянул на художника, и как будто в его глазах впервые мелькнуло что-то похожее на удивление. Но Родригес Рональхо неправильно угадал его причину.

— Все, что делаешь по приказанию начальника, это — работа,— сказал он.

— Значит, по-вашему, убийство — работа?

— Да, если убиваешь по приказанию.

Ошеломленный этим чудовищным спокойствием и бездушием, Родригес Рональхо взволнованно поднялся.

Да, очевидно, в Германии успели вырастить новое человекоподобное племя. Раньше Родригес Рональхо не верил слухам, что страна Гете и Шиллера намеренно превращается в дивизии нерассуждающих идиотов с атрофированным мозгом. Теперь перед ним сидел живой экземпляр искусственно созданного гомункулюса, профильтрованного арийца. Ему стало страшно смотреть в безмятежные глаза, но он все же попытался задать последний вопрос:

— Но послушайте, Рафке! Вас привезли в Испанию. Вам приказывали убивать. Неужели вы не думаете, что, убивая людей, которые вам ничего плохого не сделали, вы причиняете горе матерям и женам, вы оставляете сиротами детей?

Немец не пошевелился и так же вяло проговорил:

— Мне никто не сказал, что нужно думать об этом.

— Но вы-то сами, семь тысяч дьяволов, не можете сообразить? — крикнул взбешенный Родригес Рональхо.

— Я не имею права думать, пока мне не прикажут. Немецкий солдат должен делать только то, что ему приказывают.

Художник два раза пересек мастерскую быстрыми шагами. Он отказывался верить, что немец говорит все это искренне.

Остановившись перед ним, Родригес Рональхо спросил:

— А если вам прикажут убить меня,— вы убьете?

— Мне не приказывали убивать вас, пока вы не сделаете ничего, что вам запрещено.

— А если я ударю вас?

— Вы не ударите меня. Я очень сильный, и вы не сможете подойти ко мне.

Художник смотрел на своего собеседника с чувством удивления и страха, затем расхохотался. Улыбнулся слегка и немец. Видимо, смеяться в некоторых случаях ему было разрешено.

Келита возненавидела немца с первой минуты его появления. В ней родилась угрюмая, настойчивая и нескрываемая ненависть к бессмысленной кукле. Когда она смотрела на немца, в глубине ее зрачков загорался такой огонь, от которого всякий другой человек почувствовал бы или смущение, или испуг. Но немец оставался невозмутимым. Не понимая яростных оскорблений девушки, ибо он не знал ни одного слова по-испански, он в ответ на изливаемые Келитой обидные эпитеты отвечал одной и той же вежливой фразой:

— Verstehe nicht, gnädiges Fräulein! [1]

Старуха Ассунсион боялась немца, как дьявола, и в его присутствии ходила боком, опасливо поглядывая на его фигуру, как ходила в утро занятия города фалангистами по мастерской, боясь гремящих за окном выстрелов.

Кроме Ассунсион, Келиты и повара, все остальные люди были удалены из дома. Он обратился в изолированный остров, в унылую тюрьму, ежедневно контролируемую адъютантом маркиза де Лосойя.

Однажды утром Родригес Рональхо работал над кар-

---

[1] Не понимаю, уважаемая фрейлейн! *(нем.)*

тиной. Келита сидела тут же, опустив подбородок на кулачок правой руки. Немец находился на своем табурете у двери.

Темные глаза девушки переходили с художника на немца и обратно. Теплые и ласковые, когда они останавливались на фигуре Родригеса Рональхо, они наполнялись отвращением и злобой, задерживаясь на немце.

Внезапно немец поднялся и, неторопливо подойдя к мольберту, остановился сзади художника, рассматривая полотно. Родригес Рональхо прекратил работу и повернулся к немцу.

— Вам что-нибудь нужно, Рафке?

Немец ответил не сразу, продолжая глядеть на картину. Потом спросил:

— Зачем это делается?

Родригес Рональхо улыбнулся. Интерес нерассуждающего гомункулюса к его работе показался ему забавным. Но как объяснить ему?

— Это делается для того, чтобы люди любовались искусством и получали от него наслаждение. Искусство делает людей добрее и лучше.

Немец помолчал. Затем без всякого выражения сказал:

— Люди не должны быть добрыми. Это не нужно.

И медленно отправился на свое место.

— Что он сказал? — спросила Келита, вскинув голову, у огорошенного художника.

— Он находит, что искусство — лишняя вещь для людей.

Тонкие пальцы Келиты стиснули ручки кресла, как будто охватывая ненавистное горло.

— Дон Луис,— сказала она с напряженной злобой,— позвольте мне зарезать эту собаку!

— Келита! Вы с ума сошли, дитя мое! — возмутился Родригес Рональхо.

Она вскочила и схватила его за руки:

— Дон Луис! Я не могу видеть, как вас мучат, как над вами издеваются. Я не могу понять, как вы можете терпеть это.

— Но что же мы можем сделать? Если вы или я зарежем его,— нас расстреляют. Я уже не боюсь этого, но у вас впереди вся жизнь. Нужно сдерживать себя, терпеть и ждать лучшего.

Келита уткнулась лицом в его плечо и оставалась неподвижной. Он ласково потрепал ее по руке:

— Ну, детка, возьмите себя в руки!

Она быстро выпрямилась:

— Дон Луис! Мне вечером нужно будет поговорить с вами.

— Почему не сейчас?

— Нет! Вечером... Я еще не знаю всего.

Ее глаза необычно блестели. Родригес Рональхо пристально посмотрел на нее:

— Только не делайте глупостей, Келита!

— О нет, дон Луис! Наоборот! Я буду очень умной. А сейчас позвольте мне уйти, я не могу видеть это животное.

Он кивнул, и девушка легкой походкой удалилась, на прощанье послав немцу молнию ненависти.

Он остался наедине со своим тюремщиком. Он стоял перед огромным холстом, неподвижный, хмурый и отяжелевший. Он думал о своей работе, о тридцати годах, отданных творчеству, о своей славе, которой он добивался с таким упорством. Об Испании, для которой, как он думал, нужна была эта слава. О своей ошибке, ставшей его невольным преступлением, о сыне, отрекшемся от него, о будущем Испании, которого он уже не увидит. Он думал об этой картине, стоившей ему двух лет непрерывного труда. Она тоже принадлежала Испании и делалась для Испании, от первого до последнего прикосновения кисти. И вот теперь испанскую землю топчут ноги людей, которым безразлична его слава, его картина, его искусство. Он вспомнил черный день университетского акта и картавый голос маркиза де Лосойя, хрипящий ему в лицо оскорбительные слова: «Вонючий пачкун».

Он весь съежился от этого воспоминания и побледнел. Не отрываясь от картины, он покачал головой и тихо сказал:

— Чертеж Архимеда!.. Этот мальчик был прав. Он в самом деле хорошо понимал историю.

В его голосе была горечь запоздалого сознания.

12

Сквозь блеклые стекла старинного железного фонаря мутный, как желчь, свет расплывался по мастерской.

Родригес Рональхо лежал на диване, забросив руки под голову. В окне глубоким куполом синела ночь. Тя-

желые капли звезд висели высоко в небе, трепеща и наливаясь светом, готовые сорваться.

Рафке неподвижно сидел у двери на табурете, положив руки на колени, напоминая деревянные фигуры фараонов, ставившиеся перед входом в погребальную камеру усопшего, как стражи загробного покоя. За дверью прошелестело платье. Вошла, торопливо постукивая каблучками, Келита. Она приблизилась к художнику и присела на краешек дивана.

— Дон Луис,— сказала она, косясь в сторону окаменевшего немца,— слушайте то, что я вам скажу. Ничему не удивляйтесь, ничего не говорите мне, пока не узнаете всего. Не обращайте внимания, если я буду смеяться в неподходящих местах. Эта немецкая собака должна думать все, что ей угодно, но не подозревать правды.

— Что вы затеяли, Келита? — спросил встревоженный художник.

— Не делайте удивленных глаз, не спрашивайте ни о чем, я же вас прошу,— она засмеялась и с лукавством влюбленной женщины положила голову ему на плечо.— Вы считаете меня ребенком. Я в самом деле маленькая и простая девушка. Но я не теряю времени, дон Луис... Нам нужно бежать сегодня же ночью.

Художник попытался подняться, но тоненькие руки Келиты столкнули его обратно на подушки, и ее теплая ладонь закрыла ему рот. Келита хохотала. Смех ее звучал нервно, но для девушки, кокетничающей со своим возлюбленным в присутствии тюремщика, он мог звучать естественно.

— С вами невозможно говорить, не двигайтесь же... Наши послали в город людей... Они связались с сеньором Моризе. Все это затеял сеньор Моризе. Он приказал передать вам, чтобы вы делали все, что я вам скажу. Я только передаю его приказы.

Она гибко и вкрадчиво откинулась назад, делая вид, что любуется художником, и вдруг шаловливым жестом растрепала ему волосы.

— Все подготовлено, дон Луис... Нельзя терять ни минуты. Вас хотят отвезти в тюрьму в Кадикс и запрятать там. Убить вас они боятся,— это наделает шума и может повредить им. Нужно бежать. Сегодня сеньор Моризе достал пропуск для автомобиля на выезд из города.

— Каким образом? — спросил ошеломленный художник.

— У националистов есть люди, которые служат против воли и преданы республике. Нам нужно выехать не позже часа ночи, чтобы к рассвету попасть в деревню Харрете. Там будут ждать посланные. К утру нас выведут на позиции республиканской армии. Вас ждут там, дон Луис. Все уже знают, что случилось с вами... Пропуск у меня в блузке. Ключ от гаража при мне. Днем мне удалось пробраться туда, и я наполнила бак доверху бензином. Ключ от ворот есть. Вы ведь умеете править машиной?

— Конечно... Но как же мы выведем автомобиль? Ведь ни вы, ни я не можем справиться с этим одушевленным механизмом,— сказал Родригес Рональхо, сам захваченный этой неожиданной фантастикой бегства.

Глаза Келиты сердито блеснули, и она сделала движение сжатым кулачком сверху вниз, как бы ударяя ножом.

— Ни в коем случае, Келита,— строго сказал художник, привлекая ее к себе и смотря в ее расширившиеся и злые зрачки,— я не позволю убийства.

— Ах, дон Луис,— сказала она горячо,— я знаю, что вы добрый, что вы жалеете людей, даже таких, как это подлое животное. Но подумайте же и о своей жизни. Подумайте о свободе. Я повторяю — вас ждут по ту сторону. Вас ждет дон Кристобаль...

— Келита! Откуда вы знаете о Кристобале? — спросил, подымаясь, художник.— Этого не может быть. Кристобаль отрекся от меня.

— Хесус милостивый! Не волнуйтесь, дон Луис. Это самое главное, что велел передать вам сеньор Моризе. Дон Кристобаль очень сердился на вас. Но ведь он не знал всего. Он ждет вас. Он хочет помириться с вами.

Родригес Рональхо молчал. Сердце его билось учащенней, кровь застучала в виски. Молчала и Келита. Она заложила ногу на ногу, сцепила руки на коленях и, сведя в ниточку брови, с огорчением смотрела в сумерки мастерской.

— Ах, сеньор, зачем вы не разрешаете заколоть эту фашистскую скотину,— с искренним сожалением произнесла она.— Ну, хорошо. Я подчиняюсь вам,— она улыбнулась,— я знала, что вы этого не захотите. И я придумала сразу другой план. Мы захватим его обманом. Я сейчас приготовлю ужин в столовой. После ужина вы наденете пижаму и пойдете в ванную. Он, как всегда, по-

следует за вами и сядет у дверей. Вы знаете, что в ванной вчера испортился кран горячей воды. Вы повернете его, ручка выскочит из гнезда, и тогда вы бросите ее за ванну. Вода начнет хлестать вовсю. Пар заполнит комнату. Вы позовете его на помощь. Вы скажете, что вы потеряли ручку от крана и ее нужно найти. Он полезет искать, и вы выскочите из ванной. Мы запрем дверь. Я буду ждать у двери наготове с вашим пальто и шляпой. Пока он будет бесноваться взаперти, мы выведем автомобиль, откроем ворота... и перед нами свобода!

Она вся горела от возбуждения, торопливо выбрасывая слова. Ее горячность захватила и художника. Он почувствовал, как от ее возбужденных слов он сам молодеет и увлекается этой рискованной авантюрой.

Он крепко пожал ей руку и благодарно сказал:

— Вы настоящий друг, Келита! Все это бесконечно рискованно, но я предпочитаю смерть перспективе быть упрятанным в ад тюремного замка в Кадиксе. Попробуем. Начинайте! Когда у вас все будет готово, позовите меня.

Он проводил Келиту до двери и на глазах у немца, низко поклонившись, поцеловал ей руку, как целуют руку королеве. Рафке не двинул ни одним мускулом.

Родригес Рональхо отошел к окну и посмотрел на черное, бесконечное небо. Оно дышало простором и свободой. Звезды были рассыпаны по нему путеводным узором. Он закрыл глаза и попытался вызвать в памяти облик Кристобаля. Веселое мальчишеское лицо с первым пухом на щеках, с мелкими веснушками у носа, с открытым, смелым взглядом птицы. Да, этот мальчик был рожден не для мирной доли ученого, не для кропотливой возни за кабинетным столом или лабораторными колбами, а для этого вот бесконечного простора. И он стал птицей. Может быть, и сейчас где-нибудь в высоте неба ревет могучий голос его самолета, настигая врага, гибелью которого он выкупает тень, павшую на имя отца. Молодец мальчик!

Он почувствовал очищавшую его самого гордость за сына.

Кристобаль — это мост, перекинутый между ним и новой Испанией, той Испанией, которую он в своей слепоте считал чужой, разрушающей вековые устои государства и порядка, подрывающей могущество и единство родины, ее целость, и которая неожиданно оказалась настоящей

героической Испанией, кровью и железом отстаивающей свою свободу. Там, по ту сторону фронта, испанский народ, честный, открытый и доблестный народ. Здесь — торгаши и предатели родины.

«Дон Кристобаль ждет вас. Он хочет с вами помириться». Эти слова Келиты действовали на него, как могущественное лекарство на больного, уже считавшего себя обреченным.

Он отошел от окна и приблизился к мольберту. Откинул зеленое покрывало, завешивающее холст. В тусклом свете фонаря туманно выделялись фигуры. Он с горечью смотрел на этот огромный труд, который приходится покинуть.

Ну, что же? Разве у него не хватит силы начать его снова? Он напишет новые полотна для новой Испании, чтобы заплатить ей свой неоплатный долг.

А этот холст? Он останется в руках врагов? Ну нет! Они его не получат!

Он оглянулся. На ковре по-прежнему висел тот самый короткий мавританский кинжал. Быстрым движением он снял его с ковра. Немец проявил признаки жизни и поднялся с табурета. Но, не обращая на него внимания, Родригес Рональхо вернулся к картине.

Лезвие с сухим хрустом распороло холст по диагонали из угла в угол. Второй удар. Третий.

Клинок яростно кромсал холст. Лохмотья падали на пол. С мстительным наслаждением художник резал картину на мелкие куски. Закончив истребительную работу, он бросил кинжал на пол и направился к двери. Рафке шагнул ему навстречу, вероятно встревоженный всем происшедшим на его глазах. Но взгляд немца был по-прежнему безмятежно пуст и прозрачен. Родригес Рональхо остановился перед ним и хрипло засмеялся:

— Ведь вам не понравилась моя картина, мой невозмутимый друг, и я уничтожил ее... Что вы думаете по этому поводу? Ах, простите, я забыл, что ваше начальство еще не знает об этом и не успело придумать для вас подходящих мыслей. Но если даже вы придумаете что-нибудь,— это ничего не изменит. Милости прошу ужинать.

В столовой художник любезно угощал своего невозмутимого тюремщика, шутил с ним, смеялся и даже добился легкого призрака улыбки на его каменном лице. Келита, продолжавшая смотреть на Рафке с той же нескрываемой

и демонстративной ненавистью, держалась настолько напряженно, прислушиваясь к каждому шороху извне, что художник со смехом сказал ей:

— Слушайте, маленькая богиня мести. Примите более веселый вид. Иначе после недавней сцены в мастерской наш ангел-хранитель может подумать, что между нами произошла крупная размолвка, и это заставит его быть настороже.

Келита сделала над собой усилие, улыбнулась и, протянув Рафке бокал, чокнулась с ним, но через минуту снова впала в прежнее состояние напряженности. Было ясно, что она уже не может спокойно выдержать ожидание.

— Пора, дон Луис,— сказала она, вставая,— настает наш час.

Художник поднялся и направился к спальне. Немец, видимо разомлевший от шуток художника, не следовал за ним по пятам, как всегда, а уселся в коридоре, на маленькой софе, поставленной против открытой двери спальни. Эта софа служила ему одновременно постелью и наблюдательным пунктом в ночное время. Он вытащил из-под софы свой чемоданчик и рылся в нем, напевая вполголоса песенку.

Родригес Рональхо, в пижаме, небрежной походкой, насвистывая мотив песенки, которую напевал Рафке, прошел мимо него к ванной и скрылся в ней, оставив дверь широко открытой.

Он резко потянул к себе ручку крана горячей воды, и она осталась у него в руке. Мурлыкающая струя воды, окруженная облаком пара, хлынула в ванну. Пар постепенно заполнял комнату. Художнику показалось, что у него останавливается сердце, но он поборол себя и швырнул никелированный кусочек металла под ванну. Вода хлестала. Комната все больше заволакивалась душным туманом.

Встав в дверях и собрав все силы, чтобы придать голосу спокойный и небрежный оттенок, художник позвал:

— Рафке! Помогите мне, пожалуйста. Я сломал ручку крана и не могу ее достать. Вода зальет дом.

Тяжелые каблуки немца затопали по коридору. Он вошел в ванную. За ним в полуосвещенном коридоре, крадучись у стены, появилась Келита. Она приложила палец к губам и кивнула художнику.

— Видите ли, она закатилась под ванну,— сказал Родригес Рональхо,— сделайте одолжение, попробуйте достать ее.

Рафке стал на колени, выпятив обтянутый серыми штанами округлый зад, и, крякнув, запустил руку под ванну.

Тогда рассчитанным прыжком художник выскочил в коридор. Келита всем телом бросилась на дверь. Она гулко захлопнулась, и одновременно звонко щелкнул ключ. Родригес Рональхо стоял, прислушиваясь, и ему казалось, что он никогда не сможет сдвинуться с места. Келита ухватила его за рукав.

— Скорей, дон Луис! Скорей!

Она потащила его за собой. У вешалки она набросила ему на плечи пальто, на голову шляпу и поволокла дальше. Сильный удар в дверь ванной, изнутри, оглушил их, как выстрел.

— Откройте! — кричал немец и вторично изо всей силы ударил в дверь.

Увлекаемый Келитой художник, скользя, прыгал по ступенькам лестницы. Они выбежали на мраморные плиты патио. Там было тихо. Они перебежали цветник. Келита открыла двери гаража. Никелированные ободки фар слабо поблескивали в темноте.

— Дайте свет, Келита,— шепотом сказал художник, открывая дверцу переднего сиденья.

— Не нужно, дон Луис. Свет может выдать нас. Постарайтесь сделать все в темноте.

Художник на ощупь вставил ключ зажигания, повернул его и нажал кнопку стартера. Автомобиль дважды слабо чихнул, и сразу его шестидесятисильное сердце забилось своим ровным и могучим пульсом. Келита вскочила в кабинку и захлопнула дверь.

Автомобиль бесшумно выкатился из гаража, развернулся и уперся в ворота. Келита вышла.

— Сейчас отопру.

Художник слышал, как звякало железо о железо. Потом испуганный голос девушки позвал:

— Что-то случилось, дон Луис, я не могу открыть.

Он вышел из машины и подбежал к воротам.

— Не нервничайте,— он взял ключ из ее дрожащих пальцев,— садитесь в машину, я сделаю все сам.

Келита отбежала к оставленному автомобилю. Художник спокойно всунул в скважину ключ, нажал, попробовал повернуть. Ключ упрямился. Выругавшись втихомол-

ку, Родригес Ронaльхо напряг всю силу и добился успеха. Замок лязгнул.

Он тихо отвел одну половину ворот, потом вторую и повернулся, чтобы идти к автомобилю, как вдруг услышал наверху в доме треск ударившейся о стену двери, крик и грохот сапог по камням ступенек. Он сразу узнал этот топот. Несомненно, бежал немец.

«Сломал дверь... Вот буйвол! Настоящий робот»,— пронеслась мысль, но думать было некогда. Он ринулся к машине.

Он успел добежать и уже занес ногу в кабинку, как вдруг из темноты, грохоча каблуками и тяжело сопя, налетевший сзади Рафке ухватил его за воротник пальто. Художник с силой вырвался и носком ботинка с размаху ударил немца в низ живота. Рафке охнул и согнулся. Художник прыгнул на сиденье и схватился за руль. Он еще успел нажать педаль, как вдруг в лицо ему метнулась желтая вспышка, как будто сбоку кто-то нажал на мгновение кнопку электрического фонарика. Мгновенный этот свет тотчас же погас, но тотчас же оглушительный звон возник как будто изнутри черепа художника. Ему показалось, что все колокола города сразу зазвонили «Ангелюс», оглушая его. Он попытался поднять руки, чтобы заткнуть уши от этого нестерпимого звона, и не смог. Он уже не видел, как дико вскрикнувшая Келита бросилась на немца и впилась зубами в его щеку. Рафке, схватив девушку за волосы, оторвал ее от себя и, не обращая внимания на льющуюся по прокушенной щеке кровь, стиснул железной хваткой хрупкое тело девушки и перекинул его через плечо, как мешок. В автомобиле было тихо. Художник, осунувшийся и уронивший руки с руля, был неподвижен. Рафке повернулся и побежал в дом, гремя каблуками и неся девушку на плече.

13

Янтарное мерцание бесчисленных свечей играло беглыми бликами на золоте икон, на бронзовых украшениях гроба, сияло теплыми изломами света в каменных складках фиолетового шелка на сутане епископа Падилья.

Епископ стоял на резной ореховой кафедре, высоко над толпой, заполнявшей собор, над гробом, засыпанным цветами, над дрожащим сиянием свечей.

Завитая рукоятка золотого пастырского жезла, вздрагивая в его желтой руке, сыпала огни бриллиантов.

Узкие лиловые губы шевельнулись. Негромкий, но отчетливый и властный голос зазвучал под сводами.

Епископ Падилья говорил о великих добродетелях покойного художника, гордости Испании, сеньора Луиса Родригеса Рональхо, лежавшего посреди собора на затянутом бархатом катафалке, в пышном бронзовом гробу. Он говорил об его пламенном патриотизме, об его неизмеримой любви к испанской армии, нации и святой церкви.

— Грозная смута, вызванная богоотступниками, подъявшими испанцев на преступное борение против испанцев, ужасы междоусобного кровопролития и скорбь за судьбу отечества надломили вернейшего сына Испании. Горячая кровь патриота, наполнявшая это великое сердце, болящее за дело очищения испанской земли от воинов сатаны, вскипела при зрелище страданий и мук. Эта кровь, драгоценная и пылкая, хлынула в его пылающий мозг, разорвала сосуды и отняла у нас славу, христианнейшую из всех христианских душ — душу гения и человеколюбца. Преклоним же колени и помолимся единым сердцем о вечном упокоении сеньора дона Луиса Родригеса Рональхо. Requiescat in pace! [1]

Поддержанный мальчиками-служками, епископ Падилья медленно опустился на колени.

И за ним преклонили колени генерал, маркиз Мунексас де Лосойя, с траурным крепом на рукаве, и окружавшие его офицеры свиты. Зашелестели платья женщин, заплескались рыдания.

Но уже тяжелые громы органа загрохотали под куполом, и серебряные голоса певчих начали «De Profundis» [2].

Мрачная, исступленная мелодия плыла над коленопреклоненной толпой и уходила кверху с дымом кадильниц. Ее гудение становилось все громче и грознее.

Маркиз Мунексас де Лосойя первый поднял голову к куполу, прислушиваясь к странному гулу, сопровождавшему раскаты заупокойной песни. Этот гул, выраставший в небе, казалось, близился. Сзади, у входа, послышался неясный шум, возгласы удивления и возмущения.

---

[1] Да упокоится в мире! *(лат.)*
[2] «Из глубин» *(лат.)*.

Нарушая торжественный чин погребального моления, раскрасневшийся и возбужденный офицер стремительно протискивался вперед, расталкивая молящихся, наступая на ноги. Маркиз де Лосойя, оглянувшись, с негодованием смотрел на нарушителя порядка.

Офицер добрался до него и склонился к уху генерала. Маркиз де Лосойя встревоженно кинул взгляд в синеву купола и грузно поднялся на ноги. Окружавшие его офицеры насторожились. Он сделал жест, приглашающий их следовать за ним, и вся группа военных, не обращая внимания на общий ропот и изумление, быстро пошла к выходу.

Гул над куполом становился все грознее и пронзительнее. Он уже забивал затихающую музыку и голоса певчих.

И вдруг тяжелый, колеблющий землю железный грохот потряс собор от основания колонн до купола. Со звоном и дребезгом посыпались цветные стекла витражей.

В наступившее оцепенение звонко ворвался переполошенный вопль:

— Самолеты красных! Бомба попала в вокзал Сант-Яго!

Орган оборвался на высокой ноте. Женские взвизги резнули по ушам. С ревом, топотом, ругательствами молящиеся ринулись к выходу. Над головами мелькали кулаки, зонтики и веера.

Епископ Падилья, побледневший до синевы, но спокойный и величественный, медленно спустился с кафедры и плавно проплыл в алтарь, шелестя сутаной.

Вторично железный грохот потряс собор, и посыпались уцелевшие еще осколки стекол. Толпа, воя, кусаясь, рыча, выдавливалась наружу. Огромный и мрачный собор опустел. Только у выхода корчились и стонали придавленные в бегстве. Одинокий гроб угрюмо покоился на катафалке в зареве метавшегося пламени свечей.

Тогда от одной из колонн отделился высокий силуэт и приблизился к гробу. Трепетные отсветы огней запрыгали по крупным чертам, по тщательно подстриженной бороде профессора Рамона Альмедина.

Биолог поднял руку к куполу. Глаза его блестели необъяснимым весельем. Он шагнул к гробу и полным голосом, дико прозвучавшим под старинными арками пустого собора, позвал:

— Вставай, Луис! Ты слышишь, мой старый друг, мой доверчивый гуманист? Как жаль, что ты был только художником и гуманистом и не был биологом. Тогда бы ты знал, что микробов бешенства нельзя усмирить человеческим словом...

Опять потрясающий гул заколебал огни свечей.

— Ты слышишь, Луис? Вот единственное верное средство против бледной спирохеты фашизма. Только этим лекарством можно уничтожить заразу. Как жаль, что ты не видишь этого! Прощай, мой бедный друг!

Четвертая бомба всколыхнула воздух, землю, собор, и покачнувшаяся верхушка иконостаса с треском засыпала пол мраморным крошевом.

Ленинград
Январь — март 1937 г.

ДВОРЕЦ КШЕСИНСКОЙ

С вокзала Андрей поехал на Петроградскую сторону. Трамвай шел, гремя и раскачиваясь. Мелькали дома, люди на тротуарах. Андрей цепко держал на коленях свой вещевой мешок с драгоценным грузом и разглядывал город.

Петроград облысел и потускнел за двухлетнее отсутствие Андрея. Дома казались потемневшими, ободранными и жалкими.

Что первым бросалось в глаза и что удивило Андрея — было обилие военных. Когда два года назад он уезжал на фронт,— население Петрограда было еще обычным. Человек в военной форме попадался на улице редко, и Андрей даже радовался этому потому, что каждый военный мог оказаться офицером, а зевок в отдании чести мог привести к неприятностям.

Сейчас тротуары были густо закрашены цветом хаки. Это был почти основной цвет человеческой одежды. Солдаты, юнкера, офицеры вкрапливались в толпу целыми косяками. Андрей подумал: «Если бы не революция, так надо было б ходить, не отдирая руку от козырька, чтобы не вляпаться».

Он усмехнулся. Все эти беды, связанные с солдатским положением, провалились в тартарары и никогда больше не возникнут.

Он перевел взгляд на публику в вагоне. У двери, напирая коленями на вещевой мешок, стояла хорошенькая розовая девушка. Встретив любующийся взгляд Андрея,

она еще больше порозовела и чуть улыбнулась уголком губ. Андрей тоже покраснел и отвел глаза от девушки и в ту же секунду насторожился. Рядом с девушкой торчал долговязый субъект в коротеньком пиджачке, из рукавов которого выпирали длинные кисти с худыми грязноватыми пальцами. У субъекта были белесые воровские глаза, и он пристально смотрел на мешок Андрея. Андрей нахмурился и на всякий случай подтянул мешок поближе к груди. Солдаты, приезжавшие в полк из Петрограда, рассказывали, что в городе развелось видимо-невидимо ворья.

А в мешке было целое сокровище. Когда в окопах получилась «Правда» с призывом редакции к рабочим и солдатам помочь материально своей большевистской газете, большевики дивизии созвали митинг. На митинге целым лесом рук приняли резолюцию — отдать «Правде» георгиевские кресты и медали. У снарядного ящика, изображавшего трибуну, сели члены большевистской фракции дивизионного комитета записывать сносимые солдатами регалии. К вечеру в списке значилось девятьсот тридцать крестов и медалей, из них больше сотни золотых.

Наутро Андрей выехал в Петроград, командированный комитетом, напихав кресты и медали в мешок. Вес оказался солидный, больше пуда. В вагоне Андрей спал, положив мешок под голову. Было неудобно, проклятые кресты сквозь брезент старались проколоть затылок своими углами, но пришлось терпеть. Оставлять такой груз на багажной полке было рискованно. Комитет дал Андрею наказ сдать собранные ценности в Петроградский комитет партии.

Трамвай глухо гремел по настилу Троицкого моста. Синяя Нева медленно и величественно катилась под устои. Белые огромные облака висели над Петроградской стороной. Андрей встал и выбрался на площадку. Трамвай летел визжа с уклона. Остановка, Андрей соскочил с подножки, вскинул на спину мешок и двинулся к дворцу Кшесинской. Дорогу спрашивать не приходилось. Андрей знал Петроград, как свою ладонь. Но едва он отошел несколько шагов от остановки и кинул взгляд на издавна знакомый облицованный изразцами невысокий особняк за темной зеленью бульвара, как остановился в недоумении и тревоге. Вся мостовая на проезде бульвара

и самый бульвар были заполнены несметной толпой, глухо гудевшей и колыхавшейся. То тут, то там над головами поднимались отдельные люди. Они размахивали руками, били себя в грудь. Видимо, кричали, но крика за общим гулом не было слышно.

Андрей растерялся. Он привык к совершенной безлюдности этого проезда. Он запомнил это с детства. Против особняка всегда стоял огромный городовой, весь в медалях, охраняя покой стареющей любовницы императора. Здесь запрещалось проезжать наемным извозчикам и нельзя было останавливаться на тротуаре. Андрей всматривался. В чем дело? Почему такая толпища? Может быть, какая-нибудь беда?.. Нагрянули юнкера или еще какая-нибудь сволочь.

Но тогда нельзя соваться в дом. Заберут или отдуют в лучшем случае, но главное — кресты отнимут. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Андрей стоял посреди мостовой, не зная, на что решиться. К нему подошел невзрачный мужчина с красной повязкой на рукаве, украшенной буквами «ПНМ»,— милиционер. На ремне у него ненужно висела ободранная винтовка. Милиционер поглядел на Андрея и осторожно спросил:

— Разыскиваете кого, товарищ?

Андрей в секунду оценил милиционера. Нет, не шпик. И, оценив, решительно спросил:

— Чего это там тамаша такая? Кого раздавили или карманника поймали?

Милиционер хмуро покосился в сторону дворца и с раздражением сказал:

— Ты с неба свалился, солдатик, что ли? Это ж дворец Кшесинской... Тут большевики засели. И народу толчется гибель. Самый беспокойный пост,— того и гляди, стрелять начнут.

Андрей усмехнулся. Значит, все благополучно и можно идти. Он кивнул милиционеру. И в ту же минуту услышал автомобильный гудок за спиной. Он обернулся. По натертым, пахнущим смолой торцам бесшумно шла большая, блестящая, новехонькая машина, так непохожая на облупленные фронтовые развалины. Над радиатором ее вился цветной красивый флажок. В автомобиле Андрей различил девушку в форме сестры милосердия, пожилую даму и господина с нерусским длинным лицом, со свислыми блеклыми усами. На голове у господина блестел мягко и тепло атласный плюш цилиндра. Машина шла

очень медленно, и Андрей увидел, как господин, взглянув на дворец балерины, брезгливо поджал губы и что-то сказал девушке, видимо злое и насмешливое. В пустых глазах девушки тоже вспыхнула злоба, смешанная с испугом. Машина прошла. Андрей сразу понял — седоки злы и боятся этой толпы и этого дома. Ему стало весело.

— Щекочет буржуев,— сказал он милиционеру, кивая на дом,— видал, как морду перекосило.

— Ему чего,— лениво ответил милиционер,— его дело стороннее. Это английский посол. Каждый день тут на прогулку к островам ездит.

Андрей втиснулся в толпу у дома и, работая локтями, стал продираться к парадной двери. На него огрызались и шипели, но он отмалчивался и упорно пробивался вперед. На крыльце его остановил высокий парень, по виду рабочий, откуда-нибудь с Выборгской стороны. На поясе у него висел наган. Андрей вынул из кармана гимнастерки мандат. Парень прочел и приветливо улыбнулся.

— Валяй! Хорошее дело. В зало зайдешь, там кого-нибудь спросишь.

Андрей пошел в вестибюль. Здесь была такая же толчея, как и на улице. По лестнице носились люди с кипами бумаг в руках. Они прыгали через три ступеньки. Спросить их о чем-нибудь было невозможно. Пока Андрей выговаривал первое слово вопроса — встречные уносились вихрем и на смену им пролетали новые. Здесь не жили, а кипели.

Это был дом, яростно ненавидимый буржуазией и военщиной и беззаветно любимый рабочими и солдатами Петрограда. Одни проходили мимо, сжимая кулаки и мечтая о часе, когда можно будет уничтожить это проклятое гнездо. Другие шли сюда, как домой, со своими нуждами и печалями, со всеми недоуменными вопросами, которых так много ставила перед ними революция. Сюда шли с фабрик и заводов Васильевского острова и Выборгской стороны, из-за Обводного канала, с Лиговки и Волкова, с Голодая и из порта, из казарм бронедивизиона и гренадеров, из кирпичной тюрьмы балтийского экипажа. Шли с резолюциями, с требованиями, по делу и просто так, чтобы потолкаться в этих кипящих комнатах и вдохнуть воздух, пахнущий бодростью и бурей. Сюда привезли на броневике с Финляндского вокзала Ленина, который, не отдохнув, бросился в бой. Сюда по ночам стре-

ляли в освещенные окна из-за вéрков Петропавловской крепости. Сюда приходили анонимные письма, полные бешенства и страха. Здесь был главный штаб начинавшейся величайшей войны пролетариата.

Андрей втиснулся в белый светлый зал, заднюю стенку которого составляло сплошное окно зимнего сада. Тут было немного попросторней, но та же беготня. В зале стояло несколько столов. Сидевшие за ними были густо обложены посетителями. Все шумело, гудело, наполняло зал немолчным голосом. Андрей растерянно озирался, не зная, к кому подойти, у кого спросить. В эту минуту из боковой двери вышел человек невысокого роста, в сером костюме, держа в руке листок бумаги. Шел он неторопливо, не так, как другие. Губы его под небольшими усами шевелились, как будто он читал про себя написанное на листке. Лицо его показалось Андрею странно знакомым. Человек остановился в двух шагах от Андрея и, подняв голову, обвел взглядом суматоху зала. Андрей воспользовался его остановкой и спросил:

— Слушайте, товарищ. Куда мне сунуться? Я с фронта приехал. Привез кресты дивизии для кассы «Солдатской правды». А тут такая толчея, что не знаешь, куда руки-ноги девать.

Человек прищурился, разглядывая Андрея с мягкой улыбкой.

— Много крестов? — спросил он, заглатывая букву «р».

Андрей брякнул мешком об пол. Обеспокоенные «георгии» ответили дребезгом.

— За девятьсот. Пудик с гаком.

Человек в сером костюме засмеялся.

— Это хорошо... Целый банк в мешке. Пойдемте.

Он взял Андрея за руку и провел на возвышение зимнего сада. У стеклянной стенки сидел за столом плотный, опушенный круглой бородкой, с добрыми и усталыми серыми глазами, добродушно и терпеливо отвечая на вопросы толпившихся у стола солдат. Человек в сером подвел Андрея к столу.

— Михаил Васильевич,— сказал он,— примите товарища. Он с фронта. Привез кресты, пожертвованные товарищами солдатами для «Солдатской правды». Целый мешок. Примите и поговорите с ним о фронтовых делах.

Сидевший за столом спросил Андрея — откуда он, какой дивизии, давно ли приехал. Удивился мешку и приказал поставить его у окна.

— А не сопрут? — усомнился Андрей.

— Нет. Пока я сижу, будьте спокойны,— засмеялся Михаил Васильевич, продолжая расспрашивать Андрея, Андрей отвечал спокойно и точно. Михаил Васильевич записал некоторые ответы Андрея в блокнот и спросил, долго ли он пробудет в Петрограде.

— Перед отъездом зайдите, я вам литературы подброшу,— закончил он и протянул руку Андрею. Андрей постоял в нерешительности и вдруг выпалил:

— Я вот насчет того... нельзя ли как-нибудь товарища Ленина повидать.

Михаил Васильевич поднял на него удивленные глаза.

— Так вы же его только что видели, товарищ.

— Где? — спросил Андрей, недоумевая.

— Да вы же с ним ко мне подошли. Товарищ Ленин нас и познакомил.

Страшная обида ударила в сердце Андрею. Он тяжело задышал и зло сказал Михаилу Васильевичу:

— Какого же черта вы мне раньше не сказали!

Михаил Васильевич вскинул голову и хотел рассердиться. Но, увидев отчаянное лицо Андрея, засмеялся.

— Вот чудак,— сказал он,— откуда ж я знал, что вы не знакомы. Идут под ручку, я думал — приятели... Да ничего, вы не расстраивайтесь. Приходите вечером сюда. Владимир Ильич говорить с балкона будет. Вот тогда не только увидите, но и услышите.

Андрей отошел от стола, проталкиваясь к выходу и внимательно оглядывая встречных. У него была надежда еще раз увидеть Ленина. Но Ленина больше не было. Андрей с досадой вышел из дворца, чтобы съездить пообедать. Он решил обязательно вернуться сюда и простоять хоть всю ночь, лишь бы послушать Ленина.

<1937>

ВЫСТРЕЛ С НЕВЫ

23 октября 1917 года шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-русского завода. Место это было хорошо знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1900 году новорожденная «Аврора» под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к Цусимскому проливу.

По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась ко взморью вспухшая поверхность реки серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево — омерзительно-грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоянные ржавчиной, как кровью.

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.

Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крыльями мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях Корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие — записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.

Такую вахту не стоило нести. Офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.

Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостки. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь...

Ну и пусть ходит, кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим типом? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой преградил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорил что-то и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение фор-

мальностей было ни к чему, но все же умаслило мятущееся сердце мичмана.

Подошедший дежурный взглянул в предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал по мостику, морщась от дождевых капель.

Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов.

В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжение начальника второй бригады крейсеров.

— Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями,— сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно. Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стенками которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.

— Ясное дело,— сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской конфузливой улыбкой.— Мы и так понимаем, что такое измена,— выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена».— Стрелять изменников надо, как сукиных сынов,— продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.

После его ухода Белышев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.

Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра.

— Когда прикажете сниматься? — спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.

— Между прочим, совсем наоборот,— ответил, слегка усмехаясь, Белышев.— Комитет имеет обратно приказание Центробалта — производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуговаривающему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского Совета,— закончил Белышев официальным тоном.

— Слушаю-с,— ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.

— Посторонних нет?

Вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.

— А какой черт сюда затешется? — ответили ему.— Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.

Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.

— Так вот, ребятки,— сказал Белышев,— сообщаю данное распоряжение: «Комиссару Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на крейсере «Аврора».

Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту».

В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубами заглушенно гудело динамо, да иногда по подволоку прогрохатывали чьи-то быстрые шаги. Члены комите-

та молчали. И несмотря на то, что глаза у всех были разные — серые, карие, ласковые, суровые,— во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществляющейся, становившейся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека о найденной Правде, которую сотни лет прятали угнетатели.

— По телефону передали из ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича... Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут,— добавил Белышев тихо и проникновенно, и опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.

— Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения,— обронил кто-то,— если он хочет, так скрозь что угодно пройдем.

— Значит, постановлено? Возражающих нет? — спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.

Члены комитета ответили одним шумным вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.

— Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи,— Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета.— Сколько людей понадобится и каким способом навести мост.

— Способ определенный,— сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин,— верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.

Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню оборвали:

— Закрой поддувало!

— Ишь нашелся трепач... Ты время попусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.

С рундука встал плотный бородатый боцманмат.

— Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видел. А может, там где-нибудь в Галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем.

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Белышев.

— А допрежде всего выслободить корабль из этой мышеловки. Черта мы тут у стенки сотворим. Первое дело — отсюда мы до Английской набережной не достанем через мост. Второе — на нас могут с берега навалиться. Да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался! А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту.

— Верно,— поддержал голос,— нужно к мосту выбираться.

Белышев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.

— Перевести — это так,— сказал он,— да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас — как черепаха, богом суродованная. Будто им головы прищемило.

— Пугнуть можно,— отозвался Ваня Карякин.

Белышев махнул рукой.

— Уж они и так напуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать — хуже будет. Теперь с ними одно средство — добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвесил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок... Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля из-под ног ушла...

— Потопить их всех.

— Рано,— твердо отрезал Белышев.— Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы...

Кубрик ожил. Члены комитета загрохали по палубе, торопясь к выходу.

Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая и офицеры собрались за столом. Но как не похоже было это чаепитие на прежние оживленные сбо-

рища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, низко склонив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.

При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.

— Добрый вечер, товарищи командиры! — как можно приветливее сказал Белышев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.

Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. Некоторые просветлели,— очевидно, приход комиссара не сулил ничего плохого, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос и не злой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнущиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и самое появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало как ножом их сердца.

Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.

— Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант? — вежливо обратился Белышев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:

— Прошу.

Белышев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдают за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:

— Через час снимаемся.

Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:

— Позволено знать, куда?

— А почему ж не позволено,— беззлобно ответил Белышев.— Петроградский Совет приказал перевести крей-

сер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.

Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелоке, не подымая головы, спросил напряженно и зло:

— А приказ комфлота есть?

Белышев пристально посмотрел на него.

— Проспали, товарищ артиллерист,— сказал он спокойно.— Командует флотом нынче революция, а в частности Военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется.

— Не слышал,— ответил артиллерист,— я такого адмирала не знаю.

Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.

Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира, шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу, как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности.

— Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?

— А то куда ж? — удивился Белышев.— Как будто ясно сказано...

— Но... но...— командир тщетно искал убегающие от него слова,— но вы понимаете, товарищ Белышев, что это... это невозможно?

— Почему? — тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.

— Но дело в том... С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась,— быстро заговорил

командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ.— Совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер как боевую единицу флота. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище... Я... Я не могу взять на себя такой риск.

Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Это было похоже на любимую игру в домино, когда противник неожиданно поставит косточку, к которой у другого игрока нет подходящего очка. Можно, конечно, обозлиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Белышев играл в «козла» отменно.

Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле.

Потом, обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова:

— Соображение насчет фарватера считаю правильным.

Офицеры переглянулись: неужели комиссар сдаст?

Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу, Белышев продолжал:

— Крейсером рисковать нельзя, товарищ старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник... Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован...

Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан здорово. Командир проиграл. Ему некуда было приставить свою косточку. Он безнадежно оставался «козлом». В кают-компании стало невыносимо тихо.

Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. В дверях остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:

— Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.

— Это что же? Арест? — вскинулся артиллерист.

— Ишь какой скорый! — засмеялся Белышев.— Зачем? Нужно будет — успеем. Просто дело рискованное. Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого...

Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:

— А молодцы большевики, хоть и сукины дети!

Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета, сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.

— Готов, Серега? — спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова.

— А раньше? — ответил Захаров любимой прибауткой.

— Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.

Они крепко сжали друг другу руки. Много соли было съедено вместе в это горячее времечко. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг, шел на тяжелое дело за всех, где его могла свалить в ледяную невскую воду белая пуля.

У Белышева защекотало в носу. Он быстро отошел от трапа. Шлюпка отделилась от борта и беззвучно ушла в темноту. Комиссар прошел на полубак. Длинный ствол носовой шестидюймовки, задравшись, смотрел в чернильное небо. Чуть различимые в темноте силуэты орудийного расчета жались друг к другу. Ночь дышала тревогой. Белышев прошел к гюйсштоку. Неразличимая пустыня воды глухо шепталась перед ним. За ней лежал город, чудовищно огромный, плоский, притаившийся. Город лощеных проспектов, дворцов, город гвардейских шинелей с бобро-

выми воротниками, город министерских карет и банкирских автомобилей. Город, вход в который был свободен для породистых собак и закрыт для нижних чинов. Белышев чувствовал, как этот город дышит ему в лицо всей своей гнилью и проказой. Этот город нужно было уничтожить, чтобы на месте его создать новый — здоровый, ясный, солнечный, широко открытый ветрам и людям.

Набережные были темны. Фонари не горели. Зыбкие и смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно с петропавловских верков, полосовал сырую мглу бледно-синий меч прожектора. Он то взлетал ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали четкие разлеты мостовых арок и вода стекленела, светясь.

Шаги сзади оторвали Белышева от созерцания. Он оглянулся. Член судового комитета Белоусов торопливо подошел к нему.

— Сейчас захватил в машинном кубрике эсеровского гада Лещенко. Разводил агитацию.

— Где? — спросил Белышев, срываясь.

— Не беспокойся. Забрали и засунули в канатный ящик. Пусть там тросам проповедует.

— Смотрите вовсю. Чтоб не выкинули какой-нибудь пакости,— сурово сказал Белышев.

— Комиссар, шлюпка возвращается,— доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки.

— Ну хорошо... А то уж я боялся за Серегу,— мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу.

Со взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Белышев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял — за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события и офицерское настроение сильно изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными.

Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоился переменой, Белышев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту.

На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги химического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин.

— Вот,— сказал Белышев,— фарватер есть! Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь как крутится. Но, между прочим, по всей провехованной линии имеем от двадцати до двадцати трех футов. Значит, пройти вполне возможно, и еще под килем хватит. В старое время штурмана друг другу полдюйма под килем желали, а у нас просто раздолье. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте съемку.

— Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...

Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Белышев с усмешкой смотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.

— Ну, что же господа офицеры надумали?

Командир вскинул голову, как будто его ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смело смотреть в глаза Белышеву, он сказал:

— Поскольку мы понимаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому... вследствие этого мы...— командир начал запинаться,— мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет...

— Так... так...— сказал Белышев беззлобно, кивая головой, и командир покраснел еще гуще.

— Мы ни за какую политическую партию... Мы за Россию... Мы против большевиков тоже выступать не будем...

Белышев сделал шаг вперед и положил свою тяжелую ладонь на плечо командира. От неожиданного этого прикосновения старший лейтенант вздрогнул и молниеносно сел, как будто он был гвоздем и сильный удар молотка с маху вогнал его в кресло. Было ясно, что он испугался.

— Еще бы вы против большевиков выступили! Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороху не хватит,— презрительно, но так же беззлобно обронил комиссар и, помолчав немного, покачал головой.— Эхма... а я-то думал, что вы все-таки офицеры. А вы вроде как мелкая салака...

— Ну, ну... комиссар. Просил бы полегче,— ехидно вставил артиллерист.— Посмотрим еще, какая из тебя осетрина выйдет.

То, что артиллерист не трусил, понравилось комиссару. Озлобления у офицеров явно не было. Была полная и жалкая растерянность, которой сами офицеры стыдились. И то, что артиллерист обратился к комиссару на ты, тоже было неплохим признаком. Пренебрежительное выканье было бы хуже. Ясно одно: офицеры помогать не станут, но и мешать не рискнут. Белышев усмехнулся артиллеристу.

— Навару с меня в ухе, конечно, поменьше, чем с тебя будет,— кинул он, тоже обращаясь на ты и как бы испытывая этим настроение. Если артиллерист обидится — значит, он, Белышев, ошибся насчет настроения. Но артиллерист не реагировал. Тогда комиссар отошел к дверям, захватив карту.

— Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному — воля, а вам, господа офицеры, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения... Что же касается корабля, авось сами справимся. Счастливо!..

Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз.

Белышев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настороженным, поджидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко выделялся на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться.

— Нет,— сказал вдруг комиссар злобно и решительно,— не выйдет эта чертовщина...

— Ты про что? — Захаров оторвался от карты и поглядел на Белышева.

— Пойми ты, чертова голова: если запорем корабль, что тогда делать станешь?

Захаров помолчал.

— А что будешь делать, если не выполним приказ Совета? Одно на одно... Так выходит, риск — благородное дело... Да ты не дрейфь, Шурка. Рулевых я лучших поставил. Орлы, а не рулевые. А я как-нибудь управлюсь.

Насмотрелся за четыре года на дело, невесть какая мудрятина по ровной воде корабль провести.

Белышев выругался. Действительно, другого выхода не было. Если Серега берется, может, и выйдет. Парень он толковый.

Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживлявшая крейсер, делавшая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы.

— Василий, ты? Здорово... Сейчас тронемся.

Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход. Белышев перевел ручку машинного телеграфа на «малый вперед». Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос.

— Товарищ комиссар... Белышев! — закричал он.

— Чего орешь? — недовольно отозвался комиссар.— Тишину соблюдай.

— Товарищ комиссар! Арестованный командир просит немедленно прийти к нему.

— Черта ему, сукиному сыну, надо! — выругался Белышев.— Скажи — некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, пока операция кончится. Раньше надо было думать.

Матрос замялся.

— Как бы чего не вышло, Белышев,— сказал он, потянувшись к уху комиссара.— Вроде, понимаешь, как не в себе командир. Плачет.

— Тьфу, анафема! — сплюнул Белышев.— Волоки его, гада, сюда. Сам понимаешь, не могу уйти с мостика.

Матрос нырнул в люк. Крейсер набирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроходимая тьма. Голос Захарова сказал рулевым:

— Вон Исаакия макушка поблескивает. На нее правь пока... Одерживай!

— Есть одерживать,— в один голос отозвались рулевые.

Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была расстегнута, фуражка висела на затылке. Даже в темноте глаза командира болезненно блестели.

— Я не могу,— заговорил он еще на ходу,— я не могу допустить аварии корабля. Я люблю свой корабль, я... я

помогу вам привести его к мосту, но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях...

Белышев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас. Но разговаривать было некогда. В конце концов, и это большая победа. И Белышев просто сказал:

— Ладно... Вступайте...

Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду выпрямился, и голос его зазвучал по-командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой:

— Лево руля!.. Так держать!..

На середине реки внезапно налетел ветер, и хлынул проливной дождь. Все закрылось сетью мечущихся нитей. С мостика не стало видно полубака.

Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди, «Аврора» врежется в пролет.

— Мо-ост! — диким голосом рявкнул первый, угадавший в темени смутные очертания быков.

— Тише! — шикнул Белышев.— Весь город всполошишь.

Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала «самый малый», потом «полный назад». Судорога машин потрясла крейсер.

— Отдать якорь!

Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувшийся вниз якорный канат. «Аврора» вздрогнула и остановилась.

Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо руками, согнувшись, пошел к трапу. Белышев не останавливал его. Теперь командир был не нужен.

— Прожектор на мост! — приказал комиссар.

Над головой на площадке фор-марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст.

— Разведен,— злобно вымолвил Белышев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа Совета: «Восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами». Он шумно вздохнул

и посмотрел вниз на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою.

Белышев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались ослепленные молнией прожекторов маленькие фигурки в серых шинелях. Комиссар различал даже желтые вензеля на белых погонах гвардейских училищ.

Он опустил бинокль и снял с распорки мегафон. Приставил его ко рту.

Мегафон взревел густым и устрашающим ревом.

— Господа юнкерье,— рычало из раструба мегафона,— именем Военно-революционного комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, покуда целы. Через пять минут открываю по мосту орудийный огонь.

На мосту мигнул огонек и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Белышев увидел, как юнкера кучкой бросились к стрелявшему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к Английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел.

— Вот так лучше,— засмеялся комиссар, поведя плечами.— Тоже вояки не нашего бога.

Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал:

— Вторую роту наверх с винтовками и гранатами. Катера́ на воду. Высадить роту и немедленно навести мост.

Запел горн. Засвистали дудки. По трапам загремели ноги. Заскрипели шлюпбалки. Вытянувшись по течению, в пронизанном нитями ливня мраке «Аврора» застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая.

День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые пенистые гребни. Летела срываемая порывами вихря водяная пыль.

Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского острова казались опустелыми каменными ущельями.

С левого берега катилась ружейная стрельба, то затихавшая, то разгоравшаяся. Иногда ее прорезывали гулкие удары — рвались ручные гранаты. Однажды звонко и

пронзительно забила малокалиберная пушка, очевидно с броневика. Но скоро смолкла.

Это было на Морской, где красногвардейские и матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию.

С утра Белышев беспрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Аврорцы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка у моста, посреди реки, раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час.

Среди дня по Неве мимо «Авроры» прошла вверх на буксире кронштадтского портового катера огромная железная баржа, как арбузами, набитая военморами. Команда «Авроры» высыпала на палубу и облепила борта, приветствуя кронштадтцев, земляков и друзей. На носу баржи играла гармошка и шел веселый пляс. Оттуда громадный, как памятник, красивый сероглазый военмор гвардейского экипажа зарычал:

— Эй, аврорские! Щи лаптем хлебаете? Отчаливай на берег с Керенским танцевать.

Баржа прошла под мост с гамом, присвистом, с отчаянной матросской песней и пришвартовалась к спуску Английской набережной. Военморы густо посыпали из нее на берег. Аврорцы с завистью смотрели на разбегающихся по набережной дружков. Но покидать корабль было нельзя, и команда поняла это, поняла свою ответственность за исход боя.

С полудня Белышев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета. Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой.

В два часа дня запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Белышева бланк принятой радиограммы. Глаза радиста и его щеки пылали. Белышев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди теплело с каждой прочтенной буквой:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного

комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Белышев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий не желавшая сменяться прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город.

С точки зрения боевой дисциплины это был непорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Белышев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб, в низы, взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так долго ждали, ради чего они не покидают палубы, не замечая времени, забыв о пище.

Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал.

— Товарищи!

Головы повернулись к мостику. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.

— Товарищи,— повторил Белышев, и голос его сорвался на мгновение.— Временное правительство приказало кланяться... Большевики взяли власть! Советы — хозяева России! Да здравствует Ленин! Да здравствует большевистская партия и наша власть.

Сотней глоток с полубака рванулось «ура», и, как будто в ответ ему, от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Белышев сунул бланк радиограммы в карман.

— Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!

Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, аврорцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали.

Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От Дворцового моста доносилась все усиливающаяся перестрелка. Черной и мрачной громадой выступал за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императоров казался кораблем, погасившим все огни, кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плавание.

Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры попрежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиограмму, сказал, что, поскольку правительство пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мичману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу.

Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Белышев не отрываясь смотрел в сторону петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой залп из носовой шестидюймовки.

Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались.

Сзади подошел Захаров.

— Не видно? — спросил он.

— Нет,— ответил Белышев.

— Скорей бы! Канителятся очень.

Белышев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову:

— Пройди, Серега, к носовому орудию, последи, чтоб на палубе не было ни одного боевого патрона. Потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в коем случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут понастоящему.

Захаров понимающе кивнул и ушел с мостика. Белышев продолжал смотреть.

Вдруг за Дворцовым мостом словно золотая нитка прошила темную высь и лопнула ярким, бело-зеленым сполохом.

Белышев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Белышев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенная

досада и злость вспыхнули в нем, но он сдержался. В конце концов, что требовать от офицера? Хорошо и то, что не сбежал, не предал и стоит вот тут, рядом.

И, ощутив в себе какое-то новое, не изведанное доселе сознание власти и ответственности, Белышев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко:

— Носовое... Залп!

Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшее в отдаче тело орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей огромной мощью.

Прислуга торопливо заряжала орудие, и Белышев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за руку Захаров.

— Отставить!

— Что? Почему? — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.

— Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет. Его никогда не забудут...

И Захаров крепко стиснул комиссара горячим братским объятием.

Внизу, по палубе, гремели шаги. Команда вылетела из всех люков, и неистовое «ура» катилось над Невой, над внезапно стихшим, понявшим свое поражение старым Петроградом.

1938

ОБЫКНОВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

На трапе послышались шаги. Комсостав одновременно повернул головы от стаканов с яблочным чаем и насторожился. Комсостава на флагмане было немного — комиссар, артиллерист и механик, но зато это был боевой комсостав восемнадцатого года.

— Кого-то несет,— сказал комиссар, и остальные молча кивнули. Кого-то, бесспорно, несло по трапу, потому что шаги сменились грохотом падения, дверь раскрылась с треском, и чье-то тело въехало в кают-компанию ногами вперед. Это было обычным явлением на «Макарове» — трап был невероятно крутой, и истертая до зеркальности медная оковка ступеней не раз подводила спускавшихся. Обычно такие съезды в кают-компанию встречались восторженным хохотом комсостава. Но на этот раз смех оборвался, едва возникнув, потому что в появившемся теле комсостав неожиданно опознал собственного командира Ваську Махотина.

Пока командир подымался с палубы, в кают-компании царило молчание, только ехидно пошипывал самовар.

Молчание прервал комиссар.

— Не по уставу входишь, командир,— заметил он спокойно, без малейшего оттенка иронии.

— Про-проклятый трап,— заикнувшись, ответил командир, хотя обычно он никогда не заикался.— Сколько раз говорил сделать насечки на оковке. Товарищ механик, что вы на это скажете?

— Разрешите доложить, товарищ командир корабля, что оковка трапов не входит в опись инвентаря судовых

механизмов,— почтительно ответил механик и вдруг густо, басом, захохотал. Тогда засмеялись все, не исключая и командира. Кают-компания на «Макарове» была веселая и дружная. Иначе и быть не могло на флагманском корабле, где кают-компания имела размеры два на два с половиной метра.

— Поясницу раздолбал,— сказал командир, потирая спину.

— Выпей яблочного,— предложил комиссар,— замечательный напиток.

Он налил из чайника в стакан густой коричнево-красной жидкости, добавил из самовара дымящегося кипятку и подвинул командиру. Махотин втиснулся в узкий просвет между диваном и столом, расстегнул кожаную куртку и отхлебнул два глотка.

— А действительно здорово,— заметил он, разглядывая на просвет стакан, потом поставил его на блюдце и деланно небрежным тоном закончил: — Между прочим, предлагаю корабельным специалистам немедленно проверить материальную часть, а комиссару провести политработу с командой. В три часа поход.

— Чего? — переспросил артиллерист после нескольких секунд торжественного и изумленного молчания.

— Не чего, а что? — невозмутимо отрезал командир.— Как мне известно, культурные люди говорят именно «что».

— Брось, Васька, шпиль вертеть,— озлился артиллерист.— Поход? Куда поход? Какой поход? Ведь это же мировой случай.

У артиллериста блестели глаза. И было отчего заблестеть. Отряд формировался бесконечно долго. Белые гуляли хозяевами по зеленому простору Каспия. У них были два настоящих военных корабля-канонерки «Карс» и «Ардаган», у них были «тяжелые крейсера», переделанные из нефтеналивных шхун, щедро вооруженные шестидюймовками, любезно присланными английским адмиралом Норрисом. У них было все, что полагается настоящему боевому флоту.

Красная Каспийская флотилия формировалась из обломков. В корабельных кладбищах по астраханским затонам выуживались всякие посудины, способные после ремонта кое-как держаться на воде. Они вооружались пехотными трехдюймовками, сорокасемимиллиметровками и пулеметами. Их машины скрипели, хрюкали, стонали и

стопорили в самые неподходящие минуты. Но у организаторов флотилии были упорство, воля и неугасимый энтузиазм. Они сломали все преграды. Первый отряд флотилии, в составе путейского катера «Макаров» и двух буксиров, поднял военно-морские флаги республики. Трубы дымили на рейде. Смазанные и накрытые чехлами пушки смотрели в сторону моря. Испытанные в боях военморы драили палубы, варили в камбузах картошку с воблой и развешивали на бельевых леерах насквозь простиранные тельняшки и кальсоны. Флот жил. Ему не хватало только боя для того, чтобы стать настоящим флотом, и военморы ждали этого боя. И вот час пришел.

— Это, конечно, мировой случай,— спокойно ответил Махотин артиллеристу,— один катер и два буксира против всего белого флота. Таких случаев еще не бывало, а посему, товарищи командиры, извольте прослушать боевую задачу.

Он вынул из кармана кожанки помятую карту с мазками красного карандаша и развернул ее.

— Вот,— сказал Махотин, кладя указательный палец на карту, и вдруг смолк.

Электричество, горевшее достаточно ярко для кают-компании хорошего флагманского корабля, неожиданно мигнуло и погасло. Махотин сухо кашлянул.

— Редкий пример отказа материальной части в боевой обстановке,— сказал он скучным голосом.— Надеюсь, электрическое освещение входит в инвентарный перечень механической части.

Первую половину ответа механика не стоит приводить. Она соответствовала его настроению, кромешной темноте и разговорному стилю восемнадцатого года.

— Сейчас будет исправлено, товарищ командир корабля,— закончил механик с военной четкостью. Дверь хлопнула, и шаги механика затихли на верху трапа.

— Зажигай коптилку, комиссар,— сказал Махотин,— так лучше. По крайней мере, будем работать в обстановке полной укрытости от противника, а то еще он заметит нас из Баку.

Чиркнула спичка. Маленький фитиль коптилки оброс бледно-оранжевым огоньком, и огромные тени трех голов легли на подволок кают-компании.

— Дело простое,— начал Махотин, ведя пальцем по карте,— вот берег, состоящий, как известно, из разных геологических образований, на берегу станица Старо-Те-

речная, в означенной станице ставка известного атамана Бичерахова.

— Сволочь,— сказал комиссар.

— Не возражаю против установленного факта,— отозвался Махотин и продолжал: — Задача, предстоящая флотилии, сводится к разведке станицы и, если возможно, короткому налету с обстрелом замеченных объектов, с музыкой и пением. А потом благополучный уход в базу.

— Если позволят уйти,— скептически заметил артиллерист.

— Я бы просил вас запомнить, товарищ артиллерист, что в морском деле понятие «если» есть фикция... Ну и все. Задача понятна...

— Отлично,— сказал комиссар,— пойду к ребятам. Обрадую. А то надоел мне самому этот скулеж. Сидим и на солнышке греемся, когда надо воевать.

— Снимаемся в три, чтобы быть у Старо-Теречной к рассвету и подойти под завесой утреннего тумана.

Электричество вспыхнуло необыкновенно ярко, сразу залив сиянием кают-компанию. Махотин зажмурил глаза и потянулся.

— Механик явно исправляется,— сказал он мечтательно.— Приятно идти в бой с таким безукоризненным комсоставом.

— Все шутишь,— обернулся в дверях комиссар.— Помирать будешь, и то без острого словца не обойдешься.

— Сие, комиссар, называется бодростью духа и морской лихостью, без коей не бывает виктории, как уверял дедушка русского флота,— ответил Махотин и потянулся к самовару.

Море лениво шелестело длинной, пологой, мутно-зеленой волной, плавно покачивавшей «Макарова». Впрочем, цвет волны можно было рассмотреть только у самого борта. Дальше все расплывалось и таяло в молочной жиже непроглядного тумана, душного и вязкого, как вата.

Мостик «Макарова» тихо подрагивал от работы машины. Было тихо. Махотин, артиллерист и комиссар стояли у обвеса.

— Эскадренный ход пять с половиной узлов... Лихо! — вздохнул артиллерист.— Прямо неслыханная скорость.

— Поспешишь — людей насмешишь,— сурово ответил комиссар, подымая к глазам бинокль. Это был привычный,

но совершенно бесполезный в данной обстановке жест. Как известно, бинокль в тумане столь же помогает зрению, как мертвому аспирин.

— По счислению мы в трех милях от Старо-Теречной,— сказал Махотин.— Все идет, как нужно.

Он сказал это спокойно и небрежно, но сейчас же обернулся к корме, и в глазах его мелькнула тщательно скрываемая от других тревога. Он был очень молодым командиром и волновался. Его беспокоили идущие сзади буксиры. Если механизмы «Макарова», флагманского корабля отряда, частенько пошаливали, то машины буксиров уже не внушали никакого доверия. В таком тумане ничего не стоило растерять отряд. Махотин мотнул головой и с тоской подумал о том времени, когда в море выходили огромные могучие боевые корабли с мощными механизмами, с налаженной радиосвязью, туманными буями и прочими приспособлениями, обеспечивающими безотказное наблюдение флагмана за всеми судами эскадры. Но сейчас же он устыдился своего малодушия.

Он со вздохом взглянул на палубу «Макарова». Конечно, «корабль» особенный и отряд из ряду вон выходящий, но ответственность от этого не уменьшается, а возрастает. Ему доверили судьбу судов и людей, и нужно оправдать это доверие. И неожиданно Махотин почувствовал волнующую гордость за этот небывалый отряд, над которым сам он подсмеивался и которому придумывал смешные и обидные названия.

Впереди начало светлеть. Сквозь молочную голубизну тумана брызнул нежно-лимонный свет, от которого зазолотились верхушки волн. И вдруг туман, как волшебная лента, свился, заколыхался и уплыл вверх. За ним открылся низкий унылый берег, орозовленный восходящим солнцем. Длинная песчаная коса тянулась далеко налево. Дальше — белая стрелка маяка. Еще дальше... Махотин вздернул плечи и вскинул бинокль. Окуляры заплясали перед ним, и в их хрустальной воде он ясно увидел то, что так взвинтило его. За косой вставал, словно голый, лишенный веток и зелени, строевой лес. Это были мачты. Их было много, и по размерам они принадлежали крупным судам.

Махотин снова оглянулся на корму. Оба буксира благополучно дымили в струе «Макарова», даже прилично держа строевые интервалы. От сознания, что весь отряд вместе, сразу стало теплее и проще. Махотин повернулся к комиссару.

— Разрешите доложить, товарищ комиссар. Противник на видимости,— сказал он подчеркнуто отчетливо и на «вы», хотя трехмесячная совместная горячка формирования отряда давно сдружила комиссара с командиром и они давно были на «ты».

Комиссар тоже смотрел в бинокль и молчал. Глухо пофыркивала под ногами машина, и легкий ветерок свистел в штагах.

— Много,— сказал комиссар, опуская наконец бинокль.— Кажись, весь белый флот собрался. Может, господин Бичерахов именины празднует и господа офицеры в гости к нему пожаловали.

Молчавший артиллерист рывком надвинул на лоб фуражку.

— Это не боевые суда,— ворчливо буркнул он, вглядываясь,— похоже на транспорты.

— Может, и транспорты, да при транспортах конвой есть? А раз есть, так его на нашу эскадру хватит,— ответил комиссар.— Не нарваться бы. Кораблики беречь надо.

— Что ж, поворачивать назад? — вызывающе и зло спросил Махотин.

Комиссар прищурился и исподлобья поглядел на командира.

— Надо будет — и повернем,— голос его стал резким.— Запарывать отряд нам не приказано. Подойдем ближе. Если увидим что-нибудь такое — дадим назад.

Махотин пожал плечами: чудит комиссар. Все равно, если здесь хоть одна белая канонерка или крейсер — уходить не придется. Белые ходят до двенадцати узлов, а его знаменитый отряд едва натянет шесть. В это мгновение он снова озлился на свои корабли. Действительно, не флот, а «утраченная иллюзия».

Он взглянул с мостика вниз. Команда жалась к бортам, разглядывая скопище мачт за косой. Это был непорядок. Махотин перегнулся через обвес.

— Уважаемые товарищи,— произнес он ехидно-вежливым голосом,— разрешите узнать, что у нас — военный кораблик или прогулочная яхточка для дамочек? Не потрудитесь ли вы сойти с палубки в низочки.

— Правильно, Вася,— отозвался комиссар.— А ну, товарищи, марш по низам!

Команда нырнула в люки. Коса и мачты за ней надвигались на корабль.

Махотин с надеждой взглянул на комиссара.

— Стрельнем? — спросил он, чувствуя во рту сухой и еле ворочающийся язык.

— Пожалуй, можно стрельнуть,— спокойно ответил комиссар.

— Сигнальщики! — крикнул Махотин.— Флоту открыть огонь по залпу головного.

В голосе его была сила и уверенность. В эту минуту он опять поверил в свою эскадру. Горн пропел боевую тревогу.

— Боевой до места! Артиллерист! Открыть огонь!

— На дальномере! Дистанцию до противника!

Артиллерист скомандовал отчетливо и просто, как требовалось правилами службы. Но дальномера на «Макарове» не было. Его не успели еще поставить, из центра прислали неисправные и рассогласованные дальномеры. И на «Макарове» был только дальномерщик Войтенко, некогда прославленный дальномерщик с погибшей «Императрицы Марии». Он заменял собой сложный и дорогой оптический прибор. За точность глазомера его прозвали «дистанционная трубка». Войтенко приложил руку к круглым, как у птицы, золотисто-карим глазам, прищурился и через секунду ответил, как полагалось:

— Двадцать три!

Сигнальщики отсемафорили по линии цифру. Орудийные стволы поползли и снова замерли. Артиллерист облизнул губы и твердо оторвал:

— Залп!

Два бледных языка пламени рванулись с «Макарова». Мостик обдало громом, желтым дымом и мелкой пылью гари. И сейчас же ударили оба орудия с буксиров. В поле прижатого к глазам бинокля перед Махотиным встали за низкой полосой косы серебристые столбы всплесков.

— Недолет... вправо,— механическим голосом отметил Войтенко.

Артиллерист дал новую установку. Грохнул второй залп, дружный и звонкий.

За косой, среди мачт, вспыхнуло темно-красное пламя, заволокшееся дымом.

— Накрытие! — оживившись, пропел Войтенко, и сейчас же сигнальщики отсемафорили команду артиллериста: «беглый по готовности». Залпы посыпались безостановочно. Красные огоньки все чаще вспыхивали между мачтами.

Но дыму над мачтами стало слишком много для разрывов.

— Задымили,— вполголоса сказал артиллерист, нагибаясь к Махотину,— снимаются с яшек и выходят... Эх, и раскатают нас! — закончил он, как будто с завистью.

Корабли противника, действительно, дымили вовсю. Но ответных залпов не было. Это казалось странным и угрожающим. Было похоже, что за этим молчанием кроется ловушка.

— Флаги подымают,— сказал комиссар.

Махотин взметнул бинокль. На мачты всползали флаги. Сейчас ветер должен развернуть их, и Махотин увидит косые синие кресты андреевского флага. Ветер, действительно, развернул флаги, но никаких синих крестов на них не было. В лимонно-розовом небе полоскались белые полотнища. Это становилось непонятным. Махотин с недоумением смотрел на плещущие в воздухе куски материи. Внезапно он почувствовал, как сзади его стиснули за локоть. Еще недоумевая, он обернулся и увидел блестящие весельем глаза комиссара.

— Гляди... гляди,— крикнул комиссар сквозь гром очередного залпа,— на крайнем справа... Вот заело — подштанники заместо флага подняли.

Махотин машинально повел биноклем в указанном направлении. Там, на стеньге, двухвостым вымпелом трепались матросские подштанники. Он опустил бинокль и остолбенело смотрел на комиссара.

— Чудак! Что выпучился? Сдаются... понимаешь! Заслабило! — закричал комиссар, встряхивая Махотина за плечо.

— Прекратить огонь!

Грязная, текущая шлюпка подвалила к игрушечному трапу «Макарова». Из нее, отдуваясь и пыхтя, вылез на палубу жирный, с громадным малиновым носом армянин, в форме капитана торгового плаванья. Он оглядел всех слезящимися и насмерть перепуганными маслеными глазами, очевидно ища старшего. Глаза остановились на деревянной кобуре комиссарского маузера.

Капитан снял фуражку и смешно поклонился, дрыгнув пузом под засаленным кителем.

— Мы сдаемся, ваше прэвосходительство,— сказал он неожиданно тонким и дрожащим голосом.

Комиссар усмехнулся:

— Превосходительства вышли, браток... А о сдаче договорись с командующим отрядом.— И движением руки он указал на Махотина.

Армянин неуверенно шагнул к Махотину.

— Ми, гаспадин командыр, нэ бэлыи... Ми люди коммэрческыи... Ми транспорты.

— Потрудитесь пройти в кают-компанию,— холодно и сухо сказал Махотин.

В кают-компании, после стопки спирта, капитан оживился.

— Ми чэловэк нэ военный... Нас послали — сам панымаишь, что сдэлаишь? Говорят, иды в Старо-Тэречную, забырай продовольствий и скот... Ну, мы пашол.

— А почему же вы вышли без конвоя? — с недоумением спросил Махотин.

— Зачим канвой? — удивился армянин.— Скажы пажалуста? Я прасыл адмырал — дай ваенный параход. А он мне гаварыт — не надо параход. Бальшевик в Астрахань сидыт, ему не на чем нос показать... Вот тебе и не на чем... Ай-ай! Сегодня грузыть надо было...

— Отлично,— сказал Махотин, едва сдерживая рвущийся наружу счастливый смех,— выводите ваши лоханки с рейда и следуйте за мной в Астрахань. Выходить поодиночке. При первой попытке сопротивления я смету вас артиллерией.

— Зачэм артыллерия? — сказал капитан,— бэз артыллерии пайдом, куда хочэшь.

— Ну и сделали дельце,— мечтательно проронил комиссар, облокачиваясь на поручни мостика и смачно обсасывая хвост воблы.— Погляди, пожалуйста.

В кильватер «Макарову» шли тринадцать судов захваченного каравана белых, усиленно дымя и стараясь держать строй. Среди них было два больших парохода, тысячи в три и больше тонн. Это была головокружительная добыча, и Махотин прямо не чувствовал мостика под ногами.

На двенадцатифутовом рейде отряд, расцвеченный флагами, и пленники отдали якоря. Перед тем как отправиться с докладом Реввоенсовету, Махотин вместе с комиссаром решил объехать захваченные пароходы. На них уже ввели караулы из военморов. На четвертом пароходе,

как раз в ту минуту, когда Махотин и комиссар поднялись на палубу, караульный военмор отрапортовал, что в кочегарке, за грудой угля, обнаружена женщина с двумя детьми.

— Какая женщина? — спросил комиссар.

— Непонятно какая... Вымазалась, как черт, а так как будто дамочка по форме и в теле.

— Веди! — коротко приказал комиссар.

Спустя минуту на палубе появилась дородная женщина. Лицо ее, измазанное углем, было в грязных подтеках от слез. Глаза блуждали. За платье женщины держались двое всхлипывающих ребятишек, лет пяти-шести. На голове у женщины боком сидела пышная шляпа с измятыми и тоже запорошенными углем цветами.

— Вы кто, значит, будете, дамочка? — осторожно спросил комиссар, разглядывая эту непонятную фигуру. Дама вдруг подогнула ноги и рухнула на колени.

— Господа... товарищи,— сказала она трагическим голосом,— расстреляйте меня, но пощадите моих детей.

— Да кто вы?— вторично спросил комиссар, с испугом отшатываясь от рук женщины.

— Я... я жена генерала Бичерахова... Умоляю, пощадите детей.

Махотин и комиссар переглянулись. Комиссар вполголоса сказал:

— Когда везет, так везет,— и глазами показал Махотину на женщину, уткнувшуюся лицом в доски палубы.

— Мадам, встаньте,— окликнул женщину Махотин, и, так как она оставалась неподвижной, он приподнял ее под локоть. Она поползла за его движением безвольно, как набитый отрубями мешок. Махотин усмехнулся.

— Мадам, мы не стреляем ни женщин, ни детей. Это не в наших правилах. Вы можете быть спокойны.

Он замолчал, не зная, что еще сказать перепуганной генеральше, и вдруг, взглянув еще раз на ее замурзанное лицо, засмеялся.

— Дайте мадам горячей воды и мыла, умойте ее и детей и отвезите на «Макарова»,— приказал он караульному и повернулся к трапу.

Катер, разрезая мутную волжскую воду, шел к городу. Махотин и комиссар сидели молча и курили. Внезапно комиссар поднял голову и посмотрел в лицо командира.

— Ты что такой грустный, командир? — спросил он заботливо.— Такую победу, можно сказать, учинили, а ты как будто папашу схоронил?

Махотин бросил окурок козьей ножки в шипящую за бортом пену и не сразу ответил. Глаза его были мечтательно устремлены вдаль.

— Разве это победа? — выговорил он наконец, усмехаясь.— Рано мы, комиссар, их взяли. Ты слыхал — они только сегодня должны были продовольствие грузить. Вот бы нам завтра утром их и захватить в полном грузу.

Он опять помолчал, сладко щуря глаза, как бы всматриваясь во что-то очень приятное взору, и закончил тихо:

— Понимаешь, комиссар, вобла хорошая вещь, а булка с салом — куда лучше, особенно когда сало поджарено и хрустит. Вот, если б мы взяли их с салом, тогда это была бы настоящая победа. А так — это обыкновенная операция.

И Махотин сплюнул в воду с таким видом, как будто он много лет командовал большим флотом и насчитывал в своем послужном списке десятки громких побед.

<1938>

СЧАСТЬЕ ЛЕШИ ШИРИКОВА

Другу Сереже Колбасьеву

Наш общий друг, военный моряк Леша Шириков, мог бы служить живым доказательством справедливости поговорки: «Не родись красивым, а родись счастливым». Действительно, красавцем Леша никогда не был. Допустим, что нежный девичий румянец может украшать молодого человека двадцати трех лет от роду. Согласимся даже, что глаза добродушной синенькой расцветки, вроде скромно выглядывающих из ржи васильков, тоже могут способствовать жизненному успеху. Но как прикажете отнестись к нелепой бесформенной шишечке, которая гнездится на месте носа, причем кожа на ней постоянно лупится, как на настоящей картофелине, а веснушки исполняют должность картофельных глазков? Как воспринять волосы пегой раскраски, какие бывают только на лошадиных хвостах? Откуда человеку с такой наружностью может привалить счастье?

И все-таки Леша Шириков был счастливчиком. Ему везло от рождения, и везло во всем, за что бы он ни брался. В отдаленные дни детства, когда Леша был подпаском в деревне, скот никогда не разбегался от него и коровы ходили за ним, как собачки. Лешины бумажные змеи из камышинок и старых газет летали выше и лучше, чем роскошные английские змеи помещичьего отпрыска. Сколько ни проказил Леша в школе, влетало за эти проказы от близорукой учительницы всегда другим мальчишкам. Мачеха, злая и тяжелая на руку, от которой Леше вначале часто перепадало, не притронулась к нему пальцем

после того, как, возымев намерение влепить Леше затрещину, промахнулась, попала по гвоздю, торчащему из стенки сенцев, и окровенила всю руку. Еще смешнее был случай с кузнецом, которому с двенадцати лет сдали Лешу в науку. Обнаружив однажды, что ученик неправильно приклепал ручку к поповскому тазу для варенья, кузнец рассвирепел. Хотел оборвать Леше уши, запнулся о железную полосу и упал, ударившись головой о бадью с дегтем и опрокинув ее на себя.

Уже в Петербурге, куда Леша попал на шестнадцатом году, его забрали на улице Выборгской стороны во время рабочей демонстрации в первые дни войны. По приказанию околоточного городовой повел Лешу в участок, но по дороге зазевался, и арестованный махнул через забор. Когда городовой попытался последовать за беглецом, то оборвался, повис поясом на костыле, вбитом в забор, и висел, забросанный комьями грязи, пока его не сняли подошедшие солдаты.

Можно было бы рассказать о знаменитом во флоте случае во время заграничного похода, когда Леша, уже командуя миноносцем, блестяще прошелся в танго с итальянской принцессой и что из этого последовало. Но этот случай относится к недавнему прошлому, а рассказ наш ведется о Лешиной молодости, когда он впервые принял звание военного моряка.

Словом, везение, свойственное Леше во всех делах, было непостижимо. Если бы в эти годы Леша услыхал легенду о Поликрате и его перстне, он, может быть, и задумался бы над своим счастьем. Но о Поликрате он не знал, ни над чем особенно не задумывался и жил безоблачно, как полагается счастливому молодому человеку.

В конце шестнадцатого года в армию брали двадцатилетних. Леше и тут повезло. По всем обстоятельствам он должен был попасть в серую пехоту и кормить своим молодым телом вшей в окопах. Но в воинском присутствии полковнику с деревянной ногой понравился Лешин нос картошечкой и смышленые глаза. Полковник, прищурясь, разглядывал голого Лешу, как коня на ярмарке, откашлялся и лениво буркнул:

— Направить в автомобильную роту!

Так полковничий каприз вызволил Лешу от фронта. Пока в роте его обучили водить машину — слетел с трона царь. С марта по октябрь Леша развозил по Петрограду разных ораторов и штабных пижонов. После октября

демобилизовался и поехал в деревню навестить отца. В деревне лихо погулял, как подобало столичному гостю, приволокнулся за чужой милкой, и парни, бывшие Лешины приятели детства, накрыли его ночью на выгоне. Из этого боя Леша вышел тоже удачно, потеряв только один резец в нижней челюсти. Жизнь в деревне Леше не понравилась. Было серо и тоскливо. Потянуло назад, в город. Леша вернулся в Петроград и весь восемнадцатый год отшоферил у председателя финансовой комиссии совдепа.

За это время вставил себе зуб. Новым зубом очень гордился. Зуб был из чистой платины, самый дорогой и красивый. За зуб Леша заплатил дантисту четыреста рублей керенками и полпуда гречневой крупы.

Зуб был просто великолепен. Он блестел матовым голубоватым отливом и был похож на молодую луну. В сумраке этот блеск казался таинственным, волшебным, и первое время Леша подолгу простаивал перед зеркалом, любуясь металлическим мерцанием, но вскоре привык и перестал обращать внимание. Однако приобрел привычку ощериваться, ухарски зажав папиросу. Это производило неотразимое впечатление на девушек на вечеринках. Кавалера с платиновым зубом уважали. С таким можно крутить любовь,— видно, что не скупой, широкий человек. В эту зиму у Леши был большой успех, даже слишком. Он похудел и пожелтел. Петроград наскучил. Захотелось попробовать иной жизни. Леша пошел в военный комиссариат. Там его приняли любезно и уже на третьи сутки предложили сопровождать старый «бенц», отправляемый на фронт.

Ехал он с удобствами. «Бенц» стоял на платформе, а на мягких его подушках, развалясь, блаженствовал Леша. Он видел умирающую мокрую зиму под Петроградом, нежную, пахнущую березовыми почками весну возле Курска и настоящий летний зной в Мелитополе.

Будучи дельным парнем, Леша сообразил взять в машину ящик старых гвоздей и мешок соли. На остановках он имел вдоволь пирогов, масла и кур в обмен на этот ходкий товар и после двухнедельного пути вылез в Бердянске из своего «бенца», распухший от дорожного безделья и усиленного питания. Распустив пояс ватных штанов, он направился к коменданту города.

«Бенц» шел по накладной с назначением в штаб боевого участка. Услыхав о «бенце», комендант города долго

жал Лешину руку, как будто встретил лучшего друга юности, и восторженно сказал:

— Вот это дело! Сейчас пошлю комендантский взвод на выгрузку. Останешься при мне шофером.

— А как же штаб? — осторожно осведомился Леша.

Комендант сразу насупился, и от него повеяло холодом.

— Вот что, парень,— вымолвил он, цедя слова сквозь сжатые губы,— у меня, понимаешь, такой обычай, вроде как у генерала Суворова. Тут я один вопросы задаю, а все только отвечают. Запомни себе! — и как бы невзначай пощелкал указательным пальцем по кобуре нагана.

Леша понял. В конце концов, ему было безразлично, при ком он останется вместе с «бенцем». Не спрашивать так не спрашивать. Оно и спокойней, когда живешь без вопросов.

«Бенц» выгрузили, и Леша привел его к комендантскому управлению на страшной смеси из бензола и сивушного спирта. От нее мотор гремел, как скорострельная зенитка Виккерса, и душил прохожих плотным дымом и вонью. Заслышав грохот машины, комендант города выбежал на тротуар. Глаза его умаслились от счастья. Он трижды обошел вокруг автомобиля и нежно погладил обшарпанное переднее крыло, как гладят любимую. Повернулся к Леше:

— Спасибо, друг! Зайди в канцелярию, скажи, что я приказал выписать тебе наряд на синее галифе. Что ж тебе в ватных преть!

Это было верхом комендантской признательности. Синее галифе было такой ценностью, что выдача его обозначала вершину душевного волнения и благоволения. Леша козырнул и пошел в канцелярию за нарядом.

Комендант, светлея лицом, проехал в новой машине пятнадцать раз по главной улице Бердянска взад и вперед. Но вечером его начала тревожить беспокойная совесть. Он сознавал, что автомобиль захвачен им с налету и нужно хоть как-нибудь компенсировать штаб боевого участка за утрату. И утром на опустелую платформу был погружен некогда любимый комендантский боевой конь с новеньким японским седлом. Сопровождающему была дана бумага, адресованная в штаб. В ней комендант доводил до сведения штаба, что «ввиду перехода вверенного мне управления на механический транспорт направляется в ваше распоряжение для сдачи в действующую часть

строевой конь «Жоффр» с присовокуплением кавалерийского седла иностранного образца».

Совесть коменданта уснула, равновесие было установлено. Леша начал обслуживать коменданта. Он был единственным шофером в Бердянске, и ему кланялись самые почтенные граждане. Даже соборный протопоп, встречая несущийся «бенц», кивал бородой.

Но при всем этом внешнем благополучии везение, неразлучный спутник Леши с первых дней жизни, вдруг покинуло его в Бердянске. Покинуло внезапно и коварно.

Началось с того, что в комендантском общежитии, где поместился Леша, его бесстыдно и безжалостно обокрали в первую же ночь. Из сундучка было вытащено все, что представляло хоть малейшую ценность, а с запястья срезали часы, купленные на Обводной барахолке.

Леша загрустил. Развозя на следующий день коменданта по служебным надобностям и горестно размышляя о человеческой подлости, Леша заполучил свою первую аварию, опрокинув водопроводную колонку на перекрестке. У автомобиля лопнула тяга левого колеса, из свороченной колонки упругим фонтаном рванулась вода, смыв коменданта с сиденья. Комендант озверел, и Леша получил пятнадцать суток ареста с исполнением служебных обязанностей.

Но это были мелкие невзгоды. Они не стоили внимания в сравнении с сердечной катастрофой, постигшей Лешу на его бердянском поприще. Отсидев положенный срок, разозленный Леша, плюнув на общежитие, уехал на частную квартиру к вокзальному сторожу. Квартиру эту сосватал ему делопроизводитель комендатуры, которого Леша обещал подучить искусству вождения машины. Первый шаг, сделанный Лешей в домике сторожа у вокзала, выбил его из колеи, потому что при этом шаге Леша наткнулся на восемнадцатилетнюю хозяйскую дочь Иришу. У нее были глубокие, затуманенные глаза, в которых хотелось утонуть, и веселый маленький рот.

Леша проводил ее взглядом, пока она переходила дворик легким шажком, стиснул в кулаке кожаную фуражку и шумно задышал.

Но коса нашла на камень.

Ириша решительно не хотела замечать великолепного комендантского шофера, которому кланялся сам про-

ломон. На Лешины разговорчики, на зубоскальство она лишь небрежно вздергивала круглое крепкое плечико.

Однажды Леша принес Ирише громадный букет пионов, нарезанных в комендантском саду. Он нашел Иришу в деревянном сарайчике, где она доила корову, и вручил девушке букет, наговорив при этом много жарких и путаных слов. Ириша букет взяла, даже сказала «спасибо», но тотчас же протянула цветы корове.

— Погляди, Милочка, какой у нас квартирант добренький. Цветочков принес.

Корова равнодушно вытянула мягкую черную, поросшую волосом губу и с хрустом сжевала свежие, обрызганные росой лепестки. Оскорбление пронзило Лешу, и, побледнев, он выбежал из сарайчика. Полный ярости и мести, он прошел к себе в комнату, достал из сундучка не тронутую ворами коробку довоенного гуталина и долго бешено начищал сапоги, пока в голенищах не стало отражаться лицо со всеми подробностями, даже с шелухой на носике.

В сияющих сапогах он вышел на улицу, гоголем прошел мимо Ириши, мазавшей известью яблоневые стволы в садике, не удостоив ее взглядом, и отправился на бульвар, где по вечерам играла духовая музыка. На бульваре он встретил машинистку комендантского управления, даму томную и страстную, с пышным бюстом и обильными бедрами и перетянутой осиной талией. Муж ее, владелец лесопилки, удрал с белыми. Дама осталась и пошла служить к большевикам. Носила она всегда несказуемой яркости шелковые кофточки, такие узкие в проймах, что ей приходилось держать руки на отлете, как будто она все время собиралась кого-то обнять.

Леша смело подошел к машинистке, шаркнув начищенными сапогами. Дама встретила его благосклонно. Комендантский шофер мог считаться человеком «из общества», и, помимо того, дама не могла долго жить в одиночестве. Леша прогулял с ней до полночи по пыльной аллее. Начищенные его сапоги потускнели.

Провожая машинистку домой, Леша набрался смелости и пригласил ее к себе на следующий вечер, приврав, что он именинник. Дама, пожеманясь немного, приняла приглашение.

Никаких чувств к машинистке Леша не питал. Он вообще не любил таких больших, как лошади, жарких и неуютных женщин. Пригласил он ее из тонко обдуман-

ного расчета: насолить Ирише и показать этой девчонке, что им, Лешей, могут интересоваться даже дамы высшего полета и что он не позволит над собой издеваться.

Ириша сидела на скамеечке, когда Леша на закате солнца торжественно проследовал домой, имея под одним локтем даму в бордовой кофточке, а под другим бутылку разливного рислинга, добытую им из-под полы на базаре. Он победоносно посмотрел на Иришу, но она даже не подняла головы от книжки. Ее равнодушие сразу лишило всякой прелести дьявольский план Лешиной мести.

Леша мрачно подливал машинистке рислинг, сидя рядом с ней на продавленной кушетке. Гостья пила охотно, и глаза у нее быстро мутнели, как у засыпающей трески. Она много и бестолково говорила, потом начала петь. Голос у нее был низкий, похожий на паровозный гудок. И пела она какие-то странные песни, которых Леша не понимал: «Мой тигренок», «Ключик» и другие.

После каждого номера она брала Лешину ладонь и прикладывала ее к своей бордовой кофточке, показывая, как у нее тревожится сердце. Леша послушно и печально чувствовал под ладошкой пухлый бюст гостьи и тосковал. Из мести ничего не вышло, а дама была чужда и почти противна. Выпив весь рислинг, она стала прощаться, уверяя, что не может так долго оставаться наедине с холостым мужчиной. Мутный взор ее говорил обратное, но Леша охотно сделал вид, что верит в непоколебимую порядочность дамы, и отвел ее домой. Ему стало невыносимо скучно. Захотелось увидеть Иришу сейчас же, услышать ее капризный голосок. Он бежал по темным улицам, но Ириша уже ушла к себе. Леша выбросил в окно пустую бутылку и угрюмо лег спать.

Утром, когда он выходил, направляясь в комендатуру, Ириша стояла у калитки, залитая розовым светом восхода, розовая и чистая, как солнце. На ее маленьких губах дрожала опасная улыбочка, которой Леша боялся. Она предвещала недоброе. Леша сжался и, козырнув, хотел молча проскочить на улицу. Но Ириша спросила едким, врастяжку, тоном:

— Как выспались, Алексей Васильич? Кстати, батька велел спросить, чи вы не купите наш старый самовар?

Леша ошеломленно заморгал светлыми ресницами.

— Чего? — спросил он недоуменно.— Откуда ваш папаша взял, что я самоварами интересуюсь?

— А что ж! Разве ж он безглазый чи дурной? Он же видел, как вы вчера до себя с самоваром под ручку прошли, аж пар шел.

И Ириша отвела локти на отлет, издевательски передразнив повадку машинистки.

Леша рванул на нос фуражку, сплюнул и торопливо пошел по улице, спасаясь от летящего вслед звонкого хохота.

В этот день, закончив разъезды с комендантом, он не пошел домой. Его страшила возможность снова наткнуться на Иришу и получить новое оскорбление. Поставив «бенц» в гараж и отмыв руки от тавота, Леша побрел в порт. Ему захотелось побродить у моря, поглазеть на теплую синюю даль, успокоить сердце беспредельной широтой, простором, зеленым шелестом волны.

Он вошел в ворота порта и вышел на пирс. Порт был пуст. Гражданская война вымела его начисто. В ковше гавани не было ни одного парохода. Уныло тянулись ободранные стены опустошенных пакгаузов. У самого берега лежала на боку облезлая, рассохшаяся шхуна со сбитым такелажем. По краю мола сидели, поджав ноги, как буддийские божки, мальчишки и старики с удочками. Рыбная ловля в Бердянске была в тот год не развлечением любителей, а профессией...

Леша присел на тумбу и бездумно смотрел на знакомый пейзаж. За черными бревнами мола мягкой шелковой голубизной, пронизанной золотыми блестками, трепетало и дышало море. Оттуда веяло свежестью, солью, йодом, неуловимым колдовским ароматом морского простора, и Леша медленно, глубокими вздохами втягивал в легкие животворный запах. Вдруг он услышал совсем близко несколько резких хлопков запущенного мотора, перешедших немедленно в ровный необычайной мощи гул. Гул шел из-под стенки брекватера. Над ней закурился сероватый дымок отработанного бензина.

Леша приподнялся, заинтересованный могучим гулом. Явно, поблизости работал мотор, но мотор неимоверной силы. Откуда он мог появиться? Необыкновенную силу мотора Леша определил по звуку и по тому, что даже почва набережной мелко вибрировала от этого вихревого гула. Леша быстро обогнул груду изломанных упаковочных ящиков и, выйдя к краю, увидал на воде незнакомые суда, ошвартованные у высокой стенки. Они были очень длинные, очень узкие, темно-серой мышиной окраски. На

каждой спереди торчал тонкий ствол пушки, укутанный брезентом, сзади щерилось тупое рыльце пулемета.

На чисто промытых маленьких палубах, просеченных черными линеечками пазов, возились моряки в тельняшках, а кто и просто голый до пояса. Слабый бриз едва шевелил стрижиные хвосты шелковых лент на бескозырках.

По должности комендантского шофера Леша знал разные военные новости. Ему было известно, что с севера пригнали по железной дороге несколько истребителей для формируемой Азовской флотилии. Но увидеть истребители ему пришлось впервые. Истребители ему понравились. Было в этих суденышках, невзирая на их невеликость, что-то внушительное и боевое. А ревущий на одном из них мотор был мотором, достойным уважения и любопытства кучки ротозеев, столпившихся на стенке.

Мотор замолк так же внезапно, как взревел. Из выхлопной трубы вылетели три последних кольца дыма и, красиво тая, поплыли над водой. Неожиданная тишина зазвенела в ушах. Сидевший на стенке, свеся ноги к воде, военный моряк в расстегнутом кителе, в сбитой к затылку фуражке с белым верхом, с сверкающей золотом эмблемой на околыше, весело крикнул на истребитель:

— Ходит машинка, Сердюк?

Плотный, крутоплечий моряк немолодых лет, блеснув серебряной серьгой в волосатом ухе, отозвался с палубы, вытирая промасленные руки о штаны:

— А ходит, товарищ начальник дивизиона.

Леше понравились не только истребители, но и люди на них. Были они неторопливые, спокойные, с уверенными движениями. Работа шла у них споро, без сумятицы и крика, в полной тишине. Чувствовалось, что люди знают не только свое дело, но и друг друга. Леша подвинулся поближе к моряку с золотой эмблемой и вежливо спросил:

— Это истребители, товарищ командир?

Командир вскинул подбородок кверху. В серых озорных глазах его мелькнули веселые искры, когда они остановились на Лешином лице и обшелушенном носике. Командир вздернул плечами.

— Что вы, молодой! Это же суповые миски...

Голос у командира был озорной, как и глаза, но в шутке не было ничего обидного. Леша понял, что командиру просто весело от солнца, от молодости, от удовольствия видеть свои корабли в хорошем состоянии. И, заражаясь весельем моряка, Леша спросил, подмигнув:

— Супу дадите спробовать?

— Своих не кормим, для чужих варено,— с невозмутимой серьезностью ответил моряк.

— Значит, беляков кормить будете?

— Будем,— командир кошачьим движением встал на ноги и с неожиданной злостью буркнул: — Хоть сегодня покормили бы, да вот, черт его подери, мотористов нехватка, а без моториста, молодой, истребитель все равно что чемодан без ручки.

Командир досадливо передвинул фуражку с затылка на нос, шутливо сделал Леше ручкой и ловко спрыгнул на палубу истребителя. Леша постоял еще минут двадцать на стенке, смотря на дружную работу моряков.

Солнце ушло за низкую полосу берега, по воде пролетели сиреневые сумерки, неслышные, как ночная бабочка, и порт сразу залила синяя южная тьма.

Леша направился домой. Подходя к домику, он увидел у калитки зыбкую белую тень. Ириша сидела на своем любимом месте и потрескивала подсолнуховыми семечками на мелких зубках. Увидев Лешу, она подняла голову, и в белках ее влажным мерцанием отразилась большая звезда, плывущая в зените. Леша хотел пройти молча, но Ириша задержала его.

— За самоваром ходили, Алексей Васильич? — спросила она, откровенно улыбаясь.

Это было уже чересчур. Лешино сердце наполнилось горечью и печалью. Он шагнул к Ирише и срывающимся голосом спросил:

— За что вы меня терзаете, Ирина Тихоновна? Чем я вам не пришелся?

Ириша обняла пальцами коленку и сидела, слегка покачиваясь, не отвечая на Лешин вопрос.

— Вы мне даже и отвечать не желаете, Ирина Тихоновна? — Леша осторожно присел на скамеечку, заглядывая в Иришино лицо.

— Звездочка какая колючая, как ежик,— сказала Ириша шепотом, уводя разговор в сторону.

— Нет, Ирина Тихоновна! Про звездочки мне нынче не в пору слушать,— решительно ответил Леша.— Вы мне сперва ответ по моему беспокойству дайте.

Ириша оторвалась от созерцания звезды и, словно впервые, с удивлением оглядела взволнованного Лешу.

— Про что это вы интересуетесь, Алексей Васильич?

— За что вы меня мучаете, Ирина Тихоновна? — повторил Леша и боязливо взял Иришину загорелую руку. Она не отняла ее, и от тепла маленькой жесткой ладони у Леши сладко заныли колени. Вдруг Ириша засмеялась.

— Чего вы смеетесь, Ирина Тихоновна?

— Смешной вы, Алексей Васильич. Форсу у вас много, а я форсистых не люблю.

— Какой же во мне форс? — спросил озадаченный Леша.

— А такой... Даже ходите не как человек, а как дудак.

— Как кто? — переспросил Леша.

— Дудак!.. Птица такая в степи живет. Иначе — дрофа. Подле стогов всегда вышагивает важно-преважно, точь-в-точь как вы. Верно, думаете — раз из столицы приехали, так и люди вам по плечо.

— Ей-богу, никогда такого не думал.— Леша даже привстал от неожиданности.

— Может, сами и не думали, а форс за вас думает. Уж я вижу. Я людей на глаз разбираю,— вздохнув, сказала Ириша, словно ей самой было неприятно такое умение понимать человеческие характеры.

— Не знаю,— обиженно отодвинулся Леша, не выпуская все же Иришиной руки,— от вас первой такое слышу. Между прочим, со многими девушками знакомство водил, и все мной довольны были... даже сердцем привязывались,— добавил он с грустью.

— На вкус и цвет товарищей нет,— отпарировала Ириша, освобождая руку,— пусть их привязываются, это ихнее дело.

— Может, вас наружность моя компрометирует? — вставил Леша словцо, слышанное от одной адъютантской крали в семнадцатом году. Словцо это ему понравилось — ученое и выразительное.

— Вот еще,— усмехнулась Ириша,— я к наружности не вяжусь. Был бы человек настоящий, а там хоть нос картошиной, на это не глядеть,— продолжала она, не замечая, как уязвило Лешу напоминание о его неудачном носе.— Мне главнейше, чтоб большое чувство в человеке имелось. Чтоб сила сказывалась. А мелюзга, сколько ни форси, выше крыши не прыгнет.

Ириша помолчала, снова сложив руки на колене.

— Мне только форменный герой по сердцу бы пришелся,— мечтательно и тихо сказала она, тряхнув куд-

ришкой на лбу,— чтоб храбрый был. Да где такого найдешь, нема его.

— А может, я такой и есть? — с робкой надеждой сказал Леша.

Ириша пристально посмотрела на него, приблизясь вплотную и обдавая теплом дыхания. Маленькие губы ее сложились в презрительную складку.

— Сказали! — крикнула она, резко отстраняясь.— Это вы такой? Вот он, форс-то ваш!

Леша вскочил. Таких обидных слов он еще никогда не слышал в своей везучей жизни.

— Спасибо на добром слове, Ирина Тихоновна,— заговорил он, спеша и захлебываясь словами.— Злой у вас характер! Прямо не женский, а обратный. И откуда вы про геройство знаете, какое оно бывает? Всего-то в жизни видели, что свою хату да корову. Молоко доить — тоже не надо больших чувств иметь. А человека обидеть вам ничего не стоит. Может, я при военном транспорте свою пользу приношу побольше такого, который из винтовки пуляет. А мотор — он тонкая штука. Вас вот год нужно учить, и то не научитесь. А на других критику пускаете. Ну и ждите себе королевича! Прождетесь!

Леша выпаливал обидные слова все злее и взволнованней, наседая на Иришу. Она отстранила его локтем.

— Что вы на меня налезаете, Алексей Васильич? Что вы руками намахиваетесь? Чи я нанятая на ваш вкус разговаривать? Идите себе! И зубом на меня не сверкайте. И зуб у вас поганый, железный. От него по рту ржа может пойти.

Леша отшатнулся. Этого последнего унижения он не мог снести. Платиновый зуб, который стоил четыреста рублей и полпуда гречки! Зуб, который вставляли себе самые важные буржуи и который до сих пор пленял всех девушек... и вдруг железный! Леша стиснул кулаки. Он искал слов для уничтожительного ответа, но их не было, и в голову лезла дребедень. Но удержаться он не мог.

— Ага,— зашипел он,— и зуб мой вам уже не нравится? Да что вы за цаца такая, подумаешь? Да вам такого зуба в жизнь не заиметь. Он больше вашей хаты с коровой и вами стоит. У вас и понятия о нем нет. Закисли вы в захолустье, Ирина Тихоновна.

Леша круто повернулся и вбежал в калитку. Вдогонку ему донесся Иришин полугневный, полуиспуганный оклик:

— Алексей Васильич... чи вы сдурели?

Но он не оглянулся.

Ночью в комнате было душно. Звенели комары и кусались, как собаки. Леша вертелся на кровати и никак не мог уснуть. Мысли его плясали, как соринка в кипятке. Он несколько раз лазил пальцем в рот и трогал свой драгоценный зуб. Прикосновение к металлу странно успокаивало.

На работу он вышел заспанный, злой, грубил коменданту. После рабочего дня снова пошел в порт. Истребители стояли на прежних местах. Командира с озорными глазами не было, но на стенке распоряжался погрузкой ящиков на истребители вчерашний пожилой моряк в тельняшке, с серьгой. Леша присел подле него и с любопытством наблюдал, как опускаются на блоках ящики, как их подхватывают на палубах моряки и прячут в раскрытое брюхо истребителя. Наглядясь, спросил у моряка, как знакомый:

— Ну, а с командой как у вас? Набрали комплект?

Моряк изумленно вытаращился на Алешу.

— Вот те на! — произнес он, сдвинув клочкастые седоватые брови.— Ты что же, отдел формирований на своих двоих?

Леша вежливо улыбнулся.

— Интересуюсь. Давеча ваш же командир мне жаловался, что в мотористах нехватка.

Моряк удивился еще больше. Козья ножка, дымившая у него во рту, вывернулась и повисла, приклеясь к нижней губе. Он смотрел на Лешу с недоверием. Что за странная личность, которой начальник дивизиона жаловался на недобор команды? Вид невзрачный, нос нашлепкой, волосья пегие. А впрочем, черт его знает. Вдруг начальство какое. Знаков различия нет. Может, шантрапа, а может, и нет. Моряк решил ответить с наибольшей осторожностью.

— Мотористов, действительно, недостает, товарищ... А вы... может, знаешь каких ребят, способных до мотора? — спросил он, путаясь в обращении с «вы» на «ты».

Леша мотнул головой. Моряк все больше нравился ему. И истребители тоже. Видать, служба на них хорошая, чистая, кругом вода — не замажешься, не запылишься. И одежда красивая.

— Многих не знаю,— уклончиво ответил он,— а вот насчет себя могу предложить. Я, конечно, по автомобильному двигателю обучался, но ежели с практикой...

Леша не договорил. Громадная татуированная лапа больно вцепилась в его плечо. Леша зажмурился. Ему показалось, что разозленный моряк сейчас спихнет его в воду. Но моряк затряс его и радостно завопил:

— Что же ты, сукин сын, раздави тебя шпилем, сидишь и в молчанку играешь? Виктор Петрович!.. Товарищ начальник дивизиона! — заорал он густым басом, не выпуская плеча Леши и нагибаясь над палубой истребителя.

Из кормового люка вылезла голова без фуражки, в мелких каштановых завитках. Она оказалась головой вчерашнего командира.

— В чем дело, Сердюк? — спросила голова, озираясь.— Противник на горизонте, что ли?

— Никак нет, товарищ начальник дивизиона. Моториста нашел. Сидит, сволочь, помалкивает в тряпочку.

Командирская голова прищурила глаз.

— Кажется, вчера имели честь познакомиться? Припоминаю. Откуда вы, прелестное дитя, и что вы умеете вертеть — мотор или вола за хвост?

— Я, товарищ командир, по шоферскому делу. При коменданте города езжу,— ответил смущенный Леша.

Начальник дивизиона выпрыгнул из люка на палубу и мгновенно, с недостижимой для Леши ловкостью вскарабкался по бревнам на стенку.

— Шофер? — сказал он, упершись руками в бока и тоном ребенка, соблазненного вкусной конфеткой.— Это почти находка! Сердюк, спусти его на палубу без повреждения конечностей и сдай Гордюшенке. И выдать ему робу!

— Идем! — Сердюк взял Лешу за шиворот и подтолкнул к обрезу стенки.

— Разрешите сказать, товарищ командир,— повернулся Леша к начальнику дивизиона, упираясь каблуками в бревно.

— Не разрешаю,— отрезал начальник дивизиона,— дипломатические переговоры исчерпаны, начинается военно-морская служба.

— С комендантом как? — успел все же вымолвить Леша, повисая над палубой на руке Сердюка.— Хватятся меня и в дезертиры зачислят.

— Правильно, молодой,— кивнул начальник дивизиона,— толковое предположение. Сердюк, распорядись сообщить коменданту города, что его шофер реквизирован морским командованием в порядке боевого задания. Все! Спускай!

Сердюк выпустил Лешин ворот, и Леша очутился на палубе истребителя, с трудом устояв на ногах. Сердюк уже стоял рядом и, снова ухватив Лешу, потащил его к квадратному вырезу в палубе.

— Гордюшенко, приймай моториста! — крикнул он, нагибаясь, и подтолкнул Лешу.

Леша заглянул в черное отверстие, откуда несло жаром и смазочным маслом. Узенький трапик из железных прутьев уходил в темноту. Леша вздохнул и, осторожно ощупывая ногами скользкие прутья, стал спускаться.

Комендант города, получив странную бумагу о реквизиции своего шофера, решил не отступать без боя и лично примчался в порт для объяснений. Леша одним глазком наблюдал из машинного люка замечательный спектакль. Комендант города стоял на стенке в парадных бриджах с серебряным позументом и при кавказской шашке, красный, злой, облитый потом, и кричал. Начальник дивизиона сидел на палубе в шезлонге, закинув ногу на ногу, дымил трубкой и был возмутительно спокоен.

— Самочинство! Анархия! — надрывался комендант.— Подавай мне моего шофера!.. Я, как ответственный за город, не могу без надлежащего транспорта. А если какая буза в гарнизоне, что я, на карачках должен ползти или еще как? Какой я комендант, ежели меня уважать не будут? Это контрреволюция!

Командирская трубка выпустила клубок синего дыма.

— Не пугайте рыбу! Рыба не любит крика,— невозмутимо ответил начальник дивизиона.— Вы Библию когда-нибудь читали?

— Сам читай! Что за шутки? — завизжал комендант.— Я с тобой детей не крестил.

— Действительно, не припомню такой кумы. А в Библии про вас написано: «Око за око и зуб за зуб».

— Хватит фильку валять! Какое тебе око?

— Автомобильчик-то вы взяли, уважаемый,— щурясь, цедил начальник дивизиона,— шофер ваш мне все рассказал. Автомобильчик на боевой участок шел, а вы его

прикарманили и на клячу обменяли? Присвоение казенного имущества в боевой обстановке?

— Это мое дело!

— Конечно, не мое... В трибунале оно будет лежать в папке с надписью «дело коменданта города Бердянска по обвинению» и так далее. Это уж как пить дать!

Комендант затрясся и затоптался на месте.

— Посмотрим, кого раньше трибунал под печать возьмет. Где это видано, чтобы личный состав воровать?

— У вас ловкости рук учился. Вы в каком заведении науки проходили?

Комендант почерпел.

— Оскорбление должностного лица?

Притаившийся за горловиной люка Леша слышал, как начальник дивизиона протяжно и лениво зевнул. Потом он сказал скучающим сонным голосом:

— Война объявлена! Сердюк, к орудию! Наводка по цели, которая болтается на стенке. Прицел ясен.

По палубе к носу протопали шаги. Леша, осторожно высунувшийся из люка, увидел, как Сердюк, пряча в усах улыбку, наводил на коменданта носовую пушку. Комендант сразу смолк и начал отступать, стараясь изобразить на лице бесстрашие и независимость. Но, когда Сердюк, оглушительно крякнув, взялся за шнур, комендант повернул и быстро пошел к воротам порта. Леша, заложив пальцы в рот, лихо свистнул вслед бывшему начальнику, бежавшему от незаряженной пушки.

— Противник бежал, не приняв боя! — закричал начальник дивизиона, в восторге дрыгая ногами.— Отставить пушку!

Леша хохотал, сидя на перекладине трапа. Жизнь на истребителе с каждым часом очаровывала его все больше. Здесь была дружная семья, спаянная и лихая. И начальник был подходящий парень. Служба с ним сулила жизнь, полную приключений и высокого интереса. И моторы истребителя, с которыми его знакомил старший моторист Гордющенко, были настоящими боевыми моторами, не то, что жалкий, расхлябанный двигатель старого комендантского «бенца».

За несколько дней Леша вжился в морское дело. Сердюк научил его затягивать форменку поясом, чтобы не было ни одной лишней складочки, и надевать бескозырку в меру набекрень. В Лешиной фигуре появилась подтянутость и ловкость, и самому себе он казался совсем

новым человеком. Он уже не говорил: «веревка», «лестница». Он начал называть вещи настоящими солеными именами.

Он попросил у начальника дивизиона разрешения сходить на квартиру за своим сундучком. Начальник разрешил, но дал ему двух сопровождающих военморов с винтовками, опасаясь, что комендант города может попытаться умыкнуть обратно похищенную драгоценность. Леша шел между двумя товарищами, думая, как он увидит ненавистную ему теперь Иришу и как холодно распростится с ней.

Ириша отворила ему дверь. Увидя Лешу в необычном наряде и двух суровых военморов с ружьями, Ириша отступила и побледнела:

— Что это, Алексей Васильич? За что вас?..— Она не договорила.

Леша горько усмехнулся. Ничего эта глупая, как курица, девчонка не понимала и не могла понять. Она думает, что Лешу Ширикова арестовали и водят под конвоем.

— Ошибаетесь, Ирина Тихоновна,— сказал он сурово,— мы еще повоюем. Довольно мне при тыловых обозах околачиваться. Я теперь военный моряк Красного Рабоче-Крестьянского Флота. Прощайте! — Он взял под мышку сундучок и протянул Ирише руку дощечкой.— Не поминайте лихом! И пущай мой зуб вам больше не досаждает. Желаю вам дружка с подходящим зубом!

Ириша машинально пожала ему руку. Один из моряков, подмигнув, обронил Ирише:

— Не плачьте, барышня! Он вернется до вас после первого геройского боя.

Леша вышел с товарищами на улицу. Ириша подбежала к калитке и смотрела вслед уходящим морякам. В туманных глазах ее было задумчивое недоумение.

В машинном отсеке пылал ослепительный белый свет подвешенной к подволоку лампы. Над головами по палубе глухо гремели шаги и рокотал якорный канат. Истребитель подрагивал на волне, и в подрагивании чувствовались напряжение и тревога. Резко провыла сирена, и, заглушаемый гулом моторов, прокатился бас Сердюка:

— Отдать кормовой!

Звякнул телеграф, и стрелка указателя стала на «малый вперед». Гордюшенко включил сцепление. Высокий

рев моторов стал ниже, истребитель дрогнул и пошел. Леша с блестящими глазами упивался впечатлениями первого морского похода.

— Куда едем? — спросил он у Гордюшенко.

— Едем! — передразнил Гордюшенко.— Вторую неделю флотскую форму посишь, а говорить по-человечьему не научился. Это девки на фаэтонах ездют, а моряки ходют. Понял? А куда идем, туда и придем. Ты это себе на носу зачекань. Про это начальник знает, а нам, машинным духам, одно полагается — верти машинку на столько оборотов, сколько от мостика закажут. Куда идем, до этого нашего интересу быть не должно. Понял?

— Угу,— ответил Леша и хотел все же высказать удивление, почему команда не должна знать, куда идет, но не успел. Телеграф звякнул и снова стал на «полный вперед». И сейчас же случилось непонятное. Палуба вырвалась из-под ног Леши, он сел и гулко хватился головой о заднюю переборку. Ощущение могучего и стремительного движения наполнило все его тело.

— Что это? — растерянно спросил он у Гордюшенко, потирая затылок.

— Привыкай,— равнодушно заметил Гордюшенко,— истребитель, он тебе не биндюг. Когда на полный ход, так держись за воздух, а то улетишь.

Ревели моторы. За тонкой обшивкой рычала и плескалась взмятенная вода, и все летело вперед, пробивая упругость воды и воздуха.

— Можно наверх глазком взглянуть? — спросил Леша.

— Глянь,— снисходительно разрешил Гордюшенко,— только черта ты там углядишь. Ночь да вода.

Леша вскарабкался по трапику и высунулся из люка. Кругом была синяя пустота, пробитая золотыми гвоздиками звезд. В лицо бил необыкновенный ветер. Он был твердый и как будто тер глаза наждаком, вызывая слезы. Матово поблескивали верхушки валов, и двумя ревущими стенами подымалась и опадала за бортом пена. От ее вихря кружилась голова, и Леша спустился вниз.

— Протри моторы! — приказал Гордюшенко, перебрасывая Леше ветошку.

Начальник дивизиона стоял на мостике, наклонясь над слабо освещенной картой, по которой карандаш проложил прямую линию курса. Истребитель шел средним

ходом в густом и липком, как сметана, тумане. Из морской бездны тянуло острым предрассветным холодком. Начальник дивизиона выпрямился.

— Дойдем до точки, Сердюк, и будем ворочать на обратный,— сказал он,— оперативное задание выполнено, продолжать разведку в такой непроглядице нет смысла. А посудинка работает неплохо,— тьфу-тьфу, не сглазить. На полном ходу узлов тридцать выжимали.

— Добре ходим,— прогудел Сердюк и, кашлянув, бросил рулевому: — К повороту!

— Есть к повороту.

По носу промелькнула вешка. Начальник дивизиона засек крестик на линии прокладки и скомандовал:

— Поворот шестнадцать румбов. Курс двести семьдесят три.

— Лево на борт! — грохотнул бас Сердюка.

Мягко зарокотал штурвал, перекладывая руль. Истребитель, резко кренясь, описал короткую дугу и выпрямился. Стрелка картушки уперлась в цифру 273.

— Так держать!

— Есть так держать.

Липкая сметана вокруг истребителя из голубой медленно становилась светло-серой. Начиналось утро. В серой пелене пошли, прослаивая ее, перламутровые отливы, потом вся она порозовела. Вода стала почти черной и прозрачной. С мостика было видно, как от бортов из глубины выплывали серебряные пузыри. Но по-прежнему в десяти метрах от штевня все смыкалось в непроницаемую муть.

— Хорошо, что море пустое,— проворчал начальник дивизиона, раскуривая трубку,— прежде в Азовском в таком тумане большими ходами не разгулялись бы. Давно бы к кому-нибудь в трюм заехали.

— Беспременно,— ответил Сердюк,— до войны тут разные посудины стайками, под ручку гуляли, как барышни на бульваре.

Истребитель резал волну, медленно переваливаясь с борта на борт. Туман из розового переходил в алый. И вдруг в глаза ударил слепящий оранжевый блеск. Истребитель словно выпрыгнул из туманной мглы в яркий солнечный свет, в нежащую синеву, в горячее мерцание солнечных бликов на гребнях.

И в ту же секунду сорвался взволнованный вскрик сигнальщика:

— С правого борта, курсовой восемьдесят, силуэт!

Начальник дивизиона неторопливо вытер стекла бинокля и поднял его к глазам. Расставив ноги и плотно поджав губы, он долго всматривался и, опуская бинокль, лениво протянул:

— Бе-елые! Эсминец типа «Строгий». Полный ход!

Сердюк нажал педаль машинного телеграфа. Истребитель взревел и наполовину выскочил из воды. Начальник дивизиона ухватился за поручни и улыбнулся. Ход эсминцев типа «Строгий», по проектным данным,— тридцать два узла.

Но машины у белых изношены и обслуживаются разной шушерой, вроде гимназистов и кадетов. Следовательно, из тридцати двух нужно вычесть приблизительно десять. Остается двадцать два, а истребитель спокойненько держит тридцать. Белые могут болтаться за кормой, пока им не надоест. Дистанция сейчас семьдесят пять кабельтовых. Значит, минут десять белые могут поразвлекаться учебной стрельбой по быстроходной цели. Пусть! Это забавно и помогает боевому воспитанию команды. Попасть на такой дистанции в идущий полным ходом истребитель мало шансов даже для призового артиллериста. Итак, начинаем!

И, как бы в ответ на жест начальника дивизиона, над миноносцем, густо окутанным дымом из всех труб, мигнула белая вспышка залпа.

Начальник дивизиона считал секунды, ногой отстукивая по палубе. «Десять... тринадцать... шестнадцать... Вот сейчас». На семнадцатой секунде пронзительный визг сверлящих воздух стальных болванок захлебнулся. В двухстах метрах за кормой истребителя из воды, как по мановению фокусника, выросли три стеклянно-зеленых пальмовых ствола с пушистыми белыми кронами. И с шипением рассыпались.

— Для первого залпа неплохо,— усмехнулся начальник дивизиона.— Боевую тревогу! Информировать машинную команду, что ведем бой с миноносцем и требуется держать ход.

Миноносец вторично блеснул залпом. Прислуга орудия и пулемета промчалась к своим местам. Начальник дивизиона засмеялся.

— Пулемет отставить! Орудийный расчет остается на местах, пулеметчикам сойти вниз. Это целесообразней.

Они отстают с каждой минутой,— пояснил он, указывая в сторону миноносца.

Очередной залп подтвердил слова командира. Хотя белые артиллеристы и повысили, вероятно, прицел, учтя первый недолет, залп лег снова недолетом на том же расстоянии. Истребитель явно опережал стрельбу противника.

— Платоническая прогулочка,— протянул начальник дивизиона, потягиваясь.— «Только утро любви хорошо: хороши только первые робкие встречи...»

Иронически скандирующий голос оборвался одновременно с захлебным кашлем левого мотора. Два-три резких стреляющих выхлопа — и мотор затих окончательно. Бешеный ход истребителя сразу упал. Начальник дивизиона переметнулся взглядом с Сердюком и вырвал пробку из переговорной трубки.

— Гордюшенко! В чем дело? А!.. Немедленно запустить... Немедленно! Минутку? Какой черт... Счет на секунды... Вертись!

Он отпрянул от трубки и взглянул на миноносец. Новая вспышка. Металл провизжал над головами и, перенесенный через истребитель, поднял стеклянные столбы, розовые от бокового солнечного света. Перелет... Это уж пахло захватом в вилку.

— Пулеметчики, на места! Носовое по миноносцу противника! Прицел семьдесят один, целик восемнадцать. Залп!

Звонко и резко ударило носовое. Снаряд лег далеким недолетом. Ответный залп миноносца вырыл водяную яму близко за кормой, и ветром обрушило на истребитель водяные брызги. Начальник дивизиона поморщился и снова загремел в трубку:

— Гордюшенко, как поживает твоя матушка? Что ж ты делаешь? Разорвись пополам, а давай ход!

Обернулся к орудию. Расчет стоял с серьезными, каменными лицами.

— Залп!

Носовое грохнуло, и начальник дивизиона досадливо присвистнул. Он понимал, что эта стрельба, в лучшем случае, служит для отвлечения команды от ненужных мыслей. Если сдавший левый мотор не оживет и не позволит выжать необходимую для благополучного ухода истребителя скорость в тридцать узлов, то исход боя опасен и предрешен.

Гордюшенко копался в моторе, бледный, злой. На лице его остро проступали скуловые кости. Прислушиваясь одним ухом к молчащему механизму, другим ловя тревожные звуки с палубы, резкие удары своей пушки и вой неприятельских снарядов, он чертыхался без передышки. Причина внезапного скисания прекрасно выверенного мотора была непонятна. Руки Гордюшенко с бешеной быстротой прыгали с карбюратора на свечи цилиндров, от динамо к клапанам. Ошарашенный Леша едва успевал подавать инструменты и детали, еще более теряясь от окриков старшего. Пальцы у него тряслись, дважды он ронял вывинченную свечу.

Он тупо смотрел, как Гордюшенко извивался на моторе, зарываясь глубоко в его внутренности, и молчал, охваченный непонятным столбняком. Вдруг Гордюшенко выпрямился и с покривленных губ его сползла черная многоэтажная матросская ругань.

— Чего ты? — испугался Леша искаженного лица моториста.

— Так-переэтак!.. Сдохли!..— грубо крикнул Гордюшенко.— Зажигание вышибло. Замыкатель обломался и, наверное, под мотор завалился... Ищи теперь в воде и мазуте до второго пришествия...

Леша нагнулся над мотором и бессмысленно уставился во вскрытую коробку зажигания. Крошечного платинового замыкателя не было на месте, а без него мотор был безнадежной стальной падалью.

— Запасного-то нет? — спросил Леша, едва шевеля губами.

— Иди ты! — мрачно оборвал Гордюшенко и зажал руками голову.

«Помирать»,— подумал Леша, и жаркая волна ударила ему в грудь. Это кровь буйным негодованием ответила на мысль о смерти. Леша вздрогнул, стал на колени, просунул руки под станину мотора, погрузил их в грязную маслянистую трюмную воду и, быстро перебирая пальцами, елозил по скользкому дну истребителя.

— Что роешься, дурак? — закричал Гордюшенко.— Найти хочешь? Все одно что иголку в хлебном амбаре... Приехали — вылезай,— надорванно скривился он.

Глухо рвануло совсем рядом. Истребитель подпрыгнул и застонал от обрушившейся на палубу воды.

— Ну, еще разик — и к рыбам в гости,— спокойно сказал Гордюшенко и зачем-то спустил завернутые

рукава тельняшки, как бы подчеркивая, что все кончено.

В машинном отсеке сразу стало тихо, как в склепе, и если грохот стрельбы никак не пугал Лешу, то эта грозная тишина проползла по его спине холодной змеей. Он скорчился и рванулся к трапу. Но жестокая сила оторвала его от спасительных перекладин, и он увидел над собой бешеные, белые от злобы зрачки Гордюшенко и занесенный над головой кулак.

— Куды? Заслабило?! Драпу даешь? До команды сверху не трожься с места, а то размозжу!

Леше стало невыносимо стыдно своего неожиданного порыва к спасению. Рядом стоял товарищ в таком же безнадежном положении, но этот товарищ не думал о бегстве и встречал смерть, как следует бойцу. Леша жалко и виновато всхлипнул, и Гордюшенко понял. Он выпустил Лешу и мягко сказал:

— Ну и дурной! Куда бежишь? Это тебе не земля...

Истребитель снова рвануло. Леша шатнулся и больно треснулся губами о станину мотора. Инстинктивно он схватился за рот и вдруг процвел блаженной, почти идиотски блаженной улыбкой. Гордюшенко недоуменно смотрел на сияющего Лешу. Ему подумалось, что парень спятил от страха. Но Леша схватил Гордюшенко за руку и, оскаливая челюсти, закричал:

— Вот он!.. Рви!..

Гордюшенко попятился. Он еще не понимал. Тогда Леша ткнул пальцем в свой знаменитый зуб, и глаза Гордюшенко вдруг сыпнули искры.

— Анафема! — закричал он и схватил Лешу за горло. У Леши сразу помутнело в глазах. Он видел еще, как Гордюшенко другой рукой шарил по станине мотора, хватая большие плоскогубцы, измазанные мазутом. Леше показалось, что Гордюшенко сейчас разобьет ему череп плоскогубцами. Уже теряя сознание, в дыму и удушье, Леша слышал еще яростный вопль Гордюшенко:

— Рот раззявляй!

Он бессознательно зевнул, распяливая челюсти, как зевает вытащенная на берег рыба. Что-то кракнуло, и Леша упал в красный туман, в пустоту.

Очнулся он от отчаянной острой боли во рту, которая пронизывала челюсть и сверлила в мозгу. Он лежал на палубе. Над его головой слышались торопливые удары металла о металл. Ничего не соображая, Леша припод-

нялся. Гордюшенко, ворча, расколачивал что-то молотком на станине мотора, потом отбросил молоток и ринулся к коробке зажигания.

Леша пощупал голову. Голова была цела. Он провел по лицу, чтобы стереть холодный пот. Отняв руку, увидел на ней кровь. Сунув палец в рот, он наткнулся на острый, как булавка, обломок зуба.

Гордюшенко распрямился. С его щек падали крупные капли пота. Он включил стартер, и мотор, точно обрадовавшись, взвыл с утроенной силой.

— Есть мотор! — крикнул Гордюшенко в трубку всей грудью и повернулся к Леше, счастливый и светлый. Он вытащил из заднего кармана брюк маленькую алюминиевую фляжку и протянул Леше.

Слабо улыбаясь, прислонясь к переборке, Леша полоскал рот спиртом. Боль немела. Темная тень заслонила люк, и по трапу скатился Сердюк. Голова его была перекручена полотенцем, и сквозь полотно проступало коричневое пятно.

— Вовремя справился,— сказал он Гордюшенко,— уходим, как черти. Миноносец при пиковом интересе. Только раз и зацепил. Мне вот кожу ободрало, да Максимку при пулемете повредило... А тебя, никак, тоже задело? — спросил Сердюк, заметив кровь на подбородке Леши.

— Это я его малость суродовал,— конфузливо вымолвил Гордюшенко,— зуб у него понадобился.

— Зуб? — Сердюк вскинул брови.

— Ну да... для справности мотора. У меня замыкатель в зажигании обломился, а у него зуб, понимаешь, из платины... И как он догадался? Иначе сели бы на дно. Да ты выдь, Лешка, посиди на ветру, продуйся. А то зеленый, как трава.

Опираясь на Сердюка, Леша выкарабкался наверх. Истребитель несся к базе, распарывая воду. Кругом сверкало море. Миноносца не было. Только над горизонтом курилась еще легкая струйка его дыма. От воздуха, от ветра Лешу замутило. Он сел на палубу, прижимаясь спиной к кожуху.

Рядом прозвучали шаги. На плечо Леши легла рука. Он открыл глаза и увидел наклоненное к нему ласковое лицо начальника дивизиона.

— Молодец, товарищ Шириков,— сказал командир,— благодарю за службу! Доложу о вашей находчивости

командующему. Благодаря ей мы выскочили из чертовской неприятности. Спасибо!

Леша пытался встать, но командир прижал его к палубе. Тогда Леша сказал слабым, срывающимся голосом:

— Не стоит благодарности, товарищ начальник дивизиона. Служу трудовому народу! — и устало опустил веки.

Леша шел через базар в новой форменке и брюках первого срока, штанины которых были отглажены до остроты ножа. За три дня, истекшие с памятного боя, он отлежался, отдохнул и чувствовал себя отлично. Зуб уже не болел, и только пустота, ощущаемая языком, была еще непривычна.

Он шел веселый, довольный жизнью и собой, поглядывая по сторонам и поплевывая. И внезапно услыхал за спиной робкий оклик:

— Алексей Васильич!

Леша не спеша обернулся. Военному моряку, получившему боевое крещение, надлежит соблюдать достоинство и не унижать себя торопливостью.

Перед ним стояла Ириша.

Минуту оба молчали. Потом оба начали медленно краснеть и так же медленно побледнели. Туманные глаза Ириши смотрели ласково и жалобно.

— Как здоровье ваше, Алексей Васильич? — спросила Ириша нерешительно.

— Ничего... благодарю вас, Ирина Тихоновна. Здоровье как здоровье,— с достоинством ответил Леша.

Снова молчание, и, опуская ресницы, Ириша тихо промолвила:

— Вы на меня не сердитесь, Алексей Васильич... Я про вас ошибалась по глупости. Думала, вы так себе человек, а вы...

— Ничего, Ирина Тихоновна,— перебил Леша,— с кем не бывает.

— Ах,— почти не сказала, а вздохнула Ириша,— теперь про вас весь город знает... И как вы с белыми сражались, и как через вас истребитель спасли. И вы меня простите за мои надсмешки над вами.

— Ну чего там. Кто старое помянет, тому глаз... (Леша едва не сказал «зуб») вон! Если вам не неприятно со мной находиться, пойдемте на бульваре посидим. Я тоже об вас скучал, Ирина Тихоновна.

Леша взял Иришу под руку. Они прошли в чахлый садик, не по заслугам называемый городским бульваром. Был полдень, самая жара, и на бульваре никого не было. Они выпили в киоске ледяной бузы, которую продавала сонная толстая гречанка. Сели на скамеечке в дальнем углу. Ириша, притихшая и ласковая, попросила Лешу рассказать, как он воевал. Леша сначала отнекивался,— он-де не рассказчик,— но Иришины глаза так просили, что Леша сам увлекся и наговорил с три короба, хотя приврал совсем немного.

Ириша сидела опустив голову. Над верхней губой ее, на темнеющем пушке, мерцали серебристые капельки пота. Леша осторожно обвил тонкую Иришину талию, и Ириша не противилась, только вздохнула. Тогда, осмелев, он приподнял остренький Иришин подбородок. Ириша слегка вздрогнула и попыталась отклониться. Леша засмеялся.

— Может, ты про зуб мой вспомнила, про железный,— сказал он смешливо,— что тебе не нравился? Так ты, Ириш, не сомневайся. Ведь того зуба больше нет, а он свою службу сослужил.

Он оскалил рот, показывая пустоту на месте выломанного зуба. И не успел еще закрыть рот, как Ириша уронила голову на его плечо.

Лешину свадьбу праздновал весь дивизион. Начальник дивизиона и комиссар сидели на почетных местах, в голове стола. Когда поздравили молодых и три раза прокричали «горько» на весь Бердянск, начальник дивизиона поднялся и постучал ножом по тарелке. Все стихли.

— Товарищи,—сказал начальник дивизиона,— мы пожелали молодым счастья и любви, а теперь я скажу Леше Ширикову несколько слов. Во-первых, начну с сюрприза, который мы приготовили Леше к этому дню.

Начальник дивизиона вынул из нагрудного кармана кителя бумагу и прочел приказ командующего флотилией:

— «Согласно рапорта начальника дивизиона истребителей, военного моряка Леткова, за № 17, награждаю младшего моториста флагманского истребителя «Ильич» Алексея Ширикова серебряными часами за проявленные в бою с противником 10-го сего июня находчивость и доблестное поведение».

Начальник дивизиона вынул из другого кармана блеснувшие часы и протянул их Леше.

— Бери!.. Носи с честью и учись быть всегда хорошим бойцом и хорошим моряком! Наша семья — семья дружная! Моряк моряку всегда брат, помни это, Шириков. И пусть твоя личная семья не заслонит от тебя нашего большого революционного долга. Мы еще повоюем вместе. Будь счастлив, Леша!

Командиру захлопали.

— Ну, твоя очередь отвечать, Шириков,— произнес комиссар, лукаво поглядев на Лешу.

Леша встал. Он никогда не говорил никаких речей и стал красен, как только что вымазанное суриком днище корабля.

— Конечно, спасибо вам, товарищ начальник, а также нашему командованию,— сказал Леша, вспотев от натуги,— за награду и за ваше обо мне мнение. Только какая же моя тут доблесть? Если правду сказать, так я здорово испугался сперва, вот Гордюшенко видал, подтвердить может. И как мне зуб в голову вошел, сам не припомню. Так что, если уж говорить, то это зуб мой вроде доблестный оказался, а я почти ни при чем. Заслуга моя маленькая. Пока послужил народу только зубом, но желаю сказать, что ежели придется, то буду рвать врага всеми зубами, которые, между прочим, теперь у меня все на месте и новый даже красивше старого. Правда, Ириш?

И Леша Шириков, весело осклабился, показывая два ряда крепких естественных зубов, среди которых сверкал новенький фарфоровый резец.

— Выпьем, дорогие товарищи,— продолжал Леша, подымая стакан среди общего смеха,— за храбрый наш Красный флот и чтоб всегда он бил врага, где ни встретит! Ура!

Все закричали «ура» и зазвенели стаканами. Потом грянула гармонь в руках у Гордюшенко и гремела до утра. И долго еще говорили в Бердянске, что это была самая веселая и счастливая свадьба за многие годы.

Севастополь
1938

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

Неприятности у командира отделения Васи Соколова начались с самого утра.

Приняв при заступлении на вахту спасательную шлюпку, отведя команду на пост, проверив наличие и пригонку спасательных нагрудников, Вася только что начал поверку знания гребцами своих обязанностей, как рассыльный позвал его к помощнику вахтенного командира.

— А где он? — небрежно спросил Вася, потянувшись.

— На верхней... у левого носового каземата,— протараторил рассыльный на ходу и исчез. Вася подтянул ремень, поправил бескозырку и гоголем сгрохал по трапу со спардека на верхнюю палубу.

Вдоль левого борта стояли в строю стажеры-механики, и старший помощник разговаривал с ними, прохаживаясь вдоль шеренги. Вася бурей промчался между старпомом и строем и уже готовился завернуть за вентилятор, но окрик старпома вернул его назад.

— Скажите, старшина Соколов,— спросил старпом, подымаясь на носки (он был мал ростом и при служебных разговорах старался казаться выше),— кто вас обучал вежливости и правилам поведения на палубе?

Тон у старпома был ехидный и не предвещал доброго, а Вася не мог понять, в чем его проступок, и потому ответил коротко и сухо:

— Я сам, товарищ капитан-лейтенант.

— Прискорбно,— сказал старпом, покачав головой,— скажите самому себе, что у вас был плохой учитель. Вы

видите, что я разговариваю со строем, и влезаете, как клин, между мной и шеренгой. Могли обойти. Чтоб этого больше не было. Можете быть свободны.

Вася исподлобья взглянул на механиков. Их молодые лица цвели недвусмысленным и обидным для Васи смешком. Соколов сделал поворот налево с подчеркнутой отчетливостью классного строевика, строго посмотрел на механиков и с независимым видом отправился дальше.

Выговоров и замечаний он терпеть не мог и расстроился. Но не успел еще успокоиться и забыть происшествие, как последовала новая беда. После выхода с рейда, когда соединение занималось эволюциями, с ходового мостика крейсера мелькнул в воздухе темный комок. Раздался чей-то крик: «Человек за бортом!», и сразу звонко ударил выстрел дежурной зенитки.

Вася, подремывавший на солнышке, облокотясь спиной о кильблоки баркаса, молниеносно вскочил и ринулся в висящую на шлюпбалках спасательную шестерку. За ним вскочили двое гребцов готовить шестерку к спуску. Помощник вахтенного командира, дежурный боцман и подвахтенная смена взбегали на спардек, становясь на тали.

Минуту спустя шлюпка уже была на воде. На золотящейся ряби, за кормой крейсера, плясал буек с флажком, и гребцы, краснея от натуги, закусив губы, наваливались на весла.

Подобрав с воды буек и сброшенную вместо упавшего за борт койку, Вася победоносно подвел шестерку под тали. Когда ее подняли и завалили шлюпбалки, с мостика пришло приказание: командиру спасательной шлюпки явиться к командиру корабля. Вася побежал на мостик с радостным предчувствием. После утреннего конфуза приятно было получить похвалу от командира корабля, а в похвале Вася не сомневался. Маневр прошел отлично — шлюпка со «спасенным» была поднята на борт через шесть с половиной минут после отвала. Пусть кто-нибудь попробует справиться быстрей.

Запыхавшийся Вася, сияя, взбежал на ходовой мостик. Народу тут было немало. Командир корабля, вахтенный командир, штурман, сигнальщики. И все смотрели на Васю Соколова. Вася поднес руку к виску.

Командир корабля вежливо ответил на приветствие и, опустив руку, неожиданно сурово спросил Васю:

— Вам говорили, что нужно делать, когда шлюпка спускается на воду на ходу корабля?

— Да, товарищ капитан второго ранга,— недоуменно ответил Вася.

— Незаметно, чтобы вы это усвоили. Вы — командир шлюпки. Во время спуска куда нужно смотреть? Вперед! По походному концу! А вы куда смотрели? Назад, на буек. А пока вы занимались этим глазеньем, шлюпку могло разнести. За чем вы должны следить в основном? Пока походный конец не отдан, шлюпку нужно держать строго параллельно борту корабля. Если зевнете, ее либо прижмет кормой к корпусу и раскрошит, либо поведет носом от корабля, поставит лагом к волне и опрокинет. Нужно уметь маневр делать четко и с любовью. Раз вы сели старшиной на шлюпку, вы на ней полный хозяин, Стенька Разин. Понятно?

— Понятно,— совсем упавшим голосом прохрипел Вася, избегая смотреть на окружающих.

— Потом, за какую банку у вас был закреплен походный конец?

— За первую, товарищ капитан второго ранга,— сказал Вася.

— Врать не нужно... За вторую, сам видел. Хорошо, вас на малом ходу спустили. А на среднем завертело бы каруселью и со всей командой под киль к чертовой бабушке... Идите и отучитесь от вранья.

Сигнальщики откровенно хмыкали. Удар попал в больное место. Васина привычка фантазировать и подвирать была известна кораблю и не раз подводила Васю под насмешки товарищей и неприятности. Но избавиться от нее Вася никак не мог. Воображение у него было неудержимое и поэтическое.

Получив урок от командира корабля, Вася совсем насупился. После возвращения с похода он мрачно переоделся в чистое платье, собираясь на берег. В семнадцать часов отпускным разрешили посадку в катер. Вася вышел на берег и быстро отделился от веселой гурьбы товарищей. Ему не хотелось гулять со всеми — еще свежо было ощущение двукратного позора.

Он решил зайти в парк, пострелять в тире. Он был отличным стрелком и очень любил показывать свое искусство, особенно перед девушками. Кроме того, ему просто нравилась самая обстановка тира, несколько таинственная. Пышная декорация тропического леса на задней стене и уродливые фигуры-мишени, которые от попадания пуль не умирали, а, наоборот, оживали,— треща, кувыркаясь,

распадаясь,— все это было чрезвычайно привлекательно.

Вася поздоровался с заведующим тиром, как со старым знакомым, и тот протянул ему мелкокалиберную винтовку.

Вася уперся локтями в прилавок, повел стволом и оставил черную точку на белом кружке в центре большой размалеванной жестяной розы на длинном зеленом стебле. При попадании металлические лепестки со звоном раскрывались и из них выглядывала головка блондинки.

Он плавно нажал курок. Роза зазвенела лепестками и блондинка приветливо улыбнулась.

Заведующий тиром ударом по голове загнал блондинку снова внутрь мишени. Вася выстрелил во второй раз, блондинка опять выскочила.

Так повторялось пять раз. Потом Вася перенес огонь на шарик, танцующий в струйке фонтана, и еще пять раз подряд сбил его. Любопытные, зашедшие поглазеть на стрельбу, восхищенно перешептывались.

Вася обернулся. Рядом стояла девушка.

— Хорошо стреляете,— сказала она, и голос ее был мягок и нежен, как песня.

— Служу Советскому Союзу,— растерянно ответил Вася, словно похвала девушки была похвалой командира. Они взглянули друг на друга и засмеялись.

Пять минут спустя они уже гуляли вместе по аллее и болтали, будто были давно знакомы. Он уже выяснил, что его спутницу зовут Лелей и что она направляется в сад металлистов на танцевальную площадку.

— Хотите пойти со мной? — предложила Леля.— Я одна, и мне будет с вами веселей. Я с большим удовольствием погуляла бы здесь, такой чудесный вечер, но мне нужно повидать брата.

Вася немедленно выразил согласие сопровождать свою новую приятельницу хоть на Северный полюс.

В саду металлистов было людно и шумно. Джаз гремел металлом. Кружились пары. Вася пригласил спутницу на один танец, потом на другой. Он обнимал тонкую и упругую талию дамы и, тая, смотрел в синюю глубину ее глаз. Через полчаса он понял, что влюблен навсегда.

В перерыве между танцами они присели в укромном уголке.

Разговор был пустяковый, скользящий поверху, обычный. Всегдашний разговор только что познакомившихся

людей, основным качеством которых является молодость и беззаботность. Но Васе хотелось, чтобы разговор стал значительным, чтобы эта особенная, сказочная девушка, неожиданно воплотившаяся мечта, поняла сразу, что и он, Вася Соколов, не обыкновенный краснофлотец, каких сотни на каждом корабле, а совсем исключительный, интересный, смелый, талантливый.

Вася начал рассказывать разные яркие эпизоды из морской жизни. Сначала он говорил о них вообще, как о случившихся с другими людьми, но постепенно страсть к фантазии и творческий темперамент увлекли его, и героем самых интересных и необыкновенных случаев начал становиться он сам.

Леля слушала с интересом, звонко хохотала в смешных местах и испуганно расширяла зрачки, когда рассказ шел об опасностях и трудностях морского дела, и Вася увлекался все больше и больше.

— Это что,— сказал он небрежно, когда Леля вскрикнула от изумления и волнения, представив себе, как Вася на полном ходу крейсера перепрыгнул с полубака на бочку, чтобы закрепить конец.— В нашем деле всегда нужно быть находчивым. Из всякого положения нужно сразу выйти. Вот, например, какая штука была в прошлом году, когда наша подводная лодка из заграничного похода шла.

— А вы разве подводник? — спросила Леля.— У вас ведь на ленточке написано «Чапаев». А «Чапаев» ведь крейсер, а не подводная лодка.

— Ну да,— сказал Вася, не смутившись,— сейчас я на «Чапаеве», а в прошлом году был на подводной лодке. Меня, понимаете, начальство ценит. Все командиры к себе требуют... Так вот в прошлом году пошли мы в заграничный поход в Стамбул. Ну, знаете, как это в дипломатии говорится, дружественный визит и всякое такое. Пришли в Стамбул, неделю погуляли. На берегу, понимаете, такая красота, не расскажешь. Кипарисы, дворцы, базары, всякие турчанки, очень интересные. Посреди Босфора башня стоит, туда в прежнее время каждую ночь какой-то влюбленный, забыл, как его звали, к своей милой плавал по шести кабельтовых в один конец, ну и однажды, конечно, потонул от усталости и много еще кой-чего. Ну, приходит час домой возвращаться. Уже все на лодке, дизеля грохочут, якорь сейчас подымать, а тут вдруг подходит баржа, и на барже какой-то турецкий деятель, из правитель-

ства, значит, и с ним наш консул. И на барже, глядим, необыкновенный верблюд — белый. И тот консул говорит нашему командиру, что это чрезвычайно редкое зоологическое явление природы.

— Я никогда не слыхала о белых верблюдах,— заметила Леля, удивленно взглянув на Соколова и пожав плечами,— это какая-то сказка... ерунда.

— Сказка? — возмутился Вася.— Какая может быть сказка? И что такое сказка? — спросил он вдруг, придвигаясь к соседке и снова заглядывая в ее синие глаза.— Мало ли что в жизни бывает. Вот вы, например, с виду просто девушка, а для меня сказка.

Васина собеседница покраснела и нахмурилась.

— Продолжайте лучше про верблюда,— сухо сказала она, видимо недовольная Васиным лирическим порывом.

— Да, так, значит, про верблюда,— Вася сделал вид, что не заметил недовольства девушки.— Подлинный белый верблюд и шерсть на нем завитая, как у барашка. Консул объяснял, что такие верблюды раньше при магометанском режиме за святых шли. Ну и выходит, значит, что турецкий народ советскому народу этого верблюда в подарок дает для зоологического сада, в научных видах, и чтоб мы этого верблюда отвезли. Командир наш, конечно, в бутылку. «Я, говорит, такого не могу. Где это видано на военных кораблях верблюдов возить? А на подводной лодке и вовсе не годится». Но только консул ему на ухо тихонько объявляет: «Невозможно вам противиться, потому что это ответственное задание. И у турков такой обычай, что от ихних подарков отказываться нельзя, иначе будет смертельная обида и международные последствия. И вы за такие последствия отвечать будете». Командир задумался, а я тут же на мостике, подле него стою. Он меня и спрашивает: «Ты как на этот счет думаешь, товарищ Соколов, что с ним делать? Еще так-сяк на палубу его можно взгромоздить, но только у меня боевое задание подойти к базе скрытно, под перископом. Отменить задание я не могу, а как с верблюдом под перископом идти? Утопим ведь». Я подумал немного и говорю: «Можно, товарищ старший лейтенант. Шея у этой твари вполне длинная. Пришвартуем его мордой до перископа. И тогда, если погружаться, то будем командовать: «Погружение на глубину верблюда». Морда поверху и останется». Командир даже просветлел. «Толковый, говорит, ты парень, Соколов. Спасибо за службу». Так и сде-

лали. Весь переход благополучно прошли, только в самой базе чуть недоразумения не вышло. Погрузились, значит, на глубину верблюда и идем по фарватеру. А навстречу нам торпедный катер. Как они увидели верблюжью харю над водой, поворот шестнадцать румбов — и в гавань. И докладывают в штаб: небывалое явление, неизвестный морской змей под перископом. Конечно, сразу пробили боевую тревогу, большое волнение пошло. Но тут мы поднялись в крейсерское положение, и все объяснилось.

— Ну и что же дальше было? — спросила Леля, сдерживая смех.

— А ничего особенного. Верблюда в Москву отправили, а я благодарность получил,— скромно заметил Вася, опуская глаза.

— Действительно, замечательный случай,— смеясь, сказала Леля и вдруг поднялась,— вы меня простите, но, кажется, я увидала брата. Я сейчас пройду к нему, а вас попрошу, если вас не затруднит, принести из буфета эскимо. Тут неимоверно жарко.

— В один момент,— уверил Вася и со всех ног кинулся в буфет.

У стойки была большая очередь. Проталкиваясь вперед, не обращая внимания на шипение и протесты ожидающих, Вася добрался до буфетчицы, взял пять палочек эскимо и гордо отправился обратно.

Но, подойдя к тому месту, где он сидел с Лелей, он остановился, и холодная дрожь прошла по его спине. Леля смеялась, положив руку на плечо невысокого капитан-лейтенанта, в котором Вася, к своему ужасу, узнал собственного старпома. И девушка и старпом стояли спинами к Васе и пока не замечали его. Леля, смеясь, говорила моряку, и то, что она говорила, резнуло Васю ножом.

— Понимаешь, Петя, такого враля я в жизни не видала. И он у тебя на «Чапаеве». Сказал, что фамилия его Соколов. Сейчас я тебе его представлю.

Вася начал пятиться обратно, съежившись и бледнея.

Старпом расхохотался в свою очередь.

— Соколов? Ну ясно. Отличный краснофлотец. Толковый, дельный парень. Но брехун, каких мало. Ладно, сейчас я устрою ему погружение на глубину верблюда. Где он?

Старпом повернулся, но Васи уже и след простыл. Только на полу лежали раскатившиеся палочки эскимо, брошенные Васей в поспешном бегстве. А сам Вася,

нахлобучив фуражку на нос, несся по улице, как рысак, боясь оглянуться. Ночь он проспал плохо. А утром, едва вышел на палубу, как был встречен хором нежданных приветствий:

— А, белый верблюд!

— Сделай милость, Вася. Погрузись на свою глубину!

Васина тайна стала известной всему кораблю. Две недели Вася не находил покоя. Даже в стенновке был изображен белый верблюд с Васиным лицом, привязанный к перископу и рассекающий волны.

Вася похудел, загрустил, но врать с этих пор перестал. Как рукой сняло. Об истории с «белым верблюдом» на корабле забыли, и только, когда Вася съезжает на берег и приходит домой, жена, сияя синими глазами, встречает его:

— Верблюдик! Белый верблюдик пришел.

<*1939*>

КОМАНДИРЫ

Командир «Владивостока» капитан 3-го ранга Василий Васильевич Первухин слушал недельный доклад командира БЧ-1 старшего лейтенанта Белоненко.

В каюте плавали волокна табачного дыма. Пробиваясь сквозь них, солнечный луч из иллюминатора положил бледное круглое пятно света на голубую занавеску, закрывающую командирскую койку. Пятно медленно ползло по бархату.

— ...искрил штурвальный мотор в румпельном отделении. Электромеханическая часть, товарищ капитан третьего ранга, виляла и отлынивала. Устранили своими средствами...

Белоненко сунул блокнот в карман и потер ладони.

— Все? — спросил Первухин, постукивая карандашиком по клеенке стола.

— Собственно, все,— нерешительно сказал штурман, разглядывая носки своих ботинок.

— Что значит — «собственно, все»? — Первухин поднял голову и вопросительно поглядел на Белоненко.— Чего вы макарону тянете? Говорите прямо.

Штурман сдвинулся на кончик стула и подался к командиру, кинув косой взгляд на дверь каюты.

— Если разрешите, товарищ капитан третьего ранга, вне пределов доклада, в конфиденциальном порядке. В сущности, я уже давно собирался вам доложить, но как-то не приходилось к слову. Я по поводу командира

группы, лейтенанта Чернова. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на этого командира. Он у нас с мая, следовательно четыре месяца. За это время я имел достаточно случаев ознакомиться с его служебными данными и в данный момент не могу сказать о нем ничего положительного, кроме отрицательного.

Первухин сдержал усмешку. Старший лейтенант любил разговаривать грузным официальным слогом и часто запутывался в нем.

— Так-так.— Карандаш быстрее заплясал в пальцах Первухина, выстукивая на столе веселый марш.— Что же имеется отрицательного в данном положительном случае? Плохо знает специальность? Не работает?

Белопепко развел руками и задумался.

— Тут сложное дело. Сказать, что не работает,— было бы неправильно. Знания у него прочные. Штурманскую вахту мог бы, по моим наблюдениям, нести даже самостоятельно. Я не раз проверял. Спокоен, не теряется, вычисления производит тщательно, ошибок не делает...

— Так в чем же дело? — нетерпеливо перебил Первухин.

— Нет морской жилки, товарищ капитан третьего ранга. С прохладцей делает. Нет инициативы, жáра. Равнодушен. Только выполняет, что положено или приказано. Всегда носом нужно тыкать. Третьего дня я осматривал материальную часть. На котелках компасов ходового мостика обнаружил с исподней стороны нечистоту, медную окись. Вызвал лейтенанта Чернова и стал распекать, а он стоит истуканом, глаза сонные, лицо гладкое, как доска, ничего на нем прочесть нельзя. И вижу, что никакого смущения за состояние части не ощущает. Отвечает, еле языком ворочает: «Есть, ваше приказание будет исполнено». Конечно, котелки будут вычищены, но он даже бойцов за нерадение не пристыдит. Не болеет за специальность. По кораблю ходит, как по бульвару, на мостик пять минут карабкается. Занятия ведет вяло, сухо. Характера угрюмого, замкнутого...

— Ну, характеры у людей разные бывают,— вставил Первухин,— у иного душа с утра до ночи расстегнута настежь, язык наружу висит, а другой, наоборот,— чувства на запоре держит. Характер не навяжешь, дело бы делал. По-моему, моряк, какой помалкивает, лучше того, какой болтает.

— Это правильно,— согласился штурман,— про характер я мимоходом.

Командир корабля придвинул к себе стакан остывшего чая и зазвякал ложечкой.

— Ну, а еще что?

— Свою специальность, повторяю, знает, но интересуется ею мало. В рамках обязательного. Увлекается посторонней чепуховиной.

— То есть? — Командир вторично внимательно поглядел на штурмана.— Делами, посторонними службе?

— Ни то ни се. Вбил себе в голову, что наш сигнальный свод и вся его конструкция устарели и никуда не годятся. Наворачивает революцию во флажках по собственному методу. Что это, спрашивается? Раз ты штурман, так изобретай и рационализируй в своем деле. А в чужую специальность чего лезть? Ни в одной фрукт, ни в другой овощ. Полагаю, товарищ капитан третьего ранга, что из такого командира проку не будет.

Первухин залпом выпил чай, выгреб ложечкой со дна остатки сахарного песка, с удовольствием слизнул его с ложечки и, неожиданно с размаху поставив стакан на блюдце, сказал в сердцах:

— Вот что я вам, штурман, скажу: кожаная копейка вам цена, если вы за четыре месяца из человека настоящего командира сделать не могли. Мне, что ли, прикажете этим заниматься? По нему и вас ценить буду. Каков поп — таков приход. Коли вы подчиненного на рельсы не можете поставить, начну с вас пух драть, как с кролика... Понятно? Можете быть свободны!

— Есть.— Белоненко вскочил и вышел из каюты со сконфуженным видом.

— Тоже мне воспитатели! — буркнул вслед ему Первухин.— Это, братец ты мой, старые штучки. Еще при царе Горохе соображали, что старший должен внушать интерес к работе младшему. А не умеешь справиться — значит, сам не командир, а поповна.

Он собрал разложенные на столе документы, запер их в сейф и вышел наверх.

На верхней палубе шла малая приборка после артиллерийских занятий.

Первухин поднялся на мостик. Там находились сигнальщики и вахтенный командир, лейтенант Чернов.

После только что происшедшего разговора с командиром БЧ-1 командир корабля с любопытством поглядел на

лейтенанта, как бы проверяя аттестацию, высказанную Белоненко.

«Гм... Ничего. По внешнему виду командир как командир. Даже лучше многих. Аккуратен, подобран, чисто выбрит. Шинель пригнана ладно, даже будто с франтовством. Фуражка надета правильно — ни на затылке не виснет, ни на нос не сползает. Лицо молодое, открытое... Только вытянуто что-то. И хмуровато для человека, которому и двадцати трех лет нет. Суетливости не заметно, держится хорошо».

Первухин подошел к переднему обвесу и заглянул вниз на полубак.

Там обтирали от водяных брызг после приборки носовое орудие. Один из краснофлотцев был без фуражки. Первухин сдвинул брови и досадливо поморщился.

«Кажется, все-таки растяпа. Вахтенный командир, а непорядка не видит. Галок в небе считает».

Но сейчас же командир корабля услыхал рядом с собой оклик лейтенанта Чернова, подошедшего к обвесу вслед за ним.

— Товарищ Быков! Почему вы без головного убора?

Первухин покосился на лейтенанта.

«Нет, заметил...— мысленно одобрил он,— видимо, просто не заглядывал вниз до моего появления и не успел».

Спрошенный краснофлотец, не подымая головы и продолжая обтирать ветошкой замок орудия, небрежно ответил:

— Потерялась фуражка в палубе... Найти не мог.

— Надо было найти,— негромко и вяло сказал лейтенант, и Первухин снова насторожился.

На этот раз краснофлотец прекратил работу, но головы не поднял. Упрямо сбычась, он сказал со злостью:

— А где я ее буду искать?.. Кончу приборку — поищу.

Лейтенант Чернов постоял еще секунду у обвеса и безразлично отошел.

«А факт, что рохля»,— рассердился Первухин.

Оставить так тон и поступок краснофлотца было нельзя. Это заслуживало показательного урока. Командир корабля громко спросил:

— Товарищ краснофлотец! Как ваша фамилия?

Теперь все, занятые у пушки, подняли головы.

— Быков,— ответил спрошенный и выпрямился, узнав командира корабля.

— Вы кому отвечаете? — повысил голос Первухин.— Как вас учили отвечать?

— Быков, товарищ капитан третьего ранга,— краснофлотец покраснел.

— Товарищ Быков, немедленно идите вниз, найдите головной убор, явитесь к старшему помощнику и доложите, что я оставил вас на две очереди без берега за нарушение формы одежды и грубый ответ вахтенному командиру,— нарочито громко отчеканил командир корабля, чтобы его слышал лейтенант Чернов, зашедший за дальномерную башенку.

Краснофлотец повторил приказание и скрылся.

Первухин направился к трапу. Полуобернувшись, он увидел лейтенанта, показавшегося из-за дальномера. Первухин сердито повернулся к нему.

«В самом деле тютя. Какой авторитет может быть у ротозея, не умеющего по-командирски реагировать на нарушение дисциплины. Нужно и впрямь им заняться. Такому гусей пасти не доверишь, не то что бойцов».

— Товарищ лейтенант,— приказал Первухин, опуская ногу на ступеньку,— после смены вахты зайдите ко мне.

На худощавых щеках лейтенанта проступили красные пятна.

— Есть, товарищ капитан третьего ранга, зайти к вам после смены,— нетвердо сказал он и потупился.

«Знает кошка, чье мясо съела»,— констатировал командир, спускаясь вниз.

Первухин читал дневник Расковой, когда в каюту постучал лейтенант Чернов.

Командир корабля отложил книгу и повернулся к вошедшему. Притворив за собой дверь, лейтенант остановился у порога.

— По вашему приказанию, товарищ...

— Садитесь,— прервал Первухин.— Да нет, не сюда... Располагайтесь на диване. Удобней.

Лейтенант прошел по диагонали каюты к дивану. Первухин разглядывал его, пока он уселся.

Без шинели лейтенант казался выше и тоньше, чем там, на мостике. Заботливо проглаженный, свежий китель немного топорщился на груди,— вероятно, грудная клетка была не особенно развита. Под синим сукном кителя обегала вокруг шеи ровная белая полоска воротничка.

Лицо казалось теперь еще моложе. Кожа на щеках гладкая и тонкая, как у девушки. Выражение смышленое и приятное. Удивили командира глаза. Он вспомнил характеристику старшего штурмана: «глаза сонные». Это было совсем неверно. Глаза были живые, карие, с выражением упрямой сосредоточенности на какой-то своей, внутренней мысли. И оттенок усталости от беспрерывной работы этой мысли. Осмотр удовлетворил командира.

— Курите! — Первухин протянул палехскую шкатулку, в которой держал папиросы для посетителей. Сам он курил только самокрутки.

Лейтенант сделал отрицательный жест.

— Благодарю. Не курю.

— Хорошо делаете.— Первухин захлопнул шкатулку и сердито двинул ее по столу, недовольный собой.

В памяти его всплыл пункт корабельного устава об обязанностях командира корабля: «обязан знать весь подчиненный ему средний и старший начальствующий состав, как постоянный, так и переменный...»

А что, собственно, знает он, капитан 3-го ранга Первухин, об этом вот юноше? Пять минут разговаривал с ним, когда лейтенант прибыл на корабль и явился представиться... Проверял, следуя тому же уставу, знание им штурманской специальности и службы корабельных нарядов в порядке повседневного контроля. Видел его мельком по нескольку раз в день за столом в кают-компании, вернее не замечал, так как штурман держался незаметно и тихо. Вынес убеждение, что новый член корабельной семьи ничем не отличается от других командиров, а с делом справляется.

Можно назвать это знанием человека? Разве это все, что должен знать командир корабля о подчиненном?

В уставе сказано дальше: «и руководить его деятельностью».

Много ли он руководил деятельностью лейтенанта Чернова и разве, помимо знания служебных качеств молодого командира, не нужно вникнуть в его личные свойства, душевный склад, интересы, в его радости и беды?

Вот — не знал, что лейтенант не курит. А ведь и такую мелочь небесполезно подметить.

Первухин кашлянул и, облокотясь на ручку кресла, спросил:

— Знаете, зачем я вас пригласил?

Лейтенант ответил легким наклоном головы, и опять сквозь тонкую кожу на лице его поползли красные пятнышки сдерживаемого волнения.

— Знаю, товарищ капитан третьего ранга,— тихо ответил он и пальцами правой руки нервно затеребил полу кителя.

— Знаете? Отлично! Следовательно, нет нужды повторять вам, что ваша линия поведения давеча на мостике не может являться образцом для вахтенного командира и командира вообще. Как вы думаете?

Лейтенант Чернов смотрел вбок, на модель корабля, помещенную в стеклянном колпаке на полке над столом.

— Я согласен с вами, товарищ капитан третьего ранга,— произнес он спокойно.

В этом спокойствии Первухину почувствовалось то, о чем говорил старший штурман,— равнодушие, граничащее с безразличием. Он насупился.

— Согласны? Так почему же вы не действовали, как подобает командиру?

Чернов перевел взгляд с модели на командира корабля.

— Разрешите доложить...— заговорил он тем же ровным голосом, странно противоречащим нервному шевелению пальцев, теребящих китель.— Краснофлотец Быков лучший краснофлотец моей группы и один из лучших краснофлотцев всего корабля. За год службы семь поощрений и благодарностей и ни одного взыскания. Один из бесспорных кандидатов в младшие командиры. Сегодняшний случай мне непонятен. Вероятно, кто-нибудь подшутил над ним, спрятав фуражку перед вызовом на приборку. Он не счел возможным не выйти, хотя бы и с нарушением формы одежды...

— Чепуха! — перебил Первухин.— Фуражку спрятали? А смекалка на что? Мог занять фуражку у когонибудь из товарищей, свободных от наряда. Нарушение есть нарушение!

— Я сделал Быкову указание,— ответил лейтенант.

— Что? — вскипел Первухин.— Указание? Подумаешь! Он сделал указание! А потом, когда ваше указание не было выполнено, вы спрятались за дальномер, и пришлось мне доканчивать за вас. Хороши!

— Я считал необходимым провести разъяснительный разговор с Быковым после смены вахты, товарищ капитан третьего ранга,— настойчиво сказал лейтенант,— я не

хотел налагать на него взыскания перед товарищами, для которых он был примером отличного бойца... Я считал, что подрывать его авторитет...

Первухин громко шлепнул ладонями по ручкам кресла:

— Вы понимаете, что говорите, лейтенант? Чушь! Вы на корабле или в детском саду? Что это мне за психологические этюды? Заботитесь об авторитете краснофлотца, а собственный командирский авторитет в лужу шлепаете? Смысла дисциплины не ощущаете?..

— Я понимаю.

— А я говорю — не понимаете,— озлился Первухин.— Кисели на патоке разводите. Кому вы этим вредите? Мне? Себе?.. Нет! Службе вредите! Флоту! Вы еще от стола не выросли и извольте слушать старших. Я с первого комсомольского призыва на флоте,— мягче продолжал командир корабля, заметив, как дрожит нерв на скуле лейтенанта,— все ступеньки прошел от краснофлотца. И всякую дисциплину видел. Помню и такую, когда для съемки с якоря командиру уговаривать приходилось жоржиков: «Дорогие товарищи, не будете ли вы так добры пройти на бачок и выбрать из водички яшку». Сам видел! Было! Что же, можно с такой дисциплиной что-нибудь сделать? Для штучек и экспериментов время истекло. Нам теперь в цейтноте приходится настоящий флот строить, и поблажек никаких и никому быть не может потому, что не завтра, так послезавтра война грянет... Если замечу у вас еще раз мягкотелость, сами заработаете от меня взыскание. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан третьего ранга,— коротко ответил Чернов, не изменяя тона.

Первухин взял резиновый кисет, вырвал из книжечки листок папиросной бумаги и стал неторопливо свертывать папироску, не глядя на лейтенанта. По-видимому, Чернов решил, что командир не хочет больше разговаривать, и приподнялся.

— Разрешите быть свободным?

— Нет, не разрешаю,— отрезал Первухин,— сидите. Он заклеил самокрутку, вставил в мундштук и закурил. Встал, открыл шкафик и поставил рядом с лейтенантом блюдо, на котором розовели большие верненские яблоки.

— Раз не курите — полакомьтесь яблоками. Таких не достанете. Это мне мать из Чимкента каждую осень посылает.

Лейтенант кинул быстрый удивленный взгляд на командира, но яблоко взял. Оно захрустело на его зубах.

— Спасибо, товарищ капитан третьего ранга.

— На здоровье... Вам вообще нужно есть побольше. Что-то вы худоваты. Не болеете?

— Нет, здоров.

— Как чувствуете себя на корабле? Совсем обжились? Довольны?

В первый раз Первухин заметил слабый признак улыбки у Чернова.

— А почему вы думаете, товарищ капитан третьего ранга, что я могу быть недоволен? — защитился лейтенант встречным вопросом.

— Я и не думаю,— усмехнулся Первухин.— Просто спрашиваю. Может быть, какие-нибудь бытовые неувязки есть?

— Никак нет. На корабле мне хорошо,— сказал Чернов.— Корабль новый, материальная часть интересная, даже великолепная. Иной раз просто неловко становится, товарищ капитан третьего ранга. По сути дела, штурману и делать почти нечего при таких приборах. Лаг автоматической, лот электрический, на штурвале гирорулевой, при гирокомпасе отпадает мучение с уничтожением девиации. И как подумаешь, сколько работы у старых штурманов было — совестно делается. Выходит, что не ты приборы проверяешь, а они тебя. И времени много остается...

— Это неплохо. К тому и идем. И на суше и на море, во всей жизни. Человека освобождать надо. А свободное время с пользой употреблять. Книжки читаете?

— Читаю.

— По специальности?

— Нет.— Чернов заметно оживился.— Стараюсь читать все, что можно. Только книг мало. Нашу библиотеку всю перечел. А больше нет.

— Да,— сказал Первухин,— я все время комиссара калю, чтобы поругался с базой как следует... Значит, время девать некуда?

— Стараюсь заполнить.

— Чем же? — поинтересовался Первухин.

— Я вообще люблю морское дело,— неопределенно ответил лейтенант, словно избегая точного ответа.

Но Первухин решил допытаться.

— А в частности?.. Артиллерия? — невинно спросил он, не желая выдавать, что ему известны занятия лейтенанта.

— Нет, товарищ капитан третьего ранга. Связь.

— Радио?

— Никак нет. Визуальная связь.

— О! Стоит ли? — Первухин притворно зевнул.— Отмирающий вид связи. Есть радио. Скоро подрастет телевидение.

У лейтенанта заблестели глаза. Он протестующе замотал головой.

— Не могу согласиться, товарищ капитан третьего ранга. Я еще в училище интересовался этими вопросами. Приходилось читать, что получалось, когда радиосвязь и флаги отказывали. Помните, в Ютландском бою что вышло, когда Томас прозевал сигнал Битти о сближении? Таких случаев сколько хотите. Нужно, чтобы все виды связи чисто работали. Я вот и занялся флажной сигнализацией.

— Занятно!— неопределенно обронил Первухин.— И что получается?

— Трудно рассказать, товарищ капитан третьего ранга. Тут наглядно нужно. На таблицах.

— Ну, так тащите сюда таблицы,— предложил Первухин.

Лейтенант смутился.

— Если разрешите, товарищ капитан третьего ранга, я показал бы вам дня через три-четыре. Нужно закончить.

— Добро! — согласился Первухин.— Как кончите, так и приходите. Может, смогу что-нибудь полезное присоветовать.

— Спасибо, товарищ капитан третьего ранга,— горячо сказал штурман.— Я не решался сам навязываться, зная вашу загруженность.

От первоначальной вялости и равнодушно-спокойного вида, с каким лейтенант вошел к Первухину, ничего не осталось. Теперь только обнаружилась в нем его живая молодость.

— Спасибо вы бросьте,— отмахнулся Первухин.— Раз командир делом занимается, я всегда время найду.

— Разрешите идти? — спросил штурман.

— Пожалуйста,— сказал Первухин, вставая,— хоро-

шо, что не запираетесь в клетушку своей специальности. Моряку нужно уметь быть широким. Работайте!

Лейтенант вышел. Первухин выковырял кончиком ножниц окурок из мундштука, бросил его в пепельницу и задумался.

«Нет! Старший штурман не прав. Не умеет разглядеть людей. Мальчишка совсем неплохой, и наверняка из него можно вылепить добротного командира. Подойти только умело. Ведь вот как оживился, когда дело дошло до его заветного. Голос даже задрожал. И, видимо, неглуп, соображает».

Первухин пробарабанил пальцами по столу сигнал отбоя.

«Только что-то не то беспокоит, не то гнетет юнца. Может быть, какие-нибудь внутренние нелады. Уж очень сосредоточен и серьезен. А ведь совсем молод, впору еще футбольный мяч гонять. Пожалуй, скорее всего личная неудача в чем-нибудь. Можно было бы напрямик спросить. Впрочем, нет, не годится. Спугнешь, замкнется еще плотнее, тогда уж ничего не добьешься. Придется подождать. Вот покажет, чего он там придумал с сигнализацией, тогда, возможно, и удастся поговорить по душам».

Первухин взял яблоко и потянул к себе оставленную книгу.

. . . .

Возвращаясь от командира, лейтенант Чернов, свернув за угол командирского коридора, увидел еще издали, возле двери своей каюты, фигуру Быкова, прислонившегося спиной к полукруглому выступу шахты подачи второго орудия.

Увидев лейтенанта, Быков сделал шаг навстречу и, не подымая опущенных глаз, сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?

— Говорите,— ответил Чернов, останавливаясь в дверях.

— Разрешите зайти на минуту,— продолжал краснофлотец,— я вам на глаз хочу сказать, товарищ лейтенант.

Лейтенант пропустил Быкова и вошел вслед за ним.

— Что вы хотите сказать?

Быков понурился, стоял сбычась и сопел. Его молодая здоровая шея налилась кровью, а руки, опущенные вдоль длинной брезентовой рабочей блузы, измазанной

спереди соляром, делали короткие движения вниз-вверх, точно краснофлотец старался разгладить грубый рубец нижнего шва блузы.

Заметив это движение, Чернов вспомнил, как сам он перед разговором с командиром корабля мял полу своего кителя, и, вспомнив, улыбнулся.

— Ну, что же вы молчите, товарищ Быков?

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант.— Голос Быкова сорвался.— Я, товарищ лейтенант, знаю... сознаю то есть, что поступил неправильно и обманул ваше доверие. Так что мне от этого очень стыдно, товарищ лейтенант. Даю честное краснофлотское, что больше никогда...

Он запнулся и замолк.

— Значит, сознаете проступок? — сказал Чернов.— Хорошо. Но только объясните мне: что с вами случилось? Не узнаю вас. Вы отличник, передовик, примерный боец. Группа могла гордиться вами. В чем дело?

Быков поднял голову, и лейтенант увидел накипающие на его ресницах слезы.

— Товарищ лейтенант... сам не знаю... письмо получил.

— Какое письмо?

— Из дому. Мамаша пишет. Младшего братишку из школы выгнали за хулиганство. Преподавателя чернилами облил. Совсем спортился, сладу с ним нет, как я на службу ушел. Мать, она больная у нас, справиться не может. И теперь начисто его прогнали с восьмого класса. Тянули-тянули, а выходит — пропадет недоучкой. Я и расстроился. А тут с фуражкой кто-то подшутил. Враз на приборку надо. Я на палубу не в себе пошел. Тут и вышло это самое.

— Это самое скверно вышло,— покачал головой лейтенант,— получили взыскание, и теперь на вас пятно. Нужно себя в руках держать. У каждого есть свои горести, что же выйдет, если все мы распустимся? Общий развал? Вот вам урок. Командир взыскания не снимет, и я не считаю возможным просить за вас.

— Я же понимаю.— Быков тяжело переступил с ноги на ногу.— Я взыскание заслужил и не в обиде. Только досадно мне, товарищ лейтенант, что перед вами я себя уронил.

— Ладно,— сказал Чернов,— загладите хорошей работой.

— Я постараюсь, товарищ лейтенант.

— Я уверен, что вы можете быть дисциплинированным, честным бойцом, что это у вас случайный срыв, и нарушений больше не будет.

— Честное краснофлотское... Разрешите быть свободным, товарищ лейтенант?

— Ступайте.

Чернов запер дверь каюты и подошел к столу. Открыв ящик, он вынул бумажный сверток и распластал его на столе, придавив с одной стороны пресс-папье, а с другой графином. Опершись локтями на стол, он долго смотрел на белое поле ватмана, расчерченное прямоугольниками и треугольниками яркой расцветки. Это была почти законченная таблица сигнального свода, разработке которой он уделял все свободное время. И как всегда бывает — его охватила творческая печаль свершения.

<*1941*>

ПАРУСНЫЙ ЛЕТЧИК

Моя фамилия — Филонов. Незначительная фамилия. Лучше, конечно, была бы Орлов или Соколов, но так у родителя вышло... Старший лейтенант Филонов истребительной группы Краснознаменного Балтийского флота. Вожу свое звено. Правым ведомым у меня лейтенант Ковалев, а левым Володя Савчук, парусный летчик. Вы интересуетесь, что такое «парусный летчик»? Так вы не знаете Володю Савчука? Ну, значит, вы вообще ничего не знаете.

Вся моя речь о Володе пойдет. О себе рассказывать нечего. А Володя мой дружок кровный. Годков ему, пожалуй, около двадцати двух, сам среднего габарита, носик пуговочкой, а зубы такие, что любой гражданке на балу вместо ожерелья надеть завидно. Тридцать два зуба, полный комплект.

Жаль только — рассказчик я плохой. Чего-то у меня со словами творится, как говорить начинаю. Цепляются за язык, как юбка за репейник, просто не отодрать. Так вот, чтоб глаже разговор шел, мы пропустим по маленькой. Время сейчас военное, пить не положено, но тут у меня во фляжке законный мой морозный паек. Сто граммов вам, сто мне. Чок-чок — и дело в мешок!

А выпьем мы за Володино здоровье... Галина! Ты вместо того, чтобы зубы скалить, дала бы стаканчики. Странная, знаете ли, она у нас женщина. Выдумывает, что мне только повод нужен, чтобы «пропустить».

Так вот, про Володю. Вместе мы с ним на Каче школу кончали, вместе на Балтику поехали, и так вышло, что даже в одну девушку мыслями уставились. Но только мне больше повезло.. Опять ты, Галина, хихикаешь? Ведь правду говорю. Иначе сидела бы ты в Володиной комнате, а не в моей... Но нас такое происшествие не поссорило. Девушек хороших у нас много, а Володя найдет свою, вдесятеро лучшую... Ну, вот изволите видеть? Только что хихикала, а теперь губы надула... Успокойся! Я же теоретически, а на практике ты для меня самая лучшая.

Однако что это я все в сторону. Возвращаюсь на прямой курс... Летали мы, значит, с первого дня войны в одном звене. И летали, в общем, счастливо, исключая Володи. То есть летчик он высокого полета, но крепко невезучий. За первый месяц я уже троих этих самых фрицев отправил вниз хлебать балтийскую соленую воду. Ковалев тоже одного запорол, да и сами мы имели в наших ястребках десятка по полтора дырок на память. А Володя никак не мог к нашему счету пристроиться. И немцев сбитых нет, и самолет без царапинки. Очень это его волновало. А тут еще дружки стали подначивать. «Ты, говорят, Володя, верно, немцев недолюбливаешь? Верно, не нравится тебе ихнее обращение? Отойдешь небось от аэродрома километров на двадцать и вертишь вола на месте. Иначе давно б тебя немчики пометили».

Володя от злости просто зубами скрипит. Как боевой вылет — его даже вроде малярии трясти начинает. Летим, напоремся, завяжем бой, а от Володи противник обязательно на полном газу удерет. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. К декабрю я еще троих на свой счет нанизал да двоих Ковалев, а у Володи — все ничего. В декабре разом хватили студенцы, снегом завалило. Продолжаем летать. Наконец выпал счастливый денек и Володе.

Как сейчас это утро помню. Сидели мы в общежитии. Только рассветать начало. Я брился, другие — кто письма писал, кто читал. А погода стояла самая гробовая. Пурга — у барака даже стенки шатаются. И в эту самую минуту громкоговоритель с командного пункта как рявкнет голосом капитана Бондарева: «Звено старшего лейтенанта Филонова, к самолетам».

Бегу я через поле, рукавицей с недобритой щеки мыло стираю. Оглянулся — за мной Володя на ходу в брюки прыгает, а за ним Ковалев рысит. Добежали до самолетов,

а их механики еле удерживают. Так пургой и рвет. Подходит капитан и объясняет задачу:

— Наши разведчики обнаружили на финской стороне за фронтом большой товарный состав, движущийся от станции Исалми к Пиэксимяки. Предполагается, что с боеприпасами. Разведчики сами не могли его сработать — на последних каплях горючего тянули. Бомбардировщики посылать не стоит — погода не та. Ну, а вы верткие, как-нибудь доберетесь. Словом, не подведите.

Сели мы по самолетам. Поднял я руку и рванул по дорожке. Такой навстречу вихрь, что отодрало меня от земли на половине взлетной дистанции.

Осматриваюсь. Справа, как всегда, Ковалев, слева Володя. Но только чуть их заметно, потому что воздух не воздух, а кислое молоко. Дал я сигнал идти наверх, и взмыли мы горкой пробивать эту серую кашу. Пройдем, думаю, до места над облаками, а там видно будет, как дальше. И в самом деле, на двух тысячах с небольшим вырвались мы в такое синее небо, что июлю под стать. Летим, а под нами словно ковер из бурой ворсы лежит, колышется. Внизу ничего не видно. Стали выходить к Исалми, и погода будто развеселилась. Пошли на снижение. Из-под ковра выскочили метрах на трехстах и даже удивились. До того внизу красота и спокойствие. Леса стоят могучие, как серебром убранные. Тишь. А между лесами пролысины разных образцов. Это — знаем — озера. Непонятно, зачем в этой Финляндии озер столько. Вместо земли на каждого жителя, считано, по озеру приходится.

Вышли мы на линию железной дороги. Вьется она ниточкой, из леска в лесок проползает. Но только никакого движения на ней незаметно. Пустыня, поезда и в помине нет.

Сделали два круга, три, четыре — нет поезда. И только на пятом подметил я в лесу парок какой-то, словно охотник трубочку раскуривает. Пригляделся, и вижу — финны схитрить захотели. Как услышали наши моторы, остановили состав в чаще. Сосны там метров по тридцати, внизу темь, а по крышам вагонов хвоя. Сразу ни за что не разобрать. Ну, а паровозу все же иной раз вздохнуть надо, вот и выдал себя.

Мигнул я своим лампочкой: дескать, «мальчики, вниз!» — и ссыпались мы сверху на самый поезд. Я в лоб паровозу, Володя и Ковалев вдоль состава. Чесанули

из пушек по вагонам, а я паровозу в грудку ударил. Видим — стали финны из теплушек прыгать на полотно. Спрыгнут и корчатся. Но только многие как лягут, так и не встают. Что ж! Ихнее дело — сами того захотели. Паровоз я прошил с первого захода чисто — только пар брызнул. А на втором спустился пониже и пощекотал зажигательными. Вышло, что угадал. Как полыхнуло, как грохнуло! Ястребок мой так подпрыгнул, как ни одной блохе не удастся. Еле я выправился. Видать, они в вагонах взрывчатку для саперов везли. Весь поезд разнесло, только щепочки взвились... Раз так — дело кончено, можно ворочать домой.

А тут немного развиднело и даже в облаках синие проруби появились. Построились мы — и домой к обеду. Однако по сторонам поглядываем, потому что погода и для фашистов летная стала.

Так и вышло. Откуда ни возьмись вываливаются на нас из облаков шесть «мессеров». Ну, думаю, будет парад. При такой пропорции у них всегда боевая храбрость появляется. И действительно, завязалась у нас воздушная карусель. Только им, верно, в тот день попугай несчастливые билетики вытянул из гитлеровой шарманки. Дело в том, что, не хвастаясь, скажу: глаз у меня чересчур верный от природы. Пулеметный глаз специального назначения. Кто мне на мушку попадет — будь весел, второй раз приглашать незачем. И прежде чем «мессеры» развернуться успели, ихний головной уже отправился вверх тормашками на вечное землеустройство. И остались мы с Ковалевым против двух, а на Володю на одного все ихнее второе звено насело. И удалось им все-таки немножко Володю от нас оторвать. Веду я бой, турусы по небу разввожу, а сам все налево поглядываю. Однако вижу, Володя молодцом держится. В это время Ковалев своего противника срезал. И мой тут же в сторону отвалил — не понравилось. Решил я Володе помочь. Но глянул в его сторону — волосы шлем на мне подняли. Нет Володиного ястребка! Сбили! Один хвост дыма книзу тянется. Злоба меня взяла — прямо глотку перехватило...

...Одну минуточку! Галина! Ты что ревешь? Вот видите, сколько раз слушала, а на этом месте всегда в слезы: жаль Володю. Останови слезы и лучше завари нам чайку.

Увидел я такую картину и бросился на этих трех. И снова мой пулеметный глаз не подвел. Один из них вспыхнул, перевернулся и... ваших нет. В другое время

не упустил бы я четвертого, составил бы им полную загробную компанию в преферанс. Но тут не до этого было. Ухнули мы с Ковалевым вниз, хоть посмотреть, где Володины косточки лежат. Но внизу сплошной бор — не углядишь. И дыма нет, и огня не видно. Думаю: успел мотор выключить, грохнул вхолодную. Прошли мы над бором — тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе, только домой дотянуть. Пришлось поворачивать. Идем мы с Ковалевым рядком. И вижу я, лицо у него каменное стало и пальцы в штурвал так и влипли.

Перелетели залив. Вот и аэродром наш. Сели. Люди к нам бегут. Капитан Бондарев впереди.

— Где Володя?

Я вылез из самолета, стал перед ним, а голос у меня к зубам прилип, никак вырваться не может. Наконец выжал как-то:

— Товарищ капитан! Задание выполнено, поезд уничтожен. Лейтенант Савчук из полета не вернулся!

Все молчат. И такая тишина, что услышал я, как за оградой с елки снег осыпался.

Узнали ли мы, что с Володей, вы спрашиваете? Сейчас... Все по порядку.

Имел, знаете, Володя такую чудну́ю привычку таскать с собой в полет парочку дымовых шашек. Даже приладил сбоку кабины такую для них фанерную коробочку. Мы его на зуб брали: «Ну, скажи, лешего ради, зачем ты эти шашки таскаешь?» А он смеется: «На всякий случай: если вынужденная посадка, шашку сброшу, определюсь по ветру, как садиться, чтобы машину не угробить». Стыдили мы его даже: «Негоже советскому истребителю на вынужденную посадку загадывать». А он свое: «Бережного шашка бережет». И вышло так, что выручила его именно глупая эта привычка. В разгаре драки влепил ему один из арийцев очередь зажигательных в фюзеляж, разбил пулемет. И еще одна пулька угодила прямо в шашку. Мгновенно дым столбом, а Володя и сообразил. Одному с тремя без пулемета не игра, а обмануть дураков не грех.

Ввел Володя ястребок в штопор, мотнул три-четыре витка, потом в пике и стрелой вниз. А дым за ним винтом пошел. Этот дым я видел, да и немцы по нему решили, что Володе каюк, и уж больше им не занимались. А он у земли выровнялся, коробочку с горящей шашкой отодрал прочь и пошел над самым бором. Огляделся, увидел — никто не гонится, стал снова высоту набирать. Но только

нас из виду потерял. Искал, искал, по всему небу мотался, пока горючее не стало кончаться, и двинулся в одиночку к заливу, чтобы домой лететь. А там по пути есть одна вредная батарея на островке. Как туда летим — она никогда не стреляет. Знает, что мы можем сверху навалиться и чистку произвести. Зато на обратном пути обязательно лупит во все жерла. Соображает, что раз домой идем, то бензина у нас кот наплакал и ради забавы задерживаться не станем. Так и на этот раз. Как завидели Володю, так и шарахнули. Третьим снарядом прямо в Володину «птичку» вмазали. Крылышко направо, крылышко налево, хвост трубой, и лететь не на чем. Уж он и тому был рад, что сам не дифференцировался. Выпал из обломков, подождал, пока фюзеляж мимо него нырнул, раскрыл парашют и поплыл. Минуты через три сел на лед почти рядом с кусочками ястребка, которые неподалеку шмякнулись. Осмотрелся, и стало ему не по себе.

Островок километрах в двух за спиной, а до нашего берега еще километров сорок тащиться. А добираться не на чем, кроме своих двоих. Тут еще с островка по нему шрапнелью двинули. Лег он плашмя на лед и совсем заскучал. Но духа не теряет. Какой-нибудь иноземный чудак в таком положении сразу пар бы выпустил, стал бы на коленки, ручки к небу: «Ауф видерзеен, майне альте мутер, даст ист ганц капут фюр дайне зон» [1]. Но Володя не иностранец, его комсомол выкормил. Скучает он, а про себя раздумывает. И вдруг видит — с островка на лед спускаются цепочкой десятеро лыжников. Значит, решили живьем брать. А у Володи оружия осталось — маузеришка 7,65. Семь патронов им, восьмой себе. Стало ему совсем неуютно. А лыжники бегут быстро. Надо сказать, что он как сел, так от парашюта не отвязывался. Все равно ни к чему.

Парашют на льду лежит, колышется, а Володя рядышком. Повернулся он, чтоб поудобней за сугроб улечься, а в это время ветер вздул купол, и оттянуло Володю назад на несколько метров. И брякнуло его об отломанную лыжу ястребка, которая тут же валялась. Уставился он на лыжу, и тут его осенило. Вот уж правильно сказано, что русскую сметку никто не перешибет. Схватился он за лыжу, лег на нее брюхом, верхние стропы парашюта подтянул, как вожжи. Вздуло купол еще сильней, да как

[1] Прощай, моя старенькая мама, пришел конец твоему сыну.

рванет Володю с места — только снег под лыжей хряпнул. Лыжники по нему из автоматов сыпнули, да поздно. Лед в эту зиму на заливе в одну ночь схватило, снежком присыпало, гладко, как на катке. И понес Володю ветер к родным местам пуще рысака. Только за лыжу держись и не зевай, чтоб на какой-нибудь ропачок не напороться и не рассыпаться. Но ничего такого не случилось. Несколько раз стропы спутывались и парашют ложился, но Володя вскочит, выправит — и дальше. И таким манером пролетел он поперек залива, как яхта, в час с небольшим. Смотрит — берег сам на него ползет.

А на берегу стоял в ту пору на посту краснофлотец. Глядит на залив. Бело, гладко, снежок метет, никого не видать. И вдруг обомлел. Катит прямо на него невесть что. Шар не шар, парус не парус, сзади какая-то палка волочится, а на ней снежный ком. Краснофлотец, ясно, заподозрил неладное. Навел винтовку и кричит: «Стой, стреляю!» А куда стрелять, и сам не знает. Шар, палка, снежный ком — все равно ничего не убьешь. Но только шагах в десяти шар падает на лед, снежный ком медленно встает, вроде белого медведя, но вполне человеческим голосом хрипит:

— Убери винт, годок. Лейтенанта истребительной авиации убьешь.

Видит часовой, что перед ним человек. Только снегом весь облип. Даже на глазах снег намерз. Но говорит вполне по-русски. Однако все же приказал Володе поднять руки и повел его на пост. Там все и выяснилось.

А в ту пору на аэродроме собрались летчики в красном уголке, и уголок будто уже не красный, а черный стал,— так тоскливо. О Володе всё думают. Семья наша дружная. Но тут распахивается дверь, и старший механик наш орет: «Володю привезли!..» Вскочили мы, как по тревоге. «Как так привезли? Как могли убитого летчика с чужого берега привезти?» А механик клянется: «Честное комсомольское, привезли. И вовсе не убитый. Сам идет».

Выскочили мы наружу, а Володя с грузовика слезает. Все на него навалились, и хоть из такого приключения выскочил он без повреждений, а от объятий прихворнул дня три... И стали мы снова летать нашим звеном. Такая история.

А вот Галина с чайком. Хлебнем за Володино здоровье и за ваше тоже. Будем веселы!

1941

ВСТРЕЧА

Перед самой войной командир наш, капитан-лейтенант Солодушенко, заметно переменился. Раньше был весельчак, живчик, радостной жизни человек. По службе или по дружбе всегда жил с шуточкой, с веселым подходцем, и улыбка у него была такая белозубая и заразительная, что сам рот до ушей растянешь и на целый день развеселишься.

И вдруг — как срезало. Совсем другой человек появился. И походка переменилась. Бывало, на мостик в три прыжка взлетал. А тут стал ходить сгорбясь и ноги волочит, как чахоточный. Губы в тонкую ниточку собраны и даже когда говорит, и то не разлепит, будто слова продавливает меж зубов. Глаза потускнели — словом, всякому заметно, что человек не тем курсом пошел.

Раньше в кают-компании у нас постоянно за столом смех бурлил и сам командир был веселью заводчик. Как отпустит словцо — все покатятся. А теперь слова не проронит. Уставится в тарелку и сидит, глаз не подымая, только вилкой скатерть скребет. Конечно, и мы молчим. Раз командиру неохота разговаривать, всем не по себе. Так и стали жить бессловесно, как крабы под камнями.

Никак не могли мы понять, что с нашим командиром стряслось. Моряк лучшего качества, у начальства на верхней марке, эсминец — какого во сне пожелать можно, новенький, скороход. Приз переходящий за артиллерийские стрельбы третий год держим, зубами вцепились — не вырвешь. Отчего бы в уныние впасть?

А узнали мы причину от комиссара. Командир с комиссаром у нас очень дружили. И на правах дружбы забеспокоился комиссар, что капитан-лейтенант так расстроен. При таких обстоятельствах и службе вред может быть. Как-то зашел комиссар к командиру в каюту и повел разговор начистоту.

Оказывается, вышло все это с командиром от семейного неустройства. Надо сказать, что года за два до этого Солодушенко женился. Выискал себе жену всем на зависть. Высокая, щеки розовые, глаза синие, волосы пшеничным снопом вихрятся. И тоже веселая. А по специальности актриса. В театре юных зрителей работала и на хорошем положении считалась.

Я так думаю, что моряку вообще не следует жениться. Молодой женщине все время одной дома сидеть, ясно, невесело. Хочется с живым человеком словом перекинуться. И начинается неустройство. Чаще всего и серьезного ничего не случается. Цветы, конфеты, разговоры, ну ручку там поцелуют, а недобрые языки вмиг трезвон разведут погромче колоколов громкого боя. Вернется человек с моря, и сразу сердце у него опадает.

Поэтому лучше нашему брату выбирать себе жену поскромнее и незаметнее. Лишь бы душа была ясная, а что до оперенья, то удобнее серенькое, вроде цесарки, чтоб в глаза не кидалось.

Вот и у нашего командира на такой почве разлад вышел. Пришел из плавания, наслушался вранья в оба уха и сказал жене неосторожное слово. А у нее гордость разъярилась, обиделась. Слово за слово, Солодушенко и обмолвился, что если семейный корабль из строя вышел, то лучше сдать его порту и кончить кампанию. Хлопнул дверью и ушел в плавание на месяц.

Вернулся и нашел дома вместо жены одну записочку: «Жизнь не вышла. Горько, но что же делать. Уезжаю, не ищи меня, прощай. *Женя*».

От такого оборота он и развинтился. Любил ее крепко и сам жалел, что этот разговор у них вышел. Бросился в театр. Там ответили, что актриса Платова с разрешения высшего театрального начальства с работы уволилась по своему желанию и уехала в провинцию, а куда — не сказала. Кончилось счастье из-за ничего. Много таких глупостей бывает.

И как ни пытался капитан-лейтенант разыскать свою Женю, не мог следа обнаружить.

Рассказал нам все это комиссар, и очень мы жалели нашего командира. Но долго заниматься этой оказией не пришлось. Война все такие домашние дела срезала под корешок. С войной командир подобрался, взял себя в руки, но угрюмости не потерял. Ходит по мостику с крыла на крыло сумрачный и все куда-то за горизонт глядит.

В середине августа встретились мы с двумя немецкими эсминцами. Встреча была короткая, но крепкая. Напоролись они на нас незадолго до рассвета, выскочив из тумана. Одного немца мы на девятой минуте боя попросили обследовать, какой грунт на дне. Другой хоть и захромал, но успел обратно нырнуть в туман. А нам один снаряд попал в мачту над мостиком. Громыхнуло над головой, брызнуло осколками по палубе. И сбило меня, двоих сигнальщиков и командира.

Сигнальщиков поцарапало чуть-чуть, мне левый локоть разворотило, а командира попортило основательно. Разбило бедро, а один осколочек даже в живот попал. По приходе в базу отвезли меня и командира в госпиталь. Положили в одну палату. Пришли врачи, поглядели — мне новую повязку приказали наложить, а Солодушенко тут же свезли в операционную. Лежал он без сознания и весь белый, как мукой обсыпанный. Врач мне сказал, что командирское дело плохо. «По правилам, говорит, конечно, операцию полагается сделать, но только вряд ли командир выживет». Однако все же с операции принесли его в палату, положили на койку. Два дня пролежал — ни живой ни мертвый. Только пузырь со льдом все время сестры ему на животе меняли.

На третий день открыл глаза и с этой минуты стал поправляться. Профессор наш, главный врач, только плечами пожимал. Сам не верил в такую удачу медицины. Когда капитан-лейтенанта на стол клали в операционной, не верил профессор, что выживет человек с такой раной.

А в недалеком времени просто узнать нельзя было Солодушенко. Нос в прежний вид пришел, на лице краска появилась. Но все же лежал командир молча и по-прежнему куда-то очень далеко смотрел. И все край одеяла пальцами перебирал.

Мы старались, чтоб ему беспокойно не было. Кроме него, нас в палате пятеро было. Все ходячие... Так мы между собой шепотом разговаривали, а то и вовсе старались в курилку уйти и там сидеть. Все-таки в палате больше воздуха будет.

В конце недели приходит утром профессор на обход. Посмотрел нашего капитан-лейтенанта, прослушал, прощупал и в усы усмехнулся.

— Ну,— говорит,— позвольте мне, старику, вас сердечно поздравить, товарищ капитан-лейтенант. Разом и себя и вас поздравляю. Почти с того света вы вернулись и теперь жить, наверное, будете долго. Прямо говорю: вопреки всем ожиданиям выжили. Или счастье ваше такое, или очень уж здоровая и жизнедеятельная кровь у вашего донора оказалась. Должны вы ему сказать спасибо.

Тут Солодушенко впервые чуть улыбнулся, так, одним уголком, и отвечает:

— Рад бы, профессор, поблагодарить, да ведь не знаю кого.

— Это дело простое.— Профессор поворачивается к старшей сестре и приказывает:— Пройдите ко мне в кабинет, откройте бювар, там сверху этикетка лежит, которую я от банки с кровью отклеил. Тащите сюда!

Через минуту сестра возвращается и подает профессору этикетку. Он ее протягивает капитан-лейтенанту.

— Вот вам,— говорит,— и имя вашего ангела-хранителя и адрес. Все тут.

Капитан-лейтенант берет двумя пальцами, подносит к глазам... И сразу дернулся, как от судороги, вытянулся и упал на подушку. И снова синевато-белый стал, будто опять его мукой осыпали. Лежит с виду мертвый.

Профессор увидел и закричал не своим голосом:

— Шприц с камфарой! Моментально!

Началась суматоха. Врачи койку окружили. А я вижу — этикетка эта самая, которую профессор капитан-лейтенанту дал, выпала у него из руки и лежит на полу у койки. Дай, думаю, подберу, а то затопчут.

Нагнулся и поднял без всякого подозрения, просто чтоб не пропала. Но любопытства ради читаю, что там написано. И вижу:

«Группа крови вторая... Донор Платова Евгения Михайловна... Адрес...»

И еще не дочитал я, как меня жаром опахнуло... Платова... Евгения Михайловна... Да ведь это и есть та самая жена капитан-лейтенанта, его Женечка, которую он без конца искал и найти не мог.

Сижу я обалделый, на бумажку уставился не мигая, как сыч на солнце, и думаю: «Ну и история! Ну и проис-

шествие... Ведь нарочно такого не придумаешь. Как в сказке».

А тем временем капитан-лейтенанту камфару впрыснули, профессор его руку держит, пульс отсчитывает и сам с собой говорит:

— В чем дело? Понять не могу, почему такой внезапный припадок...

Тогда я показываю ему бумажку:

— Разрешите доложить, товарищ дивврач.

И рассказываю все, что мне известно. Профессор, врачи, сестры, раненые — все слушают, рты раскрыв. Профессор наконец покачал головой и сказал задумчиво:

— Второе чудо подряд с этим человеком. Первое — что он вообще выжил, а второе — вот эта бумажка. Вот и не верьте после этого чудесам.

Часа через полтора капитан-лейтенант совсем оправился. Лежал тихо и все улыбался. Так и заснул в эту ночь с улыбкой.

А спустя дней десять, только что мы с обеда в палату вернулись, как появляется на пороге высокая женщина в белом халате. Глаза синие, волосы пшеничным снопом. Быстро окинула глазами палату, нас всех, увидела капитан-лейтенанта, рванулась и, как ветер бесшумный, пронеслась к его койке. Упала на колени и голову ему на грудь. Видно, как дрожит вся. А он взял эту голову в ладони, притянул к себе и молчит. Только шумно так дышит.

Ну, неловко мне стало. Поднялся я с койки и потихоньку побрел в курилку.

Сентябрь 1941 г.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

Это было на первых боевых стрельбах из винтовки. Старший лейтенант Воронков с очень неприятной усмешкой осмотрел мою целехонькую мишень и, поджав губы, сказал без раздражения, но очень сухо:

— Интересно! Пошли ваши пульки купить у бабки простокваши.

И под оскорбительный гогот всего взвода старший лейтенант махнул рукой на лежащую за стрельбищем деревушку, где мы действительно добывали густую, жирную простоквашу.

Я стоял красный и злой, стиснув пальцами дульную накладку винтовки. Шутка старшего лейтенанта показалась мне плоской. Я не испытывал особого огорчения от своей неудачи. В конце концов, в жизни я готовился стать архитектором, а не стрелком. Мне казалось важнее знать каноны Витрувия и Палладия, чем попадать из винтовки в безобразно размалеванный кусок фанеры, изображающий голову и плечи пехотинца фантастической армии.

Когда мы вернулись со стрельбища на корабль, Воронков приказал мне явиться после обеда к нему в каюту.

Я пришел обиженный. Разговор был малоприятный. Лейтенант уже не шутил. Строго и серьезно он сказал мне, что я позорю не только взвод, но и весь корабль и что стыдно мне, интеллигенту, стрелять хуже колхозных ребят.

— Вы, я вижу, считаете свою стрельбу нормальной... Но этот номер не пройдет. Я буду заниматься с вами отдельно, и не будь я командир, если я не сделаю из вас снайпера.

Я хотел возразить, что репутация снайпера мало прельщает меня, но, взглянув на лейтенанта, удержался. Я понял, что подобная философия не будет одобрена, и попросил разрешения быть свободным.

С этого дня началось мое мучение. Когда остальные товарищи отдыхали от занятий, читали, пели, развлекались, я часами торчал у прицельного станка под неусыпным наблюдением старшего лейтенанта. Я без конца наводил винтовку с зеркальцем и без зеркальца, спускал курок и докладывал, куда в момент спуска увалилось дуло: вправо, влево, вверх, вниз... День ото дня мои упражнения становились все длительнее и сложнее. Я изучал прицелы простые и оптические, деривации, траектории, влияние на полет пули атмосферных и температурных условий и прочую баллистическую премудрость. Напрасно я надеялся, что лейтенанту наконец надоест возиться со мной. Ведь я отнимал у него часы досуга, а Воронков был немногим старше меня, любил повеселиться и поухаживать за девушками. Но он оставался неумолимым и не пропускал ни одного дня без занятий.

Я похудел. По ночам меня начали преследовать кошмары. Моя винтовка разгуливала по кубрику на коротких кривых ножках, приросших к прикладу. Она подходила к моей койке, любезно кивала штыком и, срывая рукоятью затвора с меня одеяло, приглашала прогуляться с ней под руку в тир. Шла неделя за неделей. И на следующих стрельбах я выбил максимальное количество очков.

Как ни странно, несмотря на возросшую неприязнь к винтовке, я посмотрел на нее после этих стрельб с непонятной симпатией и гордостью. Я ждал похвалы лейтенанта.

Но он твердо вел свою линию. Подсчитав мои очки, он обронил с кривой улыбочкой:

— Плоховато! Всякий новичок так может.

Я рассвирепел. Теперь уже во мне взыграло разъяренное самолюбие. Я решил показать лейтенанту Воронкову, на что способен потомственный интеллигент. Уже без всякого принуждения, по собственному почину, я снова проводил долгие часы у прицельного станка и зубрил

пособия и руководства по стрельбе из нарезного оружия, которые удалось добыть в библиотеке ДКАФ. Старший лейтенант делал вид, что не замечает моего рвения.

Весной я заявил ему, что берусь три раза подряд выбить полные очки по любому упражнению. Воронков пожал плечами и заметил, что самомнение всегда казалось ему моим неотъемлемым и худшим качеством. Тогда я предложил ему пари на два кило шоколада «ассорти». Против ожидания, он принял пари.

Утром мы отправились в тир. Лейтенант поставил мне на двести метров выскакивающую головную мишень, в которую я должен был трижды выпустить по пяти патронов. Я укладывался на валик не без волнения. Еле заметная точка выскакивала вдалеке на короткие мгновения. Когда в стенах тира замер отгул последнего выстрела, мы пошли к мишени. Я предоставил лейтенанту сидеть на корточках и считать пробоины, а сам стоял, победоносно усмехаясь, хотя на душе у меня скребли кошки. Когда лейтенант поднялся, лицо у него было смущенное, но в зрачках бегали подозрительные искорки. Он промямлил нехотя:

— Ничего себе...

Я самонадеянно ухмыльнулся.

Ничего себе?! Это было больше, чем «ничего себе». Пятнадцать пуль легли под козырек намазанной на фанере каски в кружок диаметром не более пяти сантиметров. Некоторые пули влезали одна в другую.

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант? — сказал я.

— Разрешаю,— снисходительно ответил Воронков.

— Я хотел бы знать, зачем, собственно говоря, мне возиться с винтовкой, когда в современном морском бою нам даже не придется взяться за нее. Не будем же мы ходить на абордаж. Так на кой черт моряку винтовка, если дело решается орудийным огнем на двадцатикилометровой дистанции? Или это традиция?

Лейтенант кинул косой взгляд на мою небрежно отставленную ногу, на мою развязную позу победителя и вдруг обдал меня ледяным душем своего голоса:

— Станьте как следует, когда разговариваете с командиром! Где ваша ножка? Это вам не балет «Лебединое озеро»! И отучитесь задавать такие вопросы. Винтовка пригодится в будущих боях не меньше наших пушек.

Он повернулся и пошел из тира. На ходу, не оборачиваясь, крикнул:

— Хорошенько вычистите винтовку! Завтра явитесь ко мне за получением шоколада. Пари есть пари, поскольку я имел неосторожность его допустить.

Два кило «ассорти» я разделил с одновзводцами. Мы съели его, посмеиваясь над лейтенантом. Я перестал обращаться к нему вне службы. Он показался мне сухим формалистом, неспособным понять большие движения человеческой души. И то, что приказом я был зачислен в снайперскую команду, не примирило меня с ним.

На второй месяц войны нас неожиданно сняли с корабля и вместе с другими экипажами отправили ликвидировать немецкий танковый прорыв под Кундой. Ночью мы сменили на позиции ослабленную в боях пехотную часть. Позиция тянулась по правому берегу узкой речонки Сельи, по которой свободно бродили эстонские куры, нагло не признавая состояния войны. На рассвете старший лейтенант Воронков вызвал к себе троих снайперов роты.

— На берегу для вас подготовлены гнезда. Сейчас займете их по порядку номеров. На той стороне Сельи противник. Вести наблюдение. Кто покажется в пределах досягаемости — снимать. Бить наверняка. За бесцельную стрельбу буду драить нещадно.

Мы поползли, каждый к своему гнезду. Я пробирался между лайковыми стволами берез в мокрой, душистой траве. Брюки и фланелька спереди мгновенно промокли насквозь. Но я не обращал на это внимания. Я бережно тащил свою снайперскую винтовку, остерегаясь задеть ею мельчайшую веточку. Роща оборвалась. Шагах в десяти, над самым обрывом берега, я приметил свежую желтизну земли у корявого пня. Это было мое гнездо. Вжимаясь в траву, я подполз к нему. Гнездо было оборудовано под корнями срубленной ели. Я забрался в него, просунул винтовку между скрюченными отростками корней и осторожно снял кожаный чехол с оптического прицела. Улегшись поудобнее, я прилип к окуляру.

За мерцающей узкой чешуей речки лежал такой же песчаный берег с редкими березками. Сквозь их лихорадящую от ветерка листву вдали виднелись два полуразваленных сарая. По указаниям лейтенанта, там, у околицы деревни, предполагались моторазъезды немцев. От одного из сараев отходила обычная деревенская изгородь

из прясел, приколоченных к кольям. Я медленно вел дуло винтовки вдоль этой изгороди и совсем неожиданно в разрыве листвы увидел его. Он вышел из-за сарая неторопливо и спокойно, видимо никак не предполагая близости врага. Вдавив бровь в окуляр, я рассматривал его. Сердце билось у меня не чаще, чем обычно, но очень тугими толчками. Мощная оптика прицела так приближала врага, что, казалось, протяни я руку, и она упрется в его плечо. На нем был серый однобортный мундирчик, узкий в плечах, широкие штаны, заправленные в низкие голенища. На плечах — погончики с фельдфебельским кантом. Стальная каска с тупыми рожками покрывала голову. Он прошел шагов десять и присел на прясло. Я видел его лицо с небритой порослью, унылый нос, вытянутый, как у борзой, пуговицы, медную пряжку пояса, ушки, вылезшие из голенищ. Острый треугольник моей мушки жадно ползал по его телу, ощупывая его.

Он оглянулся назад, на сарай, с опасливой миной зверька, вылезшего на открытое место в лесу. Вынув из кармана грязный платок с голубой каемкой, он с аккуратностью хрестоматийного Ганса расправил его на коленях. Потом полез за пазуху, долго копался там и наконец выложил на платок плоский бумажный кулечек. Он развернул бумагу, и на солнце что-то блеснуло желто и остро. Я навел мушку в центр платка и увидел золото.

На полуторастаметровой дистанции я различал золотые вещички, разложенные на платке, так четко, как будто они лежали на моих коленях. Он медленно перебирал драгоценности. Поднимал к лицу, видимо любуясь их блеском, снова опускал на платок. Наконец он тщательно завязал кончики платка и отправил сверток за пазуху.

Теперь он повернулся ко мне грудью. На сером сукне мундира над грудным карманом тускло блеснул железный крест.

Он поднял правую руку и стал похлопывать пальцем по кресту, забавляясь им. Очевидно, в его сознании этот четырехконечный кусочек металла как-то связывался с металлическими игрушками, которыми он только что тешился.

У меня уже болели глаза от напряжения, но я ни на миг не выпускал его из поля зрения... Вот он сидит передо мной на другом берегу эстонской речонки, «германский рыцарь»,

С чьей груди рвал он броши, чьи руки ломал, сдергивая часы, в чей живот всаживал штык, сдирая цепочку? На чью голову опускался приклад этого вора?

Плечи у меня затряслись неожиданной крупной дрожью. Должно быть, я сильно промок, ползая в траве. Эту дрожь нужно было подавить. Она могла испортить мне выстрел. Я несколько раз глубоко и медленно вдохнул хвойный воздух июльского утра. Потом продвинул мушку к ордену. Острие конуса остановилось под центральным кружком креста. Но я еще не стрелял. Я хотел быть совсем спокойным при спуске курка.

Склонив голову набок, он сжимал крест между большим и указательным пальцами. Он наслаждался им.

Вздохнув в последний раз, я очень осторожно и плавно потянул крючок. Выстрела я не слышал, лишь ощутил сильный толчок отдачи. Видимо, я весь переключился в зрение. И ясно видел, как пуля вышибла крест из его пальцев. Еще не понимая, что это смерть, он сделал невольное движение вновь поймать этот кусочек металла. Но скрюченные пальцы схватили воздух, и рука впилась в мундир, как будто силясь разорвать сукно. Ладонь сползла с груди, и окуляр показал мне смятый моей пулей крест. Фашист медленно повалился через жердь на спину. Окованные каблуки его заскребли землю, вырывая траву...

Я окончил архитектурный институт. Вечерами я люблю читать у себя в комнате стихи Блока. И я ненавижу убийство.

Но я ощутил гордое удовлетворение, уничтожив эту человекоподобную мразь.

Мне лишь досадно, что я не мог перебраться на тот берег Сельги, снять с мертвеца клейменный моей пулей крест и принести его в роту. Мне хотелось подарить его старшему лейтенанту Воронкову в благодарность за то, что он сделал меня снайпером, и в память рождения во мне неугасимой ненависти бойца, которая дала меткость моему глазу и твердость руке.

Сентябрь 1941 г.

ПОДВИГ

Несчастье случилось в шесть ноль-ноль.

Оно было записано в вахтенном журнале эскадренного миноносца с исчерпывающей жесткой точностью: «6.00. «Стремительный» подорвался на минной банке на траверзе маяка Лонгрунд. По донесению командира, держится на плаву. Убитых семь, раненых шестнадцать. Командир соединения приказал: «Стремительному» остаться на месте, остальным продолжать операцию».

Это было все, что занесла в журнал вздрагивающая от волнения рука вахтенного командира «Сурового». Вахтенный журнал не знает чувств и эмоций. Он отражает только факты.

Если же рассказать последовательно, дело было так.

За несколько минут до шести командир соединения капитан второго ранга Маглидзе приказал поднять сигнал: «Поворот последовательно влево на 8 румбов». «Смелый» и «Стремительный», шедшие в кильватере за флагманом, отрепетовали сигнал. Цветные флажки резво затрепетали по ветру на ноках усов и слетели вниз. На «Суровом» одновременно с началом поворота взвился «исполнительный». Эсминец круто покатился влево. Отброшенная заносящейся кормой, сердито зашипела и заплескалась пена.

Капитан второго ранга Маглидзе перешел на левое крыло мостика, наблюдая за выполнением поворота кораблями. «Смелый», идя в кормовой струе флагмана, точно повернул в том месте, где эта струя образовывала

крутой изгиб бледно-зеленой, пенистой от воздушных пузырьков воды. «Стремительный» с разбегу проскочил точку поворота, и Маглидзе поморщился. Он не любил небрежности в эволюциях. В море каждое движение корабля и человека должно быть выверено до микрона.

«Резвится, как рысак,— с неодобрением подумал он о командире «Стремительного».— А зачем резвится? Море — не ипподром и...»

Но не успел додумать. Из-под форштевня «Стремительного» упругим белым столбом рванулась кверху вода. Столб этот вспух у основания кипящим куполом.

Сквозь него сверкнуло желтое пламя, выбросив второй столб, уже черный от дыма. Он заволок весь корабль, и тотчас же в уши стоящих на мостике «Сурового» ударило плотным раскатом взрыва.

Штурман, подскочив к переднему обвесу, заметил, как судорожно скрючились пальцы командира соединения на поручнях мостика и как посинели ногти на этих стиснутых пальцах.

Туча воды и дыма опала с шуршанием и плеском. Из нее медленно выползал корпус «Стремительного». Его носовая часть была оторвана до мостика. Отделенный от корабля полубак быстро уходил в клокочущий водоворот. Изогнутый взрывом гюйсшток продержался еще секунду над водой. Потом и его захлестнула волна.

«Стремительный» вышел из дыма весь и стоял с небольшим дифферентом на нос. «Суровый» и «Смелый», убавив ход, держались на последнем курсе. С них хорошо был виден исковерканный мостик «Стремительного». По завернутому в железный рулон настилу палубы под мостиком карабкалась чья-то фигура.

— Разрешите застопорить и спустить шлюпки? — неестественно громко и, от волнения пропустив титулование, спросил у Маглидзе командир «Сурового» капитан-лейтенант Голиков, не отрывая взгляда от подорванного эсминца.

— Не разрешаю!

Маглидзе резко сбросил руки со стоек, как будто обжегся.

— Удивляюсь, товарищ капитан-лейтенант! Вы не первый год на службе и должны бы знать боевые инструкции.

Капитан-лейтенант Голиков покраснел. Боевые инструкции он помнил наизусть и знал, что они запрещают в такой обстановке задерживаться и спускать шлюпки

для подачи подорванному кораблю, следующему в составе соединения. Это был суровый, прозаический закон новой морской войны, который навсегда отменил жертвенную традицию прошлого. Кодекс благородного самопожертвования был опорочен во всех флотах с того сентябрьского дня четырнадцатого года, когда подводная лодка Отто Веддигена тремя последовательными атаками отправила на дно три британских крейсера. Крейсера неподвижно стояли на месте и спасали людей с подорванного первым «Хэга». И один за другим разделили его судьбу.

Капитан-лейтенант Голиков теоретически понимал всю целесообразность суровой инструкции, но сейчас, перед лицом гибели товарища, он на мгновение усомнился в ней. Замечание командира соединения вернуло ему ясность мысли. Лучше потерять один корабль, чем три. Дело сводилось к тактической арифметике.

— Запросите «Стремительный» о повреждениях и сумеет ли он справиться? — приказал Маглидзе.

Старший сигнальщик с необыкновенной быстротой отмахал флажками вопрос. Ответ на мостике «Сурового» читали все, с тоскливым напряжением, по буквам, беззвучно шевеля губами.

— О-т-о-р-в-а-н п-о-л-у-б-а-к... Пе-ре-бор-ка первой кочегарки вдавлена. Течь незначительна... полагаю возможным удержаться на плаву своими средствами.

Сдвинутые брови командира соединения разошлись.

— Отлично! — сказал он.— Передайте: «Приказываю оставаться на месте, ожидать возвращения отряда».

— Есть!

Голиков поглядел в сторону «Стремительного». Изуродованный корабль тихо покачивался на пологой зыби. Голиков подумал о командире «Стремительного» Васе Калинине, о незабвенных годах морского училища и тихо вздохнул. Скучно сидеть в одиночестве, среди пустого моря, на искалеченном корабле, ожидая, что любая забредшая в район происшествия вражеская подводная лодка окончательно может отправить тебя на кормежку ракам. Надо же попытаться хоть что-нибудь сделать для облегчения этой пытки друга.

— Товарищ капитан второго ранга,— нерешительно предложил Голиков,— может быть, радировать базе, чтобы выслали поддержку?

— Не разрешаю,— вторично отрезал Маглидзе.— Операция продолжается. Натрещим в эфире, немцы запелен-

гуют, и получится лишняя хурда-мурда. А нам нужно ставить заграждение. Это основная наша задача. Забыли, чем мы нагружены? Повезло «Стремительному», что напоролся носом. А если бы кормой?.. Ну, так пусть поскучает.

Капитан-лейтенант Голиков сразу вспомнил о грузе и ощутил противный холодок, иголочками проползший под кителем. На корме «Стремительного», как и на других эсминцах, стояли на рельсах готовые к сбросу мины. Если бы они рванули от детонации...

Голиков поежился и в раздумье тряхнул головой.

«Впрочем, погода тихая, неприятельские подлодки здесь особенно не разгуляются — мелководье. А мы больше трех часов не провозимся, так что успеем вернуться и подать Васе кончик, если он продержится... А если нет? Если сдаст переборка? Шлюпки, наверно, искалечены взрывом, придется плавать с поясами и капкой. Но долго ли проплаваешь?»

Голиков сердито отвернулся от уменьшающегося силуэта покидаемого эсминца. Больно покидать товарища в беде, но этого требует железная необходимость войны. Нужно делать свое дело. Нужно думать о своем корабле и своих людях.

— За секторами внимательно смотреть! — крикнул он наблюдателям, и те одновременно отозвались не веселыми, как всегда, а приглушенно-серьезными голосами:

— Есть за секторами внимательно смотреть!

Голиков искоса взглянул на командира соединения. Тот стоял, посасывая трубку, немного грузный от возраста, сорокадвухлетний человек, с неподвижным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть.

«Каменный характер,— внутренне возмутился Голиков.— Не волнуется даже».

Но он ошибался. Штурман, который подметил внезапную судорогу пальцев командира соединения в момент взрыва «Стремительного», мог бы сказать ему об этом.

Командир соединения волновался. И со вчерашнего вечера, когда пришлось грузить мины не в оборудованной гавани, которую третьи сутки бомбили вражеские самолеты, а в глухой бухточке, где не было никаких приспособлений и мины втаскивали на палубы вручную, это волнение не прекращалось ни на секунду. Командир соединения даже не вздремнул в эту тревожную белую ночь, в сумраке которой краснофлотцы, крякая от натуги, волокли

по мосткам угрюмые черные шары, начиненные гремучей смертью. Он волновался за этих трудолюбивых, как муравьи, молодых ребят, за свои корабли, за успех намеченной операции. И несчастье со «Стремительным» еще больше взволновало его прежде всего потому, что оно произошло с кораблем его любимца, самого лихого командира эсминца на всей Балтике. И еще потому, что оно ставило под угрозу результат похода. Вместо положенного количества мин приходилось теперь ставить на одну треть меньше, а это уже на треть уменьшало вероятность гибели неприятельских кораблей на заграждении. Командир соединения волновался за всех и только не за себя. О себе он привык не думать.

Он оглянулся на чуть видный за кормой силуэт «Стремительного».

Дрянной щенок! Прекрасный моряк, но чересчур самонадеян... Этому ли он, капитан второго ранга Маглидзе, учил своих командиров... Вчера он радовался, что командир «Стремительного» первым закончил погрузку мин, намного обогнав остальных... А теперь?

Маглидзе шагнул к обвесу и свирепо выколотил пепел из трубки в отрезок снарядной гильзы, приспособленный под пепельницу.

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта старший краснофлотец Рудняк. Его голос прозвенел неожиданно резко в тишине мостика, нарушаемой только сухим шелестом вспарываемой эсминцем воды.

— Справа по носу, курсовой десять — дым!

Вытянутая рука Рудняка указала направление.

Маглидзе, Голиков и штурман разом вскинули бинокли. И в окулярах у всех троих обнаружилось одно и то же: палево-голубая, бледная полоска горизонта, дрожь нагретого воздуха над ней и в этих плывущих струйках еле заметное мутно-серое облачко.

Маглидзе опустил бинокль. Горбоносое лицо его с тяжелым подбородком — от загара оно превратилось в закопченную бронзу — еще больше затвердело и отяжелело.

— Боевую тревогу! — обронил он Голикову.

По корпусу корабля горячечным трепетом промчались звуки колоколов громкого боя. Они еще бились и дребезжали, а уже, глуша их, по палубам и трапам раскатывался грохот каблуков. Расчеты орудий торопливо

снимали брезенты со снарядов и пороховых картузов. Медные головки снарядов заблестели под солнцем. Орудия медленно и бесшумно развернулись на правый борт, задрав в синеву длинные стволы. Было похоже, что эсминец, как осторожный жук, высунул наружу чуткие усики и прощупывает ими воздух. На корабле стало тихо, как в поле перед грозой.

Флагманский артиллерист, старший лейтенант Слинько, очень юный, с нежным яблочным румянцем, какой бывает только у девушек, подымался в башенку поста управления огнем, цепляясь рукой за перила скобчатого трапа. Наверху он задержался и посмотрел в бинокль.

— Вижу мачты, товарищ капитан второго ранга,— сказал он, не опуская бинокля.

— Сколько? — спросил Маглидзе.

— Две... высокие. Судя по типу мачт — вспомогательный крейсер. А сзади еще два дыма. Копеечные у них механики, товарищ капитан второго ранга, не могут без дыма ходить, коптят, как самовары.

— Ладно,— ответил Маглидзе,— займитесь делом.

Артиллерист нырнул в люк башенки, Маглидзе вглядывался в голубеющее марево горизонта.

Вот этот день! День большого и ответственного дела. Сколько он ждал его? Двадцать лет, со дня выпуска из училища и до этого вот солнечного июльского утра. Каждый год ему, Маглидзе, приходилось осенью смотреть на такие же вот дымки, на медленно встающие из-за горизонта мачты и корпуса, давать боевую тревогу, обдумывать сближение, определять курсы противника и свои, приказывать открывать огонь, маневрировать в бою.

Но всегда враг был только условностью игры. Орудия выбрасывали пламя и гром, но пламя и гром были безвредны, как бенгальский огонь на семейном празднике. И после боя враги мирно сидели рядом в салоне комфлота, попивая чай и обсуждая процент попаданий и вероятность гибели корабля. Самые неприятные результаты ошибок выражались только в выговорах и замечаниях комфлота.

Сейчас каждая ошибка грозила катастрофой сотням людей и кораблям. И это была уже не условная, а настоящая гибель, с кровью и страданиями. И от него, командира соединения, теперь зависело, чтобы эта гибель обрушилась не на его, а на вражеские корабли. За каждой оплошностью стояла сумрачная тень смерти.

Незначительная оплошность командира «Стремительного», который проскочил из-за чрезмерной лихости на полкабельтова точку поворота, уже повлекла за собой несчастье для корабля и людей. Сейчас каждое движение должно быть предельно точным, каждая мысль мгновенно продуманной до конца. А времени думать было мало, мучительно мало. Современный морской бой дает на это не минуты и даже не секунды, а доли секунды.

Возбужденный голос артиллериста, который высунулся по пояс из люка башенки, оторвал командира соединения от размышлений.

— Товарищ капитан второго ранга,— частил артиллерист,— я определил противника в дальномер. Вспомогательный крейсер тысяч на шесть тонн и два «ягуара». Идут курсом шестьдесят пять, кильватерной колонной. Дистанция двести двадцать.

Доложив командиру, старший лейтенант снова скрылся в люке.

Маглидзе снял фуражку и пригладил потные волосы. Потом взглянул на ходовой компас. Стрелка картушки дрожала на 190. «Суровый» расходился с противником. Нужно было ворочать на пересечку курса.

— Право руля! Курс триста тридцать! — приказал он штурману.

«Суровый» накренился. Всех на мостике мотнуло к правому борту.

— Противник открыл огонь! Вижу вспышки! — крикнул Рудняк.

Штурман высоко поднял узкие мальчишеские плечи.

— Обалдели, что ли, немчики? — произнес он врастяжку, улыбаясь толстогубым ртом.— Открыть огонь с такой дистанции.

Штурману было непонятно поведение врага. Четырехдюймовые пушки немецких эсминцев едва могли добросить снаряд на половину расстояния между врагами. Даже если предположить, что на немецком крейсере есть шестидюймовки, то и в этом случае они могли бить не дальше чем на сто тридцать кабельтовых. А дистанция была еще больше двухсот. Даже падения неприятельских снарядов еле видны.

Но командир соединения видел дальше и глубже лейтенанта и уже разгадывал секрет этой бессмысленной стрельбы. Мысль его стала холодной, ясной и как бы раздвоенной. Он одновременно думал и за себя и за неизвест-

ного человека, стоящего там, на чужом мостике, и тоже старающегося угадать мысли советского командира. И важно было опередить врага в отгадывании мыслей и намерений.

— Ясно! — сказал Маглидзе.— Все ясно. На пушку берут, сукины дети, гитлеровские фокусники. В игрушки играются.

— Не понимаю, товарищ капитан второго ранга,— покосился на него штурман,— чего им хочется? Что за комедия?

— Комедия простая, как гвоздь, штурман,— ласково сказал Маглидзе лейтенанту.— Из данных своей разведки они, возможно, подозревают, что мы идем ставить заграждение, ну и берут на испуг. Авось мы сдрейфим и дадим драпу, чтобы не принимать бой с полным грузом мин на палубе. Вот и лупят с такого расстояния, чтобы вогнать нас в дрожь фейерверком. Понятно?

— Ну и ослы! — искренне восхитился штурман.— Вот это ослы! Чистой арийской породы!

Маглидзе продолжал наблюдать за неприятельскими кораблями. Бледно-соломенные огни залпов вспыхивали над их уже заметными корпусами. Дистанция на встречных курсах сокращалась быстро, и теперь отчетливо видны были фонтаны падений немецких снарядов, ложащихся с громадными недолетами.

— Товарищ вахтенный командир,— сказал Маглидзе,— отправить радио командующему воздушными силами базы. Пусть подошлет бомбардировщики. Веселей будет. Дайте точное место.— Вахтенный командир записал приказание в блокнот, вырвал листок, и рассыльный слетел по трапу вниз в радиорубку.

— Противник ворочает влево,— доложили наблюдатели.

— Ага, не выгорело,— Маглидзе усмехнулся, подняв брови. Лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым.— Ага,— повторил он,— не вышли штучки. Мореплаватели высшей породы дерут нах хаузе... Что ж, погоняемся! Больше ход!

Ему стало весело. Чужой человек на чужом мостике промахнулся. Игру он начал неверным ходом и потерял качество. Теперь он спасает свою шкуру, этот незадачливый игрок. Он хотел озадачить его, Маглидзе, своим нахальством и не сумел. Теперь ему приходится удирать от расплаты.

Не дать ему уйти! Не позволить ему больше ставить ставки на смерть и разрушение! Уничтожить! Вот в чем была сейчас задача.

— Самый полный ход! — скомандовал Маглидзе.

По тому, как мгновенно набран был сигнал, как мелькали руки сигнальщиков, выбирая фалы, по блеску их глаз Маглидзе понял, что на «Суровом» все захвачены одним жадным и острым желанием — не выпустить врага.

«Суровый» задрожал от напряжения машин. Оба эсминца, наседая на уходящих немцев, неслись на зюйдвест. Могуче и густо ревели форсунки, заглушая свист ветра, и над широким горлом трубы плясал и бился раскаленный воздух. Ветер стал тягучим и плотным, как резина. Он с силой влезал в ноздри, в рот, слезил глаза.

Расстояние сокращалось. В бинокли уже ясно видна была высокая корма теплохода, превращенного немцами во вспомогательный крейсер. Два эсминца, зарываясь носами в буруны, бежали за ним. Теперь их орудия молчали. Они прекратили огонь после поворота. Их игра была разгадана на мостике «Сурового». Они поняли это и ждали сближения на дистанцию действительного огня, когда им придется защищаться в схватке насмерть.

Из башенки поста управления огнем опять показался артиллерист. Ветер сорвал с него фуражку, и она висела у него на затылке, поддерживаемая подбородным ремешком.

— Дистанция сто двадцать, товарищ капитан второго ранга,— закричал он во всю силу легких, чтобы перекричать ветер и вой форсунок.— Разрешите открыть огонь?

Командир соединения посмотрел на веселое лицо артиллериста. Молодость!

Двадцать лет назад и сам он был таким, нетерпеливым и буйным. Сейчас годы и опыт лежат на плечах грузом ответственности. А пожалуй, он немного завидует этой прекрасной и жадной молодости. Маглидзе поманил артиллериста пальцем, и тот быстро скатился по перекладинам трапа на мостик.

— Очень горячий! — сказал командир соединения, положив руку на плечо лейтенанта и любуясь юношеским задором.— Очень... Артиллерист, дорогой мой, должен быть не только хорошим артиллеристом. Он должен и рассуждать. Иногда можно не жалеть снарядов, когда мас-

сированный огонь может сразу решить судьбу боя. Иногда нужно и поберечь снаряды. Они народу много стоят. Если можете гарантировать, что накроете с первого залпа,— разрешаю. Нет,— подождите. Они от нас не уйдут. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан второго ранга, — артиллерист улыбнулся.— Разрешите доложить! С этой дистанции не ручаюсь, но со ста разрешите открыть огонь?

— Добро! — ответил командир соединения и тоже улыбнулся.

Немецкие эсминцы дымили вовсю, стремясь выжать предельный ход. Теперь они выдвинулись вперед и бежали по бокам крейсера, как две собаки, гуляющие с хозяином.

— Собаки! Песьи души! — сказал вслух Маглидзе, и неожиданно ему вспомнились гневные, полные брезгливого презрения слова Маркса о рыцарях Тевтонского ордена. Прохвосты опять лезут к русской земле? Хорошо! Они будут выкупаны в русской воде.

Внезапно бинокль больно ударил его по надбровью. В лицо пахнуло жаром и мелкой пылью пороховой гари. Грохнул первый залп «Сурового». Не отнимая бинокля от глаз, Маглидзе потер пальцем ушибленное место и следил за падением снаряда. Как справится артиллерист? И в ответ на этот вопрос у корпуса немецкого эсминца, шедшего слева от крейсера, прыгнули вверх два белых столба, а в самом корпусе мигнуло темно-красное пламя разрыва.

— Два накрытия, одно попадание! — услышал командир соединения согласный вскрик наблюдателей.

Он взглянул вниз, на полубак. Расчет носового орудия стоял на местах, ожидая ревуна для нового залпа. Лица краснофлотцев были осветлены особенным, необычным напряжением. И оно передалось командиру соединения. Он любовно смотрел на краснофлотцев. Как и командиры «Сурового», они тоже были его учениками и воспитанниками, учениками и воспитанниками оставленной за кормой большой и любимой земли. Вместе с ним они стояли на боевом посту, вместе с ним нетерпеливо ждали конца этой неутомимой, яростной погони за теми, кто осмелился стать поперек счастью родины.

Завыли ревуны. Прозрачным огненным облаком полыхнуло орудийное дуло. Пушка рванулась назад, но, сдержанная компрессором, послушно вернулась на место.

Лязгнул затвор, и в ствол, шипя, ворвался сжатый воздух, выдувая нагар. Наводчик приник к козырьку прицела, вращая штурвальчик.

Командир соединения снова взялся за бинокль, ловя в окуляр серую тень немецкого эсминца. И едва поймал, как ее застлало зыбкой пеленой пламени. Она переметнулась с носа на корму, погасла, но сейчас же вновь вырвалась изнутри корпуса могучим веером, взметнув в небо кудлатую тучу распухающего рыжего дыма. Эта туча отползала назад, открывая пенящиеся водометы.

На мостике «Сурового» раскатилось «ура». Кричали наблюдатели, сигнальщики, старшины, командиры. Кричал, размахивая фуражкой, молчаливый, всегда сдержанный Голиков. И командир соединения даже удивился, поняв, что сам участвует в этом стихийном радостном хоре.

Он взглянул на часы. От первого залпа до гибели вражеского корабля протекло минута пятьдесят восемь секунд. Артиллерист правильно понимал темп морского боя, и командир соединения почувствовал гордость за своего ученика.

«Суровый» и «Смелый» перенесли огонь на второй немецкий эсминец. Он метался зигзагами, как заяц на травле, заливаемый всплесками от падений. Огни его залпов мигали с лихорадочной быстротой. Он загнанно огрызался.

В лицо командиру соединения хлестнула упругая масса холодной, колющей кожу влаги. Она шумно разлилась по мостику, окатывая людей. Маглидзе попятился. Отряхнув брызги с кителя, увидел опадающую вдоль борта струю вспененной воды и привычно определил: «Накрытие шестидюймовым у самого борта». Это пристреливался немецкий крейсер, защищая своего сторожевого пса. И мысль командира соединения автоматически реагировала на этот вызов.

— Перенос огня на крейсер противника,— крикнул он Голикову и, вынув платок, тщательно стер лицо от соленых капель.

Наблюдатели доложили о появлении самолетов за кормой.

На бледно-золотой от солнца восточной стороне неба прорезались чуть различимые черные черточки.

«Свои или нет?» — подумал Маглидзе.

Весь мостик неотрывно следил, как перемещались в небе эти крошечные черточки. От них зависело разрешение событий. Если самолеты окажутся вражескими, придется прекратить преследование и выпустить врага. Если свои, они могут помочь быстро закончить бой, который становится затяжным. Дальнобойные пушки крейсера заставили командира соединения оттянуться назад и держаться на предельной дистанции огня. Это расстраивало стрельбу. Снаряды эсминцев по-прежнему часто накрывали неприятеля, но попадания стали единичными. А увлекаться долгим преследованием не приходилось. Маглидзе ясно угадывал мысли немецкого флагмана. Чем дальше он завлечет советские корабли, тем выгоднее для него. Во-первых, он отвлекает их от непосредственной задачи — постановки минного заграждения. Во-вторых, затягивает их к своей базе, а оттуда уже должны спешить на помощь. Рации немецких кораблей беспрерывно просили о поддержке.

Но командир соединения не намеревался доставить врагу удовольствие быть пойманным на такую глупую приманку. Если через десять минут он не прикончит немцев,— черт с ними, пусть уходят.

Самолеты приближались. Шли в боевом строю на большой высоте два звена.

Командир зенитного дивизиона, размашисто шагавший по полубаку между своими пушечками, беспокойно вскинул голову к мостику и взглянул на Маглидзе.

И тотчас же послышался бодрый возглас Рудняка:

— Самолеты свои!

На мостике облегченно вздохнули. Самолеты стремительно снижались. Они пронеслись над мачтами эсминцев, приветственно покачали крыльями с красными звездами и снова взмыли кверху, проблистав на развороте серебряным сверканием фюзеляжей. Они заходили на боевой курс для бомбометания и, обогнав «Суровый», тучей повисли над немецкими кораблями. Капитан второго ранга Маглидзе увидел, как второй немецкий эсминец исчез в облаке дыма и взметенной воды. На мостик «Сурового» донесло мощный удар воздушной волны.

«Суровый» полным ходом пронесся по водовороту, кружащему обломки. Среди них поплавками вертелись головы плавающих немцев. Они цеплялись за обломки, но беспощадная сила бушующей воды несла их под корпус

«Сурового», и они отчаянно плескали руками по воде, стараясь отгрести в сторону.

— В дым прячутся, вояки,— сказал командиру соединения Голиков.

С кормы бегущего немецкого крейсера сползала в море, ширясь и густея, плотная, как пена, завеса белого непроницаемого дыма. Она поднялась выше мачт и скрыла крейсер. В дыму ухали грузные взрывы. Самолеты неумолимо разыскивали крейсер в непроглядной пелене.

Маглидзе отвернул рукав кителя. Девять тридцать семь. Пора возвращаться! Окончание можно предоставить самолетам.

— Прекратить огонь! Отбой боевой тревоги! Боевая готовность номер два! Ворочать к точке постановки,— сказал командир соединения Голикову. И окаменелое лицо его разгладилось, помолодело. Жестокая игра в опережение чужих мыслей была выиграна.

Он представил себе томительное беспокойство и отчаяние этого чужого, угрюмо стоящего там, на мостике убегающего крейсера, в удушливом дыму завесы и взрывов, залитого водой, оглушенного, жалкого и растерзанного, и засмеялся торжествующе и зло. Командир «Сурового» удивился. Маглидзе смеялся редко.

Эсминцы описали полукруг и спокойно уходили назад. Высоко стоящее солнце заливало палубы блеском, и вода, взлетая у штевней, рассыпалась алмазной радугой.

Но командир соединения не замечал этого. С момента поворота мысль его направилась к оставленному «Стремительному». Прошло больше трех часов после аварии, постигшей эсминец. А еще предстояло ставить заграждение. Беспокойство боя кончилось, но возникало новое беспокойство — за судьбу подорванного корабля. Оно жило и во время боя, это подспудное беспокойство, но сейчас оно становилось все острее. И командир соединения не сбавлял хода эсминцев. Он торопился. Было, конечно, большим риском оставить поврежденный корабль в таком положении. Многие на месте капитана второго ранга Маглидзе, может быть, прервали бы операцию и вернулись бы в базу, прикрывая отход раненого товарища. И у кого поднялся бы голос осудить за это? Можно, конечно, не рисковать. Но разве вся морская служба не бесконечный риск? И разве без риска приходят удача и победа? Без риска нет ответственности, а к ответственности он, командир соединения, давно привык.

— Разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга,— подошел штурман.— Пришли в точку. Позволите начинать постановку?

Командир соединения молча кивнул и вдруг сладко потянулся всем телом, как после долгой, утомительной, но приятной работы.

За полчаса до взрыва командир «Стремительного» Калинин, горячий, молодой командир, прозванный за бурный темперамент «Рысаком», имел короткий, но неприятный разговор со своим комиссаром. Причиной разговора был политрук Колосовский.

Отличный командир и дельный моряк, Калинин имел слабость полагать, что во всем мире нет корабля лучше, чем его «Стремительный». И соответственно этому требовал, чтобы на эскадренном миноносце «Стремительный» все блестело, отличалось лихим морским шиком, не говорило бы, а прямо кричало о настоящей морской подтянутости и дисциплине. Комплименты своему кораблю Калинин принимал как нечто должное, как дань восхищения образцовой морской службе.

Поэтому Калинин не переносил отсутствия в людях той степени выправки и почти балетной точности в движениях, которые сам он считал неотъемлемыми и природными качествами подлинного моряка. Малейшую неловкость, отсутствие той стремительной расторопности в работе, которую командир привил всему кадровому составу эсминца, Калинин воспринимал как угрозу всем своим стараниям сделать «Стремительный» показательным кораблем, экспонатом военно-морской лихости. Это был слабый пунктик командира, над которым дружески посмеивались товарищи, считая, что тут у Калинина «заедает».

С начала войны и с появлением на эсминце Колосовского сердце командира стал грызть червячок. Призванный из запаса хозяйственный работник, немолодой рябоватый человек, Колосовский, естественно, не мог сразу принять тот удалой вид, какого требовал Калинин от своих людей, и оскорблял романтическое представление командира о военном моряке. Вдобавок Колосовский заикался, а это, по мнению командира, было уже совсем нетерпимо на военном корабле, да еще таком, как «Стремительный».

И то, что Колосовский был трудолюбив и исполнителен, что он завоевал авторитет у краснофлотцев, не примиряло с ним командира, бурная натура которого мешала объективному и спокойному отношению к подчиненному.

И утром, после выхода с рейда, Калинин неожиданно и несправедливо нашумел на политрука.

С высоты мостика он заметил на палубе Колосовского, разговаривающего с краснофлотцами. Вторая пуговица кителя политрука была не застегнута, и Калинин обратился к нему тем сухим, жестяным тоном, который появлялся у него в приступах командирского гнева:

— Товарищ старший политрук, вы, кажется, изволили устроить у себя за пазухой колыбельку для ветра? Застегнитесь!

Колосовский посмотрел на командира добродушными серыми глазами, покраснел и покорно застегнулся.

Калинин раздраженно отошел к штурманскому столику. Секунду спустя к нему подошел комиссар — прикурить папироску. Но, взглянув на комиссара, Калинин понял, что папироска только повод для разговора. И действительно, понизив голос, комиссар сказал командиру с дружеской укоризной:

— Опять беленишься? Пороховой у тебя характер.

Командир и сам уже понимал, что его подвел неукротимый характер, но слова комиссара только раздразнили командирское самолюбие, и он перенес свою злость на товарища.

— Тогда я попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, заняться морским воспитанием товарища Колосовского.

Комиссар удивился командирскому возбуждению и вызывающему тону. Они служили на «Стремительном» вместе три года, знали друг друга еще до этого, жили дружно, никогда не ссорились. И комиссар решил отшутиться:

— Чистый рысак ты! Скачешь без удержу!

Калинин повернулся к комиссару и, неожиданно взяв под козырек, ответил, побледнев:

— Разрешите напомнить, товарищ батальонный комиссар, что мы находимся в боевом походе. Шутки неуместны!

Комиссар изумленно взглянул на друга и в свою очередь озлился:

— Отлично, товарищ капитан-лейтенант. Но полагаю, что ваш тон тоже неуместен.

Они разошлись в разные стороны мостика. Но, как всякий вспыльчивый человек, Калинин отходил быстро. Он подумал, что совершенно напрасно погрызся с товарищем из-за пустяков, что нужно держать в узде свой характер, и в момент поворота решительно шагнул к комиссару, чтобы восстановить отношения и извиниться за нелепую вспышку.

Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то с невероятной силой схватило его за грудь и подняло на воздух.

Когда, оглушенный взрывом и сброшенный с мостика, он очнулся на палубе, втиснутый между вентилятором и кожухом трубы, он не сразу понял, что происходит вокруг.

На мокрой палубе, в горячей сырости пара, в дыму метались люди.

Кто-то, скрытый мраком, кричал рядом с ним:

— Корабль тонет!

Кто-то командовал и распоряжался за него, капитан-лейтенанта Калинина, хозяина «Стремительного». Это был непорядок. Этого нельзя было допустить. Он повернулся на бок, и первое, что почувствовал, была чугунная тяжесть в левой руке. Он попробовал пошевелить пальцами, но пальцы остались мертвыми. Он не ощущал их. Он попытался взглянуть на руку, и тоже не удалось. Мешала какая-то заслонка перед глазами. Он поднес к лицу здоровую руку, чтобы отодвинуть эту заслонку, и застонал. Пальцы сразу взмокли, и он с трудом понял, что перед глазами не заслонка, а свисшая со лба лоскутом его собственная кожа.

— Корабль тонет! Спасайся!

Какой болван орет эту чушь? Разве может утонуть его «Стремительный»? Калинин решительно вскочил на ноги. На кожухе валялась чья-то бескозырка. Командир эсминца схватил ее и, прижав ко лбу лоскут кожи, не обращая внимания на боль, нахлобучил бескозырку. Теперь он мог видеть, хотя ресницы слипались от крови.

Сквозь пар он заметил краснофлотца на торпедном аппарате. Тот стоял с выпученными, бессмысленными глазами и дрожащими губами выкрикивал:

— Тонем! Тонем!

— Что вы мелете? Долой с аппарата!

Краснофлотец уставился на него пустым, одурелым взглядом. И вдруг этот взгляд прояснел обыкновенной человеческой тревогой при виде залитого кровью лица командира. Краснофлотец ахнул:

— Товарищ командир корабля! Вы...

— На место! — скомандовал Калинин.— Стоять по местам!

И сам тоже кинулся на свое командирское место, на мостик, карабкаясь по искореженному трапу.

— Куда лезете? Назад! — крикнул ему кто-то, когда неузнаваемая голова, покрытая бескозыркой, показалась из люка.

— Я командир эсминца... Кто здесь распоряжается? — рявкнул Калинин, выбираясь на мостик, усеянный обломками.

Тот, кто кричал на него,— Калинин узнал в нем командира БЧ-III лейтенанта Воробьева,— вгляделся и взял под козырек.

— Виноват, товарищ капитан-лейтенант... Согласно боевому расписанию я вступил в исполнение обязанностей командира эсминца. Комиссар пропал без вести. Помощник убит. Артиллерист и штурман тяжело ранены,— отрапортовал Воробьев и нерешительно добавил: — Вы тоже ранены, товарищ капитан-лейтенант.

Командир недовольно поглядел на левое крыло мостика, где за секунду до взрыва стоял комиссар. Левого крыла не было, не было и комиссара. Калинин зажмурился.

— Исполняйте свои обязанности,— сказал он Воробьеву,— командую я.

— Но вам нужно к врачу... Санитаров! — вдруг закричал на весь мостик Воробьев.— Санитаров к командиру!

— Отправляйтесь на место! — повторил Калинин, стиснув зубы, и огляделся.

Мостик был в пятнах крови. У штурманской будки, скорчась, лежал помощник. Вахтенный командир, бледный, в висящем лохмотьями кителе, распутывал обрывки сигнальных фалов, которые окрутили его, как неводом.

Но среди обломков и крови стояли на своих местах сигнальщики и наблюдатели, и только во взглядах их, устремленных на командира, Калинин подметил недоумение и ожидание. Он понял, что люди смотрят на него,

раненого командира, и ждут, что он примет то единственное решение, от которого зависит жизнь корабля и их жизнь.

— Все благополучно, товарищи,— сказал он, пытаясь улыбнуться.— Не ослаблять наблюдения.

В эту минуту с «Сурового» последовал запрос флагмана о последствиях взрыва, и Калинин приказал передать, что эсминец держится на плаву и повреждения выясняются. Он был уверен, что его «Стремительный» не может погибнуть.

Пока передавали семафор, Калинин подошел к помощнику и наклонился над ним. Окликнул. Ответа не было. Калинин попытался приподнять голову помощника. Она завалилась и деревянно стукнулась о палубу. Командир эсминца выпрямился.

«Прощай, помощник! Много вместе поплавано. Встретишь ли такого другого? И моряка и друга?»

Но грустить было некогда. Нужно было прежде всего восстановить порядок на мостике.

— Что вы смотрите, товарищи? Прибрать мостик!

Люди кинулись исполнять приказание командира. Зазвенел телефон.

— Командир эсминца слушает,— сказал Калинин, подняв трубку и чувствуя, как все в нем мутнеет от нарастающей боли.

— Говорит командир БЧ-пять. Разрешите доложить положение, товарищ капитан-лейтенант. Работа аварийной группы идет успешно. Течь ликвидирована. Ставим упоры на переборку. Думаю...

— Понятно,— перебил Калинин.— Продолжайте работу. Сейчас спущусь вниз...

Он положил трубку. Вахтенный командир, наконец, выпутался из фалов. Калинин мутно посмотрел на его изодранный китель. Это тоже был непорядок. Что бы ни случилось, моряк должен быть на мостике в исправном виде.

— Пойдите, переодень...— командир эсминца не кончил фразы, шатнулся и повалился на руки вахтенного.

Он очнулся в кают-компании, когда врач, наложив лубок на левую, сломанную руку, кончал бинтовать голову, со сшитой стежками кожей лба. Как только врач завязал кончики бинта, Калинин сделал нетерпеливое движение, пытаясь встать.

— Нельзя, Василь Васильич,— сердито сказал врач,— вам нужно лежать.

— Уложите вашу бабушку,— упрямо и зло огрызнулся Калинин и спустил ноги с обеденного стола, на котором подвергся перевязке.

Пока в командире эсминца есть хоть капля жизни, он должен оставаться командиром эсминца, и лежать ему непристойно. Шатаясь, Калинин побрел к выходу на верхнюю палубу. От воздуха ему стало легче. Он прислонился к надстройке и стал дышать глубоко и ровно, как на зарядке. Стало почти хорошо.

Он поднял голову к мостику и окликнул:

— Вахтенный командир!

Голова вахтенного командира показалась над изорванным обвесом.

— Остаться за меня на мостике,— сказал Калинин.— Я иду вниз.

Когда он непривычно медленно и осторожно сползал по отвесному трапу в первую кочегарку, где работала аварийная группа, его поразили взрывы смеха, несшиеся снизу.

«Что там смешного?» — подумал он с недоумением.

Заметив командира эсминца, командир БЧ-V подошел с рапортом.

— Товарищ капитан-лейтенант, работы заканчиваем. Все в порядке. Живучесть корабля обеспечена.

— Что это у вас за смех? — спросил капитан-лейтенант.

— Разрешите доложить... Старший политрук Колосовский сумел высоко поднять моральное состояние людей. Благодаря ему повреждения исправлены быстрее, чем можно было ожидать.

Командир эсминца, поморщась от боли, направился к переборке, откуда продолжали нестись раскаты смеха. И среди смеющихся краснофлотцев увидел Колосовского и не узнал политрука. Колосовский, без кителя, с засученными рукавами, управлял работой, как дирижер оркестром, переходя от одной группы к другой, ужом пролезая между механизмами, подбадривая людей, безостановочно бросая шуточки. Он даже перестал заикаться.

Калинин изумленно смотрел на простое, рябоватое лицо политрука. Сейчас оно стало неузнаваемо. Оно дышало оживлением, энергией, неисчерпаемой духовной

силой русского человека, которая так подымает самых обычных и незаметных людей в грозные часы. И лица краснофлотцев тоже цвели жизнерадостной уверенностью. Это было удивительно и приятно.

— В первую минуту, товарищ капитан-лейтенант,— шепотом сказал из-за плеча командир БЧ-V;— среди команды возникла некоторая растерянность, но товарищ Колосовский сумел быстро успокоить людей, внушить бодрость...

Командир эсминца еще раз оглядел Колосовского с ног до головы, как будто впервые увидел этого человека по-настоящему, и вдруг с неожиданной теплотой сказал, протягивая ему руку:

— Объявляю вам, товарищ старший политрук, благодарность за отличное руководство. Будете представлены к награде.

Колосовский, опешив от похвалы командира эсминца, поднял руку к козырьку, забыв, что на нем нет фуражки. Но теперь даже это не только не рассердило, а, наоборот, растрогало Калинина. Он опустил эту руку и крепко сжал ее.

— Отлично работали!

Колосовский хотел ответить командиру, и вдруг от волнения его заело.

— С-с-сс,— зашипел он в тщетном желании выговорить начатое слово.

Калинин засмеялся и здоровой рукой потрепал Колосовского по плечу.

— Не трудитесь, политрук, понятно!

Краснофлотцы прыснули. Засмеялся и сам Колосовский. И командир эсминца почувствовал, что его люди вместе с ним составляют тесную, крепкую боевую семью.

— Спасибо, товарищи краснофлотцы! — голос капитан-лейтенанта дрогнул.— Спасибо за службу! «Стремительный» не пропадет с такими людьми. Счастлив, что командую вами.

Когда он вернулся на мостик, там все было убрано. Море расстилалось вокруг — большое, теплое, голубое, мерцая солнечной рябью. Оно было пусто. «Суровый» и «Смелый» давно скрылись за горизонтом. Оставалось выполнить приказ командира соединения и терпеливо ожидать возвращения отряда. Командиру «Стремительного» стало очень тоскливо. Он сел на выступ тумбы ходового компаса, закрыл глаза и тихонько засвистел «Варяга».

Во время боя краснофлотец первого года службы Алексеев стоял подающим у третьего орудия на корме «Сурового». Прошлой осенью Алексеев пришел на флот из тамбовского колхоза и, когда садился на пароход в Ораниенбауме с партией молодых моряков, отправляемых в Кронштадтский экипаж, смотрел на вспученную осенними ветрами воду взморья с недоверием и робостью.

По блеклой свинцовой шири мчались желтые гребни волн. Пароход, нырявший между этими гребнями, показался Алексееву ненадежным, а от скачки волн рябило в глазах и из-под ложечки подымалась к горлу противная и расслабляющая муть.

Но это осталось позади. Теперь Алексеев не испытывал больше робости перед морем. В конце концов, оно было очень похоже на бескрайнее колхозное поле в дни созревания хлебов. Оно тоже все время колыхалось, как зреющая пшеница. Только оно было из воды и непрестанно меняло цвет. Алексеев полюбил эту сказочную смену красок.

И в этот поход он любовался морем. Из темно-чернильного, каким оно было ночью, оно постепенно превращалось в пепельно-серое, зеленовато-опаловое, розовое и, наконец, стало густо-изумрудным у самого борта корабля, все больше бледнея к горизонту и сливаясь там с сиреневой дымкой.

С первого залпа Алексеев забыл о море. Он проделывал одну и ту же несложную работу: подхватывал с палубы длинную остроносую болванку снаряда и, натужась, ловко опускал ее в уютную выгнутую люльку автоматического зарядника. Зарядник уже без помощи Алексеева со звоном втискивал снаряд в отверстие каморы. Первые дни службы при орудии Алексеев завороженно смотрел на самостоятельную работу зарядника. Этот гнутый кусок стали казался ему наделенным своей жизнью и хитрым металлическим мозгом. Он стал уважать зарядник, как безмолвного и безотказного друга и помощника, который не подведет и не выдаст. Этот умный прибор был создан, может быть, руками такого же двадцатилетнего комсомольца в грохочущем корпусе заводского цеха. И Алексеев иногда завидовал неизвестному однолетке, создателю зарядника, и думал, что хорошо бы после службы пойти на завод и тоже делать такие замечательные вещи.

Занятый своим делом, Алексеев не замечал происходящего за пределами его пушки и не думал об опасности.

Ему и некогда было о ней думать. Залп следовал за залпом, и на раздумывание не оставалось времени.

Он знал только, что болванки металла с медными остриями и кольцами, швыряемые буйной мощью пороха, должны отогнать и уничтожить те чужие корабли, что были едва различимы в морской дымке. Эти корабли лезли к берегам родины, охрану которых страна доверила Алексееву и его товарищам. Каждый из них исполнял свои обязанности у этой пушки, мигая и морщась от сухих, сотрясающих все тело ударов залпов, раскрывая рты в момент выстрела, испытывая боль в ушах, куда вбивало, как молотом, раздирающий грохот.

И Алексеев очень удивился, когда в промежутке между залпами, еще до мычания ревуна, по палубе у казенной части орудия с ревом разлилось мгновенное темное пламя. Когда оно сникло, Алексеев увидел вспученную пузырями и почерневшую краску на щитовой броне, вмятины и рваные дыры в листах палубы, распластанное ничком тело комендора Люлько со странно раскинутыми руками.

Алексеев протер запорошенные глаза и нагнулся за очередным снарядом. Но, к своему удивлению, поднять его не смог. Онемелая левая нога подвернулась, и он неловко сел на палубу. Оробев, он посмотрел на непослушную ногу. Брезент брюк был разорван у колена, и по палубе под коленом расплывалось блестящее по краю пятно крови.

— О-ой! — закричал Алексеев тоненьким бабьим воплем.

Над ним наклонился командир орудия старшина Форафонов.

— Чего кричишь? — сказал он Алексееву.— Зацепило? На то и бой! Порядка не знаешь? Доставай пакет, перевязывай.

Форафонов ухватился за надорванную осколком штанину Алексеева и с натугой разорвал ее по шву до бедра. Алексеев увидел свое развороченное мясо над коленом и испугался. Та же расслабляющая муть, какую он испытал, впервые попав на пароход, заколыхала его. Форафонов вырвал у него индивидуальный пакет. Ремешком от своих брюк он туго перетянул ногу Алексеева, положил подушечку и стал бинтовать. Алексеев сидел, сжав губы, стараясь удержать неприятное цоканье зубов.

— Готово! — Форафонов шлепнул ладошкой по спине Алексеева.— Ползи, товарищ, в лазарет, кланяйся доктору.

Алексеев не смог улыбнуться на шутку. Он пополз по палубе до леера, поднялся и, чуть не плача от боли в коленке, повис на леере и стал продвигаться, подпрыгивая на одной ноге. Оглядываясь на свою пушку, увидел, что расчет ее пополнен из подвахтенной смены. На его месте стоял рыжий Сережка Иванов. По прогнутой стали щита гремели кувалды, освобождая откат пушки.

Алексееву стало досадно, что он покинул свое место. Придерживаясь за леер, он смотрел на работающих товарищей, но новая вспышка темного пламени оторвала его от леера и хватила затылком о шлюпбалку вельбота. Присев на корточки, он увидел сквозь вонючий дым наполовину отбитый ствол пушки и разметанный по палубе расчет. И он почувствовал рану пушки, как свою собственную рану. Ярость залила ему глаза. Он всхлипнул и потряс кулаком в море, туда, где были враги.

И сейчас же услышал рядом грозный крик:

— Мина горит!

Алексеев повернулся. У одной из мин, приготовленных к постановке, осколком разворотило корпус. Разбросанный желтыми комьями по палубе, тротил горел, сильно коптя. Языки огня лизали корпус мины, и из нее уже шел дымок. Алексеев вспомнил занятия по минному делу. Горящий на воздухе тротил безопасен. Но в разбитой мине были запальные стаканы с гремучей ртутью и тетрилом. Раскалясь, они взорвутся, и тогда рванет тротил, захватывая и соседние мины.

Кто-то с обожженным лицом, в изорванном рабочем платье, проскочил мимо Алексеева, метнулся к горящей мине и уперся в нее черными, ободранными в кровь руками, стараясь подтолкнуть к борту. Но тяжелая мина только покачивалась. Один человек не мог совладать с ней. А поблизости никого не было. Тогда, забыв о ране, Алексеев вскочил на ноги и, не хромая, побежал на помощь одинокому товарищу. В этом опаленном человеке он не узнал всегда щеголеватого Форафонова.

— Навались! — крикнул Форафонов, тоже не узнавая соседа.— Напри! Разок! Еще разик! Ухнем!

Мина толчками подавалась к борту. Последним усилием краснофлотцы перевалили ее через ватервейс, и она, высоко плеснув брызгами, исчезла в глубине.

И тут же Алексеев с воплем схватился за ногу и лег на палубу, впиваясь зубами в ладонь от нестерпимой боли.

Форафонов провел рукой по закопченному лицу, нагнулся, подхватил Алексеева и, перекинув его через плечо, пошел на перевязочный пост.

Штурман захлопнул крышку ящика с хронометром и поднес руку к фуражке.

— Постановка окончена, товарищ капитан второго ранга. Одна мина на нашей палубе была разбита осколком и загорелась. Старшина Форафонов и раненый краснофлотец Алексеев успели столкнуть ее за борт, предупредив катастрофу.

Капитан второго ранга Маглидзе наклонил голову.

«Хорошие ребята, золотые ребята,— подумал он, смотря на штурмана.— Вот они, наши дети. С ними жить, драться и побеждать радостно. И умирать не страшно!»

— Добро! — коротко сказал он штурману и обернулся к командиру «Сурового».— Ложиться курсом на место «Стремительного». Идти полным ходом. Поторопимся!

Эсминцы повернули домой. Целый час командир соединения не сводил глаз с востока, где был оставлен «Стремительный». И когда наблюдатели открыли эсминец, Маглидзе впервые за двое суток ощутил голод.

— Притащите мне пару бутербродов и чаю покрепче,— сказал он вестовому и стал набивать трубку.

«Суровый» вплотную прошел мимо «Стремительного». На палубе поврежденного корабля стояла выстроенная по бортам команда, на мостике белела перевязанная голова командира. Боевой флаг «Стремительного» развевался на гафеле, приветствуя флагмана, и на «Суровом» услышали медленный медный ритм гимна.

Командир соединения опустил руку от козырька.

— Передать на «Стремительный»: «Приготовиться принять швартовы».

Флажки семафора начали свою сложную пляску в воздухе. Со «Стремительного» отмахали в ответ: «Ясно вижу». Потом флажки на его мостике взлетали долго, передавая длинную фразу:

«Прошу разрешить самостоятельно следовать на базу,— читал командир соединения.— Повреждения исправил, могу держать десять узлов без риска для корабля».

— Ну и жук! — одобрительно крякнул Маглидзе.— Подымите ему: «Флагман изъявляет удовольствие». А я пойду к раненым.

Алексеев лежал на лазаретной койке. После укола морфия и вторичной перевязки, наложенной врачом, нога уже не болела, а лишь тихонько ныла. Он лежал, положив руки под затылок, и думал, как напишет письмо Танюше Будкиной, трактористке второго стана, как расскажет про свой первый бой и рану и как Танюша станет читать его письмо всем друзьям.

Чья-то тень заслонила от него солнечный луч из иллюминатора. Алексеев нехотя повернул голову и на уровне койки увидел лицо командира соединения. Он дернулся, пытаясь привстать, но крепкая рука опустила его на подушку.

— Лежите, товарищ Алексеев, отдыхайте! Как чувствуете себя? Очень больно?

— Теперь ничего, товарищ капитан второго ранга,— ответил Алексеев,— самую чуточку. Вот когда мину спихнул, тогда в коленку так ударило, аж море заплясало.

— Как же вы так с разбитой ногой полезли мину сбрасывать? — спросил Маглидзе.

Алексееву почудилось, что начальник упрекает его. В глаза ему набежали слезы, и он виновато сказал:

— Так, товарищ же капитан второго ранга, ведь коли б она рванула, — всем крышка была б... Я и про ногу забыл, как увидел, что Форафонов в одиночку с ней мучается... Извините, коли неправильно поступил...

Он замолчал и нервно затеребил пальцами воротник рубашки. Командир соединения взглянул на стоящего рядом врача, торопливо отвел взгляд и быстро вышел.

Вечером командир «Стремительного» сидел в салоне командира соединения и докладывал соображения по ремонту эсминца.

Ему было не по себе. Он ослабел от ран. Болела рука, разламывало голову. Но он старался держаться бодро. Он ждал, что после окончания доклада командир соединения разнесет его за неудачный поворот и аварию корабля. Может быть, даже отдаст под суд. И, оттягивая эту минуту, Калинин был чрезмерно многословен. Но

пришлось все же закончить. И он замолчал, опустив глаза.

— Ну что же, одобряю,— услыхал он голос Маглидзе,— и благодарю за энергичные действия по обеспечению живучести корабля.

Калинин горько вздохнул.

— Эх! — произнес он печально.— Разве об этом я думал, товарищ капитан второго ранга, когда выходил в поход. Я мечтал о подвиге, а получилось черт знает что. Хоть бы выругали вы меня!

Командир соединения молчал. В салоне было слышно только посапывание раскуриваемой трубки. Воздух заволокло сладковатым голубым дымом. И Маглидзе задумчиво сказал:

— Подвиг!.. А что такое подвиг? Очень интересно! Никто не понимает. Краснофлотец Алексеев извинился передо мной за то, что совершил подвиг... Командир эсминца Калинин считает естественным оставаться командовать кораблем, когда ему самому нужна хорошая починка в госпитале...

Калинин искоса посмотрел на командира соединения, и в глазах его мелькнула лукавая искра. Он поднялся.

— Разрешите сказать, товарищ капитан второго ранга. Я тоже знаю одного командира соединения, который не замечает, что принял на себя огромную ответственность продолжать и довести до конца операцию в таких тяжелых условиях, которые были созданы аварией корабля. Вот что такое подвиг!

— Хватил!..— насмешливо проворчал Маглидзе,— бредишь, наверное, от ран, капитан-лейтенант... Езжай, выспись... Время позднее!

Октябрь—декабрь 1941 г.

РАЗВЕДЧИК ВИХРОВ

Он стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в куцем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные, посинелые губы неудержимо дрожали, но темные грустные глаза пристально и почти строго смотрели в лицо капитана.

Он, казалось, не замечал и не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего гостя батареи — этого сурового мира взрослых, опаленных порохом людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протертые на носках, и все время переминался с ноги на ногу, пока капитан читал препроводительную записку, принесенную из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика.

«...был задержан на рассвете у переднего края постом наблюдения... по его показаниям — в течение двух недель собирал сведения о немецких частях в районе совхоза «Новый путь»... направляется к вам, как могущий дать ценные данные батарее...»

Капитан сложил записку и сунул ее за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно и выжидательно смотреть на него.

— Как тебя зовут?

Мальчик откинул голову, выпрямился и попытался щелкнуть каблуками, но его лицо дрогнуло и перекосилось от боли, он испуганно глянул на свои ноги и понурился.

— Коля... Николай Вихров, товарищ капитан,— поправился он.

Капитан тоже посмотрел на его ноги, на порванные туфли и поежился от озноба.

— Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли?

— Немножко,— застенчиво и печально сказал мальчик и еще больше потупился.

Он изо всех сил старался держаться бодро. Капитан подумал о том, как он шел всю ночь в этих туфлях по железной от мороза степи, и невольно пошевелил пальцами в своих высоких теплых бурках. Погладив мальчика по лиловой щеке, он мягко сказал:

— Не грусти! У нас другая мода на обувь... Лейтенант Козуб!

Выскочив из-за кучки краснофлотцев, маленький веселый лейтенант козырнул капитану.

— Прикажите баталеру немедленно подыскать и доставить ко мне в каземат валенки самого малого размера.

Козуб рысью помчался исполнять приказание. Капитан тронул мальчика за плечо:

— Пойдем в мою хату. Обогреешься — поговорим.

В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Дневальный помешивал кочережкой прозрачные, налитые золотым жаром головешки. Розовые зайчики гонялись друг за другом по стене. Капитан снял полушубок и повесил у двери. Мальчик, озираясь, стоял у притолоки. Вероятно, его поразила сводчатая уютная подземная комната, сверкающая белизной риполина, залитая сильным светом подволочной лампы.

— Раздевайся,— предложил капитан,— у меня жарко, как в Артеке на пляже. Грейся!

Мальчик сбросил пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану, наблюдавшему за ним, понравилась эта бережливость к одежде. Без пальто мальчик оказался головастым и худым. И капитан подумал, что он долго и крепко недоедал.

— Садись. Сперва закусим, потом дело. А то ты натощак, пожалуй, и рта не раскроешь. Чай любишь крепкий?

Капитан доверху налил толстую фаянсовую чашку темной ароматной жидкостью, неторопливо отрезал ломоть буханки, намазал на него масла в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копченой грудинки.

Мальчик почти испуганно смотрел на этот гигантский бутерброд.

— Не пугайся,— сказал капитан, подвинув тарелку,— клади сахар.

И он толкнул по столу отпилок шестидюймовой гильзы, набитый синеватыми, искрящимися кусками рафинада. Мальчик посмотрел на него испытующим, осторожным взглядом, выбрал кусочек поменьше и положил рядом с чашкой.

— Ого! — засмеялся капитан.— Это не по правилам. У нас, брат, так чай не пьют. У нас заправляют на полный заряд. А это только порча напитка.

И он с плеском бросил в кружку увесистую глыбу сахара. Худенькое лицо мальчика неожиданно сморщилось, и на стол закапали огромные, неудержимые слезы. Капитан тяжело вздохнул, придвинулся и обнял гостя за костлявые плечи.

— Полно! — произнес он весело.— Брось! Что там было, то было, тут тебя никто не обидит. У меня, понимаешь, у самого вот такой же малец дома остался. Вся и разница, что Юркой зовут. А то все такое же — и веснушки, и нос пуговицей.

Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слезы.

— Я ничего, товарищ капитан... Я не за себя разрюмился... Я стойкий. А вот маму вспомнил...

— Вот что,— протянул капитан,— так мама жива?

— Жива,— глаза мальчика засветлели.— Только голодно у нас. Мама по ночам у немецкой кухни картофельные ошурки подбирает. Но раз часовой застал. По руке прикладом хватил. До сих пор рука не гнется.

Он стиснул губы, и из глаз его уплыла детская мягкость. Они блеснули остро и жестко. Капитан погладил его по голове.

— Потерпи! Выручим маму и всех выручим. Ложись вздремни.

Мальчик умоляюще посмотрел на него.

— Я не хочу... Потом. Сперва расскажу про них.

В его голосе прозвучал такой накал упорства, что капитан не стал настаивать. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот.

— Ладно, давай... Сколько, по-твоему, немцев в районе совхоза?

Мальчик мотнул головой и сказал быстро без запинки:

— Пехоты один батальон. Баварцы. Сто семьдесят шестой полк двадцать седьмой пехотной дивизии. Прибыл на фронт из Голландии.

— О! Откуда ты знаешь? — спросил капитан, удивленный обстоятельностью и точностью ответа.

— А как же. Я ж цифры на погонах смотрел. И слушал, как они разговаривали. Я по-немецки могу, я в школе хорошо учился... Рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков на свиноферме. По северному краю бахчи стрелковые окопы полного профиля. Танковое вооружение — калибр примерно пятьдесят миллиметров. Два дота у них там. Здорово укрепились, товарищ капитан. Десять дней грузовиками цемент таскали. Сто девять грузовиков ввалили. Я из окошка подглядывал.

— Можешь точно указать расположение дотов? — спросил капитан, подаваясь вперед. Он понял, что перед ним сидит не обыкновенный мальчик, от которого можно узнать только самые общие сведения, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик.

— Конечно, могу... Первый — на бахче, за старым током, где курганчик. А другой...

— Стоп! — прервал капитан.— Это здорово, что ты все так рассмотрел и запомнил. Но, понимаешь, мы же в твоем совхозе не бывали и не жили. Где бахча, где ток, нам неизвестно. А береговые десятидюймовые пушки, дружок,— не игрушка. Начнем наугад гвоздить, много лишнего попортить можем без толку, пока в точку угодим. А там ведь и наши люди есть... И мама твоя... Ты нарисовать это сумел бы?

Мальчик вскинул голову. В его взгляде было недоумение.

— Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет?

— Карта есть... да ты в ней разберешься ли?

— Вот еще,— сказал мальчик с негодованием.— Папа же мой — геодезист. Я сам карты чертить могу. Не очень чисто, конечно... Папа теперь тоже в армии, у саперов командир,— добавил он с гордостью.

— Выходит, что ты не мальчик, а клад,— пошутил капитан, развертывая на столе штабную полукилометровку.

Мальчик встал коленками на стул и нагнулся над картой. Он долго смотрел, потом лицо его просияло, и он ткнул в карту пальцем.

— Да вот же! — сказал он, счастливо улыбаясь.—

Как на ладошке. Карта у вас какая хорошая! Подробная, как план. Все видно. Вот тут, за оврагом, и есть старый ток.

Он безошибочно разбирался в карте, и вскоре частокол красных крестиков, нанесенных рукой капитана, испятнал карту, засекая цели. Капитан удовлетворенно откинулся на спинку стула.

— Очень хорошо, Коленька! — Он одобрительно погладил руку мальчика.— Просто здорово!

И, почувствовав непосредственную сердечность ласки, мальчик, на мгновение вернувшись в детство, по-ребячьи нежно прижался щекой к капитанской ладони. Капитан грустно покачал головой и сложил карту

— А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины — спать!

Мальчик не противился. Сытная еда, тепло и только что законченная работа клонили его ко сну. Ресницы его слипались. Он сладко зевнул. Капитан уложил его на койку и накрыл полушубком. Мальчик мгновенно заснул. Капитан постоял над ним в раздумье, вспоминая сына и жену, вернулся к столу и сел за составление исходных расчетов для огня. Он увлекся и не замечал времени. Тихий оклик заставил его оглянуться. Мальчик сидел на койке. Лицо у него было тревожное.

— Товарищ капитан, который час?

— Спи! Плюнь на время. Начнется тарарам — разбудим.

Но мальчик не успокоился. Его лицо потемнело. Он заговорил настойчиво и торопясь:

— Нет, нет! Мне же назад надо! Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет, я пойду.

Капитан изумился. Он не допускал и мысли, что мальчик собирается снова проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану показалось, что его гость еще не совсем проснулся и говорит спросонок.

— Чепуха! — сказал он.— Кто это тебя пустит? Если даже не попадешься немцам, то можешь случайно угодить в совхозе под наши снаряды. Только об этом я мечтал, чтоб тебя ухлопать в благодарность. Не дури! Спи!

Мальчик насупился и покраснел.

— Я немцам не попадусь. Они по ночам не ходят. Мороза боятся, дрыхнут. А я каждую тропочку наизусть... Пожалуйста, пустите!

Он просил упрямо и неотступно, почти испуганно,

и капитану на мгновение пришла мысль: «А что, если вся эта история с появлением мальчугана и его рассказ — обдуманная комедия и обман?» Но, взглянув в ясные, печальные глаза, он устыдился своего подозрения.

— Вы же знаете, товарищ капитан, немцы никому не позволяют уходить из совхоза. Нагрянут случайно для проверки — меня нет, они на маме выместят.

В его голосе слышалась недетская тоска. Он явно волновался за судьбу матери.

— Не нервничай! Все понял,— сказал капитан, вынимая часы,— то, что думаешь о маме,— это очень хорошо... Сейчас шестнадцать тридцать. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и еще раз сверим все. А когда стемнеет, я обещаю, что ребята тебя проводят как можно дальше. Ясно?

На наблюдательном пункте, вынесенном к пехотным позициям, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую серо-желтыми полосами снега, нанесенного ветрами в балочки. Рябиновый свет заката умирал над степью. На горизонте темнели узкой полосой сады далекого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом подозвал мальчика:

— А ну-ка, взгляни! Может, маму увидишь.

Улыбнувшись шутке, мальчик нагнулся к окулярам. Капитан медленно ворочал штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно мальчик, ахнув, отшатнулся от окуляра и затеребил рукав капитана.

— Скворечня! Моя скворечня, товарищ капитан. Честное пионерское!

Удивленный капитан заглянул в окуляр. Над сеткой оголенных тополевых верхушек, над зеленой крышей в пятнах ржавчины темнел крошечный квадратик на высоком шесте. Капитан видел его очень отчетливо на темно-серой ткани туч. Он поднял голову и несколько минут просидел, сдвинув брови. Неясная мысль, возникшая в его мозгу при виде скворечни, становилась все устойчивее. Он взял мальчика под руку, отвел его в сторону и тихо заговорил с ним.

— Понял? — спросил он, окончив разговор, и мальчик, весь просияв, кивнул головой.

Небо потемнело. С моря потянуло колючим холодком зимнего ветра. Капитан повел мальчика по ходу сообще-

ний на передний край. Там он рассказал вкратце все дело командиру роты и просил скрытно вывести мальчика на подходы к совхозу. Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту, и капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесенные из баталерки по приказанию капитана. Было тихо, но капитан тревожно вслушивался — не загремят ли нежданные выстрелы. Выждав с полчаса, он ушел к себе на батарею.

Ночью ему не спалось. Он пил много чаю и читал. Перед рассветом пошел на наблюдательный пункт. И как только в серой дымке наступающего дня различил темный квадратик на шесте, к нему пришло хорошее боевое спокойствие. Он подал команду. Ахнув над степью грузным ударом, прокатился пристрелочный залп башни. Его гром долго висел над пустой степью. Капитан, не отрываясь, смотрел в окуляры и увидел ясно, как качнулся на шесте темный квадратик. Дважды... и после паузы в третий раз.

— Перелет... вправо,— перевел капитан и скомандовал поправку. На этот раз скворечня осталась неподвижной, и капитан перешел на поражение обеими башнями. С привычной зоркостью артиллериста он видел, как в туче разрывов полетели кверху глыбы бетона и бревна. Он усмехнулся и после трех залпов перенес огонь на следующую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский разговор на понятном только ему языке. В третью очередь огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боезапасов. На этот раз капитан накрыл цель с первого залпа. Над горизонтом пронеслась широкая полоса бледного пламени. Могучей, курчавящейся шапкой встал дым, пепельный, коричневый, озаренный снизу молниями. В нем исчезло все — деревья, крыши, шест с темным квадратиком. Взрыв тряхнул почву, как землетрясение, и капитан с тревогой подумал о том, что он натворил в совхозе.

Запищал зуммер. С рубежа просили прекратить огонь. Моряки вышли в атаку и уже рвались в немецкие окопы. Тогда капитан передал команду Козубу, вскочил в приготовленный мотоцикл и в открытую помчался по полю. Его гнало нетерпение. От совхоза доносились пулеметный треск и щелчки гранат. Немцы, ошеломленные мощью и меткостью огневого удара батареи, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо и отходили. Бросив мотоцикл, капитан открыто побежал полем к околице по тому

месту, где накануне появление человека вызывало шквал свинца. С околицы уже мигали веселые красные огоньки семафорных флажков, докладывая об отходе противника. Над садами плыл серебристый дым горящего бензина, и в нем глухо рычали рвущиеся боезапасы. Капитан торопился к зеленой крыше, среди надломленных тополей. Еще издали он увидел у калитки вышедшую женщину, закутанную в платок. За ее руку держался мальчик. Увидев бегущего капитана, он рванулся ему навстречу. Капитан с хода подхватил его, вскинул в воздух и стал целовать в щеки, в губы, в глаза. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он изо всех сил упирался руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его.

Коля отступил и с нескрываемой гордостью, приложив руку к шапке, доложил:

— Товарищ капитан, разведчик батареи Николай Вихров боевое задание выполнил.

— Молодец, Николай Вихров,— сказал капитан,— благодарю за службу!

Подошедшая женщина с потухшими глазами и усталой улыбкой застенчиво протянула руку капитану.

— Здравствуйте! Он так вас ждал! Так ждал... Мы все ждали. Спасибо вам, родные!

Она поклонилась капитану глубоким русским поклоном. Коля переводил взгляд с матери на капитана и улыбался.

— Отлично справился!.. А небось страшновато было на чердаке, когда снаряды посыпались? — спросил капитан, привлекая его к себе.

— Ой! Как еще страшно, товарищ капитан,— ответил мальчик чистосердечно-наивно,— как первые снаряды ударили — все зашаталось, вот-вот провалится. Я чуть с чердака не махнул. Только стыдно стало. Дрожу, а сам себе говорю: «Сиди! Сиди! Не имеешь права!» Так и досидел, пока боезапас рванул... Тогда сам не помню, как вниз скатился!

Он захлебнулся от наплыва ощущений, сконфузился и уткнулся лицом в полушубок капитана, маленький русский человек, тринадцатилетний герой с большим сердцем, сердцем своего народа.

Май 1942 г.

ТРУБКА

Я помню свою трубку с такой жестокой ясностью, словно она и сейчас лежит передо мной на столе.

Это был первоклассный «Брюйер», обкуренный, с изглоданным зубами роговым мундштуком. Тонкий золотой ободок сжимал деревянный конец черенка. Пузатая чашечка трубки напоминала цветом орех конского каштана, хорошо протертый масляной тряпочкой. Это не был дешевый и вульгарный блеск лака, но теплое матовое сияние дерева, под которым просвечивали капризные завитки структуры орехового наплыва.

Самый скверный табак приобретал в ней вкус и аромат. И густо-голубой дым не подымался из нее кверху прямым столбом, как в плохих трубках.

Нет, он медленно извивался зыбкими скрученными стеблями призрачного голубого растения, разрастался вширь, плел двойные и тройные кольца.

Словом, трубка была предметом общей зависти и вожделения. И особенно томился по ней Алеша Лебедев. Он приходил ко мне каждую неделю в отпускной день, к вечеру, когда на смутную ширь замерзшей Невы сплывали пепельные тени и тонкий петропавловский шпиль едва угадывался в зимней мгле.

Особым, только ему присущим движением плеч, легким и быстрым, он освобождался от своей курсантской шинели-однорядки. Приглаживал перед зеркалом дымные вихры, которые сам называл волосами «ослиного характера». Точно и щегольски заправленная фланелевая

рубаха, с четырьмя узенькими золотыми полосками на рукаве, обтягивала его крепкие плечи. От маленького роста Алеши плечи казались непомерно широкими. И забавной, увалистой походкой — он сам придумал себе эту раскачку — Алеша шел за мной в кабинет, похожий на детского плюшевого медвежонка с хитрыми пуговками глаз.

Мы не зажигали огня. Мы сумерничали. Единственным источником света был слабый оранжевый отблеск табака, тлеющего в трубке под корочкой пепла. Он мерцал, то затухая, то вспыхивая, как звезда, ныряющая в высоте среди прозрачных облаков над мерно гудящей пустыней океана. И нам обоим казалось, что мы не в комнате над Невой, а на мостике корабля, тихо раскачиваемого плавной пассатной зыбью, где-нибудь на пути от острова Вознесения к Кейптауну.

И тогда мы начинали игру. Непонятную и смешную для тех, кто никогда не склонялся в корабельной рубке над картой, но обаятельную для нас.

Из теплой тьмы комнаты мы вырывались в необъятные водные просторы. И плавали в туманах, рифах и льдах, решая сложные штурманские задачи. Мы проходили в зимнее время Магеллановым проливом, пробирались в хаосе коралловых рифов у берегов Новой Гвинеи, тщательно вычисляя сизигии приливов и отливов для дня и часа нашего плаванья. Мы пробивали непроницаемые туманы Курильских островов и входили на владивостокский рейд в февральскую ночь, когда обледенелые штаги по-волчьи взвывали от напора пурги.

Для меня от этой игры возникали воспоминания, наполненные запахами дальних странствий и молодости. Для Алеши она была накоплением знаний и опыта. После долгого кругосветного плаванья, полного опасностей, мы отдыхали.

Выкурив свою простенькую трубку, Алеша читал написанные в эту неделю стихи. У него был глуховатый голос, и букву «р» он выговаривал с мягким рокотом, отчего еще больше становился похожим на урчащего медвежонка. Он волновался, потому что знал, какая награда ждет его, если стихи мне понравятся. Он читал балладу о командире миноносца, ведущем свой корабль в торпедную атаку. В течение стиха шипела и плескалась вспарываемая форштевнем прозрачная волна, выли форсунки, дрожала от напряжения тонкая сталь палубы, и на стремительном развороте с шумным вздохом пороха вылетали

из аппаратов торпеды, буравя под волной смертельную дорожку. Миноносец убегал в плотную черноту морской ночи...

...И снова сорок тысяч сил
Несут корабль во тьму...

Алеша неотрывно следил за моим лицом. Он мрачнел, если я сидел неподвижно, не улыбаясь и не отстукивая пальцем ритма стиха по ручке кресла. Но я уже зажигал свет. Из заветного ящика бюро появлялся палисандровый ларчик цейлонской работы. В нем, оберегаемый тремя слоями свинцовой бумаги, хранил свой медовый запах темно-золотой «кэпстен». Я набивал свою трубку и давал ее Алеше. У него дрожали руки, когда он принимал награду. Он тянул дым, щурясь, раздувая ноздри. Радость наполняла его мальчишески упругие щеки жаром взволнованной крови.

В мае он пришел ко мне уже не в курсантской фланельке, а в новом синем кителе с лейтенантскими галунами. Пришел прямо с выпускного парада, проникнутый бодрящим ритмом марша, свежий, молодой, чистый, как утренняя волна на песчаном взморье.

Он весь сиял. Он вышел, как и мечтал, на подводные лодки. Он хотел этого издавна. Он проглотил все книги о подводном плаванье. Он любил подводные лодки, как сирота любит созданный в воображении отчий дом. И, едва успев бросить на подзеркальник впервые надетую командирскую фуражку, он начал читать мне написанные накануне стихи о подводной лодке.

Он побыл у меня недолго. Он торопился к девушке, которую любил. Он хотел поделиться с ней своей молодостью и радостью. В прихожей, когда он стоял уже в фуражке, я вложил в его протянутую для пожатия руку красный сафьяновый футляр. Его лицо приняло оттенок этого сафьяна.

— Зачем?.. Зачем вы тратитесь на подарки? Мне не нужно. Вы знаете, как мне дорого ваше внимание.

— Взгляни! Если тебе не понравится, можешь не брать,— улыбнулся я.

Он поднял крышку футляра. На поблекшем голубом бархате лежал мой «Брюйер», который четыре года манил его мечты. Он растерялся. Он даже побледнел от неожиданности.

Стремительным рывком он схватил мою руку и смял ее, посмотрел мне в глаза взглядом, который я не умею

назвать. Такого преданного и свирепого рукопожатия я не испытывал за всю жизнь. Когда я расправил скомканные, посинелые пальцы, Алеши уже не было. Он выскочил за дверь. Мне показалось, что, ломая в порыве мою ладонь, он с трудом удержал слезы. Вероятно, стыдясь этой слабости, он поспешил убежать.

Спустя несколько дней от него пришло письмо из Кронштадта. В нем были новые стихи о трубке.

День славы встал!.. В тугих раскатах грома
Пир начинали пламя и металл.
На мостик вышел, как хозяин дома,
Раскуривая трубку, адмирал.

В тяжелый гул, в кипенье вод смятенных,
Взвивая флаги, перед ним прошли,
Как призраки, в кильватерных колоннах
Чредою боевые корабли.

Он вел их строй... Морской суровой службы
Был каждый миг размерен и учтен,
И медным зовом верности и дружбы
Тревогу пел по палубам клерон.

За дымной далью родина лежала,
Прислушиваясь к буре боевой...
И первых залпов огненные жала
Лизнули жадно ветер голубой.

Они гремели голосами мести,
Они вели расплаты точный счет.
А адмирал тянул из трубки «кэпстен»,
Следя эскадр неотвратимый ход.

Когда ж отбой горнист сыграл у рубки
И мостик оглушила тишина,
Он вспомнил пять ночей без отдыха и сна
И выбил пепел из остывшей трубки.

Стихи были перегружены беспредметной романтикой. Тронули меня не они, а порывисто-искренняя приписка в одну строку: «Спасибо на всю жизнь. *А. Лебедев*».

Утром двадцать второго июня мы узнали о войне, а вечером я получил телеграмму-молнию из Кронштадта, которая развеселила меня: «Балтийцы раскуривают свои трубки полным накалом за родину привет *Алеша*».

После этого наступило долгое молчание. И лишь недавно я узнал, что Алеши Лебедева больше нет. Сообщил мне об этом случайный человек, который знал Алешу как обыкновенного рядового командира флота. И сказал он мне об Алешиной гибели небрежно и вскользь. «Из рав-

нодушных уст я слышал смерти весть», но внимал ей не равнодушно, а с мучительной и едкой горечью.

Алексей Лебедев остался со своей лодкой на дне Балтийского моря, далеко от родины, на траверзе Киля. Подробностей не было. Последнее радио, принятое с лодки, сообщало: «Потопили транспорт противника 14 000 тонн, выходим на позицию». После этого наступило вечное молчание.

Мне невыносимо думать об Алешиной смерти, но мысль неотвязно стремится к ней, как поденка на огонь свечи. Я думаю без конца о том, как это произошло. Погиб ли он без мучений, в один миг, разорванный взрывом и залитый потоками воды, хлынувшими в разломанный корпус, или еще жил, боролся, думал?

Может быть, в один из уцелевших от катастрофы отсеков успели броситься несколько человек, задраив за собой дверь. Может быть, среди них был Алеша. Лодка легла на дно. В незаметные щели под расшатанными заклепками иголочными струйками хлестала вода. Аккумуляторный фонарь с трудом пробивал мутный воздух — в отсек вместе с людьми прорвались едкие газы взрыва. Поглотители не работали. Кислорода в одном небольшом баллоне не могло хватить надолго.

Выяснив безнадежность положения, лейтенант Лебедев сделал все, чтобы успокоить товарищей и внушить им бодрость. Я знаю, что он поступил именно так. Я слишком хорошо знаю его, чтобы утверждать это. Он всегда был спокойно храбрым настоящей русской храбростью, скромной и умной. Он сумел внушить им, что смерть нельзя обмануть, а раз нельзя, то нужно встретить ее с мужеством и достоинством советского человека. Возможно, что он собрал вокруг себя этих обреченных боевых друзей и пока мог, пока они еще способны были слушать, он рассказывал им своим рокочущим на «р» говорком всякие сказочные морские приключения, которых он знал так много.

Когда воздуха стало не хватать и люди начали задыхаться, лейтенант Лебедев сам подносил к запекшимся синим губам краник кислородной трубки, на короткое мгновение возвращая друзьям жизнь и силы. Но все слабее шипел кислород, вытекая из пустеющего баллона. Все больше тускнел свет фонаря — истощалась энергия аккумулятора. Люди засыпали тихо и незаметно, склоняя голову на грудь.

И тогда лейтенант Лебедев бросил бесполезный баллон. Я уверен, что с его легкими молодого атлета, с его изумительным, пропитанным морской солью здоровьем он пережил всех. Пережил не только благодаря здоровью, но и благодаря внутренней силе воли настоящего командира. Взглянув на неподвижные тела друзей, он вынул свою трубку и в последний раз набил ее табаком. С точки зрения корабельного устава это был тягчайший проступок. Курение внутри подводной лодки считается преступлением. Но лодки уже не было, а ему было трудно без трубки. Он закурил и сел в углу на выступ какого-нибудь механизма. В эту минуту он, наверно, вспомнил родную землю, которую любил просто и горячо, как русский, худенькую девушку, которую любил искренне и нежно, как человек, и, может быть, припомнил и меня, чьей дружбой он дорожил и от кого он получил эту трубку.

Вокруг стало тихо. Очень тихо, так, что, возможно, угасающим слухом он еще услышал, как снаружи тупо тычется носом в стальной борт глупая любопытная рыба. Он глубоко затянулся в последний раз, трубка выпала из его рук, и голова упала на грудь, как у тех, кто ушел из жизни прежде него.

Бывшая база фашистского флота — Киль лежит на низком, приземистом берегу древней Балтики. За седыми дюнами встают островерхие крыши и узкие готические шпили, как штыки, воткнутые в дымное, серое небо. Постоянные туманы густо висят над плотной водой, в черной, холодной глубине которой спят советские моряки, отдавшие жизнь за свободу, честь и независимость родины.

Я хотел бы еще раз пройти на корабле мимо Киля по этой угрюмой воде, покрытой волокнами тумана. Эти синие волокна напомнят мне голубой дым трубки, заволакивающий улыбку Алеши Лебедева, друга, поэта, командира, который, краснея от радости, затягивается «кэпстеном», счастливый моей похвалой за стихи и гордый точным расчетом входа на четырехмачтовом паруснике в гавань Аомори, на острове Хонсю, во время остового тайфуна.

И, встав «смирно» на палубе, я отдам последнюю почесть его славной могиле.

<1942>

ДЕТАЛЬ

Полковник сидел на табурете, положив на некрашеные сосновые доски стола большие красивые руки, и слушал комиссара дивизии, машинально выбивая концами пальцев по столу барабанную дробь.

Руки полковника притягивали к себе взгляды и комиссара, и молодого, загорелого, жизнерадостного лейтенанта-артиллериста, вызванного в штаб из артдивизиона. Они были очень красивы, эти сильные, мужественные руки с мускулистыми длинными пальцами. Чувствовалось, что они умеют цепко осязать фактуру вещей и ласкать их с почти детской мягкостью и в то же время способны, в приступе злости, ломать и крушить любой, самый неподатливый материал.

Лейтенант почти откровенно любовался выразительностью и силой этих рук. Комиссар смотрел на них со спокойным и пристальным вниманием немолодого человека, приученного жизненным опытом не выказывать слишком открыто своих ощущений. Но, видимо, и комиссару нравились эти по-мужски прекрасные руки. Полковник прибыл в штаб дивизии час тому назад. Но еще в ночь дежурный по связи принял радиограмму из штаба армии, которая сообщала, что в дивизию выезжает крупный артиллерийский конструктор, полковник Любимов, для наблюдения в боевых условиях нового средства артиллерийской техники, только что пущенного в производство. Первые образцы проходили стадию испытаний в приданном дивизии особом артдивизионе.

Полковник появился минута в минуту указанного в телефонограмме времени. Командиру дивизии в это время понадобилось выехать на передний край, и приезжего принимал комиссар. Полковник был незнаком комиссару, комиссар видел его впервые, но едва гость успел вылезть из проворной фронтовой эмки, как приятно удивил комиссара, передав ему привет от давнишнего приятеля из времен гражданской войны — теперь директора завода боеприпасов на востоке. Это неожиданное обстоятельство сразу устранило обычную неловкость первых мгновений встречи незнакомых людей, даже принадлежащих к одному кругу и одной профессии. Комиссар вспомнил друга, с которым не виделся добрых десять лет, и для разговора сразу нашелся тот простой и верный тон, который так трудно установить, когда между разговаривающими нет никакой связи.

Полковник Любимов предъявил комиссару предписание Главного артиллерийского управления, определяющее его задачи, и сказал, что хочет как можно скорее закончить свою работу и возвратиться в управление, где у него много неотложного дела, от которого он не может надолго отрываться.

— Ну что ж, отлично, товарищ полковник,— сказал комиссар, придвигая к себе папку с бумагами, принесенными для подписи,— мы постараемся оказать вам всяческую помощь. Вот товарищ лейтенант сейчас проедет с вами в расположение дивизиона. Познакомитесь с командиром дивизиона и можете любоваться вашей штучкой, сколько вам заблагорассудится.

Полковник встал и ловко оправил пояс на гимнастерке.

— Кстати, товарищ полковой комиссар, меня интересует и ваше мнение,— сказал он,— вы ведь уже имели возможность наблюдать эту «штучку» в действии довольно продолжительное время. Как, по-вашему, представляет ли она уже и в этой стадии серьезное новое оружие или нуждается еще в дальнейших доделках и изменении конструкции?

Комиссар тоже поднялся.

— По-моему, не плохая игрушка,— произнес он шутливо,— мы, по чести говоря, ею довольны, а фрицы очень сердятся. А это, собственно, и требуется доказать. Но нужно ли к ней еще что-нибудь добавлять или переиначивать,— это уж вы сами смекните. Вы артиллерист — вам

виднее. Ночевать возвращайтесь к нам, я вам приготовлю местечко поуютнее.

Комиссар протянул полковнику руку, и крепкая красивая кисть полковника охватила эту руку сильным захватом. Высвободив свою кисть, комиссар потряс ею в воздухе.

— Ну-ну! — сказал он.— Часом, вы подковы не гнете руками?

— Простите,— полковник смутился,— я когда-то в молодости на канатной фабрике работал, а это очень развивает силу в пальцах... Касательно возвращения к вам,— я, пожалуй, предпочел бы остаться в дивизионе. Все-таки мне там придется пробыть дня три, и не будет ли утомительно каждый день ездить туда и обратно? Кончил бы дело — и прямо оттуда к себе... А за уютом я не гонюсь. Хоть и приелась пословица «на войне как на войне», но другой пока не выдумали.

— Нет уж, товарищ полковник,— засмеялся комиссар,— не нарушайте наших правил, чтобы не пришлось напоминать вам другую поговорку про «чужой монастырь». Вам нужно познакомиться с генерал-майором. Он будет обижен, если вы с ним не повстречаетесь. И, наконец, я с вами обязательно передам письмо Петрухе. Давненько мы с ним не видались, так хоть напишу. А вы ему обязательно скажите, что я его помню и хочу видеть... Товарищ лейтенант! Поручаю вам лично обеспечить товарищу полковнику возвращение к ночи сюда. Ясно?

— Ясно, товарищ полковой комиссар,— лейтенант стукнул каблуками.

Дверь за полковником закрылась. Комиссар вынул из грудного кармана автоматическое перо и стал проглядывать бумаги. Подписал одну, другую... На третьей задержался. Рука с пером повисла в воздухе. Брови комиссара сдвинулись, на лице появилось выражение напряженной думы. Он отодвинул бумагу, встал из-за стола и посмотрел в окно. За окном лежала темно-лиловая, влажная и дымящаяся от весеннего солнца земля, чуть опушенная зеленой щеточкой первых игольчатых побегов травы. На разбитой грузовиками дороге синими стеклянными осколками блестели лужи. По обочине, подобрав полы шинели и медленно переставляя облипшие грязью ноги, гуськом тянулись бойцы. Очень издалека накатывался глухой пушечный гром. Все было очень обычным и приевшимся комиссарскому глазу, но он продолжал изучать неслож-

ный прифронтовой пейзаж, как будто отыскивая в этой мокрой земле, в колеях и лужах решение сложной задачи. По лицу его казалось, что он не доверяет реальности этой обыденной картины и упорно, даже с раздражением, думает о чем-то, ускользающем от его сознания. Прошло минут пять. Внезапно комиссар резко и коротко ударил стиснутым кулаком по раме так, что стекла жалобно зазвякали.

Напряженная рассеянность взгляда исчезла. Комиссар вернулся к столу, вынул из зеленой шкатулки полевого телефона трубку и, услыхав за гнусавым нытьем пищика голос телефониста, приказал, прикрывая рот ладонью, словно не желая, чтобы его услышали:

— Товарищ дежурный, соедините меня с Кононенко. Только чисто, без всяких там ваших заземлений, замыканий и хрюканья.

Прижимая трубку к уху правым плечом, комиссар успел свернуть самокрутку, вставить в мундштук и закурить, прежде чем дождался соединения.

— Кононенко, зайди-ка сейчас ко мне,— сказал он, по-прежнему держа ладонь у рта, и, не ожидая ответа, положил трубку.

Он продолжал подписывать бумаги, и лицо его стало опять спокойным, как всегда, и немного усталым. Вскоре в дверь постучали, и на отклик комиссара вошел худощавый человек с угловатыми, высоко поднятыми плечами и остановился у стола.

— Явился по вашему приглашению, товарищ полковой комиссар.

Комиссар закрыл папку, сильным движением отодвинул стул и несколько раз прошелся по комнате из угла в угол. Кононенко стоял неподвижно, только поворачивая голову вслед комиссару. Наконец комиссар прекратил хождение и взял Кононенко за локоть.

— Извини, что побеспокоил, но дело такое, что хочется с тобой поговорить.

Он увлек Кононенко в угол, где было меньше света, и там, продолжая сжимать его локоть, долго и тихо шептал. Кононенко слушал, склонив голову набок, и на худом лице его с двумя глубокими морщинами у углов рта, которые старили это еще молодое лицо, не шевельнулся ни один мускул.

— Так вот какая история!.. Все понятно? — спросил

комиссар, и Кононенко молча кивнул в ответ. Потом оба вышли из комнаты. Наступил обеденный час.

Было уже совсем темно, когда из дивизиона вернулся полковник Любимов. На столе у комиссара желтым огнем горела десятилинейная керосиновая лампа, прикрытая сбоку листом бумаги. От нее на лоб комиссара падала теплая коричневая тень, в которой тонули глаза, и нельзя было разобрать их выражения.

— Садитесь, товарищ полковник,— радушно предложил комиссар,— как съездили? Не угодно ли закурить? — Комиссар подвинул полковнику простенький портсигар карельской березы, набитый желтой табачной стружкой.

— Спасибо! Отлично прокатился. Видел «штучку» в настоящей работе, не на полигоне. Вы правы,— фрицы очень недовольны. Думаю, что если поработать еще немного над усилением убойного действия,— выйдет совсем отлично... Благодарю,— полковник отодвинул портсигар,— предпочитаю папиросы, не умею возиться со свертыванием.

Он вынул коробку папирос, раскрыл ее, взял папиросу, и, пока он подносил к ней спичку, комиссар снова внимательно смотрел на его красивую кисть. Потом задумчиво сказал:

— Я доложил генерал-майору о вашем приезде. Он будет рад увидать вас, но просил зайти к нему завтра утром. Сегодня он очень устал, и, кроме того, сейчас у него начальник штаба с экстренным докладом. Да и вы, вероятно, устали. Отдыхайте на здоровье. Сейчас вам покажут вашу комнату... Товарищ Кононенко! — позвал комиссар, повысив голос, и в комнату вошел Кононенко и стал у порога.

Полковник Любимов положил докуренную папиросу в пепельницу на комиссарском столе.

— В самом деле, не плохо выспаться,— сказал он, зевнув,— я так засиделся в управленческих дебрях, что даже опьянел от чистого воздуха. Спасибо за прием и — до завтра.

— Спокойной ночи! — ответил комиссар, не подымая головы от бумаг. И, когда полковник уже поднялся и шагнул к двери, комиссар небрежно спросил, как бы случайно вспомнив:

— Да, простите, товарищ полковник... Вы ведь член партии?

— Так точно!

— Надо вам будет все-таки заглянуть к отсекру. Хоть вы к нам и на краткий срок, но у нас такое правило: отсекр должен иметь на учете всех членов партии. Время боевое, на всякий случай не мешает... Впрочем, знаете что. Чем вам ходить самому, терять время, дайте на минутку ваш партбилет, я спишу данные и завтра сам ему сдам.

Полковник расстегнул гимнастерку, вынул партбилет и положил перед комиссаром. Тот записал в блокнот имя, отчество, фамилию, партийный стаж и лениво перелистал билет до последней страницы.

— Очень хорошо, товарищ полковник,— сказал он, возвращая билет,— приятно видеть аккуратного члена партии. Взносы в порядке до последнего месяца. А то у нас нередко забывают...

Комиссар взял со стола свой портсигар и медленно опустил его в карман брюк, смотря, как полковник бережно прячет партбилет и застегивает гимнастерку.

И вдруг рука комиссара рванулась кверху из кармана, и черный ствол парабеллума застыл на уровне груди полковника. Одновременно тяжелым густым голосом комиссар крикнул:

— Руки вверх, прохвост! Без шума!

Полковник не сделал ни одного движения. Только взгляд его быстро метнулся назад, туда, где у двери стоял Кононенко. Но оттуда тоже смотрело на него черное колечко пистолетного ствола. Он пожал плечами и, без испуга и изумления, лишь заметно побледнев, поднял к потолку большие, по-мужски красивые руки.

Кононенко открыл дверь. Два красноармейца, стукнув в пол прикладами, бесшумно стали по бокам арестованного. Кононенко расстегнул и снял с полковника пояс с кобурой.

— Самоуверенный,— протянул он полунасмешливо, полуодобрительно,— даже лишнего оружия не взял.

Комиссар подошел к арестованному, открывая перочинный нож. Тот вздрогнул и попятился.

— Не бойтесь! У нас не ваши обычаи,— поморщился комиссар,— просто хочу освободить вас от лишних деталей. Нехорошо они на вас выглядят.

И он тщательно срезал угольники с рукавов и петлицы с воротника арестованного. Тот косил на комиссара глаза. Взгляд их был уже откровенно волчий. Он облизал пересохшие губы и хрипло спросил:

— Теперь уже все равно... Но на чем вы меня поймали?

Комиссар угрюмо поглядел ему в глаза.

— Стоит ли вам перед кончиной отягчать ум лишними знаниями? Все равно не успеют пригодиться... Уберите его!

Красноармейцы вывели арестованного. Комиссар отошел к столу и начал скручивать папироску. Пальцы его немного дрожали, и папироса вышла чересчур толстая и неуклюжая. Вернулся Кононенко. Комиссар вздохнул и тяжело опустился на стул. Кононенко сказал с тихим восхищением:

— Чистая работа, товарищ полковой комиссар!.. Но мне-то вы скажете, на чем его подловили? Мне пригодится.

Комиссар откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза и заложил руки за голову.

— Понимаешь,— заговорил он медленно,— что-то мне в нем не показалось с первого взгляда. Ушел он, а я все сидел и думал. Что?.. Что?.. Что именно, черт подери? Руки?.. Нет, что тут особенного. Что больно красивые и барственные, так это — не факт... Я у молотобойцев видал такие руки, что графы позавидуют. Значит, не в этом дело. Что же!.. И вдруг осенило... В гражданскую войну немцы в украинские города всегда с барабанным боем входили... Я еще мальчишкой тогда был, но мне этот барабанный бой на всю жизнь в голову, как гвоздями, вбило. Так вот, когда он со мной беседовал, нервы у него все же играли маленько, и он пальцами по столу этот самый бой выстукивал. Не наш, понимаешь? Но и этого мало... Только повод для подозрения... Документы в порядке,— лучше не надо. Приезд обставлен по всей форме... Решил я ему еще проверочку сделать...

— На партбилете? — быстро сказал Кононенко.

Комиссар улыбнулся:

— Не скачи вперед батька в пекло... Нет! На папиросе... Он тут мне заливал, что в молодости на канатной фабрике канаты сучил. А папироски свернуть, вишь, не умеет. В фатерланде этот способ непопулярен, там больше все на готовке живут. Но и это не факт, а только подпорка для подозрения... А окончательно его выдал, действительно, партбилет... Вот, погляди.

Он подал Кононенко отобранный у шпиона партбилет. Тот приблизил его к лампе и тщательно проглядел страни-

цу за страницей. Поднял на комиссара недоуменный взгляд.

— Не вижу... Все чисто.

— Эхма! — комиссар протянул руку и шутливо дернул Кононенко за белокурый чубик.— А еще государственная безопасность! Видеть мало — соображать надо. Смотри — членские взносы с какого оклада плачены? С пятисот рублей. А сколько полковник у нас получает? А? Вот и зарытая собака!

— Н-да... действительно,— сказал удивленно Кононенко,— здорово!

Комиссар засмеялся:

— Вот и все... Деталь! Все они в конце концов на детали ловятся. Гробовая профессия у прохвостов... Нужно только эту деталь не упустить, за хвост поймать — и птичка в клетке. Вот и запомни! — заключил комиссар, ловко и тщательно скручивая новую папироску.

<*1942*>

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПЛЫВ

Тонуть мне пришлось на транспорте «Герой», по пути из Таллина в Кронштадт.

Из Таллина мы уходили последними. Улицы уже обстреливались немецкой артиллерией. Снаряды с воем проносились над головой. То там, то тут слышались тупые удары стали в камень и за ними грохот разрывов, невидимых за домами. Позади, над серыми шиферными крышами, ярко пылала подожженная бомбой верхушка Олайкирхе.

Мы пробирались в гавань, прижимаясь к домам. Дома стояли мертвые, с наглухо запертыми подъездами, с захлопнутыми ставнями. Город казался вымершим.

В гавани пришлось бежать по открытому пространству, заваленному брошенным портовым имуществом, ящиками, бочками, баками, бунтами тросов, железными балками. Над всем этим хламом беспрестанно рвалась шрапнель, расплываясь в небе розовыми помпонами. Пули шлепались в ящики, звякали по железу. До стенки добежали не все. Десяток товарищей остался на этом проклятом месте.

Привалясь к стенке, как теленок, жмущийся к корове, нас ждал транспорт. Он был очень жалок на вид, инвалидный служака, весь в ржавчине, которая проступала сквозь серую окраску его помятых бортов.

Подбегая к его тупой корме, я прочел на ней: «Г е р о й».

Хоть и не до веселья было, но я расхохотался на бегу. Уж очень нелепо выглядело это громкое имя на таком старом ящике. Мы с грохотом пробежали по сходне на палубу. Вероятно, посудина Ноя, когда он собирался спасаться от потопа, имела такой же вид. Все было завалено сундуками, чемоданами, рюкзаками. Пестрели наклейки: «Агитбригада краснофлотского театра», «Адмотдел управления тыла» и прочее. В кишащей на палубе толпе было много женщин. Актрисы, жены командиров, таллинские жительницы. Были они бледны, прически у них посбивались, в глазах страх, но держались спокойно. Между прочим, женщины в настоящей опасности держатся здорово. По пустякам могут впасть в истерику и наделать шуму на все Балтийское море, а если дело всерьез, то ведут себя молодцами. Мужчинам можно в пример ставить.

Но толкотня и гам на палубе были все же отменные. Транспорт небольшой, тысяча двести тонн, а набралось на него без малого человек шестьсот. Стояли впритирку. Но кое-где уже устраивались по-хозяйственному. У фок-мачты даже кипел медный самовар, и к нему выстроилась очередь с чайниками.

А шрапнель все еще разрисовывала небо помпонами. С треском упала на стенку сходня. Палуба задрожала от работы винта. «Герой» медленно отползал задним ходом на середину гавани. Между бортом и стенкой ширилась зеленая полоса воды, мутно-радужной от нефти.

Прижатый к борту, я смотрел на покидаемый город. Западная часть его тонула в буром дыму пожаров. Из дыма рвались огненные языки. Горечь и обида злой рукой сжали мое сердце.

И тут я услышал сверху сердитый хриплый голос:

— Товарищи командиры! Кончать базар надо! Что это на палубе творится? Беритесь за дело. Барахло разложите поаккуратней, чтоб ног не ломать. Делай все сами, у меня свободных рук нет. Гражданок женского пола прошу перейти на корму в каютные помещения. Мужчинам оставаться на палубе. Живо, товарищи!

Голос показался мне необычайно знакомым. Я вскинул голову к мостику. Свесясь через поручни, на меня смотрело лицо цвета сырого бифштекса, с бугроватым носом и серыми моржовыми усами. Я радостно удивился.

Командиром «Героя» оказался Степан Акимович Барсуков. Если вы не спортсмен — вам это имя ничего не скажет. Ну, а кто спортом болел, те сразу вспомнят.

Был Степан Акимович самым преданным, самым жарким болельщиком Ленинграда. По всем видам спорта. Профессии совсем не спортивной — капитан речного буксира. Знаете, такие ободранные буксиришки с низким задом и откидной трубой, которые в летние дни ползают водяными жуками по Неве, Фонтанке и Мойке, таская баржи с дровами, песком и ладожскими гончарными изделиями. Жизнь на них тихая и ленивая, как послеобеденный сон. Степан Акимович тоже был тихий, хотя в юности прожил бурно. Двадцатидвухлетним матросенком угодил с крейсера «Олег» в шестилетнюю каторгу за расклеивание прокламаций. С каторги бежал. Переправился на Аляску. Искал золото, держал ездовых собак. В революцию вернулся домой, плавал на Волжской флотилии, командовал в Астрахани баржой-батареей и на двенадцатифутовом рейде раскатал, один на один, белый крейсер «Крюгер». Но, по пристрастию к градусным напиткам, дальше не пошел. Вышел в запас, попал на речное пароходство и жил на своем буксире «Текстильщик».

Но помимо питейной страсти, была у Степана Акимовича и другая, благородная и возвышенная — спорт. Особенно обожал он плаванье и теннис. На всесоюзных соревнованиях на трибуне обязательно красовалось его мясистое лицо и моржовые усы.

Болел он пламенно и яростно. С необычным пылом и темпераментом. Вскакивал с места, хватался за голову, вскрикивал, подбадривал состязающихся одобрительными возгласами или свирепо поносил проигрывающих фаворитов. Иногда публика больше смотрела на Степана Акимовича, чем на участников соревнования, и на трибунах вспыхивал бурный хохот, когда Барсуков с искаженным лицом срывал с лысины фуражку и, рыча тигром, скреб свою голову. В приезд прославленного Коше Степан Акимович так бушевал, что жизнерадостный француз сам до того развеселился, заметив неистового болельщика, что пришлось прервать игру. Понадобилось усадить рядом с Барсуковым двух теннисистов, которые удерживали его порывы.

Но никто и никогда на него не сердился. Была в этом помятом старом человеке обаятельная искренность страсти, и, если на большом соревновании Степана Акимовича не было, спортсмены тревожились, уж не дал ли старик дуба.

Увидев Степана Акимовича на мостике «Героя», я обрадовался ему, как родному. В горькой обстановке отступления он напомнил мне ясные дни мирной жизни, и от одного его вида мне стало легче. Я махнул ему рукой и крикнул:

— Степан Акимыч! Эге! Вот на каком соревновании пришлось встретиться.— Но на мое приветствие Барсуков сварливо прохрипел:

— Товарищ интендант второго ранга, слышали приказание привести палубу в порядок? Так не стойте столбом. И обращайтесь по уставу. Я вам не Степан Акимыч!

Он явно умышленно вынес за поручни мостика руку в синем рукаве с нашивками старшего лейтенанта.

Я был жестоко обижен таким ответом на мой порыв. Я повернулся спиной к Барсукову и принял участие в планомерном размещении на палубе груды имущества. Потом я присел у борта на чей-то чемодан, вынул из кармана кителя «Сигнал бедствия» Роже Верселя, захваченный из библиотеки базового клуба, и погрузился в чтение. Мерно постукивала дряхлая машина «Героя». Транспорт вышел в море и полз к востоку вдоль низкого песчаного взморья, поросшего соснами и усеянного дачными домиками. Вечер был тихий и дымный. Море отражало зеленовато-льдистое небо наступающей белой ночи. Я отложил книгу. Досада на Барсукова не оставляла меня. Я со злостью подумал, что стоило человеку стать начальством даже на такой дрянной посудине, как «Герой», чтобы он сразу начал показывать свои худшие качества.

Среди этих раздумий ко мне подошел краснофлотец в брезентовом рабочем и, козырнув, сказал:

— Товарищ интендант второго ранга, командир корабля приказал вам прийти к нему на мостик.

В раздражении я хотел ответить, что если командиру корабля нужно меня видеть, то пусть придет сам ко мне, но долг дисциплины преодолел злость, и я направился на мостик. При моем появлении Степан Акимович подошел ко мне быстрыми мелкими шажками, протягивая руку. Под серыми усами его цвела радушная улыбка.

— Вы не сердитесь, что я вас огрел,— сказал он добродушно,— сами понимаете, публика у меня сбродная набралась. Если не поддерживать командирский авторитет — сумасшедший дом будет.

В глазах Степана Акимовича было такое искреннее сожаление, что я сердечно пожал его большую заскорузлую ладонь.

— Да,— продолжал он,— вот уж не думал здесь вас увидеть. Плохо, знаете. Лоханка моя чуть на воде держится, днище ржавое, как решето. Все вооружение — вот эта трещалка,— он презрительно пнул ногой тумбу установленного на мостике пулемета,— а народу гибель. Одних женщин больше полсотни. И за всех я в ответе. Обязан доставить благополучно... Ну, а если налетят?

Он с тревогой заглянул мне в глаза.

— Ну, может быть, и не налетят. Зачем налетать на такую консервную коробку? Немцы сейчас заняты целями покрупнее,— ответил я, подумав о вышедшем за несколько часов до нас большом караване.

— Так-то так, а все же беспокойно... Хотите чайку выпить? У меня в рубке чайничек готов.

Я охотно согласился. Степан Акимович ввел меня в тесную рубку, налил чашку чаю и придвинул вазочку с вареньем.

— Угощайтесь!

Он присел против меня, положив руки на стол и покачивая головой.

— Эх, какое время пришло... А помните, в запрошлом году Новиков как играл. Смертельные удары. Особенно левый драйв... А Чистов садится... Как я и предсказывал — ничего не вышло. Фитюлька.

И Степан Акимович забыл о своем командирском беспокойстве. Он вытаскивал из своей спортивной памяти знаменитые эпизоды соревнований, спортивные анекдоты, вспоминал заплывы Алешиной, Китаева, Остен-Сакена. Многого я даже не мог припомнить, а Степан Акимович все больше горячился. Он даже начал подпрыгивать, как некогда в азарте на трибунах.

Но воспоминания были прерваны появлением старшины.

— Товарищ старший лейтенант,— доложил старшина,— с севера самолеты!

Степан Акимович вскинулся. Нахлобучив фуражку, он выскочил на мостик. За ним выбежал и я. На палубе звучал сигнал воздушной тревоги. Пулеметчик развернул единственный пулемет «Героя» навстречу самолетам. Внизу разрастался взволнованный говор. Люди потянулись

к правому борту, смотря в небо. Степан Акимович подскочил к обвесу.

— Разговорчики прекратить! От борта долой! Оставаться на местах и не трогаться без приказания.

Его хриплый голос неожиданно окреп и зазвенел. И сам он как будто сразу стал выше и плотнее. Я подумал, что таким, наверно, был Барсуков в молодости, когда раскатывал под Астраханью белогвардейский крейсер. Взглянув на север, я увидел на бледном небе чуть заметные силуэты трех самолетов. Я узнал в них бомбардировщики «юнкерс-88». Хрипящий вой их моторов усиливался. Они начали разворачиваться влево, заходя на боевой курс.

— Берут в работу,— обронил Степан Акимович, снижая голос.— Ну, что я могу с ними поделать. Все равно что в слона манной крупой кидать.

Головной «юнкерс» вырвался вперед, на мгновение замер в воздухе и, опустив нос, ринулся вниз. Над моим ухом застучал пулемет. Одна... две... три очереди. Бомбардировщик падал на беззащитный транспорт, нависая над палубой. Сверкнули, отделяясь от него, две искры. Самолет вышел из пике и круто пошел кверху. И сейчас же с глухим воем бомбы взрыли море на курсе «Героя» метрах в двухстах от его носа. Ухнули удары разрывов, вскинув высокие столбы грязно-серой воды.

— Ошибка! — крикнул бодрый голос.— Пятнадцать — ноль в нашу пользу.

Степан Акимович, прищурясь, блестящими глазами следил за уносящимся самолетом. Тревоги уже не было на его лице, он был захвачен азартом риска. Снова застучал пулемет. Второй «юнкерс» обрушился на «Героя». Мостик сильно тряхнуло, я едва удержался на ногах. Заныли осколки. Один с треском ударил в стену рубки. Мимо борта «Героя» проплыли назад два вспененных круглых пятна на воде, следы падений. Пулемет безостановочно бил по самолету.

— Мажут! — закричал Степан Акимович.— Ей-богу, мажут... Прекратить огонь! Не трать патроны! Пригодятся на третьего.

Третий немец прошел над нами, словно разглядывая и принюхиваясь. Он далеко обогнал нас, свиражировал и пошел навстречу.

На мостик взлетел краснофлотец.

— Товарищ старший лейтенант! Которые гражданки в каютах боятся. Кричат, чтоб на палубу выпустить.

— Не выпускать! — отрезал Степан Акимович, не сводя глаз с несущегося навстречу самолета. Он повис над нами и упал стрелой. Треск пулемета захлебнулся в оглушительном громе. Вода встала пред глазами мутной пенистой стеной и обвалилась на мостик, будто сразу опрокинули сотню сорокаведерных бочек. Все затрещало и зашаталось. Я перестал видеть от едкой боли в глазах. Когда я протер их, все вокруг было мокро. Вода с шипением катилась по мостику. Степан Акимович ловил уносимую водой фуражку. На палубе кричали. Зазвонил машинный телеграф. Степан Акимович вырвал пробку из трубки. Лицо его стало серым. Он выпрямился.

— Днище кочегарки вырвало. Ясно! Сплошная ржавчина. Заливает машинное, каюк,— тихо сказал он на мой вопросительный взгляд и тотчас же побежал к обвесу, на ходу вытаскивая из кобуры наган.

— Кончить галдеж! Смирно, без шевеленья! Кто нарушит порядок — рискует неприятностью! — И он в подтверждение постучал дулом нагана по поручню.

Крики смолкли. Степан Акимович повернулся к старшине.

— Выводить женщин, сажать в шлюпки! Полный порядок! Шлюпки на воду!

Я подошел к заднему обвесу. Палуба мостика чуть заметно стала крениться вправо. Возле узкой двери полуюта стояли двое краснофлотцев с винтовками. Женщины выходили из двери поодиночке, тихие, с расширенными глазами, судорожно прижимая к груди сумочки и детей. Стоя против дверей, старшина рукой указывал им направление направо и налево. Краснофлотцы помогали им взбираться на планширь и оттуда в шлюпки. Посадка шла быстро, без суетни и шума. Заскрипели блоки талей. Две старые шлюпки «Героя» поползли на воду. Транспорт медленно оседал.

— Товарищ старший лейтенант! — закричал старшина.— Шлюпки на воде!

— Отваливать! — приказал Степан Акимович и пошел к переднему обвесу. Я последовал за ним. На палубе в угрюмом молчании стояли мужчины. Их было много. Они инстинктивно сжались в центре корабля и пристально смотрели на тихую поверхность моря.

— Кто не умеет плавать, подымите руки,— негромко, но ясно сказал Степан Акимович.

В ответ поднялось с полсотни рук. Люди смотрели на командира.

— Не умеющим плавать подойти к борту, построиться в шеренгу. Остальным стоять на местах. Сейчас будут розданы пояса и круги.

Люди молча выполнили приказ. У борта застыла живая цепочка. Краснофлотцы торопливо раздавали круги и пояса.

— Троим не хватает, товарищ старший лейтенант.

Степан Акимович кинулся в рубку и, вытащив оттуда три буйка, сбросил их на палубу.

— Слушай меня!

Барсуков вскарабкался на поручни. По щекам его стекали крупные капли пота, хотя вечер был прохладный.

— А ну, товарищи, веселей глядеть. Непредвиденное соревнование по плаванью на большую дистанцию. Прыгать в воду по моей команде. Плыть к острову,— и Степан Акимович указал на серевшее вдали плоское пятно.— Первая шеренга на борт!

Планширь оброс людьми. Они балансировали на нем, стараясь удержать равновесие, хватаясь за ванты и друг за друга. Степан Акимович поднял наган.

— Приготовиться... Раз. Два. Три.

Ударил выстрел. Вода за бортом зашумела и заплескалась. В ней зачернели головы пловцов.

— Ровнее плыть, не спешить. Держать правильное дыхание. Не болтать попусту руками! — командовал Барсуков. Он был очень возбужден. Он неожиданно почувствовал себя прежним Степаном Акимовичем, неистовым болельщиком. Вероятно, в эту минуту он даже забыл, что ему самому угрожает гибель.

— Отплывать! Не вертеться под бортом. Освобождайте место! Остальным строиться в ряды,— кричал Степан Акимович.

Беспорядочная куча на палубе зашевелилась, разделилась на отчетливые ряды.

— Тихо! — скомандовал Барсуков.— Первый ряд на борт!

Он оглянулся и как будто впервые заметил меня.

— Идите на палубу, становитесь в ряд.

— Да я с вами, Степан Акимович,— попробовал возразить я, но Барсуков сердито сверкнул глазками.

— Исполнять приказание. Прошу вниз! — И он широким жестом указал на трап.

Я подчинился. Ряд за рядом население «Героя» покидало транспорт по команде Барсукова. Я сбросил ботинки и китель, чтобы легче плыть, и очутился в воде с последней партией. Вынырнув, я удивился, как низко сидит в воде «Герой». Только узенькая полоска его борта возвышалась над морем. Я взглянул на мостик. Там одиноко стоял Степан Акимович, и я услышал его напутственные слова:

— Не сбиваться в кучу. Друг друга перетопите. Расплывайтесь пошире! Не надрываться! Время не играет роли...

Казалось, что он наслаждался ролью судьи этого необычайного заплыва, организованного им, этой борьбой за спасение доверенных ему человеческих жизней.

Я приподнялся над водой, помахал рукой и закричал:

— Степан Акимыч! Заплывайте в голову! Ведите команду!

Он услыхал мой оклик и, сняв мокрую фуражку, торжественно приподнял ее над головой. Набежала волна, хлестнув мне в рот и ноздри. Когда я отплевался и взглянул на «Героя», его мачты стремительно валились набок. Еще мгновение, и вода с гулом сомкнулась над ним.

Спустя три часа я выполз на песчаный пляж острова. Краснофлотцы батареи радушно принимали необычных гостей. Обе шлюпки, давно высадив женщин, подбирали теперь отставших и выбивающихся из сил. До утра мы просидели на берегу, поджидая последних пловцов. Утром произвели подсчет. Недосчитались шестерых.

Впрочем, нет, не шестерых, а семерых. Седьмым был Степан Акимович Барсуков.

<1942>

СТАРУХА

Когда девять друзей, радистов морского полка, пришли на Шароновские хутора, обнаружилось, что никаких хуторов в указанном месте нет. Хутора существовали лишь в условном обозначении на штабной карте. На местности же не осталось ничего, кроме угрюмого частокола, опаленных гвардейскими минометами древесных стволов, глубоких воронок, налитых кофейно-рыжей болотной водой, груд кирпича от разрушенных печей да сухого, горького пепла, носимого ветром.

Над хуторами поработали и артиллерия и самолеты, а докончили разрушение немецкие факельщики, которые в час бегства сожгли все, что еще стояло на земле.

Моряков не удивило зрелище опустошения. Они уже привыкли к таким картинам. И больше не стискивали челюстей и не рвали на груди тельняшек, бледнея и ругаясь с перегибом. Теперь в их душах жила прочная, окаменелая злоба, и новые впечатления, наслаиваясь на нее, делали ее еще более неподвижной и тяжелой.

Но им показалось странным и удивительным присутствие в самой середине обгорелого пустыря новой, крепко слаженной из звонких красных сосновых бревен, не успевших еще потемнеть от непогод, не тронутой металлом и огнем избы.

Выйдя из обугленного бурелома на полянку, радисты в недоумении смотрели на эту избу, которая высилась среди пожарища, как памятник, воздвигнутый над уничтоженным поселком.

Но еще больше удивились моряки, когда обнаружили возле избы женщину. Она занималась мирным хозяйственным делом — вставляла в раму окна куски стекол, собранные на пепелище, и склеивала их для прочности полосами из старых газет. Она слышала шаги подходящих моряков, их голоса, но даже не обернулась и продолжала свою работу. Присутствие живой души, да еще женской, в этом гиблом месте было так же непонятно, как наличие целой избы.

Когда радисты подошли ближе, им прежде всего бросилась в глаза жалкая худоба старушечьей согнутой спины. Под рваной, висящей лохмотьями кофтой, сквозь дыры которой просвечивало желтое тело, ходили острые лопатки. Распухшие руки с узловатыми пальцами неловко прилаживали осколки стекол.

Когда моряки подошли вплотную, женщина лишь слегка повернула голову и покосилась на них. Потухшие глаза ее глубоко сидели в орбитах и были мертвенно равнодушны. Она откинула рукой свисшую на щеку из-под холщовой косынки тускло-серую прядь волос и продолжала свое занятие.

Старшина команды Виноградов, неутомимый балагур и остряк, желая сразу установить отношения, снял бескозырку и, помахав ею перед собой с изяществом мушкетеров Людовика XIV, бодро сказал:

— Пламенный привет, дорогая бабушка! Вышло нам приказание кинуть якорь в данном населенном пункте. Поскольку объясняют объективные факты, понятно, что ваш дворец тут единственный, а населения тоже одна человекоединица. А мы — осиротелые морячки, вынужденные военными обстоятельствами временно покинуть наш родной линкор для пешей жизни. Будем друзьями! Принимаете жильцов?

Старуха пожевала губами, и моряки увидели, что рот у нее пустой, беззубый. Шепелявя и шамкая, она вяло ответила:

— Живите. Мне што? Изба просторная, хозяина нет. Кто проходит, тот и живет. Много всяких побывало. И чужие были и свои. Места хватит. Вы по себе, я по себе.

Виноградов досадливо поскреб затылок. Такое равнодушие жестоко укололо его. Моряки привыкли быть баловнями. Их всюду встречали с лаской. И Виноградов даже рассердился:

— Странно, бабушка, слышать от вас подобный индифферентизм к бойцам. Что значит: «Вы по себе, я по себе»? Неужто в вашем сердце заместо черствого отношения не разыгрывается материнская жалость к сиротам?

Радисты засмеялись, но старуха продолжала смотреть на Виноградова тускло и безжизненно. Потом вздохнула, и в груди у нее заскрипело, словно отворялась не смазанная в петлях дверь. Так же вяло она промолвила:

— Ну, живите! Коли што надо — сделаю.

И шаткой походкой, едва передвигая разбитые ноги, она медленно вскарабкалась на крыльцо и исчезла в избе.

— Перекурим, годки,— сказал Виноградов, положив автомат и мешок на завалинку. Он скрутил папироску, затянулся и констатировал с огорчением: — Трудноватая старушка! Фестивалей с музыкой в этом месте не предвидится. Ну, ничего не поделаешь, приступаем к исполнению служебного долга.

Присевшие моряки курили, и в их усталые тела вместе с розовым вечерним светом, плывущим сквозь обугленные стволы, вливалось спокойствие отдыха.

— Проверить надо хозяйку,— вдруг сказал, кидая окурок, Ваня Кондаков,— почему такое? Все немцы попалили, а тут изба цела. Народ перебили и угнали, а она, вишь, хозяйничает. Может, немцам служила, за то и не тронули?

Остальные молчали, и лишь спустя несколько минут рябоватый сибиряк Перегудов отозвался неожиданной фразой:

— Как вернемся в полк, придется вопрос поставить, чтоб дуракам в пайке добавочной бдительности не выдавали.

— Ну, легче! — вскинулся Кондаков, но Перегудов отмахнулся от него, как от мухи, а Костя Малинин примирительно сказал:

— Бросьте! Кому такая служака годится? Видите же. Ни нашим ни вашим.

Ночью радисты долго возились с установкой и опробованием аппаратуры. И все время слышали, как в горенке, направо от сеней, кашляла, кряхтела и стонала старуха.

— Слышишь? — жестко спросил Перегудов, не могший простить Кондакову его подозрения.— Видать, бабка натерпелась, а ты... Сколько времени немцы тут властво-

вали? Месяцев семь, поди. Вполне хватит. Дерева кругом посохли, где ж старой женщине сдужить?

— Помрет, верняк,— не то предположительно, не то утвердительно высказался Малинин,— надо, братки, ее подкормить. Ведь она, если подумать, может, чья-нибудь мамаша. Может, ее сын на другом краю фронта нашим матерям помощь оказывает. На войне все бывает.

— Ага,— весело подтвердил Виноградов,— точно! Введем в бабусин организм прибавочной ценности. Она еще плясать с нами будет. Усыновляемся при ней и шары на стоп!

С утра девять моряков по негласному уговору начали наперебой ухаживать за старухой. Они выгребли из избы мусор, помыли полы, натаскали из лесу хвороста, приколотили прясла к столбам ограды, вычистили колодец, поправили надтреснутую печь и затопили ее. Разведя в в ведре кипятку гороховой концентрат со свининой и в медном чайнике шоколадные кубики, моряки сели за стол и насильно усадили с собой старуху, которая долго отнекивалась и упрямилась. Но ей трудно было совладать с дружным напором девяти здоровых, веселых людей, которые наливали ей суп и шоколадный напиток, мазали салом хлеб и потчевали без устали. Угрюмые старушечьи глаза потеплели к окончанию трапезы. Она тщательно вытерла свою ложку концом холщовой косынки, встала, сложила руки на впалом животе и низко поклонилась морякам:

— Спасибо, милые!

И друзья увидели, как по запавшим щекам старой женщины потекли слезы. Радисты ощутили душевное смятение, и Виноградов конфузливо сказал:

— Не благодари, бабушка, и не надрывай нам сердца рыданиями. Мы ведь к тебе не без корысти подъезжаем. Люди мы военные и непрактичные. Нужно нам и постирать и поштопать, а рукам нашим сейчас до этого времени нет. Так вот — устроим жизнь на началах братской взаимопомощи. Осуществим, так сказать, утопию.

Старуха взглянула на Виноградова и впервые чуть приметно улыбнулась.

— Веселый товарищ! — шамкнула она.

— А то,— отозвался Виноградов,— невеселому жить трудней, бабушка.

Вскоре радисты сжились со старухой так, словно и в самом деле росли с малых лет в избе, под ее материнским

кровом, и сама старуха все больше оживала и уже охотно разговаривала с моряками, но всячески избегала расспросов о перенесенном ею во время житья при фашистах. При одном упоминании об этом она замыкалась, мертвела и плакала. Заметив это, Виноградов однажды сказал друзьям:

— Отмечаю, что некоторые проявляют неделикатность обращения с мамашиными нервами. Лезут расспрашивать, как ей при немцах жилось. Надо ж понимать, что старухе такие допросы, как гвоздь в пятку. Чего ей память злом ворошить? Мы кто? Бойцы или корреспонденты? Ну и баста мучить благодетельницу. Голосую, кто за... а против быть не может.

С тех пор, по молчаливому согласию, никто из девяти не задавал старухе вопросов о немцах. А она отдавала им всю душу — стирала белье, чинила и латала, варила пищу — словом, делала все, что полагается рачительной хозяйке, и моряки жили при ней в тепле и уюте родного гнезда. Они привыкли к старой, неслышной, изможденной женщине и привязались к ней. Она напоминала каждому оставленный позади родной дом, и моряки делились с ней своими мыслями, спрашивали советов и поверяли самые сокровенные тайны.

Прошло два месяца. Надвигалась осень. По утрам небо становилось холодным, с зеленоватым отсветом, как льдина. По траве расстилалась опаловая парча утренних заморозков, и ноги оставляли на ней темные влажные следы.

Однажды после обеда, когда старуха, убрав со стола, вышла, Перегудов, поглядев вслед, покачал головой и сердито сказал:

— Пора о мамаше всерьез подумать. Обносилась, старая, вон в какой рвани ходит. Мы тут не заживемся, а она с холодами застудиться может. Пропадет! На нас ответ! Надо ей обмундирование справить.

— Что ж ты ее в клеш всунешь? — захохотал Малинин.

— Перекрой клапана! — отрезал Перегудов.— Зачем в клеш? Надо все женское сделать. Соберем между собой барахло, какое можно, кой-что у каждого найдется...

— Свезем в Париж, к мамзель Фифиш,— не унимался, заливаясь, Малинин.

— Замолчи! — уже грозно сказал Перегудов и положил на стол темный и жесткий, как кедровая шишка, кулак.— Не для тебя говорю. Пошить надо! Ванька Конда-

ков до службы в дамском ателье работал. Может для старухи потрудиться. Пусть свою дурость зашлифует, что на первых порах про мамашу вообразил.

Предложение понравилось. Моряки порылись в своих мешках и собрали две пары старых брюк, форменку, три тельняшки. Виноградов отдал даже кончивший срок, но крепкий бушлат. И Кондаков сел за работу. Так как решили поднести старухе обмундирование неожиданным сюрпризом, то Кондаков уходил работать на чердак, а на двери чердака пришпилили бумажку с угрожающей надписью: «Секретная часть. Вход запрещен!»

Затруднения с примеркой и пригонкой уладили, приспособив для этого Клейменова, малорослого и худощавого электрика, по комплекции схожего со старухой. Через неделю Кондаков закончил работу, израсходовав весь запас ниток, бывший у хозяйственных моряков. Вся команда собралась на чердаке. В добротной суконной юбке и такой же синей кофте с отложным воротником, Клейменов выглядел вполне нарядно, а когда надел пальто в талию, перекроенное из вывернутого наизнанку бушлата и других брюк, все признали мастерство Вани Кондакова.

Из тельняшек Кондаков смастерил две полосатые блузки, приправленные вставками из цветистых шелковых носовых платков, купленных Перегудовым перед войной в Риге.

Обновы старухе вручили торжественно перед строем друзей. Передавая сверток, Виноградов произнес короткую, но горячую речь:

— Уважаемая и, так сказать, подаренная нам природой приемная мамаша! Не побрезгуйте моряцким даром. Мы люди простого сердца и без всяких фокусов хотим облегчить ваше старое, одинокое житье. Переодевайтесь и носите на здоровье, а хламье ваше то ли выкиньте, то ли припрячьте под спудом на случай одеть в него Гитлера, когда поведем его топить на веревочке.

Старуха молча взяла сверток. Руки ее дрожали, и необыкновенный свет полыхнул из ее померкших глаз. Она хотела что-то сказать, но голос не послушался ее. Она всхлипнула и с нестарческой быстротой юркнула в свою горенку. Моряки переглянулись.

— Ничего! — сказал Виноградов.— Обрадовалась. Не троньте, пусть выплачется.

Когда переодетая старуха появилась в избе, она показалась морякам другой женщиной. Выпрямилась ее

согнутая спина, в глазах появился блеск, и даже беззубый рот заулыбался моложе. С этого дня старуха стала еще прилежней соблюдать своих приемышей.

Как-то Виноградов решил помыться в крошечной пристроечке к сеням, где радисты устроили себе баньку, поставив стиральную лохань, найденную под развалинами клуни на одном из дворов. Налив полную лохань теплой воды и усевшись в нее, старшина яростно терся мочалкой, и брызги пены летели в стороны, как снежки, прилипая к стенам. Но Виноградов никак не мог хорошо натереть спину и тщетно усиливался добраться мочалкой до ямки между лопатками. Раздосадованный, он приоткрыл дверь и позвал на помощь. Но ответа не последовало, в избе никого из моряков не было. Вдруг в сенцы ударил свет снаружи, и Виноградов увидел входящую со двора старуху.

— Слышь, мать! — позвал Виноградов.— Не в службу, а в дружбу. Натерла бы мне спину. Никак до нее не дорвусь.

В просьбе своей он не видел ничего зазорного: старуха годилась ему в матери, и никто из моряков не видел в ней женщины. Она была для них старым, подходящим к пределу жизни человеком, которому оставалась последняя женская доля — материнская забота.

Старуха остановилась у двери и не сразу ответила.

— Неловко, милый,— сказала она наконец,— засмеют.

— Ну,— перебил Виноградов,— не засмеют!.. Кому там смешки? Вы годам счет потеряли. Я для вас вроде грудного дитяти.

— Ладно,— ответила старуха, входя и засучивая рукава,— давай уж, что ли, раз ты такой нескладный.

Она взяла намыленную мочалку и стала тереть спину старшины. Виноградов сидел в лохани, крякая и сладко щурясь, как кот, которому чешут за ухом, и удивлялся, как проворно и сильно трет его спину старуха, у которой, казалось, совсем не было сил. Надрав кожу старшине чуть не до крови, старуха быстро скрылась, не дожидаясь благодарности.

— •Ишь ты,— сказал Виноградов, обливаясь из ведра,— застыдилась наша древность. Выходит, что баба до смерти есть баба!

И, высказав это своеобразное мнение о вечной женственности, Виноградов вылез из лохани.

Так прожили девять друзей у старухи, пока не при-

шел час передвигаться на новое место. Узнав, что нареченные сыновья покидают ее, старуха сразу впала в прежнюю угрюмость.

— Да не навеки же расстаемся, мамаша,— пытался утешить ее Виноградов,— мы вас теперь ни в коем случае не забудем. Кончится война, вызволим вас отсюда и живите у кого из нас понравится, а то у каждого по очереди, чтоб никому обиды не было.

Но старуха не слушала утешений. Она сидела на крылечке, подпирая голову высохшими руками, и печально смотрела на опаленные деревья. К вечеру, погрузив имущество на двуколку, радисты собрались в путь. Виноградов подошел к старухе:

— До скорого свиданья, мамаша. Не поминайте лихом. От всего нашего коллектива благодарим за материнскую ласку вашу, заботу и любовь. И ожидайте нас обратно. Возраст ваш, конечно, большой, но надеемся свидеться. Мы вам писать будем, да и вы иногда весточку пришлите, чтобы мы знали, как тут идет ваша жизнь.

Он обнял старуху. И вдруг она охватила его шею, прижалась дряблой щекой к щеке старшины и вся затрепетала в судорожном плаче. И сквозь плач моряки услышали жалобные, резанувшие их по сердцу слова:

— Родные мои! Милые товарищи! Что ж я без вас делать стану? Словно ко мне жизнь вернулась, пока вы тут были, а теперь хоть опять в могилу.

Моряки опустили головы.

— Ну, мамаша, что вы? Успокойтесь! Зачем так говорить? — шутливо сказал Виноградов, поглаживая старуху по костлявой спине.— В могилу?! Да вам еще до ста лет годков тридцать жить осталось...

Внезапно старуха рванулась из его рук и исступленно выпрямилась. Ее глаза вспыхнули. Она подняла руки над головой и закричала так, что моряки отшатнулись:

— Да за что ж людям такая мука? Кто нам за нее заплатит? Что же это? Да знаете ли вы, сколько мне лет? Все меня мамашей да бабусей называете, а мне тридцать третий год пошел... Вот что они со мной сделали, проклятые!

И сама потрясенная нежданным признанием, она увернулась от пытавшегося удержать ее Виноградова, вскочила в избу и с грохотом захлопнула дверь.

Моряки стояли ошеломленные, притихшие, избегая взглянуть друг на друга. Лица у них потемнели, кожа

туго обтянула скулы. Виноградов медленно поднял руку и снял бескозырку. Восемь друзей безмолвно повторили его движение. Они не отрываясь смотрели на закрытую дверь избы, как смотрят на могильный холмик, насыпанный над дорогим человеком.

Потом Виноградов тихо и грустно, как будто ему не по силам было выговорить, сказал за всех:

— Прощай, сестра!

Он рывком напялил бескозырку, и радисты не узнали своего лихого шутника-старшину. Щеки Виноградова покрылись серым, чугунным налетом, и он сквозь стиснутые губы раздельно, как слова присяги, выговорил:

— Ну, годки! Нет нам возврата домой, пока не будет так, чтобы все их фашистские сучки поседели до срока и подохли, воя над своей падалью! Пошли! Марш!

Девять моряков пересекли поляну, ускоряя шаг, не оглядываясь, словно страшась увидеть на пороге избы оставленную там женщину.

Сентябрь 1942 г.

ПОДАРОК СТАРШИНЫ

Клименко вообще не любил слез. Когда он видел, как плачет женщина или ребенок, он досадливо морщился от какого-то неопределенного ощущения боли, словно ему медленно раздирали кожу тупой вилкой. Но плачущий мужчина просто лишал его душевного равновесия.

Поэтому он угрюмо рассматривал издали водителя танка, который сидел в окопе, прислонясь спиной к траверсу, и, размазывая по щекам копоть, кровь и слезы, плакал навзрыд, как трехлетний малыш, у которого хулиганы отняли любимую игрушку. Впрочем, слова, которыми он сопровождал плач, отнюдь не походили на детский лепет. Танкист крыл фашистов такими словесными вывертами, что окружавшие его моряки только переглядывались и одобрительно крякали.

А Клименко думал, что велика же должна быть горечь, скопившаяся в большом горячем сердце мужчины, если она выливается наружу таким необычным веществом, как слезы.

Танкист в самом деле был взволнован и зол, как дьявол. Немецкий снаряд, пробив башню танка, разорвал командира и стрелка и вызвал пожар. Водитель едва успел выскочить. Объятый языками пламени, он волчком завертелся на земле, гася тяжестью своего тела тлеющую одежду. Потом, с опаленными руками, весь в саже, похожий на сказочного черта, он пытался догнать отходящие после неудачной атаки два других танка

звена, но они неслись слишком быстро, стремясь выскочить из кольца огня. Танкист кричал и чертыхался вдогонку, выкручивая заячьи петли, как будто стараясь увернуться от пуль. Одна оцарапала ему щеку, вторая вскользь ужалила в ребро, прежде чем он, задыхающийся от усталости и ярости, перекатился через бруствер и свалился на дно окопа к морякам.

Моряки забинтовали ему бок, смазали йодом отметину на щеке. Он покорно подчинился процедурам, молча, тяжело дыша, таращa на краснофлотцев еще лишенные обычной ясности голубые глаза.

Потом он стал рассказывать свои приключения и тут, разволновавшись, захлебнулся кашлем. Но когда комендор с «Незаможника» поднес ему в котелке мутной воды, танкист неожиданно гневным жестом выбил из его руки котелок так, что вода плеснула на глинистую стенку окопа, и раздраженно прохрипел:

— Что я, со школы первой ступени? Разве ж водой можно залить? Нет соображения облегчить товарища? А еще моряки, черти!

Краснофлотцы молчали, сочувственно глядя на обиженное лицо гостя. Тогда, вконец расстроенный его горем, Клименко отвинтил крышку трофейной офицерской фляги, нацедил ее до краев и подал танкисту. Прищурясь на жидкость, тот опрокинул ее в рот, задохнулся, ошалело дернул головой и уронил крышку.

— Это да! — танкист глубоко забрал воздух.— Высший градус. Где брал? — закончил он восхищенным вопросом.

— Там уже нету,— ответил Клименко, подымая крышку,— сперва хозяев кончили, а потом и хозяйство. А что высший — это правильно. Девяносто шестой пробы. Мы сорокаградусным не шалим.

Сразу охмелев от волнения и спирта, танкист продолжал рассказывать историю гибели своего танка и, вспомнив погибшего командира, опять залился слезами.

— Разве ж вам понять? — всхлипнул он, презрительно оглядев краснофлотцев.— Когда вы не той жизни люди. Ведь какой был танк! Как живой! Послушный! Стукнешь его, бывало, по броне, а он тебе в ответ гудит, словно ржет. Ну прямо жеребец, а не танк!

И, переживая невозвратимую потерю, танкист пожелал немцам такого, что моряки застонали от удовольствия. В эту минуту и появился командир роты, стар-

ший лейтенант Петров, пришедший из своего блиндажа взглянуть на танкиста, о котором ему доложили.

— Что за шум? — недовольно спросил он, раздвигая руками ближайших краснофлотцев.

— Убивается хлопец! — вполголоса деликатно сообщил командиру Клименко.— Товарищей у него побили, и танк погорел.

— Так чего же он разрюмился, как баба? — Петров неодобрительно покосился на танкиста.

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант,— мягко и убежденно сказал Клименко, чувствуя необходимость вступиться за танкиста,— он не по женской специфике плачет. Он вроде как по кавалерийской!

— По кавалерийской? Не понимаю! Что за номер? — Лейтенант высоко поднял выцветшие от солнца брови.

— Это я, извиняюсь, товарищ старший лейтенант, в книжках читал... Скажем, убьют у казака коня, он стоит над ним и плачет, потому что привязанность сердца до живого создания. А танкисту танк все одно что конь. Он его так и зовет — жеребец.

Петров подавил улыбку. По молодости он старался быть суровым и закаленным военачальником и опасался уронить командирский авторитет.

— Чепуху выдумываете, товарищ старшина! — сказал он сухо.— Отведите танкиста в блиндаж и уложите. Пусть выспится и отойдет. А вечером препроводите в часть, а то его либо в убитые, либо в дезертиры зачислят.

Старший лейтенант повернулся и ушел. Краснофлотцы увели танкиста. В окопе восстановилась нормальная будничная жизнь. Клименко присел на ступеньку позавтракать. Прожевывая хлеб с салом, он задумался. Ему было очень жалко этого опаленного парня, который так остро переживал потерю танка. Клименко хорошо понимал его. То же было с самим старшиной после гибели корабля. Положим, он не проронил ни слезинки, ну так что из этого? Каждый тоскует по-своему. Но по ночам старшине часто снился сторожевик «Ураган», голубовато-серый, как морская волна в пасмурный денек, быстрый, юркий, злой для врага, ласковый к своим. Клименко видел его, как наяву, до последнего болтика и видел себя по-прежнему командиром кормового орудия. От этих снов он просыпался с пересохшим ртом. Сердце его ныло тоской по кораблю, лежащему теперь глубоко под водой,

в зловонном зеленом иле. Старшина вертелся и долго не мог уснуть. После таких ночей он с особенным наслаждением подстерегал немцев и метил их снайперскими пулями...

Напрасно старший лейтенант Петров обозвал парня бабой. Его слезы были не стыдные, злые, боевые слезы.

Клименко захотелось сделать для танкиста что-нибудь очень душевное, что могло бы утешить и обрадовать хлопца. Но он не мог придумать ничего толкового, вздохнул, по привычке тщательно стряхнул с колен хлебные крошки, хотя после трехмесячного окопного сидения брюки приобрели такой вид, что никакое стряхивание не могло вернуть им былого морского шика.

Потом старшина встал, протянул руку и бережно взял свою снайперскую винтовку, прислоненную к траверсу. Окинул внимательным взглядом тускло отливающий синевой ствол, снял замшевый чехольчик с трубки оптического прицела и, дохнув на стекло, протер его вынутой из грудного кармана льняной мягкой тряпочкой. Заглянул в подсумки: обоймы были полны, как зрелый колос зернами. Пощупал на боку сумку с двумя гранатами марки «Ф-1», запросто именуемыми «феньками». Все было на месте и в порядке.

Клименко горько вздохнул. Эх, где то времечко, когда он был командиром орудия? Большое было дело! А теперь вот сиди в норе, как суслик, и постреливай из винтовочки.

Не сравнишь! У пушки был внушительный басовый зык, и весь ее сложный механизм, подчиненный старшине вместе с людьми расчета, внушал ему уважение к самому себе — хозяину этой хитрой механики. Винтовка после пушки была чересчур проста. Но было и у нее свое положительное свойство. Она позволяла воочию и немедленно видеть результаты своей работы. И понемногу Клименко увлекся винтовкой. Она была надежным другом, и с ней он отвечал только за себя.

Он взял винтовку на ремень. Пришел его час сменять бойца снайперского гнезда на высоте «117», где последние дни шло круглосуточное наблюдение и охота за врагами. Клименко прошел по окопу до узкого лаза, выводящего на склон высоты, и пополз по нему, продираясь между цепким кустарником, оснащенным свирепыми полутoравершковыми колючками. Он полз осторожно и медленно, осматриваясь, не упуская из вида ни одной

мелочи. В его работе нельзя было иначе — где-то могли таиться стволы чужих винтовок, подстерегающих его голову. После получасового ползанья он свалился в накрытую ветками яму к своему подсменному. Тот сообщил ему все данные, указал подлежащие особому наблюдению точки и уполз. Оставшись один, Клименко осмотрелся. Как сказал ему предшественник, узкая балочка с пересохшим руслом горного ручья, в которую спадал склон высоты, глухая и пустая, подозрительно ожила со вчерашнего вечера.

В течение получаса Клименко мог убедиться, что сведения соответствуют действительности. Дважды он заметил, как по дну быстро проскакивали туда и обратно немцы. Старшина волновался. Какого черта понадобилось гансам в такой дыре? Может быть, они налаживают там опорный пункт, может быть, склад горючего или боеприпасов, либо какую другую пакость.

Он решил не ограничиваться пассивным наблюдением, а попытаться заглянуть в пекло. Для этого ему нужно было перебраться через балочку и вскарабкаться на противоположный склон, с которого можно было просмотреть глубину балочки. С середины балочки начиналась уже ничья земля. Затея была рискованной, но в случае удачи могла принести ценные новости. Клименко набросил на голову капюшон плащ-палатки, вылез из ямы и стал скатываться по склону, плоский и юркий, как ящерица, и такой же неразличимый, как она, на фоне камней, за которыми укрывался, спускаясь.

Вдруг он припал к земле и насторожился. За поворотом балочки послышалось глухое фырчание и скрежет. Было похоже, что по галечному дну пробирается тяжелый и крупный зверь. Клименко одним броском метнулся за крупный обломок скалы. Фырчание становилось громче, и старшина беззвучно ругнулся, увидя выползающий из-за мыска небольшой немецкий танк. Он приближался, раскачиваясь с неуклюжей важностью, как бегемот, виденный старшиной в зоологическом саду. Клименко ясно различал черно-белые кресты на его дымной броне. Тонкое жало пушки ерзало в стороны, точно прощупывая дорогу.

— От же ж, гадюка,— прошептал Клименко,— лезет наш фланг разнюхать!

На миг он пожалел, что в руках у него винтовка, а не кормовая стопятимиллиметровка «Урагана». Мать род-

ная! Двинуть бы по этому стальному книуру снарядом — вот была бы потеха! А что сделаешь винтовкой? Бить по щелям? Повернется и уйдет!

Танк неторопливо приближался, хрустя раздавливаемой галькой. Клименко лежал неподвижно, и вдруг на его губах стала медленно расплываться странная в его положении, дерзкая и самозабвенная усмешка.

Он нащупал на поясе рукоятку ножа, выпростал его из чехольчика, попробовал концом пальца острие и сунул обратно. Танк подползал к скале, за которой лежал Клименко, и старшина еще прочнее вжался в землю, держа танк цепким, упрямым взглядом. Внезапно люк башни открылся и выглянул танкист. Его голова в кожаном шлеме, похожая на сплюснутый футбольный мяч, медленно поворачивалась на тощей шее. Видимо, осмотр успокоил его. Он каркнул и скрылся, захлопнув крышку. Клименко не шевельнулся, пока танк не прошел мимо него. Тогда, по-кошачьи выгорбив спину, прижимая к левому боку винтовку, старшина бесшумно ссунулся вниз, несколькими легкими прыжками догнал танк и беззвучным броском очутился на его горячей металлической спине. Он присел на корточки рядом с башней и вытащил нож. Сердце у него билось жадно и зло. Танк, пофыркивая, кроша гальку шел дальше, не замечая нахального морячка у себя на хребте. Клименко ждал. Крышка люка опять дрогнула, подымаясь. Старшина сжался в комок. Крышка откинулась с лязгом, и фашист выставился по грудь, как водяной из колодца.

Его изумленные студенистые глаза столкнулись с бешеным взглядом старшины. Ахнув, фашист дернулся рукой к крышке люка, но клинок уже воткнулся в его шею под ремешком шлема. Булькнув горлом, он провалился вниз. Из танка прозвучал встревоженный возглас. Не теряя мгновения, Клименко выхватил из сумки «феньку», выдернул чеку и сунул гранату внутрь, захлопнув люк. А сам распластался плашмя на танке.

Глухой удар потряс броню и отдался в теле Клименко таким толчком, словно кто-то с размаху хватил его по животу тяжелой доской. Крышку люка подбросило волной взрыва, и из танка рванулся столб горького дыма.

Раздался и затих протяжный стон. Не раздумывая, старшина перекинул ноги через закраину и спрыгнул вниз. В темноте и дыму его подошвы уперлись в мягкую податливую массу. Вздрогнув от омерзения, он нагнулся.

Под ним лежало тело. У задней стенки прилипло что-то похожее на груду смятой и небрежно затиснутой в угол одежды. Старшина повернулся к головной части танка и нащупал рычаг броневой заслонки. Дым уже вытянуло, глаза освоились с полумраком, и Клименко, открыв заслонку, увидел спину водителя, сползшего головой на рукоятки управления. Клименко ухватил его за ворот и рванул к себе. Голова фашиста вяло завалилась назад, глаза были закрыты.

«Неужто сдох?» — подумал Клименко.

Это было досадно, Клименко рассчитывал, что граната только оглушит водителя, прикрытого заслонкой. Танк был захвачен, но у старшины были свои планы, и гибель водителя срывала их. Клименко не знал мотора и ничего не понимал в управлении этой грохочущей черепахой. А задерживаться не приходилось. Правда, взрыв в наглухо закрытой коробке ударил негромко, но в горах звук разлетается предательски, и каждую минуту из-за поворота балки могли появиться привлеченные шумом враги. А стоит им налететь — и из победителя можно разом обратиться в побежденного.

Но фашист, лежащий на рычагах, неожиданно шевельнулся и простонал. Клименко радостно вздохнул. Конечно, можно было мгновенно оживить его хорошим глотком спирта, но жаль было тратить драгоценную жидкость на такую сволочь. Очнется и так!

Фашист, тяжело дыша, тупо смотрел на моряка.

— Ты мне балерину не строй! — заорал Клименко.— Подумаешь — обмороки! Веди машину до наших, гадюка серая!

Немец забормотал и поднял трясущиеся руки.

— Вот же холера! — выругался Клименко.— Не бурчи! Веди, говорю, машину, бо как стукну — папу-маму забудешь.

Но немец не понимал. Он только не сводил с моряка набрякших страхом глаз.

«Не поймет,— со злостью подумал Клименко,— ну что ты сделаешь, как ему втолковать, черту?»

Жаль было упускать из невода такую добычу. Что делать? В сумке оставалась еще одна «фень
ка». Плюнуть на затею, заложить гранату под мотор и покончить с машиной и немцем?.. Нет! Не того хотелось. Но как же объяснить?

Клименко с отчаянием ткнул немца в загривок, по-

казывая на рычаги. И вдруг в мозгу у него завертелось неуловимое, скользкое, упрямое чужое слово. Он и помнил его и не мог вспомнить. Оно увертывалось, как ртуть из пальцев.

— Как же оно? Ну, еще политрук тогда объяснял... Как же?

И неожиданно слово вспыхнуло, как взблеск молнии. Клименко сунул ногу в горловину и пнул фашиста каблуком в спину.

— Форверц! — закричал он таким голосом, что стенки танка загудели в ответ.— Форверц, порви твою печенку.

Немец сообразил и испуганно закивал.

— Форвертс!.. Я... их ферштее... Я!

— Ясно, что ты, а не я,— прикрикнул Клименко,— газуй на полный без дураков, курячья слепота, а то влеплю!

Немец включил сцепление. Зарокотал мотор, и танк рванулся, запрыгав по каменистому дну балки. Клименко высунулся из люка. Танк мчался, шатаясь, как корабль в шторм, и на полном ходу вылетел на открытое пространство. Завидев знакомую глинистую полоску родного бруствера, Клименко закричал от радости и тотчас же стремглав нырнул в люк. Несколько пуль с треском ударили в броню, и старшина сообразил, что товарищи, не подозревая о происшествии, приняли его появление за атаку врага и встречают его огнем. Он сорвал фуражку, проткнул ее штыком и, выставив наружу, замахал ею.

Пули перестали щелкать по танку. Тогда Клименко рискнул и сразу выскочил по пояс, продолжая махать фуражкой и крича:

— Ша, хлопцы! Не надо шума! Это ж я... Клименко! Понимаете, Клименко!

Танк с разбегу, качнувшись, перелетел через бруствер и скатился в прогалинку. Старшина опять пнул фашиста:

— Капут, фашист! Выключай — приехали!

Моряки возбужденно облепили танк. Клименко вылез наружу, таща за шиворот фашиста. Веселый, потный, он поглядел сверху на друзей и спрыгнул на землю.

— Принимай ганса! Понятливый оказался, не вовсе Адольф его затуркал.

Тогда в кучке моряков, как залп, грянул хохот из десятка крепких краснофлотских грудей. Дружеские руки со всех сторон тянулись и тискали старшину.

— Отставить аврал! Что за юбилей?

Клименко обернулся и вытянулся:

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант. Старшина Клименко из операции на трофейном танке прибыл.

— Объясните толково,— сказал командир роты,— откуда танк?

— Так я ж его привел,— внезапно смутясь, тихо сказал Клименко.

Петров пристально посмотрел на него, подошел к танку, оглядел его, и лицо его осветилось мальчишеской улыбкой, начисто стершей маску сурового воина.

— Здорово! — произнес он.— После доложите подробно. А пока отдохните и приведите себя в порядок.

Следуя за взглядом лейтенанта, Клименко посмотрел на свои ноги.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Попачкался малость,— ответил он и затоптался в нерешительности.

— Ну, что еще? — спросил Петров, видя что с языка старшины рвутся слова.

— Я насчет того... Разрешите, товарищ старший лейтенант, отдать этот чайник тому танкисту. Я ж для него постарался. Жаль было хлопчика. Так он за своим танком страдал...

— Разрешаю,— сказал старший лейтенант, выдержав паузу, и голос у него дрогнул.

— Ребятки, давай танкиста! — крикнул Клименко.

Танкиста, заспанного и недоумевающего, выволокли из блиндажа. Он растерянно мигал, оглядывая танк, Клименко, моряков. Старшина хлопнул его по плечу.

— Получай, дружок,— сказал он ласково,— отдаю задаром в счет братства по оружию. Мы вам — вы нам... Там внутри попачкано, понимаешь, так ты сам прибери это хозяйство. А в общем, машина исправная. Бери и катайся на этом жеребце, сколько требуется.

И, не ожидая ответа, старшина отвернулся с таким равнодушным видом, точно ему уже давно наскучило дарить танки.

Ноябрь 1942 г.

ЧАЙНАЯ РОЗА

Жора Фемелиди был балаклавский грек. А балаклавские греки не простая порода. Нигде больше не найти такого бурного и счастливого смешения кровей, как в балаклавцах. Оттого и вырастают они кипучей старого вина, шумные любители соленой шутки, сердцееды, непокорные, как древняя генуэзская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры.

Как всякий балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Невзрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего с треском плюются мокрыми семенами, как разозленный верблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось все, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности.

Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных греческих глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков.

В роте он имел репутацию отличного служаки, но крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятерку бойцов для отправки в снайперскую команду батальона, лейтенант Седельников первой внес в список фамилию Фемелиди. С одной стороны, лейте-

нант этим избавлялся от неизбежного бурного разговора о незаслуженной обиде, с другой — тайно надеялся хоть на время отдохнуть от шумливого потомка Гомера.

Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение, как почетное отличие, и весело сверкнул своими антрацитными шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберутся остальные, он подхватил мешок с парой трусиков, початым флаконом «Красной Москвы», бритвой и любимой мандолиной и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов, старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жоры он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчасика.

Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскаленного воздуха. Как природный крымчак, Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах, и пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами дерезы.

Чтобы скоротать ожидание, Жора вытащил из мешка мандолину, разлегся поудобнее и, с ненавистью посмотрев на пылающую синюю высь, забренчал танго «Утомленное солнце». Играл он, несмотря на зной, с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину.

— Довольно неудобное место для концерта... А играете неплохо.

Голос был грудной, высокий, и Жора удивленно вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза.

Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка бочком сидела на ее аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точеный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри теплым светом глаз, синих, как вода в бухте.

Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щелкнул каблуками и произнес с преувеличенным восторгом:

— Калимера-калиспера! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение. Какая яркая индивидуальность!

Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносью. Смотря в глаза Жоре, она неожиданно резко спросила:

— Вы кто такой?

Это не понравилось Жоре. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приема он ждал иной реакции — смущения, застенчивой или лукавой улыбки. И вдруг... Да с какой, собственно, стати эта пичуга так обращается с ним, закаленным фронтовиком? И кто она-то сама? Какая-нибудь сандружинница, в лучшем случае радистка или зенитчица. А фасонит, как командир.

— Я вас спрашиваю, кто вы такой? — еще резче повторила девушка.

Жора весь напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив тридцать два ослепительных зуба и дерзко прищурясь, он брякнул:

— Ну, вот что, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком... Тоже... чайная роза!

Он вложил в этот эпитет все яростное презрение к нахальной девчонке, которое вскипело в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно Жорина дерзость прошла мимо ее слуха.

— Отлично! — сказала она совершенно спокойно.— Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук... Для первого шага делаю вам, товарищ краснофлотец, замечание за непристойное кривлянье и грубость. И, если не хотите заработать более крупное взыскание, извольте отвечать на вопрос.

Жора обомлел от нежданного оборота событий. Только теперь он рассмотрел защитные треугольнички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился.

— Краснофлотец третьей роты Фемелиди... Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант! — с трудом выдавил он сразу пересохшим ртом.

Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос:

— Очень ценное приобретение. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободны до вызова.

И, повернув к Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький широкоплечий живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил:

— Ты что, браток, с лица потерянный, будто к тебе теща напостоянно приехала с правом на жилплощадь?

Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии.

Старшина почесал веснушчатый нос.

— Здорово напоролся,— сказал он с мужским сочувствием.— Теперь держи ухи на макухе. Она тебе приварит, эта чайная роза. Она насчет дисциплины пристрастное понятие имеет. Зато стреляет — рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот ганса просто в глаз бьет, а она в самый зрачок поровит. Сам увидишь.

Остаток дня Жора провел скучно и тревожно. Будущее представлялось невеселым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора честил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец.

— Камбала одноглазая, морской кот слепой! — ругался он втихую.— Знаков различия не мог сразу разобрать... Да кто ж его знал... Бондарчук!.. Бондарчук!.. Такая фамилия — не разберешь, какого пола. И думать не мог... Эх, вляпался, Жорка,— держись!

Он заснул неуспокоенный. После побудки его вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы.

— На вид,— сказала она,— хороший боец. А вчера тошно смотреть было. Как рыжий в цирке.

Жора осторожно молчал.

— С винтовкой обращаться умеете? — спросила Бондарчук.

Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы. Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул:

— Второго года службы, товарищ старший сержант... Учили.

— Не знаю,— ответила Бондарчук,— многому придется переучиваться. Снайперское дело иногда не столько стрельба, сколько уменье ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дождаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдемте.

Жора покорно поплелся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нем, он начал сознаваться самому себе, что сержант — командир хоть куда.

Они пробрались к замаскированной снайперской ячейке на гребне холма. Внизу, белая от пыли, струилась, как речка, проселочная дорога. Вдоль нее валялись поваленные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливняка. Бондарчук показала Жоре на эти заросли:

— Вот пробирайтесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заляжете и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь, блеснет что-нибудь, дымок пойдет — запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо... Все ясно?

— Ясно,— хмуро сказал Жора.

— Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас, то есть когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь! Я буду вас ждать здесь. И имейте в виду — там довольно опасно.

Жора вскинул голову, как конь, которого дернули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она, в самом деле, думает о нем, эта... чайная роза! И он огрызнулся:

— Не в таких переделках бывал, товарищ старший сержант. Воевать — не скумбрию на сковородке жарить.

Но Бондарчук не захотела понять дерзкого намека на домашнее хозяйство.

— Ладно! Меньше слов — больше дела! Это еще Суворов говорил. Выполняйте приказание.

Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его без всяких приключений, приметил

под изогнутым стволом терна неглубокую ямку, забрался в нее и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним струилась та же дорога. На ней темнело несколько опаленных воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше над дорогой вздымалась отвесная бело-желтая, с потеками от дождей скала. Ее мягкий камень пилили дровяными пилами для севастопольских построек. В ней чернели узкие дыры — это был северный край Инкерманского пещерного города. Напротив Жоры подымался такой же поросший диким сливняком склон, и по нему змеился, сбегая книзу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а еще дальше вставали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда била по городу немецкая артиллерия.

Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затявкала.

Жора всмотрелся и увидел на ее шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел ее. И у него возникла мысль приманить ее и отвести в батальон — все-таки забава для ребят. Он тихонько засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка по-прежнему подпрыгивала на месте и тявкала, не слыша призыва. Жора приподнялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушенный, он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что это каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял ее и увидел на левой стороне козырька косую рваную пробоину с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть

правее — и пробоина была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белесое облачко пыли.

Но теперь Жора успел заметить взблеск выстрела на краю кювета, рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тявкала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка.

— Пожди, господа бога свиной огрызок,— прошептал он, белея от обиды и злобы,— пожди!

Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из ее пробитого тела клочьями полетела ватная начинка.

— Ага, выложил твоего кобелька, спортил гансу породу,— злорадно усмехнулся Жора.

Немец тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жоры целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и черное дуло автомата, и серо-зеленое плечо, и склоненную к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло.

— Маринованный баклажан по-советски кушал? — сказал Жора сквозь зубы и отер потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернело дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, по-пластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего тела, как две пули настигли его с разных сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая ожгла левое плечо. Это заставило его стремглав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод гансов пялит на него буркалы.

Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью.

Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нем, Жоре Фемелиди, пели в Балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках,

обвешанных ятаганами и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил Балаклаву. И все его тело запротестовало против смерти. Слишком мало еще он прожил, слишком мало отведал раннего кисловатого молодого вина, слишком недолго любил огненноокимх балаклавских девушек. И в нем поднялась тяжелая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут западня. Так небось не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И еще раскалила намеком на опасность. У, чертова кукла! Сидит теперь спокойненько в гнезде, и мало ей заботы, что тут погибает краснофлотец Фемелиди, двадцати двух лет.

Он чуть приподнял голову, чтобы, по крайней мере, определить, где могут находиться враги, и это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком чиркнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лег ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая ее. И в этот миг над самым его ухом оглушительно лопнул выстрел. Жора рванулся вбок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза.

— Живы? — спросил знакомый грудной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры.— Лежите тихо, не двигайтесь... Одного уже сняла.

Жора притих. Он видел, как положенное на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе немец. Листва затряслась, и сквозь нее Жора увидел двоих, бегущих из своей засады. Третий выстрел срезал одного из них на бегу. Второй успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов.

— Вот сволочь! — огорченно сказала Бондарчук.— Уплелся... перетянула с прицеливанием... Да вы что, ранены? — быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепешку крови на его плече.

— Чиркнуло,— небрежно проворчал Жора, обретая прежнюю лихость,— до свадьбы...

Ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнула и разорвалась тяжелая мина. Черный дым призрачным монахом недвижно и плотно встал в воздухе, и мгновенье спустя сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камни. И вслед за взрывом по сливняку, как вода из шланга, туго хлестнула пулеметная струя.

— Ого! Всерьез обиделись... А ну, ходу! — крикнула сержант Бондарчук и, скорчась в три погибели, бросилась в чащу сливняка. Преодолевая боль от толчков в раненом плече, Жора мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать свое мнение.

— Мы ж не той дорогой идем, товарищ старший сержант.

— Знаю, что не той. Той нельзя уже. Она вся простреливается. Пойдем обходом. Можете идти?

— Чтоб Жора Фемелиди не мог идти из-за кошачьей болячки? — сердито сказал Жора.

Они карабкались сквозь колючую чащу еще минут десять. Шипы терна вырывали лоскутья из одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли окончились над обрывом.

— Давайте вниз! — сказала Бондарчук и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его и показалась Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчелы.

Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперед, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивалась, горя на солнце, как волшебная чаша из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза.

Он смотрел на нее, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель.

— Ну, выбрались... Теперь в порядке,— сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на свои кровото-

чащие руки, изодранные колючками терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре.

— Вас перевязать надо... Что вы так на меня уставились? — спросила она с гримаской, увидя устремленные на нее блестящие антрацитные шарики.

Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавский грек. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперед.

— Вот какая штука,— сказал он,— вчера вышло недоразумение. Так давайте, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жора Фемелиди не такой человек. Жора все понимает... Даю руку на вечную морскую дружбу...

Сержант Бондарчук посмотрела на стоящего перед ней долговязого парня со сверкающими преданностью глазами, и в синих зрачках ее пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлепнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры.

— Ладно, снайпер из вас выйдет.

— Разрешите, я вам эту эмблему приспособлю.

И Жора бережно всунул в кармашек гимнастерки сержанта чайную розу. Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся. Но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он оперся на нее, и так, рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб — дружбой, рожденной в бою, они пошли к своим.

<1943>

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Присыпанное тонкой корочкой снега ледяное поле звонко похрустывало от мороза. Пути вперед не было. Шестерка не ледокол, и ломать льды ей не положено.

По бортам тоже лежал лед. Еще не смерзшийся, он пошевеливался от подстудной зыби и шуршал так, словно вокруг шлюпки десяток невидимых коней хрупал сено. За кормой тоже шуршали льдины, и темный след, проложенный на воде шестеркой, уже сомкнулся. Еще можно было развернуться и попробовать уйти назад, сквозь слипающуюся шугу, но это означало не только невыполнение приказа, но и катастрофу для поста.

Ледовая обстановка отрезала островок от базы. Запас продовольствия кончился. Водные подходы к посту простреливались батареями противника. И командир поста лейтенант Ахматов понимал, что база не станет подвергать риску ледокол для доставки продовольствия и будет выжидать, когда можно будет отправить его по уже окрепшему льду конным транспортом.

Но база не знала главного. Неделю назад, при очередном обстреле поста, снаряд угодил в погреб, где хранился неприкосновенный запас, и превратил продукты в жалкое месиво из раздавленных консервных банок, сухарей, масла, сахарного и обыкновенного прибрежного песка. Лейтенант Ахматов ограничился тем, что составил положенный в таких случаях акт, но базе о происшествии не сообщил, считая, что в трудной военной обстановке не стоит обременять внимание командования мелочами.

Это и повело к преждевременному истощению средств питания. Когда угроза голода стала очевидной, лейтенант принял решение послать на базу шестерку. Как раз накануне пронесшийся шторм разворотил еще не плотный ледяной покров, образовав много разводий, и лейтенант рассчитывал, что юркая шестерка пробьется к базе, погрузит продукты и доставит их тем же путем, а если мороз снова скует разорванные поля, то команда шестерки довезет груз волоком на санях, для какой цели на шестерку, кроме личного оружия, погрузили легкие канадские сани.

Но мороз ударил слишком рано. Он остановил шестерку как раз на полпути от поста к базе. И старшине 2-й статьи Хоботову пришлось самостоятельно решать задачу, внезапно поставленную перед ним капризом ледового режима.

Времени на решение у Хоботова было немного. Лед по бортам и за кормой смерзался на глазах, и если бы старшина и решился «прервать операцию по неблагоприятствующей обстановке» и вернуться с пустыми руками на пост к голодным товарищам, это было уже невозможно. Да старшине и не приходило в голову такое решение. Он предпочел бы провалиться под лед и остаться навсегда в черной зимней воде, чем не выполнить приказания. Быстрому принятию решения помог своим поведением шлюпочный компас. Он с наглым бесстрастием докладывал старшине дрожанием стрелки, упершейся в одну из цифр картушки, что ледяное поле с вмерзшей шестеркой неуклонно дрейфует к вражескому берегу. А это шло совершенно вразрез с желанием старшины. И, потуже стянув под подбородком завязки ушанки, Хоботов скомандовал своему экипажу:

— Выходи на лед! Выгружай оружие и сани. Пойдем ходом на базу.

На льду он оглядел трех краснофлотцев, приказав всем снять валенки и перемотать получше портянки, чтоб не было натертостей, и двинулся в пятнадцатикилометровый поход. С неба, все усиливаясь, сыпался сухой, колющий щеки снежок. Пройдя шагов пятьдесят, Хоботов с грустью оглянулся на покидаемую шлюпку. Теперь она будет носиться мертвая, впаянная в лед, до весны, когда подвижка льдов разнесет ее в щепы.

— Прощай, шестерочка! — ласково прошептал старшина и вдруг рассердился.

На корме шлюпки, уплывающей в метельную муть, слабо выделяясь из белесой мглы, трепетал по ветру такой же белый клочок флагдука с голубой кромкой и двумя алыми, точно капельки живой крови, пятнышками.

— Это кто же догадался? — яростно спросил Хоботов.— Кто мог сообразить корабельный флаг оставить?.. Хороши морячки! Товарищ Гнатюк, вернитесь к шлюпке, сымите флаг.

— Да на что он нам, товарищ старшина? — спросил смешливый краснощекий Гнатюк.— Нехай плавает с шестеркой, чтоб видать було — чья.

— То есть как это: плавает? — вскипел Хоботов.— Не понимаю ваших слов. Что вам, товарищ Гнатюк, наморокн морозом забило? Флаг оставить? Да вы понимаете, что такое корабельный флаг? Кажись, вас учили, что флаг есть святыня морской чести. А если его враг заберет, вы как тогда людям в глаза посмотрите? Приказываю снять флаг без дальнейшей дискуссии.

Несколько минут спустя пристыженный Гнатюк догнал товарищей. Древко с навернутым полотнищем торчало у него за поясом полушубка, как флажок у железнодорожного стрелочника.

— Вот так лучше,— сказал Хоботов.— А вы мне потом напомните, товарищ Гнатюк, чтоб я с вами занялся по морским понятиям.

До базы команда шестерки дошла вполне благополучно. Отогрелись чаем, и Хоботов доложил начальнику продснабжения о возникших на посту обстоятельствах и, незамедлительно получив со склада продовольствие, тщательно увязал его на сани и приготовился в обратный путь. Уже темнело. Розовая полоска, пробившаяся на западе из-под низкого полога серых туч, гасла с каждой минутой. И с моря опять налетал сырой, пронизывающий, забирающийся под полушубки свирепый ветер.

— Вы бы переждали до утра, товарищ старшина,— сказал начальник продснабжения, отпуская Хоботова.— Метеосводка неважная. Как бы чего не вышло. Утром все же видней будет.

— Никак невозможно, товарищ интендант второго ранга,— ответил старшина.— Пока не развело, доберемся. А то ведь на посту расхода в обрез осталось. Товарищ лейтенант приказал возвращаться, не задерживаясь.

— Ну, как хотите. Скажите лейтенанту Ахматову, что продукты отправим немедленно по укреплении льда. А он пусть на будущее соображает, что вопросы питания отнюдь не мелочь. Так и передайте.

— Есть передать,— козырнул Хоботов и вышел наружу, где поджидали его краснофлотцы с нагруженными санями.

Они съехали с берега на лед. Тройка бодро тянула сани. Коренником шагал веселый Гнатюк, левой пристяжной — коренастый хабаровец Добромыслов, который, шаля, мелко перебирал ногами, гнул голову набок и ржал, подражая лошади. Справа тяжелым мерным шагом тянул молчаливый Косяков. Хоботов шел впереди, прощупывая дорогу. На заливе ветер покрепчал, приобретая ощутимую плотность. Его уже приходилось пробивать всем телом, и минутами казалось, что рука невидимого великана тычет в лицо и грудь идущим мягкую, но непреодолимую подушку, затыкающую рот и ноздри и мешающую дышать. Приходилось на мгновение поворачиваться спиной к ветру, чтобы отдышаться и вытереть слезящиеся глаза. Шли очень медленно и спустя час еще ясно видели темную полосу леса, тянущегося по берегу базы, хотя ночь уже наплывала на залив. Хоботов остановил людей для пятиминутного отдыха. Краснофлотцы тяжело дышали, вытирая распаренные лица. В дымно-голубой ночной тишине сквозь ровный и тонкий свист ветра пробился глухой рокочущий треск и медленно прокатился над льдом. Все тревожно обернулись на этот понятный и грозный звук.

— Лед ломает, товарищ старшина,— угрюмо сказал Косяков.

— На то и лед,— бодро ответил старшина.— Такой ветер камни ломает, не то что лед... Доберемся,— добавил он, заметив неуверенность на смутно различимых в темноте лицах.— Пошли!

Но идти пришлось недолго. Путь пересекла темная полоса. Оставив сани, Хоботов осторожно прошел вперед. У края льда тяжело плескалась густая, как ртуть, черная вода, дышащая морозным паром. Противоположный край разводья чуть белел в ночи, и в обе стороны полоса воды тянулась, насколько хватал глаз.

Хоботову стало не по себе. В этот миг он ясно почувствовал тяжесть ответственности за груз, за людей, за участь поста, которому грозит голод. Раньше старшина

часто мечтал о будущем, когда он станет командиром, и это будущее казалось прекрасным. Сейчас он стал командиром по необходимости, и оказывалось, что это нелегкая роль. Осторожно продвигаясь, он прошел вдоль закраины разводья, надеясь увидеть ее смык с ледяным полем. Но трещина упрямо расширялась. Он постоял, вглядываясь в темноту, и вернулся к саням.

— Давай влево! — приказал он.— Надо обходить.

С равным успехом он мог бы приказать идти вправо. Но почему-то ему казалось, что именно налево разводье должно было сомкнуться. Инстинкт отдаленных предков, пробужденный опасностью, не обманул его. Черная полоса воды стала суживаться, и впереди опять лежало ровное поле. Проверив направление по компасу, Хоботов повел команду к посту. Но через несколько минут новая полоса воды преградила дорогу. Пришлось повернуть. Эти неожиданные повороты все учащались, и старшина уже не отрывался от компасной стрелки, боясь сбиться и потерять курс на пост. Ища прохода между чернеющими уже повсюду разводьями, он услышал за спиной треск и крики. Обомлев, он бросился к краснофлотцам и сразу понял беду. Все трое стояли у края полыньи, лямки саней уходили в воду. Сани проваливались под лед. Надо было во что бы то ни стало спасать их, спасать продовольствие. Гибель продуктов лишала смысла весь этот мучительный поход.

— Крепче держись, ребята... Сейчас вытянем! — решительно сказал Хоботов, хватаясь за лямку Косякова.— А ну, дружно! Раз-два, тянем-потянем!

Упираясь валенками в ползущий снег, они натянули лямки, шаг за шагом отодвигаясь от черной водяной прорвы, сглотнувшей сани. Но дальше дело не шло. Сани уперлись полозьями в край льдины и не двигались.

— Так не возьмешь,— злобно сказал Гнатюк,— треба за зад пидчепить. Разрешите, товарищ старшина?

Он скинул лямку с плеча.

— Держить, хлопцы, крепче.

Став на четвереньки, Гнатюк подполз к полынье, лег на ее закраину и по плечо утопил руку в воду. По спине Хоботова прошел царапающий холодок. Он всем телом ощутил температуру этой черной, стиснутой морозом жидкости, в которой плескался Гнатюк, ловя задок саней.

— Тащи, хлопцы! — крикнул Гнатюк.

Трое рванули во всю силу. Сани со скрипом вылезли на лед. Гнатюк отполз от полыньи и встал на ноги, вытряхивая из рукава полушубка воду. На лице его уже не было всегдашней беззаботной усмешки, и когда старшина вгляделся во тьме в это лицо, ему показалось, что это не Гнатюк, а другой человек, значительно старше. Все молчали.

— Что ж делать будем, товарищ старшина? — спросил наконец Добромыслов.— Куда подаваться? Вон как развело.

Хоботов огляделся. Сани и люди стояли на льдине, которую со всех сторон окружала теперь вода. Ветер окончательно разломал поле. Идти было некуда. Оставалось держаться на этом клочке и ждать. Ждать, что его либо прибьет в конце концов к береговому припаю, либо... О втором не хотелось думать.

— Гнатюк, снимите полушубок и выжмите рукав насухо,— сказал Хоботов нарочито командным голосом.— Намочите рукав фланелевки, чтобы прогревало.— И он протянул Гнатюку флягу со спиртом.

Гнатюк усмехнулся по-прежнему молодо и лукаво.

— Та шо вы, товарищ старшина? Хиба ж можно горилку на фланелевку лить? Коды унутрь, то буде добре.

Хоботов отвинтил крышку фляги и налил ее до краев.

— Бувайте здоровеньки, товарищ старшина,— сказал Гнатюк, обтер рот ладонью и, смеясь, добавил: — Ось так, хлопцы, и выходить, шо люди правильно кажуть. Не бувать бы счастью, абы не беда.

— Подождем, товарищи. Делать нечего,— сказал Хоботов и, отвернув рукав, поднес к глазам часы. Еле различимые на циферблате стрелки показали одиннадцатый час. До зимнего рассвета оставалось еще долго. Ветер как будто стихал, заходя со спины, а мороз крепчал, хватая за щеки и носы, студя ноги сквозь валенки, сводя пальцы рук, коченеющие в варежках. Но мороз имел свои преимущества. Он мог снова прихватить разогнанные льдины в плотный покров.

— Отдохнем, ребятки. Садитесь к саням поплотнее. Только не спать! — предупредил старшина.

Они уселись на льду, упираясь спинами в сани, при-

жимаясь друг к другу. Посвистывал ветер, глухо шлепала вода о края льдины. От тела к телу, через полушубки проходило живое тепло, и от него их начала охватывать сладкая дремота. Головы клонились. Но Хоботов беспощадно встряхивал засыпающих:

— Не спать! Не спать!.. Замерзнете,— настойчиво твердил он, дергая обмякающие тела.— Не спать, черти! Крепитесь, балтийцы!

Но ему самому мучительно хотелось спать. Он еще раз поглядел на часы и удивился. Ему казалось, что прошло очень много времени с начала этого вынужденного привала, а стрелки едва переползли за полночь. Он понял, что может не выдержать и погрузиться в губительный сон. Тогда он вскочил и стал ходить около саней короткими кругами, иногда подходя к товарищам и расталкивая их. Потом ему пришло в голову посмотреть на компас, и сон сразу слетел с него. Как и на шлюпке, компас упрямо показывал, что льдину несет к вражескому берегу.

Хоботов ничего не сказал краснофлотцам об этой новой опасности. Пока она не станет реальной, пусть отдыхают. Силы понадобятся в момент прямой встречи с врагом. И старшина продолжал кружить возле саней с одной и той же думой. Небо на востоке стало медленно бледнеть. В наступающей предрассветной мути выплыла вперед полоса берегового припая, а за ней — такая же черная зубчатая лента хвойного леса, какая тянулась и по родному берегу. Но на этом берегу были чужие.

Старшина подошел к саням.

— Вставайте, товарищи! — сказал он очень тихо, и именно потому, что голос его был так необычайно тих, все трое мгновенно тревожно поднялись.

— Дело такое,— заговорил Хоботов.— Нас несет на вражеский берег. Вон он, уж рукой подать. Если нас еще не заметили сволочи, то скоро заметят. Но только им нас не взять. Будем драться насмерть... Ясно?.. Ставь сани на попа!

Удивленные странным приказанием, краснофлотцы поставили сани торчком. Хоботов вытянул из-под брезента свернутый шлюпочный флаг, снял с себя брючный ремень и привязал древко к полозу саней. Потом он развернул промерзшее, трещащее, как металл, полотнище, сверкнувшее алыми пятнышками звезды и эмблемы.

Старшина выпрямился и взял под козырек. И трое краснофлотцев сделали то же. Они смотрели на этот маленький флаг потемневшими и взволнованными глазами. Пусть он был поднят только над обломком льда, но это был советский обломок, и они были советские моряки, и, пока в их сердцах оставалась хоть капля крови, льдина была частью их родины, и они готовы были защищать ее.

— Теперь понимаете, товарищ Гнатюк, что такое флаг? — спросил старшина, опуская руку.

— Вполне ясно, товарищ старшина,— без улыбки ответил Гнатюк.

Хоботов приказал проверить оружие. Защелкали затворы винтовок. И тотчас же Косяков дотронулся до плеча старшины и указал на берег. Было уже совсем светло, и все разом увидели сбегающих по склону берега на припай вражеских солдат. Из-под их лыж брызгала снежная пыль. Их было около двадцати. Винтовки висели у них за плечами на ремнях.

— Живьем надеются забрать,— хмуро прищурился Хоботов.— Только не пробовали они нашего флотского засола... Ложись! — крикнул он, сам падая на снег.— Дадим гадюкам огурчиков флотского засола... Огонь!

Грохнули первые выстрелы. Второй в бегущей цепочке лыжников словно споткнулся о невидимое препятствие и упал головой вперед, вытягивая руки. Цепочка рассыпалась и тоже залегла. Над головами краснофлотцев запели ответные пули. Но старшина понимал, что это не могло слишком долго тянуться: на берегу у врага были сотни и тысячи солдат, пушки и танки — и все для того, чтобы расправиться с четырьмя краснофлотцами. Вопрос стоял просто: нужно уничтожить как можно больше врагов, прежде чем быть уничтоженными самим. И Хоботов тщательно выцеливал в черные пятна на припае, сберегая патроны.

В промежутке между двумя выстрелами он услышал настойчивый зов лежащего рядом Гнатюка:

— Товарищ старшина! Товарищ старшина!

Хоботов повернулся к краснофлотцу, удивляясь его сияющему лицу.

— Товарищ старшина! — крикнул Гнатюк.— Ветер змінився. Взад нас гонить. Дулю фашисты с нас визьмуть.

Хоботов приподнялся. Сердце у него на миг замерло и заколотилось с удесятеренной силой, когда он понял, что тесное пространство воды, отделяющей льдину от припая, становится с каждым мигом все шире. Ветер действительно гнал льдину в море. И едва старшина осмыслил это радостное событие, как горячий толчок в правый бок положил его ничком. Боль промчалась по всему телу оглушающим вихрем. Но он крепко стиснул губы, чтобы не застонать, не дать остальным понять, что он ранен.

Преодолевая наплывающую дурноту, он продолжал стрелять.

Ветер нес льдину к своим. Боль в боку переставала быть острой. Правая половина тела немела, и только ощущение намокшего белья было неприятным. Вражеские солдаты на припае подползли к самому краю воды, осыпая уплывающих краснофлотцев пулями. Но льдина уходила быстро. И это поняли на берегу. Там сверкнула бледнозеленая вспышка. Над льдиной звонким раскатом лопнула шрапнель. Ее взрыв точно всколыхнул воздушные хляби, и они мгновенно обрушили на берег, море и льдину непроглядный заряд крупного снега, в котором скрылось все.

Старшина поднялся.

— Прекратить огонь!.. Выскочили, ребятки!

Он пошатнулся.

— Вы ранены, товарищ старшина? — тревожно спросил Добромыслов, подхватив Хоботова.

— С чего ты взял? — усмехнулся непослушными губами старшина.— Просто залежался на снегу, отлежал ногу.

Он украдкой взглянул под ноги. Крови на снегу не было. Белье, сукно фланелевки и овчина полушубка впитали ее.

— Хорошо! Все хорошо...— сказал старшина.

...К ночи льдину поднесло и припаяло к полю. Краснофлотцы снова впряглись в сани, и Хоботов по-прежнему пошел впереди. Идти было очень трудно, и он несколько раз останавливался, чтобы не упасть. И снова шагал. К полночи они вышли на пост.

Старшина обстоятельно рапортовал лейтенанту Ахматову о походе. Но, кончив, побледнел и, не сгибаясь, упал, как подрубленное дерево, к ногам лейтенанта. Очнулся он на койке, уже перевязанный и раздетый.

— Почему вы сразу не доложили, что ранены? — с упреком сказал Ахматов.

Старшина поглядел в глаза лейтенанта.

— Товарищ лейтенант, вы ж сами понимаете... Мне доверили быть командиром. Значит, первым делом я должен был думать о том, чтобы сделать то, что мне было поручено. А рана... конечно, это неприятно, но это ж мое личное дело. Об чем говорить? Раз жив, так и буду жить.

<1943>

ВНУК СУВОРОВА

Сержант Горюнов лежал на прибрежном песке лицом вниз, половиной тела на суше, ногами в воде. Одна рука его была вытянута вперед, другая — подмята под туловище, и на светло-золотой поверхности песка запеклось ржавое пятно. Глаза Горюнова были закрыты, и во всей позе была такая мертвая неподвижность, что серенькая птичка, которая вприпрыжку бегала по песку в поисках пищи, нахально остановилась у самой его головы, скосила черную бисеринку глаза и сказала скороговоркой:

— Утоп-топ-топ...

Тогда Горюнов внезапно поднял голову, сердито взглянул вслед испуганно вспорхнувшей птахе и, скривив запекшиеся губы, буркнул:

— Врешь, цапля! Ничего не утоп... Еще поживем!

Он повернулся и сел, придерживая здоровой — правой — рукой гудящую и упрямо падающую на грудь голову. И, как сквозь туман, вспомнил все.

В шлюпку, которой он командовал на переправе, угодил немецкий снаряд, когда она была совсем уже близко от берега, куда перевозила мотки телефонного кабеля. Горюнов только услышал вой снаряда и увидел слепящую вспышку. Грохота разрыва он, должно быть, не слыхал потому, что опередил звук и ушел под воду, с силой вдавленный в глубину ударом воздушной волны. Как он добрался после этого до берега, он вспомнить не мог.

Горюнов взглянул на реку. Темно-серая, рябая от холодного дождя, она медленно несла вниз мутную воду,

и на ней не было признака шлюпки и ее команды — четверых дружков-связистов. Горюнов вздохнул и попытался встать, опираясь на руки, но левая подкосилась, и он опять упал лицом в песок, заскрипев зубами от боли. Горюнов взглянул на руку и только сейчас увидел разодранный рукав гимнастерки, кровь и разорванное мясо ниже плеча. Он удивлялся, как ему удалось выплыть. Но удивляться было некогда. Нужно было перевязать рану и что-то делать дальше. Морщась и ругаясь, он достал из кармана индивидуальный пакет. Провощенная бумага выдержала купание. Горюнов вытащил из ножен финку, отрезал у плеча рукав гимнастерки и сдернул его с руки. Разорвав зубами пакет, наложил подушечку на разорванные мускулы и туго забинтовал руку. Почувствовав наплывающую муть обморока, снова прилег, глубоко дыша, пока не полегчало.

Тогда он решительно встал на ноги и прислушался. Сквозь мерный шум дождя глухо доносился грохот стрельбы, и Горюнов понял, что, пока он лежал на берегу, бой ушел далеко вперед. Возвращаться на свой берег он не мог. Одолеть всю ширину реки с недействующей рукой было не по силам. Оставалось догнать ушедшее с боем подразделение. Кстати там можно будет найти санпункт, где как следует перевяжут руку. Горюнов устроил из куска найденной в кармане проволоки подвеску для раненой руки и, пошатываясь, побрел в направлении стрельбы. Дождь усиливался, поливая и без того мокрого до нитки Горюнова. Его начало знобить. Он пожалел, что в разбитой шлюпке осталась маленькая фляжечка с заветным содержимым, и пошел быстрее, чтобы согреться.

Размокшая черная луговая земля скользила под ногами, идти было тяжело, и Горюнов облегченно вздохнул, когда, продравшись сквозь кусты лозняка, выбрался на высокую полосу берега. Перед ним дымились остатки обгорелых изб, над которыми чернели печные трубы. Война только что закончила здесь свое разрушительное дело и пронеслась дальше. Горюнов обошел пожарище и по развороченным огородам вышел на тропку. Тропка привела его к спуску в овраг. Спуск был крутой, и Горюнов почти сполз по чавкавшей глине на дно оврага. Оглядевшись, он вдруг заметил, как по отвесному краю оврага медленно движутся, смутные сквозь стенку дождя, человеческие фигуры. Расстегнув кобуру, Горюнов направился к ним.

Укрываясь от дождя под навесом обрыва, понуро шагали несколько красноармейцев. Подойдя поближе, Горюнов увидел, что люди эти охвачены той мертвенной, одуряющей усталостью, которая бывает только на войне. Нахохленные, небритые, в измызганных грязью шинелях, они медленно брели, с трудом переставляя ноги.

— Здорово, земляки! — сказал Горюнов, нарочно весело.

Но никто не ответил на его приветствие. Понурив головы, люди думали свои усталые думы. И только после долгой паузы один, рябоватый, с посинелыми щеками, хмуро спросил:

— Табачку нет ли свернуть?

— Чудак,— сказал Горюнов,— где ж у меня табак? Вы только под дождем мокли, а я со своими связистами еще в речке плавал на манер осетра; сам еле жив остался, да все раскисло. Я у вас надеялся разжиться.

Снова водворилось молчание. Горюнов посмотрел на безразличные, истомленные лица и вдруг рассердился.

— В чем дело, землячки? — спросил он.— Черта ли вы такие квелые, как дохлые куры?

И опять после паузы, не поднимая головы, ответил тот же рябоватый:

— Притомились мы, товарищ сержант... и простыли.

Горюнов еще раз оглядел приунывших людей и в сердцах рубанул:

— Простыли! Что вы, черти вас порви, картонные, что ли? Где командир ваш?

— Нема у нас командира,— ответил другой красноармеец, вихрастый парнишка с толстыми ребячьими губами.— Убили нашего командира-сержанта. Оторвались мы от своих и не знаем толком, куда податься.

— Хороши! — сказал Горюнов, покачав головой.— В трех соснах заплутали... Раз такое дело — принимаю командование. А ну, давай — стройся! В бою отдохнем, в огне согреемся.

— Дак вы ж, товарищ, как видно, связист, по нашему делу непривычны,— с сомнением поглядев на Горюнова, сказал рябоватый, но подтянулся и рукавом шинели обтер мокрый приклад винтовки.

— Что значит непривычен? Ко всему привыкать на войне надо... Стройся, стройся, говорю... Сколько вас тут всего? Двенадцать? Так это ж, братики, сила! Это ж прямо железная дивизия. А ну, становись!

Веселый голос Горюнова оказал свое действие. На усталых и безразличных лицах красноармейцев, осветляя их, мелькнули улыбки.

— Лишние гранаты у кого есть? Давай командиру, а то у меня, ребятки, всего оружия что эта висюлька,— Горюнов хлопнул по кобуре,— с ней много не навоюешь.

Он взял из протянутых к нему рук три гранаты: две заткнул за пояс, третью стиснул в здоровой руке.

— Ну, пошли! Дадим гансам жизни и сами оживем. Дивизия, шагом марш!

«Дивизия» двинулась за своим командиром гуськом по дну оврага. Горюнов шагал впереди, уже не чувствуя ни одинокой сиротливости, с которой он пробирался от реки, ни боли в руке. В нем рождалось и крепло чувство ответственности командира за свою «дивизию», и, оглядываясь на идущих за ним красноармейцев, Горюнов с удовлетворением видел, что выражение унылой и мертвой усталости сошло с их лиц. Люди шагали уже твердо, глаза их ожили и блестели живо и зло.

«Сердиться начинают землячки,— подумал Горюнов.— Это хорошо. Наделаем дел».

Дно оврага медленно повышалось, выводя в открытое поле. Горюнов остановил «дивизию».

— Дивизия, стой! Надо разобраться в обстановке.

Оставив людей позади, он прополз по полю до копны прелого сена, вскарабкался на нее и огляделся. Справа от него темнели избы деревни. Оттуда доносились звуки стрельбы, и между ними мелькали вспышки и вставали черные столбы минных разрывов. По звуку ударов и по цвету дыма Горюнов узнал немецкие мины. Ему стало ясно, что в деревне свои и что сосредоточенный огонь немецких минометов прижимает своих. Продолжая осматриваться, Горюнов разглядел впереди высотку, густо поросшую кустарником. Минометы били оттуда. Прищуря глаз, Горюнов смотрел на высотку, соображая. Потом он скатился с копны, вернулся к своим красноармейцам и подозвал рябоватого.

— Даю боевую задачу: пробраться в деревню, найти командира подразделения, доложить, что я иду в обход — на гансовы минометы. Ясно? Ползи! Остальные по одному за мной, вон до той канавки!

Горюнов указал на канавку вдоль межи по краю поля. Пригнувшись, он первым перебежал по мокрому жнивью до канавки и, не раздумывая, прыгнул в желтую гли-

чистую воду, наполнявшую ее до краев, уже не чувствуя ни холода, ни мокроты, охваченный одним подымающимся возбуждением боя. Когда остальные собрались к нему, он повел их по канаве, в обход высотки. Вода доходила до пояса, грязь на дне налипала пудами на ноги. Горюнов спотыкался, падал, выкарабкивался, облепленный грязью и размокшей соломой, но упрямо лез вперед и вел за собой людей. Канава сворачивала за высоткой, и когда Горюнов добрался до ее конца и осторожно высунул голову, он увидел на недалеком уже расстоянии между кустарником два миномета и немцев в мышино-серых шинелях, возившихся у минометов. Горюнов обернулся к своей «дивизии» и улыбнулся.

Люди, облепленные глиной и соломой, были похожи на болотных чертей и были теперь злы, как черти. Глядя на них, никто не сказал бы, что полчаса назад они шагали по дну оврага в полном безразличии. Они рвались в драку.

— Слушать! — сказал Горюнов.— Подыматься разом. Дать ходу во всю моготу. Бить гранатами. Я кидаю первый, остальные залпом... За мной!

Он рывком выбрался из канавы, пробежал половину расстояния до немецких минометчиков и широким размахом бросил свою гранату. Она взвилась крутой дугой и, падая, ударила в спину немца, закладывающего в миномет очередную мину. Тот изумленно оглянулся, увидел бегущих красноармейцев, вскрикнул что-то, указывая на них, но в это мгновение пламя и дым взрыва заволокли миномет. Гранаты запрыгали по земле, между ошеломленными немцами. Взрыв грохотал за взрывом, заглушая крики и стоны.

Но, несмотря на неожиданность удара и на потери от гранат, немцы оказались не робкого десятка. Уцелевшие мгновенно встретили атаку густым автоматным огнем. Потом, видя, что набегающих красноармейцев уже не остановить, начали отходить в чащу кустарника, отстреливаясь. Горюнов заметил высокого немца в длинной шинели, который командовал ими. Он побежал прямо на этого гитлеровца и выстрелом из пистолета свалил его. Фашист упал, и Горюнов перепрыгнул через него, целясь в другого, мелькающего в кустах. Он не видел, как раненый немец приподнялся и, кусая губы, вскинул последним усилием автомат. Горюнов почувствовал, как его сильно толкнуло в спину и рот сразу наполнился густой

и горячей жижей, мешающей дышать. Он хотел сплюнуть, но небо с ошеломляющей быстротой завертелось вокруг него, и он стремглав ударился головой о корни кустарника.

Горюнов пришел в себя на перевязочном пункте. Дружинница, стоявшая возле него на коленях, умело и быстро бинтовала его обнаженное туловище, а рядом стояли и тревожно смотрели на ее ловкие маленькие, красные от осеннего холода руки бойцы «железной дивизии» Горюнова.

— Ну, как, сестрица? — услышал Горюнов беспокойный вопрос.

— Будет жить,— уверенно сказала дружинница,— легкое пробито, но у нас от такого не помирают. Еще три раза женится.

— Вы уж обязательно его вылечите,— просительно сказал вихрастый боец.— Такой, понимаете, боевой оказался. Сперва мы на него не очень понадеялись, все-таки связист, к бою несвычный. Кроме того, сам был уже в руку раненный, тоже еле ноги двигал. А он, гляди, чего наделал! Выходит, все сраженье в наш кон обернул. Очень стоящий командир. Такому нельзя помирать.

Он повернулся к Горюнову, увидел открытые глаза командира и радостно улыбнулся.

— Очнулись, товарищ сержант? Теперь не беспокойтесь. Сейчас вас в госпиталь повезут. Выздоравливайте, а мы, значит, до своей роты пойдем. Нашли своих. Догонять надо. Наши уже далеко впереди. Так и рвут теперь фрицев, аж земля горит под ногами.

— Воюйте, землячки! — ласково сказал Горюнов, и глаза его застлало влагой.— Не поминайте лихом. Поработали мы с вами с честью.

Горюнову стало тоскливо. Он вдруг ощутил острую горечь расставания со своей так неожиданно найденной и так быстро потерянной «дивизией».

— До свиданьичка, товарищ,— застенчиво сказал вихрастый, осторожно дотрагиваясь до бессильно свисшей руки Горюнова.— Ребята просили узнать, какое ваше прозвище. А то вели вы нас в бой, а мы и не знаем, как вас величать. Капитан тоже спрашивал, какой такой герой вами командовал, такого обязательно наградить надо. Узнайте, говорит, как его фамилия.

— Фамилия? — переспросил Горюнов, смотря на ласковое лицо вихрастого парнишки. Он задумался, и вдруг

лукавая усмешка скользнула по его белым, сухим от жара губам.— Фамилия? — повторил он.— Суворов моя фамилия...

— Суворов? — переспросил вихрастый с некоторым сомнением.

— Суворов,— подтвердил Горюнов.

— Выходит, значит, вы одной фамилии со знаменитым генералом.

— Подымай выше,— сказал Горюнов.— Я его внук... У него, землячки, много внуков. Вся армия ему внуки... И точка!.. Катитесь своих догонять, да меня вспоминайте.

И «внук» генералиссимуса русской армии Александра Суворова сержант Павел Горюнов устало откинулся на подложенную ему под голову шинель и закрыл глаза.

<1943>

ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Рассыльный, пробежав на носках по коридору командирских кают левого борта базы, остановился у лакированной дверцы и осторожно постучал.

— Старшего лейтенанта Рябухина срочно к начальнику штаба,— сказал он, когда дверь приоткрылась, и, не ожидая ответа, побежал дальше по коридору, чтобы передать такое же приказание старшему лейтенанту Маккавееву.

Когда командиров охотников после ужина срочно вызывают к начальнику штаба, это означает многое и в первую очередь, что спокойного вечера и просмотра очередного фильма в дружеской атмосфере кают-компании, с сопровождением кадров веселыми комментариями командира отряда торпедных катеров, для вызванных не будет. Вместо этого им предстоит самим стать участниками морского «приключенческого фильма», сопровождаемого зачастую усиленной «шумовой музыкой» пушек и пулеметов, на фоне аккомпанемента рвущихся рядом вражеских бомб.

Спустя десять минут Маккавеев и Рябухин, сменив кителя на боевые комбинезоны, стояли на мостиках своих катеров, готовясь к походу.

А в 20.15 оба катера уже скрылись за оконечностью островка, и о них напоминали оставшимся только медленно тающие в спокойной темной воде павлиньи хвосты пузырчатой пены.

Выйдя в горло залива, катера взяли курс к северо-западу, в широкий морский простор, прикрытый легкой серебристой дымкой полярного вечера, мало чем отличающегося от ясного полудня средней полосы.

Боевое задание было простым и ясным. В заливе, один берег которого был занят врагом, а противоположный оборонялся нашей армией и частями морской пехоты, где вся водная поверхность насквозь простреливалась береговыми батареями немцев,— неприятельский снаряд накрыл следовавший обычным рейсом вспомогательный пароход. Пароход запросил по радио катера для оказания помощи и сопровождения в порт назначения. Сдав пароход, катера должны были принять и сопровождать обратно в залив номерной буксир, ведущий баржу со снарядами и взрывчаткой для наших частей на полуострове.

В 22.15, приближаясь к берегу, охотники обнаружили медленно ползущий с небольшим креном пароход. Подойдя поближе и установив опросом, что он может следовать самостоятельно и повреждения, нанесенные снарядом, не смертельны, катера встали по бортам парохода и на малом ходу повели пострадавшего домой, как заботливые санитарки, поддерживая под руки, ведут раненого бойца.

В течение двух часов ничто не нарушало спокойствия этого медлительного путешествия. Море было тихим, как пруд, вдоль бортов ласково рокотала ледяная, темно-изумрудная вода, золотое вечернее небо переливалось всеми цветами. Но около полуночи сигнальщик одного из охотников Баскаков заметил мелькнувшие на западе темные черточки двух самолетов. Катера мгновенно ощетинились навстречу врагу стволами пушек и пулеметов. Два «Ме-109», сделав круг над кораблями, пошли в атаку. Хриплый вой вражеских моторов утонул в грохоте интенсивного огня катеров. «Мессеры» не выдержали жаркой встречи, сорвались с боевого курса, и наспех сброшенные бомбы безвредно вырыли водяные ямы на большом расстоянии от катеров. Убедившись в неудаче, немцы отвернули и скрылись на западе. После оживленного напряжения боя опять наступила сомнительная тишина, в продолжительность которой никто на катерах уже не верил. Раз враг обнаружил корабли, следовало ждать продолжения. И оно не заставило себя ждать. При подходе к порту, куда следовало доставить поврежденный пароход,

сигнальщики катеров снова обнаружили на высоте около трех тысяч метров семь немецких налетчиков. Полными ходами закружив возле охраняемого парохода, командиры охотников начали ожесточенный бой с немцами, которые на этот раз действовали смелее и нахальнее, стараясь добить уже подбитый корабль. Бомбы падали близко, катера подпрыгивали от разрывов и заливались брызгами от всплесков, над головами моряков пронзительно выли осколки. Но, израсходовав весь запас бомб, немцы и на этот раз улетели не солоно хлебавши.

— Бодрая жизнь,— весело сказал своему расчету командир кормового орудия, член партбюро отряда морских охотников, краснофлотец Муравьев, сдвинув назад шлем и вытирая лицо.— Сегодня будем иметь беспрерывную программу удовольствий.

Но немцы, видимо, не решились продолжать атаки над портом, где к огневым средствам катеров могли присоединиться зенитные батареи, и ввод в порт пострадавшего парохода и последующий вывод в море буксира с баржей прошли беспрепятственно.

К вечеру катера вошли в узкое пространство залива, где на одном берегу находились наши части, на другом — немцы. В этом тесном, насквозь простреливаемом вражеской артиллерией канале «бодрая жизнь», о которой упоминал Муравьев, немедленно возобновилась. В 18.14 сигнальщик Бойко обнаружил над берегом два стремительно пронесшихся «ФВ-189». Огня по ним за дальностью расстояния открыть не пришлось. Но нужно было держаться начеку. Самолеты явно вели разведку, чтобы обнаружить катера и навести на них авиацию.

В 19.10 из-за высокой гранитной сопки на угрюмом мысе с воем вырвались четыре «мессершмитта» на высоте тысячи метров. Проскочив над катерами, они попарно стали пикировать на буксир и баржу. Первая пара положила бомбы в шестидесяти метрах от баржи. Вторая была сбита с курса точной стрельбой пулеметчиков и метнула икру второпях. Еще эхо орудийного грома и пулеметного треска катилось над водой и прибрежными скалами, как краснофлотец Баскаков обнаружил новых восемь самолетов противника с другого борта.

Мгновенно орудия и пулеметы развернулись в противоположную сторону. Обстановка становилась сложной. Оба катера действовали самостоятельно, и наводчики едва

успевали ловить в перекрестья прицелов ныряющие в небе силуэты врагов. Пулеметы глотали ленту за лентой, и стволы их раскалились. Бомбы рыли воду все ближе, и катера вздрагивали от толчков.

Не успели отбить эту атаку, как из-за другого мыса вырвались еще одиннадцать самолетов. Немцы, очевидно, решили во что бы то ни стало доконать катера и баржу. Теперь они одновременно атаковали с разных сторон и на разных высотах. Небо и море обратились в ураган взрывов, пронизанный красными струями трасс; рев самолетных моторов смешивался с глухим рычанием моторов катеров, круживших немыслимые петли. Старший лейтенант Маккавеев, катер которого подвергся особенно интенсивным атакам, умело и рассчитанно выводил свой маленький корабль из-под визжащего стального града.

Бомбы рвались в пятнадцати — двадцати метрах от катеров. Осколок величиной с грецкий орех пробил козырек над головой старшего лейтенанта Рябухина. Еще несколько осколков впились в борты. На палубе баржи упал раненый краснофлотец. Ведя бой, командиры катеров не без тревоги поглядывали на баржу. Одно попадание бомбы в этот плавучий пороховой погреб могло разнести в клочья и самую баржу, и буксир, и охраняющие катера. Но и в этой ожесточенной и хитрой комбинированной атаке немцы не добились успеха. Зато наводчики катеров сделали свое дело по североморским традициям. Сначала один, а за ним и второй «мессершмитт», сильно задымив, отвалили в стороны и пошли бреющим полетом над водой к своему берегу.

— Уйдут, черти! — заволновался подносчик носового орудия катера старшего лейтенанта Маккавеева, молодой краснофлотец Анненков, впервые в жизни попавший в бой, да еще в такой бой, какой не часто приходилось видеть и «старикам».

— Не уйдут,— ответил командир орудия, «артиллерийский бог» дивизиона истребителей подводных лодок, старшина 1-й статьи Ходоровский.— Заметь себе, молодой, одно правило: ежели истребитель задымил, то дело сделано. Бомбардировщик еще может спастись в таком положении, а истребителю явная крышка.

И Анненков тотчас же убедился в справедливости замечания командира, увидев, как, не дотянув до берега, один из «мессершмиттов» врезался в воду. Другой скрыл-

ся за скалами. Его падения уже не видели катера. О нем позже донесли наблюдательные посты.

Разозленные неудачей воздушных атак, немцы решили разделаться с катерами другим способом, и, спустя несколько мгновений, береговые батареи немцев, скрытые за гребнем берега, открыли ожесточенный огонь по катерам и барже. В отлично пристрелянной немцами узкой кишке залива снаряды ложились точно, и первые же залпы легли почти накрытиями. Тогда старший лейтенант Рябухин, вырвавшись вперед, в непосредственную близость к неприятельскому берегу, поставил дымовую завесу. Густую стену белого дыма понесло ветром на скалы, и немецкие батареи мгновенно ослепли. Снаряды продолжали кипятить воду залива, но уже бестолково и неприцельно. Немецкие артиллеристы тщетно пытались наугад нащупать корабли в непроглядной пелене дыма. Но она становилась все гуще. Вслед за дымовой завесой, поставленной Рябухиным, старший лейтенант Маккавеев поставил вторую, и так весь остаток пути до места назначения оба катера, сменяясь, жгли дымовые шашки, лишив немцев возможности рассчитанного обстрела советских кораблей.

Наконец буксир и баржа благополучно отшвартовались у пирса, и тотчас же краснофлотцы начали разгрузку опасного содержимого баржи, спешно уволакивая тяжелые ящики с боеприпасами. И только когда последний ящик был доставлен в безопасное место, на катерах сыграли отбой боевой тревоги, и люди, сбросив тяжелые шлемы, с радостью задышали чистым вечерним ветерком, шедшим с океана.

С 13.15 до 23.15 в этот день командиры катеров находились в непрестанной боевой готовности номер один и в беспрерывном бою с самолетами врага и его батареями. И в этой бурной обстановке командиры катеров с радостью убедились в спаянности, выдержке и боевой закалке молодого пополнения,— на катерах было немало молодых краснофлотцев, для которых, как и для Аннепкова, этот день был первым настоящим боевым днем их краснофлотской жизни. И они не ударили лицом в грязь перед старшими товарищами, спокойно и точно работая у огневых средств и механизмов, охваченные общим подъемом с одним горячим желанием — бить врага, громить его всей силой своего оружия, всей силой молодой нена-

висти к поработителям и захватчикам. Они с честью выдержали тяжелое испытание двадцатидвухчасового боя и заслужили право стать равноправными членами испытанной боевой семьи закаленных «морских кавалеристов».

И их настроение лучше всего выразил боцман катера старшего лейтенанта Маккавеева Белорусов, который на вопрос: «Горячий был денек?» — флегматично ответил: «Да ничего, день как день! Одним словом, североморский».

<1943>

ХОЛОДНЫЙ ХАРАКТЕР

Иван Рябов недолго прогостил на морском охотнике, но и сейчас, по прошествии года, при упоминании его имени любой из команды охотника — от молодого краснофлотца Самоквасова, который сам не видал Рябова, а знает о нем лишь понаслышке от старичков, до командира, старшего лейтенанта Кириллова,— непременно улыбнется и скажет:

— Рябов?.. Как же. Холодного характера был человек, ничего не скажешь.

Рябов пришел на катер с двумя другими красноармейцами туманным осенним утром, когда над Кольским заливом стояла редкая и необычайная для осенней поры тишина и серая вода лежала в ковше губы недвижным тяжелым студнем, отливая неживым блеском ртути. Даже за выходом из губы, в горле залива, где раскрывался морской простор, вода чуть подергивалась рябью, и Баренцево море было совсем непохоже на мятущуюся толчею бешеных волн, за которую оно заслужило прозвище чертова пивного котла.

За четверть часа до похода вахтенный старшина Гамарчук увидел на палубе тральщика, у борта которого стоял морской охотник, трех бойцов в пехотном обмундировании, которые явно намеревались спуститься на катер. Один из них, круглолицый, с розовым лицом в крупных веснушках и безмятежно синими глазами, уже переносил ногу в добротном яловом сапоге через трос релинга на борту тральщика.

— Куда? Куда? — крикнул Гамарчук, кидаясь навстречу незнакомцу.

Нога, перенесенная через трос, повисла над головой старшины — борт тральщика был значительно выше палубы охотника,— синие глаза лукаво прищурились.

— Куд-куда,— передразнил добродушный, но не без язвительности голос,— раскудахтался! В морском человеке спокойствие должно быть, а ты, как сорока, гомозишься. Идем, куда приказано. А приказано до вас. Ошибки нет, ежели у вас на посуде кругом шишнадцать прописано.

И неведомый красноармеец пальцем указал на борт морского охотника, где между немыслимыми иероглифами камуфляжа была выведена белилами названная цифра. И тотчас же перенес за трос и вторую ногу, готовясь спрыгнуть на палубу. Заинтересованные краснофлотцы, усмехаясь, разглядывали гостя.

— Ты мне замечаний не делай! Не начальство! — сказал Гамарчук, обуянный негодованием на нарушителя корабельных порядков.— Не полагается посторонним на корабль без позволения командира. Убери ступалы и пожди. Кто такой и откуда?

— Раз полагается — докладай. Мы своим уставом твоего монастыря не портим,— степенно сказал синеглазый,— мы есть разведчики, и об нас с командиром согласовано.

Гамарчук повернулся к мостику, откуда старший лейтенант Кириллов с любопытством наблюдал за происшествием. И хотя было ясно, что командир видел все и слышал каждое слово, Гамарчук точно доложил о прибытии разведчиков, получил разрешение Кириллова и уже милостиво сказал пришельцу:

— Можно, только аккуратнее. Сапоги у вас как у битюгов копыта, а палуба вещь тонкая.

Иван Рябов легко, так, что сапоги даже не стукнули, соскочил вниз, дождался своих спутников, подошел к мостику и, прижав руку к пыжиковой шапке, отрапортовал, что команда разведчиков в составе красноармейцев Гуськова и Вересова со старшим Иваном Рябовым прибыла согласно договоренности со штабом дивизии.

— Добро,— кивнул лейтенант и приказал Гамарчуку поместить разведчиков в кубрике.

Спуск в кубрик был занимательным зрелищем для команды охотника. Даже для привычных старослуживых

катерников эта операция не представляет ничего привлекательного. Для людей же, впервые попадающих на палубу морского охотника, протискивание в узкую квадратную дырку и спуск по отвесному скользкому трапику — чистая пытка. Красноармейцы застревали в люке, цепляясь за комингс полами полушубков, подсумками, противогазами, ремнями винтовок и потом вдруг с грохотом проваливались в кубрик, как в преисподнюю, потеряв из-под ног очередную перекладину трапа. Краснофлотцы, остерегаясь смеяться из вежливости, столпились у люка, подавая практические советы гостям. Иван Рябов спустился последним. Слезал он медленно, осторожно, ни на кого не глядя, и его мальчишеское лицо побагровело от натуги и злости, от напряженного желания не уронить себя в глазах хозяев. Когда он исчез в кубрике, комендор носовой пушки Котиков разрешил себе засмеяться.

— Ну и серьезный мужик! В люк идет и то как с рогатиной на медведя. Спуску не даст.

Кругом прыснули, но обсуждение личности Ивана Рябова не получило дальнейшего развития, прерванное свистком и авралом съемки.

Спустя полчаса, когда катер огибал северный выступ берега, направляясь в залив, где предстояло высадить во вражеском тылу разведчиков, Иван Рябов вылез из кубрика на палубу со своим до сверкания начищенным полуавтоматом, огляделся, цепко и осторожно прошел узким проходом между бортом охотника и рубкой и, взявшись за железный поручень, хладнокровно вскарабкался на крошечный мостик охотника. Старший лейтенант Кириллов оглянулся на нежданного посетителя и вежливо, но решительно заметил:

— На мостик, товарищ Рябов, посторонним нельзя. Сойдите!

Рябов взглянул на командира безмятежными синими глазами и ответил с тем же невозмутимым добродушием, которое, видимо, составляло основу его натуры:

— Не полагается — сойдем. Мы в рассуждении того, как сверху виднее и стрелять сподручней, ежели, скажем, подводная лодка.

Старший лейтенант Кириллов улыбнулся и разъяснил Рябову, что с подводной лодкой охотник кое-как справится своими средствами, на мостике же очень тесно, а если

Рябову хочется побыть на воздухе, то лучше всего пройти на корму.

— На корму так на корму,— согласился Рябов и слез с мостика. На корме он облюбовал себе местечко между стеллажами глубинных бомб и уютно уселся там, положив на колени полуавтомат.

Так же добродушно и обстоятельно он поведал обступившим его краснофлотцам кормового орудийного расчета, что он служит в армии второй год, а сам родом сибиряк, вырос в тайге, близ Дудинки, на берегу Енисея, и до службы охотничал, сдавая добычу Заготпушнине.

— Выходит, и профессии не пришлось менять,— сказал Котиков,— только пушнина нынче тебе с фрица идет.

— Ай, кака с него пушнина! — отмахнулся Рябов.— С него, считай — ни мяса, ни шерсти. Давеча изловил я одного, аж смотреть на него срамно: куртка на голятину надета. Я его спрошал: «Где ж твое бельишко? Как же твой Гитлер тебя одевае? За что ж ты, сукин сын, в таком разе воюешь, ежели в своей поганой державе на рубаху не заработал?» А он молчит и трясется, чисто заполярный заяц. А ты говоришь — пушнина! На моей винтовке меху поболе, чем на фрице.

И Рябов любовно погладил ствол полуавтомата.

Потом он степенно рассказывал краснофлотцам свои разведчичьи приключения, и по неторопливой его речи и ясным глазам было видно, что он не «травит», а говорит чистую правду, хотя приключения были сложные и порой почти невероятные. Но Рябов, видимо, не находил в них ничего необыкновенного, и, вероятно, для него работа разведчика, бродящего по вражеским тылам, была ничем не труднее блуждания в тайге за сохатым или медведем.

Когда морской охотник с выключенными моторами подошел к берегу и сквозь молочную мглу проступили голые обрывы скал, посыпанных первым снежком, Рябов вызвал из кубрика своих спутников, проверил их снаряжение и вежливенько откозырял подошедшему Кириллову.

— Значит, Рябов, мы придем за тобой через трое суток. Придем в это самое место. Ты подавай нам сигнал фонариком, только чтоб свет на море шел, а не на берег. Найдешь это место? Не заплутаешь?

— А чего заплутать? — удивился Рябов.— Место голо, бору нет. На камени погляжу и навек запомню. У каменя,

что у человека, у каждого своя рожа. Только примечать надо.

Катер уткнулся форштевнем в расщелину между двумя камнями, и Рябов с товарищами вылез на берег. Он помахал шапчонкой и исчез за камнями со своими спутниками. И в эту минуту всем на палубе охотника показалось, что он похож на лесовика, идущего промышлять дичь.

Через трое суток морской охотник вновь подошел к этому берегу. Была ночь. С севера из морской дали шел влажный ветер, и море начинало посапывать и ворчать у камней, облизывая их языками пены. Барометр падал,— надвигалась непогода, и нужно было торопиться. Часа полтора старший лейтенант Кириллов ходил на малых ходах вдоль берега, ожидая проблесков фонарика, но условленного сигнала не было. Людьми на катере овладело беспокойство. Стало ясно, что с разведчиками что-то стряслось. Один только Котиков уверял, что Рябов не пропал и пропасть не может.

— Живой он, хоть голову мне оторви! Не такой, чтоб погореть. А сигнала не подает — так, может, фонарик спортился или опасается, что фриц рядом бродит. Не хочет себя и нас подвести. А может, не мог на это место выйти по непредвиденному случаю. Надо бы ближе к берегу взять да пройти подалей в обе стороны.

То же самое думал и лейтенант Кириллов. Он подвел катер вплотную к береговой черте и медленно шел вдоль нее. Прошло еще около часа. Сигнальщик Ломага тронул командира за рукав.

— Вон за теми камнями, товарищ старший лейтенант, будто что белое мотается.

Кириллов поднял к глазам ночной бинокль и всмотрелся. И в самом деле увидел за крупными валунами, накиданными прибоем, мелькающее светлое пятно. Приказав навести в эту точку орудия и пулеметы, чтобы в случае нужды сразу ударить сосредоточенным огнем всех средств катера, Кириллов подвел катер еще ближе, рискуя вылезть на камни. И тогда из-за валунов поднялась человеческая тень. Прыгая с валуна на валун, она спустилась к самой воде, и командир узнал в ней Рябова.

— Рябов! — окликнул он тихо.— Ты что ж? Все-таки заплутал? Почему сюда забрался?

— Бяда вышла,— донеслось с берега.

Катер подтащило волной к самым камням, и, когда штевень его на миг повис в воздухе у покрытого скользкими водорослями гранита, Рябов широким прыжком перелетел двухметровый промежуток от камня до борта и свалился на палубу, подхваченный руками краснофлотцев. Став на ноги, он обстоятельно доложил командиру, что задание им выполнено, но на обратном пути случилась неудача. Ведя к берегу двух захваченных языков — тирольских егерей,— разведчики напоролись на патруль немецкого охранения. После ожесточенной схватки Рябову удалось вырваться и сбить немцев со следа, но оба его товарища погибли. Один был убит наповал пулей в голову, другой умер от ран, обессилев в пути. Тогда Рябов самостоятельно пробрался к берегу, но не в условленном месте, так как немцы подняли тревогу и бросились искать разведчика как раз в этом направлении. Он дважды пытался пробиться туда, но возвращался, заслышав шум и немецкую речь.

— Думал уже, что не видать мне родной землицы, да вот, спасибо, не оставили.

— Ну что ж, Рябов. Раз на раз не приходится,— сказал старший лейтенант,— иди отдыхать. Нечего делать, двинемся домой.

Рябов поднял на командира удивленные глаза.

— Как же это домой? — спросил он.— А языков что ж — бросать? Даром, что ли, я с ними вожжался?

— Языки? Да где ж они у тебя? — спросил изумленный Кириллов.

— Припрятаны тут поблизости. Я их на всякий случай в пещерке оставил,— сказал Рябов,— совсем неподалеку. Минут десять ходу до них. Ежели дадите двух ребят, я вмиг обернусь. А то как бы не подохли. Уже, поди, часов тридцать без еды сидят.

— Да они, наверное, уже сбежали,— с сомнением сказал Кириллов.

— Зачем сбежали? — обиделся Иван Рябов.— Они у меня припечатанные. С места не стронутся. Разрешите забрать, потому как мне без них показаться нельзя будет.

Хотя погода свежела и у старшего лейтенанта Кириллова возникало опасение, что принять на катер людей будет трудно, он все-таки разрешил. Оставить уже взятых пленных, стоивших крови, было досадно. Рябов в сопровождении Котикова и Ломаги был снова высажен на берег.

О том, что было на берегу, рассказал командиру Котиков после того, как через час люди вернулись на катер с пленными, двумя здоровенными рыжеусыми тирольцами. Катер уже не мог вторично подойти к камням — пришлось перевозить всех по очереди на тузике, заливаемом волной. Пленных сгрузили в ахтерпик и задраили люк над ними. Рябов, сорвавшийся при посадке в тузик с камня и промокший насквозь, полез в кубрик обсушиться, а Котиков, захлебываясь смехом, докладывал старшему лейтенанту о путешествии.

Пленных нашли в той самой пещерке, куда запрятал их Рябов. Они сидели там спинами друг к другу, с руками, связанными за спиной в кистях. Они посинели от холода, но сидели неподвижные, как статуи, и только ворочали глазами. Но когда Котиков, толкнув одного из тирольцев в плечо, захотел поднять их, Рябов испуганно отстранил комендора.

— Легче! — сказал он.— Жизнь надоела, что ли? Они ж минированные.

И, вытащив финку, он осторожно перерезал кончик веревки, уходивший от связанных кистей немцев в горку насыпанного между ними щебня. На недоуменный вопрос Котикова Иван Рябов спокойно объяснил, что для верности он закрепил пленных на мине натяжного действия. Мину эту разведчики обнаружили еще при проходе через линию немецких береговых постов, осторожно извлекли ее, и Рябов «на всякий случай» сунул ее в свою сумку. Оставляя пленных в пещерке, он снова вооружил мину, присыпал ее щебнем и, продев в кольцо запала веревочку, прикрепил ее к связанным рукам тирольцев. Малейшая попытка встать или изменить положение вызвала бы взрыв мины. Тирольцам пришлось провести тридцать мучительных часов без сна и движения, и они совершенно обалдели от страха и усталости.

— Это ж, товарищ старший лейтенант, не парень, а клад. Форменный Эдисон! — с восхищением закончил рассказ Котиков.

Вызванный к командиру обсохший «Эдисон» с достоинством выслушал похвалу Кириллова и снова уселся на свое облюбованное уютное место между глубинными бомбами. И там он еще раз удивил всю команду морского охотника, когда спустя два часа на катер налетело двенадцать вражеских самолетов.

Ветер развел крупную волну, но и разогнал туман. Наступило сумеречное голубоватое северное утро, и в этом рассеянном голубом свете «мессершмитты», рыскавшие над заливом, обнаружили корабль на темной воде.

Началось то, что старший лейтенант Кириллов называл шарманкой.

Гул моторов охотника, вой самолетных моторов, тявканье пушек, раскатистый треск пулеметов и глухие раскаты рвущихся в воде бомб слились в дикое нагромождение шумов. В горячке боя, поминутно меняя курсы и хода катера, выскальзывая из-под визжащих в воздухе бомб, старший лейтенант Кириллов случайно взглянул на корму и увидел Рябова на том же месте, в окружении глубинных бомб. Привалившись спиной к стеллажу, поджав по-турецки ноги, «Эдисон», вскинув в небо верный полуавтомат, спокойно выжидал, когда пикирующий самолет на мгновение как бы остановится в своем бешеном разгоне после сброса бомбы, и в этот миг выпускал по нему всю обойму. Потом хладнокровно вставлял новую и ждал следующего «мессершмитта».

Зрелище было занятное, но старшему лейтенанту некогда было им заниматься, и он опять вспомнил о Рябове, только когда бой кончился, самолеты врага скрылись за облаками, а один, оставляя за собой полоску дыма, низко тянул над водой к берегу. Уже у входа в родную губу Кириллов позвал Рябова на мостик.

— Ну, настрелялся? — спросил он.— Что ж ты, чудак, другого места себе не мог выбрать? Сел между бомбами, как турок на диван, и палит в божий свет. А если б бомбы рванули?

— А зачем им рвать? — с искренним удивлением спросил Рябов.— Ежели они исправные, то им рвать не положено.

— Завидное у тебя хладнокровие, Рябов,— сказал старший лейтенант.

Безмятежные синие глаза смотрели на командира, и Рябов наивно ответил:

— Это с молодости. Папаша всегда говаривал: «Не иначе как мать тебя, Ванька, от Деда Мороза родила. Холодный у тебя характер».

— С молодости? — Кириллов засмеялся.— Да тебе сколько лет, Рябов?

— Двадцать первый лупит,— мрачно ответил Рябов и шумно вздохнул, жалея об утраченной молодости.

— Знаешь, Рябов,— старший лейтенант ласково тронул рукой плечо Рябова,— здорово ты мне понравился. Жаль даже тебя отпускать. Хочешь к нам на катер? Из тебя моряк должен получиться соленый. Если хочешь, мы тебя выцарапаем.

Синие глаза затуманились грустью, Рябов потупился и ответил не сразу:

— Прощения прошу, товарищ старший лейтенант, очень благодарен, только, извиняюсь, не могу я морским человеком стать, ежели я лесной. В лесу ходишь-бродишь, скучно станет — травку сорвешь, понюхаешь или на птичку поглядишь,— все веселей. А у вас на море кругом мокро и боле ничего. Так что не сердитесь.

Когда катер ошвартовался в базу у пирса и пленных вытащили из ахтерпика, Рябов стал прощаться. Он старательно потряс руки всем, начав со старшего лейтенанта Кириллова, а с Котиковым даже расцеловался взасос, приподнял шапчонку и, подтолкнув пленных на трап, сошел вслед за ними с катера.

На горке он обернулся, еще раз помахал шапочкой, и ветер донес на катер его голос:

— Прощевайте, дружки! Может, и встренемся.

И скрылся за поворотом дороги.

Больше моряки его не видали. Верно, воюет Иван Рябов где-нибудь на бережку, ходит-бродит лесом, соскучается — травку понюхает или на птичку глянет и бьет фрицев. А на катере вспоминают его часто и всегда с лаской:

— Рябов?.. Как же... Холодного характера человек... Ничего не скажешь.

Северный флот
1943

БРАТЕЛЬНИК

О брате старшего сержанта Поварских Ефреме взвод знал всю подноготную потому, что сержант любил в часы досуга рассказывать товарищам о своей довоенной жизни и в особенности о своем «старшо́м». Когда Поварских заговаривал о брате, его всегда добродушные маленькие медвежьи глазки начинали сиять особенно ласково, и он никогда не говорил «брат», а всегда называл Ефрема ласкательным именем «брательник».

Красноармейцы знали, что Ефрем Поварских был старше брата Василия на двенадцать лет, что после смерти отца он тянул на своих плечах всю семью, а в ней, кроме Василия, было пятеро девчат, которые — не слишком большая сила в хозяйстве, и Ефрем управлялся по дому вдвоем с матерью, постоянно болевшей печенью, знали, что был Ефрем для младших и отцом, и другом, и рассказчиком всяких страшных и веселых историй и сказок.

— Я вот с обличья вроде как уродина,— говорил сержант, лежа на шинели и смотря своими маленькими глазками в дрожащее пламя походного костра на привале,— нос курнос, глаза из брючных пуговок вклеены, волос нет, сам мал, вроде лесного гриба. А Ефрем у нас красавец был на всю округу. Ростом в строевую сосну, прямой, каждое око с царский пятак, а цвету синего, как море. Кудри у него, как медная проволока, блестели, право слово! Девушки от него дрожмя дрожали. Как взглянет, так и задохнется. Только он скромной жизни был человек,

завсегда перед девицей первым взгляд опустит, застыдится. Зато в лесу, ну, прямо президент был! Лес ему дому ближе был. И каждую травку по имени назовет, и всякий птичий и зверий голос распознает. Леса у нас знаете какие! А Ефрем его проходил, и лес перед ним расступался, потому лес сильного да смелого уважает. Во какой у меня брательник был!

И за долгие месяцы совместных походов и боев товарищи старшего сержанта Василия Поварских узнали всю подноготную о брательнике Ефреме. И узнали про горе и тоску Василия по брательнике, которого он потерял из виду с начала войны.

Отслужив во флоте свой срок, Ефрем вернулся в родные места, когда Василию исполнилось пятнадцать лет и он стал на смену брату главным работником семьи.

Старшая сестра Клаша, которая была пятью годами моложе Ефрема, к этому времени ушла вить новое гнездо с мужем. В доме осталась уже совсем ослабевшая мать и младшие сестры — Паша, Даша, Нюша и Тоша, с которыми Василий уже разговаривал степенным басом, как глава семьи. Но с возвращением Ефрема он сдал старшому домашнюю власть и снова обратился в неуклюжего вихрастого подростка. И с той поры еще больше полюбил и зауважал Ефрема.

От Ефрема в эту пору Василий узнал больше чудесных вещей о жизни, чем в школе. Везде побывал Ефрем: и на кораблях, и в театрах, и в музеях, и даже жил на отдыхе в чудном доме на берегу теплого моря, где шумели под влажным и горячим ветром пальмы, которые Василий видел только на картинке и в учебнике географии. И каких только людей не видел Ефрем за время своей службы! И даже в Кремле был, и жал ему руку сам Михаил Иваныч, передавая орден Красной Звезды, данный Ефрему за мужество и находчивость во время аварии подводной лодки, на которой отбывал службу Ефрем на Балтике. И когда Василий кончил сельскую семилетку, отправил его Ефрем в агрономический техникум, сказав, что нужно учиться, потому что ученому человеку везде дорога и почет.

— Благодетель мне был брательник,— говорил Василий,— я через него в жизнь проник.

А с начала войны разлучились братья, и так разлучились, что пролегла между ними черная неизвестность. Уехал Ефрем на свою морскую службу, а Василий ушел

в пехоту, и второй год брат ничего не знал о брате. Прислал Ефрем два письма домой, а после как оборвало, и не было больше никаких вестей.

— Тоскливо мне без брательника, ребятки. Вот как тоскливо, точно половину от меня оторвали. Только знаю, что мы обязательно встретимся. Где уж — не знаю, а встретимся, потому что не может быть, чтобы нам навек разлучиться.

И всем существом протестовал старший сержант Василий Поварских против предположений товарищей о возможной гибели брата в бою.

— Нет, нет. И не говорите такого! Не случиться этому. Не таковский Ефрем, чтобы от гнилого ганса помереть. Перед ним пуля остановится, снаряд не разорвется, потому что он горячее жизни и сердце у него могучее. Живой он, знаю. И встретимся. Усмехнется он мне, вынет из кармашка батины часы и скажет: «Ну вот, Васек, в тринадцать ноль-ноль и обнаружился ты». Любил он, Ефрем, каждое счастливое событие по часам примечать.

И так сильна и полнокровна была любовь Василия Поварских к брату, что весь взвод поддался ей и заглазно полюбил не виденного никем из красноармейцев брательника.

В конце апреля полк перебросился в далекий снежный город Мурманск. Из Мурманска полк частями вывезли на фронт. На другом берегу реки сидели враги. От сменяемых красноармейцев бойцы узнали, что там сидят тирольские егеря генерала Дитла, откормленные краснорожие парни из Австрии, прекрасные лыжники и неплохие стрелки. Здесь все было сурово и дико, и природа была бедная и грозная. Снег лежал еще сплошными тяжелыми пластами, и по ночам камни потрескивали от мороза. Кругом не было ни тесины, ни лесины, один блеклый олений мох ягель, бледно-зелеными вырезными лепестками липнущий к оголенным гранитам. Нечем было даже истопить печку в землянке и обогреться. Да и землянки были не в земле, потому что земли тут не было — одна сплошная скала. Землянки стояли сверху на скале, сложенные из обломков гранита, с огромными щелями, насквозь продуваемые острыми ветрами.

Но была в этом угрюмом и нищенском краю своя, особенная, строгая красота, оправленная в матовый беспокойный свет полярной ночи, похожей на неяркий день. И ночи эти полюбились Василию Поварских потому, что

напоминали ему рассказы брательника о белых ночах на Балтике.

На линии фронта было затишье. Давнее затишье, установленное с тех пор, как подбиравшиеся к Мурманску немцы были стремительно отброшены яростным ударом армейских частей и морской пехоты к реке. Обе стороны время от времени пытались прощупать друг у друга слабые места, засылая в тылы маленькие группы, которые нападали на обозы, рвали склады с боеприпасами, старались захватить «языка». И на вторую неделю сидения в окопах старший сержант Василий Поварских получил приказание командира батальона отобрать пятнадцать лучших лыжников и стрелков и прогуляться по владениям генерала Дитла.

Группа разведчиков переправилась по камням через реку туманной весенней ночью, когда все утонуло в молочной мгле. Расчистив минное поле, разведчики благополучно прошли сквозь вражескую линию и отправились на прогулку. К полудню туман разогнало, и они до ночи просидели в узкой лощинке между скалами, тщательно наблюдая движение по тропкам, проложенным немцами от тылов к пехотным позициям. Они ждали ночи. Не потому, что ночь принесла бы спасительную и удобную для разведчиков темноту, которой не могло быть в это время немеркнущего света, а потому, что немцы здесь, за линией своего расположения, ночью должны были спать, а разведчиков должна была укрыть не ночь, а туман, который всегда в весеннюю пору оседает на короткий срок у вершин сопок.

Наблюдая в бинокль, данный ему командиром батальона, Василий Поварских приметил в недалеком расстоянии фанерный барак, к которому весь день подъезжали порожние сани в оленьих упряжках и уезжали груженные ящиками. Это явно указывало на наличие склада боеприпасов. И чуть поодаль барака приметен был небольшой снежный горбик, из вершины которого вытекала в небо тонкая струйка дыма. Значит, там была землянка, а в ней, вероятно, ютился караул, охраняющий склад. Этой землянкой и решил заняться ночью Василий Поварских.

И когда первые голубоватые волокна тумана зазмеились, цепляясь за камни на сопках, разведчики тронулись к землянке. Они переползали от ямки к ямке, из-за камня к камню, сами серые и мшистые, как камни, в

маскхалатах, обшитых мохом. Они медленно и неуклонно окружали землянку. И когда их кольцо сомкнулось вокруг нее, Василий Поварских сквозь туманную муть различил смутную фигуру часового, стоящего у входа. Он тронул за плечо Акакия Пагаву, бойца-свана с далекого Кавказа, природного горца, бесподобного ползуна по скалам, и молча указал ему на неподвижный силуэт врага. Пагава только сверкнул в улыбке белыми зубами под узкими темными усиками и обнажил лезвие финки. Потом он вьюном пополз между камнями. Василий Поварских увидел, как рядом с тенью часового, как по волшебству, выросла вторая тень. Короткий и глухой хрип сказал ему, что Пагава выполнил свое дело. Тогда тихим свистом птицы старший сержант бросил своих разведчиков вперед, и они броском ворвались в узкую дверь землянки.

Василий подошел к двери. Оттуда с поднятыми руками, ошалелые, ворочая еще не проспанными глазами, вылезли один за другим пять тирольцев, один другого здоровее и краснорожее. На их лицах даже не было испуга. Они не успели испугаться. Они были растеряны и оглушены неожиданностью налета.

Старший сержант Поварских угрюмо поглядел на пленных и досадливо поморщился. Это была слишком большая и даже ненужная удача. По приказу командира батальона нужно было добыть одного «языка». Вести нескольких пленных обратно через вражеские линии было невозможно. Придется отобрать одного, а четверых... Черт с ними! Нужно будет связать и оставить их тут же, в землянке. Когда взлетит на воздух склад боеприпасов, их расстреляют свои же за то, что проморгали налет советских разведчиков.

Поварских посмотрел на землянку, из которой слышались глухие голоса копающихся там в поисках оружия и документов разведчиков. Из снегового бугорка над землянкой по-прежнему тянулась струйка дыма, и из отверстия входа несло теплом и рыбным запахом. Немцы топили свои землянки тресковым жиром, реквизируемым у финских и норвежских рыбаков. Сержанта потянуло к теплу. Двухнедельное сидение в промерзлых окопах окостенило тело, и ему захотелось хоть две минутки погреться у печки. Он шагнул к входу, но навстречу ему выполз один из ворвавшихся внутрь разведчиков — ярославский комсомолец из резинокомбината, затейник и плясун

Бобышов. В скрещенных на груди руках он держал несколько автоматов и сумок, но не они привлекли внимание сержанта, а странно измененное, бледное и словно слинялое лицо Бобышова.

— Ты что, Бобышов, никак, ранен? — шепотом спросил Поварских.

Бобышов поднял на сержанта глубоко запавшие в орбиты глаза и отрицательно мотнул головой.

— Не, товарищ старший сержант, даже не зацепленный. Они ж и рук не успели выпростать. Но вы только гляньте, в чем они, сволочи, каиновы души, жили? Рвать их в клоки и то мало,— сказал Бобышов, и щеку его передернула судорога омерзения и ненависти.

— Как, в чем жили? Не пойму что-то, говори яснее,— спросил Василий.

— Так они ж землянку из чего сложили?.. Из людей! Тут, когда в прошлом годе бои шли, ребята, которых мы сменяли, про это рассказывали, наши на этот берег прорвались, а после пришлось отойти... И много тут наших убитых осталось... Так они из мертвых стенки клали.

Василий Поварских потемнел и, молча отстранив Бобышова, спустился в землянку. При тусклом свете электрического фонарика, бросавшего фантастические тени, он увидел трупы, положенные друг на друга, как бревна. Они были страшны, бескровные, промороженные, в изорванных одеждах, сквозь которые светились восковые тела в темных пятнах. Торчали пятки голых ног, головы с провалившимися глазами. На одежде и волосах серебрился легкий налет инея. В землянке стоял чуть заметный горьковатый трупный запах, и Василий Поварских задрожал всем телом, ощутив тяжелый позыв тошноты. Погасив фонарик и закрыв глаза, он опрометью рванулся из землянки на воздух и несколько раз широко вдохнул мокрый чистый ветер, шедший с моря.

Разведчики молча глядели на него. Поварских опомнился.

— Пятеро к складу! Подготовить к взрыву! — приказал он и после паузы сказал другим, не командирским, а дрогнувшим голосом: — А мы, ребята, разберем... это. Надо похоронить по-честному. Свои ведь.

Он понимал, что это задержка, которая может оказаться роковой для его отряда и его самого, но все его существо протестовало против того, чтобы оставить эту

жуткую постройку, чтобы сюда пришли новые немцы и жили здесь, защищаемые от холода телами русских бойцов. И разведчики тоже поняли это и думали так же, как старший сержант. Они молча и зло взялись за работу. Они торопливо снимали труп за трупом, отрывая промерзшие тела одно от другого. Яма нашлась рядом с землянкой, и они складывали трупы туда, голова к голове. И когда они несли от землянки к яме один труп, твердый, как дерево, и тяжелый, Акакий Пагава увидел, что из брюк его, болтаясь на кожаном ремешке, свешиваются старые большие часы вороненой стали. Положив труп в яму, Акакий вернулся к землянке и сказал Василию Поварских, протягивая часы:

— Часы нашел, товарищ старший сержант. Взять надо, может, можно починить, кому-нибудь пригодятся.

Василий машинально вынул из ладони Пагавы часы и хотел уже положить их в карман шинели, но, взглянув на обтертую крышку, шатнулся, как от удара, и вдруг, рывком схватив за плечо ошеломленного Акакия, поволок его к яме.

— Где?.. Который?! Показывай! — почти в голос, хрипло и страшно твердил он, сдавливая плечо Пагавы.

И разведчик показал ему тело. Василий Поварских опустился на колени, и разведчики увидели, как старший сержант бережно и осторожно, сняв варежку, провел рукой по заиндевевшему лицу покойника, как нагнулся вплотную и задышал на слипшиеся и покрытые налетом инея волосы. Иней стаивал под дыханием, и из-под него проступали бронзово поблескивающие завитки, и тогда все разведчики как будто услышали голос своего старшего сержанта: «Кудри у него, как медная проволока, блестели, право слово!»

И они увидели, как Василий Поварских посмотрел на зажатые в руке батины часы и тихо сказал:

— Вот и обнаружился ты, Фрема, в двадцать два — тридцать восемь. Вот когда был твой смертный час, а я и не ведал. Думал, обязательно живым встретишься.

Потом Василий Поварских опустил часы в карман шинели, снова нагнулся над трупом и несколько раз поцеловал его в тугообтянутые над выступившими зубами синие, надтреснутые губы. И еще тише сказал с непередаваемой нежностью и тоской:

— Брательник ты мой! Друг родной, прощай!

Поднялся, провел рукавом шинели по глазам и опять прежним голосом старшего сержанта Поварских произнес коротко:

— Кончайте! Время в обрез!

Все тела были уложены в ряд, и разведчики быстро засыпали их мелкими валунами и щебнем и прикрыли мхом. На месте страшной землянки осталась развороченная яма, у которой стояли пленные под охраной двух разведчиков. Тяжким и грузным шагом подошел к ним, рослым и откормленным, маленький, медвежатый старший сержант Поварских. И по мере того как он подходил, на лицах тирольцев проступал тот испуг, который не успел возникнуть в мгновение захвата. Они испугались глаз старшего сержанта, которые втыкались в их лица медленно и неумолимо, как неторопливо забиваемый в гроб гвоздь.

— Этого взять с собой! — резко сказал Поварских, ткнув в грудь самого старшего по виду тирольца. И отвернулся от пленных.

— А этих? — спросил Акакий Пагава.

Ответ старшего сержанта разведчик услышал глухо, как из подушки.

— А этих? Связать и оставить здесь!

Когда тени разведчиков уплыли в туман, Василий Поварских, стоявший у склада, повернулся по направлению к яме, где остался его брательник. Он снял свою меховую шапку и молча низко поклонился уже невидимой боевой могиле брата и неизвестных товарищей. Потом чиркнул спичку, нагнулся, поджег бикфордов шнур и быстрым и легким шагом ушел в молочную муть тумана догонять бойцов.

<1943>

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ

Встреча произошла в шесть с минутами, туманным и тихим весенним утром. Морской охотник уже с полуночи утюжил море экономическим ходом под двумя моторами, неся охрану заданного квадрата. Волокна тумана, то густого и плотного, то редеющего и вьющегося седыми прядями над темной, мягко шипящей за бортом водой, обволакивали корабль, оседая мелкой холодной капелью на палубе, на крышках люков, стволах орудий, на поручнях мостика.

Моторы гудели мерно и неторопливо, и торопливо убегала за корму пена на отваливаемых форштевнем волнах.

Воздух был напоен промозглой сыростью, которая заползала во все щелочки мехового комбинезона, заставляя тело непроизвольно вздрагивать, и лейтенант Иванов подумал, что было бы неплохо спуститься на мгновение в крошечную кают-компанию и опрокинуть хорошую кружку дымящегося наваристого чая, который, наверное, уже заварил на заслуженном примусе вестовой, он же подносчик кормовой пушки, Гамалей.

Дума о чае была так соблазнительна, что лейтенант уже решился вызвать из рубки помощника на мостик, на те пять минут, пока командир будет согревать продрогшее тело. Но он не успел привести в исполнение это намерение. Ему помешал неожиданный и нервный возглас сигнальщика:

— Слева, курсовой сорок... рубка подлодки!

Катер выскочил в это мгновение в полосу разреженного тумана, и морская поверхность, темно-серая, раскачиваемая гладкой пологой зыбью, просматривалась кабельтовых на три.

Командир стремительно повернулся в указанном направлении, одновременно вскинув к глазам бинокль. Сквозь серебристую муть он увидел характерный, смазанный туманными волокнами очерк рубки. Вернее, он не столько увидел, сколько угадал его внутренним зрением. Но, несомненно, лодка была там, где ее обнаружили ястребиные глаза краснофлотца Богданова.

Рассказ о том, что произошло дальше, поневоле будет длительным, хотя на деле все происшедшее уложилось в какие-то секунды, наполненные огромным и стремительным напряжением ума, воли и нервов.

Силуэт рубки в тумане был настолько неопределенным, что угадать — своя ли это лодка или вражеская, командир катера не мог. Атака могла быть предпринята только при полной уверенности в принадлежности лодки врагу, уверенности, не оставляющей места никакому, самому малейшему сомнению. Но этой уверенности у командира катера как раз не было. В тумане все подлодки так же похожи, как кошки ночью все серы. Лейтенант Иванов видел только абрис рубки и не различил никаких деталей, позволяющих заключить о ее принадлежности.

Пока рулевой по мгновенному приказанию лейтенанта приводил катер на новый курс для сближения с лодкой, лейтенант не отрывался от бинокля, мучительно досадуя, что нельзя пробить оптикой в серой туманной мути такой туннель, который позволил бы ясно увидеть проклятую рубку. Теперь она почти скрылась во вновь наплывшей пелене мути, и были основания опасаться, что она совсем исчезнет из глаз. Но едва лейтенант успел подумать об этом, как катер снова вырвался в полосу лучшей видимости, и рубка опять мелькнула в стеклах бинокля, чуть серее окружающего ее влажного воздуха, такая же расплывчатая и неузнаваемая. Но теперь она показалась командиру более приземистой, чем при первом взгляде, и он подумал, что лодка тоже могла заметить катер и начать погружение, также сомневаясь во встреченном катере. Но если лодка своя, то ее командиру не было причин чересчур торопиться с уходом под воду. Но,

с другой стороны, если командиру катера было позволительно заподозрить дерзкое появление в такой близости к базе вражеской лодки, воспользовавшейся туманом, то и командиру лодки не возбраняется предположить возможность прорыва в этот квадрат чужого катера, и он, на равных с лейтенантом Ивановым основаниях, мог опасаться нежданной встречи.

Принять решение на глаз, доверяясь своим побуждениям и думам, было рискованно. Оставалось еще одно средство.

· — Опознавательные! — крикнул лейтенант, ощущая во всем теле противную, сотрясающую дрожь от сырости и волнения, продолжая ввинчиваться взглядом сквозь призмы бинокля в белесую мглу, которую он ненавидел в эту минуту всем существом.

Над ухом у него глухо ударил ракетный пистолет, и ракеты, оставляя белые хвосты, понеслись к лодке и вспыхнули там, почти над самой рубкой, как показалось командиру катера, цветными звездами. Теперь с лодки должен был последовать ответ. Не видеть ракет там не могли. Лейтенант Иванов в момент вспышки второй ракеты уловил на влажном боку чуть видимой рубки мгновенный зеленый блик,— значит, ракета разорвалась очень близко.

Но ответа не было.

Лейтенант опустил бинокль. Сердце у него забилось необыкновенно гулко и быстро, и лейтенант ясно слышал его, оно подавляло даже рев всех трех моторов катера, переключенных на полный ход. Во рту сразу стало сухо и свело челюсти. Он оглянулся и посмотрел вниз, туда, где у пулемета правого борта стоял самый верный и надежный человек, безотказный друг и правая рука командира, боцман катера Светлоусов. И лейтенант увидел поднятое к мостику, покрытое капельками воды лицо боцмана с подстриженными, черными, как два мазка смолы, усиками, противоречившими фамилии. Боцман смотрел на командира пристально и серьезно, как будто говоря без слов о чем-то неизмеримо важном и единственно нужном в эту минуту.

Ни командир, ни боцман не произнесли ни одного слова. Это был мгновенный и решающий разговор глазами. Глаза лейтенанта Иванова напрямик спросили: «Как думаешь, Светлоусов, можно?» И, согретые тем же волнением, которое пронизывало командира, глаза Светлоусова

ясно ответили: «Кройте, товарищ лейтенант, отвечать вместе будем».

И оба чуть заметно улыбнулись друг другу.

Лейтенант Иванов повернулся и еще раз вскинул бинокль. Теперь уже не было сомнения — рубка уходила под воду. Он различил белую пену всплеска волны, ударившей в борт рубки, и в то же мгновение подал нужные команды.

Оставив пулемет, Светлоусов помчался на корму к глубинным бомбам, и Иванов увидел его согнутую ладную фигуру в бушлате, озаренную желтой вспышкой кормового орудия. Грохоча залпами, катер летел прямо на то место, где только что была рубка и где теперь шипел пеной маленький водоворот. Катер пронесся по нему, и сейчас же за кормой три раза глухо ухнуло, как из бочки, и лейтенант увидел знакомые кудрявые фонтаны поднятой глубинными бомбами воды. В лицо ему ударило тугой и плотной волной взбудораженного воздуха. Орудия еще грохотали. Увлекшиеся комендоры засыпали снарядами воду на месте погружения лодки, и лейтенант скомандовал прекращение огня, чтобы прекратить разброс боезапаса.

Катер повернул и еще раз промчался над лодкой. На воде не было никаких обломков, но плотная, отливающая павлиньим пером пленка соляра, все густея, растекалась по поверхности. Лейтенант посмотрел на нее и вдруг почувствовал, что ему стало жарко. Белье под комбинезоном прилипло к телу, и, когда он снял шапку, соленая капля пота со лба затекла в глаз, и лейтенант заморгал, задергав головой.

По возвращении в базу он, не переодеваясь, направился к командиру дивизиона и, стараясь говорить неторопливо и спокойно, что стоило ему огромных усилий, доложил о своей атаке.

Командир дивизиона выслушал доклад, постукивая ногтем указательного пальца по портсигару, лежащему на краю стола, и это ритмичное постукивание страшно мешало лейтенанту сосредоточиться и связно излагать мысли. Потом он поднял на лейтенанта прозрачные серые глаза и коротко спросил:

— Уверены, что лодка чужая?

Не опуская головы, выдержав большим напряжением воли этот испытующий взгляд, командир катера ответил:

— Полной уверенности не имею, товарищ капитан второго ранга. Лодка не ответила на опознавательные и погрузилась с излишней, на мой взгляд, поспешностью. Считал, что при таких обстоятельствах имел основания и даже был обязан атаковать.

Командир дивизиона снял портсигар со стола и положил в карман, и лейтенанту показалось, что он сам лежит в этом портсигаре, придавленный крышками.

— Хорошо!.. Решение смелое, и атака проведена толково. А результата подождем. В море три лодки. Запросим и будем ждать.

— Чего ждать, товарищ капитан второго ранга? — спросил лейтенант, трудно ворочая языком, и командир дивизиона, заметив это, усмехнулся.

— Чего... чего,— произнес он, покачивая головой.— Идите отсыпаться... кавалерист,— добавил он шутливо, чтобы ободрить Иванова.

Вечером стало известно, что из находящихся в море лодок две дали знать о себе и только от «малютки», которая должна была вернуться с часу на час, нет никаких известий. Когда лейтенант Иванов услышал это от начальника штаба, мир померк для него.

Вся его жизнь, все интересы, надежды и ожидания сосредоточились теперь на маленьком подводном корабле, не подающем признаков жизни. После ужина лейтенант убежал на катер, забился в свою крохотную командирскую каюту, лег, скрючившись, на диванчик, на котором нельзя было вытянуться даже человеку среднего роста, уткнул голову в подушку и, не переставая, думал о молчащей «малютке».

В его памяти всплывали лица ее командира и отдельных людей, которых ему приходилось встречать. Он думал о них и о себе и в бессчетный раз спрашивал сам себя: правильно ли он поступил? Моментами он начинал сомневаться в этом, но потом на него накатывала упрямая волна и он твердил в подушку: «Правильно! Правильно! Рисковал, в морской службе нельзя без риска». И в эти мгновения он начинал ненавидеть «малютку» и ее командира, который не мог дать катеру ясно убедиться в принадлежности лодки и вынудил его на эту атаку. Но потом он начинал ненавидеть самого себя.

Он не ответил на стук в дверь и на оклик приятеля, командира такого же катера, пришедшего звать его

в Дом флота на просмотр фильма, о котором он много слышал и который стремился посмотреть. Ему казалось, что приятель пришел совсем не затем, чтобы вытащить его в кино, а чтобы посмеяться над ним и его бедой. Он не открыл дверь и Светлоусову, настойчиво предлагавшему командиру закусить свежеподжаренным морским окунем и выпить чайку. Он даже резко огрызнулся на приглашение боцмана и, еще глубже зарывая лицо в подушку, вспоминал все свои промахи за время службы на катере, и ему казалось, что Светлоусов разговаривает сейчас в кубрике с краснофлотцами и ехидно подмигивает на корму, где в тесной коробке каюты мучается командир: дескать, могло ли получиться что-нибудь путное из такого растяпы, который смог однажды даже спутать маячные огни.

Лейтенант скрипел зубами и ругался. Потом из душной темноты выплывали очень знакомые синие глаза, несомненно принадлежащие Ларисе. Но и эти глаза, которые всегда находили для него ласку, смотрели теперь презрительно и строго, словно Лариса говорила: «Эх ты, моряк, обещал, что вернешься героем, а вместо немца потопил товарища, и теперь мне на всю жизнь позор, что полюбила такого дурака».

В плену этих беспощадных видений лейтенант провертелся всю ночь без сна. К утру он почувствовал себя совершенно разбитым и уничтоженным, окончательно уверовав в свою преступную ошибку. Он несомненно потопил «малютку», иначе ему бы уже прибежали сообщить о ее благополучном возвращении. Он сел на диване, стиснув ладонями виски, и замычал. И вдруг в этот миг полного отчаяния и безнадежности сквозь тонкий деревянный борт до его слуха долетел снаружи звонкий раскат орудийного выстрела.

Он сам не понял, как он очутился на палубе, в одной рубашке, под удивленными взглядами Светлоусова и вахтенного краснофлотца, ошалевших от такого нарушения всех святых законов верхней палубы самим командиром. Он даже не видел боцмана. Он смотрел расширенными счастливыми глазами на четкий силуэт «малютки», режущей гладкое зеркало рейда, направляясь к пирсу.

В золотистом свете начинающегося дня лодка шла домой, известив выстрелом об очередной победе. Лейтенант Иванов видел приземистую фигуру командира на

мостике и краснофлотцев, прочищающих пушку. И лодка показалась ему необыкновенно прекрасной. Ее темно-зеленый корпус как будто излучал успокоительный свет.

У лейтенанта задрожали и подогнулись в коленях ноги. Он с трудом справился с нахлынувшей слабостью, поднял голову, встретил беспокойный и дружелюбный взгляд Светлоусова и, раздвинув губы неловкой улыбкой, сказал, стараясь говорить совершенно спокойно и весело:

— Все в порядке, боцман! Расстарайтесь горячего чайку и похарчить посущественней.

<1943>

ФОРТ ДВОИХ

Звонок дребезжал на всю квартиру, настойчивый, резкий, требовательный. Соловцов открыл глаза, прислушался и зажег электрический фонарик, добытый из-под подушки. Белый кружок света упал на стул, осветил часы. Стрелки показывали шесть тридцать шесть. А звонок дребезжал.

«Кого принесло в такую рань?» — досадливо подумал Соловцов. Звонок рассердил его. Накануне он вернулся с совещания в артиллерийском управлении около двух ночи, выпил дома стакан крепкого кофе и от этого смог уснуть только в четыре. А звонок разбил и этот короткий отдых.

Соловцов вышел в переднюю и, повернув головку американского замка, рывком распахнул дверь с намерением встретить неизвестного посетителя не слишком гостеприимно. Но в тусклом рассветном сумраке лестничной клетки блеснули погоны на пальто, эмблема на фуражке, и в следующее мгновение Соловцов узнал знакомое, улыбающееся лицо младшего брата, капитан-лейтенанта, черноморца.

От неожиданности он отступил в глубь квартиры:

— Миша!.. Каким ветром?

Брат вошел за ним в переднюю и, также улыбаясь, ответил:

— Самым чудесным! Победным ветром. Прямо из Новороссийска!

— Да ну! Вот не ожидал! — сказал Соловцов и обнял брата: — А я хотел ругаться. Думаю: какой черт трезвонит на заре — почтальон или управдом? Ну, раздевайся. Будем закусывать. Нина еще на даче, я сам хозяйничаю. Так что не взыщи за сервировку... Иди мыться!

Спустя полчаса капитан-лейтенант явился в столовую из ванной, вымытый, выбритый, розовый, дышащий здоровьем и морской свежестью, которую он словно внес с собой в квартиру брата. Старший хлопотал у стола, нарезая тонкими ломтиками сыр.

— Усаживайся, Мишука, рассказывай,— пригласил он брата, но младший не последовал приглашению.

— Погоди, товарищ капитан второго ранга. Сейчас положу тебе на стол угощение.

Он вышел и вскоре вернулся с небольшим чемоданом, который поставил на стол. Открыв его, он вынул оттуда лубяной короб и торжественно водрузил его на скатерть.

— Это, брат, наслаждение,— сказал он на вопросительный взгляд старшего брата,— виноград «девичьи пальчики». Отборный! Сам перекладывал опилками. Вызывай срочно Нину с дачи, а то больше двух суток не продержится.

Он взялся за перетягивающий коробок шкертик, чтобы развязать его, но в то время за его спиной оставленный на стуле чемодан неожиданно перевернулся и полетел на пол, из него выпал тяжелый предмет, завернутый в газетную бумагу, с грохотом подпрыгнул на желтом глянце паркета, газета развернулась, и старший Соловцов с удивлением увидел на полу какой-то темный бесформенный ком.

— А это ты что же приволок? — спросил он, вглядываясь.— Тоже угощение?

Но, взглянув на брата, он удивился. Капитан-лейтенант бережно поднял с паркета странный комок и держал его перед собой так, словно боялся уронить вторично и словно этот ком был хрупкой и драгоценной вещью. С молодого лица младшего Соловцова сошла веселость, брови сдвинулись, и серые глаза моряка стали строгими. Он осторожно положил ком на край скатерти.

Теперь старший Соловцов отчетливо видел этот непонятный предмет. Он был бесформенным, весь в каких-то шишках, словно он кипел изнутри, и это кипение выдавило на его поверхность пузыри, какие бывают в лаве.

Цвет его был темно-коричневый, местами почти черный, и по нему шли неправильные желтоватые прожилки.

— Руда какая-то или доменный шлак? — с недоумением спросил старший брат.— Что это тебе пришло в голову таскать в чемодане отходы металлургии?

Капитан-лейтенант положил кисть правой руки на ком и после паузы ответил тихо и серьезно:

— Это драгоценность, которую я не отдам за все сокровища мира. Такой ни у кого нет. Она может быть только у нас, только у нашего народа, у нашей земли.

— Что-то загадочно,— пожал плечами старший брат,— садись лучше за кофе и насыщайся. А попутно можешь рассказать, что это за редкость. За едой и говорить способней.

Он подвинул брату стакан и молочник. Капитан-лейтенант сел и, не отнимая руки от темного пузырчатого слитка, медленно сказал:

— Это такая история, что по-настоящему рассказать о ней может только большой поэт.

— Да что же это за штука, наконец? — уже почти раздраженно спросил заинтригованный старший.

— Ладно! Я тебе расскажу все по порядку, а потом уже объясню, что это за штука, как ты говоришь. А это не штука, а святыня. Да!..

Младший Соловцов отхлебнул кофе, поставил стакан и, смотря в окно, на городские крыши, начал рассказ:

— Ты знаешь ведь, что атаку на Новороссийск мы вели одновременно с моря и с суши. С моря ночью ворвались наши катера под командой Батылева и Сипягина, прорвали боновое заграждение, влетели в самую пасть врагу, в Цемесскую бухту. Торпедники разнесли торпедными залпами огневые точки немцев в гавани, десантные отряды рванули на берег, а с суши от цементных заводов ударила наша морская пехота и части Северо-Кавказской армии. Драка была свирепая, особенно в районе порта. И вот тут, где начинается спуск от цементных заводов к бывшему клубу моряка и к пирсам, и случилось то, что я хочу тебе рассказать. Гансы сопротивлялись тут, как затравленные волки, до последнего зуба. Понимали, что бежать некуда, а пощады им за то, что они творили в Новороссийске, все равно не будет. Так что им оставался один исход — амба при всех обстоятельствах. Ну, и лезли как оголтелые — терять все равно нечего. И вот вышло так, что в одном месте, подбросив

последние свои резервы из эсэсовцев, они порядочно оттеснили нас и стали вклиниваться в стык между морской пехотой и армейцами. Вклиниваются и расширяют клин. А это нам ни к чему. Это портит весь план операции и график срывает. Но что поделаешь? Почувствовали они, что наша линия немного прогибаться стала и подбрасывают все новых и новых головорезов. А мы подкинуть не можем пока: части на всех участках своим делом заняты. Сдерживают наши изо всех сил их напор, цепляются за каждый камушек, за каждый кнехт, но все же понемногу отползают. А там по всей территории рассыпан цемент из разбитых бочек. Знаешь, мелкий такой, как зубной порошок. Да что тебе рассказывать,— лучший портлан, на весь мир славен. Местами столько его насыпано, что ноги уходят, как в пудру. И посреди этого сухого снега лежат кое-где бетонные блоки. Ну такие, как для канализации отливали, секторами. Диаметр трубы метра два с половиной, а стенки толщиной сантиметров на пятьдесят. Валяются они повсюду, какой боком, какой на попа стоит. И наши за ними кроются, гансов колотят, и гансы их пользуют. И вот в одном, самом рискованном месте, где немцы уже здорово к нам вгрызлись и грозили совсем откинуть назад, сошлись у такого блока двое. Один наш, старший краснофлотец из морской пехоты, с самой зауряд-русской фамилией — Попов, а другой — ефрейтор стрелкового полка, тоже не ахти из каких иностранцев — Иваницкий. Сошлись ребята, поглядели друг на друга в глаза и с первого взгляда поняли, что подходящие. И сказал краснофлотец Попов товарищу: «Как думаешь, годок, не придержать ли нам тут этих вшивцев?» А красноармеец Иваницкий мотнул головой: «А чего ж не придержать? Нас двое, значит, круговую оборону вполне устроить можно, да и место, похоже, подходящее — неприступный форт». И показал на ближайший блок, который лежал рядом, как бетонная кастрюля, на плиту поставленная. Оружия у них было — два автомата, «Дегтярев», пять дисков к нему да по шести гранат на брата. Посчитали они это вооружение и полезли внутрь кастрюли. Форт действительно неприступный. Такую трубу не то что пули,— тридцатисемимиллиметровой не берет, только щербинки оставляет. Влезли они, а внутри цементная пыль по колени. Чуть повернешься, она как туман подымается, в горло, в нос лезет, кашлять и чихать заставляет. Но зато мягко, как на пуховке. Осмот-

релись, еще раз в глаза друг другу посмотрели, опять друг друга поняли, потому что Иваницкий сказал не спеша: «Что ж, ясно, что насмерть, а никак иначе». И начали они свой последний, великий бой.

— Пей кофе, остынет,— перебил старший Соловцов.

— Потом выпью, не мешай,— почти сердито сказал капитан-лейтенант и погладил пальцами пузырчатый ком на скатерти.

— Начали, говорю, бой. Немцы лезут как проклятые, а из блока навстречу — тук-тук... очереди. Хорошие стрелки оказались оба. Как только немцы попробуют подняться и жизнь показать, так им из блока обратно смерть показывают. Уже потом, после боя, когда подсчитали дохлых гансов вокруг того блока, так сперва не верилось даже, что два человека могли столько нащелкать. Но факт фактом, подобрали там не много не мало шестьдесят два трупа. Раз десять немцы пытались в заколдованном месте продвинуться — ничего не выходило. Просто как волна в берег. Ударят массой, а назад уползают одиночки, на брызги рассыпаются. Однако и наших обоих уже по три зацепило, но они свое делают. Видят немцы — не выходит напрямик. Задумали их гранатами выкурить. Нашли, видимо, у себя знаменитость по киданию гранат, посадили эту знаменитость за угол разбитого пакгауза, обложили его гранатами, и он давай кидать. Вскочит на миг, кинет и снова на стенку. И надо сказать — не плохо кидал. Из пяти четыре обязательно внутрь кастрюли. Но гранаты у них эти с длинными ручками, паршивенькие, к тому ж еще на долгое время рассчитаны. А от стенки до блока всего шагов двадцать. Наши и поделили работу. Попов гранату на лету лопаткой отбивает, а Иваницкий все норовит знаменитость стукнуть. Одна граната все-таки на самой стенке блока, на гребне рванула. Оглушила друзей, поцарапала, но терпеть можно. Только пуще это озлило. И на третьей после этого случая гранате сгорела гансова знаменитость. Только нос из-за стенки высунулся как по ней оба ударили. В самый лоб угодили — мы потом этого ганса видели. Аккуратно, над переносицей вошла — в затылок вылетела. Даже гранату не успел бросить как следует. Вырвалась у него из рук и легла на полдороге. И опять немцам туго, никак подступиться не могут. Пробовали бочком сползти, но там тесно, пришлось им сбиться кучкой в проходе, а Попов их нашей «фенькой» прикрыл. А это

не чета немецким трещалкам. Как рванула, так всех и успокоила. Опять отхлынули и застыли, только от досады издали по блоку постреливают. Но от этого форту даже царапин нет. И друзьям небольшой отдых вышел. Утерли с лиц белесый от цементной пыли пот, наскоро друг другу перебинтовали те царапины, что поглубже и беспокойней, переглянулись. Иваницкий сказал: «А может, и остановимся, дружок, пока наши с силами соберутся». Тогда Попов рассердился: «А ты об этом не думай. Раз решили насмерть, так нечего про жизнь загадывать, пускай она сама про нас загадывает. Если мы еще родной земле нужные наперед, так она нам пропасть не даст. А если нам такая судьба положена, чтоб лечь тут для всенародной пользы, так не стоит себя пустой надеждой расстраивать». Вздохнули оба, сжевали по ломтю хлеба с колбасой, и опять бой повели, потому что немцы снова зашевелились. Слышно из блока, как они у себя что-то заорали и вдруг радостными голосами. Похоже, что придумали какую новую затею, и Попов Иваницкого в бок подтолкнул: «Гляди вовсю, слышишь: веселятся. Значит, жди пакости». И в самом деле — видят, что немцы за пакгаузами на руках пушку волокут. А уже второй час пошел, как они вдвоем круговую оборону в своем блоке держат. Время подмоге прийти, еще самую малость нужно продержаться. Однако видно Попову, что пушку тащат не мелкого калибра, а минимум сто двадцати. Поглядел он на стенки своей крепости и сообразил, что такого удара им, пожалуй, не выдержать. Тронул Иваницкого за плечо, тот обернулся. Попов протянул ему руку: «Тиснемся, годок, на прощанье. Забыл я спросить сперва, как тебя звать, а теперь, пожалуй, уже и ни к чему». «Я Василий»,— говорит Иваницкий. «Ну а я редкое имя имею,— отвечает Попов.— Меня Марианом звать, запомни, хоть и ненадолго. Так вот, Вася, прощаемся мы с тобой на вечную разлуку, наверно, уже нигде не встретимся потому, что хоть душа у человека бессомненно есть, но после смерти она неизвестно куда девается, и ее еще никакая наука разыскать не могла. А жаль, что не встретимся, потому что хорошо мы с тобой подружились и вместе постояли за ленинскую правду и за землю нашу. Как братья, стояли и на том скрепились в одно — флот с армией. Будь здоров, а пока давай последним боеприпасом по ихней гавкалке». И открыли огонь по пушке, которую немцы за сваями устанавливали. Очень пе-

плохо били; у самой пушки навалили гансов на два полных расчета, но все же, конечно, справиться до конца не смогли. Зарядили немцы пушку и трахнули. Огонь, дым, пыль столбом, потом тишина настала, только слышно, как стенки блока еще продолжают трещать от разрыва, расседаются. И из пыли спрашивает голос Попова: «Жив еще, Вася?» Слышит старший краснофлотец вместо ответа, как Иваницкий чихает, и опять говорит: «Ну, еще раз будь здоров, а вот я уже нездоров, Вася. Правую руку мне отбило». Не успел договорить, как немцы второй выстрел по тому же месту дали. Этот снаряд уже насквозь стенку прошил и об вторую разорвался. Тут все в дыму перемешалось, и немцы поняли, что снаряд свое дело сделал, поднялись, заревели и побежали вперед. Но только очень они с пушкой затянули дело, и как только мимо блока проскочили на открытое место, им навстречу такой дождик хватил, что начисто сбрил... Об этом уже я позаботился,— сказал младший Соловцов,— потому что как раз я со своими краснофлотцами на этот участок подоспел по приказу командования. Как пошли мои хлопцы, так и пушку свернули, все опрокинули и погнали немчуру на пирсы. А там им больше прыгать некуда, как в воду. Прыгать неохота, но так как мои взяли пирс в три станковых пулемета, то волей-неволей, а прыгать пришлось, кто еще смог прыгнуть. Но и те не ушли. Их сверху в воде гранатами, как рыбу, глушили. Кончили это занятие, стал бой вокруг затихать, и тогда подошел я к разбитому блоку. Разгребли краснофлотцы бетонные глыбы и увидели мы обоих героев — краснофлотца Попова и армейца Иваницкого. Лежали они друг поперек друга, порванные осколками и опаленные. Попов уже мертвый, у него правую руку оторвало и весь бок вынесло. А Иваницкий дышал. На санпункте его в сознание привели, я все подле него сидел. Очнувшись, он мне и рассказал. А кое-что бойцы добавили, которые поблизости блока в укрытиях лежали и по мере сил двоим помогали, пока мы пришли. Вот и вся история.

— Это люди! — сказал старший Соловцов тихо и вдруг спросил: — Все же не уяснил из твоего рассказа, что это за камень перед тобой и какое отношение он имеет к этому делу?

Капитан-лейтенант с усилием поднял на ладони правой руки тяжелый ржавый и бурый слиток. Устремленные на него серые глаза моряка замерцали влажным

огоньком. Он встал и выпрямился, продолжая держать слиток на ладони.

— А это цемент! — произнес он иным, напряженным и торжественным голосом.— Необычайный цемент, брат. Это мы из обломков блока вынули. Я тебе говорил, что там до половины цементного порошка было. И когда упали Попов и Иваницкий на дно блока, вытекла из их ран благородная кровь бойцов, намочила сухой портланд и застыла вот в этот слиток. Я его взял, и я его сберегу. Сберегу до того дня, когда кончим с немецким зверьем и настанет опять у нас мирная и справедливая жизнь. Народ будет ставить памятники всем, кто грудью прикрыл родину в тяжкую годину. Будет и в Новороссийске памятник тем, кто вернул родине этот чудесный город у синего моря. Величественный, огромный памятник. И в день его закладки, где бы я ни был, приеду туда, стану на колени и положу этот слиток дружбы и героизма, спаянный святой кровью наших людей, в основание того памятника. А если не доживу до того дня, беру с тебя присягу, что это сделаешь ты.

Капитан-лейтенант медленно и бережно опустил слиток необыкновенного цемента на стол. Старший Соловцов стоял неподвижно и не мог оторвать глаз от лежащего на белой скатерти темного кома.

<1943>

МАЯК

Было уже совсем темно, и люди, выстроенные по левому борту, казались одинаковыми силуэтами, вырезанными из черной бумаги и наклеенными на синеющую за катером дымно-синюю ширь неба, но лейтенант Пригожин и в темноте различал каждого из стоящих в строю краснофлотцев, с которыми он прожил бок о бок на катере полтора года. Он знал их не только в лицо, но и биографию каждого, их родных и любимых, их мысли и интересы, всю подноготную.

Лейтенант постоял перед строем, засунув руки в глубокие карманы комбинезона, вглядываясь в смутно различимые лица, и сказал неторопливо и негромко:

— Так, значит, вот какая штука. Нужен доброволец на одно интересное дело. Предупреждаю, что возможны всякие осложнения. Кто хочет — шаг вперед!

Строй секунду оставался неподвижным. Потом он шатнулся, четким двойным стуком каблуков ударил в доски палубы, шеренга придвинулась к командиру и вновь замерла в неподвижности.

— Плохо! — усмехнулся Пригожин.— Очень плохо, товарищи! Вместо того чтоб помочь командиру, вы затрудняете мне задачу. Я говорил, что мне нужен доброволец, а не добровольцы. Значит, теперь мне самому приходится выбирать?.. Впрочем, я знал, что вы сделаете именно так.

Он еще раз пристально всмотрелся в людей, и глаза его, уже свыкшиеся с ночью, задержались на командире

носового орудия, старшине второй статьи Остапчуке. Тонкобровое, большеглазое, нервное молодое лицо Остапчука дышало ожиданием и надеждой. Лейтенант шагнул и положил руку на плечо Остапчука.

— Точно! Пойдет Остапчук,— сказал он решительно.— Остальным разойтись, не устраивать дискуссий и не надувать губы... Остапчук! Через десять минут явишься ко мне в кают-компанию.

Лейтенант повернулся и с привычной быстротой нырнул в узкую дыру кормового люка.

Когда в указанный срок Остапчук постучался в дверь кают-компании, Пригожин сидел там, занимая крупным телом, увеличенным еще пухлым комбинезоном, весь крошечный диванчик. На столе, как скатерть, свисая концами вниз, лежала карта. Сбоку приютился эмалированный чайник, две кружки, банка абрикосового джема и портсигар моржовой кости. У командира катера было правило разговаривать с людьми по серьезным делам в уютной обстановке, за чашкой крепкого чая и обязательно с чем-нибудь сладким.

«Раз человек видит, что ты для него стараешься, он тоже вдвойне будет стараться»,— говорил Пригожин.

— Садись, Остапчук! — Лейтенант широким жестом указал на разножку перед столом.— Закуривай. Кури не стесняясь, от папирос придется отказаться надолго, так что продымись хорошенько.

Он придвинул к Остапчуку портсигар, и старшина понял, что командир нарочно зарядил для угощения портсигар «Северной Пальмирой» из собственного, неприкосновенного запаса, чтобы побаловать собеседника. Остапчук осторожно вытянул папиросу, и Пригожин поднес к ней трепетный синий огонек зажигалки.

— Дело вот какое,— сказал он, смотря на карту.— Ночью будет интересная операция, Остапчук. Прямо скажу, увлекательная операция. Катера пойдут долбать Гнилую бухту. Знаешь, что такое Гнилая бухта?

— А как же, товарищ лейтенант,— слегка улыбнулся Остапчук.— Это та самая, где гансы свои самоходные кастрюльки прячут.

— Ага! — подтвердил лейтенант.— Именно! Будем дырявить эти кастрюльки на утиль.

— Есть на утиль,— согласился старшина.

— Только имеются неприятности,— продолжал Пригожин.— Смотри-ка сюда.

Он ткнул указательным пальцем в карту, и Остапчук, подавшись вперед, увидел на карте очертания бухты, усеянные, как мухами, черными цифирьками глубин.

— Проход сюда трудный,— сказал лейтенант, складывая губы трубочкой.— Вернее, мы имеем два прохода: восточный и северный,— палец Пригожина прямым и резким движением провел линию по карте,— первый — прямой, широкий и глубокий, но он нам не годится. Немцы его оберегают, как цепные собаки. Там полно сторожевых посудин, а подходы заминированы. Все равно что совать башку в глотку медведю. Северный проход,— палец лейтенанта стал выкручивать на карте немыслимые зигзаги,— северный в лоциях мирного времени обозначался как непроходимый. Значит, в военное время это как раз то, что нужно. Понятно?

— Вполне понятно,— подтвердил старшина.

— Катера пойдут этим проходом. Немцы его даже не охраняют. Раз в бумажке написано «непроходимо», немец против бумажки ни за что бунтовать не станет. И эта дорога свободна, если не считать того, что на ней немало камней расположено. А хуже всего, что вход на фарватер не имеет никаких ориентиров. То есть в данное время не имеет,— поправился лейтенант,— поскольку маяк два года не зажигается, вехи сняты, на берегу плоско, как на тарелке, и сам черт с трех шагов не угадает, где там дырка проделана. От штурмана требуется точность до бесконечно малых, чтобы не промахнуться и не высадить отряд на камушки. А если и не высадит, то может плутать вокруг и около, теряя время. Следовательно, нужно, чтобы вход до сантиметра был ясен. Понял, что требуется?

— Требуется обозначить точку,— осторожно произнес Остапчук, протягивая руку за второй папиросой.

— Точку! Правильно!.. Обозначить точку! А как это сделать?

— Поставить веху,— еще осторожнее предположил старшина.

— Нет,— лейтенант отрицательно мотнул курчавой головой,— промах! Поправку на прицел! Подумаешь — ориентир твоя веха. Все равно что булавку в воз сена. Думай!

— Зажечь огонь,— уже увереннее сказал Остапчук.

— Так... Но зажечь надо с толком. Как?.. Ну-ну,

соображай. Ведь будешь же когда-нибудь катером командовать. Привыкай к самостоятельным решениям.

— Стать катером на якорь в точке и давать свет,— решительно заявил Остапчук и украдкой смахнул ладонью капельки пота с верхней губы. В кают-компании было жарко от электрического рефлектора, и еще жарче становилось Остапчуку от быстрого и цепкого напора командира.

— Эх, Остапчук, Остапчук,— лейтенант опять укоризненно мотнул головой,— рано я тебя в командиры катера прочу. Ты что сморозил? Катер, ангел мой, конечно, не линкор, но все же посуда боевая и значительная. Его и в темноте разглядеть можно. А нужно, чтобы до времени никто ничего не видел... Так вот. Через час мы выйдем к точке. Иначе говоря, в двадцать один ноль-ноль. Туда два часа ходу. На месте поставим на якорь надувной плотик. А на плотике придется поскучать тебе. Отряд снимется в двадцать три пятьдесят. Значит, будешь скучать до двух. Наш катер встретит отряд на полпути и пойдет головным. В два ровно начнешь мигать нам фонариком. Два длинных проблеска, один короткий. Направление луча точно по пеленгу сто семьдесят. С этого курса будет подходить отряд. Запомни — точно по пеленгу! Ни на градус в сторону! Огонь должен быть виден только отряду. Теперь ясно?

— Ясно! — повеселел старшина.

— Плотик на воде и вплотную не виден, так что обнаружение почти исключено. Разве уж если немцы прямо на тебя налезут. На это шансов немного. Тогда сам знаешь, что делать. Драться мне тебя не учить. Более вероятно другое. Может испортиться погода. Тогда придется не только скучать, но и купаться. Если тебя не устраивает...

Остапчук яростно ткнул окурком в пепельницу, сломав пополам мундштук папиросы.

— Извиняюсь, товарищ лейтенант, вы за кого меня держите?

— Уточнено,— ответил лейтенант, кладя ладонь на руку старшины.— Тогда вот тебе фонарик, я к нему специальный направляющий раструб приклепал. На твой путеводный огонь мы подойдем и махнем долбать немецкие кастрюльки.

— А я? — вдруг с тревогой спросил Остапчук.— Катер в бою будет, а я на плотике прохлаждаться буду?

Пригожин засмеялся.

— Это ты откуда вывел? Мы же тебя снимем.

Подняв голову от карты, лейтенант посмотрел в глаза старшине внимательным и дружелюбным взглядом.

— Готовься! — сказал он.— Надеть резиновые сапоги и капок! У Дранкова возьмешь фляжку для прогрева. Ступай! Скажи боцману — готовиться к съемке.

Пригожин свернул карту и остановил старшину, взявшегося за ручку двери:

— Погоди! Часы есть?

— Есть, товарищ лейтенант.

— Верные?

— Вроде того. Немного отстают. Так сказать — пожилые. По наследству достались.

— Возьмешь мои.— Пригожин отстегнул и протянул старшине снятые с руки часы.— Ни пера ни пуху! Крепись, Остапчук!

Остапчук вышел. Пригожин прислушался. С палубы долетела знакомая трель свистка. Боцман вызывал людей наверх.

Катер выключил моторы. Стоя на мостике над картой, чуть освещенной игольчатым лучиком, лейтенант Пригожин всем телом почувствовал огромную тишину, обволокшую корабль с того мига, как смолк ровный и могучий гул моторов. Лейтенант ткнул острием карандаша в карту и тщательно обвел полученную точку кружком.

Катер еще скользил по инерции на черной, смутно блестящей и плотной воде, и было слышно, как она шелестела за бортом, отваливаясь в стороны с влажным шипением.

— Боцман! — приглушенно позвал Пригожин, перевешиваясь через стойки к корме и прикрывая рот ладонями.

— Есть боцман,— так же глухо долетело в ответ.

— Плотик на воду!

— Есть плотик на воду!

Пригожин выключил лампочку над картой и осмотрелся. Он по-особенному любил и не только любил, но и уважал ночное море. Днем оно было для него слишком понятным и простым. Ночью оно волшебно изменялось, приобретало неизмеримую мощь и таинственность. В нем проступала такая могучая и властная сила, с которой

стоило бороться и которую приятно было побеждать. Оно лежало за бортом корабля, прячущееся во тьме, хитрое, подстерегающее каждую ошибку, суровое и ничего не прощающее. И, стоя лицом к лицу с ним, человек сам чувствовал себя более значительным и сильным, чем днем, потому что каждая схватка требовала напряжения всех сил ума и воли.

Сейчас море окружало маленький корабль обманчивой тишиной. Оно дышало и тысячами невидимых глаз настороженно присматривалось к этой скорлупке.

Лейтенант спрыгнул с мостика и прошел на корму. Пока он добрел до кормового среза, где в стеллажах темнели толстые добродушные бочонки глубинных бомб, плотик уже соскользнул на воду с прозрачным всплеском и тихо покачивался рядом с катером на черном лаке воды, живо пахнущей сыростью и солью. У борта стояли боцман катера, мичман Сидорин, строевой краснофлотец Петрусевич и Остапчук, похожий в резиновых сапогах и капковом пальто на выведенного из клетки медведя.

— Значит, все понятно, Остапчук? — спросил лейтенант.— Вопросов нет?

— Никак нет, товарищ лейтенант,— звонко сказал Остапчук, видимо взвинченный минутой.

— Тише говори,— сказал Пригожин,— вода ведь кругом. По воде звук, как мяч по зеркалу, катится... Раз вопросов нет, действуй.

Лейтенанту захотелось обнять старшину, но он удержался от порыва и лишь крепко стиснул ему руку, нащупав ее в темноте. И Остапчук ответил командиру таким же понимающим, горячим мужским рукопожатием. Потом он перекинул ногу через релинг и ссунулся вниз на плотик, который закачался под ним. Оттуда он сказал шепотом:

— Есть на плотике. Все в порядке.

— Садись на дно, чтоб не вылететь. Сейчас отходим,— приказал Пригожин.— Как отойдем, отдавай якорь, цепляйся за дно. Остальное понятно. Будь здоров!

Он прошел к мостику, поднялся наверх и оглянулся. Плотик, уже немного отнесенный от борта, чуть различимым пятном темнел на воде, и Пригожин остался доволен. С двадцати метров ничьи, самые рысьи глаза не увидят этого крошечного островка в ночном море, а если даже и увидят, то скорее примут его за один из

камней, которыми усеян этот чертов фарватер, чем за плотик.

Лейтенант вздохнул, положил руку на рукоятку машинного телеграфа и поставил ее на «малый вперед». Палуба знакомо дрогнула под ногами сдержанным трепетом жизни, и корабль пошел, подталкиваемый вращением среднего винта. Пригожин еще раз оглянулся. На воде уже ничего не было видно. Тогда лейтенант перевел рукоятку на «полный». Все три мотора взревели, обрадованные этим призывом к делу, и катер резво рванулся вперед, разрезая тьму и воду.

— Ровней держать! Не рыскать! — сказал Пригожин неподвижному, как статуя, рулевому.

Маленький четырехлапый якорь-кошка, слабо булькнув, ушел в глубину, волоча за собой скользящий между пальцами Остапчука тонкий трос. Легкий толчок и ослабшее напряжение троса сказали старшине, что кошка легла на дно. Он подождал несколько минут, потравливая конец, пока плотик немного снесло течением и легким ветерком, идущим с востока, потом подергал трос. Трос натянулся, подтверждая, что острые когти кошки вцепились в камни на дне и прочно держат плотик.

Остапчук ввязал трос в железное кольцо, прикрепленное брезентовой петлей к воздушному мешку, опоясывающему толстой мягкой колбасой плотик, и посмотрел в сторону, где скрылся корабль. Там ничего не было, кроме ночной тьмы и слабо белеющей полосы от кормовой струи, да и она скоро расплылась совсем и исчезла.

Старшина сел поудобнее на решетчатый настил дна плотика, вытянув ноги и прислонясь спиной к упругости воздушного мешка, как к спинке мягкого дивана. Получилось удобно и уютно. Он сунул руку за пазуху и вытащил часы Пригожина, которые не решился надеть на руку, а положил из осторожности и деликатности в потайной кармашек, вшитый на груди в изнанку фланельки.

Нанесенные фосфорной краской на циферблат, знаки и стрелки часов светились мягким, струящимся зеленоватым светом, показывая двадцать три часа двенадцать минут.

«Значит, катера снимаются с базы через тридцать восемь минут»,— подумал Остапчук, пряча часы.

И он представил себе знакомую картину выхода в поход, которую столько раз видел. Вот сейчас на маленьких стремительных кораблях, стоящих тесной стайкой борт к борту, тихих и неподвижных, раздадутся свистки и мгновенно оживут и наполнятся моряками пустые палубы. Тишину ночи разорвет напряженный дружный рев пробужденных моторов, и от их нетерпеливой мощи задребезжат даже стаканы на столе кают-компании, помещающейся высоко наверху на пассажирской палубе громадного теплохода, превращенного на военное время в удобное жилище для офицеров и краснофлотцев дивизиона. Командир дивизиона, всегда читающий перед походом какую-нибудь книгу, подымет от страниц усталые, обведенные припухлостями серые глаза, белки которых покрыты красными прожилками от постоянной бессонницы и от едкой морской соли, загнет уголок страницы, положит книгу, влезет в поданный ему комбинезон, нахлобучит на самые брови шапку и по поскрипывающему трапу спустится вниз. И пока он будет шагать по палубам катеров, пробираясь к своему флагманскому «222-му», его будет встречать на каждом приглушенная команда «Смирно» и рапорты вахтенных командиров. Освобожденные от чехлов орудия и пулеметы зашевелятся, как будто разминаясь после сна, и опять уставятся неподвижно по диаметральной плоскости корабля, в ожидании быстрых и точных разворотов во время боя. Прозвучит команда, и, один за другим, отрываясь от плавучего пирса, катера вытянутся гуськом и пойдут навстречу неизвестности, настороженные и зоркие.

Остапчук так живо представил себе эту картину, что его неудержимо потянуло туда, где готовился к походу отряд. Ему стало скучно в одиночестве. Он вспомнил беседу с лейтенантом Пригожиным, разговор о том, что придется поскучать, усмехнулся и зевнул.

«Что ж, поскучаем, раз такое дело!»

Он проверил компас, пропеленговал указанное Пригожиным направление луча, спрятал компас и стал устраиваться.

Внезапно старшина насторожился. Далеко в синей мгле возникло голубоватое перистое сверкание. Оно дрожало над горизонтом и вдруг вытянулось к зениту тонким и острым мечом, казалось, коснулось высоких звезд и так же неожиданно упало вниз, рассекая ночь пополам. И этот голубой меч заметался в стороны над водой,

как будто невидимый богатырь с яростью рубил светящимся клинком незримые призраки, наступающие из темноты. Он сверкнул так несколько раз и погас.

— Нервничают гансы. Психическая у них жизнь стала,— сказал вслух Остапчук, продолжая смотреть туда, где в воздухе, чудилось, еще мерцал отсвет потушенного немецкого прожектора.

Этот прожектор пробудил в старшине тревогу. Будет неладно, если немцы начнут светить во все стороны и нащупают плотик. Но тревога так же быстро улеглась, как и возникла. Остапчук сообразил, что прожектор вспыхнул слишком далеко, и если даже его рассеянный свет и достигнет плотика, он не сможет хорошо осветить его, и с такого расстояния даже в дальномер не разберешь, плотик ли это или выгнутые, как спины дельфинов, скользкие и мокрые ребра камней, окружающих плотик, гряду которых старшина заметил слева от себя в бледном сиянии прожекторного луча.

Он опять достал часы. Они показывали двадцать три часа пятьдесят восемь минут.

«Снялись уже... Как раз головной бон проходит»,— подумал Остапчук и обрадовался. Теперь каждая минута приближала встречу со своими и возвращение в привычный мир катерной службы, к товарищам, к своей пушке, на которой он знал наизусть каждое пятнышко на краске ствола. И Остапчук обеспокоился уже совсем другой, бодрой, деловой заботой, размышляя, хорошо ли стер наводчик Супрун излишек смазки на затворе, чтобы не случилось заедания механизма и пропуска в острый момент.

«Ровно два часа осталось»,—подумал старшина.

Вдруг он схватился за лежавший рядом автомат. Ему почудилось, что к плотику подошла чужая шлюпка и неловкий гребец, зарыв веслом «щуку», окатил его холодным душем. Но никакой шлюпки он не заметил, а то, что увидел наяву, было хуже шлюпки. Море рябило и плескало мелкой волной в край плотика. Ветер усиливался. Он уже резал лицо и забивался за воротник. И это он перебросил гребень волны через воздушный мешок и облил Остапчука.

Старшина схватился за часы, прикрывая их рукой. Было ноль сорок пять.

Катера должны были подойти к двум. Оставался час с четвертью ожидания. Остапчук вспомнил жаркую клетушку кают-компании катера, дымящийся чай, душистый

джем и сытный запах табака «Северная Пальмира», лицо лейтенанта Пригожина и его слова: «Может испортиться погода, тогда придется не только скучать, но и выкупаться».

Старшина посмотрел на пляшущую волну и зябко повел плечами. Потом бережно спрятал командирские часы, положил автомат на колени и прикрыл его полами пальто.

«Может, просто шквалик,— подумал он,— покуролесит — и уйдет. В эту пору они часто наваливаются».

Он уверил себя, что это именно так и что ветер скоро должен стихнуть. И ему стало веселее. Увеличивающаяся зыбь показалась ему совсем нестрашной. Пускай ее плещется — подумаешь, невидаль. Ну, вымочит немного, так в кубрике обсушат. Уже не так долго ждать. Катера идут. Они где-то в море, вот по этому самому пеленгу, и скоро они должны быть здесь, рядом.

А ветер продолжал набирать злость. Плотик уже не мягко покачивался, подымаемый ровным дыханием спящей водной стихии, а метался, танцевал и вздрагивал на натянутом тросе, как норовистая лошадь, которую тянут из стойла за повод и которая дергается и дрожит, упираясь в землю передними копытами и мотая головой с налитыми кровью глазами.

— Вот же, черт тебя дери, нашел время рассобачиться, сволочь! — укоризненно сказал Остапчук.

Ветер вздыбил плотик на гребне высокой, словно вылитой из черно-зеленого стекла, волны, подержал секунду и бешено швырнул вниз. Сквозь плеск воды Остапчук услыхал подозрительный хруст и, рванувшись вперед, увидел болтающийся на воздушном мешке мокрый хлястик брезентовой петли, оторванный ударом волны с одного края. Вырванное железное кольцо, а с ним вместе трос и вцепившаяся в дно кошка бесследно исчезли. Остапчук, похолодев, растерянно дергал пальцами обрывок брезентового хлястика.

Освобожденный от привязи плотик вертелся, приплясывая на волнах, как пробка, и необузданный ветер быстро нес его в темную пропасть беснующейся воды. Это было хуже и страшнее всего. Что бы ни происходило вокруг, Остапчук не мог, не имел права удаляться от места, на котором его оставили до подхода отряда. Весь отряд, девять боевых кораблей, на каждом из которых были друзья и товарищи, рассчитывал на то, что Остапчук будет именно там, где он был высажен с «237-го».

С того момента, как он покинул палубу своего катера, Остапчук перестал быть Костей Остапчуком, веселым гитаристом и шутником. Он перестал даже быть старшиной и командиром пушки. Он стал живым маяком, маяком, который в условленный час должен был показать отряду путеводный огонь, указывающий единственно верный курс в берлогу врага. Только он мог показать этот путь, только от него зависела точность и своевременность удара. Если проблески его фонаря засверкают из другой точки, удаленной от условленной хотя бы на два-три кабельтовых, это уже грозит непоправимой бедой. Флагманский штурман поведет отряд на проблески, мигающие в стороне от верного направления, катера с полного хода ударятся нежными и тонкими корпусами о камни и тогда...

Охнув, Остапчук схватился за уложенные на дно короткие весла и стал лихорадочно прилаживать их. Он вспомнил виденные им при отблеске прожекторного луча камни, выступающие из воды не дальше двадцати метров от его якорной стоянки. Только бы догрести до них и как-нибудь зацепиться. В плотике лежит еще запасной фалинь. Воткнуть весло в какую-нибудь расщелину камня, замотать конец и, придерживаясь руками, ждать. Ждать остается немного, и этот чертов ветер должен же утихнуть. А расстояние от его прежнего места до камней так незначительно, что разница в точках появления огня не может повредить правильному подходу отряда.

Остапчук греб, торопясь, глубоко зарывая весла в воду, не обращая внимания на летящую в плотик через борт пену и брызги. Хотя вода уже стояла на решетке и он чувствовал, как она леденит его тело через кожу штанов, он продолжал грести, поминутно оглядываясь, чтобы не сбиться с направления на камни, подгребая то одним, то другим веслом. Плотик с трудом продвигался против ветра и волны. Время текло невыносимо медленно. Наконец изнемогающий и весь взмокший от гребли в теплой одежде старшина увидел голую, выгнутую спину камня, покрытую космами водорослей, совсем рядом. Сделав последний сильный гребок, он вырвал правое весло, перевернулся, встав на колени, лицом к камню и занес весло, чтобы удержать плотик на месте, когда его нанесет на камень.

Но он даже не успел опустить весла. Резкий толчок поставил плотик вертикально на ребро, и Остапчук

выкатился прямо на скользкий каменный хребет. Следующим ударом волны плотик опрокинуло, и он накрыл старшину, который барахтался на каменном горбу, цепляясь за водоросли. Еще раз взмыла волна, упала, обнажив камень, по которому, шипя, сбегали струи, и Остапчук остался на камне, в дикой растерянности смотря, как исчезает крутящийся в пене плотик.

Первой мыслью старшины было догнать плотик. Но сейчас же он отказался от этого предприятия. Хотя капок и поддержал бы его на поверхности, но плыть в резиновых сапогах, в бушлате на таком волнении вперегонки с невесомым, надутым воздухом плотиком было бессмысленной затеей. Плотика все равно не догонишь, а самого море уволочет черт знает куда. И при этой мысли старшина опять увидел перед собой, как наяву, кают-компанию катера, лейтенанта Пригожина, отдающего ему свои часы, и услышал голос командира:

— Крепись, Остапчук!

Он выплюнул изо рта соленую воду и шершавые нити водорослей и, упираясь руками в камень, крикнул, как будто надеясь, что лейтенант Пригожин услышит его голос среди рассерженного моря:

— Креплюсь, товарищ лейтенант.

Может быть, впервые за время войны то короткое и важное слово, которое приходилось слышать каждый день и в котором был заложен самый главный и большой смысл жизни и действий человека, применяющего оружие для защиты своей чести и свободы, и свободы и чести своей родины, слово «долг» получило для Остапчука в эту минуту ослепительно яркое и заполнившее все его сознание и все его существо значение.

Он должен выполнить приказ. Ценой жизни и смерти он должен его выполнить. Если приказ не будет выполнен — разлетятся на камнях в щепы боевые корабли дивизиона, который воспитал и вырастил самого Остапчука, сделал его умнее, поднял его над тем Остапчуком, который когда-то пришел на катера робким, озирающимся учеником и стал командиром. Море будет носить и бить о камни мертвые тела товарищей и офицеров. Остапчук, цепляясь за камень, вдруг отчетливо представил себе во тьме разбитое тело командира дивизиона, колеблемое волной, и кровь на его загорелом добром лице. И это видение так ожгло его, что старшина впился пальцами

в неровности камня, ломая ногти, и замычал от боли и злости.

Заливаемый волной, насквозь мокрый, с трудом держащийся на скользкой, воняющей йодом и прелью каменной взгорбине, он подумал еще о том, что, если он не выполнит приказа, немецкие кастрюли, прячущиеся в бухте, по-прежнему будут вылазить в русское море на разбой, как голодные волки.

И он еще теснее приник к камню, чтобы никакая сила не могла оторвать его. Так, лежа на груди, в промежутке между двумя накатами валов, он быстро сунул правую руку за пазуху и вытащил часы Пригожина. Он успел взглянуть на циферблат прежде, чем его накрыла новая волна. Стрелки — минутная и часовая,— зеленовато мерцая, вытянулись в одну прямую линию, пересекающую циферблат. Они показывали час тридцать семь. Накатилась, шумя, волна, и Остапчук прижал часы к груди. Волна схлынула, и старшина снова поднес часы к глазам. И даже в темноте, при одном мерцании фосфора, увидел под стеклом колышущийся воздушный пузырек, как в ватерпасе. Часы были полны воды и остановились. Видимо, это случилось только что, когда волна покрыла Остапчука. Когда он вынимал часы из кармашка, они были еще совсем сухие и теплые от тела.

Старшина быстро засунул бесполезные часы обратно под фланельку. Это происшествие испугало его. До подхода катеров оставалось только двадцать три минуты, и авось ему удастся продержаться этот срок, чтоб подать сигнал. А там все равно. Если его смоет и разобьет о камни после того, как катера увидят проблески,— это уже будет неприятно только для него одного, Остапчука. Приказ будет выполнен.

Но сейчас же его всколыхнуло новое опасение. Он вспомнил о фонарике. Работает ли батарея? Будет ли свет?

Фонарик висел у Остапчука на шее, на ремешке. Он прижал стекло рефлектора к поверхности камня и нажал кнопку. Нити водорослей вокруг рефлектора осветились колечком света, и старшина радостно вздохнул.

Радость была недолгой. Да, фонарик действует. Но он должен начать свою работу живого маяка в два часа. А часы стоят. Как же он узнает время? Голова старшины кружилась, мысли путались.

И вдруг промокший, оглушенный ударами волн, избитый о камень человек громко засмеялся. Он вспомнил свое детство и одного чудака-мальчишку, который умел точно отсчитывать секунды, произнося нелепую и глупую фразу: «Выпей лимонад».

«Выпей лимонад» — одна секунда. Опять «выпей лимонад» — вторая секунда.

С того времени, как он вынул часы, прошло, вероятно, минуты три. Сейчас без двадцати два. Двадцать минут — эти тысяча двести секунд. Тысяча двести раз он должен сказать «выпей лимонад», и тогда фонарь может начать свою работу, если старшина продержится эти двадцать минут.

Он должен продержаться! Он не может не продержаться!

Старшина глубоко вздохнул, еще крепче вцепился в камень, закрыл глаза и, пошатнувшись от удара волны, сказал как мог спокойней:

— Выпей лимонад!

Одинокий катер шел на зюйд, обгоняя волну. Лейтенант Пригожин стоял на мостике, надвинув на голову капюшон комбинезона, и поминутно оглядывался назад.

Море разыгрывалось не на шутку. Вокруг катера тяжело вскипали белые медленные гребни валов, и с каждой новой волной Пригожин все тревожнее думал об оставленном у входа на фарватер Гнилой бухты Остапчуке. Но повернуть назад и снять старшину он не мог раньше, чем состоится рандеву с отрядом.

По времени катера должны были уже прийти на видимость, но, как ни вглядывался Пригожин, вокруг было только пустое, черное, ревущее море и белые гребни, перекатывающиеся в темноте.

— Смотри хорошо, Пухов,— сказал он сигнальщику.

— Так я ж знаю, товарищ лейтенант, не беспокойтесь,— ответил сигнальщик, медленно поворачивая голову по дуге горизонта.

— Нельзя пропустить, Пухов,— мягко и убеждающе сказал лейтенант, хотя знал, что Пухов действительно смотрит хорошо и что глаза этого краснофлотца не имеют равных во всем дивизионе,— понимаешь, штормит. А там Остапчук.

— Понимаю, товарищ лейтенант,— так же мягко отозвался сигнальщик и спустя мгновение спокойно, почти не подымая голоса, сказал, поворачиваясь к командиру: — Справа, курсовой сорок, силуэты.

Пригожин взглянул, но ничего не увидел в темной прорве воды. Но он знал, что Пухов никогда не ошибается, и поэтому скомандовал:

— Орудия на правый борт!

Тонкие стволы пушек развернулись направо. Теперь и Пригожин увидел на траверзе катера низкие, длинные и быстрые тени, мелькающие среди белых гребней.

— Опознавательные! — приказал он.

Из темноты замигал ратьер.

— Нам, товарищ лейтенант,— сказал Пухов,— подойти к борту «222-го», принять командира дивизиона.

Катер круто повернул, оставляя за кормой пенистую дугу, и подошел к головному дивизиона. Корабли сильно мотало. Краснофлотцы стали по бортам с кранцами и крюками, оберегая катера от толчков. И когда палубы на один миг сравнялись на подъеме, с «222-го» ловко, по-кошачьи, перепрыгнул на палубу к Пригожину командир дивизиона и, пробалансировав между снарядными кранцами и люками, поднялся на мостик.

— Задание выполнено, товарищ капитан второго ранга,— отрапортовал Пригожин.— Старшина Остапчук находится в указанной точке для указания входа отряду.

— Ладно! — сказал командир дивизиона.— Только бесполезно...

Он помолчал, посмотрел на бушующие и хлещущие в борта катера валы и продолжал:

— За выполнение задания благодарю, но операцию отменили. Шторм усиливается. В такую бурю лезть в этот дьявольский чулок нельзя. Угробим корабли. Придется подождать до лучшего случая. Корабли пойдут назад.

— Товарищ капитан второго ранга,— непроизвольно вырвалось у Пригожина,— так Остапчук же там остался.

Командир дивизиона вплотную приблизил лицо к Пригожину и с сухой усмешкой сказал:

— Кажется, я не подавал повода заподозрить, что я способен бросить на произвол судьбы кого-нибудь из наших людей...

— Виноват, товарищ капитан второго ранга! Я... — Пригожин смешался, не находя слов.

— Вот то-то, что вы,— укоризненно обронил командир дивизиона.— Я пойду с вами снимать вашего Остапчука. Ворочайте на обратный курс. Отряду дайте сигнал «Возвращаться в базу».

— Есть сигнал «Возвращаться в базу»,— весело повторил Пригожин.

Пухов отмигал ратьером сигнал. Корабли разошлись снова. Восемь катеров легли на курс, ведущий к базе, один помчался, зарываясь носом во встречную волну, к заброшенной в водной пустыне точке, где ждал, исполняя роль живого маяка, старшина Остапчук. Командир дивизиона отошел на левое крыло тесного мостика и стоял там, смотря в море. Пригожин вынул пробку из переговорной трубки в моторный отсек.

— Солодов,— крикнул он вниз,— в труху разбиться, зубы в порошок, а выжать из всех моторов все, что можно. Шторм! Каждая минута — золото! Идем спасать Остапчука. Ясно!

— Ясно, товарищ лейтенант,— услышал он уверенный и бодрый ответ старшины моторной группы и облегченно закрыл отверстие трубы пробкой.

Но волнение, от которого во всем теле точно покалывало иголочками и становилось горячо, не покидало лейтенанта все время, пока катер проходил, как казалось Пригожину, невыносимо медленно тот путь, который на карте был проложен коротенькой прямой линией, упирающейся в точку, обведенную аккуратным кружком.

Он не находил себе места и топтался, переступая с ноги на ногу. И, может быть, впервые за всю службу он пожалел, что командует катером, на мостике которого нельзя сделать двух шагов, а не миноносцем, где можно разрядить напряжение ожидания, безостановочно шагая с крыла на крыло, расходуя внутреннюю энергию на движение.

И чем ближе подходил катер к точке, тем больше волновался Пригожин.

Он уже не отпускал от глаз бинокля и вдруг сказал Пухову:

— Пухов, дорогой! За обнаружение огня банку джема. Какого хочешь — на выбор. Абрикосовый, яблочный, сливовый.

Он не увидел, а почувствовал, как Пухов улыбнулся в темноте и так же взволнованно ответил командиру:

— Так я и без джема... Остапчук ведь друг мой, товарищ лейтенант.

Командир дивизиона отошел от обвеса и приблизился к Пригожину. Должно быть, он или увидел, или тоже инстинктом понял состояние лейтенанта, потому что, постояв рядом с ним, неожиданно положил руку на плечо Пригожина и, придвинувшись, вполголоса сказал:

— Волнуетесь? Это правильно, что волнуетесь за своих людей. Так и должно быть у хорошего офицера. Только учитесь волноваться так, чтоб другим видно не было, а то волнение заразительно и работе мешает.

— Я ничего, товарищ капитан второго ранга,— начал Пригожин и запнулся, прерванный возгласом Пухова, теперь уже громким, не сдерживающим своей силы:

— Вижу проблеск прямо по носу.

— Где? Где? — торопливо вскрикнул лейтенант.

— Да вот... Прямо впереди, товарищ лейтенант. Мигнул и нет...

Пригожин смотрел в темноту, и ему казалось, что его глаза выступают из орбит и тянутся какими-то щупальцами, сверля ночь. У него даже заныли глазные яблоки, но он ничего не видел. Никакого огонька. Все было черно и непроглядно.

— Не показалось, Пухов?

— Да честное комсомольское, ясно же видел,— убежденным, вздрагивающим голосом повторял Пухов, тыча рукой в пространство.— Убавить бы ход, товарищ лейтенант, а то запорем Остапчука,— забеспокоился сигнальщик, и Пригожин перевел ручку телеграфа сперва на «малый» и через секунду на «стоп».

— Камни по носу! — опять вскрикнул Пухов.

— Лево руля! — нервно скомандовал лейтенант, и катер, повинуясь рулю, вычертил на воде полукруг и остановился, раскачиваясь в кипящей пене бурунов. Но в ней не было никаких признаков плотика. Только из шипящей белизны то и дело вставали черные хребты оголяемых волной камней.

Пригожин повернулся к командиру дивизиона.

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите включить прожектор... На одну минуточку,— просительно протянул он.— Все равно операция отменена, так что...

— Разрешаю,— коротко ответил командир дивизиона.

Пухов повернул выключатель, и узкий сноп белого пронзительного света вылетел в темноту из прожектора и

побежал по камням, прыгая с одного на другой. И когда он прянул, цепляясь световыми нитями за горб четвертого камня, на мостике катера разом вскрикнули, увидев на плоской, обросшей зелеными кудрями верхушке тело в капковом пальто, с вытянутыми руками, на пальцах которых были намотаны пряди водорослей.

— Боцман! Тузик на воду! — во все горло закричал Пригожин и рванулся с мостика, но рука командира дивизиона удержала его.

— Отставить! — твердо сказал командир дивизиона.— Какой, к чертовой бабушке, тузик. Видите же, как волна лупит. Радость радостью, а голова головой должна оставаться у командира. Подводите катер вплотную! Людей на бак, пусть подденут крюками. И сейчас же полный назад, иначе расхлопаем кораблик.

И обрадованный лейтенант даже забыл обидеться, что командир дивизиона советует ему, как маленькому. Он дал малый вперед, выведя катер на ветер, и ждал, пока напором летящего над морем взбудораженного воздуха корабль поднесет вплотную к камню, понемногу подворачивая винтами, чтобы ослабить возможный удар.

Он с удовольствием сам соскочил бы с мостика и побежал на бак с крюком, и только присутствие командира дивизиона помешало этому мальчишескому порыву.

— Есть, взяли! — услыхал он крик Сидорина.

Катер уже дрожал и бился в горячке заднего хода, выбираясь из пенного котла, бушующего у камней, и после двух крутых зигзагов вырвался на глубокую чистую воду. Свет прожектора погас в момент, когда с бака подцепили тело Остапчука крюками, и ночь стала еще чернее и гуще.

— Ф-фу! — выдохнул лейтенант всей грудью и, сняв шапку, вытер мокрый лоб.

Пар бил из носика чайника тугой, расширяющейся струей. Лейтенант Пригожин, сидя на разножке, одной рукой придерживал чайник, чтобы он не сполз с плитки, а другой поправлял одеяло на Остапчуке, лежащем на диване. Командир дивизиона сто́ял в углу кают-компании, посасывая трубку, и на губах его играла удивительно молодая улыбка.

Остапчук придерживал пальцами левой руки марлевую примочку на лбу, которая розовела от крови. Все

лицо старшины, испещренное синяками, царапинами, цвело светящейся в глазах радостью.

— Я, товарищ лейтенант, ни чуточки не боялся,— возбужденно и быстро говорил Остапчук.— Мне этот самый камень вроде как понятие открыл. Пока я на нем болтался, я до самого нутра понял, что хоть умри, а дело сделай. А еще лучше сделать и жить, товарищ лейтенант, потому что дела еще много и всей жизни на дело не хватит. И все я помнил, как вы мне сказали: «Крепись, Остапчук!» Ну я и крепился. Должно быть, это я в последний раз мигнул фонарем, когда Пухов проблеск увидел. А дальше уже ничего не помню. Муть пошла. Только здесь очнулся... Я сейчас очухаюсь и к пушке пойду.

— Зачем? — спросил удивленный Пригожин.

— А как же? Кастрюльки немецкие долбать будем? А я что, неживой?

— Лежи, Остапчук! Операция отменена. Шторм! — сказал лейтенант, и свет в глазах старшины померк.

— Как же так? Выходит, я впустую в маяка сыграл? — растерянно спросил он.

Но раньше, чем застигнутый этим вопросом врасплох лейтенант подыскал слова для ответа, его опередил командир дивизиона. Он вынул трубку изо рта и засмеялся.

— Впустую? — переспросил он.— Нет... не впустую. Слава русского флота — яркий маяк, товарищ старшина! Он на весь мир светит — маяк нашей славы. Как стекла маяка составлены из множества сверкающих хрустальных призм, так наша слава сложена из блистающих граней бранных подвигов моряков... Разве мало стать одной из этих граней? Отдыхайте. Пойдем, товарищ лейтенант. Пора к делу!

И командир дивизиона распахнул дверь. В кают-компанию ворвался холодный ветер, идущий сверху, оттуда, куда призывала командиров беспокойная боевая судьба.

<1943>

ХОРОШАЯ ПЕСНЯ

Очередь!.. Очередь... Еще очередь!

Свинец пронзительно шелестел, распарывая воздух. Он, как серпом, резал под корень желтые сухие стебли кукурузы и людей, которые перебегали между стеблями.

Больше, кажется, в кукурузе незаметно никакого шевеления. Те, которые уцелели от шелестящих струй свинца, залегли в страхе, стараясь втиснуться в рыхлую землю, стать плоскими, как лист бумаги.

Федоров отнял ноющий палец от гашетки и тоскливо посмотрел на горячее небо. Который может быть час? Это уже пятая с утра атака.

Едкая капля пота сорвалась с брови на веко и расплылась в глазу щиплющей болью. Тылом ладони Федоров протер глаз и огляделся.

Утром их было девять в этом окопе.

Теперь семеро уже лежали, скорчась, на его липком от крови дне. Утром у них у всех были разные лица. Их можно было легко отличить друг от друга по различному цвету глаз, по улыбке, хмурой у одного и детски радостной, открытой у другого, по свойственному каждому из них излюбленному жесту, по звуку голосов. Сейчас они лежали обескровленные, объединенные и уравненные общей прозрачной бледностью воска, и, смотря на них, Федоров начинал уже путаться, не понимая, кто же

из этих мертвецов крутоплечий здоровяк, бывший комендор «Свирепого», Левченко, кто худощавый и слабосильный электрик «Парижской коммуны», в прошлом студент Академии художеств Самусь.

Федоров отвел глаза от трупов товарищей и поежился.

Кругом было тихо. Умолкла стрельба. Только издалека слева доносились одиночные, отвеваемые ветром хлопки выстрелов, да глухо бурчал, перекатываясь по каменям долины, неумолчный Терек.

Внезапно Федоров услышал за спиной частое дыхание, похожее на храп запаленной лошади. Он с недоумением обернулся, едва успев подумать: «Откуда лошадь?»

Но никакой лошади не было. Это дышал Саенко. Он сидел, прислонясь затылком к глинистой стене окопа, и его вытянутые руки свисали вниз негибко и безжизненно, как у куклы.

Румынские пули пробили ему оба плеча, и он перестал ощущать свои руки и владеть ими. На вопросительный, полный тревоги взгляд Федорова он попытался ответить бодрой улыбкой, но из этой попытки ничего не вышло. Губы его дрогнули, расплылись и смялись в виноватую гримасу. Он насупился, всхлипнул и хрипло выговорил:

— Страть на меня патрон... Отыгрался я, Костя... Так не дай, чтоб меня замучило воронье.

У Федорова все перевернулось в душе от неузнаваемого хрипения друга. Но резко и гневно — он понял, что нужно ответить именно так,— он крикнул:

— Что?.. Без прений отклоняется... Наша опера не кончилась. Понятно?

Весь перекосясь от муки, Саенко попытался оторвать от земли кисти рук, но они только чуть подпялись и беспомощно упали, стукнув, как деревянные.

— Ты ж видишь,— простонал Саенко,— что я ничего не могу... Не боец я уже. У, гады!

Саенко заскрипел зубами и закрыл глаза. Одинокая, злая слеза повисла на его ресницах и не срывалась с них, как стеклянная. Федоров смотрел на него с испугом и жалостью — так непохож был этот поникший человек на того, прежнего Саенко, весельчака, запевалу, хозяина чистейшего хрустального голоса, который звенел вечерами на привалах, разливаясь широким потоком песни.

И, вспомнив эти песни Саенко, от которых замирала в тишине, прислушиваясь к легко льющемуся напеву, вся рота, Федоров внезапно сказал:

— Чего не можешь?.. Биться не можешь... Ну, ясно... А петь можешь?

Саенко открыл глаза. В них, застланных горькой дымкой, дрогнуло изумление:

— Петь?.. Зачем петь?.. Ты что — одурел?

Но Федоров упрямо мотнул головой.

— Нет, не сдурел... Я буду их стрелять. Пока жив — буду стрелять. Патронов не будет — зубы свои вырву. Зубами буду винтовку заряжать. И все буду стрелять. А ты пой, чтоб мне легче было. Понятно?

Но Саенко все еще смотрел на Федорова туманным взглядом.

— Ну, понимаешь, двое нас только осталось... И надо мне, чтобы друга рядом чуять. Трудно человеку в одиночку конец принимать. А голос твой, Саенко, мне как костыль будет.

И Саенко наконец понял. Мягкий свет стер туман его зрачков, и он кивнул.

— Ладно... Попробую... Уж как выйдет.— Он болезненно скривился.— Нет у меня сейчас прежней силы.

Он поправился и сел прямее, упираясь в сухую глину.

— Ты не надсаживайся,— ласково сказал Федоров,— пой, как можешь. Чтоб только я тебя слышал.

Федоров нагнулся и подобрал винтовку Саенко, положив ее рядом с собой. Отстегнул и снял с него пояс с подсумками. Потом проверил диски. Их оставалось три.

И, едва он отдал себе отчет, что этого хватит ненадолго, как кукурузное поле начало опять оживать. Федоров увидел среди стеблей румынского офицера. Переползая на коленках, он, ругаясь, колотил палкой по задам и спинам залегших солдат, принуждая их подняться.

— Пой, Петро,— крикнул Федоров,— начинаем наш последний концерт.

Он вжал в плечо приклад РПД и поймал на мушку мельтешащую в кукурузе офицерскую фигуру.

«Да-да-да» — скороговоркой отозвался нажиму пальца на спуск пулемет, и офицер опрокинулся сперва на бок,

потом на спину. Поднятые его колени сжались и раздвинулись. Для верности Федоров еще раз нажал гашетку.

Эхо выстрелов угасло, и тогда за спиной Федорова внезапно зазвучал, надтреснутый болью, слабый, но попрежнему теплый, хватающий за сердце, грудной, неугомонный, как жизнь, голос.

Саенко затянул свою любимую старую казачью:

Поехал далеко казак на чужбину
На добром коне вороном,
Свою Украину навеки покинул,
Ему не вернуться в отеческий дом.

Пулемет Федорова молчал, и все притихло, пораженное этим голосом, возникшим на поле смерти, наперекор смерти.

Но, разрывая тишину, из кукурузы, визжа, пронеслась мина и разорвалась у бруствера, осыпав окоп комьями земли. Опираясь на локти, загребая землю по-тюленьи, серо-зеленые румыны подползали, сминая стебли, стягивали полукольцо вокруг окопа.

А голос Саенко плыл и таял над степью в мерцании накаленного воздуха. Подхваченный волнующим стенанием песни, Федоров вел огонь, и пули пришивали к земле вражеских солдат.

Холодок злобы и странного, никогда ранее не знаемого озноба, похожего на дрожь небывалой радости, пробегал по телу Федорова. Он нажимал гашетку, шепча сквозь сухие, оскаленные зубы:

— Нашей пшеники захотели? Ешьте, румынцы, по зернышку. Тяжелое наше зерно для вашего пуза.

Мгновениями глаза ему застилало влагой от все растущего волнения, но ненависть продолжала наводить за него дуло пулемета.

И, наконец, пулемет задохся. Последний диск отработал свое. Оставалась винтовка Саенко и патроны, которые Федоров собрал у мертвых и у Саенко. Он знал наизусть, что их только шестьдесят три. Близился конец, но сознание этого не вызвало в Федорове ни страха, ни слабости.

«Ему не вернуться в отеческий дом,— подумал он о себе словами песни,— но и вы ж не вернетесь с нашей земли до своих баб, скрипачи!»

Взяв винтовку Саенко, раскаленную солнцем, он

вогнал в коробку обойму и удовлетворенно посмотрел на кукурузное поле, где лежали румынские солдаты, которым уже не суждено было вернуться.

Он прикинул в уме примерный результат боя. Не считая того, что было утром, они вдвоем, пока не ранили Саенко, положили на этом поле до восьмидесяти румын. Да сейчас он прибавил пятерых. Таким счетом можно было бы обрадовать роту. Федорову стало на миг грустно, что он больше не придет в роту и не увидит никого из тех, с кем сжился в боях. Но он отогнал эту мысль. Сейчас нужно было только драться. Еще уложить десяток врагов, а тогда и умирать не жалко.

Над стеблями кукурузы неожиданно поднялся штык с наколотой на нем белой тряпкой и закачался в воздухе. Жестяной чужой голос прокаркал на ломаном русском языке:

— Эгей!.. Нэт стрилать! Слушайт наш прэдложэний.

— Занято! Слышишь, Петро,— спросил Федоров, не оборачиваясь к Саенко,— кажись, румынцы хочут сыграть нам цыганский вальс на скрипках... Послушаем.

Федоров закричал туда, где качался штык:

— Ну, говорите, коли еще языков не откусили.

— Наш прэдлагать довольно сраженни,— каркал из кукурузы румын,— за ваша храбрости мы оставлять вам жить.

Федоров громко засмеялся.

— Отклоняется без прений, единогласно,— ответил он румыну своей любимой прибауткой,— показывайте лучше, на сколько ваших стертых медяков можно купить храбрости у вас?

Штык с тряпкой упал вниз. Крича, Федоров неосторожно высунулся, и пуля вспорола ему рукав гимнастерки и кожу от кисти до локтя. Он ссунулся вниз, взглянул на кровь, капающую с локтя, и ответил выстрелом. Тонкий вопль прозвучал из кукурузы, и его покрыл треск автоматов, которые зачастили из-за стеблей.

— Вывел ихнего солиста,— усмехнулся Федоров.— Пой, Петро, пой опять.

Опять взвился надтреснутый голос Саенко. Снова захлопала винтовка Федорова. Но настал черед истощиться и винтовочным патронам. Румыны, видимо, почувствовали это по большим промежуткам между выстрелами.

В нескольких местах сразу они поднялись и побежали напрямик, криком подбодряя себя. Последними тремя пулями Федоров свалил троих. Остальные попятились.

Еще раз с холодящей тоской Федоров поднял голову. Солнце уже перешло зенит и медленно ползло к западу. А помощи все нет и, наверное, уже не будет.

Федоров сдвинул на живот сумку и достал две гранаты. Это было последнее оружие. И песня Саенко, певшаяся уже второй раз, подходила к концу,— бесконечно грустная старая песня о судьбе казака:

А дома казачка его молодая...

Гранаты лежали па ладони Федорова, тускло поблескивая краями нарезанных долек. Но он не успел насмотреться на них. Румыны опять ринулись к окопу. Подбегая, они инстинктивно сжались в кучку, и Федоров метнул гранату в середину этого орущего на бегу потного мяса.

За хлестким громом взрыва он услышал стоны румын и истекающую песню Саенко. Саенко сидел с закрытыми глазами, и с каждой нотой голос его становился тише и глуше, будто сам Саенко быстро уплывал в сонное, тихо шуршащее о пляж море.

Федоров облизал запекшиеся губы. В руке была еще граната, и он раздумывал, что лучше: кинуть ли и ее в румын или обнять Саенко, положить гранату между ним и собой и выдернуть чеку?

Но в последний миг этого томительного раздумья в сознание его ворвались новые звуки. Это были крики и топот бегущих ног. Первой мыслью было, что румыны обошли и вырвались к окопу с тыла. Но, вскинув глаза, Федоров вздрогнул. Перед ним замелькали родные бескозырки, засверкало выцветшее в боях золото на ленточках.

Прыгая через окоп, над ним промчались в кукурузу краснофлотцы. Тогда Федоров схватил винтовку, выкарабкался из окопа и, чувствуя, как обрадованное сердце распирает ему грудь и несет над землей на крыльях, побежал вдогонку товарищам.

Когда он вернулся, качаясь на дрожащих ногах, взмокший, тяжело дыша, Саенко сидел в той же позе, склонив голову на плечо. Он был без сознания, но рот его все еще

был раскрыт и шевелились губы, словно и в бреду он старался выпевать беззвучную уже песню.

Федоров спрыгнул в окоп, опустился на колени возле Саенко, приподнял тяжелую голову друга. Заскорузлой от земли и пороха ладонью он любовно отер капли пота с его влажного лба и, смотря в пожелтелое лицо, прошептал:

— Будет, Петро! Отдыхай... Спасибо. Хорошую спел ты песню, а хорошая песня в бою помогает... Отдыхай, друже!

<1943>

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Эсминец пришел с моря около полудня. К сумеркам все приборки и работы были окончены, и затихший корабль дремал у стенки, чуть-чуть подрагивая от непрекращающейся глубоко внутри корпуса работы механизмов. На бухту наплывала ночь. На западе над лилово-чернильной чертой горизонта еще алела узкая полоска заката в просвете встающей из-за моря тучи.

Штурман сидел в рубке, разбирая карты похода. В маленьком помещении было душно и жарко, и его потянуло на мостик подышать свежим ветерком наступающей ночи.

Он вышел и с наслаждением широко вдохнул несколько раз всей грудью солоноватую влажность похолодевшего воздуха.

Из-за переднего обвеса, снизу, с палубы, от носового орудия до него донеслись тихие голоса. Он шагнул к обвесу и заглянул вниз. У пушки сидели трое краснофлотцев и, отдыхая, разговаривали о своем. Вглядевшись, штурман узнал сквозь темноту сумерек разговаривающих. Это были — наводчик носового старший краснофлотец Рощин, подносчик краснознаменец украинец Загорулько и торпедист Новиков.

— Да,— донесся до штурмана голос Новикова,— одним бы только глазком взглянуть на Севастополь, как он дышит.

Наступило молчание, и немного погодя тихо ответил Рощин:

— Горько на него смотреть! Все побито, все попалено, и по той пустыне немец, сволочь такая, топает. Все развалил, а чего в осаду не прикончил, то нынче до крошки покрал, ворюга.

— Все покрал,— подтвердил Загорулько.— Вот как мы ходили в десант под Керчью, то прибился к нам от партизан один хлопец. Так он сказал, что немец даже памятники обшарпал. И адмирала Лазарева, что против флотских казарм, и Тотлебена с бульвара, и самого Корнилова с Малахова кургана. Все на баржу погрузили и повезли до Германии.

— Насчет Лазарева и Тотлебена не скажу,— отозвался Рощин,— может, что и так, а про Корнилова брехня. Корнилова немец не взял. Корнилов сам ушел, а фашисту не дался.

До штурмана долетел короткий смешок Новикова.

— Видать, Вася, здорово ты притомился нынче в походе,— сказал он насмешливо.— Ты подумай, что говоришь. Что же он, Корнилов, живой, что ли? Его ж еще в ту оборону убили в самом начале, а тому сколько лет уже. Как же так памятник уйти может?

— Уж этого я не знаю, как,— недовольно ответил Рощин,— за что купил, за то и продаю. Так старики флотские рассказывают. Мичмана Лыткина знаешь?

— Который на тральщике?

— Ну да,— ответил Рощин,— седатый такой, усы врозь. Он еще с японской войны на действительной, чего только не знает. Так он это дело своим ребятам на тральщике рассказывал, а я от них слыхал.

— Ты кинь про Лыткина, говори про дело,— решительно потребовал Загорулько, видимо очень заинтересованный началом истории,— что ты тянешь?

— Сейчас... Вот, значит, как это получилось. Сами знаете, что в оборону до самого последнего часа корниловский памятник на Малаховом целый оставался. Кругом вся окрестность в воронках, в ямках, земля вовсе покалеченная, а памятник стоит, только подножие ему осколками да пулями покарябало. И сидит наверху адмирал, смертельно раненный, на одну руку опершись, а другой все вперед показывает, приказывает отстаивать Севастополь, лупить до конца немецкого гада. И при нем внизу знаменитый матрос Кошка стоит и все бомбу к мортире подносит. Кругом смерть, все кровью, как водой, залитое, а они держатся, в бойцах дух подымают. Ну, и

было то уже вечером второго июля, когда немцы с румынами сквозь линии до самого города прорвались и уже на Корабельной были. А Малахов все еще из последних пушек отбивался. И никак к нему враги подобраться не могли. Залегли по всему скату до Килен-балки в воронках, зубами скрипят со злости и жадности, а наши их на прямую наводку берут и чешут частой гребенкой, аж пыль кругом идет. Видят они такое гиблое дело и шлют радио своей авиации, скликают самолеты на подмогу. Вмиг налетает целая туча этого воронья и давай долбать. Что на кургане, что на вулкане. Дым столбом, пламя до неба бьет. Уже и казематы прахом рассыпаются, и орудийные дворики комьями бетона позавалило, и людей на куски рвет. Гром такой стоит, что море в Северной бухте дрожмя дрожит и рябью ходит. И настал такой час, что кончились все наши на Малаховом. Одни мертвые остались. И ни одного выстрела больше с макушки не слыхать. А уж темно совсем, ночь сошла, звезды повысыпали, только их через гарь почти и не видать. Тогда встают эти гитлеровы псюги в самый полный свой рост, автоматы в брюхо уперли и палят по кургану. Но им никто уже огнем не отвечает, некому отвечать: кругом одни трупы лежат порванные, поломанные. Стона, и того не слышно. И уже подходят немцы к самой вершине. Вдруг в тот миг зашевелился Корнилов на своем пьедестале. Опустил руку, обеими уперся в камень, ноги вниз спустил и слез к матросу Кошке. Берет его под руку, значит, и говорит: «Пора, Петр! Наше время пришло. Уходить надо! Мы с тобой старые севастопольцы. Постояли за Родину в свой час честно, до конца, и народ нас за то почтил. Мы и честному врагу с тобой не сдавались, матрос, а чтоб нас такие вывороченные свиные рыла в плен взяли — этому позору не бывать! Уйдем, Кошка!» Кошка, понятно, руку под козырек и отвечает: «Правильно говорите, товарищ адмирал!»

— Как же это он так мог ответить? — иронически перебил Рощина Новиков.— По-ихнему надо было ответить: «Так точно, ваше превосходительство».

— Тю на тебя! — цыкнул на Новикова Загорулько.— Чего цепляешься? Фантазии у тебя нет, Новиков... Это же сказка... Продолжай, Рощин!

— Может, он и сказал, Кошка-то: «Так точно, ваше превосходительство»,— потому что матрос был хороший, а хороший матрос всегда по правилу должен отвечать,— рас-

судительно заметил Рощин,— только это ж неважно. Вот Загорулько правильно говорит, что в тебе фантазии нет. Все тебе «что», да «как», да чтоб по арифметике сходилось, как дважды два четыре. Это вот, что я рассказываю, душой понимать надо. Не мог, говоришь, памятник от немца уйти, а ты припомни, как в школе Пушкина учат. Небось «Медного всадника» назубок брал. А там тоже за сумасшедшим памятник на коне через весь город гоняется.

— Равняешь,— ответил Новиков,— Пушкин когда жил? При нем еще в лешего да в ведьму верили.

— А ну тебя! — отмахнулся Рощин.— Скучный ты человек...

— Рассказывай дальше,— попросил Загорулько.

И Рощин продолжал:

— Тогда сошли они на землю вдвоем — адмирал с матросом. Огляделись вокруг, и опять Корнилов говорит: «Пройдем, Петр, по кургану, пока еще есть время. Посмотрим да послушаем, не бьется ли еще где жаркое краснофлотское сердце. Хорошо дрались наши внуки, дедовской чести не посрамили, себя перед народом оправдали не хуже нас. И народ им спасибо скажет.

А ежели есть тут между них кто-нибудь живой, то никак не можем мы своего внука немцу на муки оставить. Немец на краснофлотца, как волк, ярится. Затерзает насмерть. А мы с тобой — моряки и живем по морскому нашему закону: «Все за одного, один за всех». И должны живого спасти». И пошли они тихонько по кургану. Подойдут к кому, наклонятся, послушают, вздохнут и дальше идут, а на вершине тихо, тихо стало. Видно, немец наконец сообразил, что никого уже не осталось на вершине, и стрелять перестал.

Так вот идут они медленно по гребню кургана, и нет кругом них жизни. Только вдруг слышит Корнилов — будто дыхание. Подошел — видит, раскинулся парень. Собой красивый, молодой, глаза закрытые, волосы от крови слиплись, а на голове бескозырка, и на ленточке,— «Красный Кавказ». И широкая грудь его под тельняшкой чуть приметно колышется. «Смотри, Петр,— говорит Корнилов,— живой! Да красавец какой! Возьмем его, Петр, укроем от немца». И подняли они того комендора с «Красного Кавказа», неизвестного по имени, взяли с обеих сторон под руки и повели. А немцы с румынами уже на кургане стоят, как голодные волки. Но только не увидели

они ничего своими буркалами. И прошли сквозь немецкие цепи севастопольский адмирал Корнилов, матрос Петр Кошка и краснофлотец, прошли невидимками, спустились с кургана, перешли балку и так тихим шагом дошли до Инкермана. А там поднялись по каменной лестнице до самой высокой пещеры в скале, вошли в нее, и как вошли, то спустилась за ними каменная глыба и накрепко прикрыла вход от врага. И остались они там ждать того часа, как придут наши опять в свой Севастополь. В тот самый миг, как войдут на Северный рейд дорогие наши корабли и забьется на них по ветру наш боевой морской флаг,— подымется тот тяжкий камень, откроет вход, и пойдут назад тем самым путем Корнилов, Кошка и наш браток краснофлотец, взойдут на Малахов и встанут на свой гранит, все трое, рядком, рука об руку, два деда и внук, чтоб навечно хранить от врага наш Севастополь, чтоб не достиг его в третий раз враг. И пройдут мимо них почетным маршем, под музыку, все черноморцы и весь советский народ и отдадут им воинскую почесть и земной всеобщий поклон...

Рощин замолчал.

— Спасибо, друже,— тихо сказал Загорулько и поднялся.— Очень хорошая история. Аж за самое сердце берет... Так и будет! Весь народ никогда не забудет севастопольцев. А Корнилова на кургане мы уже скоро увидим... Пошли в кубрик.

Встал и Рощин. Две тени растаяли в темноте.

Штурман постоял у обвеса, боясь пошевельнуться, словно ожидая продолжения услышанной сказки. Потом вынул портсигар, достал папиросу и, закуривая, с удивлением обнаружил, что огонек спички пляшет в его пальцах и что эта дрожь пальцев вызвана, несомненно, большим и теплым волнением. Волнение это было рождено сказкой Рощина. В ней была поэтическая, мудрая прелесть, и она звучала как высокий символ народного уважения к героям и мученикам двух легендарных оборон легендарного города, как выражение глубокой веры народа в то, что город этот будет вновь возвращен родной стране.

Штурман докурил папиросу, вернулся в рубку и, присев к столику, не отрываясь, записал сказку на обороте испорченной карты.

<1944>

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Баржа ушла!.. Ее удалось увидеть на один лишь миг, когда она уже втягивалась в тесное жерло фиорда. Норд разразился над океаном белым фейерверком снежного заряда, пролетел, утих, открыв серую мятущуюся поверхность воды. Тогда в стеклах бинокля мелькнула вползающая в проход низко сидящая корма. За ней стлался грязноватый шлейф отработанного газа. И все скрылось за грифельными обрывами скал, запорошенными в трещинах снегом.

Тогда командир 1012-го и командир звена старший лейтенант Морошко в сердцах хватил кулаком с зажатым в нем биноклем по поручням мостика. На палубе катера водворилась та знакомая всем, едкая, подсасывающая тишина, которая предшествует крупным неприятностям. От такой тишины каждому хочется бежать с палубы или превратиться в невидимку. Даже люди, неповинные в неудачном обороте событий, начинают чувствовать себя неуютно и припоминают свои явные и тайные грешки за последние полгода.

Морошко поставил рукоятки машинных телеграфов на «стоп» и приказал сигнальщику просемафорить 1014-му и 1017-му: «Застопорить, ждать приказаний».

Глубокий грудной гул моторов оборвался. Пышный волан пены за кормой увял. Оба катера, шедшие сзади, тоже остановились и закачались на широкой океанской волне.

— Боцман!

Тон окрика не предвещал доброго.

— Всю команду наверх!

В сущности говоря, команда и без того была наверху, и приказание относилось только к мотористам. Но именно вызов мотористов ослабил первоначальную напряженность тишины, и она приобрела целевую установку. Из машинного люка выкарабкались мотористы, обтирая замасленные руки ветошью. Они были перепачканы и злы. Заметив это с высоты мостика, Морошко злорадно усмехнулся. Он стал над трапом и, щуря левый глаз, осмотрел выстроенных людей.

— Констатирую факт,— начал он негромко,— что на м о е м (он внезапно повысил голос и растянул слово)... корабле впервые за мою практику скис мотор. И скис по жалкому разгильдяйству. Еще занятнее то, что мотористы ухитрились валандаться с устранением аварии два часа сорок восемь минут.

Он в упор смотрел на мотористов. На них же обратились взгляды всей команды. Мотористы беспокойно завертели головами, словно широкие воротники форменок превратились для них в удавки. Они охотно скатились бы назад в уютное белое тепло моторного отсека, если бы их не удерживала на палубе незримая узда дисциплины.

— Это, очевидно, есть подарок, который вы сделали мне, товарищи, в день рождения? — спросил Морошко.

Он помолчал, как будто ожидая ответа, хотя знал, что из строя ответа не полагается и не будет. И только увидел, как лицо главного старшины Галанина медленно побагровело от подбородка до околыша сдвинутой на лоб бескозырки.

— Замечаю, что товарищ Галанин краснеет,— продолжал Морошко,— и считаю это отрадным признаком. Но остальное из рук вон. Мы не выполнили задания. Нам было приказано перехватить баржу на подходе к фиорду. А мы, потеряв ход, увидели только ее хвост. Может быть, вам вообще нравится разглядывать немцев со стороны хвоста?

Снова молчание, и лишь кто-то вздохнул глубоко и шумно, словно под самым бортом всплыла и отфыркнулась нерпа.

Боцман Володин, стоявший непосредственно у мостика, повел колючим взглядом по мотористам и, сжав за спиной кулак, потряс им в сторону виновников. Он старался сделать это незаметно, но Морошко не пропустил

этого жеста и по нему понял, что творится в боцманской душе. Разговор доходил крепко, но командир хотел еще подбавить накала.

— Небольшая честь, товарищи, служить на таком корабле. Еще меньше чести им командовать!

Старший лейтенант сознательно нажимал педали и преувеличивал значение события. Но он хотел, чтобы на 1012-м надолго запомнили происшествие.

— Больше мне нечего сказать! Команда имеет время обедать и подумать... Разойтись!

Морошко отвернулся, сел на разножку и закурил. Разговором он был доволен. Баня вышла жаркая и должна подействовать.

Он приказал просигналить катерам: «Следовать за мной» — и отзвонил в машину «средний ход». 1012-й весело прыгнул вперед, разрезав темно-синий студень встречной волны.

Морошко оглядел громадный, неустанно колышущийся океан, по которому бежали скорлупки катеров. Несмотря на холодный, хмурый день, океан, как всегда, был прекрасен. Сизый налет непогоды, оседая на воду, придавал простору особую строгую нежность. Командир 1012-го бросил недокуренную папиросу в пенящийся гребень волны и поднялся с разножки. Заглянув в картушку и приказав рулевому точнее держаться на курсе, он с полным пренебрежением к трем ступенькам трапа спрыгнул прямо на палубу, прошел, насвистывая, по узкой кромке вдоль борта и распахнул фанерную дверь рубки, похожую от камуфляжной раскраски на кусок жирафьей шкуры.

В рубке, налегая локтями на штурманский столик, вел прокладку помощник командира, младший лейтенант Вагин. Он обернулся к открытой двери. Его голова без фуражки, в спутанных завитках волос странного розовато-золотистого оттенка, на тонкой и длинной юношеской шее, походила на махровую хризантему, лезущую кверху из мехового воротника кожанки, как из вазона.

— Место? — спросил Морошко.

Вагин осторожно, чтобы не обломать кончика, положил на карту карандаш и назвал координаты. Ему шел двадцатый год, он недавно кончил ускоренные курсы лейтенантов и был похож на молодого петушка. Ни голос, ни характер у него еще не определились.

— Чудное место! Прекрасное место! — кивнул Морошко, потрепав помощника по спине.

— Почему? — удивился Вагин.

— Всякое место, на котором человек чувствует себя хорошо, прекрасное,— ухмыльнулся Морошко,— а данное — особенно: и от немцев недалеко, и к дому близко.

— Возвращаемся? — переспросил Вагин и осекся.

Морошко потемнел, и помощник понял, что спросил неудачно.

— Возвращаемся? — переспросил Морошко и поднял плечи.— Какая яркая мысль!

Вагин растерялся и замигал длинными ресницами.

— Я предположил...

— Всякое предположение обнаруживает сокровенную мысль,— с деланной горечью сказал Морошко,— куда это возвращаться и зачем? Может быть, мы одержали громкую победу и торопимся огласить родные берега громом салюта? Я что-то не заметил.

Он облокотился на столик рядом с Вагиным и долго смотрел на карту, поджав губы и слегка посапывая, потом легко распрямился.

— Пойду в каюту. Мне нужно помечтать полчасика без помех,— сказал он, открывая дверь,— примите меры, чтоб за это время ничего особенного не случилось. А если все-таки с л у ч и т с я — пошлите за мной.

Каюта командира на 1012-м, как все каюты на катерах, была больше сродни средней величины платяному шкафу, чем человеческому жилью. Морошко не выносил ее и обычно предпочитал проводить время в рубке или даже в микроскопической кают-компании, где как-никак казалось просторнее.

Но думать он всегда уходил в каюту. Для этого она имела свои преимущества. Койка была коротка для длинного Морошко, и, лежа на спине, ему приходилось упираться подошвами в одну переборку и затылком в другую. И это неудобное положение нравилось ему. Он утверждал, что давление переборки на затылок ограничивает чрезмерный разбег фантазии и вводит мысль в строгое русло данного вопроса, не позволяя разбрасываться. И хотя друзья относились к этому утверждению скептически, старший лейтенант клялся, что это правда.

Он сбросил ушанку и лег. Приятное тепло переборки — она выходила в моторный отсек — пригрело затылок. Морошко, не поворачиваясь, завел левую руку под подушку,

вытащил оттуда книгу и раскрыл ее на заложенной полоской старого нарукавного галуна странице.

Так лежал он с четверть часа, весь поглощенный чтением, что было видно по его лицу. Он то закрывал глаза, шевеля губами, как школьник, заучивающий урок, то открывал и читал снова, сводя и разводя брови, морща лоб, прищелкивая иногда пальцами свободной руки и усмехаясь. Очевидно, книга держала его в состоянии того беспрерывного умственного беспокойства, в которое втягивают человека только очень затрагивающие книги. Один раз он даже привскочил, ударил себя ладонью по ляжке, восхищенно сказал: «Толково»,— и снова лег.

Наконец, положив книгу на живот, он забросил руки под затылок и ушел в размышления, уставясь взглядом в подволок каюты.

Морошко перевернулся на бок. Книга свалилась под койку, но он не заметил этого. Он был захвачен думами.

Баржу упустили. Это паршиво! И особенно паршиво, что это произошло с ним, Морошко, у которого не было случаев невыполнения боевого задания. А задание было как раз серьезным. Пять дней назад торпедный катер лейтенанта Козловского влепил торпеду в немецкий транспорт, который пробирался под берегом от Вардё к Петсамо. От взрыва транспорт сильно осел кормой, но успел выброситься на прибрежные камни. На отходе Козловский потопил второй торпедой вздумавший преследовать его сторожевик. После взрыва в воде барахталось около десятка немцев. Козловский подобрал одного для допроса. Придя в себя после ледяного купания, немец показал, что на транспорте было среди прочего груза восемьдесят авиамоторов для смены истрепанной материальной части немецкой бомбардировочной авиации. В штабе флота логично предположили, что немцы примут все меры к разгрузке сидящего на камнях транспорта и доставке любыми средствами моторов по назначению. И действительно, воздушная разведка уже на вторые сутки обнаружила подозрительную возню плавучих средств у мертвой туши транспорта, а произведенная позже фотосъемка установила, что моторы перегружаются на самоходную баржу. Тогда Морошко и вышел в море с задачей стукнуть баржу, не допустив ее до фиорда. Он ее не стукнул. И разболтанные бессменной работой «юнкерсы», сидящие в капонирах аэродромов, оживут и полезут в небо.

Морошко с силой хватил подошвами в переборку, словно она была ушедшей от расплаты баржей.

В конце концов такая неприятность может случиться с каждым. И хотя в недавнем разговоре он напирал на гнусное разгильдяйство мотористов, но, трезво рассуждая, они не так уж виноваты. Моторы катеров тоже работали без устали.

Что было — того не вернешь. Но операцию нужно довести до конца. Во что бы то ни стало! Если баржа добралась до причала, это еще не все. Ее нужно разгрузить, а на это требуется время. Если не терять времени и ударить...

Морошко сделал гримасу разочарования.

Нанести удар? Легко сказать!.. По барже во вражеском порту, куда нужно пролезть шестимильным, сдавленным скалами проходом, на высотах которого береговые батареи, где каждый метр воды грозит смертью... Ну, так что же? Возвращаться на базу, предстать перед начальником ОВР [1], не смея поднять глаза на контр-адмирала, который постучит кончиком карандаша по столу и насмешливо пробурчит: «Поздравляю... растете, растете — заметно!»

От этой воображаемой встречи Морошко мотнул головой и ударился затылком о переборку, которая жалобно прогудела.

Старший лейтенант сбросил ноги с койки и сел. Несколько минут он сидел, неотрывно и напряженно смотря на блестящий световой блик на никелированной дверной ручке. Напряженность взгляда постепенно ослабела. Морошко протянул руку и вытащил из кипы книг, втиснутых на игрушечную книжную полку, брошюру в синей обложке. Торопливо перелистав, он нашел, что искал:

«Немцы аккуратны и точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава... Немцы становятся беспощадными, когда обстановка усложняется и начинает «не соответствовать» тому или иному параграфу устава, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного уставом...»

Старший лейтенант всунул брошюру обратно и посидел немного, закрыв глаза. На его обветренном, шелушащемся лице сквозь его внешнюю грубоватость проступила простая, задумчивая и очень молодящая улыбка.

---

[1] ОВР — охрана водного района.

Он засунул руку в карман реглана, вытащил измятую карту, расправил ее на койке. Низко нагнулся, подпирая щеку рукой, разглядывая линии и цифры, узором рассыпанные на бумаге.

То, что до сих пор бродило смутными намеками в его не прекращавшем работу мозгу, теперь возникало перед ним с точной военной ясностью. Он сложил карту, ткнул ее в карман, надел ушанку и по отшлифованным перекладинам трапа полез на палубу.

Его обдало влажной, опьяняющей, солоноватой свежестью, какой бывает напоен только океанский воздух перед закатом. После душной каюты, в которой стоял неистребимый запах бензина, было так хорошо пить прозрачный воздушный напиток и слушать могучий ритмический шорох водной массы.

Плотная мгла на западе распахнулась широкой щелью, и в нее хлынул холодный розовый блеск низко плывущего полярного солнца. Он преобразил все вокруг. Туманная нежность пасмурного дня исчезла. Океан расширился во все стороны. На востоке его жесткая синева, сгущаясь к горизонту, колыхалась густой, лиловой, черно-пурпурной влагой. На западе, где в распахнутой щели туч истекало розовым потоком солнце, океан горел. Верхушки волн просвечивали бледным бутылочным стеклом, а между ними вились, переплетались, плясали блестящие шелковые ленты — оранжевые, алые, дымно-золотые, соломенные,— вспыхивая колючими огоньками. Вся играющая красками и сверканиями ширь жила и дышала могучей силой неутомимого движения. Раскаленный солнечный шар коснулся нижним краем воды, и по его слепящему диску промчались трепещущие тени, словно он стал ежиться от лизнувшей его студеной волны. Он уменьшался и тускнел, но кверху от него прянули, рассыпались, веером развернулись огненные перья.

По воде пролетела мелкая свинцовая рябь. Шелковые ленты померкли, наливаясь тусклым кирпичным оттенком. Небо на востоке осыпало серебристый пепел. Последний ломтик солнечного шара, мигнув, утонул под горизонтом. Огненный веер в высоте бесшумно и быстро свертывался, роняя на волны седую, грифельную пыль. Сразу посвежело, и в лицо Морошко задул упругий, пронизывающий предночной ветер.

Сотни раз видел командир 1012-го торжественные феерии океанских закатов и все-таки не мог к ним привыкнуть. Они тревожили и бередили. Они подавляли угрюмым величием прощания стихии света со стихией воды. Солнце уходило на покой, и ночной океан обретал свою таинственную власть.

Проследив последние угасающие отсветы на волнах, Морошко пошел в рубку. У правого пулемета, нахохлясь, стоял боцман.

— Что такое, Володин? — спросил Морошко, берясь за поручни трапа.— Почему загрустили?

— Довели катер до срама,— сердито ответил боцман и покосился на открытый моторный люк.

Морошко улыбнулся. То, что боцман так остро переживал скандал с мотором, радовало командира, доказывая, что разговор пронял всех.

— Не унывать! — сказал Морошко, подымаясь.— Мотористы скушали, переварили, икают и теперь из кожи вылезут, а за себя постоят. В общем, даже полезный случай.

Володин просветлел и, подняв руку к ушанке, сказал:

— Разрешите поздравить с днем рождения. За этим делом не успел...

— Стоп! — ответил старший лейтенант, подымая руку.— Имею встречное предложение — отложить поздравления до завтра. Мне кажется,— добавил он, увидев удивление в глазах боцмана,— что день рождения у меня будет завтра.

Он оглядел в бинокль весь круг горизонта, снова спрыгнул с мостика и прошел в рубку. Стал рядом с Вагиным, подумал и молча ткнул пальцем в то самое место на карте, которое пристально разглядывал в каюте.

— Идем сюда! — сказал он очень весело.

Вагин с недоумением поднял на командира вопрошающие синие глаза. Его удивили и оживление Морошко и показанное на карте место. Но он побоялся задать вопрос невпопад и ответил уставным «есть», пытаясь самостоятельно угадать, что задумал командир катера. Точка на карте обозначала глухую бухточку на «своем» берегу, где не было ничего примечательного и куда, казалось, незачем было забираться боевому кораблю, хотя бы и такому небольшому, как 1012-й. Вагин переводил глаза с лица Морошко на его указательный палец и молчал.

— Соображай! — Морошко шутливо ткнул помощника в бок.— Поощряю в подчиненных смекалку.

— Не соображаю,— уныло признался Вагин, начиная презирать себя.

— Плохо! Проверим наблюдательность... Что находится в западном закутке этой дыры, на камнях?

— На камнях? — медленно повторил Вагин, стараясь выиграть время.— Там же ничего такого... Камни... Плавник... Ну, чайки садятся.

— А карбас? Или его кит слопал?

— Верно, карбас! — удивился Вагин.— Только что нам проку в этом хламе? От него небось одни ребра остались.

В бухте было глухо и тихо. Когда катера на малом ходу проскользнули в нее, было уже темно. Мрачно нависали береговые обрывы, и тяжелыми синими потеками лежал на них свежий осенний снег.

Катера вплотную подошли к берегу в глубине бухты. Вода здесь лежала тяжелым черным стеклом, чуть слышно вздыхая. Начинался отлив, и с камней свисали мокрые космы водорослей. Позванивая, журчали сбегающие ручейки. Темная черта высокого уровня все выше подымалась над водой.

Над этой чертой на покатых, отглаженных волнами камнях, осыпанных чаечьим пометом, лежал, высоко задрав нос, старый поморский карбас. Бока его побелели от соли. Он был выброшен сюда сумасшедшим штормом накануне войны и остался. В военной горячке никто не интересовался увечной посудиной. Построенный из добротной древесины, карбас выдержал встречу с камнями без особых повреждений. В одном лишь месте каменный зуб прогрыз ему борт. Он прочно завяз между двумя глыбами гранита, которые сдавили его бока. Доски фальшборта расщепились, оторвались, и верхние концы шпангоутов торчали над палубой, как ребра дохлого кита. Шторм, принесший гибель карбасу, вышвырнул его на берег значительно выше приливной черты, и обычное волнение, незначительное в этой огороженной скалами водяной чаше, не могло причинить ему нового ущерба. Он мог спокойно дремать на своем каменном ложе до тех пор, пока новая, еще более свирепая буря не раскачает сонную воду, не сорвет его с камней и не прикончит.

Но мертвый сон карбаса был нарушен вторжением в бухту катеров Морошко. И вокруг его останков началась непонятная суматоха, которая удивила бы всякого, кто в эту минуту заглянул бы в бухту.

Сначала краснофлотцы, вооружась топорами и ножовкой, отодрали еще несколько досок от фальшборта и забили ими пробоину в боку. Этим карбасу была возвращена способность держаться на воде.

Позднее к карбасу приволокли два длинных бревна плавника и просунули их под днище, как рычаги. С 1012-го подали буксирный конец и закрепили па корме карбаса. Люди повисли на свободных концах рычагов. На катере заревели моторы. Буксир дрогнул, натянулся, зазвенел гигантской струной, и карбас слегка стронулся. Моторы взвыли сильней. 1012-й, взрывая винтами горы пены, тянул изо всех сил, как трудолюбивый битюг, срывающий с места воз.

Боцман Володин распоряжался этим небывалым авралом, потрясшим команды всех катеров. Никто не мог понять, для чего понадобилось командиру звена на ночь глядя завести корабли в глухомань и сволакивать с камней растрепанную развалину, которая годится лишь на дрова. Однако люди ретиво налегали на рычаги, пока после ряда осторожных рывков карбас не сполз на воду и не закачался рядом со своим спасителем.

И тогда настал момент полного изумления, потому что Морошко приказал разыскивать на берегу мелкий плавник и грузить им карбас. При этом он строжайше наказал выбирать только сухое дерево, отбрасывая гнилье и мокрядь. Спотыкаясь во тьме, оскальзываясь на валунах и вполголоса поминая черта и его родителей, краснофлотцы в поте лица ползали по скатам, выдирая из гранитных трещин корявые сучья северной березы и тонкие сосновые кругляки, добела обглоданные волнами. Набирая охапки этой бросовой дряни, они пихали ее в карбас, и только когда он был доверху набит, Морошко приказал окончить работы и отдыхать. Усталые моряки вернулись на катера, и тогда началась вторая часть загадочного предприятия, уверенно руководимого командиром звена.

С 1012-го последовал сигнал: «Командирам прибыть к флагману на чашку чая и оперативное совещание».

Оба катера приткнулись к 1012-му, и лейтенанты Артемьев и Пущин перебрались на его палубу.

Морошко ждал их в кают-компании. На полуметровой базе стола, покрытого голубой клеенкой, клубила паром отварная треска, тонущая в собственном жиру, и хотя она была ежедневным блюдом на кораблях, офицеры жадно потянули носами ее запах, потому что нет на земле пищи деликатней, нежней и вкусней, чем только что вытащенная из моря и умело сваренная треска. Кок Старухин, он же заведующий глубинным бомбометанием, поставил на стол испеченный ради дня рождения командира шоколадный торт, остальное угощение и отдельно банку сгущенного молока для Морошко, зная привычку командира намазывать бутерброды поверх масла сладкой тянучкой. Появился пузатый медный чайник.

Участники оперативного совещания расселись. Морошко, Артемьев, Пущин и Вагин. Такое обилие офицерского состава не было предусмотрено проектными чертежами катеров, и пятому участнику, боцману, пришлось устроиться в пролете двери на разножке.

— Начнем, товарищи,— сказал Морошко, цедя перевитую янтарную струю в фаянсовые кружки с полустертой надписью по ободку: «Не будь плох — пей до трех». Эти кружки он еще до войны выклянчил в Мурманске у вдовы шкипера рыболовного траулера, ревниво берег и подавать на стол разрешал только в торжественные дни.

— А за новорожденного законной порции не хватим? — спросил Артемьев.

— Сегодня не праздную,— ответил Морошко,— завтра видней будет. Хватайте рыбку!

Командиры занялись треской. Морошко смотрел, как они поглощали ее с неудержимым молодым аппетитом, и вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Из вас кто читал академика Тарле? «Наполеон»?

Вагин и Артемьев еще крепче налегли на треску, отводя вопрос, но Пущин, не проявляя удивления внезапному интересу командира к культуре подчиненных, бодро ответил, хотя и в осторожной форме:

— Прочел, товарищ старший лейтенант! — И, выждав, добавил уверенней:— Существенная книжка.

Морошко подпер подбородок ладонью и раздумчиво подтвердил:

— Существенная! Даже очень!.. Сейчас читаю... Талант, конечно, талантом, но и везло как утопленнику...

— Товарищу Тарле? — спросил Пущин, полагая, что «талант» относится к автору книги.

— Бонапарту!.. Получил возможность развернуться на такой операции, как Тулон... Это же масштаб, хлопцы! Вся французская судьба на волосинке висела. А выбить интервентов из морской крепости — это вам не «мессер» сшибить. Выбил... и прогремел от края до края. В один день такой прыжок! Для военного человека такое счастье один раз в истории бывает...

— Завидуешь? — засмеялся Пущин.

— А что? Ему всякий настоящий военный должен завидовать,— серьезно сказал Морошко,— всем больших дел хочется, хлопцы.

— Поздравляю! Обнаруживается скрытый бонапартизм,— сквозь треску во рту сказал Артемьев.

— Бонапартизм у меня в мыслях не ночевал,— огрызнулся Морошко,— бонапартизм —это политическое, а я говорю о профессионально военном. Военный талант Бонапарта — общее наследство. И в первую голову наше, потому что условия, в которых мог проявиться его талант, создавались революцией. Он ее задушил как Наполеон, но от нее родился как генерал Бонапарт... И точка! Переходим к очередным делам. Что у нас в активе? Прошляпенная операция??

Сидящий в дверях боцман поперхнулся и выплеснул полкружки себе на колени.

— А что мы должны иметь? — продолжал Морошко, выводя стекающим с ложки сгущенным молоком букву «N» на куске торта.— Мы должны иметь такую операцию, после которой не стыдно вернуться домой.

— Правильно, товарищ старший лейтенант! — первым отозвался, как младший на военном совете, Володин.

— Не унывать от неудач! Шагайте без страха по мертвым телам! А то вот Сережа после сегодняшних происшествий, как говорится, частично утратил политико-моральное состояние и захотел домой, к маме...

— Да я же, честное слово...— вспыхнул Вагин, но Морошко остановил его.

— Это я мимоходом... Речь не об этом, а о том...— Морошко откинулся к стенке кают-компании и оглядел товарищей суженными глазами,— что не может быть речи о возвращении с невыполненным заданием. Это я всерьез говорю! Нам было приказано хлопнуть баржу, и мы ее хлопнем, а может быть, еще что-нибудь интересней!

И Морошко ударил ладонью по столу.

— Но она же стоит уже в своей гавани,— сказал Пущин.

— Вот именно,— согласился Морошко,— но давайте, товарищи офицеры, думать и действовать по-военному. С каких пор и по каким правилам пребывание вражеского корабля в своем порту является непреодолимым препятствием для выполнения боевого приказа? Что же, нам только полоскаться в своей водичке и не пускать в нее чужих купальщиков? Абсолютно ложная идейка!.. Разве наши летчики не топили немецкую посуду в ее гаванях? А подводники не пускали ее ко дну у ее собственных пирсов?

Морошко говорил громко, напористо, и глаза у него блестели.

— Позволь,— спросил Артемьев,— что же, ты хочешь с катерами лезть на береговые батареи? Мы не подводники и не летчики. У нас нет нужных условий для такого фокуса: быстроты самолета и невидимости лодки.

Морошко залпом выпил половину вдовьей кружки и засмеялся.

— Что?.. С катерами не полезу, а с одним катером пойду. Пойду и немцам морду набью и, если меня расчет не обманет, вылезу обратно без царапины, а может, еще и с прибылью. Мы тоже на войне до высшего образования доходим. Что у меня есть? Внезапность и дерзость — раз! Благоприятные обстоятельства — два! По погоде, без синоптиков, можно предсказать на ночь хороший туман.

— Он уже есть, товарищ старший лейтенант,— подтвердил Володин, подымая голову к отверстию люка над собой, где проносились влажные волокна замутненного воздуха.

— Хорошо! Значит, мне обеспечена скрытность подхода и проникновения в фиорд. Пройти придется вслепую, но чему же нибудь наши штурманы учились. Внутренность фиорда известна нам, как собственные внутренности. У какого причала может стоять эта баржа? Да только у левого... Почему? Кто ответит?

— Я знаю,— сказал Пущин,— на ней авиамоторы. Кладь нелегкая, и выгружать будут краном. А кран у них один на левом причале.

— Молодец! — обрадовался Морошко.— Известно, что перед входом с моря расположены две стопятидесятимиллиметровые батареи и одна такая же на высотах в глубине фиорда. Вот вам уже выявлен ряд неизвестных

в заданном уравнении. Остается один икс. Вагин, какой?

— Не знаю,— честно признался Вагин.

— Организация охраны причала, количество огневых средств возле него и количество солдат при этих средствах. Так?

— Так! — в один голос ответили офицеры.

— Подумаем! — Морошко прервал речь и помолчал, покусывая губы.— Судя по всему, есть основания полагать, что этот икс не так страшен, как его малюют враги. От силы у немчуры там пулемет и в непосредственной близости полсотни тотальных солдат. Что ж это — препятствие?

— Сотня — тоже не препятствие,— оживился Вагин.

— Есть! — Морошко вторично шлепнул ладонью по коленке.— Идем прямым курсом на место действия, имея на буксире чудную лоханку.

— Я все понял,— задорно сказал Вагин,— кроме этой битой лоханки. Зачем мы ее тащим за собой?..

— Люблю, когда офицерский состав проявляет интерес к деталям операции,— усмехнулся Морошко,— но предпочитаю временно воздержаться от разъяснений. Кажется, Кутузов говорил, что военных секретов он не доверяет собственной подушке... Последнее — единственной серьезной помехой являются все же названные батареи у входа. Внутренней я не боюсь. Известно, что батареи никогда не строятся с расчетом крыть по собственному порту. Но все-таки у меня нет ни малейшего желания получить хотя бы один осколок в корабль. Нужно, во-первых, отвлечь их внимание от входа и рассредоточить их огонь. Для этого вы оба,— Морошко обратился к командирам 1014-го и 1017-го,— будете утюжить перед входом... Прошу сверить часы.

Он поднял руку и показал свои часы. Оба лейтенанта уравняли с ним стрелки своих.

— Я войду в проход, используя туман. Чтобы дойти до глубины, принимая во внимание малый ход, туман и прочее, мне потребуется сорок минут. Значит, если через сорок минут, после двух ноль-ноль вы не будете иметь от меня по радио «аз», что будет обозначать невозможность операции,— тысяча четырнадцатый начинает крыть по правой, тысяча семнадцатый — по левой батарее. Не важно, как будете попадать. Лишь бы они занялись вами. А я буду разворачиваться внутри... Товарищ боцман! Вам

особое задание. Приготовить и под рукой иметь на корме бидон бензина и одну малую глубинную бомбу... Все! Совещание считаю законченным. Прошу по кораблям, готовиться к походу!

Офицеры смотрели на Морошко с некоторым удивлением. Он впервые говорил с ними так — властно, уверенно, почти резко. Они поднялись и выбрались с боцманом на палубу. Спустя минуту Морошко услыхал над собой свисток и топот ног.

Он вздохнул и налил себе четвертую кружку, превысив указанную на ней норму.

Неровная, валкая качка сразу прекратилась. Это было признаком,— и единственным признаком, потому что ничего не было видно,— что катер вошел в проход и береговые высоты прикрыли его от ветра, летящего из океанского простора. Туман в проходе был еще плотнее и гуще, чем в море. Катер словно окунулся в жидкую сметану, и вокруг было не имеющее никаких изменений космическое пространство, наполненное первичной, густеющей, но еще не обретшей формы материей. Так должен был выглядеть мир в дни первозданного хаоса, когда на месте тверди, земли и воды струились зыбкие волны сгущенного газа.

Туман затруднял движение, но зато выедал звуки, и глухое клокотание одного мотора замирало сразу под кормой. Чуть заметно подрагивала под ногами палуба мостика. Морошко нагнулся к переговорной трубке.

— Вагин, как курс?

— По ниточке,— поднялся из рубки приглушенный ответ.

Катер бесшумно углублялся в фиорд. Лишь легкое шуршание за бортом подтверждало, что вода, хотя и невидимая, существует.

— Мухин! — неслышно шепнул Морошко.— Смотри! Глазами, ушами, носом! Чем можешь, смотри!

— Смотрю! — так же беззвучно отозвался сигнальщик.

Морошко стоял, покусывая губы. Назойливая мелкая дрожь волнения ходила по его телу. Туман перестарался. Он был чересчур густ. В этой непрогляди можно было на что-нибудь напороться. Морошко держал руки на весу, чтобы в любое мгновение, не задев ни за что, с лету ухватить холодные ручки телеграфа или нажать кнопку ревуна. Тишина давила, становилась невыносимой. Стар-

ший лейтенант знал, что рядом, у орудий и пулеметов, такая же дрожь волнения ходит по телам людей, стоящих в предельном напряжении нервов.

— Товарищ старший лейтенант!

Морошко резко подался к сигнальщику.

— Плещет! — шепнул Мухин.— Слышите?

Морошко напряг слух. Плеск шел спереди еле слышный, с ровными промежутками. Он был похож на плеск весел. Это было неприятно. Наскочить в тумане на шлюпку! Затрещит дерево, заорут в испуге люди, и все обнаружится раньше времени. Только этого не хватало!

Пальцы рванули рукоятку телеграфа. Тихая воркотня мотора умолкла. Плеск, идущий из молочного раствора впереди катера, близился. Морошко весь вытянулся вперед и облегченно вздохнул. Так могла шуметь только вода, лижущая камни.

— Два право,— сказал старший лейтенант рулевому, и катер послушно уклонился от курса. На мостик пахнуло холодом. Туман заколебался. На миг зачернела вода, и Морошко увидел светлую кромку пены у гранитного лба, поднявшегося справа в уровень с мостиком.

— Так! — отметил он себе.— Бараний лоб. Очень хорошо! Орел Вагин! Провел, как в игольное ушко. А ну еще два — право. Так держать!

Оглянувшись на камень, он перегнулся через обвес и тихо позвал:

— Володин!

Лицо, очень белое в черной рамке ушанки, поднялось у мостика.

— Есть Володин.

— Подтяните карбас к борту, переберитесь на него, облейте барахло бензином и положите в середину бомбу. Вопросов нет?

— Нет, товарищ старший лейтенант.

Володин повернулся, и фигуру его размыло туманом. Морошко ощутил легкий толчок подтянутого к катеру карбаса. За кормой хрустнули сучья, и на мостик потянуло острым душком бензина. Боцман снова выступил из мглы.

— Сделано, товарищ старший лейтенант.

— Хорошо! Давайте на мостик!— Морошко нагнулся к переговорной трубке.— Вагин! На мостик!

Помощник и боцман стали рядом.

— Вагин, объявляю благодарность за образцовую проводку. Теперь — слушать! Сейчас открываю беглый огонь всеми средствами по правому берегу, пока не вызову ответный огонь. Вы, Володин, возьмите ракетницу и ступайте на корму. Как только фрицы ответят,— пускайте ракету в брюхо лоханки и отдавайте буксир. Я ворочаю к пирсу. Ты, Вагин, захватываешь двух мотористов, которых мы взяли у Пущина и Артемьева. Тройку своих! Всем автоматы и гранаты! Как уткнемся в баржу — пикируй на палубу. Кончай фашистов, которые пожелают помешать. Мотористов немедля в машину. Моторы захватить в целости, не дай бог, чтобы фрицы испортили... И мигом рубить швартовы. Дальнейшее по ходу операции. Можете идти!

— Разрешите сказать,— не удержался Вагин,— теперь я понял, зачем лайба.

— Какой догадливый,— с усмешкой сказал Морошко.— Раньше бы надо... Действуйте.

Вагин и боцман исчезли с мостика. Морошко перевел рукоятки телеграфа на «средний». Катер снова забрал ход, и зашумела вода за бортом. Морошко переступил с ноги на ногу, зачем-то натянул туже перчатки и посмотрел на смутно выступающие тени людей у носового орудийного расчета. Они стояли неподвижно, в том же изнуряющем напряжении.

И, глядя на них, Морошко подумал о том, как тяжек военный труд именно этим бесконечным, постоянным, неослабевающим напряжением всех чувств человека часами, сутками, неделями, месяцами, для того чтобы оно разрешилось несколькими мгновениями боя, в которые организм человека получает разрядку. Кончится бой, и снова приходит это истощающее длительное испытание чувств до нового боя. И понятно, почему люди так ждут боя, рвутся к нему. Он освобождает от связанности и позволяет делать то конкретное дело войны, для которого люди стоят у орудий и пулеметов.

— Орудия на правый борт! — скомандовал он.— Прицел двадцать! Огонь до отбоя, по способности!

Тонкое дуло носового описало полукруг.

Морошко сосчитал в уме до десяти и нажал кнопку ревуна.

Рваное огненное полотнище метнулось из ствола перед успокоенными темнотой глазами командира катера, и он стиснул веки, спасаясь от его пронзительного блеска. Катер

вздрогнул. Сухой грохот залпа мячиком раскатистого эха запрыгал по воде. Едва Морошко разжал ресницы, как его ослепил новый взблеск. Разорванный силой пороховых газов туман извивался фантастическими волокнами среди огненных языков. И в промежутке двух залпов старший лейтенант услыхал знакомый ворчливый железный клекот над головой. Справа глухо шумнули снарядные всплески. Угрожающее рычание подводных разрывов приподняло катер.

— Володин! Ракету! — крикнул Морошко, но на корме уже мигнул огонек.

Нитка ракеты прострочила туман. Малиновая звездочка вспыхнула в утробе карбаса, и над ним поднялось розовое зарево вспыхнувшего бензина. Оно быстро обратилось в ревущий высокий костер.

— Прекратить огонь!

Неожиданная тишина оглушила Морошко. И опять железно заклекотало в небе, и тяжелый отгул немецкого залпа прокатился вдали над невидимым берегом.

— Право на борт!

Катер стремительно накренило. Морошко ухватился за поручни.

— Качайте, фрицы! Забавы вам хватит, пока очухаетесь,— злорадно засмеялся он,— кройте! Я же знаю — вы думаете, что подбили и зажгли мой корабль, и будете теперь надрываться по этому примусу, пока не устанете.

Но размышлять было некогда. По носу из тумана вырос черный край пирса и еще через минуту прижатый к нему низкий силуэт баржи.

— Володин, видишь баржу? — спросил Морошко у боцмана, повисшего на рукоятках пулемета.

— Вижу! Там фрицы возятся!

— Стриги под машинку!

Пулемет задрожал, выбрасывая остренькие иголочки огня.

Послышался отвратительный скрежет пулевой струи по железу. Борт баржи вырастал.

— Кранец! — крикнул Морошко, разворачивая корабль лагом.

Но кранец не успели подать. Сильный толчок посадил Морошко на колени. Он услышал треск. С катера на баржу рванулись краснофлотцы с Вагиным. Зачастили автоматы. С берега им отозвался солидным стуком дятла

немецкий пулемет, но Володин повел стволом на вспышки, и пулемет захлебнулся, словно очередной патрон стал ему костью поперек горла. На носу баржи гулко рванула граната. Осколки с канареечным писком пронеслись над головой Морошко. Кто-то завопил, и шумно плеснула вода. Все было быстрым и призрачным во тьме и тумане.

Внезапно против мостика на барже вырос силуэт. Морошко вскинул пистолет.

— Товарищ старший лейтенант! — силуэт докладывал голосом Вагина.— Баржа захвачена; команду ликвидировал, трех мотористов взял живьем... Швартовы обрублены.

— Есть, есть,— радостно сказал Морошко.— Моторы?

— В целости. Мотористы уже запускают.

— Справятся?

— А то!

— Пленных давай на катер!

— Не нужно! Пар стравили, помогают нашим мотористам.

— Смотри, не нагадили бы...

— Предупреждены!.. Чуть что — за борт!

— Ладно! Скорей давай ход! Какие фашисты ни ротозеи, но должны все же расчухать, на какое барахло мы их подловили. Вон как кроют.

Немецкая батарея продолжала безостановочно бить по расплывчатому зареву горящего карбаса на середине рейда.

— Командуй своим линкором,— сказал Морошко,— я пойду за тобой. Проползем под самым бережком, а в море нам черт не брат.

Под кормой баржи заурчал винт, и она стала отходить.

В эту минуту с карбаса грянул взрыв. Зарево высоко взметнулось и погасло. На бухту накатилась темнота. Гул немецких залпов утих.

— Слыхали, боцман? — спросил Морошко.— Вот и глубинная сослужила службу. Жаль, немножко рано. Пусть бы еще понадрывались. Зато теперь они уверены, что раскатали нас вчистую. Будут соображать, шнырять, разыскивать «утопающих».

Он замолчал и прислушался. Теперь с другой стороны от устья фиорда доносился артиллерийский гром. Артемьев и Пущин добросовестно старались, отвлекая на себя внимание батарей.

— Хорошо работают! Дельно!.. На корабле в порядке? Потерь нет?

— Особых не имеется, товарищ старший лейтенант. Старухина в плечо зацепило. Сидит ругается.

— Если ругается, значит, нормально.

По носу катера глухо рокотал винт баржи, и Морошко вел катер, вплотную «вися» на ее руле, чтобы не оторваться в темноте. Нервы его снова напряглись до предела, и сейчас, когда, казалось, самое рискованное и опасное осталось позади, он ощущал нарастающее беспокойство. Чудилось, что туман полон движениями вражеских кораблей, разыскивающих катер и уведенную баржу. Морошко топтался по мостику, беспрерывно облизывая пересыхающие губы.

Он успокоился лишь в океане, когда туман неожиданно свернулся, как занавес, и перед катером раскрылась черная ширь с катящимися по ней барашками, поднятыми тугим норд-вестом. Баржа благополучно тарахтела впереди, и невдалеке мелькали вспышки залпов 1014-го и 1017-го.

Морошко радировал им кодом прекратить огонь и идти на соединение. После этого он почувствовал неодолимую, связывающую тело усталость. Ноги и голова налились чугуном. Но это была хорошая боевая усталость. Он опустился на разножку, взглянул на рулевого и, зевнув, сказал:

— А хороша морская служба, Ланцов!

— Определенно, товарищ старший лейтенант,— спокойно отозвался рулевой, не отрывая глаз от картушки,— надо полагать, что я на всю жизнь в море останусь.

Засерел осенний рассвет, окрасив воду матовым оттенком мышиной шерстки. Морошко подвел 1012-й к борту баржи. Оба корабля шли рядом, и он мог разговаривать с Вагиным обыкновенным голосом.

— Как у тебя с горючим?

— Хватает! — ответил Вагин.— Хорошая коробка, товарищ старший лейтенант. Прочная! Вчера на носу немцев гранатой шибанули, так только чуть палубу вдавило, даже клепок мало вышибло.

И Вагин любовно оглядел баржу с носа до кормы.

— А у тебя непорядок,— укоризненно сказал Морошко, тоже оглядев баржу.

— Непорядок? Где? — испугался Вагин.

— Ну как же, товарищ командир корабля! Идете в составе соединения на корабле, добытом потом и кровью, а где у вас флаг?

— В самом деле! — вскрикнул Вагин.— Как же это я?..

— Володин! — крикнул старший лейтенант.— Отпустите командиру приза флаг.

Боцман достал из ящика флаг и, свернув трубочкой, ловко перекинул на баржу. Его на лету поймал краснофлотец и побежал по скользкой палубе. Повозившись около флага, он стал смирно, выжидательно смотря на Вагина.

— На флаг, смирно! Флаг поднять!

Краснофлотцы на катере и барже стали по положению. Морошко, Вагин и боцман поднесли руки к фуражкам. Белый сверточек взвился высоко и развернулся, заголубев узкой полоской по краю. Ветер подхватил ткань, и она мягко заплескала.

Со стороны это могло показаться смешным, сентиментальным эффектом. Но для людей, которые неподвижно стояли на палубах, это было очень всерьез. Флаг, под которым они жили, ради славы и чести которого рисковали жизнями в дерзком ночном бою, осенил своим полотнищем новый корабль флота. Пусть это была только самоходная баржа. Флаг говорил о победе — это было главное.

— Вольно! — скомандовал Вагин, и, перебивая его, Мухин на мостике 1012-го крикнул:

— Слева, курсовой семьдесят, два дыма!

Морошко схватил бинокль. Из-за горизонта выплыли две низкие, быстро бегущие черточки — немецкие сторожевики.

— Корабль к бою изготовить! — сказал он, опуская бинокль, и весело добавил:— А подраться не придется. Поздно хватились! Жмем сейчас к берегу под свои пушки. Пусть понюхают!

Отряд круто свернул к самому берегу. Было видно, что сторожевики, нашедшие наконец в океане уведенную баржу, идут во всю мощь своих механизмов. Их носы скрывались в высоких нежно-белых бурунах. По головному перебежали блуждающие огоньки, и два фонтана встали из воды недолетом позади отряда, медленно осыпав водяную пыль.

— А ну, еще разок! — прищурился Морошко.

Новая цепочка огней опоясала сторожевики, но на берегу уже разглядели и всплески, и катера, и баржу, и преследователей. Берег ответил на вызов такой же гремящей огненной цепочкой. Изгородь белых столбов встала перед сторожевиками. Выпустив последний залп, они резко отвернули и ушли за зубчатую от зыби линию горизонта.

Тогда Морошко вторично ощутил груз непреодолимой усталости. Веки непроизвольно слипались. Он повернул голову к рулевому и с трудом выговорил склеенными губами:

— Ланцов, я вздремну две мину...

Договорить он уже не смог. Голова его склонилась вперед, уперлась лбом в доску столика, и рулевой услышал нежное посапывание.

Морошко спал, и во сне перед ним развернулся неизвестный, но странно знакомый морской берег. Сам он стоял на вершине холма и смотрел на лежащий внизу, озаренный солнцем, красивый город. Море вокруг него было очень синим, а белые дома города сверкали, как рассыпанные в зелени кубики сахара. Сам Морошко был Морошко и в то же время не Морошко. Он чувствовал себя собой, но вместо старого боевого реглана, в масляных пятнах и прожженного в двух местах, на нем был узкий мундир с золотой вышивкой на лацканах. Длинные подвитые волосы падали ему на плечи. Он стоял, подбоченясь, упирая в бедро зрительную трубку с бронзовой оковкой.

На прибрежных высотах клубился белый пороховой дым, и круглые пушистые шарики дыма вспыхивали внизу на длинной набережной, где царила суматоха. А в море уходили, распустив крылья парусов, большие высокие корабли, прощально опоясываясь дымом залпов.

К Морошко, который был не Морошко, подошел человек в синем кафтане, пересеченном от плеча к бедру трехцветной лентой. Морошко никогда не видел его, но непонятно узнал и вспомнил, что его имя Гаспарен.

Человек в кафтане поклонился и сказал не по-русски, но вполне понятно для Морошко:

— Гражданин генерал, республика не забудет твоей услуги!

Морошко хотел ответить, но с испугом почувствовал, что не может припомнить ни слова на том языке, на котором следовало отвечать. Тогда Гаспарен нахмурился и толкнул Морошко...

— Товарищ старший лейтенант,— говорил Ланцов, подталкивая командира под локоть,— просыпайтесь! Уже боны прошли!

Морошко вскочил, протирая глаза.

— Приснится же такое! Тьфу!

И он плюнул за борт.

Катера стали стайкой у родного пирса. С высоты мостика Морошко оглядел выстроенную на палубе команду. На этот раз мотористы не вешали голов, а весело и открыто смотрели в глаза командиру.

— Хорошо,— сказал старший лейтенант,— констатирую факт, что в протекшей операции корабль и люди полностью ликвидировали отставание. Таким кораблем приятно командовать. И на нем я считаю за честь служить!

По лицам краснофлотцев прошла одинаковая, чуть лукавая улыбка.

— Мы честно сделали свое маленькое дело. Спасибо за службу! — повысил голос Морошко, чувствуя наперед, что ответ будет дружным и громким, как всегда после удачи.— Разойтись! Начать большую приборку!

Он сошел с мостика и спустился в каюту. Нужно было сбросить боевое платье и переодеться для явки в штаб. И еще снять со щек наросшую за трое беспокойных суток щетину.

Он уже протирал одеколоном гладкую кожу, щурясь от приятного холодка и пощипывания, когда его окликнули сверху. Он высунулся из каюты и увидел наверху, над вырезом люка, командиров 1014-го и 1017-го, тоже бритых, веселых и оживленных.

— Мы готовы, товарищ старший лейтенант.

— Вылезаю,— ответил Морошко, натягивая шинель.

Он вышел на палубу подтянутый, свежий, здоровый.

— Хорош! — сказал Артемьев.— Картинка! Настоящий Бонапарт!

— Ты брось! — ответил Морошко.— Шутке место в компании, и всему свое время. Тронулись!

Артемьев смутился от неожиданно сухого тона командира звена. А Пущин смотрел на Морошко с выражением явного удивления, которое не осталось незаметным для старшего лейтенанта.

— Что ты так меня разглядываешь? — спросил он.— Не надоел еще?

— Знаешь,— сказал Пущин,— какой-то ты не тот.

— А именно?

— Не пойму, но не-тот. Совсем другой, чем вчера.

— Вырос на год точно! Вчера было двадцать семь, а сегодня уже двадцать восемь.

Пущин пожал плечами.

— Нет! — сказал он убежденно.— Гораздо больше, чем на год... Так лет на пять.

— Ладно! — усмехнулся Морошко.— Еще скажи на пятьдесят... Пошли, хлопцы, контр-адмирал ждет. А вечером обязательно жду на треску. Сегодня по-настоящему буду справлять день рождения.

1944

В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ

— Странно! — вслух сказал старший лейтенант и с досадой опустил бинокль.

За минуту перед этим он пытался обнаружить горизонт. Но попытка осталась тщетной. Недвижная серая завеса, от которой пахло сырым банным паром, висела со всех сторон. С мостика едва проглядывался нос катера.

Море было непонятно тихим. До того тихим, что тишина эта казалась нереальной и внушала тревогу. Если бы дело было в июле, старший лейтенант не проявлял бы беспокойства. Но мертвый штиль на Черном море в декабрьскую ночь был настолько необычен, что командиру катера становилось не по себе. Тишина засосала все звуки. Даже привычный четкий шорох распарываемой форштевнем воды почти заглох. На мгновение у Серова возникла нелепая, но настойчивая мысль, что вода вообще исчезла куда-то и катер висит в беззвучной, удушливой пустоте. Это ощущение было таким томительным и пугающим, что старший лейтенант невольно перегнулся за обвес мостика и посмотрел вниз, под борт. Слабый отсвет, похожий на холодный блеск отполированного черного мрамора, обрадовал его. Это была вода, и она была на надлежащем месте. Но она лежала за бортом так тяжело и неподвижно, как развернутая штука плотного атласа, брошенная на прилавке.

Серов отвел взгляд от воды и посмотрел на темные молчаливые силуэты рулевого и сигнальщика. Внешне

все было в порядке. Чуть заметными шевелениями рук рулевой твердо удерживал катер на заданном курсе. По слегка сгорбленной спине сигнальщика было видно, что он напряженно и внимательно всматривается в темноту. Но чувство неотвязного беспокойства не оставляло командира. Он испытывал настоятельную потребность заглушить его движением, но на мостике катера не разгуляешься. Ему оставалось только переступать с ноги на ногу на своей маленькой платформе, а это не приносило успокоения.

И Серов искренне обрадовался, когда, взглянув назад, увидел в пролете обвеса над трапиком фуражку и голову боцмана Люлько.

— Разрешите доложить,— боцман говорил вполголоса — время вышло двадцать два часа. Показание двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять. Люди собравшись в кубрике, согласно вашему приказанию.

— Отлично, Люлько! — произнес старший лейтенант, подчеркнуто бодро.— Останетесь за меня на мостике. Посматривайте в оба. Вернусь через двадцать минут. Вам пришлем все на мостик.

Он пропустил боцмана на платформу, спрыгнул с мостика на палубу и, на ходу расстегивая кожаный реглан, поспешно прошел в корму, осторожно приоткрыл кормовой люк и спустился вниз. На диванчике игрушечной каюты лежала приготовленная отглаженная парадная тужурка. Подволочная лампочка лучистыми искорками отражалась в сияющих пуговицах. Серов стянул меховой жилет, свитер, надел тужурку, посмотрел на себя в стенное зеркальце, пригладил волосы и, выйдя из каюты, открыл дверь в моторный отсек. Его обдало сытным маслянистым теплом, слепящим блеском двухсотваттных ламп, усиленных белизной стен отсека, могучим гулом механизмов. Старший лейтенант на мгновение зажмурился.

Когда он открыл глаза, мотористы стояли смирно и смотрели на командира.

— Как живете, ребятки? С праздником и чтоб нам еще много вместе плавалось!

— Спасибо, товарищ старший лейтенант. Вас обратно! — дружно и весело ответили мотористы.

У них были спокойные, здоровые, разрумяненные теплотой отсека лица, в отсеке было светло, чисто и празднично, но, странное дело, эта атмосфера благополучия,

довольства и бодрости не успокоила тревоги, сосущей сердце командира. Сам не понимая ее причины, Серов прислушался к отчетливому звенящему рокоту моторов и, пройдя второй отсек, распахнул дверь кубрика.

В кубрике было еще веселей. Командира встретил раскатистый, жизнерадостный смех. Принаряженные краснофлотцы тесной кучкой сгрудились у стола спинами к Серову. И эти молодые, налитые силой спины дрожали от хохота. Люди были так увлечены весельем, что не сразу заметили командира, и лишь спустя несколько секунд оглянувшийся на дверь радист Васюков подал команду. Краснофлотцы выпрямились, удерживая смех.

— Вольно... вольно! — сказал Серов.— Продолжайте веселиться. Что у вас так весело?

Кубрик тоже имел праздничный вид. Под подволоком были развешаны сигнальные флаги и зеленые гирлянды из туевых веток, нарубленных перед походом в саду базы. Маленький стол был на эту ночь увеличен наделкой из аварийных досок и покрыт простынями. Под сильным светом лампы они казались голубыми, холодно свежими, как только что выпавший снег.

— Вот гляньте, товарищ старший лейтенант,— сказал командир носовой пушки старшина Бельченко и бесцеремонно отодвинул рукой ближайших соседей,— кок, черт, чего учудил.

У бокового конца стола стоял с самоуверенной усмешкой человека, знающего цену своему делу, толстенький рыжеватый одессит Фигельский, катерный кок и одновременно заряжающий кормовой пушки. На голове его высился свежий, без пятнышка колпак. Он сложил на животе пухлые короткие руки и склонил голову набок. Взглянув на стол, Серов понял причину веселья. Посреди стола лежал на блюде, рыльцем к командиру, отсвечивая вкусным глянцем коричневатой подпеченной кожицы, жареный поросенок. Под вздернутым кверху пятачком у него были приклеены коротенькие — щетинкой — усики из зачерненной расплетенной каболки. Такая же прядка свисала на плоский поросячий лоб, и, оскалив мелкие зубы, поросенок усмехался, поросенок, до странности похожий на Гитлера.

Серов засмеялся.

— Талантливо сделано, товарищ Фигельский! Только что же так обижать честного свиненка? Как бы аппетит не испортили.

— Это он нарочно, товарищ старший лейтенант, чтоб ему больше осталось. И так, пока жарил, мы дежурили, как бы он ножку не угрыз до поры.

Опять вспыхнул раскатистый хохот. Серов отвернул рукав тужурки и взглянул на часы.

— Можно приступать, товарищи. Разливайте, Фигельский.

Кок торжественно вытащил из ведра бутылку шампанского. Пробка с гулким хлопком ударилась в подволок, и все проследили глазами ее взлет и падение. Обернув бутылку полотенцем, Фигельский, оттопырив губы, расцедил шампанское в подставляемые кружки. Разобрав их, краснофлотцы повернулись к командиру. Серов шагнул к столу и взял свою кружку. В кубрике стало тихо.

— Дорогие мои товарищи,— сказал старший лейтенант, обводя взглядом знакомые лица,— мы отмечаем сегодня праздник, который бывает только у нас, моряков. Мы собрались в ту минуту, когда в нашей рубке лаг отмечает хорошую цифру — тридцать тысяч миль, пройденных нашим кораблем за эти боевые годы. Это немало, и мы можем этим гордиться. Особенно потому, что путь этот был для нас путем чести и побед. Мы без стыда можем смотреть в глаза народу. Мы прошли эти мили не без потерь, но это неизбежно. Всякий раз, когда из строя выбывал друг, наши глаза наполнялись слезами, но сердца наливались гневом и местью. Мы мстили зло, как должны мстить моряки. Помянем добром ушедших и вспомним о том, что перед нами еще большая дорога. Тридцать тысяч миль — только часть этой дороги, курс которой проложен па карте к мохнатому сердцу врага... За то, чтоб нам жилось так же дружно и дралось так же крепко.— Серов поднял кружку и вдруг пошатнулся. Палуба затряслась под его ногами судорожной дрожью, прошедшей по всему корпусу катера. С кормы донеслось несколько резких ударов. Потом мгновенно угас здоровый ритм моторов, и в кубрике повисла смятенная тишина. Люди стояли, еще держа в руках кружки, но глаза у всех стали большими, настороженными, тревожными. Это длилось одно мгновенье. Серов рывком поставил кружку на стол, расплескав ее.

— Отставить праздник! По боевым постам! — крикнул он, поворачиваясь, и ринулся, вобрав голову в плечи, в моторный отсек. Навстречу ему оттуда бежал старшина моторной группы Ладин.

— В чем дело, Ладин?

Старшина вытянулся, и командир увидел, что у него непроизвольно дрожат губы.

— Спокойненько, спокойненько, товарищ Ладин,— сказал Серов скороговоркой, взяв старшину под локоть,— докладывайте.

— Намотали чего-то на левый винт, товарищ старший лейтенант. Вал не проворачивается, чем-то бьет об левый подзор. Выключил средний и правый, пока разберемся.

— Ну и дельно, старшина,— с нарочитой беззаботностью сказал Серов,— все нормально. Сейчас распутаемся.

Он прошел в каюту, схватил реглан и выскочил на палубу. Вокруг катера была все та же странная, тревожная тишина. Теперь, когда стихли урчание моторов и шорох воды, она стала еще более слышной и давящей. Освоившись с темнотой, командир различил у бомбовых стеллажей силуэты и услышал тихий разговор. Он шагнул к стеллажам.

— Кто тут?

— Я, товарищ старший лейтенант,— отозвался Люлько обычным голосом, и Серову полегчало.

Старый соратник и верный помощник, боцман на месте, вокруг не заметно ничего угрожающего, катер дремлет на сонной воде, как щепка в тихом пруду, и нет причин для особого волнения.

— Что произошло? — спросил командир, вплотную подойдя к боцману.

— Кто его знает, товарищ старший лейтенант. Шли по курсу тютелька в тютельку, на заданных оборотах, море, сами видите,— зеркало. Вдруг, слышу, ровно левый мотор сдавать стал. Думал, мотористы режим сбавили, перегрев или что... И тут как затарахтит под кормой, будто клепальным молотком кто прошелся. Потом стукнуло со всей силы раза три, как об камни, моторы стали... и тпру — приехали.

— Что делаете? — спросил Серов.

— Промерили слева — дна нет. За кормой чисто. Да и по карте тут девяносто пять метров. Линкору и то не за что чиркнуть. Намотали — ясное дело. А что намотали?

Командир подошел к борту и, придерживаясь за стойки стеллажа, свесился вниз, к самой воде. Но не увидел ничего, кроме того же недвижного отблеска черного мрамора, мрачного, как на надгробном памятнике.

— Ничего не вижу.

— Посветить бы,— сказал Люлько.

— Только осторожно,— ответил старший лейтенант,— берег недалеко. Оттуда тебе так засветят — не обрадуешься. А может, и какая-нибудь немецкая посуда вокруг нас бродит.

Оба прислушались. Но в море было по-прежнему тихо, и боцман взял у краснофлотца принесенный аккумуляторный фонарик.

— Аккуратно свети. Только на воду,— приказал Серов, снова свешиваясь над водой. Круг света скользнул по ее поверхности и остановился. Вода из черной стала вдруг изумрудной, сверкающей, глубокой. Из глубины подымались круглые жемчужные пузырьки, промелькнула стайка мелкой рыбешки. Свет фонаря был слишком слаб, чтобы пронизать водную толщу на большую глубину, но все же старший лейтенант стал понемногу различать в зеленом мерцании смутные очертания чего-то черного, большого, словно прилипшего к корпусу корабля у левого винта. Но он не мог ни ясно разобрать этот предмет, ни даже предположить, что это такое.

— Гаси! — приказал он, возвращаясь в вертикальное положение.— Подтянули под корму какую-то дрянь, а какую — не могу понять. Придется нырять.

Нужно было послать человека в воду. В студеную, декабрьскую воду. Правда, ночь была не морозная, но все же такое купанье в декабре никому не могло доставить удовольствия. Однако другого выхода не было. Старший лейтенант задумался, перебирая в памяти людей. Из всей команды наиболее пригодным для такого дела был Бельченко, великолепный пловец и ныряльщик, постоянный защитник спортивной чести дивизиона на флотских заплывах. Но Серов колебался. На своем маленьком корабле он знал каждого не только по службе. Ему была известна вся подноготная людей, их внеслужебные, семейные дела, радости и горести. Он знал, что Бельченко всего неделю назад получил из дому письмо с известием о рождении сына. Старшина показал письмо своему командиру первому, а потом со счастливой гордостью читал и перечитывал письмо по очереди всем товарищам, мечтая, как он поедет в отпуск и увидит своего парнишку.

Ночное купанье в море было чревато неожиданностями. Черт знает, что болтается в глубине под кормой. Ледяная вода грозила воспалением легких. Человек, лезу-

щий в нее, мог никогда не увидеть семьи. И Серов не решался выговорить имя старшины. Но колебание разрешилось соображениями целесообразности. Для корабля, для всех людей будет лучше, если пойдет Бельченко.

— Бельченко! — громко и уже спокойно произнес лейтенант, и, неслышно ступая по палубе, старшина подошел к командиру.

— Есть Бельченко.

Голос старшины прозвучал также обыденно спокойно, и, приблизясь к старшине, командир увидел внимательные глаза человека, ждущего приказа.

«Так и должно быть»,— подумал с облегчением Серов и сказал:

— Придется, товарищ Бельченко, принять холодную ванну. Нужно разобраться, в чем там дело.

— Есть принять холодную ванну,— ответил Бельченко и, не ожидая продолжения, стал расстегивать бушлат.

— Люлько, тащите сюда тулуп, валенки и полотенца,— приказал старший лейтенант.

Бельченко аккуратно положил бушлат на стеллажи и продолжал раздеваться быстро, но без первной торопливости, и эти деловитость и спокойствие старшины понравились Серову.

— Не сидите долго под водой, чтоб не простыть. Лучше вылезайте чаще. Разотрем полотенцами, согреем, тогда опять можно лезть.

— Ничего мне не сделается, товарищ старший лейтенант,— весело ответил Бельченко и голый шагнул к борту, странно белея наготой в сыром сумраке тумана. Подошедший Люлько обвязал старшину под мышками тросом. Бельченко перенес ногу через релинг и присел на корточки на борту.— Можно, товарищ старший лейтенант?

— Можно,— ответил Серов, стараясь влить как можно больше тепла в короткое слово, и старшина беззвучно скользнул вниз. Голова его исчезла в колыхнувшемся на мгновение застылом блестящем мраморе. Время, проведенное старшиной под водой, показалось Серову невероятно долгим. Он уже раскрыл рот, чтобы крикнуть боцману: «Тащи!», но вода колыхнулась опять. Вынырнула мокрая голова, плечи. Подтянутый тросом старшина ухватился за бортик, и руки боцмана и командира рывком вытащили его на палубу.

— Полотенца! — крикнул Серов и, схватив полотенце, стал ожесточенно растирать спину старшины, но Бельченко неожиданно отстранил полотенце.

— Постойте, товарищ старший лейтенант,— произнес он таким странным и повелительным тоном, что Серов непроизвольно опустил руки,— это дело второе. Разрешите сперва доложить.

— Хоть набрось тулуп. Дайте тулуп!

Серов набросил на плечи Бельченко тулуп и запахнул его.

— Теперь докладывайте.

— Разрешите, товарищ старший лейтенант, секретно,— тихо сказал Бельченко, придвигаясь к командиру, и совсем не уставно, настойчиво потянул его за рукав реглана к кормовому флагштоку. Невольно подчиняясь этому властному жесту, Серов шагнул за ним и увидел лицо Бельченко, непохожее на то, какое он привык видеть. Оно словно осунулось и постарело.

— Плохое дело, товарищ старший лейтенант,— заговорил Бельченко,— намотали минреп, холера его задави. А на минрепе подтянули мину...

— Постой, постой,— перебил Серов,— не понимаю, как же мы могли ее поддеть на винты. Он же отвесно висит и на глубине...

— Бес его знает,— с досадой сказал старшина,— думается мне, что фрицы специальную новую пакость придумали. Мина, по всей видимости, не стояла на глубине, а плавала. И минреп тоже плавал.

— Что ж он, пеньковый, что ли? — с удивлением спросил Серов.

— Никак нет, тросовый, стальной. Только тоньшее нормального и на свободный конец бидон из-под горючего занайтовлен. Оттого он и плавал. Мы его и подцепили на левый. Минреп намотался и подтянул мину. Я, как нырнул, чуть ей на рога не сел, честное слово. Ее вплотную под винт затянуло и донцем к дейдвуду впритирку прижало. Так и висит рогами вниз, даже не качается. От одного рога до борта вот столько...— Бельченко растопырил пальцы.— Я прощупал. Пока тихо — оно ничего, а коли ветерок пойдет, начнет ее тревожить, минреп с вала малость слабину потравит, она отойдет повольготней, стукнет рогом... дело ясное. Надо минреп ножовкой пилить, иначе от нее не отвяжешься. А в темноте невозможно. Не углядишь, когда она отрываться будет, вовремя не

отпихнешь, поминай, как звали. Лучше до света к ней и не касаться.

— Есть,— машинально сказал Серов,— благодарю за службу, товарищ старшина. Ступайте греться. Скажите Фигельскому, чтоб выдал вам двойной морозный паек... И молчите! Как гроб, молчите! — прибавил он тихо, сдавливая плечо старшины.

— Понятно! — сказал Бельченко и, зашлепав босыми ногами по палубе, побежал к машинному люку.

Серов стоял неподвижно. Потом сразу вскинулся:

— Боцман!

Оклик вышел необычно резким, и Люлько вытянулся перед командиром.

— Есть, товарищ старший лейтенант.

— Вы слышали?

— Так точно, виноват... слышал,— сконфуженно признался Люлько.

— Ладно... Значит, знаете... Быстро действуйте. Всю команду наверх. В низах чтоб ни души. В моторном оставить одного только моториста. Всем надеть пояса и капок. Собрать людей на баке, и пусть сидят там, пока не будет от меня приказания. Сами будьте там же. Можете трепаться. Даже обязательно! Врите, что хотите, любую петрушку, только чтоб развесили уши и не волновались. Ступайте! И пошлите ко мне из рубки помощника.

И когда боцман, несколько удивленный небывалым приказанием «трепаться», хотел повернуться, Серов схватил его за плечо и, смотря в упор, сказал сдавленным голосом:

— Молись, Люлько! Кому хочешь — богу, черту, водяному, но сиди и молись, чтобы до утра ветерок не дохнул, чтоб рябинки на воде не было. Иначе...

Больше не спрашивая ни о чем, боцман ушел. Серов стал на палубе над тем самым местом, под которым в воде висела перевернутая вверх дном мина. Когда сзади прозвучали поспешные шаги помощника, старший лейтенант уже вернул себе нужное хладнокровие.

— Звягинцев, будешь все время на мостике. Наблюдай за людьми на баке. Я приказал команде находиться там. Следи, чтоб никто оттуда не двинулся без моего разрешения. Понятно?

— А что случилось? — по-детски наивно спросил помощник, округляя глаза. Ему было двадцать два года, и

он еще страдал неуемным молодым любопытством. Серов усмехнулся.

— Ничего не случилось, дорогой. Просто мне захотелось почудить. Придумал одну хитрую штуку. Вырастешь — поймешь... Ступай!.. Как барометр?

— Немножко ползет книзу.

— Вот и чудно... Как раз то, что мне и надо,— весело сказал старший лейтенант, а про себя выругался свирепой матросской бранью.

Звягинцев удалился. Серов видел, как его долговязая фигура вскарабкалась на мостик и застыла там. С бака доносился тихий разговор, разрываемый приглушенным смешком. Очевидно, боцман старательно выполнял приказание командира. Все шло, как должно. Оставалось ждать.

Серов плотно запахнул реглан на коленях и сел на глубинные бомбы. Он подумал на мгновение о том, что, по существу, нужно было бы сбросить их в море. Восемь больших и двадцать две малых — это было неплохое прибавление к висящей под днищем мине. Но сейчас же ему пришла в голову мысль о бесполезности этого предприятия. С бомбами или без них — одной мины было достаточно для того, чтобы хрупкая деревянная коробочка катера разлетелась в мелкие щепы. И вряд ли команду спасет удаление на бак. Но все-таки в этом была хоть иллюзия обеспечения людей от взрыва.

Сидеть было холодно. Старшему лейтенанту смертельно хотелось курить, хотя он знал, что папироса на глубинных бомбах — тягчайшее преступление. Но скулы сводило от непреодолимого желания втянуть теплый наркотический дым, и от этого на Серова накатила вдруг резкая нервная икота. Он с яростью засунул руку в карман, вытащил коробку, из которой успел выкурить до происшествия только одну папиросу, бешено смял ее в кулак и вышвырнул за корму, в непроницаемую тишину. Слабый всплеск немного успокоил его. Он разорвал это проклятое ночное безмолвие, которое все время тревожило его предчувствием какой-то беды.

Старший лейтенант глубже надвинул ушанку и, прислонясь спиной к рычагу бомбосбрасывателя, стал насвистывать один за другим выплывающие из памяти мотивы. Время от времени он прерывал свист, прислушиваясь. Но тишина глушила по-прежнему. А под его ногами чуть-чуть покачивалась в глубине притаившаяся

мина, и он, не видя, видел, как один из ее смертельных рогов вздрагивает у тонких досок днища. Серов с ненавистью думал об этой шарообразной смерти, присосавшейся к его кораблю и издевающейся над его беспомощностью. Именно беспомощность и заставляла его особенно ненавидеть мину. Она была сильна, он — бессилен, и это сознание беспомощности своего живого человеческого разума и воли перед мертвым безмозглым чугунным шаром приводило его в бешенство.

Иногда ему казалось, что катер начинает покачивать. Тогда он нервно вставал, чтобы проверить это ощущение стоя. В стоячем положении легче было ощутить качку. Но палуба была неподвижна, как пол прочно построенного дома, и старший лейтенант снова садился. Собственно, он не мог дать себе ясного ответа, зачем он сидит тут, вдалеке от своих людей, прямо над миной. Он ничем не мог помочь, не мог ни обезвредить мину, ни предупредить внезапный взрыв. Ему было одиноко и тоскливо, но он считал, что в опасности место командира там, где всего опаснее, и это было оправданием его поведения перед самим собой.

Ему очень хотелось жить. Жить для того, чтобы видеть море, которое он любил, которому отдал свою жизнь, видеть товарищей, с которыми он прошел боевой путь и с которыми ему хотелось жить и вместе драться и дальше. Жить для того, чтобы надеяться на встречу с женой и ребенком, жить для любви и счастья, в которое он крепко верил. Жизнь была очень хороша, и он не мог поверить, что она исчезнет в нелепом фонтане огня и вонючего рыжего дыма, который может каждую секунду вырваться из-под кормы.

Он припомнил далекие дни, солнечные улицы в белой, пахучей пене акаций, домик под черепичной крышей, солнце, рвущееся в промытые стекла и растекающееся прозрачным липовым медом по полу, нежные и лукавые от молодости и радости глаза жены и смешной топот обутых в шерстяные ступальцы толстых, перетянутых ниточками ножек сына, делающего первые шаги.

Должно быть, эти видения мирной жизни убаюкали его, потому что когда он открыл глаза, то увидел уже не сырую ночную тьму, а серебристое мерцание тумана, освещенного утренним светом, и наклоненное над ним встревоженное лицо Звягинцева.

— Товарищ старший лейтенант,— шептал помощник,— слышу звук моторов по правому борту. Поблизости корабль.

Серов вскочил на ноги. Прислушался. Из серебряной дрожащей пелены доносилось глухое постукивание моторов.

— «Зибель» тащится,— сказал он уверенно.

— Разрешите расчеты к орудиям? — спросил Звягинцев.

— Ни в коем случае. Слышите, он уходит.

Постукивание мотора явно заглухало. Не видный в тумане немец уходил на вест. Серов усмехнулся.

— Мы его успеем нагнать, если...— Он не кончил фразы и приказал: — Давайте сюда боцмана и Бельченко.

Теперь старшина нырял, вооруженный ножовкой. Люлько и Серов стояли у борта, не отрывая глаз от воды. На мостике маячил Звягинцев в ожидании знака командира, по которому он должен был дать ход, как только мина освободится от минрепа и всплывет. Ход надо было давать с максимальной осторожностью. Два-три оборота правого винта — и немедленный «стоп», чтобы кормовая струя не потянула за собой всплывшую смерть.

Бельченко нырял уже в пятый раз, упрямо отказываясь вылезть на палубу и погреться. Тело его от холода воды сперва покраснело, как обваренное, но после четвертого погружения сразу потеряло окраску и стало бледно-синеватым. Но, цокая зубами, стискивая трясущиеся губы, он цедил со злостью:

— Самая малость осталась, товарищ лейтенант. На ниточке висит. Не вылезу, пока не покончу с ней, стервой. Только бы она, чертовая мать, не кувырнулась рогами до горы раньше, чем я ее отпихну. Кувырнется — так не мы с ней, а она с нами кончит.

— Ровней работай, старшина,— сказал Серов, вкладывая в эту простую фразу просьбу, ласку и ободрение. Бельченко понял это и бледно улыбнулся.

— Не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант. Мне ж тоже жить завидно.

Он набрал воздуха и опять исчез под водой. Из глубины вырывались только пузыри, лопаясь с бульканьем на поверхности. Серов нагнулся над водой и вдруг резко отшатнулся назад. В тот миг, когда он совсем не ждал,

расплескав курящуюся туманом тяжелую воду, угрожающе медленно всплыл и перевернулся в метре от кормы блестящий черный шар с висящими нитями облепивших его водорослей. Он ритмично покачивался, показывая тупые гладкие рожки. Закусив губы, Серов вскинул руку.

Звягинцев на мостике тигром прыгнул к телеграфу. Справа из-под кормы, плеснув малахитовыми разводками, зашипела пена и тотчас же растаяла. Палуба дрогнула, и катер взял ход. Рогатый шар также покачивался за кормой, поворачивая рожки, словно плавучая смерть раздумывала, не погнаться ли ей за уходящим, перехитрившим ее катером и прикончить его.

Над бортом показалось лиловое от холода и натуги лицо Бельченко. Отплевываясь и задыхаясь, старшина вылез на палубу и прилег, не в силах подняться. Налитые кровью глаза искали командира, и когда взгляды встретились, старшина только безмолвно махнул рукой за корму.

— Боцман! — крикнул Серов.— Бельченко вниз! Растереть, укрыть одеялами, горячего чаю до ноздрей!.. Живо!

Он оглянулся на мину, побежал к пулемету, развернул его, ловя на мушку тающий уже в туманной дымке шар. Очередь прогрохотала над водой гулко и резко. Мина закачалась. Из ее корпуса винтом полез желтый дым. Она стала оседать и скрылась. Старший лейтенант отнял руки от рычагов и только в эту секунду ощутил, что голова его под ушанкой мокра и струйки пота стекают на глаза. Он сорвал ушанку и всей пятерней несколько раз с ожесточением вытер влажное, онемевшее лицо.

И сейчас же его обвеяло упругим дыханием взметенного воздуха. Точно невидимая рука стерла тряпкой с моря серую муть тумана. Открылся широкий простор, ограниченный далекой чертой горизонта, и оттуда к катеру стремительно неслась черная полоса, ширясь и набухая белыми пятнами барашков. С зюйда летел обычный шквал злой и коварной черноморской зимы.

— Вовремя отделались,— сказал Серов помощнику, указывая на шквальную полосу, и надел ушанку.— Команду в кубрик. Наверху остаться только вахте.

На баке задвигались люди, ныряя в кубричный люк. Серов, как и ночью, спустился в свою каюту, сбросил реглан, снял с полочки одеколон и, щедро намочив полотенце, тщательно вымыл лицо и шею, как бы стирая

с кожи память о прошедшей ночи. Потом прежним путем отправился в кубрик. В моторном отсеке уже деловито и старательно ревели два мотора обрадовавшиеся работе после вынужденного безделья. И мотористы смотрели на командира открыто, доверчиво и с нескрываемым одобрением. Это было приятно старшему лейтенанту, и он на ходу ласково потрепал по плечу Ладина.

— Аккуратненько вышло, старшина?

— Так точно, товарищ старший лейтенант. Лучше не надо.

В кубрике по-прежнему стояли у стола краснофлотцы, сверкая орденами и медалями на свежих фланельках. И поросенок, оскалясь, ожидал своей отсроченной миной неизбежной участи. В кружках дрожало от хода катера уже выдохшееся, не пускающее веселых пузырьков шампанское.

Серов приблизился к столу.

— Начнем сначала, товарищи. Праздник пришлось отложить по непредвиденным причинам. Что ж, по крайней мере, имеем возможность справить его дважды. Считаю это хорошей приметой. Подымем наши бокалы за наш корабль и за того из нас, благодаря которому корабль имеет шансы пройти еще столько же боевых миль, а мы имеем шанс дожить до старости, нянчить внуков и рассказывать им сказки о морских приключениях... За твое здоровье, Бельченко.

Бельченко удивленно вскинул глаза на командира и тотчас же опустил их. Лицо его запылало кровью, и ресницы опущенных век задрожали. Серов обнял его за плечи и притянул к себе.

— Чего застыдился, кра́сна де́вица. Верно говорю. Если б не ты, пришлось бы отложить праздник до воскресения из мертвых.

— Трудный праздник вышел, товарищ старший лейтенант,— тихо сказал Бельченко, теребя пальцами пояс.

— Верно! Трудный! Тем приятней его праздновать. Легкие праздники придут еще... Придут,— Серов повысил голос,— верьте, ребята. Я, ваш командир, говорю вам, что настанет это время. Дождемся! Садитесь!

Краснофлотцы расселись по скамьям, и Фигельский стал раскладывать на тарелки куски сочной розовой поросятины. На молодых зубах захрустели хрящи и косточки.

И в самом разгаре пира в открывшейся двери кубрика показался Звягинцев.

— Товарищ старший лейтенант! На горизонте справа курсовой тридцать, силуэт.

— Очень приятно,— проворчал Серов, обсасывая косточку.— Это тот самый «Зибель», который давеча прошлепал мимо нас. Будем его долбать!.. Не торопиться! — добавил он, видя, что краснофлотцы подымаются.— Команда имеет время докончить поросенка. Через десять минут, товарищ помощник, готовить корабль к бою. Со счастливым началом тридцать первой тысячи миль, товарищи!

<1945>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На исходе шестого месяца лечений лейтенанта Ивушкина направили в гарнизонную комиссию. Пять врачей в халатах поочередно и долго осматривали его голову, ощупывали лоб, постукивали по нему молоточками. Это было не больно, но противно. Ивушкин чувствовал себя не человеком, а каким-то неодушевленным предметом, возбуждающим холодное любопытство. Он терпеливо переносил процедуру освидетельствования и только хмурился. Когда же врачи уселись за стол и стали разговаривать вполголоса, употребляя непонятные медицинские термины, Ивушкин насторожился.

Наконец председатель комиссии поднял голову от бумаг, посмотрел на осунувшееся и раздраженное лицо летчика и благожелательно сказал:

— Ну, товарищ лейтенант, дело ясное. Уволим вас по чистой, можете переходить на мирный обиход.

Ивушкин поднялся со стула так порывисто, что врач тоже невольно привстал.

— То есть как по чистой? — спросил лейтенант, заметно побледнев.

— Как обыкновенно, товарищ лейтенант. Полная демобилизация. Ни летать, ни вообще воевать вам больше не придется. У вас такое повреждение лобной пазухи, при котором возможны любые мозговые осложнения, включительно до потери сознания и прочее. Так что к военной службе негодны, а дома, в нормальных условиях, можете найти спокойную работу.

— Дома? — переспросил Ивушкин.— Дома? А где мой дом? Есть у меня дом? Была у меня мать, была сестра. Обе погибли в Ленинграде. Ехать мне некуда, кроме полка. Мой дом — полк!

— Но нельзя вам в полк,— мягко сказал председатель комиссии,— поймите. Вы отвоевали, и никто вас не осудит.

— К черту! — грубо крикнул Ивушкин.— Оставьте ваши поучения. Я сказал: никуда, кроме полка, не поеду. Можете делать, что хотите, пишите свои бумажки, а я все равно уеду в полк.

И он вышел из кабинета, хлопнув дверью. Но в коридоре силы оставили его. Кровь прихлынула к голове. Он пошатнулся, опустился на скамью, и от невыносимой ломоты в висках с ресниц закапали слезы. Сестра подбежала к нему с бутылочкой нашатырного спирта. Он отвел ее руку, с мучительным усилием встал и, напрягая все тело, пошел по коридору ровным шагом, каким всегда ходил до ранения. Он не хотел здесь, в этом здании, показать, что он никуда не годен.

Председатель гарнизонной комиссии доложил о летчике Ивушкине начальнику санупраления, спрашивая его мнения. Старый и опытный врач выслушал его, пощипывая седеющую бородку.

— Что ж,— сказал он,— может быть, лейтенанту в мирном быту будет хуже. Дадим ему длительный отпуск с разрешением провести его в части. Поверьте, там ему будет лучше. Обстановка, знаете, делает чудеса.

В полку Ивушкина встретили с радостным удивлением. Его последний бой был памятен всем летчикам. Возвращаясь со штурмовки, Ивушкин был атакован двумя «фокке-вульфами». Вражеские самолеты вели, видимо, матерые воздушные волки. Один зашел сбоку, другой атаковал в лоб. Бокового стрелок отогнал, но шедший в лоб ударил из пушек и пулеметов почти в упор. Снарядом высадило бронестекло кабины, и осколок пробил лоб Ивушкину. Он все же успел довести самолет до аэродрома и посадил его. Вынули его из кабины в бессознательном состоянии, и стрелок рассказывал, что летчик сажал машину, уже будучи без памяти, каким-то непонятным инстинктом. При первом осмотре врач эскадрильи при-

знал положение лейтенанта безнадежным, и друзья считали, что Ивушкин навсегда потерян.

Поэтому его появление вызвало шумную радость. Он переходил из объятий в объятия, и даже командир полка майор Горлов, человек молчаливый и сдержанный, крепко расцеловал летчика. Ивушкину было всего девятнадцать, и он был самым молодым в своей молодой эскадрилье.

Объяснив майору положение, Ивушкин с первых слов попросил дать ему какую-нибудь работу. Майор задумался:

— Что я тебе дам, Ивушка плакучая? Да и нужно ли? Поживи с месяц так, отдохни как следует, а там подумаем.

Но, заметив страдальческую гримасу Ивушкина, майор отвел глаза и поспешно закончил:

— Ну-ну, не нервничай! Понимаю, что тебе скучно. На политработу тебя посадить, так ведь ты, вроде меня, не мастер разговаривать. Что бы для тебя выдумать? Погоди, нам тут прислали вагон оружейников. Все зеленой молодежи. А ты оружие знаешь. Вот и займись с ними.

Ивушкин просветлел. То, что предлагал командир полка, было настоящим офицерским делом. И уже на следующее утро лейтенант собрал оружейников и приступил к занятиям. Оружейники действительно оказались зелеными новичками свежего набора, и с первого занятия Ивушкин в роли профессора почувствовал себя уверенно. Его только смутило, что среди оружейников было несколько девушек. С ними он не привык обращаться. Он вообще недолюбливал «этот элемент», как он выражался, так как не мог найти с «элементом» надлежащего тона. Особенно нервировала его одна из оружейниц — Таня Удальцова. Когда Ивушкин проводил занятия по оружию и объяснял взаимодействие механизмов, она, как и все, смотрела на него внимательно, полураскрыв большой детский рот, уставясь в лицо лейтенанта настороженными серыми глазами, но когда он заставлял ее повторить объяснение или собрать разобранный замок, девушка только моргала ресницами, заикалась, и детали вываливались из ее непослушных пальцев. Тогда Ивушкин выходил из себя.

— О чем вы думаете, Удальцова? Чем у вас голова набита? Что у вас, уши прической заложены? — закричал он однажды в негодовании.

Она посмотрела на него теми же растерянными глазами и ответила под хохот всех оружейников наивным голосом:

— А у меня, товарищ лейтенант, и прически нет. Я же начисто стриженная.

Ивушкин в отчаянии чертыхнулся.

Так он жил в родной эскадрилье больше месяца, но дело обучения, за которое он сначала ухватился с жаром, постепенно стало казаться ему малозначительным и тоскливым. Каждый день на аэродроме ревели моторы, штурмовики, стремительно пробежав по полю, взмывали в небо. Друзья возвращались со штурмовок, разгоряченные боем, рассказывали о своих приключениях и снова вылетали. Ивушкин с горечью смотрел на уходящие в бой самолеты, с мучительным чувством собственной беспомощности и ненужности слушал рассказы. Его тянуло с непреодолимой силой к самолету. В самолете была его жизнь. Ведь недаром же он в самом начале войны удрал из школы в авиацию.

В конце концов он не выдержал и пошел к майору.

— Товарищ командир полка,— сказал он дрожащими губами, теребя поясной ремень,— не могу жить без воздуха. Вот, честное слово, чувствую, что не могу. Дайте полетать! Хоть на «ПО-два». Ну буду почту возить, офицеров связи. Тихонько, осторожненько, даю слово, только чтобы в воздух. Я же совсем тут поправился. У меня больше и голова не болит.

В первый раз командир полка отказал наотрез. Ивушкин ушел от него потрясенный и убитый. Вечером он выпросил у старшего сержанта Котикова бутылку водки и страшно напился. Его увели спать и доложили утром о случае командиру полка. Тот задумался. Никогда с Ивушкиным ничего подобного не было. Командир полка вызвал Ивушкина. В откровенном разговоре он понял, что просьба лейтенанта не каприз, что этот юноша действительно одержим настоящей страстью к воздуху и что отказ для него равносилен смертному приговору.

И майор скрепя сердце разрешил Ивушкину пробный полет на связной машине. Ивушкин летал на глазах командира, и майор, наблюдая за его маневрами в воздухе, увидел, что самолет управляется верной, твердой и умной рукой.

— Что ж, может, и выйдет,— сказал майор помощнику по политической части, рядом с ним наблюдавшему

за полетом Ивушкина.— Пусть летает, потому что, вижу, он без воздуха зачахнет.

Ивушкин стал летать, не оставляя педагогической деятельности. И на первых зачетных стрельбах, которые он провел для оружейников, лейтенант был буквально огорошен результатами, показанными пулеметом в руках «элемента». Очереди Удальцовой ложились с точностью и кучностью, и, кроме того, она разобрала и собрала пулемет, не сделав ни одной ошибки. После зачета лейтенант отозвал «элемент» в сторону и, пронзительно смотря на Удальцову, спросил с ехидством:

— Вы не можете мне объяснить, что это значит? На занятиях вы соображали, как дуб среди долины, а тут показали прыть. Вы что же, фильку валяли?

Удальцова, как и раньше, беспомощно заморгала:

— Я сама не знаю, товарищ лейтенант. Должно быть, с роду такая дурная. Со мной еще в школе всегда так было. Как учитель что-нибудь объясняет, я никак в толк не могу взять. А как только сама возьмусь, все у меня получается.

Ивушкин покровительственно крякнул, удивляясь такой странности, и неожиданно сказал:

— Так вот, если хотите, возьмитесь сами работать на стрелка. Стрелок из вас должен получиться.

Он продолжал ползать на своей «висячей смерти» бреющим полетом над полями, исправно развозя почту и связистов. Несколько раз во время этих полетов, когда приходилось напрягать зрение или мускулы, голову внезапно прохватывало болью и в глазах все туманилось. Но он преодолевал эту боль волей, и она появлялась все реже и, наконец, ушла окончательно. Тогда он снова пришел к майору. Он стоял перед ним, как и в первый раз, теребя пояс, и командир полка, видевший на своем веку немало и чуткий к людям, понял, о чем хочет говорить лейтенант. А поняв, предупредил его слова:

— Хочешь попробовать слетать на боевом? — ласково спросил он, прищурясь.— Я все хотел тебе предложить, да как-то времени не было. Не в бой, а так... в разведку для пробы. Или, может, рано еще?

Но по взгляду летчика, по его задрожавшим ресницам майор понял, что именно об этом мечтал Ивушкин.

— Ладно! Завтра попробуешь.

И лейтенант попробовал. Когда он взвился в воздух, когда почувствовал в своих руках «ИЛ», могучую, стре-

мительную боевую машину, ему показалось, что он не сможет больше вернуться на землю и так и останется навсегда в воздухе. Летя над полями и перелесками, ощущая всем телом полет машины, он вспомнил комнату, в которой заседала комиссия, разговор врачей о том, что он никогда больше не сможет летать, и усмехнулся. Все было ерундой. Все можно преодолеть, и для этого человеку нужны только страсть и воля. Возвратясь на аэродром, он посадил самолет впритирку, как сажал прежде. И майор, беспокойно ждавший его, крепко стиснул ему руку и сказал с любовной гордостью:

— Летать можешь! Получай машину, выбирай стрелка и гуляй.

И тогда Ивушкин изумил майора, попросив себе стрелком оружейницу Удальцову.

— Ты что, успел влюбиться? — спросил майор, распахнув глаза.

Ивушкин побелел от негодования.

— Не ждал от вас такой обиды, товарищ майор! — сказал он почти со слезами.— За кого вы меня принимаете? Так о нас только корреспонденты думают. Просто у нее отличные стрелковые данные.

Он получил новенький «ИЛ» и сделал на нем несколько пробных полетов, вывозя и тренируя своего стрелка. Учил он строго и придирчиво, и после посадок летчики слышали, как он кричал на весь аэродром, отчитывая стрелка за промашки:

— Стыд у вас есть? Есть стыд, товарищ Удальцова? Я за вас майору ручался, что из вас отличный стрелок будет, а вы что делаете?..

Стрелок стоял перед командиром, не возражая. Эти ежедневные разносы очень веселили аэродром. Наконец Ивушкин пошел с эскадрильей в боевую операцию. Операция была трудной: штурмовали узловую станцию, забитую немецкими эшелонами с солдатней и техникой. На станции эскадрилью встретил жестокий зенитный огонь, через который пришлось пробиваться напролом, а когда, закончив штурмовку, летчики уходили от пылающего на путях месива, на них навалились пятнадцать вражеских истребителей. В карусели боя строй рассеялся, и самолеты возвращались поодиночке. Летчики видели, как вспыхнул и упал кометой самолет старшего сержанта Машляка и как Ивушкин бросился в лоб на немца, сбившего Машляка.

Все машины уже приземлились, не было только Машляка и Ивушкина. Майор шагал по полю, закусив губу, и жалел, что позволил Ивушкину летать. Грустные размышления майора были прерваны радостным криком: «Летит!» Он вскинул голову и увидел уверенно ведомый истребитель. Майор узнал воздушный почерк Ивушкина.

Самолет приземлился, и майор, не скрывая радости, побежал к нему. Когда он добежал, улыбающийся, румяный летчик стоял на крыле.

— Ой и слетал, товарищ майор! — закричал он навстречу командиру.— Вот слетал! На станции наделал грому и сверх того троих счистил. За четвертым гнал, да из-за горючего пришлось возвращаться. Я вам говорил, что сделаю из Удальцовой стрелка, товарищ майор. Вот же бьет! Как бог, бьет! Раз взяла на мушку — готово.

Майор засмеялся, и смех его стал еще веселее, когда он услышал звонкий голос стрелка:

— Первый раз похвалили, а то все «растяпа» да «растяпа».

— Что же ты, Ивушкин, так неделикатно? — спросил майор, деланно хмуря брови.

Лейтенант покраснел до макушки, повернулся к стрелку и протянул руку.

— Извиняюсь,— сказал он,— больше не буду. Давай руку, товарищ стрелок,— экзамен сдала. Будем летать.

<1945>

АНЯ ИЗ ГРОСС-КНИППЕНХАЙНА

Вечером, когда Аня шла со скотного двора в господский дом с полным ведром только что отсепарированных сливок, за которыми ее послала повариха Гертруда, слух ее уловил в тишине сырого зимнего воздуха отдаленный, чуть слышный гром.

Она осторожно поставила ведро на землю, выпрямилась, отодвинула с уха натянутый на голову старенький пуховый платок и прислушалась.

Было похоже, что где-то очень-очень далеко по железной крыше, подпрыгивая на неровностях, катится тяжелый шар, медленно погромыхивая.

И от этого громыхания у Ани странно замерло сердце и руки стали мягкими, слабыми и безвольными. Ей показалось, что она больше не сможет поднять ведро с земли, и она испугалась. Она знала, что задерживаться нельзя, что длинноносая, костлявая Гертруда осыплет ее градом ругани и на крик Гертруды придет сама фрау Курцнагель, упрется водянистыми выпуклыми глазами в лицо и, зашипев, как змея, ударит по щеке потной, холодной ладонью.

В огромной кухне, налитой до потолка белым сверканием кафелей и блеском отчищенной посуды, расставленной на полках в раз навсегда заведенном порядке, пылал в плите неугасимый огонь. Казалось, что здесь был главный алтарь этого дома, на котором беспрестанно горело пламя в честь бога жратвы. У плиты стояла Гертруда в

белом фартуке, повязанном поверх клетчатого платья, и ворочала уполовником в дымящейся кастрюле.

Против ожидания она не обругала Аню. Молча сняв с полки серый, копенгагенского фарфора молочник, она налила его доверху сливками и поставила на лакированный поднос, где уже ожидала тарелочка с поджаренными ломтиками батона, посыпанными сыром и корицей. Аня торопливо размотала платок и оправила платье. Сейчас нужно будет отнести это ежедневное вечернее угощение герру Курцнагелю в кабинет.

В кабинете, как всегда, было полутемно. Горела только настольная лампа, освещая круг зеленого сукна на столе и лежащие бумаги. Курцнагель в толстом норвежском свитере, который делал еще массивнее его плотную фигуру, стоял коленом на кожаном стуле и держал телефонную трубку. Не замечая вошедшей с подносом Ани, он кричал взволнованным и хриплым голосом:

— Я не понимаю, герр оберст... Как уезжать? Зачем?.. Но, позвольте, вы же еще позавчера говорили, что никуда уезжать не нужно... Я же не смогу даже собрать мои вещи. И куда ехать? Как?... К чертовой бабушке? Я нахожу такие шутки... Что?.. Слушаю, герр оберст! Будет исполнено, герр оберст!

И Курцнагель закланялся невидимому собеседнику.

У Ани от слов Курцнагеля лихорадочно забилось сердце, и она поставила поднос на стол не беззвучно, как всегда, а почти уронив его. Курцнагель обернулся.

— Ты почему вошла без стука, дрянь? — рявкнул Курцнагель, шагнув к ней.

Аня втянула голову в плечи.

— Вы же запрещаете стучать, хозяин,— сказала она.

— Я тебе не позволял разговаривать. Молчать! — взвизгнул он, повернул Аню за плечо и, толкнув к двери, сказал вдогонку: — Сейчас же сходи в шоферскую и пришли мне всех трех. В один момент!

Он с треском захлопнул за Аней дверь. Все теперь стало для Ани ясным. Тяжелый шар, катившийся в отдалении по крыше, и телефонный разговор хозяина говорили об одном. И это было таким необычайно волнующим, невероятным и в то же время радостным, что ощущалось уже физически. Но свои чувства надо было скрывать, не показывать никому в этом проклятом доме.

Аня спокойно вошла в кухню, снова набросила на голову платок.

— Куда? — спросила Гертруда, подозрительно скосив глаза.

— Хозяин приказал позвать шоферов, фрау Гертруда.

Из трех шоферов, работавших у Курцнагеля, два, ездившие на грузовиках, были иностранцы. Один эльзасец, другой хорват. Оба были хорошие ребята, такие же обездоленные и лишенные родины, как и Аня. Но вождение легковой машины Курцнагель не мог доверить чужеземному рабу. На ней ездил немец Мориц. Курцнагель предусмотрительно подыскал себе такого шофера, которого не отняла бы у него война. Мориц был горбун. Маленький, весь искривленный, с серым истасканным лицом, пересеченным тонкой щелью рта, он был зол, как хорек, и нагло лип к женщинам. Когда Аня появлялась в шоферской, он цинично хватал ее за грудь высохшими руками, похожими на жабьи лапки, и она дрожала от отвращения и ненависти, но молчала потому, что Мориц был способен на любую подлость.

Перебежав двор, она открыла дверь шоферской и, не входя, крикнула:

— Все трое сейчас же к хозяину! Я советую поскорей, потому что у него плохое настроение.

— Анхен, иди сюда, курочка,— сказал, растягивая щель рта мерзкой усмешкой, Мориц, но Аня уже бежала обратно в дом.

В кухне Гертруда приказала ей чистить медные кастрюли. Натирая красную медь мазью, Аня сидела в углу кухни, сдвинув брови, и руки ее делали работу машинально. В виски стучала кровь, и с головокружительной быстротой сменялись мысли.

...Гром раздавался на востоке. На востоке была далекая, милая, никогда не меркнущая в памяти Родина. И Родина шла теперь сюда, к ненавистной Пруссии, к ненавистному дому, бывшему два года тюрьмой Ани. Родина надвигалась, как буря, ломающая решетки, срывающая оковы, в блеске молний, в торжественных раскатах победы.

Руки Ани, тонкие девичьи руки с потрескавшейся огрубелой кожей, как всегда, старательно втирали мазь в металл, но глаза ее видели родной Смоленск, опаленный войной, искалеченный, опустелый... Таким она помнила его, когда в осенний день последний раз шла по мертвым улицам родного города к разрушенному вокзалу, в кольце полицейских штыков, гонимая, как животное, в толпе не-

пуганных, поникших людей, захваченных облавой в домах и на улицах.

Ей казалось, что это было не два года, а двадцать лет назад.... А то время, когда она жила в своем доме, была школьницей девятого класса, любимицей отца, представлялось ей таким же отдаленным, как Древний Рим и Греция, о которых она читала в учебнике истории.

Да и было ли вообще это время? Не был ли это просто счастливый сон, какие снятся перед рассветом в пору ранней юности? Неужели она была комсомолкой, свободной, как птица, девушкой, которую не только никто не смел тронуть пальцем, но которой слово грубое никто не смел сказать? Неужели это было?

Когда фрау Курцнагель в первый раз дала ей пощечину, Аня едва не потеряла сознание от ярости, от поднявшейся в ней бури возмущения, гнева и протеста. Но, овладев собой, она кинулась на хозяйку. Тогда на помощь прибежала Гертруда, лакей Курт и, наконец, сам герр Курцнагель. Ее били в шесть рук, ее скрутили и бросили в чулан и продержали там пять суток без пищи. Может быть, ее уморили бы голодом, но выручило Аню знание немецкого языка. Такая рабыня была ценным товаром, и на шестые сутки Курт привел ее, не развязывая затекших и посиневших рук, в кабинет хозяина.

Герр Курцнагель сидел за своим столом и курил трубку. Розовое его лицо, лицо сытого кота, было благодушным и сияло довольством. Он приказал Курту развязать руки Ане и посадить ее в кресло. Улыбаясь, попыхивая голубым дымком ароматного табака, он прочел Ане длинную лекцию.

Он объяснил ей, что перемена, происшедшая в ее жизни, не временная, а навсегда, на тысячу и даже на несколько тысяч лет, пока будет существовать третья империя (а она должна существовать вечно), и что не только сама Аня, но ее дети, внуки и правнуки, как и все русские, будут рабами империи, и ей нужно с этим примириться. Всякое сопротивление непреложным законам империи карается без пощады, и это Аня должна запомнить. Каждый немец олицетворяет империю, и все не немцы должны слушаться немцев, как бога. Он, Курцнагель, на первый раз щадит Аню из-за ее молодости, но если...— в этот момент маска благодушия сползла с лица Курцнагеля, и Аня увидела перед собой окаменелое и же-

стокое лицо,— если еще раз она попытается протестовать, то будет немедленно уничтожена.

И Аня поняла, что нужно смириться. Не потому, что она поверила в непреложный закон империи, а потому, что ей не хотелось умирать бессмысленно, не увидев жизни; не веря в закон третьей империи, она в глубине сердца знала, что придет час, когда этот проклятый закон будет опрокинут силой Родины. И она стала жить, как жили все рабы в бараке Курцнагеля: французы, поляки, чехи, бельгийцы, сербы, голландцы.

— Ты что лентяйничаешь?

Окрик Гертруды, сопровожденный толчком, вывел Аню из оцепенения. Она встала, промыла кастрюли под струей воды, перетерла их, расставила на полках, каждую строго на свое место.

— Ступай спать,— приказала Гертруда,— завтра придется встать чуть свет.

Направляясь в свою холодную каморку, Аня слышала, как, проходя по коридору, Мориц говорил двум другим шоферам:

— Машины привести в полный порядок, залить баки, взять в кузова запас горючего. Дьявол знает, что будет в дороге. Может быть, нам придется мчаться без остановки до самого Штеттина. Когда эти проклятые русские начинают наступать, черт наращивает им крылья...

Аня захлопнула дверь каморки и опустилась на свою койку. Она понимала все. Армия Родины уже у ворот Книппенхайна. С ней идет и отмщение! В памяти ее всплыла мелодия старой песни, которую любил дома напевать отец:

Черные дни миновали,
Час искупленья пробил.

Музыка прозвучала в ней с такой силой, что Аня даже испугалась, не услышали ли ее в доме. Отмщение? Но ведь герр Курцнагель приказал шоферам приготовить на утро все три машины, и она сама слышала, как Мориц требовал взять как можно больше горючего. Значит, Курцнагель и фрау Курцнагель могут умчаться от возмездия и увезти на грузовиках из Гросс-Книппенхайна все те вещи, которые в течение войны привозились со станции почти каждую неделю. Их присылали сыновья Курцнагеля с фронта. Это были вещи с далекой Родины,

сделанные руками ее народа,— картины, фарфор, серебро, ткани, вышитые руками ее сестер. Это были краденые вещи, пропитанные невидимой кровью и страданиями.

Неужели все это уйдет вместе с Курцнагелем? Этого нельзя допустить.

Перед рассветом Аня осторожно, сантиметр за сантиметром, чтобы не выдать себя ни малейшим звуком, открыла оконце каморки и беззвучно соскользнула во двор. Прячась в тени дома, она стала пробираться к бараку. Она знала, что у его дверей бродят огромные и злобные псы, выученные бросаться на людей, нарушающих законы империи.

Но она не боялась их. Псы привыкли к ней и никогда не трогали.

Тихо отодвинула Аня засов, которым барак запирался на ночь, скользнула внутрь и прикрыла дверь.

Барак тонул в темноте, освещенный только слабым мерцанием единственного масляного фонаря. Аня услыхала тяжелое хриплое дыхание нескольких десятков человек, кашель, глухое болезненное бормотание. Она подошла к ближайшему, тихонько растолкала его и чуть слышно сказала:

— Буди всех, только тихо.

Она стояла у фонаря, в тесном кольце людей и говорила. Говорила шепотом, потому что говорить громко было нельзя. Говорила на необъяснимом языке. В бараке были люди разных национальностей, и Аня вплетала в свою речь, русскую в основном, немецкие фразы и те французские, чешские и другие слова, которые ей приходилось слышать за эти два года. И хотя она говорила шепотом и на непонятном языке, люди слушали ее и понимали, потому что она говорила о таких всем им понятных вещах, как ненависть, месть и свобода.

Когда утром в Гросс-Книппенхайн вошел эскадрон кавалеристов генерала Полозова, командир эскадрона лейтенант Морошко увидел у подъезда господского дома два доверху нагруженных чемоданами и сундуками грузовика и могучий, блестящий лаком открытый «оппель».

Подъехав вплотную к «оппелю», Морошко различил на переднем сиденье человека в заячьей куртке, склонившегося на баранку. Коротко стриженная голова его была раздвоена страшным ударом.

Морошко огляделся. Двор был пуст. От господского дома, серого и угрюмого, двумя полукругами расползались хозяйственные постройки, как жадные лапы, цепляющиеся за землю. Неподалеку от распахнутой двери барака лейтенант заметил трех плавающих в крови доберманов, вытянувших окоченелые лапы. Вокруг было тихо и мертво.

Морошко спрыгнул с седла... Вынув из кобуры пистолет и приказав двум бойцам идти за ним, он толкнул тяжелую дверь подъезда и вошел в дом.

Звеня шпорами, они прошли анфиладу комнат, открывая двери одну за другой и не находя ничего, кроме мебели. Наконец Морошко вошел в большую залу, обитую светло-зелеными обоями, с белой лакированной мебелью. Входя, он споткнулся об опрокинутое кресло, лежавшее у двери, и, выпрямляясь, разглядел на полу два трупа в рваной одежде. Из-за большого стола посреди комнаты виднелись чьи-то ноги в коричневых башмаках на толстой каучуковой подошве. Морошко обошел стол и увидел лежащего навзничь человека с круглым мясистым лицом и оттопыренными котячьими седыми усами. В его груди торчали углубившиеся в тело до рукоятки садовые вилы.

Морошко нагнулся над телом. Человек был мертв.

— Ну и сраженье тут было, товарищ лейтенант,— сказал один из бойцов,— чисто как на фронте.

Морошко поднялся и вздрогнул. В углу на кресле, не замеченная им до сих пор, сидела грузная женщина в черном шелковом платье, с багровым лицом. Она смотрела на лейтенанта одним выпученным стеклянным глазом, неподвижным и страшным. Другой был закрыт. Но в открытом глазу еще была жизнь, и он был наполнен злобой.

Лейтенант шагнул к женщине, но в эту минуту скрипнула дверь в противоположном углу комнаты. Бойцы вскинули автоматы. Дверь открылась. Человек в широких штанах из рубчатого вельвета, бывших когда-то коричневыми, а сейчас покрытых сальным глянцем, вошел в комнату, ведя под руку девушку в белом пуховом платочке. Она была странно бледна, и правая рука ее висела

на повязке; из-за пояса юбки высовывалась рукоятка пистолета.

Морошко опустил свой пистолет и спросил по-немецки:

— Что все это значит? Кто вы?

И тогда девушка ответила по-русски:

— Они хотели бежать. Хозяин, герр Курцнагель, и хозяйка. Они хотели бежать и увезти все, что они украли у нас. Я не позволила им. Он стал стрелять. Он убил двоих из нас, ранил меня. Тогда Мирко бросил в него вилы. Он умер. Она сошла с ума. Морица в автомобиле зарубил бельгиец Шарль. Мориц был с ними, хотя он шофер. Герр Курцнагель говорил, что закон империи будет существовать вечно. Теперь он этого не сказал бы...

— Но кто вы такая? — снова спросил лейтенант.

— Я Аня из Гросс-Книппенхайна. Но я хочу опять быть Аней из Смоленска. Я очень ждала Родину. Я знала, что Родина придет. Все, что есть в этом доме, принадлежит Родине. Он хотел уехать и поджечь дом. Он не уехал...

Она говорила все медленнее и, не докончив последней фразы, пошатнулась и упала вперед лицом на руки едва успевшего подхватить ее лейтенанта, на теплые, полные молодой силы руки пришедшей за ней Родины.

<1945>

ПИСЬМО

Собрав подписанные бумаги в папку, начальник штаба бесшумно вышел. Самсонов остался один в неуютном, большом, холодно-белом кабинете. Принесенный вестовым чай успел остыть за время разговора с начальником штаба, но контр-адмиралу не хотелось звонить и требовать новый. Он встал, взялся за витую ручку подстаканника, морщась, отпил полстакана и отошел к окну.

Странное чувство вялости и беспричинного беспокойства, которое он ощущал со вчерашнего вечера, не проходило. И он чувствовал, что не может и не хочет с ним бороться. Это почти пугало Самсонова. Он был здоровым человеком, не любил таких минут расслабленности и умел с ними быстро справляться.

Идя к окну, он мельком взглянул в узкое стенное зеркало, поставленное между окнами. В зеленоватом стеклянном льду прошла высокая фигура в синем кителе, и Самсонов отчетливо увидел на гладко зачесанных волосах сильный серебристый отблеск. Он невольно провел рукой по волосам.

«Неужели старость? — спросил он сам себя и усмехнулся.— Как будто рано! В сорок пять лет зачисляться в старики? Ерунда!»

Он отмахнулся от ненужной и нелепой мысли, как от мухи, и распахнул раму окна.

Утренний туман над бухтой еще не разошелся. Сквозь его влажное марево пробивался солнечный свет, придавая напитанному водяными парами воздуху нестерпимую

яркую белизну. В напряженном рассеянном свете все вокруг выглядело необычно и как будто празднично. Даже обгорелые трупы домов на той стороне южной бухты, окутанные мерцающей вуалью тумана, казались фантастической декорацией.

Северный берег висел над водой длинным розовым облачком. На нем вдалеке чуть виднелось зеленое пятнышко сада Новой Голландии. И на почти бесцветной глади рейда угловатой горой вставала серая тень линкора.

Блеск, свет, переливы тумана, бледные контуры разрушенных зданий были так чудесны, что Самсонову на миг почудилось, будто видимый за окном блистающий мир — светлое видение будущего, прообраз того Севастополя, который должен встать из пепла и крови на этих древних известняках.

Сзади запищал зуммер. Контр-адмирал вернулся к столу и поднял трубку. Далекий голос говорил торопливо:

— Товарищ контр-адмирал! Докладывает старший инженер-лейтенант Голосков со строительства батареи номер семнадцать...

— Ну! — резко сказал Самсонов, сразу настраиваясь враждебно, ожидая обычного бестолкового разговора с жалобами на какой-нибудь недоданный ящик гвоздей.— Почему вы, товарищ старший лейтенант, обращаетесь непосредственно ко мне, а не по команде?

Но хмурая гримаса сошла с лица Самсонова после первых же слов ответа. Разговор был неожиданный и необыкновенный. Старший лейтенант, от спешки сбиваясь в мыслях, докладывал, что при обследовании заброшенных пещер, под разбитой для батареи площадкой, в одной из них обнаружен труп моряка и найдено письмо на имя контр-адмирала.

— Как? — переспросил Самсонов.— Говорите точней и не спешите. Не понимаю. На мое имя, говорите?

— Так точно, товарищ контр-адмирал... Письмо, собственно, адресовано капитану второго ранга Самсонову, но поскольку предположительно оно написано в сорок втором году, когда вы были в означенном звании, то есть основания заключить, что оно адресовано вам.

— Друг мой, каким суконным языком вы разговариваете,— досадливо усмехнулся Самсонов,— «собственно... предположительно... основания заключить». Приучайтесь

говорить кратко и просто, по-русски... Ну, адресовано мне... а что в письме?

— Мы, товарищ контр-адмирал, не читали. Прикажете доставить вам?

Самсонов ответил не сразу. Он стоял, держа трубку у уха, и думал. Наконец сказал:

— Оставьте все, как есть до моего приезда. Через четверть часа буду у вас.

Когда автомобиль спускался в Килен-балку, летний день уже овладел землей. Туманная дымка растаяла, и исчез волшебный светящийся мир. Краски стали обыкновенными жесткими. Море в бухте потеряло фосфорическую мягкость окраски и горело ядовитой зеленью. Дорога петлями бежала по склону. Внизу, в долине Черной речки, между рыжими метелками камышей, оловянно блестели полоски воды — прошедший накануне сумасшедший июльский ливень залил все ямы русла. Справа над дорогой нависали бледно-желтые, как будто напудренные, глыбы инкерманских скал. Зажужжав на подъеме, машина выскочила на плоскогорье, заваленное бревнами, камнем, бочками цемента, ящиками.

Самсонов открыл дверцу. Навстречу бежал офицер. Выслушав рапорт, Самсонов коротко спросил:

— Где?

Офицер повел его к срезу обрыва. Нужно было спуститься по грубым, высоким, в полроста, вытертым веками, людьми и ветрами ступеням, выбитым в скале прошедшими здесь народами. Сползая по этим каменным уступам, Самсонов ощутил новый приступ вялости и непонятной тревоги. Ступени выводили на квадратную площадку над обрывом. В нависшей стене темнел вход пещеры. Самсонов вошел в теплый коричневый полумрак. Стены и потолок были выкопчены кострами в незапамятные времена, пол покрыт мягкой пылью. Ноги тонули в ней. При каждом шаге слышался легкий хруст раздавливаемых мелких ракушек. В глубине контр-адмирал увидел краснофлотцев в брезентовых рабочих платьях. Они молча расступились, пропуская контр-адмирала. Но никто даже не взглянул на него. Люди продолжали угрюмо смотреть в угол, где на стене, чуть выше человеческого роста, чернели выведенные огнем свечи или факела не-

разборчивые греческие буквы. Под этой надписью лежал крупный камень грубой кубической формы.

Подойдя вплотную, контр-адмирал разглядел то, что на расстоянии показалось ему кучей серых лоскутьев. Он увидел неясные очертания человеческого тела, прислоненного спиной к камню. Ноги были вытянуты и широко разведены. Наклонясь, Самсонов заметил ржавые шляпки гвоздей на толстых подошвах, плоско лежащие сплюснутые брюки, форменку. Все было покрыто серым налетом плесени и пыли. Закинутая подбородком кверху голова склонилась к плечу. Пустые глазницы на неразличимом лице и прилипший ко лбу крутой завиток волос тоже неразличимого цвета. У левой ноги рыже-красный от ржавчины немецкий автомат. На камне, к которому прислонился мертвец, лежала смятая фуражка, тоже серая и тусклая. И только эмалевая красная звездочка на ней сохранила живой блеск, похожий на каплю непросохшей крови.

Самсонов сосредоточенно смотрел на тело, на неузнаваемую голову, на фуражку, слыша за собой тяжелое дыхание краснофлотцев, как будто прошедших только что трудный подъем.

— Письмо... где? — с расстановкой спросил он наконец, оборачиваясь. Он чувствовал, что ему трудно говорить.

Старший лейтенант поднял с камня фуражку. Под ней лежал плоский четырехугольный предмет, похожий на портсигар. Офицер подал его Самсонову. Контр-адмирал увидел карманную записную книжку в клеенчатом переплете, сморщенном сыростью.

— Вы не пытались выяснить личность? — спросил Самсонов, ощупывая книжку.— Может быть, на нем есть документы?

— В книжке, товарищ контр-адмирал, обозначена фамилия и той же фамилией подписано письмо. Старшина первой статьи Чернухин.

— Что? Как вы сказали? — Самсонов отступил и, не веря себе, думая, что ослышался, смотрел на офицера.

— Чернухин, товарищ контр-адмирал.

Самсонов стиснул в пальцах книжку и резко повернулся опять к телу краснофлотца. В это короткое мгновение он пережил совсем особенное ощущение. Точно большая суровая рука стиснула его сердце и мгновенно выжала из него всю вялость, тревогу и расслабленность, которые скопились в нем со вчерашнего дня. И он сразу

почувствовал себя собранным, прежним, в любую секунду готовым к действию, уверенным. Теперь он смотрел на мертвого не рассеянно, а цепко и зорко, видя каждую мелочь, с пронзительной ясностью, видя одновременно и настоящее и прошлое.

Чернухин!.. Самсонов почти реально увидел свой крейсер, которым командовал в начале войны, свой мостик и «сокровище мостика», как шутя называли на корабле дальномерного старшину Чернухина. У этого человека были золотые глаза. В прямом и переносном смысле. В их теплых зрачках всегда мерцали золотые искорки, которые делали их похожими на камень «тигровый глаз». И у этих глаз была почти неправдоподобная зоркость горной птицы, привыкшей с высоты полета одним взглядом охватывать огромные горизонты земли и моря, не упуская ничего. Они заменяли дорогие оптические приборы, с ними можно было обходиться без биноклей, они были надежней и верней призм и окуляров. Дальномерщики бывают способные, талантливые и гениальные. Чернухин родился гениальным дальномерщиком. Он был гордостью всего корабля, гордостью командира. Если бы Самсонову предложили тогда за одного Чернухина всех дальномерщиков флота, он только засмеялся бы наивности такого предложения. Самсонов по-отечески любил Чернухина привязчивой и ревнивой любовью, не спускал его с глаз и вне службы называл ласково и нежно Сережей, как сына.

Но после несчастного дня, когда немецкая бомба накрыла крейсер на рейде и он в вихре дыма, пены и бурлящей воды тяжело лег всем бортом на воду и ушел в мягкий ил на дне, Чернухин, как и другие краснофлотцы, ушел на берег, в морскую пехоту, расплачиваться с немцами за смерть корабля.

После оставления Севастополя Самсонов долго допытывался у каждого вырвавшегося из вражеского кольца краснофлотца о судьбе своего любимца, но никто не мог ему ничего сказать. Были лишь глухие слухи, что незадолго до последнего штурма Чернухин ушел с тремя товарищами в разведку и после этого их не видали. Но Самсонов никак не мог и не хотел поверить в гибель Чернухина. Он не терял веры, что дальномерщик вернется и снова станет на мостике флагманского крейсера, рядом со своим старым командиром.

И вот... Чернухин вернулся.

— Как же так... Сережа? — очень тихо и с недоумением спросил Самсонов, вглядываясь в темноту пустых впадин черепа, где уже не было неоценимых золотистых глаз, в крутой черноморский чубчик на лбу, тщетно ища в уродливости смерти знакомой живой красоты.— Как же ты? — повторил он и, махнув рукой, отвернулся, чтобы спрятать от людей неудержимую дрожь лица.

Подымая ногами густую, стоящую в воздухе пыль, Самсонов быстро вышел под солнце, на каменную площадку, к которой спадали сверху ступени. Овладев собой, он сел на нижнюю ступень и, положив на колено записную книжку, раскрыл ее.

— Как прикажете с телом, товарищ контр-адмирал? — осторожно спросил вышедший следом за ним офицер.

— Подождите! — сказал Самсонов, отделяя с бережностью страницы.

Первые листки были заполнены адресами, какими-то формулами, видимо выписанными из учебника физики, отдельными записями. На одной страничке, мелко исписанной, Самсонов прочел строки монолога «Мцыри» и вспомнил, что часто видел у Чернухина томик Лермонтова. Вероятно, он выписал для памяти свои любимые стихи.

Самсонов перевернул еще несколько страниц и наконец увидел свое имя. Ровным, четким почерком Чернухина, химическим карандашом — буквы от влажности стали ярко-лиловыми и хорошо разбирались — было написано:

«Моему командиру корабля, капитану второго ранга, товарищу Самсонову.

Товарищ командир корабля!

Может, я пишу это напрасно, но, сам не знаю почему, надеюсь и даже уверен, что дойдет до вас мое письмо. Знаю, что мне конец. Хоть в медицине и не силен, но понять, что осколок мины в живот дело плохое,— нетрудно. Меня ранили, когда мы шли обратно с разведки. Мина накрыла вплотную. Товарищей порвало сразу насмерть, я уполз в темноте. Забрался сюда. Место это знаю еще с мирного времени. Немцам тут меня не найти. И тут окончится моя жизнь. Жить мне очень хочется. Но я согласен жить только на свободной своей земле, свободным советским человеком. Я мог бы остаться, где меня ранило. Но я не хочу жить, потеряв свободу и честь моряка. Это хуже самой собачьей смерти. Никогда не простили бы мне

друзья, не простила бы русская земля... и я сам не простил бы. Хорошо знать и чувствовать, что я и все товарищи, которые отдали свою жизнь за Севастополь, умираем не напрасно...»

Со следующей страницы четкость почерка исчезла. Он стал измененным, прерывистым. Видимо, Чернухин писал после значительного перерыва, рука его ослабела, и каждое слово стоило ему уже значительного напряжения.

«Знаю, что нам приходится трудно. Их много. Десятеро против одного. Зато мы и набьем их больше. Мы будем стоять до конца, и если они даже задавят нас, эти серые подлецы, которые хотят закоптить нашу чистую жизнь, все равно они ничего не добьются. Даже если мы оставим наш Севастополь, все-таки придет наш час, когда отольются им в сто раз наша кровь и наши матросские слезы. Больно было мне, товарищ капитан второго ранга, смотреть, как мордуют и рушат немцы наш боевой город. Больно и смотреть на море, в котором лежит наш дорогой корабль. Но я смотрю сквозь время и вижу и знаю, что никакая сила не сломит дела, которое начали товарищ Ленин и партия. Пали нас огнем, проклятый фашист, бей железом, надрывайся в злобе,— ничего не добьешься, жилу надорвешь! Встанем из подлого твоего огня сильнее, чем прежде! И Севастополь встанет еще грозней, чем был, и такой красивый, что глазам на него смотреть будет больно. А враг и совсем на него глянуть не сможет — ослепнет. К вам, товарищ капитан второго ранга, моя последняя просьба: как найдете меня, похороните тут же на горе, чтоб мог я смотреть на новый Севастополь, на всю нашу большую, непокоримую Советскую землю и вместе со всеми на нее радовался бы. Прощайте, товарищ капитан второго ранга! Прощайте, все товарищи! Стыдиться мне не за что. Умираю перед всеми чистый.

В том подписываюсь, старшина первой статьи

Сергей Чернухин».

Самсонов едва разбирал последние строки. Почерк становился неразборчивым. Видимо, каждое слово уже стоило умирающему больших усилий, и между отдельными словами, казалось, были значительные временные промежутки, когда Чернухин отдыхал, собирая силы. Но, кроме

того, перед глазами контр-адмирала стояла застилающая зрение пелена, через которую трудно было разбирать буквы.

Он закрыл книжку и сидел молча.

Перед ним вставала суровая картина одинокой, гордой смерти моряка, который не мог добраться к своим и предпочел смерть, чтобы не принять позора жизни от врага. Самсонов с острой отчетливостью видел, как в последний раз поднялась обессиленная рука старшины, положив под фуражку исписанную книжку, как склонилась к левому плечу и больше не поднялась голова.

Самсонов вспомнил, как час назад он смотрел из окна на Севастополь в дымке ослепительного рассеянного света, сквозь утренний туман. На Севастополь, покрытый ранами, но живой, встающий из гроба навстречу новой жизни, величию новой славы. Наверно, таким же видели его в последнее мгновение гаснущие золотые глаза Чернухина. И он должен видеть его таким.

Самсонов поднялся.

— Товарищ старший лейтенант! Плотники у вас есть?.. Так вот — пусть делают гроб. На славу! Понимаете?.. Материю для обивки вам доставят. Готовьте могилу. Настоящую! Прямо в камне и выбейте! Вот тут! — Контр-адмирал топнул в каменную почву площадки.— Хоронить завтра будем. Где у вас телефон?

Он пошел с офицером в фанерный домик конторы строительства и вызвал начальника штаба.

— Это я, Василий Андреевич, с батареи. Дайте сейчас же телефонограмму за моей подписью всем кораблям и частям гарнизона — выслать завтра к одиннадцати ноль-ноль по одному взводу в боевом снаряжении с патронами, взводу артиллерии с холостыми зарядами на площадку батареи номер семнадцать для отдания погребальных почестей... Да! Я вам расскажу сам. Зайдите ко мне, вместе напишем приказ по соединению и гарнизону... О чем приказ?

Самсонов подумал мгновение и сказал:

— О мужестве... О вере и жизни... Я объясню лично...

Он простился со старшим лейтенантом. Машина мягко покатилась по склону, прошла петлистой дорогой, миновала руины вокзала и, взойдя на подъем, ворвалась в раскаленную полуденным жаром каменную щель улицы. На левой стороне ее Самсонов увидел восстанавливаемый большой жилой дом, построенный перед войной. Фасад его

светился свежей кремовой окраской. В окнах третьего этажа девушки с закатанными рукавами, перебрасываясь шуточками, протирали начисто вымытые, только что вставленные стекла.

Под прямыми лучами солнца они сверкали таким ясным, золотым блеском, что на них было больно смотреть.

И контр-адмиралу показалось, что вся сила жизни, ушедшей из золотых глаз Чернухина, вновь засияла с неудержимой силой в золотом блеске этих окон, в улыбке девушек, в свежести краски.

1945

ВРАЧ

С каменного свода свисала зеленая бархатистая плесень. Порой свод тяжело вздрагивал. Тогда с него срывались лепестки плесени и падали, кружась, как листья. Это значило, что поблизости разорвалась авиабомба. Тогда врач всем телом порывисто подавался вперед, прикрывая лежащего на столе раненого.

Передовой медпункт помещался в подвале старинной виллы. Построенная на крутом склоне холма, она имела один этаж по заднему фасаду и два спереди. Подвал уходил под основание передней стены и был целиком выдолблен в камне холма. В нем было относительно безопасно. Только прямое попадание тяжелого калибра в узкую дверь, ведущую вниз, могло угрожать пункту, но это было маловероятно. Огневой вихрь боя на улицах Буды, у последних очагов сопротивления, долетал сюда лишь глухими отголосками.

Подвал был сухой и поместительный. В нем наладили освещение. С утра врач, вместе с санитарами, снял уцелевшие аккумуляторы с разбитых автомобилей, которыми были загромождены ближайшие улицы. Наскоро сделали проводку. Над операционным столом установили две фары, тоже снятые с автомобилей. Третью укрепили на стене. Лампочки пылали полным накалом. Свет от них был очень белым, резким и мертвым. Тени людей ложились на потолок и стены черные, как залитые тушью.

Этот сильный свет падал на врача сверху, освещая

рыжие волосы и широкий лоб, усеянный бисеринками пота. Под выпуклыми бровями лежали неосвещенные черные провалы, и казалось, что у врача нет глаз. Но глаза у него были прекрасные, цепкие. Он видел все и работал сосредоточенно и быстро, лишь изредка на секунду расправляя спину.

Все в подвале было оборудовано по-хорошему. Не хватало только воды. За ней санитарам приходилось перебегать через улицу в соседний сад. Там вода из разбитой водопроводной трубы размыла себе путь в земле и текла по песку аллейки, холодная и прозрачная, как вода источника. Но ходить за ней было небезопасно. По улице свистали осколки и носились комья штукатурки и кирпича от взлетающих на воздух домов. Санитары бегали с эмалированными кувшинами. Но около полудня одного убило посреди улицы, и кувшин, грохоча, покатился по мостовой, расплескивая воду. Второго ранило в кисть руки, но он упорно повторял час от часу рискованное путешествие.

Сестра Катя, маленькая толстуха в узких для ее мощных ног солдатских штанах, с постоянной улыбкой, которая казалась навсегда приклеенной к ее скуластому лицу, кипятила инструменты в походном автоклаве и подавала их врачу.

От бессонницы и длительного напряжения сил он казался немолодым. На деле ему было тридцать два года.

— Как там наверху, Тюляев? — спросил врач, когда в подвал вошел санитар с очередным кувшином.

Санитар поставил кувшин на золоченый стул, принесенный сюда из дома, и, сдвинув назад пилотку, вытер лицо рукавом.

— Бой в Крыму — все в дыму, товарищ капитан. Видать, наши дожимают последние метры. А орлики наши с неба кроют — спасу нет. Под самый вздох фрица бьют.

Тяжело дрогнул свод. Плесень посыпалась пластами. Врач метнулся вперед. Несколько лоскутков упало ему на плечи и спину. Передернув всем телом, он сбросил их на пол и наклонился над развороченным бедром очередного раненого.

— Ножницы! — крикнул он сестре и стал осторожно обрезать заусеницы окровавленной кожи вокруг раны. Окончив, выпрямился.

— Бинтуйте!.. Следующий!

Подошел высокий солдат, поддерживая правой рукой

левую, наскоро обмотанную на поле боя. Не ожидая врача, солдат сам стал разматывать повязку. Врач быстро втянул в себя и выпустил дым папиросы. Внезапно он подумал о том — скольких солдат он перевязал с первого дня войны. Ему казалось, что это бесконечный список с космическими цифрами. Врач устало закрыл глаза.

Но вдруг он резко повернулся и, склонив голову набок, глядя в угол подвала, прислушался. Потом отстранил ожидающего солдата и, переступив груду бинтов, сваленных у его ног, быстро пошел в угол. Один бинт окрутился вокруг его сапога и пополз за ним длинной белой змеей.

Раненых в подвале было человек пятнадцать. Все с легкими ранениями. Тяжелых тотчас после первой перевязки и операции забирала двуколка, все время подъезжавшая к подвалу. Ее возница, здоровенный парень в заячьей телогрейке, пробирался какими-то ему одному известными путями через лабиринт руин.

Те, которые оставались в подвале, лежали тихо, стараясь не стонать и не говорить громко, чтобы не мешать доктору. Но теперь, уловив в его быстрых движениях тревогу, они сами встревожились.

А врач стоял в углу, опираясь одной рукой о стену, нагнув голову.

У его ног чернело полукруглое отверстие в стене, забранное решеткой из параллельных железных прутьев. Оттуда несло гниловатой сыростью. Это был ход из подвала в одну из бесчисленных подземных галерей, пронизавших всю почву под холмами Буды. Галереи эти, прорытые еще в средневековье, пересекались с канализационными отводами, тоннелями для кабелей и водопроводных труб. Земля под городом была похожа на огромную кротовую нору с бесчисленными разветвлениями.

Врач знал, что последние дни немцы, подавленные артиллерийским огнем и воздушными налетами, покидали поверхность земли и уходили в эту путаницу подземных ходов. Они метались, как загнанные крысы, озлобленные и озверелые, ища выхода.

Врач слушал в тишине, которую нарушало лишь далекое и еле слышное в подвале глухое громыхание. И до его слуха долетали из черной дыры неясные и смутные звуки. Они становились ближе. Врачу показалось, что он слышит голоса. Они доходили до него обрывками. Приглушенные, осторожные, тихие. Их обладатели, видимо,

двигались там с опаской, перебрасываясь на ходу короткими фразами. Врач не мог разобрать слов. Отдельные звуки рождались в темноте, похожие на бульканье воды от падающих в нее камней.

Сзади кто-то из раненых закашлялся сухим перхающим кашлем. Врач слегка повернул голову и резко бросил:

— Тише там!

Его лицо отвердело, утратило подвижность. Он снова нагнулся к отверстию.

В подземной галерее могли быть и свои. Какая-нибудь группка бойцов в погоне за спасающимися немцами могла запутаться в незнакомых переходах и теперь пробивалась на землю. В этом случае все разрешалось просто. Но... если немцы... тогда надо было готовиться к худшему. Загнанное под землю зверье было способно на все.

Люди, лежавшие за спиной врача, уже вышли из боя, выполнив все, что требовалось от них в бою. Теперь они были не бойцы, а страдающие люди, которые не способны были сами защищать свою жизнь. Теперь их жизнь была доверена ему.

Врач глубоко вздохнул. Он неожиданно вспомнил все о прежних войнах, когда каждая из воюющих сторон признавала за раненым право на неприкосновенность, заботу и уважение.

Старая, отжившая сказка! В этой войне фашисты упразднили мораль.

Если там, в проходе, немцы, и они будут прорываться к выходу, они прежде всего расправятся с ранеными. Он не имеет права допустить это. Но как он может помешать? Что у него есть для этого?

...Санитар с одной рукой, толстая добродушная Катя и он сам, капитан медицинской службы, который учился не драться, а спасать жизни тех, кто дерется.

Звуки за решеткой на мгновение стихли. И вдруг совсем рядом — врачу показалось, что голос идет прямо из стены, к которой он прислонился,— прозвучало хриповато, но явственно:

— Ахтунг!.. Хир ист аусганг. Зеен зи дас лихт обен?.. Штиль! Хандгранатен берайт! Фейер! [1]

---

[1] Внимание!.. Вот выход. Видите вы свет наверху?.. Тихо! Приготовить ручные гранаты! Огонь!

От взрыва ручной гранаты тяжелые упругие воздушные волны прошли по подвалу. Но граната взорвалась по ту сторону решетки. Немцы расчищали себе путь гранатами.

— Товарищи раненые! Слушать меня! — раздельно и тихо сказал врач, когда после взрыва наступила томительно странная тишина.

Раненые шевельнулись и снова застыли в напряженных позах.

— В проходе немцы,— еще тише продолжал врач.— Они ищут выхода и, видимо, намерены прорваться через подвал — тогда всем нам смерть и мучения. Остались считанные минуты. Приказываю всем выбраться наружу в сад. Я постараюсь пока задержать их.

Отвернув полу халата, врач неловко отстегнул крышку кобуры и вытащил тяжелый черный пистолет.

Раненые смотрели на него, и в их неподвижных зрачках неподвижно блестели блики лампочек.

Врач взмахнул тяжелым пистолетом.

— Быстрее, товарищи!

Раненые зашевелились, но никто не трогался с места. Высокий боец в порванной шинели, тот, чья очередь была перевязываться, сказал:

— Тут, товарищ доктор, есть такие, что еще автомат сдюжат. Ребята, кто может, собирайся до меня. Мы этим подземным жителям дадим дрозда.

— Товарищ! — сердито сказал врач.— Вы слышали приказание? Здесь я не позволю остаться никому из раненых.

— Так как же вы один? — недоуменно спросил боец.

— Это не ваше дело, товарищ! — сухо ответил врач.— Где вас учили допрашивать старших вместо того, чтобы выполнять приказы? Марш отсюда! Катя! Немедленно удалите наружу всех раненых и возвращайтесь ко мне.

Высокий боец нехотя пошел к двери. Катя стала подымать раненых и направлять их к выходу. Делала она это быстро и старательно, как деревенская пастушка гонит птицу в поле, ревниво следя, чтобы какой-нибудь своенравный гусь не улизнул в сторону. Пока она торопила отстающих, врач снова слушал шорохи и близящиеся из темноты звуки. Потом он быстро отошел на середину подвала и с силой рванул тонкий провод. Обе фары над столом погасли. Он снял со стены третью

и, наглухо прикрыв свет ушанкой, поставил ее на пол возле решетки, осторожно уложив потянувшиеся за фарой провода.

Оглянувшись, он увидел на сером фоне ступенек, ведших в подвал, силуэт спускающейся сестры. Он шепотом подозвал ее:

— Катя, у вас гранаты есть?

— А то ж? — отозвалась сестра, и, не видя ее лица в темноте, он почувствовал, что она не перестает улыбаться.— Три, товарищ капитан.

— Берите фару! — продолжал врач.— Не открывайте света, пока не скажу.

Он плотно приник к стене. Глаза его привыкли к темноте, и он смутно видел чуть заметные вертикальные прутья решетки. Послышался тихий металлический скрежет. Между двумя прутьями мелькнуло широкое лезвие штыка. Кто-то из прохода пытался штыком свернуть решетку. Лезвие скользнуло вниз, уперлось в нижнюю перекладину решетки. Она скрипнула и стала медленно подаваться вперед.

Стиснув пальцами рукоятку пистолета, с внезапно пересохшим ртом, врач сорвавшимся голосом бросил в темноту, старательно и медленно выговаривая чужие — по-немецки — слова:

— Цурюк!.. Здесь госпиталь, операционная, раненые... Я врач...

Тишина после его собственных слов показалась ему мучительно долгой и душной. Ее разорвал каркающий окрик:

— Фейер!

В темноте, внизу (подвал был несколько выше прохода) вспыхнули золотые язычки огня, и грохот, отраженный сводом подвала, оглушая, ударил в уши.

В этом неверном свете врач увидел, как лопнули перерезанные пулями два железных прута. Немцы били из ручного пулемета по решетке, били в темноту, наугад, и если бы раненые не успели уйти... Грохот пулемета умолк так же внезапно, как вспыхнул, и в решетку несколько раз тяжело ударили окованные затылки прикладов.

— Катя, огня! — крикнул врач.

Сорванная с фары ушанка отлетела в сторону. Белый, мертвенно пронзительный свет прорвался за прутья решетки, осветив серую, копошащуюся массу, вырвал из темноты костлявую руку, измазанное копотью тощее лицо

с открытым ртом. В нем скалились выступающие вперед длинные зубы. Врачу на миг вспомнилась виденная в давние дни детства картинка из старой хрестоматии. В круглой каменной башне на деревянной кровати стоял, в ужасе тараща глаза, старик в длинной мантии и смотрел, как из отверстия в полу, прикрытого решеткой, из прогрызенных дверей, из узких окон, отовсюду ползут крысы, скаля зубы и взбираясь по ножкам на кровать.

В памяти пронеслись две строчки:

Весь по суставам раздернут был он,
Так был наказан епископ Гаттон!

Выхваченное фарой из темноты лицо страшно и отвратительно напоминало морду тощей крысы, карабкающейся по мантии старика. Немец поднял на врача автомат. Врач зажмурился и, выбросив руку вперед, два раза нажал собачку пистолета.

Он услышал короткий вскрик, хрип. Что-то звякнуло рядом, и белый луч, шедший сквозь прутья, мгновенно погас. Наступила полная тьма.

— Катя! — крикнул врач.— Свет! Что со светом? Где ты?

Ответ пришел не сразу. Он шел снизу, с пола, и врач не узнал Катиного голоса, сдавленного и медленного.

— Разбили фару, товарищ капитан... Меня... в бок... горит...

И голос стих.

Из прохода снова застрекотал золотой дрожащий огонь. Врач нагнулся. Его рука уперлась в мягкую копну Катиных волос. Он приподнял голову, но она выскользнула из его руки и стукнулась о камень. У него потемнело в глазах. Кровь, гудя, рванулась к вискам. Торопливо шаря в темноте, он нащупал на поясе сестры тяжелые, как зрелые яблоки, гранаты. Он сорвал их. Ползя по полу и вырвав чеки, одну за другой он швырнул гранаты в проход, больно ударяясь костяшками пальцев о прутья.

Его оглушило и бросило от решетки вихрем взрыва.

Подвал наполнился едким, царапающим горло дымом. Врач стал на колени, и тут же на него сверху свалилось что-то тяжелое, мягкое и живое, придавив его к полу. Он извернулся. Рука ухватила его за челюсть. Он раскрыл рот, дернул головой и, поймав зубами эту руку, со всей силой стиснул челюсти. Дулом пистолета он

уперся в давящий его груз и опять дважды нажал собачку. Тяжесть, гнувшая его, обмякла, и он, повернувшись со спины на живот, откатился в сторону, продолжая стрелять.

Потом он понял, что обойма израсходована — пистолет замолчал. Он полез за второй обоймой, но она туго сидела в гнезде кобуры, и его ногти срывались с ее металлической закраины.

— Конец! — сказал он вслух и, едва сказал, как ему страшно, как никогда, захотелось жить. Это желание придало ему удесятеренную силу. Он вырвал обойму и вставил ее в пистолет.

Он лежал на животе, в дыму, в темноте и тишине, готовый стрелять, драться, грызть зубами, как разъяренный волчонок.

Но в эту секунду он услыхал позади крик и топот по ступенькам. Чуть видимые в дымной мгле тени надвигались прямо на него, и он испуганно закричал, боясь, что кто-нибудь сейчас наступит ему на голову.

— Осторожней! Я здесь!

Над его головой желто вспыхнул фонарик. Подняв голову, врач увидел высокого бойца, который не дождался перевязки, и рядом другого, незнакомого.

— Ну, слава богу, живой,— сказал боец, здоровой рукой помогая врачу подняться.— Вставайте, товарищ доктор. Я вас не послушался, привел наших. А чисто вы тут поработали.

Врач поднялся. Голова у него кружилась, в ушах звенело. Он шатался на ослабевших ногах. В темноте переходов грохотали выстрелы и слышались крики.

— Посветите,— приказал он бойцу с фонариком,— нужно восстановить освещение.

Найдя на полу разорванный провод, он срастил его. Две фары над операционным столом опять вспыхнули резким белым светом. В подвале стоял туман. Сквозь этот туман врач разглядел на полу убитого немца. Он переступил через него и нащупал тело сестры. Подняв ее на руки, доктор перенес Катю на стол. Двумя взмахами ножа распорол гимнастерку от пояса до плеча и, отвернув намокшее полотно рубашки, нащупал ниже ключицы маленькое отверстие раны. Он вставил тампон и стал бинтовать. Руки его, дрожавшие вначале, быстро окрепли, как только он заставил их заняться привычным делом.

Окончив перевязку, врач вспомнил, что давно не курил, и полез в карман за папиросой.

Дым уже развеяло, и он увидел, как из подземелья, подталкиваемые сзади автоматчиками, вылезают грязные, растерянные уцелевшие немцы. Один из них шел, зажимая рукой лицо, и между его черных от копоти и грязи пальцев черными струйками сбегала кровь.

Врач глубоко затянулся папиросой, отбросил ее в сторону и уже по-привычному спокойно и властно сказал бойцу с фонариком:

— Давайте следующего на перевязку!

<1946>

ИСКРА

Лейтенант Крупенков покидал Шильдау в безветренный морозный вечер. Машина, дрожа от работы мотора, ждала у подъезда комендатуры. Слева, справа и напротив тротуары были заполнены немцами и немками. Переминаясь на морозе, они молча и терпеливо ожидали выхода Крупенкова. Прикинув на глаз, лейтенант определил, что собралось больше половины жителей местечка. Это было ему приятно. Хотя он не сомневался, что немцы пришли главным образом из любопытства и внедренного веками в сознание механического почтения ко всякой власти,— все же молчаливо глядящая на него толпа доставляла лейтенанту удовлетворение.

Он попал в Шильдау на должность ортскоменданта шесть месяцев назад. Назначение показалось ему нежданной бедой, постигшей его из-за знания немецкого языка. Вызванный к генерал-майору Крупенков, узнав о причине вызова, сразу потускнел и стал просить не назначать его на должность, к которой он чувствует себя непригодным. Генерал выслушал, посматривая на него пытливыми темными глазами. Встал и сказал ласково, но властно:

— На сегодня, товарищ лейтенант, нужно уметь быть пригодным на любой работе. У вас образование полная десятилетка. Значит, есть знания и известная гибкость мысли. Вы можете разговаривать с людьми на их языке. Это сразу налаживает отношения. И, наконец, вам придется быть на этом посту почти дипломатом, представи-

телем нашего государства, носителем его идей и культуры. Помните и гордитесь! Можете идти!

Крупенков повиновался. В будущей работе его пугало только то, что придется вплотную иметь дело с немцами. К ним за время войны у Крупенкова установилось странное чувство. Это была даже не ненависть, а окаменелое, прочное отвращение. Он старался не замечать их, смотрел сквозь них, как сквозь воздух. Должность коменданта вынуждала к отказу от этого неприятия.

Коменданту ежедневно приходится иметь дело с представителями населения по самым различным поводам. И лейтенанту пришлось перестраивать себя.

Первое время он ограничивался сухими и краткими разговорами. Но постепенно стал втягиваться в чужую, взбудораженную, смятенную жизнь, которая отовсюду окружала его. Он старался добросовестно разобраться в ее путанице, понять мотивы мыслей и поступков обывателей.

Сначала он не избежал ошибок. Они были чаще забавны и вызывались неосведомленностью и юношеской горячностью лейтенанта. Особенно ему запомнилась история с курфюрстом. Проходя как-то рано утром по площади против приземистой кирхи, где высился памятник неведомому Иоганну-Людвигу, он заметил двух женщин в трауре. Они клали на ступени постамента букет пышных, обрызганных водой цветов. Придя в комендатуру, Крупенков вызвал старшину-начхоза, приказал ему собрать свободных от наряда бойцов и немедленно снести курфюрста. Когда на шею курфюрста уже была накинута веревка, в комендатуру прибежал взволнованный пастор. Из разговора с ним выяснилось, что женщины, принесшие цветы,— мать и сестра горбатого часовщика, погибшего зимой, после сталинградского разгрома немцев. Он был застрелен гестаповцем у памятника, застигнутый врасплох ночью, когда кончал выводить эмалевой краской на камне дерзкое двустишие:

О доблестный рыцарь! Спаси нас — спустись!
Безмозглый ефрейтор негоден и скис.

Женщины клали цветы на место убийства.

Сконфуженный комендант примчался на площадь, когда бойцы натянули веревку, и курфюрст шатнулся. Приказ был отменен.

Крупенков все прочней входил в жизнь Шильдау, как

входил бы в жизнь своего города. Он совещался с бургомистром, помогал восстановлению электросети, разбирал политические и даже семейные споры. Немцы перестали казаться ему безликими и одинаковыми. Он уже знал многих не только по фамилиям, но был осведомлен об их прошлом, занятиях, образе жизни, настроении. Он понимал, почему Адам Мюлинг, завидя издали лейтенанта, исчезал в первой подворотне. Сыновья Мюлинга, эсэсовцы, были на Украине в зондеркоманде, и Мюлинг боялся ответа за них. Фрау Грубе при встрече с комендантом опускала глаза в землю, и ее багровые щеки мгновенно белели. У нее была торговля хозяйственными принадлежностями, и она никак не могла поверить, что большевики не отнимут у нее мясорубок, машинок для чистки картофеля, клеенчатых кухонных передников и других товаров. А вот доктор Рейнике всегда приветливо снимал шляпу и, улыбаясь, подмигивал единственным глазом. Второй ему выбили в Дахау, куда он попал за антигосударственный вопрос: что хорошего для Германии есть в войне с восточным соседом?

Если теперь Крупенков относился к кому-нибудь в Шильдау враждебно, то уже не из прежней беспредметной вражды к немцам вообще, а на основании фактов, отрицательно характеризующих человека.

Жители делились на врагов (большей частью скрытых и требующих настороженного и неослабного наблюдения), аморфных, которых можно было замечать или не замечать, и на друзей. Их было мало, но все же они были. В основном — старики. Они еще помнили иную Германию, которая жила в семье человечества, связанная с ней узами истории, культуры, чувства. Эти старики сейчас словно медленно выбивались на поверхность из-под тяжелых пластов грязи и мусора, пропитанных кровью, которыми придавил их период одичания. В их старческих глазах Крупенков не раз замечал то особенное удивление, которое бывает у людей, долго бывших в темноте и вышедших неожиданно на свет. Они казались моложе немецкой молодежи. Среди нее было больше всего врагов. У молодых осталась не вытравленная даже поражением мерзкая заносчивость самоуверенных невежд, считающих, что все, делаемое ими, бесспорно и правильно. Никакая неудача не могла убедить их в ложности тупой веры в собственное превосходство. Они держались замкнуто, то выжидающе, то нагло, в зависимости от собранных за

день слухов и радионовостей. Они особенно наглели, когда в эфире носились разговоры о разногласиях между победителями. В такие дни Крупенкову иногда хотелось всадить пулю в прищуренные, холодно презрительные глаза какого-нибудь молодчика в полувоенной форме.

Но и среди этой отравленной молодежи были дружелюбные и открытые сердца.

Такой была Хелли Гельдер, дочь шорного мастера. Крупенков встретил ее в здании ратуши, где делал по просьбе бургомистра доклад о советской системе образования. Низкая душная зала была набита балбесами, пришедшими явно из страха быть заподозренными в нелояльности. Они сидели деревянно, с сонной тоской на гладких лицах. Когда доклад окончился, они встали, как по команде, и затопали к выходу, не задав ни одного вопроса. Раздосадованный Крупенков вышел на улицу. Уже стемнело. В сумерках он увидел рядом живое лицо с веселыми глазами. Девушка извинилась, что задерживает господина коменданта. Доклад заинтересовал ее, и она хотела бы спросить кое о чем. Крупенков отвечал на вопросы, потом они разговаривали у калитки дома, где жила девушка. Стуча деревянными подошвами, из калитки вышел сухой старик. Увидев лейтенанта и дочь, он упрекнул ее:

— Однако, Хелли, не очень вежливо держать господина лейтенанта на улице. Ты могла бы пригласить в дом, если господин лейтенант не откажется сделать честь.

Но Крупенков отказался. Ортскоменданту было неудобно заходить в дома не по служебным поводам. Хелли хотелось еще поговорить, и она проводила лейтенанта до комендатуры. Ему понравилось ее открытое лицо, прямой, веселый взгляд, мягкий и журчащий говорок.

Спустя несколько дней он встретил Хелли на улице. Они поздоровались, как давние знакомые. Встречи стали чаще, и Крупенков скучал в дни, когда не видел девушки. Однажды вечером, идя с Хелли к ее дому, они попали под быстрый и крупный осенний дождь. Хелли была в легком костюме, и, оберегая ее, Крупенков прикрыл девушку своим плащом. Они шли под секущими струями, невольно прижимаясь друг к другу. Разговор оборвался. У калитки Хелли подняла голову и посмотрела в глаза Крупенкову туманным взглядом. Капли дождя текли по ее лицу, как слезы. Крупенков сам не заметил, как поцеловал ее в губы. Хелли ответила на поцелуй и убежала.

Лейтенант возвращался немного оглушенный, ощущая влажное тепло поцелуя и свежесть дождевой капли, попавшей на губы Хелли.

Но после ужина он подверг свое поведение беспощадному молодому анализу и вынес суровый приговор. Как официальное лицо советской администрации в Германии, он не должен был переходить четкие границы отношений с представителями населения. Тем более оказывать кому-либо явное предпочтение перед другими. Во-вторых, нехорошо подавать девушке надежды, когда он не может и не собирается связать с ней свою жизнь. А устраивать себе развлечение от скуки и тоски по родине, играя чужой душой,— пошло и подло. Крупенков думал всю ночь и решил объясниться с Хелли. На следующий вечер они зашли в маленький скверик, и тут, на скамье, взяв Хелли за руку и сразу спав с голоса, лейтенант повторил урок Онегина, стараясь говорить мягко и убедительно. Мягкость выходила, убедительности не получалось. Мешало тепло руки, доверчиво лежащей в ладони Крупенкова, как в колыбельке. Выпустить же руку было жалко. И лейтенант бестолково и бессвязно говорил, что любовь не обязательно завершает отношения людей и что в Советской стране юноши и девушки дружат на работе, не влюбляясь. Хелли внимательно слушала, но на губах ее плавала неверящая улыбка, и лейтенант старался не смотреть на губы.

Выслушав, Хелли вздохнула и согласилась на дружбу. Дружба держалась в неустойчивом равновесии, но ее спасло желание Хелли учиться русскому языку. Роль преподавателя понравилась лейтенанту и помогла ему держать дистанцию. Но иногда его охватывало исступленное желание послать дружбу ко всем чертям и опять целовать Хелли у калитки. Когда это желание стало нестерпимым, лейтенант начал писать рапорты и надоедать начальству просьбами об откомандировании в часть, расположенную на советской территории. Наконец пришло разрешение. Хелли, прощаясь с Крупенковым у калитки, заплакала, и он поторопился уйти.

Это припомнилось лейтенанту, когда он стоял у машины, готовый к отъезду, и смотрел на толпящихся на тротуарах жителей. Сержант уложил в машину чемодан. Крупенков простился со своим заместителем и хотел садиться. Но из толпы провожающих с торжественным видом вышел бургомистр. Его толстые щеки пылали

бурачным цветом. На вытянутых руках бургомистр нес огромную пивную кружку из глазированного фаянса, ярко расписанную, с высокой серебряной крышкой.

— Герр лейтенант,— сказал бургомистр, любезно поклонясь,— от лица населения Шильдау, которое навсегда сохранит воспоминание о вашем мудром управлении и ваших личных качествах, мы просим вас принять скромную память. В вашем лице мы чтим великодушную Красную Армию. Этой кружке четыреста лет. Она была украшением нашего музея. Смотря на нее, вспоминайте дни, проведенные в Шильдау, с такой же симпатией, какую вы оказывали нам...

Крупенков растерялся. Принимать подарки от населения коменданту не пристало. Но, с другой стороны, он уже не был комендантом и представителем власти. Он был просто отъезжающим. И на лице бургомистра отражался такой почтительный восторг и умиленность, что отказ был невозможен.

— Бери, чего там! Смешная штука! Для памяти,— сказал ему заместитель, и Крупенков, поблагодарив бургомистра, сунул кружку в машину. Машина тронулась. Тогда немцы и немки замахали руками, в воздух полетели шапки, и громкое «хох» слышалось, пока автомобиль не завернул за угол.

На станцию Крупенков приехал к ночи и с трудом влез в переполненный офицерский вагон. Найдя место, он положил чемодан на полку, но кружку поставить туда же побоялся. Она могла упасть и разбиться. Он сунул ее за спину, в угол. Она врезалась в позвоночник, но приходилось терпеть. Долго не давали отправления, и лейтенант задремал. Он проснулся, когда поезд уже шел сквозь сумрак зимней ночи. Спина болела от кружки, хотелось пить. Крупенков вытащил кружку и поставил на колени. Она показалась ему очень тяжелой. Крышка была привязана оранжевой шелковой лентой. В колеблющемся мерцании свечи Крупенков разглядывал роспись кружки. Соседи тоже заинтересовались.

— А в середине что? — спросил сидящий напротив капитан.

Крупенков развязал ленту, поднял крышку и задохнулся от изумления и негодования. Кружка была доверху набита плитками шоколада. Первой мыслью лейтенанта было — запустить руку внутрь и вышвырнуть весь шоколад на пол. Он брал кружку, как курьез... но шоко-

лад! Как они осмелились напихать шоколад, награбленный во всем мире? За кого они принимают советского офицера?

Но соседи, не зная происхождения содержимого кружки, приняли его иначе.

— Ого-го! — сказал капитан.— Недурно!

Крупенков усмехнулся.

— Берите, товарищи! — Всей горстью он захватил, сколько мог, плиток и стал раздавать офицерам. В конце концов, это было справедливо, что шоколад съедят победители, а не побежденные. Но вдруг Крупенков похолодел от новой мысли: «А, может, они наложили под шоколад еще чего похуже?» Он нервно перерывал плитки, пока его пальцы не нащупали на дне что-то плоское, слегка хрустящее. Он извлек плотный голубоватый конверт с вытесненным узором. На конверте тонким почерком написано по-русски: «Иванье Крупенкоф».

Это был почерк Хелли. В начертании русских букв оставалось что-то иноземное. Видимо, Хелли положила конверт на дно, чтобы лейтенант обнаружил его, только покончив с шоколадом.

Крупенкову захотелось прочесть письмо, но он не хотел делать этого в купе. Он вышел в загроможденный коридор, протиснулся в тамбур против уборной. Из фонаря сочился мутно-желтый свет. Крупенков разорвал конверт и, встав на цыпочки, поднес письмо к глазам.

«Мойе Ивань! Я писать ночь, много плакать. Папа, мама, танте Клерхен совсем спать. Я думать ваш родине и вас. Мы не зналь такой люде, как ваш. Пропагандэ кричать: «Он страшный, злой, резать фрау, убить всякий». Все враль! Вы добрый, ду хаст филь херц [1]. Мы смотреть ваш армее, совсем менять штандпункт [2]. Только самий глупий керль [3], который давать свой голова Гитлер, не понимать. Умный понимать. Я много иметь новый мысле, спасиба. Я делать, чтоб другой аух [4] иметь такой мысле. Я очень любить! Вы сказаль: «фрейндшафт» [5], я зогласный, абер [6] жалько. Я писать русске, вам приятен. Я дальше учить русске, ехать Россия такой время, когда мирний и все брудер [7]. Мне большой печаль — Ивань далеко, много километер. Я один, улица шнеет [8]. Кушать мало, нет електриже лампа, писать свечка. Много нехо-

[1] у тебя большое сердце, [2] свое мнение, [3] парень, [4] тоже, [5] дружба, [6] но, [7] братья, [8] идет снег.

рошо! Я бедняк! Я думать — почему бедняк? Никогда! Вы с мойе дружить, я помнить, думать встреча — я не бедняк. Сегодня спать и видеть сон от вас. Много куссе![1] Ваш Хелли!»

Крупенков опустил письмо и продолжал стоять у окна. По черному небу змейками пролетали искры из паровоза и опускались на землю. На миг они вспыхивали ярче, освещая розовым сиянием маленький кружок рыхлого снега.

И лейтенанту пришло в голову внезапное сравнение. Он, как паровозная искра, влетел в черную ночь Германии, опустился на заледенелую мертвую почву и на короткий миг осветил маленький кружок — душу Хелли.

Он вспомнил слова генерала, что ему оказывается честь быть в Шильдау представителем своей родины, носителем ее идей и культуры. Письмо было свидетельством, что он выполнил свою задачу, хотя бы и в малом масштабе. И он подумал еще, что в каждый город, в каждое местечко и деревню Германии залетают такие же искры, его товарищи по тяжелому и великому пути к победе, и что все они вместе освещают немецкий мрак и помогают народу, который нужно вернуть в дружную семью человечества.

Февраль 1946 г.

---

[1] поцелуев.

БРАТСТВО

Это случилось в погожий весенний день на плоском пустынном берегу Северо-Восточного Крыма. С утра немцы обрушили исступленный огонь на пятачок захваченного пехотой плацдарма, который должен был обеспечить дальнейшую высадку десантных сил с таманской стороны. На квадратном километре песчано-солончаковой пустыни кипел ад. Белесый песок с серебристыми прогалинами, искрящимися солью, почернел от разрывов. В налезающих друг на друга воронках пузырилась мутно-зеленая вода. Казалось, на земле не было уже живого места, а снаряды продолжали с воем пронизывать воздух, и в небе стоял непрекращающийся вой от стай немецких бомбардировщиков, налетающих с неумолимой и точной последовательностью.

Обороняющая позиции пехота несла огромные потери. Никаких укрытий еще не было. Люди лежали в неглубоких, наспех отрытых окопчиках. Их часто заваливало тучами песка от близких разрывов. Здоровые выкарабкивались из песка, раненые так и оставались в этих песчаных могилах. Их не успевали выносить из боя, да и выносить было некуда. Тыла на этой позиции не существовало, она вся была фронтом. Врач единственного санпункта, размещенного под берегом, за ноздреватым выступом скалы, был убит в первые минуты боя. Фельдшер и санитарки, лихие и бесстрашные девушки, не раз бывавшие в боях, растерялись от невиданного шквала металла, несущегося отовсюду.

В начале боя погиб командир десантного батальона вместе со всем штабом,— в воронку от гаубичного снаряда, где сбился штаб, угодила бомба с «юнкерса». Командование батальоном принял начхоз, очень пожилой капитан интендантской службы, бывший офицер старой армии еще в первую мировую войну. Он был спокойным, неторопливым человеком, разговаривал ровно и веско, двигался без суетливости, и его спокойствие хорошо действовало на бойцов, взволнованных гибелью штаба и невиданным напряжением огня.

Но сам капитан скрывал за внешней выдержкой тяжелое беспокойство. Он видел, что огонь не только не ослабевает, но становится все гуще,— видимо, немцы спешно подвозили из глубины Крыма боевые средства, чтобы сбросить горсточку дерзких в море. Удержаться на пятачке без быстрой и крупной помощи с того берега было невозможно, а помощь запаздывала. Причины были непонятны. На рассвете должны были подойти части второго эшелона, но они не пришли. Шел одиннадцатый час утра, а тихое, серо-голубое море было пустынно и на нем не появлялось ни одной черточки. Да и вряд ли корабли пойдут среди белого дня. Нужно было запросить таманский берег о причинах неприхода поддержки, но радиостанцию разбило вместе со штабом, а аварийная отказывалась работать, и всякая связь с командованием оборвалась.

Капитан лежал за песчаным бугорком, рядом с телефонистами, грызя короткую выгоревшую трубку, в которой давно уже не было табаку, и с тревогой ждал, когда немцы пойдут в атаку. Он был уверен, что атаку отобьет, но хотел, чтобы она была возможно скорее. Длительное ожидание под огнем выматывало нервы людей и расслабляло. Но немцы не торопились и только усиливали огонь. И капитан с досадой посматривал на беспрерывно взлетающие повсюду столбы дыма и потревоженного песка.

Неожиданно телефонист тронул его за рукав. Капитан обернулся.

— Корабль! — сказал телефонист, движением головы указывая на море.

Капитан перевалился на другой бок и удивленно вскинул бинокль.

Да, телефонист не ошибся. По дымной воде бежала тоненькая длинная черточка, и капитан различил знакомый контур морского охотника. Он шел самым полным

ходом, низко осев на корму, за которой вставало облачко пены, прямо к пятачку. Капитан залюбовался быстротой катера и дерзостью его командира. В пустом море катер был виден ясно, как маслина на блюде, и представлял отличную цель и для артиллерии и для самолетов.

«Подобьют ведь»,— подумал капитан и, еще не успев додумать, увидел, как высоко в небе над морем блеснули серебряные искорки.

Пять «юнкерсов», развернувшись на боевой курс, один за другим пикировали на одинокий катер. Капитан отложил бинокль, катер был уже близко, и можно было наблюдать простым глазом. Бомбы вздымали пенные колонны воды, смешанной с дымом, на пути катера, но он упрямо продолжал держаться на прямом курсе. На его палубе замелькали острые иголочки огня, он отстреливался от атакующих самолетов.

Потом взвившаяся вода закрыла его совсем, и капитан зажмурился. Но, открыв глаза, увидел, что катер продолжает идти прежним, бешеным ходом. Еще несколько минут — и он исчез за выступом берега.

Немного спустя капитан заметил, что от береговой черты по направлению к его бугорку бежит одинокая человеческая фигура. По фуражке и синему кителю было видно, что бегущий — моряк.

Когда он подбежал совсем близко, капитан увидел молодое разгоряченное, блестящее от пота лицо, горящие возбуждением глаза. Моряк бежал большими шагами, и подвешенный спереди бинокль в футляре подпрыгивал на его животе. Наконец, сделав последний скачок, он повалился на песок рядом с капитаном и протянул серый шершавый конверт.

— Командир двести тридцать четвертого лейтенант Ганшин... пакет от командования... прибыл для связи,— выговорил он с паузами, задыхаясь от бега.

— Что там с десантом? — спросил капитан.— Ждали к утру, а до сих пор нет.

— Тут все сообщается,— лейтенант указал на конверт.— А так могу сказать: расшибли десант на выходе. Налетела саранча и давай крыть. Ну, словом, сбили весь отряд в кучу, ордер расстроили, нужно заново начинать. Просили передать, чтоб вы тут держались. Чтоб до утра обязательно додержались,— повторил лейтенант умоляющим тоном.

— Думаю, удержимся,— ответил капитан, пробегая глазами строчки штабной записки.— Но кроют очень. Тяжело держаться. Они нас хотят металлом задавить и голыми руками брать. С самого рассвета передышки нет. И, видите, место голое, укрыться негде. Потери большие, процентов тридцать выбыло. Если так будет продолжаться, к ночи и все шестьдесят будет. А с остатком отбивать нелегко. Боеприпасы берегу как можно. Одним словом, невесело. Не придут к утру — будут здесь пустыня и кладбище.

— Авиацию подошлют,— сказал лейтенант.— Немножко задержались, готовят большой ударный кулак, чтоб чувствительно было,— сказал лейтенант и засмеялся. — Думаю, часа через два вылетят.

— Два часа! — Капитан задумался и покачал головой.— За два часа они нам насыплют. Главное дело — артиллерия. Она у них вон там за косой. По ней нужно либо навесным огнем бить,— а у нас с собой только зенитки да пара полевых,— либо с тыла трахнуть. А для этого сил нет, некого послать.

Лейтенант приподнялся и вытянул шею. Прищурясь, он смотрел вдоль берега.

— За той косой, говорите? За той косой?.. Ага! — Он полез в полевую сумку, вытащил карту и деловито разостлал ее, присыпав песком все четыре угла, чтобы не сдуло.

— Так... так, понятно.— Он поднял голову и посмотрел на капитана тем же наивным и чистым взглядом.— А можете вы, товарищ капитан, подсыпать мне ну пятнадцать — двадцать бойцов? Только чтоб лихие были.

— Это зачем же? — подозрительно осведомился капитан.

— Предполагает фриц, а располагаем мы,— усмехнулся лейтенант.— Взгляните на карточку, товарищ капитан. Берег тут довольно приглубый, а уж для моего кораблика прямо океанская бездна. До этого места я могу пройти под самым срезом скрытно. У них от силы тут патрули через час по столовой ложке, а на патрули я чихал. Тут высаживаю людей. Сам отхожу в море и начинаю всеми огневыми средствами по артпозициям с тыла. Они завертятся, а высаженные хлопцы с той стороны наделают шуму. Придется фрицам с нами возиться, а вам облегчение, пока соколы подоспеют...

— Да вы решительно не в себе! — разозлился капитан.— Что вы задумали? Немцы же вас в море сразу на-

кроют и потопят, как суслика. У них же там и противотанковые, и гаубицы, и тяжелые... Тоже герой нашелся! Сидите! И никаких бойцов я вам не дам.

— Не дадите? — спросил лейтенант и сразу потускнел лицом.

— Не дам!

— Ну что ж! — Лейтенант сложил карту и сунул в сумку. Лицо его постаршело и стало упрямым и злым.— Пойду и без ваших бойцов. Я так думал, что вместе больше шуму наделаем. Так сказать, взаимодействие... Разрешите быть свободным?

Он встал во весь рост и приложил руку к козырьку. Одновременно совсем близко разорвался снаряд. Пахнуло жаром и дымом, зазвенели осколки.

— Да не торчите, как столб,— закричал капитан,— вы и не имеете права рисковать,— еще злее закричал капитан.— Вас расстреляют, как мишень, и никакой связи не будет. Понятно?

— Ничего со мной не случится. Я принял решение. Разрешите быть свободным? — повторил лейтенант.

Капитан не сразу ответил.

— Черт с вами! — сказал он устало.— Берите бойцов. Там у меня под берегом последний резерв. Обратитесь к старшему сержанту Новаку, он вам отберет людей... Пропадете ни за грош.

— Бог не выдаст, фриц не съест,— широко улыбнулся лейтенант.— Спасибо, товарищ капитан. Пойду!

— Да хоть идите по-человечески. Не шагайте каланчой. Ползите! Видите, что творится.

— Есть! — сказал лейтенант и действительно, к удивлению капитана, пополз между песчаными надувами. Капитан смотрел ему вслед и одновременно негодовал и любовался этим человеком, пока его силуэт не скрылся за обрывом. Еще с полчаса продолжался прежний ад, но потом привычное ухо капитана уловило резкое ослабление огня. Но и оставшийся потерял темп и стал неровным. Тогда капитан оглянулся на море за косой и увидел... Море бурлило, пенилось и бесновалось от града снарядов. В вихре воды, пены и дыма чертом вертелся, описывая зигзаги, стремительный, быстрый силуэт катера. Обе его пушки хлестали огнем. Капитан и телефонисты наблюдали за необыкновенным зрелищем.

— Это номер! — произнес с восхищением старший телефонист.

Катер то летел по прямой, то резко кидался в сторону, то вертелся вокруг себя, сбивая наводку врага, но все-таки оставался все время в страшном котле взметающейся воды и пены. Пушки его продолжали бить с необычайной быстротой, и в общем гуле боя был слышен их резкий и тонкий лай.

Потом за косой неожиданно поднялся, как черный призрак, высокий черный столб, постоял мгновение неподвижно и расплылся наверху курчавой грибообразной шапкой. И сразу уши капитана наполнило тяжелым, пригибающим к земле, физически ощутимым громом взрыва.

— Попал! — сказал тот же телефонист.— Угадал в боеприпасы.

За взрывом настала томительная тишина. С переднего края разом и во всех местах забили пулеметы, и капитан понял, что немцы, вынужденные действиями катера ослабить артогонь, предпринимают долгожданную атаку. Он отвернулся от моря. Теперь некогда было смотреть на катер. Собственное дело требовало всего внимания. Но, как и предполагал капитан, атака не удалась. Немцы залегли, остановленные пулеметными струями, и подняться им больше не удалось. С востока за спиной капитана послышался нарастающий звонкий гул, и когда он поднял глаза вверх, он увидел небо, покрытое узором сплошных крестиков, как вышивки на украинском полотенце. Летел собранный на таманском берегу кулак бомбардировочной авиации и обрушил на немецкие позиции могучий удар. Он подавил и смел все, что было перед пятачком. Когда стихли раскаты бомбежки, капитан вспомнил о катере. Но море было уже по-прежнему тихим, и катера на нем не было.

«Неужели потопили?» — подумал капитан, и у него так стиснуло сердце, словно на маленьком кораблике был его любимый и единственный сын. Но на запрос телефонный пост с берега сообщил, что катер, окончив бой с приходом авиации, повернул и полным ходом ушел на таманский берег.

Капитану стало жалко, что он не повидался после боя с командиром катера и не смог сказать ему те хорошие, ласковые отеческие слова, которые ему хотелось сказать.

Ночью капитан сидел уже в землянке, брошенной отступающими немцами. К наступлению темноты подошел

отряд кораблей десанта, и дружным ударом поддержки немцы были отброшены на пять километров от берега. В землянке было чисто и тепло. На печке булькал чайник. Аккумуляторная лампочка давала яркий белый свет. Капитан сидел на нарах, сняв сапоги, и заносил дневную запись в свой толстый дневник. Он писал:

«Шестого мая 1916 года, двадцать восемь лет назад, я был со своей ротой в окопах на берегу Рижского взморья в момент немецкого наступления. Немцы лезли большими силами, с массой техники. Рота была раздета, разута, голодна, без патронов. Держаться без помощи мы не могли. Помощи не было. В море болтались десять эсминцев минной дивизии Балтийского флота. Мы просили их помочь роте артиллерийским огнем с моря. Командующий эсминцами ответил, что он не может рисковать кораблями, вступая в состязание с немецкими батареями, ради «какой-то» (он так и сказал: «какой-то») пехотной роты. Рота погибла целиком. Вырваться живыми удалось чудом мне и трем солдатам. Сегодня батальону, командование которым я принял за гибелью командира, грозила та же участь. Лейтенант Ганшин, почти мальчик, командир морского охотника, пошел на неравный бой с неизмеримо превосходящими силами немецкой артиллерии, пошел, вопреки моим уговорам и указаниям, на почти неизбежную для него гибель. Пошел, чтобы отвести удар от товарищей по оружию. И я радуюсь, что дожил до сегодняшнего дня и видел это своими глазами. И может быть, только сегодня я по-настоящему и до конца понял и ощутил во всем объеме подлинный смысл и силу того единства и братства, которые рождены нашим государством. Я благодарен за это моей судьбе...»

Капитан закрыл дневник, прислонился головой к подпорному столбу землянки и мгновенно заснул крепким, но чутким боевым сном.

<*1946*>

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

Когда окутанная облаком белесой жаркой пыли, накаленная солнцем машина взлетела на последний крутой подъем шоссе и за поворотом показались рассыпанные в зелени, как куски сахара, здания «Нового света», Белявский почувствовал, что его сердце забилось с быстротой автомобильного мотора. Он даже растерянно прижал руку к груди, словно хотел стиснуть упругий комок мускулов, бешено затрепетавший у него в груди, и замедлить его биение. Сидевший за баранкой старшина покосился на капитан-лейтенанта и тревожно спросил:

— Вам нехорошо, товарищ капитан-лейтенант? Может, остановимся — передохнете. А то от этих петель на шоссе многих укачивает.

Но Белявский ничего не ответил и только сделал нетерпеливый жест. Старшина понял его, как приказание увеличить скорость, и машина с ревом понеслась вниз, разбрасывая из-под покрышек мелкий щебень, застучавший по корпусу машины, как град по крыше.

Белявский подался вперед и, почти упираясь лбом в смотровое стекло, не сводил глаз с приближавшихся зданий.

За густой зеленой стеной кипарисов, внизу у самого берега, мелькнула розово горящая под солнцем черепичная крыша. Белявский глубоко и радостно вздохнул и откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза.

Бомба разорвалась в воде метрах в пятнадцати от катера.

Освещенный полной луной, пикирующий на катер самолет сверкнул серебряно-голубыми крыльями, выходя из пике. Вслед за резким воем бомбы почти рядом с катером из темной воды взвился высокий столб, вверху зеленовато-белый, снизу освещенный темно-розовым огнем. Мгновение спустя катер поднялся на дыбы, как остановленная на всем скаку лошадь. Завыли осколки, что-то затрещало. Сверху обрушилась стремительная, упругая, непреодолимая масса воды, оторвав руки Белявского от поручней мостика. Ее напор смял и скрутил тело лейтенанта и швырнул в море. Сверху, снизу, с боков — всюду была вода. Она давила и кружила, она втискивалась в уши, в ноздри, в рот. Грудь заныла нестерпимой болью. Тело требовало воздуха, но воздуха не было. Наплывало удушье и с ним чувство полного безразличия к тому, что будет дальше. Но это длилось только мгновение. Неутомимая жажда жизни, инстинкт молодого, здорового тела властно приказал бороться. Почти задыхаясь, Белявский, собрав последние силы, сделал рывок, вылетел на поверхность воды и с хрипом втянул в легкие ночную свежесть.

Вокруг была голубая лунная пустыня. С ровным гулом катилась, сверкая фосфорными зелеными искрами, некрупная зыбь. Едва слышно рокотал в вышине уходящий самолет. Через секунду его рокот умолк.

Белявский огляделся. Катера на поверхности не оказалось. На мерцающей воде не было ни одной точки, за которую мог бы зацепиться глаз. Лейтенант сильно заработал ногами, пытаясь повыше приподнять голову над водой. Может быть, между невысокими гребнями волн мелькнет чья-нибудь голова? Нет! Пусто! Никого не видно в ночном море.

— Ого-го-го! — закричал лейтенант, напрягая всю силу голоса, и сейчас же захлебнулся волной, ударившей в раскрытый рот. Выплюнув воду, он крикнул еще раз и прислушался. Ничего, кроме гула воды. Видимо, катер, вскинутый ударом вырванной бомбой воды, перевернулся и мгновенно пошел на дно.

Со страшной остротой Белявский почувствовал свое одиночество в пустом ночном море. Он еще раз приподнялся над водой. Слева резко светились под луной обрывы крымского берега, прорезанные вертикальными черными щелями. Это была земля... Твердая, верная, ласковая

земля, сулящая жизнь и отдых. Но в то же мгновение радость погасла. На этой земле ему, Белявскому, не было ни жизни, ни отдыха. На ней были гитлеровцы. И опять наплыла мгновенная слабость и равнодушие. Сразу отяжелели и потянули вниз намокшие брюки и, словно свинцовые, ботинки. Лейтенант скрылся под набежавшей волной, и ее упругий холодок прояснил тускнеющее сознание.

Ни за что! Стоило вырваться из пылающего Севастополя на искалеченном катере, сквозь свистящий ливень цветных трасс, несущихся с берега, под грохот отчаянной схватки последних защитников на обрыве Херсонесского мыса для того, чтобы найти могилу в этой гудящей, черной водяной бездне? Ни за что! Что бы ни ожидало его на берегу, надо плыть.

Торопясь, глотая соленую воду и отфыркиваясь, лейтенант сорвал с себя китель, брюки, стянул с ног ботинки. Облегченное тело сразу почувствовало себя свободно и уверенно. Вынул из кобуры наган. Подняв руку к глазам, посмотрел на часы. Но под освещенным луной стеклом переливалась вода. Часы остановились на двадцати двух часах одиннадцати минутах, отметив приблизительно момент гибели корабля. Летний рассвет начинался около четырех, и оставалось достаточно времени, чтобы затемно доплыть до берега. Лейтенант перевернулся и поплыл брассом, стараясь не спешить, мерно и сильно работая руками и ногами.

Над морем расцветала медленная, теплая, золотистая заря. Все, что ночью казалось странным, таинственным, подстерегающим, теперь приобрело простой, будничный вид.

Белявский сидел в кустах, гуща которых начиналась у подножия обрыва, метрах в пятидесяти от уреза воды. Разорвав на полосы мокрую рубашку, лейтенант перевязывал левую руку. В воде он не почувствовал раны, но, как только вышел на берег, выше локтя резанула острая боль. Осколок прошел краем и, как ножом, рассек кожу предплечья. Окончив перевязку, Белявский почувствовал томящее головокружение от потери крови и усталости. Он опрокинулся на спину, подложив здоровую руку под затылок. После двух бессонных ночей и пережитого волнения клонило ко сну. Лейтенант задремал. Густо сплет-

шиеся ветки образовали над его убежищем зеленую пещеру. Обнаружить человека в этой чаще можно было, только наткнувшись на него.

Спал Белявский, как ему показалось, не больше четверти часа, но в действительности гораздо дольше, потому что солнце стояло уже довольно высоко над искрящимся, пылающим в свете морем.

Лейтенант сел, потянулся и стал обдумывать положение.

Надолго ли удастся ему пережить погибших? Он один, окруженный врагами, в сущности совершенно беспомощный. Все оружие — наган с шестью патронами, седьмой был выстрелен в Севастополе при отходе от пирса в бежавшего к катеру вражеского автоматчика. Но главное было не в отсутствии оружия. Лейтенант не имел возможности двинуться с места. Он был почти гол. За исключением трусов и носков, на нем не было никакой одежды. Даже рубашка ушла на перевязку. Стоит только вылезть из кустов, как все кончится. Голый человек с наганом и перевязанной рукой будет немедленно схвачен. Остается только ждать ночи и, пользуясь темнотой, поискать какое-нибудь жилье. Не может быть, чтобы на этой оккупированной земле не осталось честных советских людей, которые дадут приют, накормят, оденут, может быть, даже дадут документы, и он сможет пробраться через линию фронта к своим, а оттуда — на кавказский берег. Белявский повернул голову к морю... и замер. По самой кромке воды, с шелестом набегающей на гальку, шла женщина. Впрочем, секунду спустя лейтенант увидел, что это не женщина, а девочка-подросток, долговязая и угловатая, в коротеньком и тесном для нее линяло-голубом ситцевом платьице, открывающем загорелые коленки. Девочка шла, склонив голову, вглядываясь в воду. В руках у нее был марлевый сачок на длинной бамбуковой палке. Сделав несколько шагов, она опускала сачок в воду, медленно вела и вдруг, резким рывком выхватив из воды, запускала в него руку и что-то клала в холщовую сумочку на боку.

«Крабов ловит»,— с удивлением подумал Белявский, не спуская глаз с девочки. Его изумило, что на этом берегу, где кругом были враги, можно было заниматься таким мирным делом.

Девочка постепенно приближалась и вскоре очутилась прямо против кустов, в которых скрывался лейте-

нант. Здесь она остановилась, положила сачок на гальку и, вскинув тоненькие руки, стала заправлять под платочек выбившиеся волосы. Теперь Белявский мог рассмотреть ее. У девочки было смуглое, обожженное солнцем лицо с вздернутым облупленным носиком. Глубоко посаженные глаза скрывались под тяжелыми пушистыми ресницами. На вид ей можно было дать лет пятнадцать или немного больше.

И это смуглое, в мелких веснушках лицо было такое русское, такое милое, домашнее, что все опасения и настороженность Белявского мгновенно рассеялись. Бросив взгляд в стороны и убедясь, что, кроме девочки, па берегу никого не видно, лейтенант поднялся, раздвинул ветки и, стараясь придать голосу как можно больше ласки, тихо окликнул:

— Девочка!

Руки, заправлявшие волосы, вздрогнули и опустились. Девочка стремительно повернула голову. Белявский увидел расширенные, устремленные на него глаза. И, желая успокоить девочку, сказал:

— Не бойтесь! Я вам ничего плохого не сделаю.

Милое лицо залилось краской, в которой утонули веснушки, и девочка, передернув плечиками, ответила с вызовом:

— А я и не боюсь! Это вы, наверно, боитесь, раз сидите в кустах.

Несмотря на то, что ему было не до смеха, лейтенант невольно улыбнулся и сердитому тону ответа, и всей этой независимо выпрямленной фигурке.

Девочка смотрела на него выжидательно и недоверчиво.

— Что вы тут бродите в кустах и пугаете людей? Кто вы такой?

Вопрос прозвучал требовательно и настойчиво. Белявский опять усмехнулся.

— Я могу вам объяснить,— сказал с той же, показавшейся ему самому заискивающей, лаской в голосе.— Но только, если вы желаете узнать, подойдите ко мне. У меня есть серьезные причины не выходить на открытое место.

Девочка постояла мгновение в нерешительности. Потом тряхнула головой и быстрыми шажками почти подбежала к кустам. Увидев странный наряд Белявского — трусы, наган, висящий на ремешке, перевязанную руку,

она еще шире раскрыла глаза. Теперь лейтенант увидел, что глаза у нее были ясные, глубокие, немного зеленоватые. Секунду она молча разглядывала Белявского, потом вдруг, вскинув руки и хлопнув ладошками, сказала с восторженным изумлением:

— Одиссей!

— Что? — удивился Белявский.— Какой Одиссей?

Девочка вытянула руки и почти ткнула указательным пальцем в грудь лейтенанта.

— Вы!.. Одиссей!.. Не понимаете?

— Ничего не понимаю.

— Вы не читали про Одиссея? Не знаете? Вот чудак! — девочка неодобрительно покачала головой.— Вы обязательно прочтите. Так интересно...

Но, видимо поняв, что этому раздетому человеку, на руке которого сквозь тряпичную повязку проступало ржавое кровяное пятно, сейчас не до разговоров об отвлеченных предметах, она опять густо покраснела, насупилась и, быстро оглянувшись, спросила шепотом:

— Вы наш?.. Красноармеец? Вы из сражения? Вас ранили? Сильно? Вам очень больно? За вами гонятся?

Она выпалила с необыкновенной быстротой эти вопросы и напряженно смотрела в глаза лейтенанту. И, подчиняясь ее требовательному тону, Белявский так же быстро и коротко и тоже шепотом рассказал девочке почти все.

Она задумалась.

— Слушайте! Вы сможете просидеть тут до ночи? — сказала девочка.

— Конечно. Куда же мне деваться? — ответил Белявский.

— Тогда сидите... и не бойтесь,— добавила она после паузы.— Тут в кустах попадаются змеи, но только они не опасны. Обыкновенные ужи!

— Ну, змей-то я не испугаюсь,— ответил Белявский.

— Врете! Змей все боятся... даже мой папа, а он был полковник... Только никуда не уходите. Когда станет темно, я прибегу за вами и поведу...

— Куда? — спросил Белявский, настораживаясь.

Очевидно, девочка подметила в его лице колебание и недоверие.

— Не надо быть очень любопытным,— опять сердито сказала она.— А если вы мне не верите, так выкручивайтесь сами.

— Нет, нет! Я вам верю вполне,— поспешил успокоить ее лейтенант.— Только как вы найдете меня ночью?

Девочка фыркнула, как рассерженный еж:

— Вот еще! Это вы тут запутаетесь, а я вас с завязанными глазами найду. До свидания!

Она помчалась к воде, подобрала брошенный сачок и побежала по берегу. На бегу оглянулась, махнула рукой и вскоре скрылась за грудой больших серых камней.

Пятые сутки лейтенант сидел на крошечном чердаке, под черепичной крышей, куда в полночь привела его встретившаяся на берегу девочка.

Каждый день, когда наступали сумерки, она забиралась на чердак по шаткой лесенке, которую втягивала за собой, чтобы никто не заметил ее снаружи, и закрывала дверцу изнутри на задвижку. Ощупью в темноте она развязывала узелок и давала Белявскому кусок хлеба, несколько огурцов, иногда маленький кусочек мяса, бумажный фунтик с душистыми сладкими абрикосами. И, сидя рядом с лейтенантом на пыльном полу чердака, разговаривала с ним быстрым, сторожким шепотом.

Уже на третий день Белявский знал все о своей нечаянной подруге.

Ее звали Ирочкой. Она была дочерью полковника-пограничника и до войны жила с отцом в Симферополе. Мать она потеряла в раннем детстве. Три месяца назад ей исполнилось шестнадцать лет. После первой бомбежки Симферополя отец, уходивший со своей частью в бой, отправил ее к тете, работающей лаборанткой в шампанском совхозе «Новый свет». В ноябре тетка получила извещение, что отец Ирочки погиб в боях у Перекопа. Когда Ирочка рассказывала Белявскому о смерти отца, голос у нее дрожал и глаза даже в чердачной тьме светились.

— Если бы вы только знали, как я их ненавижу, проклятых фашистов, за папку, за все... Я бы сама их душила... вот так,— она находила руку лейтенанта и больно стискивала ее своими тонкими пальцами.

Когда немцы захватили «Новый свет», тетка Ирочки перестала быть лаборанткой. Гитлеровцам не требовалось русских лаборанток, и тетку заставили работать уборщицей в коровнике. Тетку и Ирочку выселили из большого

двухэтажного дома в совхозе и разрешили жить в разваливающейся халупе, где раньше ночевали дежурные сторожа виноградника. Жить было тяжело, но все-таки они жили и верили, что оккупанты не могут навсегда остаться в родном, прекрасном русском Крыму, на советской земле.

Сначала тетка очень боялась, как бы фашисты не узнали, что Ирочка дочь полковника-коммуниста. Но никто из работников совхоза, не успевших уйти на Большую землю и знавших об этом, не обмолвился, и немецкие офицеры и солдаты с деревянным равнодушием смотрели на худенькую русскую девочку в полинялом голубом ситчике, проходившую по территории совхоза с робко потупленными глазами. Их обманывала эта запуганная внешность. Но девочка, выросшая в среде пограничников, умевшая скакать на неоседланной лошади и стрелять из пистолета, скрывала под маской постоянного испуга неробкое сердце, кипевшее ненавистью к убийцам отца, палачам советского народа.

Вскоре после первого штурма гитлеровцами Севастополя, однажды ночью в дряхлой халупе появился бывший директор совхоза, который стал начальником партизанской части. Он просидел до рассвета и ушел, оставив уже не угнетенных и оскорбленных вражеским нашествием женщину и девочку, а партизанских разведчиц, которые регулярно, через появлявшихся по ночам связных, сообщали обо всем, что интересовало партизан.

И для этой смертельной работы Ирочка с ее наивным лицом и вздернутым носиком оказалась незаменимой. Немцы даже не могли подумать, что этот угловатый подросток, по нескольку раз в день пробирающийся по совхозу из халупы у берега к коровнику и обратно и низко клаияющийся офицерам и солдатам, может представлять для них какую-нибудь опасность.

Когда ночью, ничего не сказав предварительно тетке, Ирочка привела домой полуголого лейтенанта, тетка сперва возмутилась ее неосторожностью. Но, присмотревшись к Белявскому и допросив его с пристрастием следователя, успокоилась и приняла самое деятельное участие в устройстве лейтенанта.

Хатенка была надежным местом и не вызывала подозрения. За несколько месяцев немцы привыкли и к тетке, и к девочке. Днем они все время находились на виду, и в их поведении не замечали ничего подозритель-

ного, а в избушке не было никакого имущества, которое могло бы привлечь внимание охотников за «сувенирами». Ночью же, когда в халупе появлялись люди с гор,— немцев поблизости не было. Они чрезвычайно не любили ночной темноты и сидели в совхозных домах за каменными стенами. А парные патрули ходили по кромке воды, не рискуя подыматься выше, в чащобу кустарников и виноградных лоз.

Обо всем этом Ирочка рассказала Белявскому во вторую ночь его чердачного сидения. На взволнованную просьбу лейтенанта помочь ему пробраться к партизанам Ирочка с серьезностью взрослой ответила, что сначала она сообщит о нем связному, который должен прийти на днях, а потом видно будет.

— Надо же все-таки вас проверить как следует,— сказала она таким тоном испытанного разведчика, что Белявский даже не рискнул засмеяться, чтобы не обидеть девочку.

На третью ночь Ирочка вместе с едой сунула в руки лейтенанту какой-то плотный квадратный предмет, обернутый в бумагу, и на вопрос Белявского — что это, сказала серьезно и важно:

— Вам, наверно, днем скучно сидеть без дела. Прочтите. Это моя любимая книжка. Я только ее и привезла из Симферополя, когда папка доставил меня к тете.

Утром, когда сквозь черепицы на чердак просочился скудный дневной свет, лейтенант вспомнил о книжке. Она была аккуратно обернута в плотную синюю бумагу. Белявский раскрыл ее. Книга оказалась «Одиссеей». С первых же страниц давно не читанной книги мерный, как набегающая на берег волна, медленный ритм гекзаметра увлек его. И лейтенант поплыл за хитроумным царем Итаки в его сказочные странствия, испытывая необычайные приключения. Мужество, находчивость, мудрость мореплавателя-скитальца снова зачаровали Белявского, как в далекой юности, и он не отрывался от поэмы до темноты, переворачиваясь с боку на бок на плотно убитом глиняном полу чердака. И когда ночью появилась Ирочка с едой, он сказал ей:

— Спасибо за книжку. Теперь понятно, почему вы назвали меня Одиссеем... И я буду называть вас теперь не Ирочкой, а как звали эту царевну — Навзикаей.

— Хорошо! — ответила Ирочка и после минутного молчания тихо сказала: — Это место мне больше всего

нравится в книжке. Я всегда мечтала, чтобы вот так встретить на берегу Одиссея. Даже загадывала. Вот и встретила. Правда, странно? Хотите, я вам на память прочту? Я помню от строчки до строчки.

И взволнованным шепотом она прочитала весь рассказ о встрече Одиссея с феакийской царевной.

— Ведь очень хорошо? Верно? — спросила она, окончив, и вздохнула.

Глубокая нежность и жалость к этой чистой детской душе, так обиженной жизнью, внезапно охватили Белявского. Он протянул руку и погладил Ирочку по теплым, шелковистым волосам.

— Не горюйте, Навзикая! Будет на нашей улице праздник. Мы еще увидим счастье! И какое!

Ирочка уронила голову ему па плечо и беззвучно заплакала.

Темное небо чуть-чуть стало наливаться на востоке прозрачной синевой наплывающего рассвета, когда Белявский, Ирочка и партизанский связной, уводивший его в лагерь, поднялись по крутой тропинке, вьющейся в густых зарослях кизила, на перевал. Внизу лежало темносинее, без конца и края, тихо дышащее, родное Черное море.

— Ну, Иринка, тебе пора назад,— заботливо сказал связной.— Скоро светать начнет. Будь здорова, помощница... Прощайся.

Ирочка протянула руку партизану и повернулась к Белявскому. Несколько секунд она смотрела на лейтенанта неотрывно, будто стараясь запомнить его лицо, и, пока смотрела, ее глаза наливались блеском, заметным даже в предрассветных сумерках. Потом схватила Белявского за руки, прижала их к своей груди, и лейтенант почувствовал, как под его ладонями часто и тревожно бьется сердце девочки.

— Не надо грустить, Навзикая,— сказал он деланно бодро и весело, чувствуя, что бодрость не получилась и что этого вообще не нужно было говорить.

Ирочка вскинула голову и, продолжая смотреть в глаза лейтенанту, выговорила внезапно охрипшим и низким голосом:

— Я никогда вас не забуду. И вы вернетесь. Вы обязательно вернетесь. Иначе быть не может. Иначе... я

умру. Я буду ждать вас. Сколько хотите... Десять... сто лет... Так буду ждать... Обещайте, что вернетесь.

И в ее охрипшем, дрожащем голосе была такая недетская тоска и надежда, такая страстная напряженность чувства, что, стиснув ее маленькие холодные руки, Белявский внезапно сорвавшимся голосом ответил просто:

— Вернусь!

Он хотел, прощаясь, поцеловать девочку, как целуют ребенка, в исхудалую щечку, но после этого внезапного взрыва взрослого чувства ему стало неловко. Он поднял к лицу ее вздрагивающие руки, поочередно поцеловал их.

— Беги, беги, Иринка,— сказал связной, тоже почувствовавший необыкновенность этого прощания.

Ирочка высвободила руки из рук Белявского, еще раз взглянула на него, быстро повернулась и легко побежала вниз по тропке, прыгая с камня на камень. Лейтенант смотрел ей вслед, ожидая, что она обернется, но не дождался. Девочка исчезла среди стволов сосен, нависших над тропкой.

— Тронулись, товарищ,— сказал связной, выждав несколько минут. Он посмотрел на Белявского и, видимо поняв его состояние, поскреб кудлатую бородку и добавил тихо: — Чего ж хотите, товарищ лейтенант? Советское дитё!

Спустя две недели Белявский вылетел из партизанского лагеря на Большую землю на самолете, доставившем с кавказского берега комиссара партизанского штаба. С Кавказа лейтенант был направлен в Москву и там получил назначение на бронекатера Днепровской флотилии. В Москве он зашел в книжную лавку и купил «Одиссею». Обернул ее в плотную синюю бумагу, такую же, в какую была обернута книга Ирочки, и положил в чемодан. Он прошел с катерами дивизиона боевой путь от Киева до Тельтов-канала в фашистской столице, и всякий раз, когда выдавалась свободная минутка, снимал с маленькой книжной полки в каюте «Одиссею» и принимался за чтение.

Накануне штурма Берлина он почти наизусть знал всю поэму. И всякий раз, когда брал в руки книгу, в его памяти с удивительной ощутимостью вставали воспоминания первой встречи на берегу с маленькой Навзикаей

и последнее прощание с ней в горах, перед уходом в партизанский лагерь.

И чем дальше, тем яснее Белявский понимал, что образ смелой, самоотверженной девочки становится все ближе и все дороже ему и что, куда бы ни повернул его жизненный путь, он должен привести его на берег, покрытый обкатанной волнами галькой, к порогу полуразваленной халупки, которая была его желанной Итакой.

Когда советские войска вымели гитлеровцев из Крыма, Белявский хотел написать Ирочке, но, уже сев за стол и взяв перо, вдруг с досадой и почти ужасом вспомнил, что он в сумятице и спешке тех дней не спросил фамилии Ирочки и ее тетки. Он только слышал, что Ирочка называла ее — тетя Аля. Он все же написал письмо и, негодуя на себя за такую оплошность, адресовал письмо в «Новый свет», разведчице Ирочке. Это было глупо, это было похоже на адрес дедушки из чеховского рассказа, но, сознавая всю нелепость такого адреса, лейтенант все же отправил письмо. Ответа он не получил.

И когда отгремели последние залпы войны, получив в конце июня долгожданный отпуск, Белявский бросился в Крым. Пересаживаясь с поезда на поезд, он медленно ехал по опустошенной земле и с приближением к Крыму все больше терял надежду, что ему удастся найти Ирочку. Оставалось одно — ехать прямо в «Новый свет». И, садясь в Симферополе в машину, с трудом добытую в управлении связи, капитан-лейтенант всю дорогу до «Нового света» переходил от надежды к унынию. Он понимал, что если поездка окажется безуспешной и он не найдет Ирочку, то в его жизнь войдет большое и непоправимое горе.

— Приехали, товарищ капитан-лейтенант. Дальше — некуда! — произнес старшина, показывая вниз.— Дальше — одни каменья, покрышки порвем.

Белявский открыл дверцу и выскочил из машины. Торопясь, скользя по круче и обрываясь на выскальзывающих из-под ног камнях, он ринулся к халупе, не слушая крика старшины, указывавшего ему на тропу. Очутившись на расчищенной площадке, он бросился к хатенке и вдруг остановился.

Сорванная с петель, потемневшая от ветров и дождей дверь валялась на земле, держась только на полувыдран-

ной нижней петле. В окне не было ни стекол, ни даже рамы. Черепица на крыше со стороны моря была содрана, и Белявский увидел прогнившие стропила над своим бывшим убежищем. Все дышало запустением и безжизненностью. У капитан-лейтенанта ослабели ноги и стали точно ватными. Он прислонился спиной к стволу карагача и весь покрылся потом. Сняв фуражку и вытирая лоб ладонью, он в отчаянии смотрел на пустую избушку. Но вдруг выпрямился и с кривой усмешкой сказал самому себе:

— Глуп ты, Белявский! Чего же ищешь тут? Ведь они жили здесь при оккупантах. Неужели не мог сообразить, что их давно нет здесь?.. Нужно в совхоз.

Он вскарабкался по откосу к машине и, садясь, оглянулся на халупку.

Машина развернулась, сделала две петли по шоссе и въехала в ворота совхоза. Навстречу по аллее шел сухощавый старик, неся на плече лопату. Замирая от ожидания, Белявский спросил:

— Дедушка, не знаете, где я могу найти вашу лаборантку?

Старик прищурил глаза.

— А вам какую надобно? У нас их четверо.

— В том-то и беда, что я не знаю ее фамилию. Знаю только, что ее зовут тетя Аля... Понимаете, тетя Аля?

Старик распустил морщинки у глаз и улыбнулся.

— Так бы и сказали сразу, товарищ командир. Тетя Аля — наша, партизанская... Как не знать. Вот въедете на взгорок, направо будет дом, двухэтажный, лазурью выкрашен. Через палисадничек пройдете и спросите... А вы издалека, товарищ командир?

— Издалека... очень издалека, дедушка,— крикнул Белявский, обернувшись из тронувшейся уже машины.— С другого края света.

На взгорье между темной зеленью мелькнула слепящей лазурной голубизной стена дома. Капитан-лейтенант, не ожидая остановки, выпрыгнул из машины и открыл калитку в низкой каменной стене. Перед ним был фруктовый сад. На подпертых рогачами ветках зеленели наливающиеся соком ранние яблоки. Было тихо и знойно. Пахло травой и медом. Ласково звенели проносящиеся пчелы. Проходя рядами яблонь, Белявский увидел приставленную к дереву маленькую стремянку. На ее третьей сверху ступеньке работала женщина в белом платье

с украинской вышивкой. Капитан-лейтенант увидел ее со спины. Женщина держалась одной смуглой мускулистой рукой за ветку, а другой подрезала сучок кривым садовым ножом. Во всех ее движениях чувствовалась ловкая сила.

— Товарищ,— окликнул ее Белявский,— будьте добры сказать...

Он не успел договорить. Женщина повернула голову, взглянула и неожиданно так резко откинулась назад, что стремянка пошатнулась и начала валиться. Капитан-лейтенант хотел подхватить, но женщина на лету ловко спрыгнула на землю и выпрямилась.

И оба сразу узнали друг друга. Белявский узнал ее не по лицу, изменившемуся, взрослому, потерявшему детскую угловатость и худобу горького военного времени, а по глазам, по-прежнему зеленоватым, глубоко спрятанным под мохнатыми, как пчелиные лапки, ресницами. Они стояли друг против друга, еще не веря себе, боясь произнести слово, оглушенные, смятенные нежданным.

Потом Ирина стремительно побледнела, так, что вся кровь ушла из-под смуглой кожи щек, и лицо ее стало землисто-оливкового цвета. Губы раскрылись судорожным движением, словно она хотела глотнуть как можно больше воздуха, и эти побелевшие губы выдохнули с силой одно слово:

— Одиссей?!

Прежде чем Белявский успел ответить, девушка рванулась к нему и, обняв за шею, прильнула в таком жадном порыве, как будто искала в этом объятии спасения. Ее тело билось резкой судорожной дрожью, и он услышал прерывистый шепот:

— Вернулся... Все-таки вернулся... Я знала, что вернешься.

Она подняла голову и вплотную смотрела в глаза Белявскому сияющими глазами, из которых падали на его китель почти непрерывным ручейком крупные, сверкающие на солнце, счастливые слезы. И, поддерживая бессильно и радостно поникшее на его руки тело, Белявский, потрясенный, понял, что держит в этих опаленных боем, прошедших сквозь кровь и огонь солдатских руках счастье огромной любви, которое дается человеку лишь раз как бесценный дар жизни.

<1952>

ПАРЛАМЕНТЕР

Вечером, к концу шестого дня боев, Андрей был направлен штабом Военно-революционного комитета в распоряжение командира отряда, занимавшего позицию у Страстного монастыря. Записку с приказом привез связной, бородатый солдат-гренадер в рваной и опаленной с одного бока папахе, украшенной красным бантом. Он сидел на огромной и неимоверно худой артиллерийской лошади, часто носившей боками и хрипевшей.

— Загнал коня! — досадливо сказал Андрей, прочтя записку и гладя лошадь по горячей влажной шее.

— Загонишь тут,— внезапно окрысился связной, зло блеснув маленькими воспаленными глазками,— не то что коня, себя загонишь. Третьи сутки по всей Москве скачу, ищу таких вот, вроде тебя. А пойди найди в энтой сумятице... Тьфу! Кабы не для пятого номера [1], ей-пра бросил бы к чертовой бабушке.

— А для пятого не бросишь? — улыбнулся Андрей.

— Да уж дотяну,— солдат со злостью махнул рукой.— Потому как нам это, безусловно, подходит... Ну, прощевай, товарищ, поеду. С Басманной да на Остоженку. Во каки концы!

Он ударил лошадь каблуками, и она косо, бочком, словно слепая, пошла валкой рысью, грохоча подковами по булыжнику.

---

[1] Под пятым номером числились списки кандидатов в Учредительное собрание от РСДРП(б). *(Примеч. автора.)*

Когда Андрей после долгого путешествия по пустым улицам, на которых были только красногвардейские патрули, проверяющие документы, добрался до Страстной, стало уже темно. Похолодало. С неба зачастил колючий, крупитчатый снежок. Над Тверским бульваром все еще стоял розовый дрожащий свет от горевшего у Никитских ворот, никем не гасимого восьмиэтажного дома. Он горел четвертые сутки. Когда пожар занялся, пожарные попробовали выехать, но по машинам был открыт пулеметный огонь из замыкающего бульвар и занятого юнкерами здания. И пылающий дом был оставлен на произвол огня. Его зарево освещало весь бульвар, и в нем деревья, дома, баррикады у памятника Пушкину — все казалось фантастической декорацией.

На середине Тверского бульвара, в старом ампирном особняке градоначальства, где помещалось после февраля Управление народной милиции, засел с частью распропагандированных эсерами милиционеров и группой юнкеров и студентов начальник милиции Москвы эсер Вознесенский. Установив на балконе и в чердачных отдушинах пулеметы, защитники градоначальства держали под непрерывным огнем Тверской бульвар, препятствуя Красной гвардии и восставшим солдатам прорваться к одному из последних сильных узлов сопротивления войск Временного правительства — у Никитских ворот и Арбата. После ряда этих попыток на бульваре и тротуарах вдоль него осталось несколько десятков трупов. Их не убирали. Свинцовые струи сметали всякого, кто появлялся в этой смертельной зоне.

Командиром отряда на Страстной оказался матрос. Андрей нашел его в фойе кинотеатра на углу Бронной. Стены фойе были заклеены рекламными плакатами, с которых сияли загадочные взоры Веры Холодной и кривилась трагическая гримаса Мозжухина. Вошедшего ошарашивали потрясающие названия фильмов: «Тайна летней ночи», «Это ты, любовь», «Ночи безумные».

Матрос стоял между Верой Холодной и Мозжухиным в расстегнутом бушлате и сдвинутой на затылок бескозырке с вылинявшей надписью «Гангут». Одну ногу с закатанной до колен штаниной он поставил на стул, и женщина в белой головной повязке с красным крестом бинтовала ему икру. При каждом обороте бинта на нем проступало розовое пятно. На колене этой ноги матрос держал большую бухгалтерскую книгу и, прищурив один

глаз, торопливо строчил карандашом на вырванном из нее листе.

Фойе было густо набито людьми, и в нем стоял вязкий махорочный дым, до того густой, что окутанные его завесой люди казались нереальными. Несмолкаемый гам оглушил Андрея. Моряк кончил писать, выпрямился и вдруг сказал низким, покрывшим весь шум басом:

— Ша!.. Давайте помолчим!

И такой был гулкий трубный звук у этого баса, и такая прозвучала в нем не терпящая возражений сила, что сразу наступила тишина. Матрос сложил листок вчетверо и спросил:

— Чирков тут?

Из человечьей гущи выскочил паренек в стареньком, порыжелом пальто с короткими рукавами, из которых торчали костлявые, синие от холода руки.

— На! — сказал ему матрос, сунув листок.— Ты проворный! Лети и жми! Чтоб вмиг слали патроны, а то беда. Вы же, сукины дети, с радости, что довелось пострелять, не бережете патроны, пуляете в белый свет. Вот и сели без гороха!.. Отчаливай быстрей!.. И ты, знахарка,— обернулся он к сестре,— давай кончай!.. Некогда!..

Матрос решительным жестом опустил штанину, снял ногу со стула и попробовал топнуть ею об пол. Лицо его передернулось от боли.

— Заживет, как на псе! — сказал он с притворной лихостью и вопросительно посмотрел на Андрея. Андрей протянул ему записку штаба. Матрос проглядел и задумался. В фойе снова начался гам. Матрос поморщился.

— Пойдем, браток, в мой секретный отдел,— усмехнулся он.— С этими горластыми каши не сваришь. Да и жалко их голосу лишать. Триста лет под царями молчали, как запаянные, ну и орут теперь в свое удовольствие. Пойдем!

Он взял Андрея за плечо и, подтолкнув к двери в углу фойе, открыл ее. Узкая деревянная лесенка в десять ступенек вела в аппаратную. Там стоял накрытый холстом проекционный фонарь, было тесно и душно, пахло пылью, целлулоидом, эфиром и мышами.

— Вот так,— сказал матрос, захлопнув дверь и погасив шум, шедший из фойе,— будем знакомы. Фамилия моя Шарапов, а твою из документа видать. Только что ж мы с тобой будем делать? Тут у тебя написано: «Предлагается принять трехдюймовую батарею и начать артил-

лерийский обстрел контрреволюционных войск в градоначальстве и по Тверскому бульвару»... Дело хорошее, да только батареи у меня черт-ма! С утра обещали прислать, а до сей поры на дальность видимости не подошла. Пуляем из трехлинеек и «максимки», а толку что? Этим стены не возьмешь. Как думаешь?

Андрей пожал плечами.

— Вот то-то и оно!

Матрос вдруг засмеялся, и его жесткое, угловатое, в рябинках, лицо с отпечатком тяжелой усталости неожиданно стало детски простодушным.

— Они, гады, понимаешь, что сделали?.. Выдрали из коридора в охранке с пола чугунные плиты и забронировали пулемет на балконе. Мы бьем с винтовок, пули сплющиваются и отскакивают, а он так и чешет, так и чешет... А тут и винтовочные патроны к концу подходят. Ну, просто амба!

Он замолчал и выжидающе смотрел на Андрея.

— Слушайте, товарищ Шарапов! — сказал Андрей.— А не предложить ли им сдаться? Должны же они понять, что дело проиграно. Уже почти вся Москва в наших руках.

Шарапов ударил кулаком по стойке проекционного фонаря.

— Думаешь, не предлагал? Еще утром... Так ведь такие обалдуи там сидят, понять не могут, что отыграла ихняя музыка. Клали бы оружие да шли по домам к мамашкам под бок. И кто там есть? Студентишки да гимназисты... Шморкачи! — сказал он с невыразимым презрением.

— Ну, что ж, попробуем еще раз. Признаться, мне не хочется выдалбливать их снарядами. Разрушим дома, зажжем новый пожар. А нам Москва целая нужна.

— Оно верно...— Шарапов сдвинул бескозырку на лоб.— Да кого пошлешь? Утром ходил паренек, а они ему, когда обратно шел, в спину горох запустили. Сволочи, одно слово!

— Я пойду,— неожиданно для самого себя сказал Андрей.

— Ты?.. В самом деле?.. Не боишься? — спросил Шарапов.

— Бояться — боюсь, не совру,— ответил Андрей,— но раз надо, так надо.

Шарапов опять внимательно посмотрел на Андрея.

— А ты вроде из настоящего матерьяла, браток,— сказал он с ласковым удивлением,— и правды не обегаешь. Если бы сказал, что не боишься, я б тебя не послал, потому не боятся только дураки да брехуны. А тебя пошлю... Давай!

Они спустились в фойе. Шарапов подошел к окну, сорвал кремовую шторку, разорвал ее пополам и, взяв стоящую у стены винтовку, наколол шторку на штык.

— Не совсем белая,— усмехнулся он,— ну, по бедности сойдет. Пойдешь, размахивай посильнее, чтоб издали видать. Я с тобой до угла дойду, сыграем сигнал «Слушай все». Эй, дядя! — Шарапов окликнул пожилого солдата с ополченческим крестом на фуражке.— Давай свою сопелку.

Он взял у ополченца потемневший от медной окиси горн и вывел Андрея к пушкинскому памятнику. Поднес горн ко рту. Над бульваром трижды пронесся стонущий голос горна. Андрей стоял рядом с Шараповым, размахивая шторкой. На середине расстояния между памятником и градоначальством большим голубоватым факелом пылал газ из простреленного газового фонаря, ярко освещая проезд бульвара. Андрей ясно видел забаррикадированный чугунными плитами балкон, и с балкона, несомненно, должны были видеть болтающуюся в воздухе шторку.

Над балконом появилась чья-то голова. Шарапов набрал в грудь воздуха и прогремел своим трубным басом.

— Слухай, контра!.. Прекрати палить! Посылаем до вас человека!

И подтолкнул Андрея.

— Трогай, браток! Увидимся так увидимся, а не увидимся — спасибо тебе.

Высоко подняв винтовку и продолжая размахивать ею, Андрей сделал несколько шагов. Они были трудными. Ноги захолодели и стали непонятно тяжелыми, с трудом отлипали от тротуара. С противоположного конца Тверского бульвара, посвистывая птичками и с хрустом сбивая ветки, летели пули.

«Не дойду,— подумал Андрей, прижимаясь к стенам домов.— Хватит какая-нибудь шальная — и поминай как звали».

Но пули свистели высоко над головой, и, пройдя несколько десятков шагов, Андрей зашагал тверже. Балкон приближался с каждым шагом. Газовый факел све-

тил теперь ему в спину, и Андрей уже ясно видел фигуру на балконе и двух человек, осторожно высунувшихся из парадного крыльца градоначальства.

Два александровских юнкера, упирая штыки ему в спину, провели Андрея по заслеженной и засыпанной окурками лестнице на второй этаж и ввели в приемный зал. Он был так же плотно набит людским месивом, как покинутое фойе кинотеатра, и так же заткан табачным дымом. По человеческому составу зал был похож на Ноев ковчег. В нем толклись офицеры, юнкера, милиционеры с повязками на рукавах, студенты университета и техники с бронзовыми вензелями на контрпогончиках, гимназисты и какие-то неопределенные личности. На креслах, на диванах, на полу спали. Андрей заметил мимоходом спящего на алом бархатном диване прапорщика. Он сладко храпел, и из открытого рта на диван сбегала струйка слюны. От слюны краска обивки слиняла, и щека прапорщика казалась залитой кровью. Те, кто не спал, уставились на Андрея, и он шел через зал под перекрестным огнем взглядов, то любопытных, то нескрываемо злобных. Юнкера подвели его к резной дубовой двери и распахнули ее. В громадной комнате, бывшем кабинете градоначальника, горела одна настольная лампа, и углы были погружены в темноту. За столом сидел Вознесенский в шляпе и черном штатском пальто с бархатным воротником. Пальто было перепоясано солдатским ремнем, на котором висела кобура. При входе Андрея Вознесенский откинулся на спинку кресла и вскинул на него мутные глаза в набрякших веках. Лицо у Вознесенского было серо-желтое, нездоровое, глаза лихорадочно блестели.

— Кто такой? Что нужно? — грубо спросил он.

Андрей ответил, что он пришел по полномочию Военно-революционного комитета предложить защитникам градоначальства прекратить бесцельное сопротивление и сдаться.

— Временное правительство более не существует. Керенский бежал. В России власть Советов. Дальнейшее сопротивление бесцельно, господин Вознесенский. В ваших руках сотня молодых жизней, которым грозит бессмысленная и бесславная гибель. Если вы сейчас сложите

оружие, Военно-революционный комитет гарантирует вам свободу и жизнь. Если нет — вы будете уничтожены. Москва наша. Последние остатки ваших войск заперты в ловушке на Арбатской площади. Если вам не известно, то могу сообщить, что командующий войсками Временного правительства полковник Рябцев смещен. Командование принял поручик Якулов, который ведет переговоры с нашими представителями о прекращении борьбы. Будьте благоразумны, мы даем вам полчаса...

Андрей не договорил. Вознесенский вскочил, с грохотом опрокинул кресло. Андрей видел, как прихлынувшая кровь залила его лицо мясным, лиловым румянцем. Рука его схватилась за кобуру.

— Молчать!.. Мальчишка! — закричал он хриплым, срывающимся голосом.— Большевистский бандит! Я тебя пристрелю на месте, дрянь!

— Стыдитесь, господин Вознесенский! Я парламентер, а с парламентерами нужно разговаривать прилично. Это и дикари знают!

— Молчать, мерзавец! — опять крикнул Вознесенский.— Я прикажу тебя сейчас же расстрелять... тут, во дворе!

— Вряд ли это вам поможет,— Андрей пожал плечами.

— Взять его! — истерически взвизгнул Вознесенский.— Вывести во двор и...

— Минутку, товарищ Вознесенский! — произнес чей-то голос из темного угла. Там поднялся не замеченный Андреем человек и вышел к столу на свет.

— Минутку! — повторил подошедший, и Андрей с удивлением узнал в нем присяжного поверенного со странной фамилией — Бессмертный. Андрей был знаком с ним. Бессмертный несколько раз бывал у них в доме.

— Я знаю этого юношу, товарищ Вознесенский,— сказал Бессмертный и повернулся к Андрею.— Признаюсь, Андрей Николаевич, я не ожидал увидеть вас здесь в странной роли большевистского парламентера. Я думаю, что ваш отец очень бы огорчился, узнав это, Андрей Николаевич.

— У меня с отцом сейчас разные дороги,— ответил Андрей,— и отец тут ни при чем.

— Жаль, жаль,— протянул Бессмертный,— вы попали, друг мой, в скверную историю.

— А мне кажется, что в скверную историю попали вы,— зло бросил Андрей,— во всяком случае, поскольку вы юрист, разъясните господину Вознесенскому, что парламентер, по принятому во всем мире закону, является лицом неприкосновенным.

— Конечно,— с жесткой усмешкой согласился Бессмертный,— если он является представителем воюющей стороны. Но мы не считаем большевиков воюющей стороной. В наших глазах вы безумные авантюристы и бунтовщики. С парламентерами бунтовщиков мы не разговариваем.

— К чему эта болтовня? — крикнул Вознесенский.— Я сказал! Ведите этого прохвоста!

— Погодите! — Бессмертный, соболезнующе покачал головой.— Я, к сожалению, против желания и убеждения вынужден просить вас, товарищ Вознесенский, воздерживаться от крайних мер. Делаю это не ради вас,— кинул он Андрею,— но ради вашего отца. Николай Павлович Тальников — человек, которого я глубоко уважаю...

— Я еще раз прошу оставить моего отца в покое,— перебил Андрей.

— Вот именно я и хочу, чтобы он был спокоен. Я думаю, товарищ Вознесенский, что можно оставить сего юнца под присмотром до конца этой нелепой истории. Большевики вскружили ему голову, и, когда все кончится, я уверен, что он одумается.

— Напрасная иллюзия! — сказал Андрей.

— А ну его к черту! — вдруг вяло сказал Вознесенский.— Заприте его где-нибудь. Сопляк!

— Где прикажете запереть? — спросил один из приведших Андрея юнкеров.

— Где хотите! Хоть в ванной!

— В ванной? — переспросил юнкер.— Но там же...

— Разговорчики! — крикнул, снова вскипая, Вознесенский.— Приказано — делайте! Марш!

Юнкера опять провели Андрея через зал, потом по длинному коридору и, открыв в конце его дверь, втолкнули Андрея. Дверь с треском захлопнулась, и щелкнул ключ. Первое, что бросилось в глаза Андрею, было человеческое тело, лежащее ногами к выходу. Лицо лежащего было прикрыто маленьким ванным ковриком. Из-под коврика на тужурке блестел наплечный вензель высшего технического училища. Невольно вздрогнув, Андрей шаг-

нул к лежащему и приподнял коврик. Он увидел прозрачно-восковое лицо. Под левым глазом чернела маленькая припухшая ранка, и к губе тянулась засохшая полоска крови. Студент был мертв и, видимо, уже давно. Андрей опустил коврик и поднялся, охваченный бешенством.

«Скоты! Негодяи!.. Заперли с покойником. Это же гнусное издевательство! Подлость!» — подумал он и, подойдя к двери, яростно забарабанил в нее руками и ногами.

— Какого черта стучите? — прозвучал голос из коридора.

— Немедленно выпустите меня! — закричал в негодовании Андрей.— Какое право вы имеете запирать меня с мертвецом? Это неслыханное скотство! Откройте сейчас же!

— Сиди, сволочь! — отозвался голос из коридора.— Привыкай, скоро сам будешь покойничком. Приятных сновидений!

Андрей услышал удаляющиеся шаги и смех и понял, что стучать и протестовать напрасно. Стиснув кулаки, он сел на табурет, стараясь не смотреть на покойника. Но против воли эта неподвижная фигура притягивала его взгляд.

«Кто он?» — спросил себя Андрей.

Студент был, очевидно, не из богатеньких. Его зеленые диагоналевые брюки были сильно обшарпаны понизу и заштопаны под коленкой. Левая подошва была протерта, и на ней виднелась овальная дыра. Носки дешевые, нитяные. Вероятно, жил впроголодь, бегал по урокам, питался в столовке для недостаточных студентов. Три копейки борщ, пять копеек котлета с картофельным пюре. Невеселая жизнь! И что понесло его в драку за Временное правительство, с которым у него наверняка ничего общего? Вот кому вскружили голову фальшивой демократией.

Андрей перевел взгляд с грязных и рваных ботинок мертвого на свои новенькие, дорогие шевровые сапоги и усмехнулся:

«Ирония судьбы!.. Я, Андрей Тальников, сын профессора, буржуй, дерусь за большевиков, а этот полунищий бедняк умер за Керенского. Какая чушь!»

Андрей прислонился спиной к батарее отопления. Приятное тепло, проникающее через шинель, разнежи-

вало. Сказалась усталость трех бессонных ночей. Он пытался бороться с дремотой, но глаза смыкались все плотнее, и, наконец, он, как на дно омута, ушел в мутный сон.

Проснулся от металлического звука повернутого в замке ключа. Андрей вскочил. Дверь открылась. В ванную вошел Бессмертный.

— Ну, как вы тут, Андрей Николаевич? — спросил Бессмертный, покосившись на мертвеца.

— Послушайте, Петр Германович,— нервно заговорил Андрей,— что же это такое, наконец? Как вы это допускаете? Я считал вас порядочным человеком, во всяком случае. Вы присяжный поверенный, защитник прав человека! Ну, хорошо, мы враги. Я у вас в плену, но и с пленными нигде так не обращаются. Вы заперли меня с мертвым...

— Я пытался убедить Вознесенского отпустить вас, но он невменяем, он в истерике. Разговаривать с ним бесполезно. Потерпите немного. Только что мы получили сообщение, что на Александровском вокзале высаживаются посланные с фронта войска, верные Временному правительству.

— Неужели вы верите этому бабьему вздору? — возмутился Андрей.— Вас дурачат. Кремль давно взят нами. Алексеевское военное училище разнесено артиллерией. Очередь за Александровским, где ваш последний оплот. Фронт целиком за большевиков. Конец близок, но это ваш конец. Или вы думаете победить народ с этим сбродом, набранным на гимназических партах?

— Не будем спорить, Андрей Николаевич! Не время и не место. Я бессилен отпустить вас. Я зашел успокоить вас. И потом вы, наверное, голодны. Вот вам парочка бутербродов. Примите от врага!

— И на том спасибо! — улыбнулся Андрей.— Сознаюсь, что я действительно голоден, как черт!

Он взял у Бессмертного бутерброды и жадно откусил сразу половину бутерброда с ветчиной.

— Я вас уверяю, Андрей Николаевич, что к утру мы овладеем положением в Москве и разгромим ваших друзей... Постойте! Слышите? — сказал Бессмертный, прислушиваясь.

— Что такое? — спросил Андрей.

— Кажется, кричат «ура» на Страстной. Наверное,

это ударники подошли с вокзала и атакуют. Да, да, я вам говорю. Сейчас вы сами услышите.

Переступив через труп, Бессмертный бросился к окну, распахнул его и перевесился наружу. Андрей шагнул за ним. От Страстной действительно донеслось «ура».

«О, черт! Неужели в самом деле Рябцеву подбросили подкрепление,— мелькнула мысль.— Но это же значит опять затяжка развязки. Только почему-то не слышно стрельбы».

Он протянул руку, чтобы отстранить Бессмертного и выглянуть в окно, но за окном грянул близкий выстрел. Бессмертный отшатнулся, вскинул руку к голове, но на полпути рука бессильно упала, а за ней Бессмертный молча рухнул к ногам Андрея на труп студента. Андрей кинулся к нему. Из переносицы Бессмертного тугими толчками выхлестывалась струя крови. Открытые, изумленные глаза его быстро стекленели. В распахнутое окно летели снежинки. Секунду Андрей смотрел в холодную мглу за окном, и вдруг пришло решение. Он вскочил на табурет и, балансируя на цыпочках, вывинтил из патрона лампочку. В ванной стало темно. Тогда Андрей подошел к окну и осторожно выглянул. Под окном всего в полутора аршинах была крыша сарая соседнего двора, покрытая уже пухом снежка. Андрей соображал.

Нужно спрыгнуть на крышу и стремительно скатиться к ее краю. Но очень стремительно. Неизвестный стрелок, видимо засевший где-нибудь на чердаке, бил очень метко — это было понятно по выстрелу, уложившему Бессмертного. Не дать ему времени взять на мушку, иначе глупая гибель от руки своего же. Жаль, что крыша сарая побелела от снега, фигура на нем будет отчетливо видна. Была не была, но нельзя терять времени. Андрей уперся руками в подоконник и рывком выбросил тело наружу. Покатился по скользкому снегу, попытался ухватиться за желоб, но оборвался и рухнул во двор. Удар отдался во всем теле режущей болью, и Андрей едва не потерял сознания. В ту же минуту снова грянул выстрел стрелка, и пуля ударила в стену сарая почти рядом с Андреем. Собрав все силы, он приподнялся и, хотя кружилась голова и гудело все тело, согнувшись в дугу, перебежал двор. Наткнулся на какую-то дверь и отча-

янно застучал в нее. Спустя минуту испуганный голос спросил:

— Кто?

— Откройте, прошу! — крикнул Андрей.— Не бойтесь! Я мирный человек. Мне нужно только выйти на улицу. Выведите меня!

Дверь приоткрылась. Андрей увидел небольшого старичка в мягких туфлях и в жилете. На шее у него висела желтая клеенчатая ленточка сантиметра. Он посмотрел на Андрея поверх очков и отступил назад, освобождая проход.

— Где у вас выход на бульвар? Только скорей. Мне дорога каждая секунда. И не спрашивайте меня ни о чем.

— Я и не спрашиваю,— ответил старичок.— Идите за мной, только осторожно. Мы не зажигаем света, а то, неровен час, влепят пулю. Давайте руку!

Он повел Андрея за собой через две комнаты. В комнатах стоял тот странный запах клейстера и еще чего-то непонятного, который всегда бывает в жилище портного.

— И куда только вас несет под пули? — ворчливо сказал старичок, поворачивая ключ парадной двери.— Какие-то все бешеные стали нынче. Не отговариваю, но удивляюсь.— Он приоткрыл дверь.— Идите, молодой человек, храни вас бог!

Андрей в темноте нащупал руку старика и стиснул ее.

— Спасибо! Я вам очень обязан!

— Не стоит, голубчик,— отозвался старичок.

Выскользнув наружу, Андрей оглянулся. Старичок стоял в пролете двери, и Андрей махнул ему рукой. Прижимаясь к стене, побежал к Страстной.

. . . .

Шарапов вертел и тискал Андрея, хохоча и хлопая его по спине.

— Да неужто ты, браток? Сам? Ну-ну, обрадовал! А я уж думал, пропал парень, язви меня в корень. А ты вот, пришвартовался. Ну, просто камень с души ты мне свалил. Я уж себя виноватил: зачем послал?

— Как видите, выскочил. Но хлебнул беды вдоволь,— сказал Андрей, вырываясь из объятий Шарапова.— Расскажу — не поверите.

— Ладно, браток, расскажешь потом. Будет время для рассказов, когда кончим волынку.

— А почему тут «ура» кричали? — спросил Андрей.

— От радости... Наконец две пушки прибыли. Принимай, браток, и начинай свое дело. Раз не хотят иметь лазейку, пусть подыхают. Все одно возьмем. Не мытьем, так катаньем!

— А где пушки? — радостно спросил Андрей.

— Тут за углом на Тверской. Идем, браток, я тебя представлю по форме.

За углом стояли две трехдюймовки. Ездовые сидели в седлах. Лошади помахивали хвостами и нетерпеливо переминались.

— Унтерцер, где ты? — крикнул Шарапов, и из-за орудий выскочил приземистый солдат в залихватски заломленной набок фуражке.

— Вот тебе командир! — сказал Шарапов, указывая на Андрея.— Командуй, товарищ Тальников.

Андрей выпрямился, охваченный гордым волнением. Вот она, долгожданная сила, перед которой ничто не устоит. Набрав воздуха, он звонко и радостно прокричал:

— Слушать команду! Батарея, марш! — И сам побежал вперед к началу бульвара. Орудия прогрохотали по мостовой, и Андрей остановил их слева от памятника Пушкину. Когда орудия снялись с передков и уставились жерлами вдоль бульвара, Андрей взглянул на часы. Было начало восьмого. В небе серой мутью наливался поздний осенний рассвет.

— Наводка по балкону дома с колоннами!.. Прицел двадцать! Уровень тридцать-ноль! Гранатой. Заряжай! — скомандовал Андрей.

Смотря на балкон, он вспомнил все, что случилось с ним в градоначальстве, и в нем вспыхнула острая злоба. Он поднял руку, выдержал паузу и, резко опустив руку, крикнул во весь голос:

— Огонь!

Пушки выбросили два ослепительных полотнища пламени, и Андрей ясно увидел, как брызнули в огне разрывов куски разбитых плит, дрогнула, свалилась и повисла вниз изуродованная балконная решетка. Замки орудий мягко чавкнули, запирая новые патроны.

— Огонь!

Один из снарядов прорыл канавку вдоль всего фасада градоначальства. Обнаженные кирпичи показались Анд-

рею кровоточащей раной. В воздухе поплыла красноватая пыль. Андрей в третий раз поднял руку, но в эту секунду из окна особняка просунулась палка с навязанным на нее белым полотнищем.

Сзади рвануло воздух ликующее «ура». Шарапов хлопнул Андрея по плечу.

— Чисто сработал, браток! Выпустили дух, тараканы! — И он опять обнял Андрея и истово поцеловал его в обе щеки.

По бульвару к Никитским воротам, уже не пригибаясь, бежали солдаты и красногвардейцы. Начинался Судный день старого мира.

<1957>

В КАНУН ОКТЯБРЯ

Камбуз кают-компании дивизиона помещался на обрыве нависающих над бухтой желтых, изъеденных мокрыми ветрами и веками скал ракушника, в просторном могильном склепе, на стене которого тысячелетие назад чья-то благоговейная рука вывела красновато-кирпичной краской под грубым изображением рыбы, символа христианства, греческую надпись, возвещающую о том, что здесь положен был согражданами на вечное успокоение именитый гражданин Херсонеса Таврического, взысканный богами муж и славный зодчий крепостных стен Аксениос.

Давно обрушились выстроенные им стены, легшие безобразными грудами полуотесанных циклопических камней обочь шоссейной дороги от Севастополя к развалинам Херсонеса. Давно обратились в прах, а может быть, лежали в витрине эллинского отдела Эрмитажа кости зодчего. В склепе оставался только большой саркофаг из мягкого инкерманского песчаника с незаконченным скульптурным орнаментом из виноградных листьев и кистей. Высекала орнамент рука неталантливого ремесленника, и, вероятно, поэтому, а еще потому, что крышка саркофага исчезла в давние времена, он не привлек ненасытного внимания археологов и стоял большим каменным корытом, полный вековой пыли и мусора.

Когда на бухту стали падать не только бомбы с самолетов, но и крупные снаряды немецкой дальнобойной

артиллерии со стороны Качи, склеп решили приспособить под камбуз.

Догаренко при первом же ознакомлении с новым помещением сообразил, что саркофаг избавляет от необходимости складывать плиту. С помощью двух матросов, работавших на «гражданке» печниками, в боковой стенке саркофага были пробиты отверстия для духовочной дверцы, заслонки и поддувала. Сверху положили привезенные из адмиралтейства чугунные плиты с шестью конфорками и вмазали пятиведерный котел. На дымоход пошли шестидюймовые трубы разбитой канализационной сети ближних казарм, выведенные наружу. Камбуз получился на славу.

Сегодня с утра саркофаг полыхал огнем, и Догаренко, в поварском халате, огромный, темно-бронзовый, как статуя, не отходил от плиты. Утром его вызвал командир дивизиона и сказал, что несмотря на сложную обстановку, завтрашний день, годовщина Октября, будет отпразднован в кают-компании праздничным ужином, и ужин должен быть приготовлен по первому классу, точно так, как готовил Догаренко в мирное время, будучи шефом кухни первого класса теплохода «Абхазия». Догаренко сощурил на капитана второго ранга свои темно-вишневые глаза и пожал плечами.

— Яки будуть продукты, товарищ капитан второго рангу, такий буде и ужин. С пшенных концентратив та с мясных консервов фрикасе а ля нуазет не зробишь.

— Ты меня кулинарным словарем не пугай, Догаренко,— усмехнулся командир дивизиона,— продукты будут. Управление тыла обещало баранину и картошку. Офицерский состав сдаст сахар, масло, сгущенное молоко и шоколад. Мука есть. Одним словом — помни, какой завтра день. И торт чтоб был мировой.

— Тоди ясно. Буде! — уверенно сказал Догаренко.

Он работал с энтузиазмом, но часто отрывался от поварского колдовства, выскакивал из склепа на воздух и, прикрыв козырьком ладошки глаза, смотрел в море. Оно было сегодня суровое и туманное. Порывистый и влажный ост гнал низко над водой сочившиеся дождем чугунно-серые тучи. Видимость была плохая, уже на двух кабельтовых все терялось в мути тумана. А по чернильно-угрюмой воде ходили белые пенные гребни.

Катера дивизиона с утра ушли из бухты в море охранять тралящий на фарватере караван: ночью должен был уйти на Большую землю транспорт с женщинами, детьми и ранеными. Догаренко глядел в мокрую муть за плоским мысом и тосковал. Работа кока не радовала его сейчас так, как на «Абхазии». Профессию свою он любил и гордился тем, что ресторан первого класса «Абхазии» считался лучшим. Но, призванный в первые дни войны, Догаренко перешел прямо с пассажирского теплохода на крошечную палубу «МО-107» строевым. Начало войны застало «Абхазию» на севастопольском рейде. Зять капитана «Абхазии», лейтенант Коренков, командовал «107-м». Через отдел кадров, где у капитана были старые друзья, было устроено назначение Догаренко на корабль лейтенанта. Отправляя Догаренко с теплохода, капитан взял с него слово беречь и охранять командира. На катере Догаренко был приписан заряжающим к носовой пушке, и все было бы хорошо, да подвела «мореходка», попавшая с другими документами Догаренко в штаб дивизиона. Просматривая бумаги личного состава, помполит усмотрел в мореходной книжке Догаренко профессию «кок». Кок, да еще с пассажирского теплохода, да еще ресторана первого класса, был настоящим кладом для кают-компании дивизиона, и, как ни упирался Догаренко, ничто не помогло. Догаренко пошел в кают-компанский камбуз, чувствуя себя без вины виноватым перед товарищами, которые сражаются за родину пушками и пулеметами, а не уполовниками и секачами, а главное — перед капитаном, с которым он плавал много лет и которому дал слово заботиться о своем командире. А словом своим Догаренко дорожил и попусту им не швырялся, потому что был не мальчишка, которому слово бывает нипочем, а человек солидный, которому перевалило за сорок.

Каждый выход «107-го» в море выводил Догаренко из душевного равновесия, и он не находил себе места, пока юркий кораблик не влетал в бухту, с полного хода впритирку подваливая к пирсу. Только увидев на палубе голову командира с вылезающими из-под фуражки белокурыми вихорками, Догаренко чувствовал душевное облегчение, и работа у него спорилась. Сегодняшний день был, правда, затишный, лишь изредка вдалеке погромыхивали отдельные орудийные выстрелы, туман хорошо укрывал катера, а фашисты считали такую погоду нелетной. Они

предпочитали то «кларе кримише химмель» [1], о котором им напела геббельсовская пропаганда. К четырнадцати часам Догаренко успокоился и повеселел, когда все катера благополучно пришвартовались у пирса на свои места.

Теперь Догаренко мог вдохновенно и с чистой совестью отдаться сложной задаче — строительству праздничного торта. Торт был продуктом яркого творческого взлета, изображая знакомый каждому севастопольцу памятник затопленным кораблям. Памятник возвышался в центре торта среди морских волн, вылепленных из волнистых червячков сливочного масла, окрашенных для полной иллюзии метиленовой синькой, добытой в санчасти. Шоколадный постамент венчала колонна из округленных кусков рафинада с шоколадной капителью. На капители должен был усесться шоколадный же орел с распростертыми крыльями. Взяв орла за крылышки, Догаренко прикидывал уже, как бы эффектнее посадить его, но не успел.

Внутренность камбуза озарилась мгновенным, как слепящая вспышка молнии, но не бледно-голубым, а желто-зеленым блеском, словно облившим стены яркой глазурью. Дрогнула и шатнулась земля, с грохотом упали трубы дымохода, едва не задев Догаренко по плечу. Короткий и гулкий, страшной силы удар раскатился совсем рядом. Воздушная волна, упругая, как туго набитая подушка, ворвалась в камбуз, выбила орла из пальцев Догаренко, его самого отбросила к стене. Из саркофага вырвался фонтан искр, и сахарная колонна на торте свалилась набок. Протирая запорошенные глаза, Догаренко бросился к выходу. Выбежав, он увидел плотное облако рыжеватого дыма. Оно расплывалось над пирсом. Сверху еще сыпались мелкие и крупные камни, взметенные взрывом. На пирсе то выскакивали из дыма, то снова скрывались в его завесе, медленно сносимой к морю, фигуры моряков. С первого взгляда Догаренко понял, что в угол пирса ударила либо тяжелая авиабомба, либо снаряд одной из недавно подвезенных немцами сорокасантиметровых гаубиц. Он напрягал зрение, пытаясь различить в дыму силуэты катеров, но их не было видно. Внезапно дым на пирсе с подветренной стороны оранжево окрасился и оттуда донеслись крики, в которых звучали растерянность и испуг. Сильный рывок ветра вскинул дым квер-

[1] Ясное крымское небо.

ху, и Догаренко увидел полыхающую палубу катера. Вероятно, осколок бомбы пробил бензобаки, потому что из машинного люка выбрасывался столб бело-розового огня, окутанного плотными светло-серыми клубами.

Догаренко показалось, что горит «107-й». У него на миг замерло и сразу бешено застучало сердце. Забыв обо всем, он вскачь ринулся вниз по выбитым в скале покатым ступеням. Вбежав на пирс, он облегченно перевел дух. «107-й» стоял невредимый на своем месте, и обе его пушки, до предела задрав стволы, беспрерывно метали в низко бегущие тучи бледно-соломенные сверкающие снопы огня. По этой, в сущности говоря, бесцельной стрельбе, открытой больше для того, чтобы занять команду привычным боевым делом, Догаренко сообразил, что беду натворил какой-то одиночный бомбардировщик, воспользовавшийся плохой видимостью и наудачу сбросивший удачно легкую бомбу.

Горел стоящий через катер от «107-го» «МО-119». К нему бежали санитары с носилками, и Догаренко побежал за ними, на блеск бушующего пламени. Подбегая, он увидел, как из люка с новой силой вырвался огненный столб и глухо прогремел взрыв бака. Всю кормовую часть катера сразу охватило вихрем пламени. Его языки лизали лежащие на стеллажах черные бочонки глубинных бомб. У рубки и на баке метались матросы. Догаренко услышал хриплый, надорванный волнением голос. Он кричал:

— Все на берег! Покинуть корабль!

И вслед за этим криком люди с катера с топотом кинулись по заплясавшим под их бегом мосткам на пирс. Догаренко остановился.

Мысль его работала обостренно и четко. Огонь у стеллажей разливался все шире. На бомбах уже пузырилась краска. Еще немного, и они рванут. Рядом другие катера. На них тоже бензин, бомбы, боезапас. Взрыв грозит катастрофой, гибелью всему дивизиону. Командир катера, приказавший команде покинуть корабль, явно растерялся перед грозной опасностью.

«Мабуть, яке недоросле щеня, та ще с торгового флоту,— подумал о командире катера Догаренко.— Що с него визьмешь? А не треба чекати ни хвылыны... Не можно!»

И прежде чем он додумал, ноги уже несли его по мосткам на пылающую палубу. Сквозь пелену огня он

пронесся на корму, и его не первой свежести поварской халат, пропитанный маслом, сразу вспыхнул на левом боку. Одним махом Догаренко сорвал его и швырнул за борт. И, обжигая руки, ухватился за ближайшую бомбу. Крякнув от натуги, он сорвал ее со стеллажа, и она гулко плеснула в воде, подбросив фонтан белых брызг. Догаренко взялся за вторую. Пламя било ему в спину, брюки от низу до колен тлели. Вторая бомба слетела за борт, за ней третья. Догаренко распрямился, глотая всей грудью едкий, полный гари воздух, и в это мгновение впервые почувствовал нестерпимую жгучесть огня, с яростью въедавшегося в его тело. Он понял, что сгорит раньше, чем успеет сбросить оставшиеся бомбы. Эта мысль испугала его, он провел рукой по лицу, размазывая копоть, и пошатнулся. Нужна была вода, нужно было, чтобы на него дали водяную струю, которая погасила бы горящую одежду. Но команда катера стояла на пирсе в оцепенении, и нельзя было ждать, пока люди опомнятся и сообразят, что делать. Догаренко шагнул к борту и, ухватясь за свисший конец, прыгнул в воду. Прикосновение холодной соленой влаги к обожженным местам резануло такой болью, что он едва не потерял сознания, но, преодолев наплывшую слабость и тошноту, вскарабкался снова на палубу, мокрый, дымящийся, и дополз до бомб. Но едва он налег на очередную, как рядом в дыму и огне мелькнула чья-то фигура и две руки тоже вцепились в бомбу, помогая сдвинуть ее. Догаренко вскинул голову, чтобы разглядеть неожиданного помощника, и охнул, узнав в нем командира «107-го». Любую помощь любого человека в эти страшные минуты Догаренко принял бы как должную, естественную, правильную. Но рядом с ним был человек, которого он дал слово беречь, и слова не по своей вине он не сдержал. А теперь этот человек подвергается вместе с ним смертельной опасности. Этого Догаренко допустить не мог. Сбросив бомбу, он выпрямился, черный, страшный, со свисшими на лоб мокрыми волосами, сверкая белками глаз, и рванул лейтенанта за руку.

— Геть звидсиля! — крикнул он неистовым голосом.— Якого биса тоби тут треба, трясця твоей матери! Геть у хвылыну, бо убью!

Отлетевший от сильного рывка, ошеломленный лейтенант крикнул ломающимся от злости и обиды тенорком:

— Как вы смеете кричать на командира? С ума сошли?

Но Догаренко был в том самозабвенном состоянии, когда на него не подействовал бы и окрик командующего флотом. Он прыгнул к лейтенанту и своей громадной лапой ухватил его за ворот кителя.

— Нема часу балачки разводить! Геть!

И взмахом той же руки он бросил лейтенанта в воду, как швырял перед этим бомбы. Даже не взглянув, опять взялся за бомбы. Успел сбросить еще две и со страхом ощутил, что в глазах темнеет и руки отказываются подыматься. Стоя на коленях, он в отчаянии ударился лицом о станину стеллажа, думая этим остановить уходящие силы. Но в глазах темнело все больше, и он с горечью подумал о том, что не сможет докончить начатого и сейчас наступит конец всему. Но в эту минуту какая-то холодная, тяжелая плеть с силой хлестнула его по голове и сейчас же еще более сильный удар пришелся по обожженной, голой, вздувшейся пузырями спине. От невыносимой боли он закричал, и крик помог пересилить обморок. Догаренко с трудом оглянулся. Две шипящие белые струи прыгали и носились по палубе, по бомбам, по телу Догаренко. Это на соседнем катере пустили наконец в ход пожарные шланги. Пленка воды пенясь по краю мелкими пузырьками, катилась по палубе, оттесняя огонь к рубке. Он отступал, злясь и фыркая, пытаясь еще, но бесплодно, прорваться отдельными языками через водный барьер. По мосткам на палубу бежали бойцы трюмно-пожарного подразделения в несгораемых асбестовых робах. Увидев их, Догаренко последним усилием поднялся на ноги, сделал шаг им навстречу и, как подорванная фабричная труба, переломившись в поясе, грузно свалился на палубу...

. . . .

Командир дивизиона и лейтенант Коренков шли, пригибаясь, по низкому проходу штольни, превращенной в санпункт, в сопровождении молодого врача в очках и с рыжеватой бородкой, похожего на молодого Чехова.

— За жизнь опасаться нет оснований, товарищ капитан второго ранга,— говорил врач, поправляя пальцами сползающие очки,— ожоги серьезные, но местно ограниченные. Вот только руки. Возможна резкая контрактура кистей. Но при теперешнем уровне пластики...

Они вошли в палату, большую пещеру, ярко освещенную десятками автомобильных лампочек, висящих поперек потолка. На койках лежали и сидели раненые.

Мягко звенела гитара, и приглушенный низкий, грудной голос напевал говорком песню.

— У вас тут не госпиталь, а прямо филармония,— сказал врачу командир дивизиона,— и музыканты и певцы.

— Это сегодня, под праздник. Главврач разрешил.

Командир дивизиона засмеялся.

— Вы словно извиняетесь, товарищ военврач, за то, что у вас больные и раненые в хорошем настроении и веселятся?

— Да нет, я так...— сконфуженно ответил врач.— Разное начальство бывает. Вам вот нравится, а бывает...

Лейтенант Коренков оглядывал ряды коек, разыскивая знакомое лицо Догаренко. Но не находил его. И когда врач указал на койку, где лежала большая и странно жуткая, спеленатая бинтами кукла, у которой только светились глаза и виднелись вздутые губы, лейтенант невольно отступил назад.

— В сознании? — спросил комдив.

— Все время был в сознании! — Врач наклонился над страшной белой куклой.— Товарищ Догаренко, вы меня слышите?

Вздутые губы расклеились. В углу показалась капелька крови из трещины. Хриплый голос ответил:

— Слышу.

— Вас пришел навестить командир дивизиона,— продолжал врач.

Догаренко чуть-чуть повернул голову.

Командир дивизиона нагнулся над ним и осторожно поцеловал пахнущие вазелином бинты возле рта Догаренко.

— Спасибо, дорогой! От всего дивизиона, от меня, от командующего флотом! Представляем к высокой награде, Догаренко! Выздоравливай скорее.

Догаренко молчал, только мерцавшие из-под низко надвинутой на лоб повязки глаза вдруг заблестели влагой. Он поднял руку, похожую на белое березовое полено, и слегка дотронулся до руки комдива.

— Товарищ капитан второго ранга,— Догаренко говорил медленно, отделяя слово от слова невидимыми перегородками,— я... там... на катере... это... як казаты... ну, пихнув у воду... лейтенанта, як цуцыка... Кажить лейтенанту, щоб вин на мене не серчав... така була ситуацыя...

— Сам скажи лейтенанту про ситуацию. Он тоже здесь,— ответил комдив, выдвигая вперед Коренкова.

Глаза Догаренко тревожно расширились. Он дернулся всем телом, губы снова зашевелились, но, прежде чем он успел выговорить слово, лейтенант опустился на колени, уткнулся лицом в серое одеяло и заплакал так, как может и имеет право заплакать офицер двадцати четырех лет от роду, взволнованный и потрясенный величием подвига и человеческой души.

Догаренко с усилием поднял белое полено руки и положил его на белокурые вихры лейтенанта.

— Та що вы, товарищ лейтепант? — выговорил он дрожащими губами.— Не треба! Я ж ще не помер и не помру. Ось подлечуся, та мы ще з вами поплаваемо. Може, мене видпустять до вас с того чертова камбуза.

Командир дивизиона сдержал ненужную и непрошеную в эту минуту улыбку и сказал серьезно и торжественно:

— Отпустим, Догаренко!.. Даю тебе в том слово! Думаю, что командование испросит тебе звание Героя Советского Союза, а держать героя у плиты, сам понимаешь, не резон. Скорее поправляйся! Пойдем, лейтенант!

Он поднял Коренкова. Лейтенант сконфуженно вытер рукой мокрое лицо.

— До свидания, Догаренко! Поздравляю с великим праздником родины. Подремонтируйте его поскорее, товарищ военврач.

Комдив взял под руку еще всхлипывающего Коренкова, и они пошли к выходу. Ходячие раненые сгрудились вокруг одной из коек, где все еще звенела гитара и тот же молодой, свежий голос продолжал петь. Комдив прислушался и уловил простые, правдивые и волнующие слова песни:

За светлое счастье Советской земли,
Которую любим, как мать,
В простор голубой идут корабли
Сражаться и побеждать.

<*1958*>

ПРИМЕЧАНИЯ

В третий том Собрания сочинений вошли повести и рассказы, написанные в 1936—1958 годах.

Отти.— Рассказ написан в 1936 году. Впервые опубликован в газете «Ленинградская правда» 1 мая 1936 года.

Рассказ навеян впечатлениями от поездки по странам Европы, которую Б. Лавренев совершил в 1933—1934 годах. Он побывал в Польше, Германии, Австрии, Чехословакии, Франции и Италии. В газете «Вечерняя Москва» и в журнале «Знамя» в 1934 году появились очерки писателя «Европейский погост», «В ожидании потопа», «Спящая царевна», «Буря идет на Францию» (см. т. 6 наст. изд.). В беседе с корреспондентом газеты «Литературный Ленинград» Б. Лавренев говорил о «страшном городе Берлине», где ему «не хотелось оставаться более одного дня», ибо «на улицах пусто» и «оживают они только тогда, когда проходят отряды штурмовиков», («Литературный Ленинград», 1934, 28 февраля).

Литературовед А. Богуславский справедливо заметил, что «через весь литературный путь писателя проходит разоблачение собственнического мира, который противостоит созидаемому народом новому миру, разоблачение лживости и реакционности буржуазного общества, его социальных, политических, моральных устоев, уродующего, растлевающего влияния, оказываемого им на душу человека» («История русской советской литературы», т. I, М., 1958, с. 447).

Сообщая о своих творческих планах, Б. Лавренев писал: «Сейчас я начинаю работать над пьесой о фашистской Германии.

Я хочу показать германского безработного, обманутого фашистской демагогией, идущего на удочку гитлерианства и, постепенно, сталкиваясь с действительностью фашистского государства, переходящего на сторону рабочих масс» («Литературный Ленинград», 1936, 8 февраля). Рассказ «Отти» близок по своей проблематике к задуманной, но не осуществленной писателем пьесе.

Печатается по тексту «Ленинградской правды».

Комендант Пушкин.— Повесть написана в октябре—ноябре 1936 года. Впервые опубликована в журнале «Звезда», Л., 1937, № 1.

Любовь к великому поэту Б. Лавренев пронес через всю свою долгую творческую жизнь. В 1927 году он писал: «Для наших дней Пушкин не только вечно живой гений, но и вечно живой учитель» («Ленинградская правда», 1927, 10 февраля). Спустя десять лет в журнале «Литературный современник» напечатаны ответы Б. Лавренева на анкету о Пушкине (см. т. 6 наст. изд.). Во многих литературно-критических статьях писателя упоминается имя Пушкина и высоко оцениваются его бессмертные произведения.

Повесть «Комендант Пушкин» написана к 100-летию со дня трагической гибели поэта. Б. Лавренев своеобразно соединил тему Пушкина с излюбленными им темами революции, гражданской войны и культуры, показал, как поэт и его творчество входят в жизнь и сознание солдата революции.

Печатается по тексту: Б. Лавренев. Избранные произведения в двух томах, т. 2. М., 1958 (в дальнейшем для краткости называем его Двухтомник 1958 г.).

Чертеж Архимеда.— Повесть написана в январе—марте 1937 года. Впервые опубликована в журнале «Звезда», Л., 1937, № 5.

Национально-революционная война 1936—1939 годов в Испании не могла не захватить и не увлечь Б. Лавренева. В статье «Наша Испания» он писал: «Я не ошибусь, если скажу, что в каждом из нас живет порой инстинктивная, но несомненная внутренняя любовь к этой стране. Она для нас родина Дон-Кихота, пламенный революционный пафос «Фуэнте Овехуна», романтическая легенда об открывателе материков и великом страдальце Христофоре Колумбе. Она светит нам из глубины веков неугасимым светом своего великого искусства, шедеврами архитектуры, мрачными и потрясающими видениями Гойи» («Литературный Ленинград», 1936, 23 октября).

Б. Лавренев не был в Испании, он пытается рассказать о гражданской войне в стране через изображение колебаний

и сомнений испанского художника, мучительно находящего свой путь к революционной Испании.

В 1938 году Б. Лавренев создает пьесу «Начало пути», посвященную памяти легендарного Матэ Залки, с которым писателя связывала большая дружба. В пьесе изображены вымышленные персонажи, но в них нетрудно узнать реальных бойцов Интернациональной бригады, героически сражавшейся на испанской земле. Пьеса была опубликована в журнале «Звезда», Л., 1938, № 5.

Повесть печатается по тексту книги: Б. Лавренев. Чертеж Архимеда. Стратегическая ошибка. М.— Л., 1938.

Дворец Кшесинской.— Рассказ написан в 1937 году. Впервые опубликован в газете «Известия» 16 апреля 1937 года. Вариант рассказа напечатан под названием «Встреча» в журнале «Краснофлотец», 1939, № 1.

К 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции Б. Лавренев создает цикл документальных рассказов и очерков о событиях и людях тех героических лет: «В Смольном», «Дворец Кшесинской», «Красногвардейцы», которые публиковались в газете «Известия».

Печатается по тексту газеты «Известия».

Выстрел с Невы.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Новый мир», М., 1938, № 2.

Б. Лавренев не впервые обращается к теме «Авроры». В повести «Ветер» появляется запоминающийся образ революционного корабля: «...стремительный, как ветер, и угрожающий крейсер «Аврора».

К 10-летию Великого Октября писатель создал свою лучшую пьесу — «Разлом», в основу которой легли события, происходившие на легендарном крейсере.

К 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции в «Морском сборнике» (Л., 1937, № 11) был опубликован очерк Б. Лавренева «Аврора» в Октябрьскую ночь», который в переработанном виде вошел в рассказ «Выстрел с Невы».

В 1956 году Б. Лавренев вместе с режиссером Ю. Вышинским начал работу над сценарием фильма «Залп «Авроры». «Я с радостью вспоминаю эти дни встреч с Лавреневым — замечательным драматургом, пламенным романтиком Октября,— писал впоследствии режиссер.— Он близко знал и дружил с теми, кто должен был стать героями нашего фильма — Антоновым-Овсеенко, Подвойским, Белышевым. Смерть Лавренева оборвала работу над сценарием» («Литературная Россия», 1964, 6 ноября). В основу филь-

ма, вышедшего на экраны в 1965 году, взят рассказ Б. Лавренева «Выстрел с Невы».

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Обыкновенная операция.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Краснофлотец», Л., 1938, № 1, октябрь.

В середине 30-х годов Б. Лавренев работал над пьесой и киносценарием «Волга горит» («Волга в огне») о Волжско-Каспийской флотилии в эпоху гражданской войны, о ее замечательных делах и людях. Замыслы остались, видимо, неосуществленными, во всяком случае, ни пьесы, ни сценария обнаружить пока не удалось. В газете «Ленинградская правда» 15 ноября 1935 года был опубликован отрывок из сценария «Волга в огне» под названием «Даешь Казань!».

В рассказе «Обыкновенная операция» писатель вновь обращается к славным делам этой флотилии.

Печатается по тексту журнала «Краснофлотец».

Счастье Леши Ширикова.— Рассказ написан в 1938 году в Севастополе. Впервые опубликован в журнале «Знамя», М., 1939, № 2, под названием «Доблестный зуб». В книгу Б. Лавренева «Ветер с моря» (М.— Л., 1941) рассказ включен под названием «Счастливчик».

Стр. 182. *Другу Сереже Колбасьеву.*— Б. Лавренев посвятил рассказ писателю Сергею Адамовичу Колбасьеву (1898—1942). Сборник рассказов С. Колбасьева «Поворот все вдруг» (ГИХЛ, 1931), о службе старого офицерства в Красном флоте, вышел с предисловием Б. Лавренева (см. т. 6 наст. изд.). В годы гражданской войны С. Колбасьев был командиром дивизиона миноносцев.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Белый верблюд.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Краснофлотец», 1939, № 20.

В течение многих лет Б. Лавренев активно сотрудничал в журнале «Краснофлотец», являясь членом редколлегии и автором многих рассказов, очерков и статей, появившихся на страницах журнала.

Печатается по тексту журнала «Краснофлотец».

Командиры.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Краснофлотец», 1941, № 1.

Выступая по Ленинградскому радио 16 февраля 1940 года, Б. Лавренев говорил: «...я буду писать повесть о сегодняшних ге-

роических людях Красного Балтийского флота, об их легендарных подвигах... Я с увлечением и радостью возьмусь за работу над этой большой, волнующей темой».

Великая Отечественная война прервала работу писателя над повестью о командирах Краснознаменного флота. Опубликованная в журнале «Краснофлотец» часть произведения имеет вполне самостоятельное значение и воспринимается как законченный рассказ.

М. Красноставский, обозревая журнал «Краснофлотец» за 1940—1941 годы, выделил произведение Б. Лавренева, отметив реальность и правдивость образов командиров, уменье автора создавать художественно убедительные картины («Новый мир», М., 1941, № 7-8).

Печатается по тексту журнала «Краснофлотец».

Парусный летчик.— Первый вариант рассказа напечатан под названием «Парусный рейд» в журнале «Ленинград», 1940, № 6. Второй вариант — под названием «Парусный летчик» — в книге Б. Лавренева «Балтийцы раскуривают трубки», Ташкент, 1942, где стоит авторская дата — 1941 г.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Встреча.— Рассказ написан в сентябре 1941 года. Опубликован в газетах «Известия», 24 июня 1942 года, и «Правда Востока», Ташкент, 28 июня 1942 года.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Железный крест.— Рассказ написан в сентябре 1941 года. Впервые опубликован в газете «Труд» 28 июня 1942 года. Рассказ был включен писателем в сборник «Балтийцы раскуривают трубки», Ташкент, 1942.

В беседе с корреспондентом газеты «Вечерняя Москва» в 1942 году Б. Лавренев сообщал:

«Прошлым летом, серьезно заболев, я попал в один из ленинградских госпиталей. Здесь, в госпитальной курилке, часто «кружком» собирались выздоравливающие больные, и всегда кто-либо из славных людей Балтики рассказывал наиболее интересные эпизоды боевой военно-морской жизни.

Втихомолку от рассказчика, чтобы не нарушить непосредственности его повествования, я кратко записывал на папиросных коробках особенно понравившиеся мне сюжеты. Таких записей накопилось много, и зимой я облек их в форму новелл о замечательных моряках-балтийцах дней Великой Отечественной войны.

Так получилась книга, которую я привез для издания в «Советском писателе» («Вечерняя Москва», 1942, 7 июля).

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Подвиг.— Рассказ написан в октябре—декабре 1941 года в Ташкенте. Впервые опубликован в альманахе «Залп», Ташкент, 1942.

Осенью 1941 года тяжелобольного Б. Лавренева эвакуируют из Ленинграда в Киров, а оттуда отправляют в Ташкент. В республиканской газете «Правда Востока» публикуются его статьи и рассказы о мужестве и стойкости советских людей. Гневный голос писателя звучит по радио, он выступает на митингах, собраниях, литературных вечерах, встречается с трудящимися республики и воинами Советской Армии.

Л. Г. Бать в своей книге «Незабываемые встречи» (М., 1972, с. 99) вспоминает: «Высокий, стройный, всегда подтянутый, с характерной для моряка упругой, чуть раскачивающейся походкой, он вносил какое-то особое оживление всюду, где появлялся. А появлялся он во многих местах. В то короткое время, что он пробыл в Ташкенте, он занимался и делами Союза писателей, и издательскими планами...»

Двадцать первого марта 1942 года Б. Лавренев подписал в печать литературно-художественный альманах «Залп». В одном из шуточных стихотворений тех лет он с радостью сообщал: «...и вновь могу на госиздатовской бумаге ударить «Залпом» по врагу». Это действительно был интернациональный писательский залп. Б. Лавренев собрал, отредактировал и опубликовал произведения русских, узбекских, украинских, белорусских, немецких, венгерских и чешских прозаиков и поэтов. 34 автора в стихах и прозе клеймили фашистских варваров и проникновенно рассказывали о советских людях, борющихся за честь и свободу родной земли.

В одной из рецензий на сборник Б. Лавренева «Подвиг» (М., 1943), получивший название по одноименному рассказу, отмечалось: «Писатель ничего не приукрасил и не выдумал. В «Подвиге» говорят о себе балтийские моряки — правдиво и просто говорят о том, как они не на жизнь, а на смерть дерутся с заклятыми врагами своей Отчизны, с гитлеровскими головорезами, дерутся на море, на земле, в воздухе и под водой. С первой до последней страницы «Подвиг» Б. Лавренева читается с неослабным интересом» («Краснофлотец», 1942, № 21).

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Разведчик Вихров.— Рассказ написан в мае 1942 года в Ташкенте. Впервые опубликован в книге: Б. Лавренев. Бал-

тийцы раскуривают трубки (Ташкент, 1942), под названием «Товарищ Вихров».

«Балтийцы раскуривают трубки» — первый сборник рассказов Б. Лавренева военных лет. В сборник вошли рассказы: «Подвиг», «Трубка», «Парусный летчик», «Железный крест», «Товарищ Вихров», «Преступление Сережи Иванова», «Полосатая смерть». На узбекском языке сборник вышел в 1943 году под названием «Балтийцы идут в атаку».

Под названием «Большое сердце» рассказ был напечатан в газете «Известия» 2 августа 1942 года.

В 1942 году Б. Лавренев работал над киносценарием по мотивам этого рассказа для Ташкентской киностудии.

Под названием «Разведчик Вихров» впервые в Двухтомнике 1958 г.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Трубка.— Рассказ написан в Ташкенте в 1942 году. Впервые опубликован в книге: Б. Лавренев. Балтийцы раскуривают трубки, Ташкент, 1942.

Алексей Алексеевич Лебедев (1912—1941) — русский советский поэт, погиб в Финском заливе 14 ноября 1941 года вместе с подводной лодкой, на которой служил штурманом.

Первый сборник стихотворений Лебедева — «Кронштадт» — появился в 1939 году. Через год он опубликовал новый сборник — «Лирика моря», в 1942 году, после смерти поэта, издан сборник «Огненный вымпел».

Б. Лавренев любил молодого поэта, дружил с ним и, потрясенный его смертью, создал новеллу «Трубка».

Печатается по тексту книги: Б. Лавренев. Избранное, М., 1951.

Деталь.— Рассказ написан в 1942 году. Впервые опубликован под названием «Документ» в газете «Известия» 1 июля 1942 года.

Печатается по тексту книги: Б. Лавренев. Люди простого сердца. М., 1943.

Последний заплыв.— Рассказ впервые опубликован в газете «Труд» 12 июля 1942 года.

Печатается по тексту книги: Б. Лавренев. Подвиг. М., 1943.

Старуха.— Рассказ написан в сентябре 1942 года. Впервые опубликован в газете «Красный флот» 25 ноября 1942 года. Рассказ был напечатан также в журналах: «Крестьянка», 1942,

№ 21-22; «Красноармеец», 1942, № 24; «Знамя», 1943, № 1; «Работница», 1943, № 2.

Летом 1942 года Б. А. Лавренев приезжает из Ташкента в Москву. Ветеран трех войн — первой мировой, гражданской, советско-финляндской 1939—1940 годов — вскоре становится непосредственным участником четвертой — Великой Отечественной войны. Он был направлен на Северный флот в Краснознаменный дивизион «морских охотников». До конца войны писатель находился в рядах действующей армии. Его произведения этого периода публикуются в центральной и фронтовой печати (газеты «Известия», «Красный флот», журналы «Красноармеец», «Краснофлотец» и др.).

Редактор газеты «Красный флот» Павел Ильич Мусьяков вспоминал: «Особенно понравился читателям рассказ «Старуха». Помню, мы получили много хороших читательских откликов на это произведение...» (П. Мусьяков. Писатели на флоте в годы Великой Отечественной войны. М., 1977, с. 103).

В 1949 году в письме к С. Захарову Б. Лавренев писал о рассказе «Старуха»: «Это вообще один из моих лучших рассказов не только времени Отечественной войны» (журнал «Урал», 1966, № 7, с. 173).

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Подарок старшины.— Рассказ написан в ноябре 1942 года. Опубликован в газете «Красная звезда» 4 декабря 1942 года и в журнале «Краснофлотец», 1942, № 22, декабрь. В книгу Лавренева «Портрет» (Военмориздат, М., 1942) рассказ включен под названием «Бугай».

В основе рассказа — реальный эпизод, о котором сообщала газета: боец Степанов вскочил на броню немецкого танка и, через открытый люк угрожая экипажу гранатой, привел танк в наше расположение.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Чайная роза.— Рассказ опубликован в газете «Красный флот» 10 января 1943 года и в журнале «Новый мир», 1943, № 1.

В упоминавшихся уже воспоминаниях П. Мусьякова отмечается: «Неплохо прозвучал и рассказ «Чайная роза»... В нем очень тепло и проникновенно раскрыт образ снайпера Приморской армии — Л. М. Павличенко, которой довелось обучать и воспитывать лихого краснофлотца из балаклавских греков Жору Фемелиди. Рассказ документален, только Павличенко выведена под фамилией Бондарчук. Позже я спрашивал у Людмилы Михайловны: был у вас такой Жора? Ответила, что был, только под другой

фамилией. Но возиться с ним пришлось немало, чтобы «привести в христианский вид». Даже, пожалуй, побольше, чем в рассказе изображено» (П. Мусьяков. Писатели на флоте в годы Великой Отечественной войны. М., 1977, с. 103).

Людмиле Павличенко Б. Лавренев посвятил очерк «Неукротимое сердце» (см. т. 6 наст. изд.). В пьесе «Песнь о черноморцах» она послужила прототипом снайпера Ткачук.

Печатается по тексту книги: Б. Лавренев. Люди простого сердца. М., 1943.

Личное дело.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Краснофлотец», 1943, № 5-6, март.

Печатается по тексту журнала «Краснофлотец».

Внук Суворова.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Красноармеец», 1943, № 8, апрель.

Печатается по тексту журнала «Красноармеец».

День как день.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 19 июня 1943 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Холодный характер.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 2 июля 1943 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Брательник.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Красноармеец», 1943, № 16, август.

Печатается по тексту журнала «Красноармеец».

Трудный случай.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 3 сентября 1943 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Форт двоих.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 8 октября 1943 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Маяк.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 24, 25 декабря 1943 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот» с исправлениями по рукописи.

Хорошая песня.— Рассказ впервые опубликован в книге: Б. Лавренев. Люди простого сердца. М., 1943.

Печатается по тексту книги «Люди простого сердца».

Черноморская легенда.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 7 мая 1944 года. Второй вариант рассказа напечатан под названием «Сказка» в журнале «Огонек», М., 1946, № 18, май.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

День рождения.— Рассказ написан в 1944 году. Впервые опубликован в газете «Красный флот» 26, 27 мая 1944 года, под названием «Катер вернулся в базу». В значительно переработанном виде напечатан в сборнике: Б. Лавренев. День рождения. М., 1946, б-ка «Огонек», № 15.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

В праздничную ночь.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 10 февраля 1945 года. В рукописи имел первоначальное название «Трудный праздник».

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Возвращение.— Рассказ впервые опубликован в газете «Московский большевик» 18 февраля 1945 года.

Печатается по тексту газеты «Московский большевик».

Аня из Гросс-Книппенхайна.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Красноармеец», 1945, № 5.

Печатается по тексту журнала «Красноармеец».

Письмо.— Рассказ написан в 1945 году. Впервые опубликован в газете «Красный флот» 6 ноября 1945 года.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Врач.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Красноармеец», 1946, № 3, 4.

Печатается по тексту журнала «Красноармеец».

Искра.— Рассказ написан в феврале 1946 года. Первоначальное название рассказа — «Большой вальс». Впервые опубликован в книге: Б. Лавренев. Возвращение Одиссея, б-ка журнала «Советский моряк», 1959, № 6.

Печатается по рукописи.

Братство.— Рассказ впервые опубликован в газете «Красный флот» 23 февраля 1947 года.

Печатается по тексту газеты «Красный флот».

Возвращение Одиссея.— Первоначальный замысел рассказа о девушке, спасшей моряка, относится к 1944 году. В журнале «Смена», 1944, № 14, Б. Лавренев напечатал первый вариант рассказа, под названием «Навзикая». В начале 50-х годов писатель вновь вернулся к этому рассказу, дополнив его многими подробностями, и завершил повествование событиями послевоенной действительности. Второй вариант рассказа напечатан в журнале «Советский моряк», 1952, № 14.

Печатается по тексту журнала «Советский моряк».

Парламентер.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Советский моряк», 1957, № 20.

В последние годы своей жизни Б. Лавренев задумал большое произведение о незабываемых днях своей революционной юности. В статье «Мой писательский долг» он сообщал: «Буду писать биографическую повесть. Мне посчастливилось жить в эпоху великих социальных сдвигов, наблюдать крушение старого мира и рождение нового... Видел я, как и мои современники, очень многое: первую мировую войну и гибель в ее огне трех империй — германской, австро-венгерской и русской. Видел Февральскую революцию и могучую бурю Октября, участвовал в гражданской войне и в Великой Отечественной. Все виденное и пережитое отстоялось в памяти, пришло в стройную систему, и нужно рассказать молодому поколению Родины о незабываемых событиях и замечательных людях, которые встречались на моем жизненном пути. Ведь на моих глазах совершалось преобразование нищей и безграмотной России в родину социализма, в великое государство Советов» (журнал «Культура и жизнь», М., 1957, № 11, с. 44).

Рассказ «Парламентер» связан с задуманным, но, к сожалению, не осуществленным писателем произведением. Б. Лавренев был очевидцем революционных событий в Москве в октябре 1917 года. В статье «Борьба за города», опубликованной в 1922 году в журнале «Военный работник Туркестана», он анализирует эти события как военный специалист, выясняя и объясняя причины поражения отборных юнкерских частей. 10 ноября 1921 года в «Красноармейской газете» был напечатан рассказ Б. Лавренева «Васюк» о подвиге мальчика, героически погибшего на улицах Москвы во время одного из сражений с юнкерами. О московских событиях пишет Б. Лавренев и в повести «Ветер» (см. т. 1 наст. изд.).

Печатается по тексту журнала «Советский моряк».

Вкануне Октября.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1959, № 4.

Рассказ, видимо, является отрывком из романа о Великой Отечественной войне, над которым писатель работал с начала 50-х годов и до последних дней своей жизни. Впервые о замысле этого произведения он рассказал в апреле 1953 года: «Это будет книга о советских моряках. Она охватывает годы Великой Отечественной войны, начиная от обороны Севастополя. В романе будет рассказано об освобождении Севастополя, о походе советских моряков по Дунаю, о вступлении в Вену и победоносном завершении войны. Сейчас работаю над систематизацией материала, собранного мною в годы Великой Отечественной войны»» («Вечерняя Москва», 1953, 18 апреля).

Через два года в газете Черноморского флота «Флаг Родины», 15 апреля 1955 года, опубликовано обращение писателя к севастопольцам: «Не имея возможности из-за тяжелой болезни до осени прибыть в Севастополь для личных встреч с героическими участниками обороны Севастополя и боевых действий на Черном море, обращаюсь ко всем с горячей товарищеской просьбой о творческой помощи в работе, целью которой является запечатление боевой славы советского Военно-Морского флота. Прошу товарищей присылать мне, не стесняясь формой и размером, воспоминания о боевых эпизодах, о людях, о героических делах черноморцев...»

Б. Лавренев неоднократно приезжал в Севастополь, ходил по местам боевых действий, встречался с участниками беспримерной в истории обороны города, тщательно изучал обстановку, в которой будут действовать герои его романа. Так, в Гурзуфе, в Доме творчества художников, писатель совершенно случайно встретился с Героем Советского Союза Марией Карповной Байда и записал ее волнующий рассказ о мужестве разведчиков-моряков.

Сама того не ведая, она помогла писателю собрать воедино всех героев его «невыдуманной повести»: восемнадцатилетнего Сашу Чекаренко, моряков-черноморцев Глухова, Пензина и многих других. «Она и сегодня сзывает все новых людей в будущую книгу, где сама уже — главная героиня,— рассказывал впоследствии писатель.— Хотя я и артиллерист, но хочу как можно меньше баталий на страницах... Героям повести о Севастополе я решил сохранить их подлинные имена. Согрешу разве только против одного человека в книге: бывшего преподавателя математики средней школы переведу из Мурманска в Севастополь, превращу северянина в черноморца и заменю ему одну букву фамилии. Этот учитель жил в Казани. Он оставил своих учеников в 5-м классе и ушел на фронт. Не успели ребята стать шестиклассниками, как прочитали, что их учитель уже Герой Советского Союза. Ныне он известный на флоте специалист» («Литературная газета», 1958, 8 апреля).

В той же беседе Б. Лавренев рассказал еще об одном подлинном герое своего произведения: «Чекаренко пришел на Северную сторону, когда там закончился последний бой. Он вернулся, чтобы взорвать доставшийся немцам склад боеприпасов. Севастопольская земля охраняла его, пока он шел к своей смерти. Не умереть еще полчаса — вот единственная отсрочка, которую вымолил он сам у себя. Сзади, в обожженных зарослях кустарника, вились верные тропки к жизни. Но Чекаренко шел вперед. Я в мыслях своих часто ходил с ним на Северную сторону, этим прямым и коротким, как вся его жизнь, путем... Я хочу вернуть к жизни этого юношу, который ушел из нее так молчаливо и просто» («Литературная газета», 1958, 8 апреля).

В беседе с корреспондентом газеты «Советский флот» Б. Лавренев вновь возвращается к замыслу своего произведения: «Болезнь на время прервала мою работу над повестью «Севастополь» — основным из задуманных мною произведений. Герои этой будущей книги — представители двух поколений нашего флота: люди, пришедшие много лет назад на корабли во время комсомольского набора, и молодежь, призванная войной. Многие из тех, кто пришел в 1941 году, впервые увидели море, но слава о подвигах этих моряков вскоре прошла по всему миру. Их всех объединила борьба за родную землю. Героев повести роднят оружие, долг, единые помыслы. Я хочу, чтобы это была живая история, частицей которой почувствовал бы себя каждый, кто был в Севастополе и кто выстоял и выжил. Свидетели севастопольской славы — наши современники. Они заслужили право на бессмертие, и я решил оставить им не только их поступки, характеры, внешность, но и сохранить подлинные имена. Географические границы повести — город Севастополь, время действия — дни обороны» (газета «Советский флот», 1958, 27 апреля).

Таким образом, первоначальный замысел произведения значительно сузился, его действие должно было локализоваться вокруг событий героической обороны Севастополя. Писатель П. Н. Лукницкий, связанный с Б. Лавреневым многолетней дружбой, вспоминал: «...работать он не переставал до самого последнего часа своей жизни. В сокровенных глубинах его сознания возникали образы людей моря, чистых, сильных, бесстрашных героев Великой Отечественной войны. И все отчетливее вырисовывался новый замысел. Роман созревал быстро, слова легко складывались в главы и части, выстраиваемые романтической мечтой писателя. Лавренева обступали десятки новых друзей, плоть и кровь неутомимой фантазии — образы, которые будут жить, переходить из поколения в поколение, когда его самого, создателя их, уже не будет... Ради этого стоило собрать все свои духовные силы, воору-

житься, как всегда, неиссякаемым оптимизмом, верой в творческую победу...

Роман этот уже имел название «Возвращение в Итаку». (В рукописи на титульном листе название романа — «Путь на Итаку».— *Б. Г.*) К концу 1958 года он был уже почти готов. Оставалось только сесть за машинку и записать его — одним духом — от первой строки до последней — как это было всегда...» (П а в е л Л у к н и ц к и й. Вторая жизнь Бориса Лавренева.— В книге: Б. Л а в р е н е в. Бессменная вахта. Неизданная публицистика. М., 1973, с. 281).

Осуществить замысел этого интересного произведения писателю, к сожалению, не удалось. 7 января 1959 года перестало биться его сердце, пережившее войны и революции, счастливую, но трудную эпоху созидания нового мира.

«В канун Октября» — один из немногих сохранившихся отрывков ненаписанного романа, ибо, как свидетельствует П. Н. Лукницкий, «Лавренев обычно ничего не записывал до тех пор, пока новое произведение полностью не вызревало у него в голове. А когда и сюжет, и композиция, и образы, и даже диалоги бывали продуманы до мелочей, он садился за пишущую машинку. И произведение развертывалось на бумаге стремительно, как печатаемая с тщательно пригнанных негативов большая панорама» (т а м ж е, с. 280).

Печатается по рукописи.

Б. Геронимус

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лавренев Б. А.
Л47 Собрание сочинений: В 6-ти т.— М.: Худож. лит., 1982.—
Т. 3. Повести и рассказы. / Сост. и подгот. текста А. Ю. Лавренева; Примеч. Б. А. Геронимуса. 1982.— 558 с.

В третий том вошли повести и рассказы, написанные Б. А. Лавреневым в 1936—1958 гг. Основной раздел составляют произведения, созданные в годы войны с гитлеровской Германией, в которых автор рассказывает о мужестве советских людей, о том, как великое чувство патриотизма вдохновляло их на великие подвиги («Разведчик Вихров», «Подарок старшины», «Маяк», и др.).

Л $\frac{4702010200-138}{028(01)-82}$ подписное

Р2

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЛАВРЕНЕВ
Собрание сочинений
том 3

Редактор
В. Буланова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Л. Овчинникова, Т. Филиппова

ИБ 2162.
Сдано в набор 10.06.81. Подписано к печати 13.04.82. А09542. Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29.4. Уч.-изд. л. 29,95. Тираж 100 000 экз. Изд. № Ш-417. Заказ № 722. Бум. тип. № 1.
Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц Головного предприятия республиканского производственного объединения «Поліграфкнига» на Киевской книжной фабрике. 252054, Киев, ул. Воровского, 24.